Аркадий и Борис

СТРУГАЦКИЕ

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ РУССКОГО ПРОСТРАНСТВО



Собрание сочинений в 10 т. Т. 6. Отель «У погибшего альпиниста».

Аркадий Натанович Стругацкий, Борис Натанович Стругацкий

Аннотация
Аркадий и Борис Стругацкие. Собрание сочинений в 10 томах. Том шестой. Отель «У погибшего альпиниста»
ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонтского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 19.. год

1. Рэдрик Шухарт, 23 года, холост, лаборант Хармонтского филиала Международного института внеземных культур

2. Рэдрик Шухарт, 28 лет, женат, без определенных занятий

3. Ричард Г. Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Хармонтском филиале МИВК

4. Рэдрик Шухарт, 31 год
ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ, ИЛИ ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Эпилог
Часть первая. Мусорщик
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Часть вторая. Следователь
Глава первая

Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Часть третья. Редактор
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Часть четвертая. Господин советник
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Часть пятая. Разрыв непрерывности
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Часть шестая. Исход
КОММЕНТАРИИ
ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ
ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

Аннотация

В очередной том собрания сочинений мэтров отечественной и мировой фантастики Аркадия и Бориса Стругацких вошли их классические, экранизированные и переведенные на многие языки мира романы «Пикник на обочине» и «Отель “У погибшего альпиниста”», а также одно из лучших произведений позднего периода их творчества — роман «Град обреченный».

Аркадий и Борис Стругацкие. Собрание сочинений в 10 томах. Том шестой. Отель «У погибшего альпиниста»

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.

Р. П. Уоррен

Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонтского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 19.. год

— ...Вероятно, вашим первым серьезным открытием, доктор Пильман, следует считать так называемый радиант Пильмана?

— Полагаю, что нет. Радиант Пильмана — это не первое, не серьезное и, собственно, не открытие. И не совсем мое.

— Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана — понятие, известное всякому школьнику.

— Это меня не удивляет. Радиант Пильмана и был открыт впервые именно школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите у Стетсона в его «Истории Посещения» — там все это подробно рассказано. Открыл радиант впервые школьник, опубликовал координаты впервые студент, а назвали радиант почему-то моим именем.

— Да, с открытиями происходят иногда удивительные вещи. Не могли бы вы объяснить нашим слушателям, доктор Пильман...

— Послушайте, земляк. Радиант Пильмана — это совсем простая штука. Представьте себе, что вы раскрутили большой глобус и принялись палить в него из револьвера. Дырки на глобусе лягут на некую плавную кривую. Вся суть того, что вы называете моим первым серьезным открытием, заключается в простом факте: все шесть Зон Посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля — Денеб. Денеб — это альфа созвездия Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана.

— Благодарю вас, доктор. Дорогие хармонтцы! Наконец-то нам толком объяснили, что такое радиант Пильмана! Кстати, позавчера исполнилось ровно тринадцать лет со дня Посещения. Доктор Пильман, может быть, вы скажете своим землякам несколько слов по этому поводу?

— Что именно их интересует? Имейте в виду, в Хармонте меня тогда не было...

— Тем более интересно узнать, что вы подумали, когда ваш родной город оказался объектом нашествия инопланетной сверхцивилизации...

— Честно говоря, прежде всего я подумал, что

это утка. Трудно было себе представить, что в нашем старом маленьком Хармонте может случиться что-нибудь подобное. Восточная Сибирь, Уганда, Южная Атлантика — это еще куда ни шло, но Хармонт!

— Однако в конце концов вам пришлось поверить.

— В конце концов — да.

— И что же?

— Мне вдруг пришло в голову, что Хармонт и остальные пять Зон Посещения... впрочем, виноват, тогда было известно только четыре... Что все они ложатся на очень гладкую кривую. Я сосчитал координаты радианта и послал их в «Нэйчур».

— И вас нисколько не взволновала судьба родного города?

— Видите ли, в то время я уже верил в Посещение, но я никак не мог заставить себя поверить паническим корреспонденциям о горящих кварталах, о чудовищах, избирательно пожирающих стариков и детей, и о кровопролитных боях между неуязвимыми пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно доблестными королевскими танковыми частями.

— Вы были правы. Помнится, наш брат инфор-

матор тогда много напутал... Однако вернемся к науке. Открытие радианта Пильмана было первым, но, вероятно, не последним вашим вкладом в знания о Посещении?

— Первым и последним.

— Но вы, без сомнения, внимательно следили все это время за ходом международных исследований в Зонах Посещения...

— Да... Время от времени я листаю «Доклады».

— Вы имеете в виду «Доклады Международного института внеземных культур»?

— Да.

— И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти тринадцать лет?

— Сам факт Посещения.

— Простите?

— Сам факт Посещения является наиболее важным открытием не только за истекшие тринадцать лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно, кто были эти пришельцы. Неважно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твердо знает: оно не одиноко во Вселенной. Боюсь, что Институту внеземных культур уже никогда больше не повезет сделать более фунда-

ментальное открытие.

— Это страшно интересно, доктор Пильман, но я, собственно, имел в виду открытия технологического порядка. Открытия, которые могла бы использовать наша земная наука и техника. Ведь целый ряд очень видных ученых полагает, что находки в Зонах Посещения способны изменить весь ход нашей истории.

— Н-ну, я не принадлежу к сторонникам этой точки зрения. А что касается конкретных находок, то я не специалист.

— Однако вы уже два года являетесь консультантом Комиссии ООН по проблемам Посещения...

— Да. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. В КОПРОПО я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации Зон Посещения. Грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в Зонах, распоряжался только Международный институт.

— А разве на эти чудеса посягает еще кто-нибудь?

— Да.

— Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров?

— Я не знаю, что это такое.

— Так у нас в Хармонте называют отчаянных парней, которые на свой страх и риск проникают в Зону и тащат оттуда все, что им удается найти. Это настоящая новая профессия.

— Понимаю. Нет, это вне нашей компетенции.

— Еще бы! Этим занимается полиция. Но было бы интересно узнать, что именно входит в вашу компетенцию, доктор Пильман...

— Имеет место постоянная утечка материалов из Зон Посещения в руки безответственных лиц и организаций. Мы занимаемся результатами этой утечки.

— Нельзя ли чуточку поконкретней, доктор?

— Давайте лучше поговорим об искусстве. Неужели слушателей не интересует мое мнение о несравненной Гвади Мюллер?

— О, разумеется! Но я хотел бы сначала покончить с наукой. Вас как ученого не тянет самому заняться инопланетными чудесами?

— Как вам сказать... Пожалуй.

— Значит, можно надеяться, что хармонтцы в один прекрасный день увидят своего знаменитого земляка на улицах родного города?

— Не исключено.

1. Рэдрик Шухарт, 23 года, холост, лаборант Хармонтского филиала Международного института внеземных культур

Накануне стоим это мы с ним в хранилище — уже вечером, остается только спецовки сбросить, и можно закатиться в «Боржч», принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю, свое отработал и уже держу наготове сигаретку, курить хочется дико — два часа не курил, а он все возится со своим добром: один сейф загрузил, запер и опечатал, теперь другой загружает — берет с транспортера «пустышки», каждую со всех сторон осматривает (а она тяжелая, сволочь, шесть с половиной кило, между прочим) и с кряхтеньем аккуратненько водворяет на полку.

Сколько уже времени он с этими «пустышками» бьется, и, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я давным-давно бы уже плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, «пустышка» действительно штука загадочная и какая-то невразумительная, что ли. Сколько я их на себе перетаскал, а все равно, каждый

раз как увижу — не могу, поражаюсь. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце, миллиметров пять толщиной, и расстояние между дисками миллиметров четыреста, и, кроме этого расстояния, ничего между ними нет. То есть совсем ничего, пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления, — пустота и пустота, один воздух. И при всем при том что-то между ними, конечно, есть, сила какая-то, как я это понимаю, потому что ни прижать их, эти диски, друг к другу, ни растащить их никому еще не удавалось.

Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел, очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь, наконец, своим глазам. Это все равно что стакан кому-нибудь описывать или, не дай бог, рюмку: только пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия. Ладно, будем считать, что вы все поняли, а если кто не понял, возьмите институтские «Доклады» — там в любом выпуске статьи про эти «пустышки» с фотографиями...

В общем, Кирилл бьется с этими «пустышками» уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается, да, честно говоря, и понять особенно не

стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь «пустышку» раскурочить, кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи. И вот тогда станет ему все понятно, будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ничего он покуда не добился, замучился только вконец, серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались как у больного пса, даже слезятся. Будь на его месте кто еще, напоил бы я его в дым, свел бы к хорошей девке, чтобы расшевелила, а наутро бы снова напоил и снова к девке, к другой, и был бы он у меня через неделю как новенький — уши торчком, хвост пистолетом. Только вот Кириллу это лекарство не подходит — не стоит и предлагать, не та порода.

Стоим, значит, мы с ним в хранилище, смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали, и жалко мне его стало, сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул.

— Слушай, — говорю, — Кирилл...

А он как раз стоит, держит на весу последнюю

«пустышку», и с таким видом, словно так бы в нее и влез.

— Слушай, — говорю, — Кирилл! А если бы у тебя была полная «пустышка», а?

— Полная пустышка? — переспрашивает он и брови сдвигает, будто я с ним по-тарабарски заговорил.

— Ну да, — говорю. — Эта твоя гидромагнитная ловушка, как ее... объект семьдесят семь-бэ. Только с дерьмом каким-то внутри, с синеньким.

Вижу, начало до него доходить. Поднял он на меня глаза, прищурился, и появился у него там, за собачьей слезой, какой-то проблеск разума, как он сам обожает выражаться.

— Постой, — говорит он. — Полная? Вот такая же штука, только полная?

— Ну да.

— Где?

Все, вылечился мой Кирилл. Уши торчком, хвост пистолетом.

— Пойдем, — говорю, — покурим.

Он живо сунул «пустышку» в сейф, прихлопнул дверцу, запер на три с половиной оборота, и пошли мы с ним обратно в лабораторию. За пустую «пустышку» Эрнест дает четыреста монет наличными, а за полную я бы из него, сукина сына,

всю его поганую кровь выпил, но хотите верьте, хотите нет, а я об этом даже не подумал, потому что Кирилл у меня ну просто ожил, снова стал как струна, аж звенит весь, и по лестнице скачет через четыре ступеньки, закурить человеку не дает. В общем, все я ему рассказал: и какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал, посмотрел на меня и, ясное дело, сразу все про меня понял, да и чего здесь было не понять...

— Ай да ты! — говорит он, а сам улыбается. — Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В девять я закажу пропуска и «галошу», а в десять благословясь выйдем. Давай?

— Давай, — говорю. — А кто третий?

— А зачем нам третий?

— Э, нет, — говорю. — Это тебе не пикник с девочками. А если что-нибудь с тобой случится? Зона, — говорю. — Порядок должен быть.

Он слегка усмехнулся, пожал плечами:

— Как хочешь! Тебе виднее.

Еще бы не виднее! Конечно, это он свеликодушничал, для меня старался: третий лишний, сбегаем вдвоем, и все будет шито-крыто, никто про тебя не догадается. Да только я знаю, ин-

ститутские вдвоем в Зону не ходят. У них такой порядок: двое дело делают, а третий смотрит и, когда его потом спросят, — расскажет.

— Лично я бы взял Остина, — говорит Кирилл. — Но ты его, наверное, не захочешь. Или ничего?

— Нет, — говорю. — Только не Остина. Остина ты в другой раз возьмешь.

Остин парень неплохой, смелость и трусость у него в нужной пропорции, но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь, но я-то вижу: вообразил человек о себе, будто Зону знает и понимает до конца, — значит, скоро гробанется. И пожалуйста. Только без меня.

— Ну хорошо, — говорит Кирилл. — А Тендер?

Тендер — это его второй лаборант. Ничего мужик, спокойный.

— Староват, — говорю я. — И дети у него...

— Ничего. Он в Зоне уже бывал.

— Ладно, — говорю. — Пусть будет Тендер.

В общем, он остался сидеть над картой, а я поскакал прямиком в «Боржч», потому что жрать хотелось невмоготу и в глотке пересохло.

Ладно. Являюсь я утром, как всегда, к девяти, предъявляю пропуск, а в проходной дежурит этот дылдоватый сержант, которого я в прошлом году отметелил, когда он по пьяному делу стал

приставать к Гуте.

— Здорово, — он мне говорит. — Тебя, — говорит, — Рыжий, по всему Институту ищут...

Тут я его так вежливенько прерываю:

— Я тебе не Рыжий, — говорю. — Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля.

— Господи, Рыжий! — говорит он в изумлении. — Да тебя же все так зовут.

А я перед Зоной взвинченный, да еще трезвый вдобавок — взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошел. Он плюнул, вернул мне пропуск и уже без всех этих нежностей:

— Рэдрик Шухарт, — говорит, — вам приказано немедленно явиться к уполномоченному отдела безопасности капитану Херцогу.

— Вот то-то, — говорю я. — Это другое дело. Учись, сержант, в лейтенанты выбьешься.

А сам думаю: это что еще за новости? Какого это для понадобился я капитану Херцогу в служебное время? Ладно, иду являться. У него кабинет на третьем этаже, хороший кабинет, и решетки там на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит писанину на машинке, а в углу копается в железном шкафу какой-то сержантик, новый какой-то,

не знаю я его. У нас в Институте этих сержантов больше, чем в дивизии, да все такие дородные, румяные, кровь с молоком, — им в Зону ходить не надо, и на мировые проблемы им наплевать.

— Здравствуйте, — говорю я. — Вызывали?

Вилли смотрит на меня как на пустое место, отодвигает машинку, кладет перед собой толстенную папку и принимается ее листать.

— Рэдрик Шухарт? — говорит.

— Он самый, — отвечаю, а самому смешно — сил нет. Нервное такое хихиканье подмывает.

— Сколько времени работаете в Институте?

— Два года, третий.

— Состав семьи?

— Один я, — говорю. — Сирота.

Тогда он поворачивается к своему сержантику и строго ему приказывает:

— Сержант Луммер, ступайте в архив и принесите дело номер сто пятьдесят.

Сержантик козырнул и смылся, а Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает:

— Опять за старое взялся?

— За какое такое старое?

— Сам знаешь, за какое. Опять на тебя материал пришел.

Так, думаю.

— И откуда материал?

Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице.

— Это тебя не касается, — говорит. — Я тебя по старой дружбе предупреждаю: брось это дело, брось навсегда. Ведь во второй раз сцапают — шестью месяцами не отделаешься. А из Института тебя вышибут немедленно и навсегда, понимаешь?

— Понимаю, — говорю. — Это я понимаю. Не понимаю только, какая же это сволочь на меня настучала...

Но он уже опять смотрит на меня оловянными глазами, сипит пустой трубкой и знай себе листает папку. Это, значит, вернулся сержант Луммер с делом номер сто пятьдесят.

— Спасибо, Шухарт, — говорит капитан Вилли Херцог по прозвищу Боров. — Это все, что я хотел выяснить. Вы свободны.

Ну, я пошел в раздевалку, натянул спецовочку, закурил, а сам все время думаю: откуда же это звон идет? Ежели из Института, то ведь это все вранье, никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если телегу из полиции прислали... опять-таки, что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, Стервятник по-

пался? Эта сволочь, чтобы себя выгородить, кого хочешь утопит. Но ведь и Стервятник обо мне теперь ничего не знает... Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил — наплевать! Последний раз ночью я в Зону ходил три месяца назад, хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали, а теперь черта меня возьмешь, я скользкий.

Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило, да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в Зону-то мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя, и послезавтра. Получалось, что я опять у этих легавых жаб на заметке, не забыли они меня, а если и забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже неважно, кто именно. Никакой же сталкер, если он совсем не свихнулся, на пушечный выстрел к Зоне не подойдет, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый темный угол залезть надо. Какая, мол, Зона? Я туда, мол, и по пропускам-то не хожу который месяц! Что вы, понимаешь, привязались к честному лаборанту?

Обдумал я все это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в Зону мне сегодня идти не надо. Только как это все поделикатнее сообщить Кириллу?

Я ему сказал прямо:

— В Зону не иду. Какие будут распоряжения?

Сначала он, конечно, вылупил на меня глаза. Потом, видно, что-то сообразил: взял меня за локоть, отвел к себе в кабинетик, усадил за свой столик, а сам примостился рядом на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает:

— Что-нибудь случилось, Рэд?

Ну что я ему скажу?

— Нет, — говорю, — ничего не случилось. Вчера вот в покер двадцать монет продул — здорово этот Нунан играет, шельма...

— Подожди, — говорит он. — Ты что, раздумал?

Тут я даже закряхтел от натуги.

— Нельзя мне, — говорю ему сквозь зубы. — Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал.

Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и опять у него глаза стали как у больного пуделя. Передохнул он этак судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит:

— Можешь мне поверить, Рэд, я никому ни слова не сказал.

— Брось, — говорю. — Разве о тебе речь?

— Я даже Тендеру еще ничего не сказал. Про-

пуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдет он или нет...

Я молчу, курю. Смех и грех, ничего человек не понимает.

— А что тебе Херцог сказал?

— Да ничего особенного, — говорю. — Настучал кто-то на меня, вот и все.

Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по своему кабинетику взад-вперед. Он по кабинетику бегает, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по-дурацки получилось: вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я и виноват. Поманил дитятю пряником, а пряник-то в заначке, а заначку сердитые дяди стерегут... Тут он перестает бегать, останавливается около меня и, глядя куда-то вбок, неловко спрашивает:

— Слушай, Рэд, а сколько она может стоить — полная «пустышка»?

Я сначала его не понял, подумал сначала, что он ее еще где-нибудь купить рассчитывает, да только где ее такую купишь, может быть, она всего одна такая на свете, да и денег у него на это не хватило бы: откуда у него деньги — у иностранного специалиста, да еще русского? А потом

меня словно обожгло: что же это он, поганец, думает — я из-за зелененьких эту бодягу развел? Ах ты, думаю, стервец, да за кого же ты меня принимаешь?.. Я уже рот раскрыл, чтобы обложить его в бога, в сердце, в печень. И осекся. Потому что, действительно, а за кого ему меня еще принимать? Сталкер — он сталкер и есть, ему бы только зелененьких побольше, он за зелененькие жизнью торгует. Вот и получалось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену набиваю.

У меня даже язык отнялся от таких мыслей, а он на меня смотрит пристально, глаз не сводит, и в глазах его я вижу не презрение даже, а понимание, что ли. И тогда я спокойно ему объяснил.

— К гаражу, — говорю, — еще никто никогда с пропуском не ходил. Туда еще трасса не провешена, ты это знаешь. Теперь возвращаемся мы назад, и твой Тендер начинает хвастаться, как махнули мы прямо к гаражу, взяли что надо и сразу обратно. Словно бы на склад сходили. И каждому будет ясно, — говорю, — что заранее мы знали, за чем идем. А это значит, что кто-то нас навел. А уж кто из нас троих навел — здесь комментариев не нужно. Понимаешь, чем это для меня пахнет?

Кончил я свою речь, смотрим мы друг другу в глаза и молчим. Потом он вдруг хлопнул ладонью о ладонь, руки потер и бодрячком этаким объявляет:

— Ну что ж, нет так нет. Я тебя понимаю, Рэд, и осуждать не могу. Пойду сам. Авось обойдется. Не в первый раз...

Расстелил он на подоконнике карту, уперся руками, сгорбился над ней, и вся его бодрость прямо-таки на глазах испарилась. Слышу — бормочет:

— Сто двадцать метров... даже сто двадцать два... И что там еще в самом гараже... Нет, не возьму я Тендера. Как ты думаешь, Рэд, может, не стоит Тендера брать? Все-таки у него двое детей...

— Одного тебя не выпустят, — говорю я.

— Ничего, выпустят... — бормочет он. — У меня все сержанты знакомые... и лейтенанты. Не нравятся мне эти грузовики! Тринадцать лет под открытым небом стоят, а все как новенькие... В двадцати шагах бензовоз — ржавый, как решето, а они будто только что с конвейера... Ох уж эта Зона!

Поднял он голову от карты и уставился в окно. И я тоже уставился в окно. Стекла в наших окнах толстые, свинцовые, а за стеклами — Зона-ма-

тушка, вот она, рукой подать, вся как на ладони с тринадцатого этажа...

Так вот посмотришь на нее — земля как земля. Солнце на нее как на всю остальную землю светит, и ничего вроде бы на ней не изменилось, все вроде бы как тринадцать лет назад. Папаша, покойник, посмотрел бы и ничего бы особенного не заметил, разве что спросил бы: чего это завод не дымит, забастовка, что ли?.. Желтая порода конусами, кауперы на солнышке отсвечивают, рельсы, рельсы, рельсы, на рельсах паровозик с платформами... Индустриальный пейзаж, одним словом. Только людей нет. Ни живых, ни мертвых. Вон и гараж виден: длинная серая кишка, ворота нараспашку, а на асфальтовой площадке грузовики стоят. Тринадцать лет стоят, и ничего им не делается. Это он правильно насчет грузовиков отметил — соображает. Упаси бог между двумя машинами сунуться, их надо стороной обходить... Там одна трещина есть в асфальте, если только с тех пор колючкой не заросла... Сто двадцать два метра — это откуда же он считает? А! Наверное, это он от крайней вешки считает. Правильно, оттуда больше и не будет. Все-таки продвигаются очкарики помаленьку... Смотри, до самого отвала дорогу провесили, да как ловко

провесили! Вон она, та канавка, где Слизняк гробанулся, всего в двух метрах от ихней дороги... А ведь говорил Мослатый Слизняку: «Держись, дурак, от канав подальше, а то ведь и хоронить нечего будет...» Как в воду глядел — нечего хоронить... С Зоной ведь так: с хабаром вернулся — чудо, живой вернулся — удача, патрульная пуля — везенье, а все остальное — судьба...

Тут я посмотрел на Кирилла и вижу: он за мной искоса наблюдает. И лицо у него такое, что я в этот момент снова все перерешил. Ну их, думаю, всех к черту, что они, в конце концов, жабы, сделать могут? Он бы мог и вообще ничего не говорить, но он сказал.

— Лаборант Шухарт, — говорит. — Из официальных — подчеркиваю: из официальных! — источников я получил сведения, что осмотр гаража может принести большую пользу науке. Есть предложение осмотреть гараж. Премиальные гарантирую. — А сам улыбается что твоя майская роза.

— Из каких же это официальных источников? — спрашиваю я и тоже ему улыбаюсь как дурак.

— Это конфиденциальные источники, — отвечает он. — Но вам я могу сообщить... — Тут он перестал улыбаться и насупился. — Скажем, от

доктора Дугласа.

— А, — говорю, — от доктора Дугласа... От какого же это Дугласа?

— От Сэма Дугласа, — говорит он сухо. — Он погиб в прошлом году.

У меня мурашки по коже пошли. Так и так тебя! Кто же перед выходом говорит о таких вещах? Хоть кол им, очкарикам, на голове теши — ничего не соображают... Ткнул я окурок в пепельницу и говорю:

— Ладно. Где твой Тендер? Долго мы его еще ждать будем?

Словом, больше мы на эту тему не говорили. Кирилл позвонил в ППС, заказал «летучую галошу», а я взял карту и посмотрел, что у них там нарисовано. Ничего себе нарисовано, в норме. Фотографическим путем — сверху и с большим увеличением. Даже рубчики видны на покрышке, которая валяется у ворот гаража. Нашему бы брату сталкеру такую карту... А впрочем, черта от нее толку ночью-то, когда задницу звездам показываешь и собственных рук не видно...

А тут и Тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек — в Зону идти. Сперва он даже запыхи-

ваться забыл, сердяга. «Как так в Зону? — говорит. — Почему — я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Рэд Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова.

В общем, спустились мы в «будуар», Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их еще одному сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы его из красного в какой-нибудь подходящий цвет — любой сталкер за такой костюм пятьсот монет отвалит, глазом не моргнет. Я уж давно поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. На первый взгляд — ничего особенного, костюм такой вроде водолазного и шлем как у водолаза, с большим окном впереди. Даже не вроде водолазного, а скорее как у летчика-реактивщика или, скажем, у космонавта. Легкий, удобный, нигде не жмет, и от жары в нем не потеешь. В таком костюмчике и в огонь можно, и газ через него никакой не проникает. Пуля, говорят, и то не берет. Конечно, и огонь, и иприт какой-нибудь, и пуля — это все земное, человеческое. В Зоне ничего этого нет, в Зоне не этого надо опасаться. В общем, что там говорить, и в спецкостюмах тоже мрут как миленькие. Другое дело, что без них мерли бы, может быть,

еще больше. От «жгучего пуха», например, эти костюмы на сто процентов спасают. Или от плевков «чертовой капусты»... Ладно.

Натянули мы спецкостюмы, пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман, и побрели мы через весь институтский двор к выходу в Зону. Так здесь у них это заведено, чтобы все видели: вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и святого духа, аминь. И точно — во все окна аж до пятнадцатого этажа хайла сочувствующие повыставлялись, только что платочками не машут и оркестра нет.

— Шире шаг, — говорю я Тендеру. — Брюхо подбери, слабосильная команда! Благодарное человечество тебя не забудет!

Посмотрел он на меня, и вижу я, что ему не до шуток. И правильно — какие уж тут шутки!.. Но когда в Зону выходишь, то уж одно из двух: либо плачь, либо шути, — а я сроду не плакал. Посмотрел я на Кирилла. Ничего держится, только губами шевелит, вроде молится.

— Молишься? — спрашиваю. — Молись, — говорю, — молись! Дальше в Зону — ближе к небу...

— Что? — спрашивает он.

— Молись! — кричу. — Сталкеров в рай без

очереди пропускают!

А он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине: не бойся, мол, со мной не пропадешь, а если и пропадешь, то умираем, мол, один раз. Нет, смешной он парень, ей-богу.

Сдали мы пропуска последнему сержанту — на этот раз, в порядке исключения, это лейтенант оказался, я его знаю, у него папаша кладбищенскими оградами в Рексополе торгует, — а «летучая галоша» уже тут как тут, подогнали ее ребята из ППС и поставили у самой проходной. Все уже тут как тут: и «скорая помощь», и пожарники, и наша доблестная гвардия, бесстрашные спасатели, — куча отъевшихся бездельников со своим вертолетом. Глаза б мои на них не глядели!

Поднялись мы на «галошу», Кирилл встал за управление и говорит мне:

— Ну, Рэд, командуй.

Я без всякой торопливости приспустил «молнию» на груди, достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в Зону иду, а без этого — нет, не могу. Они оба на меня смотрят и ждут.

— Так, — говорю. — Вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас дей-

ствует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать — буду бить по чему попало, извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу: на руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнять, что тебе сказано. А не выполнишь — дочку свою больную, может, и не увидишь больше. Понятно? Но уж я позабочусь, чтобы ты увидел.

— Ты, Рэд, главное, приказать не забудь, — сипит Тендер, а сам весь красный, уже потеет и губами шлепает. — Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок.

— Вы для меня оба новички, — говорю. — А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты «галошу» водить умеешь?

— Умеет, — говорит Кирилл. — Хорошо водит.

— Хорошо так хорошо, — говорю. — Тогда с богом. Опустить забрала! Малый вперед по вешкам, высота три метра! У двадцать седьмой вешки — остановка.

Кирилл поднял «галошу» на три метра и дал малый вперед, а я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю

— гвардейцы-спасатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам, дурак, отдает, а над всеми над ними — здоровенный плакат, уже выцветший: «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я ему так в бок двинул, что у него сразу эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу — прощаться. Ты у меня попрощаешься, морда твоя толстозадая!..

Поплыли.

Справа у нас был Институт, слева — Чумной квартал, а мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Ох и давно же по этой улице никто не ходил и не ездил! Асфальт весь потрескался, трещины проросли травой, но это еще была наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже черная колючка, и по этой колючке было видно, как четко Зона себя обозначает: черные заросли у самой мостовой словно косой срезало. Нет, пришельцы эти все-таки приличные ребята были. Нагадили, конечно, много, но сами же своему дерьму обозначили ясную границу. Ведь даже «жгучий пух» на нашу сторону из Зоны — ни-ни, хотя, казалось бы, его ветром как попало мотает...

Дома в Чумном квартале облупленные, мертвые, однако стекла в окнах почти везде целы, грязные только и потому как бы слепые. А вот ночью, когда проползаешь мимо, очень хорошо видно, как внутри там светится, словно спирт горит, язычками такими голубоватыми. Это «ведьмин студень» из подвалов дышит. А вообще так вот посмотришь — квартал как квартал, дома как дома, ремонта, конечно, требуют, но ничего особенного в них нет, людей только не видно. Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель арифметики по прозвищу Запятая. Зануда он был и неудачник, вторая жена у него ушла перед самым Посещением, а у дочки бельмо на глазу было, так мы ее, помню, до слез задразнивали. Когда паника началась, он со всеми прочими из этого квартала в одном белье до самого моста бежал — все шесть километров без передышки. Потом долго чумкой болел, кожа с него слезла, ногти. Почти все, кто в этом квартале жил, чумкой переболели, поэтому-то квартал и называется Чумным. Некоторые померли, но главным образом старики, да и то не все. Я, например, думаю, что они не от чумки померли, а от страху. Страшно было очень.

А вот в тех трех кварталах люди слепли. Теперь

эти кварталы так и называются: Первый Слепой, Второй Слепой... Не до конца слепли, а так, вроде куриной слепоты. Между прочим, рассказывают, что ослепли они будто бы не от вспышки какой-нибудь там, хотя вспышки, говорят, тоже были, а ослепли они от сильного грохота. Загремело, говорят, с такой силой, что сразу ослепли. Доктора им: да не может этого быть, вспомните хорошенько! Нет, стоят на своем: сильнейший гром, от которого и ослепли. И при этом никто, кроме них, грома не слыхал...

Да, будто здесь ничего не случилось. Вон киоск стоит стеклянный, целехонек. Детская коляска в воротах — даже бельишко в ней вроде бы чистое... Антенны вот только подвели — обросли какими-то волосами наподобие мочала. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат: интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочало — нигде такого больше нет, только в Чумном квартале и только на антеннах. А главное — тут же, рядом ведь, под самыми окнами. В прошлом году догадались: спустили с вертолета якорь на стальном тросе, зацепили одну мочалку. Только он потянул — вдруг «пш-ш-ш»! Смотрим — от антенны дым, от якоря дым, и сам трос уже дымится, да не просто дымится, а с ядовитым

таким шипением, вроде как гремучая змея. Ну, пилот, даром что лейтенант, быстро сообразил, что к чему, трос выбросил и сам деру дал... Вон он, этот трос, висит, до самой земли почти свисает и весь мочалом оброс...

Так потихоньку-полегоньку доплыли мы до конца улицы, до поворота. Кирилл посмотрел на меня: сворачивать? Я ему махнул: самый малый! Повернула наша «галоша» и пошла самым малым над последними метрами человеческой земли. Тротуар ближе, ближе, вот уже и тень «галоши» на колючки упала... Все, Зона! И сразу такой озноб по коже. Каждый раз у меня этот озноб, и до сих пор я не знаю, то ли это так Зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят. Каждый раз думаю: вернусь и спрошу, у других бывает то же самое или нет, и каждый раз забываю.

Ну ладно, ползем потихоньку над бывшими огородами, двигатель под ногами гудит ровно, спокойно — ему-то что, его не тронут. И тут мой Тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно новички болтают в Зоне: зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде поноса, от человека не зависит, а

льет себе и льет. И чего только они не болтают! То начнет пейзажем восхищаться, то примется высказывать свои соображения по поводу пришельцев, а то и вообще к делу не относящееся — вот как Тендер сейчас: завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял...

— Замолчи, — говорю.

Он грустно так на меня посмотрел, губами пошлепал — и опять: сколько шелку на подкладку пошло. А огороды уже кончаются, под нами уже глинистый пустырь, где раньше городская свалка была, и чувствую я — ветерком здесь тянет. Только что никакого ветра не было, а тут вдруг потянуло, пылевые чертики побежали, и вроде бы я что-то слышу.

— Молчи, сволочь! — говорю я Тендеру.

Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну, тогда извини.

— Стой, — говорю Кириллу.

Он немедленно тормозит. Реакция хорошая, молодец. Беру я Тендера за плечо, поворачиваю его к себе и с размаху — ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло, глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я

услышал: «Тр-р-р... Тр-р-р... Тр-р-р...». Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты, рот оскален. Я рукой ему показываю, — стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. Но ведь он тоже этот треск слышит, и, как у всех новичков, у него сразу позыв — действовать, делать что-нибудь.

— Задний ход? — шепчет.

Я ему отчаянно головой мотаю, кулаком перед самым шлемом трясу — нишкни, мол. Эх, мать честная! С этими новичками не знаешь, куда смотреть — то ли в поле смотреть, то ли на них. И тут я про все забыл. По-над кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным поползло этакое дрожание, трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей, перевалило через бугор и пошло, пошло, пошло нам наперерез, рядом с самой вешкой, над дорогой задержалось, постояло с полсекунды — или это мне показалось только? — и утянулось в поле, за кусты, за гнилые заборы, туда, к кладбищу старых машин.

Мать их, очкариков, в чертову душу, надо же, сообразили, где дорогу провесить: по выемке! Ну, и я тоже хорош — куда это мои глаза дурацкие глядели, когда я ихней картой восхищался?

— Давай малый вперед, — говорю я Кириллу.

— А что это было?

— А хрен его знает!.. Было — и нету, и слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял? Ты сейчас — машина, рычаг мой, шестерня...

Тут я спохватился, что меня, похоже, самого словесный понос одолевать начинает.

— Все, — говорю. — Ни слова больше.

Хлебнуть бы сейчас! Достать из-за пазухи родимую, свинтить колпачок, не торопясь, горлышко на нижние зубы положить и голову задрать, чтобы само полилось, в самую глотку чтобы, продрало бы, слезу выточило... А потом флягу покачать и еще раз приложиться... Барахло эти скафандры, вот что я вам скажу. Без скафандра я, ей-богу, столько прожил и еще столько же проживу, а без хорошего глотка в такой вот момент... Ну да ладно!

Ветерок вроде бы упал, и ничего дурного вокруг не слышно, только двигатель гудит спокойно так, сонно. А вокруг солнце, а вокруг жара... Над гаражом марево... Все вроде бы нормально, вешки одна за другой мимо проплывают. Тендер молчит, Кирилл молчит — шлифуются новички. Ничего, ребята, в Зоне тоже дышать можно, если умеючи... А вот и двадцать седьмая вешка — же-

лезный шест и красный круг на нем с номером 27. Кирилл на меня посмотрел, кивнул я ему, и наша «галоша» остановилась.

Цветочки кончились, пошли ягодки. Теперь самое главное для нас — полнейшее спокойствие. Торопиться некуда, ветра нет, видимость хорошая, все как на ладони. Вон канава проходит, где Слизняк гробанулся, — пестрое там что-то виднеется, может, тряпье его. Паршивый был парень, упокой господи его душу, жадный, глупый, грязный, только такие вот со Стервятником и связываются, таких Стервятник Барбридж за версту видит и под себя подгребает... А вообще-то Зона не спрашивает, плохой ты или хороший, и спасибо тебе, выходит, Слизняк: дурак ты был, даже имени настоящего твоего никто не помнит, а умным людям показал, куда ступать нельзя... Так. Конечно, лучше всего добраться бы нам теперь до асфальта. Асфальт ровный, на нем все виднее, и трещина там эта знакомая. Только вот не нравятся мне эти бугорочки! Если по прямой к асфальту идти, проходить придется как раз между ними. Ишь стоят, будто ухмыляются, ожидают. Нет, промежду вами я не пойду. Вторая заповедь сталкера: либо справа, либо слева все должно быть чисто на сто шагов. А вот через левый буго-

рочек перевалить можно... Правда, не знаю я, что там за ним. На карте как будто ничего не было, но кто же картам верит?..

— Слушай, Рэд, — шепчет мне Кирилл. — Давай прыгнем, а? На двадцать метров вверх и сразу вниз — вот мы и у гаража, а?

— Молчи, дурак, — говорю я. — Не мешай, молчи.

Вверх ему. А долбанет тебя там на двадцати метрах? Костей ведь не соберешь. Или «комариная плешь» где-нибудь здесь объявится — тут не то что костей, мокрого места не останется. Ох уж эти мне рисковые, не терпится ему, видишь ты: давай прыгнем... В общем, как до бугра идти — ясно, а там постоим посмотрим. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони и говорю:

— Мальчика-с-пальчик помнишь? Проходили в школе? Так вот сейчас будет все наоборот. Смотри! — И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено. Метров на десять. Гаечка прошла нормально. — Видел?

— Ну? — говорит.

— Не ну, а видел, я спрашиваю?

— Видел.

— Теперь самым малым веди «галошу» к этой

гаечке и в двух метрах до нее не доходя остановись. Понял?

— Понял. Гравиконцентраты ищешь?

— Что надо, то и ищу. Подожди, я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай.

Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой.

— Давай, — говорю.

Тронул он «галошу». Лицо у него спокойное и ясное сделалось: видно, все понял. Они ведь все, очкарики, такие. Им главное — название придумать. Пока не придумал, смотреть на него жалко, дурак дураком. Ну а как придумал какой-нибудь гравиконцентратор — тут ему словно все понятно становится, и сразу ему жить легче.

Прошли мы первую гайку, прошли вторую, третью. Тендер вздыхает, с ноги на ногу переминается и то и дело зевает от нервности с этаким собачьим прискуливанием — томно ему, бедняге. Ничего, это ему на пользу. Пяток кило он сегодня скинет, это лучше всякой диеты... Бросил я четвертую гаечку. Как-то она не так прошла. Не могу объяснить, в чем дело, но чувствую — не так, и сразу хвать Кирилла за руку.

— Стой, — говорю. — Ни с места...

А сам взял пятую и кинул повыше и подальше. Вот она, «плешь комариная»! Гаечка вверх полетела нормально, вниз — тоже вроде нормально было пошла, но на полпути ее словно кто-то вбок дернул, да так дернул, что она в глину ушла и с глаз исчезла.

— Видал? — говорю я шепотом.

— В кино только видел, — говорит, а сам весь вперед подался, того и гляди с «галоши» сверзится. — Брось еще одну, а?

Смех и грех. Одну! Да разве здесь одной обойдешься? Эх, наука!.. Ладно, разбросал я еще восемь гаек, пока «плешь» не обозначил. Честно говоря, и семи хватило бы, но одну я специально для него бросил, в самую середку, пусть полюбуется на свой концентрат. Ахнула она в глину, словно это не гаечка упала, а пятипудовая гиря. Ахнула — и только дырка в глине. Он даже крякнул от удовольствия.

— Ну ладно, — говорю. — Побаловались, и хватит. Сюда смотри. Кидаю проходную, глаз с нее не спускай.

Короче, обошли мы «комариную плешь» и поднялись на бугорочек. Бугорочек этот — как кот нагадил, я его до сегодняшнего дня вообще не примечал. Да... Ну зависли мы над бугорочком,

до асфальта рукой подать, шагов двадцать. Место чистейшее — каждую травинку видно, каждую трещинку. Казалось бы, ну что? Кидай гайку, и с богом.

Не могу кинуть гайку.

Сам не понимаю, что со мной делается, но гайку кинуть никак не решусь.

— Ты что, — говорит Кирилл, — чего мы стоим?

— Подожди, — говорю. — Замолчи, ради бога.

Сейчас, думаю, кину гаечку, спокойненько пройдем, как по маслу проплывем, травинка не шелохнется, — полминуты, а там и асфальт... И тут вдруг потом меня как прошибет! Даже глаза залило, и уже знаю я, что гаечку туда кидать не буду. Влево — пожалуйста, хоть две. И дорога туда длиннее, и камушки какие-то я там вижу не шибко приятные, но туда я гаечку кинуть берусь, а прямо — ни за что. И кинул я гаечку влево. Кирилл ничего не сказал, повернул «галошу», подвел к гайке и только тогда на меня посмотрел. И вид у меня, должно быть, был очень нехорош, потому что он тут же отвел глаза.

— Ничего, — я ему говорю. — Кривой дорогой поближе будет. — И кинул последнюю гаечку на асфальт.

Дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку, чистая она оказалась, милая моя, никакой дрянью не заросла, цвет не переменила, смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража лучше всяких вешек.

Я приказал Кириллу снизиться до полутора метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца ничего не было видно — черно и черно, потом глаза привыкли, и вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Тот самосвал как стоял на яме, так и стоит, целехонький стоит, без дыр, без пятен, и на цементном полу вокруг все как прежде — потому, наверное, что «ведьмина студня» в яме мало скопилось, не выплескивался он с тех пор ни разу. Одно мне только не понравилось: в самой глубине гаража, где канистры стоят, серебрится что-то. Раньше этого не было. Ну ладно, серебрится так серебрится, не возвращаться же теперь из-за этого! Ведь не как-нибудь особенно серебрится, а чуть-чуть, самую малость, и спокойно так, вроде бы даже ласково... Поднялся я, отряхнул брюхо и поглядел по сторонам. Вон грузовики на площадке стоят, действительно, как новенькие, — с тех пор как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали, а бен-

зовоз — тот совсем, бедняга, проржавел, скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте...

Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего, работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Сейчас бы закурить, присесть тихонечко и поразмыслить — почему над канистрами серебрится, почему рядом не серебрится... Тень почему такая от покрышки... Стервятник Барбридж про тени что-то рассказывал, диковинное что-то, но безопасное... С тенями здесь бывает. А вот что это там все-таки серебрится? Ну прямо как паутина в лесу на деревьях. Какой же это паучок ее там сплел? Ох, ни разу я еще жучков-паучков в Зоне не видел. И хуже всего, что «пустышка» моя как раз там, шагах в двух от канистр, валяется. Надо мне было тогда же ее и упереть, никаких бы забот сейчас не было. Но уж больно тяжелая, стерва, полная ведь — поднять-то я ее мог, но на горбу тащить, да еще ночью, да на карачках... А кто «пустышек» ни разу не таскал, пусть попробует: это все равно что пуд воды без ведер нести... Так идти, что ли? Надо идти. Хлебнуть бы сейчас...

Повернулся я к Тендеру и говорю:

— Сейчас мы с Кириллом пойдем в гараж. Ты остаешься здесь за водителя. К управлению без моего приказа не притрагивайся, что бы ни случилось, хоть земля под тобой загорится. Если струсишь — на том свете найду.

Он серьезно мне покивал — не струшу, мол. Нос у него — что твоя слива, здорово я ему врезал... Ну, спустил я тихонечко аварийные блок-тросы, посмотрел еще раз на это серебрение, махнул Кириллу и стал спускаться. Встал на асфальт, жду, пока он спустится по другому тросу.

— Не торопись, — говорю ему. — Не спеши. Меньше пыли.

Стоим мы на асфальте, «галоша» рядом с нами покачивается, тросы под ногами ерзают. Тендер башку через перила выставил, на нас смотрит, и в глазах у него отчаяние. Надо идти. Я говорю Кириллу:

— Иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади, смотри мне в спину, не зевай.

И пошел. На пороге остановился, огляделся. Все-таки до чего же проще работать днем, чем ночью! Помню я, как лежал вот на этом самом пороге. Темно, как у негра в ухе, из ямы «ведьмин студень» языки высовывает, голубые, как спирто-

вое пламя, и ведь что обидно — ничего, сволочь, не освещает, даже темнее из-за этих языков кажется. А сейчас — что! Глаза к сумраку привыкли, все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно, серебрится там, нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку — очень на паутину похоже. Может, паутина и есть, но лучше от нее подальше. Вот тут-то я и напортачил. Мне бы Кирилла рядом с собой поставить, подождать, пока и у него глаза к полутьме привыкнут, и показать ему эту паутину, пальцем в нее ткнуть. А я привык один работать — у самого глаза пригляделись, а про Кирилла я и не подумал.

Шагнул это я внутрь, и прямо к канистрам. Присел над «пустышкой» на корточки, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу:

— Ну, берись, да не урони — тяжелая...

Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило: ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: стой, мол, замри! — и не могу. Да и не успел бы, наверное, — слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через «пустышку», поворачивается задом к канистрам и всей спиной — в это серебрение. Я только глаза закрыл. Все во мне

обмерло, ничего не слышу — слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутина лопается, но, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами, ни рук, ни ног не чувствую, а Кирилл говорит:

— Ну, что? — говорит. — Взяли?

— Взяли, — говорю.

Подняли мы «пустышку» и понесли к выходу, боком идем. Тяжеленная, стерва, даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко, остановились у «галоши», Тендер к нам уже лапы протянул.

— Ну, — говорит Кирилл, — раз, два...

— Нет, — говорю, — погоди. Поставим сначала.

Поставили.

— Повернись, — говорю, — спиной.

Он без единого слова повернулся. Смотрю я — ничего у него на спине нет. Я и так и этак — нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет.

— Слушай, — говорю я Кириллу, а сам все на канистры смотрю. — Ты паутину видел?

— Какую паутину? Где?

— Ладно, — говорю. — Счастлив наш бог. — А сам про себя думаю: сие, впрочем, пока неизвестно. — Давай, — говорю, — берись.

Взвалили мы «пустышку» на «галошу» и поставили ее на попа, чтобы не каталась. Стоит она, голубушка, — новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет, и синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не «пустышка» это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на «галошу» сами и без лишних слов — в обратный путь.

Лафа этим ученым! Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в Зону, а из Зоны «галоша» сама везет — есть у нее такое устройство, курсограф, что ли, которое ведет «галошу» точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плывем мы обратно, все маневры повторяем, останавливаемся, повисим немного — и дальше, и над всеми моими гайками проходим, хоть собирай их обратно в мешок.

Новички мои, конечно, сразу воспрянули духом. Головами вертят вовсю, страха у них почти не осталось — одно любопытство да радость, что все благополучно обошлось. Принялись болтать. Тендер руками замахал и грозится, что вот сейчас пообедает — и сразу обратно в Зону, дорогу к гаражу провешивать, а Кирилл взял меня за рукав

и принялся мне объяснять про этот свой гравиконцентрат, про «комариную плешь» то есть. Ну, я их не сразу, правда, но укоротил. Спокойненько так рассказал им, сколько дураков гробанулись на радостях на обратном пути. Молчите, говорю, и глядите как следует по сторонам, а то будет с вами как с Линдоном-Коротышкой. Подействовало. Даже не спросили, что случилось с Линдоном-Коротышкой. И хорошо. В Зоне по знакомой дороге сто раз благополучно пройдешь, а на сто первый гробанешься. Плывем в тишине, а я об одном думаю: как буду свинчивать крышечку. Так и этак представляю себе, как первый глоток сделаю, а перед глазами нет-нет да паутинка и блеснет.

Короче говоря, выбрались мы из Зоны, загнали нас с «галошей» вместе в «вошебойку», или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то сволочью, обсыпали чем-то и снова мыли, потом высушили и сказали: «Валяйте, ребята, свободны!» Тендер с Кириллом поволокли «пустышку». Народу набежало смотреть — не протолкнешься, и ведь что характерно: все только смотрят и издают приветственные возгласы, а взяться и помочь усталым людям тащить — ни одного смельчака не нашлось... Ладно, меня это

все не касается. Меня теперь ничто не касается...

Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол — холуи-сержанты подберут, — а сам двинул в душевую, потому что мокрый я был весь с головы до ног. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался к ней, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто, знай себе глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила Зона. Отпустила, поганка. Стерва родимая. Подлая. Живой. Ни хрена новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы — то ли от крепкого, то ли сам не знаю отчего. Высосал флягу досуха — сам мокрый, фляга сухая. Одного последнего глотка, конечно, не хватило. Ну ладно, это поправимо. Теперь все поправимо. Живой. Закурил сигарету, сижу. Чувствую — отходить начал. Премиальные в голову пришли. Это у нас в Институте поставлено отчетливо. Прямо хоть сейчас иди и получай конвертик. А может, и сюда принесут, прямо в душевую.

Стал я потихоньку раздеваться. Снял часы, смотрю — а в Зоне-то мы пробыли пять часов с минутами, господа мои! Пять часов. Меня аж передернуло. Да, господа мои, в Зоне времени

нет. Пять часов... А если разобраться, что такое для сталкера пять часов? Да плюнуть и растереть. А двенадцать часов не хочешь? А двое суток не хочешь? Когда за ночь не успел, целый день в Зоне лежишь рылом в землю и уже не молишься даже, а вроде бы бредишь, и сам не знаешь, живой ты или мертвый... А во вторую ночь дело сделал, подобрался с хабаром к кордону, а там патрули-пулеметчики, жабы, они же тебя ненавидят, им же тебя арестовывать никакого удовольствия нет, они тебя боятся до смерти, что ты заразный, они тебя шлепнуть стремятся, и все козыри у них на руках; иди потом доказывай, что шлепнули тебя незаконно... И значит, снова рылом в землю — молиться до рассвета и опять до темноты, а хабар рядом лежит, и ты даже не знаешь, то ли он просто лежит, то ли он тебя тихонько убивает. Или как Мослатый Исхак — застрял на рассвете на открытом месте, сбился с дороги и застрял между двумя канавами — ни вправо, ни влево. Два часа по нему стреляли, попасть не могли. Два часа он мертвым притворялся. Слава богу, надоело им, поверили, ушли наконец. Я его потом увидел — не узнал, сломали его, как не было человека...

Отер я слезы и включил воду. Долго мылся.

Горячей мылся, холодной мылся, снова горячей. Мыла целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу — барабанят в дверь, и Кирилл весело орет:

— Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!

Зелененькие — это хорошо. Открыл я дверь, стоит Кирилл голый, в одних трусах, веселый, без никакой меланхолии, и конверт мне протягивает.

— Держи, — говорит, — от благодарного человечества.

— Кашлял я на твое человечество! Сколько здесь?

— В виде исключения и за геройское поведение в опасных обстоятельствах — два оклада!

Да. Так жить можно. Если бы мне здесь за каждую «пустышку» по два оклада платили, я бы Эрнеста давным-давно подальше послал.

— Ну как, доволен? — спрашивает Кирилл, а сам сияет, рот до ушей.

— Ничего, — говорю. — А ты?

Он ничего не сказал. Обхватил меня за шею, прижал к потной своей груди, притиснул, оттолкнул и скрылся в соседней кабине.

— Эй! — кричу я ему вслед. — А Тендер что? Подштанники небось стирает?

— Что ты! Тендера там корреспонденты окружили, ты бы на него посмотрел, какой он важный... Он им так все компетентно излагает...

— Как, — говорю, — излагает?

— Компетентно.

— Ладно, — говорю, — сэр. В следующий раз захвачу словарь, сэр. — И тут меня словно током ударило. — Подожди, Кирилл, — говорю. — Ну-ка выйди сюда.

— Да я уже голый, — говорит.

— Выйди, я не баба!

Ну, он вышел. Взял я его за плечи, повернул спиной. Нет, показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.

— Чего тебе моя спина далась? — спрашивает он.

Отвесил я ему пинка под голую задницу, нырнул к себе в душевую и заперся. Нервы, черт бы их подрал. Там мерещилось, здесь мерещится... К дьяволу все это! Напьюсь сегодня как зюзя. Ричарда бы ободрать, вот что! Надо же, стервец, как играет... Ну ни с какой картой его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал, и карты под столом крестил, и по-всякому...

— Кирилл! — кричу. — В «Боржч» сегодня придешь?

— Не в «Боржч», а в «Борщ», сколько раз тебе говорить...

— Брось! Написано — «Боржч». Ты к нам со своими порядками не суйся. Так придешь или нет? Ричарда бы ободрать...

— Ох, не знаю, Рэд. Ты ведь, простая твоя душа, и не понимаешь, какую мы штуку притащили...

— А ты-то понимаешь?

— Я, впрочем, тоже не понимаю. Это верно. Но теперь, во-первых, понятно, для чего эти «пустышки» служили, а во-вторых, если одна моя идейка пройдет... Напишу статью и тебе ее персонально посвящу: Рэдрику Шухарту, почетному сталкеру, с благоговением и благодарностью посвящаю.

— Тут-то меня и упекут на два года, — говорю я.

— Зато в науку войдешь. Так эту штуку и будут называть — «банка Шухарта». Звучит?

Пока мы так трепались, я оделся. Сунул пустую флягу в карман, пересчитал зелененькие и пошел себе.

— Счастливо тебе оставаться, сложная твоя душа...

Он не ответил — вода сильно шумела.

Смотрю — в коридоре господин Тендер соб-

ственной персоной, красный весь и надутый, что твой индюк. Вокруг него толпа — тут и сотрудники, и корреспонденты, и пара сержантов затесалась (только что с обеда, в зубах ковыряют), а он знай себе болбочет: «Та техника, которой мы располагаем, — болбочет, — дает почти стопроцентную гарантию успеха и безопасности...» Тут он меня увидал и сразу же несколько усох — улыбается, ручкой делает. Ну, думаю, надо удирать. Рванул я когти, однако не успел. Слышу — топочут позади.

— Господин Шухарт! Господин Шухарт! Два слова о гараже!

— Комментариев не имею, — отвечаю я и перехожу на бег. Но черта с два от них оторвешься: один, с микрофоном, — справа, другой, с фотоаппаратом, — слева.

— Видели ли вы в гараже что-нибудь необычное? Буквально два слова!

— Нет у меня комментариев! — говорю я, стараясь держаться к объективу затылком. — Гараж как гараж...

— Благодарю вас. Какого вы мнения о турбоплатформах?

— Прекрасного, — говорю я, а сам нацеливаюсь точнехонько в сортир.

— Что вы думаете о целях Посещения?

— Обратитесь к ученым, — говорю. И раз — за дверь.

Слышу — скребутся. Тогда я им через дверь говорю:

— Настоятельно рекомендую, — говорю, — расспросите господина Тендера, почему у него нос как свекла. Он по скромности умалчивает, а это было наше самое увлекательное приключение.

Как они вдарят по коридору! Как лошади, ей-богу. Я выждал минуту — тихо. Высунулся — никого. И пошел себе, посвистывая. Спустился в проходную, предъявил дылде пропуск, смотрю — он мне честь отдает. Герою дня, значит.

— Вольно, сержант, — говорю. — Я вами доволен.

Он осклабился, как будто я ему бог весть как польстил.

— Ну, ты, Рыжий, молодец, — говорит. — Горжусь, — говорит, — таким знакомством.

— Что, — говорю, — будет тебе в твоей Швеции о чем девкам рассказывать?

— Спрашиваешь! — говорит. — Они ж у меня кипятком будут писать!

Нет, ничего он парень. Я, если честно, таких рослых и румяных не люблю. Девки от них без

памяти, а чего, спрашивается? Не в росте ведь дело... Иду это я по улице и размышляю, в чем же тут дело. Солнышко светит, безлюдно вокруг. И захотелось мне вдруг прямо сейчас же Гуту увидеть. Просто так. Посмотреть на нее, за руку подержать. После Зоны человеку только одно и остается — за руку девочку подержать. Особенно когда вспомнишь все эти разговоры про детей сталкеров — какие они получаются... Да уж какая сейчас Гута, мне сейчас для начала бутылку крепкого, не меньше.

Миновал я автомобильную стоянку, а там и кордон. Стоят две патрульные машины во всей своей красе, широкие, желтые, прожекторами и пулеметами, жабы, ощетинились, ну и, конечно, голубые каски — всю улицу загородили, не протолкнешься. Я иду, глаза опустил, лучше мне сейчас на них не смотреть, днем на них мне лучше не смотреть совсем: есть там два-три рыла, так я боюсь их узнать, скандал большой получится, если я их узнаю. Повезло им, ей-богу, что Кирилл меня в Институт сманил, я их, гадов, искал тогда, пришил бы и не дрогнул...

Прохожу я через эту толпу плечом вперед, совсем прошел уже, и тут слышу: «Эй, сталкер!» Ну, это меня не касается, иду дальше, волоку из

пачки сигаретку. Догоняет сзади кто-то, берет за рукав. Я эту руку с себя стряхнул и вполоборота вежливенько так спрашиваю:

— Какого дьявола цепляешься, мистер?

— Постой, сталкер, — говорит он. — Два вопроса.

Поднял я на него глаза — капитан Квотерблад. Старый знакомый. Совсем ссохся, желтый стал какой-то.

— А, — говорю, — здравия желаю, капитан. Как ваша печень?

— Ты, сталкер, мне зубы не заговаривай, — говорит он сердито, а сам так и сверлит меня глазами. — Ты мне лучше скажи, почему сразу не останавливаешься, когда тебя зовут?

И уже тут как тут две голубые каски у него за спиной — лапы на кобурах, глаз не видно, только челюсти под касками шевелятся. И где у них в Канаде таких набирают? На племя их нам прислали, что ли?.. Днем я патрулей вообще-то не боюсь, но вот обыскать, жабы, могут, а это мне в данный момент ни к чему.

— Да разве вы меня звали, капитан? — говорю. — Вы же какого-то сталкера...

— А ты, значит, уже и не сталкер?

— Как по вашей милости отсидел — бросил,

— говорю. — Завязал. Спасибо вам, капитан, глаза у меня тогда открылись. Если бы не вы...

— Что в предзоннике делал?

— Как что? Я там работаю. Два года уже.

И, чтобы закончить этот неприятный разговор, вынимаю я свое удостоверение и предъявляю его капитану Квотербладу. Он взял мою книжечку, перелистал, каждую страничку, каждую печать просто-таки обнюхал, чуть ли не облизал. Возвращает мне книжечку, а сам доволен, глаза разгорелись, и даже зарумянился.

— Извини, — говорит, — Шухарт. Не ожидал. Значит, — говорит, — не прошли для тебя мои советы даром. Что ж, это прекрасно. Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я еще тогда предполагал, что из тебя толк должен получиться. Не допускал я, чтобы такой парень...

И пошел, и пошел. Ну, думаю, вылечил я еще одного меланхолика себе на голову, а сам, конечно, слушаю, глаза смущенно опускаю, поддакиваю, руками развожу и даже, помнится, ножкой застенчиво этак панель ковыряю. Эти громилы у капитана за спиной послушали-послушали, замутило их, видно, гляжу — потопали прочь, где веселее. А капитан знай мне о перспективах излагает: ученье, мол, свет, неученье — тьма

кромешная, Господь, мол, честный труд любит и ценит, — в общем, несет он эту разнузданную тягомотину, которой нас священник в тюрьме каждое воскресенье травил. А мне выпить хочется — никакого терпежу нет. Ничего, думаю, Рэд, это ты, браток, тоже выдержишь. Надо, Рэд, терпи! Не сможет он долго в таком же темпе, вот уже и задыхаться начал... Тут, на мое счастье, одна из патрульных машин принялась сигналить. Капитан Квотерблад оглянулся, крякнул с досадой и протягивает мне руку.

— Ну что ж, — говорит. — Рад был с тобой познакомиться, честный человек Шухарт. С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства. Крепкого, правда, мне нельзя, доктора не велят, но пивка бы я с тобой выпил. Да вот видишь — служба! Ну, еще встретимся, — говорит.

Не приведи господь, думаю. Но ручку ему пожимаю и продолжаю краснеть и делать ножкой — все, как ему хочется. Потом он ушел наконец, а я чуть ли не стрелой — в «Боржч».

В «Боржче» в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь: как ни придешь — вечно эти бармены бокалы протирают,

словно у них от этого зависит спасение души. Вот так и будет стоять хоть целый день — возьмет бокал, прищурится, посмотрит на свет, подышит на него и давай тереть: потрет-потрет, опять посмотрит, теперь уже через донышко, и опять тереть...

— Здорово, Эрни! — говорю. — Хватит тебе его мучить, дыру протрешь!

Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье, Эрнест сопит в очередной бокал — хорошо, спокойно... Я допил, поставил бокал на стойку, и Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца прозрачного.

— Ну что, полегче стало? — бурчит. — Оттаял, сталкер?

— Ты знай себе три, — говорю. — Знаешь, один тёр-тёр и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.

— Это кто же такой? — спрашивает Эрни с недоверием.

— Да был такой бармен здесь, — отвечаю. —

Еще до тебя.

— Ну и что?

— Да ничего. Ты думаешь, почему Посещение было? Тёр он, тёр... Ты думаешь, кто нас посетил, а?

— Трепло ты, — говорит мне Эрни с одобрением.

Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой — жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам — снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Глаз у него наметанный, сразу видит, что сталкер из Зоны, что хабар будет, и знает Эрни, чего сталкеру после Зоны надо. Свой человек — Эрни. Благодетель.

Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе — я не знаю, но краем уха слышал, что «пустышка», например, идет там чуть ли не за две с половиной тысячи, а Эрни дает нам всего четыреста. «Батарейки» там стоят не меньше ста, а мы получаем от силы по двадцать. Наверное, и все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу, начальник станции наверняка у них на содержании... В общем, если подумать, не так уж

много Эрнест и заколачивает — процентов пятнадцать-двадцать, не больше, а если попадется — десять лет каторги ему обеспечено...

Тут мои благочестивые размышления прерывает какой-то вежливый тип. Я даже не слыхал, как он вошел. Объявляется он возле моего правого локтя и спрашивает:

— Разрешите?

— О чем речь! — говорю. — Прошу.

Маленький такой, худенький, с востреньким носиком и при галстуке бабочкой. Фотокарточка его вроде мне знакома, где-то я его уже видел, но где — не помню. Залез он на табурет рядом и говорит Эрнесту:

— Бурбон, пожалуйста! — И сразу же ко мне: — Простите, кажется, я вас знаю. Вы в Международном институте работаете, так?

— Да, — говорю. — А вы?

Он ловко выхватывает из кармашка визитку и кладет передо мной. Читаю: «Алоиз Макно, полномочный агент Бюро эмиграции». Ну, конечно, знаю я его. Пристает к людям, чтобы они из города уехали. Кому-то очень надо, чтобы мы все из города уехали. Нас, понимаешь, в Хармонте и так едва половина осталась от прежнего, так им нужно совсем место от нас очистить. Отодвинул

я карточку ногтем и говорю ему:

— Нет, — говорю, — спасибо. Не интересуюсь. Мечтаю, знаете ли, умереть на родине.

— А почему? — живо спрашивает он. — Простите за нескромность, но что вас здесь удерживает?

Так ему прямо и скажи, что меня здесь держит.

— А как же! — говорю. — Сладкие воспоминания детства. Первый поцелуй в городском саду. Маменька, папенька. Как в первый раз пьян надрался в этом вот баре. Милый сердцу полицейский участок... — Тут я достаю из кармана свой засморканный носовой платок и прикладываю к глазам. — Нет, — говорю. — Ни за что!

Он посмеялся, лизнул своего бурбону и задумчиво так говорит:

— Никак я вас, хармонтцев, не могу понять. Жизнь в городе тяжелая. Власть принадлежит военным организациям. Снабжение неважное. Под боком — Зона, живете как на вулкане. В любой момент может либо эпидемия какая-нибудь разразиться, либо что-нибудь похуже... Я понимаю — старики. Им трудно сняться с насиженного места. Но вот вы... Сколько вам лет? Года двадцать два, двадцать три, не больше... Вы поймите, наше Бюро — организация благотворительная, никакой корысти мы не извлекаем. Просто хо-

чется, чтобы люди ушли с этого дьявольского места и включились бы в настоящую жизнь. Ведь мы обеспечиваем подъемные, трудоустройство на новом месте... молодым — таким, как вы, — обеспечиваем возможность учиться... Нет, не понимаю!

— А что, — говорю я, — никто не хочет уезжать?

— Да нет, не то чтобы никто... Некоторые соглашаются, особенно люди с семьями. Но вот молодежь, старики... Ну что вам в этом городе? Это же дыра, провинция...

И тут я ему выдал.

— Господин Алоиз Макно! — говорю. — Все правильно. Городишко наш — дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас, — говорю, — это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что все переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого будет все, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звездам полетим, и куда хочешь доберемся. Вот такая у нас здесь дыра...

На этом месте я оборвал, потому что заметил, что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлением, и стало мне неловко. Я вообще не люблю

чужие слова повторять, даже если эти слова мне, скажем, нравятся. Тем более что у меня это как-то коряво выходит. Когда Кирилл говорит, заслушаться можно, рот забываешь закрывать. А я вроде бы то же самое излагаю, но получается как-то не так. Может быть, потому, что Кирилл никогда Эрнесту под прилавок хабар не складывал. Ну ладно...

Тут мой Эрни спохватился и торопливо налил мне сразу пальцев на шесть: очухайся, мол, парень, что это с тобой сегодня? А востроносый господин Макно снова лизнул своего бурбону и говорит:

— Да, конечно... Вечные аккумуляторы, «синяя панацея»... Но вы и в самом деле верите, что будет так, как вы сказали?

— Это не ваша забота, во что я там на самом деле верю, — говорю я. — Это я про город говорил. А про себя я так скажу: чего я у вас там, в Европе, не видел? Скуки вашей не видел? День вкалываешь, вечер телевизор смотришь, ночь пришла — к постылой бабе под одеяло, ублюдков плодить. Стачки ваши, демонстрации, политика раздолбанная... В гробу я вашу Европу видел, — говорю, — занюханную.

— Ну почему же обязательно Европа?..

— А, — говорю, — везде одно и то же, а в Антарктиде еще вдобавок холодно.

И ведь что удивительно: говорил я ему и всеми печенками верил в то, что говорил. И Зона наша, гадина стервозная, убийца, во сто раз милее мне в этот момент была, чем все ихние Европы и Африки. И ведь пьян еще не был, а просто представилось мне на мгновение, как я весь измочаленный с работы возвращаюсь в стаде таких же кретинов, как меня в ихнем метро давят со всех сторон и как все мне обрыдло и ничего мне не хочется.

— А вы что скажете? — обращается востроносый к Эрнесту.

— У меня дело, — веско отвечает Эрни. — Я вам не сопляк какой-нибудь! Я все свои деньги в это дело вложил. Ко мне иной раз сам комендант заходит, генерал, не хвост собачий. Чего же я отсюда поеду?..

Господин Алоиз Макно принялся ему что-то втолковывать с цифрами, но я его уже не слушал. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка — «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на ме-

ня хорошо действует после Зоны... Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к «однорукому бандиту» старые счеты сводить. И полетело время, как птичка...

Просаживаю это я последний никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Гуталин уже на бровях — вращает белками и ищет, кому бы дать в ухо, а Ричард Нунан нежно держит его под руку и отвлекает анекдотами. Хороша парочка! Гуталин здоровенный, черный, как офицерский сапог, курчавый, ручищи до колен, а Дик — маленький, кругленький, розовенький весь, благостный, только что не светится.

— А! — кричит Дик, увидев меня. — Вот и Рэд здесь! Иди к нам, Рэд!

— Пр-равильно! — ревет Гуталин. — Во всем городе есть только два человека — Рэд и я! Все остальные — свиньи, дети сатаны. Рэд! Ты тоже служишь сатане, но ты все-таки человек...

Я подхожу к ним со своим бокалом, Гуталин сгребает меня за куртку, сажает за столик и говорит:

— Садись, Рыжий! Садись, слуга сатаны! Люблю тебя. Восплачем о грехах человеческих. Горько восплачем!

— Восплачем, — говорю. — Глотнем слез греха.

— Ибо грядет день, — возвещает Гуталин. — Ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его. И тщетны молитвы продавшихся сатане. И спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, — вам говорю: слепые! Опомнитесь, сволочи, пока не поздно! Растопчите дьявольские бирюльки! — Тут он вдруг замолчал, словно забыл, как будет дальше. — А выпить мне здесь дадут? — спросил он уже другим голосом. — Или где это я?.. Знаешь, Рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят. Я им объясняю: опомнитесь, сами слепые, в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете! Смеются. Ну, я дал управляющему по харе и ушел. Посадят теперь. А за что?

Подошел Дик, поставил на стол бутылку.

— Сегодня я плачу! — крикнул я Эрнесту.

Дик на меня скосился.

— Все законно, — говорю. — Премию будем пропивать.

— В Зону ходили? — спрашивает Дик. — Что-нибудь вынесли?

— Полную «пустышку», — говорю я. — На алтарь

науки. И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?

— «Пустышку»!.. — горестно гудит Гуталин. — За какую-то «пустышку» жизнью своей рисковал! Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие. А как ты можешь знать, Рыжий, сколько горя и греха...

— Засохни, Гуталин, — говорю я ему строго. — Пей и веселись, что я живой вернулся. За удачу, ребята!

Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис — сидит, плачет, течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая — обливаться слезами и проповедовать, что Зона, мол, есть дьявольский соблазн, выносить из нее ничего нельзя, а что уже вынесли — вернуть обратно и жить так, будто Зоны вовсе нет. Дьяволово, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят, а потом ночью прет этот хабар обратно, в Зону, и там закапывает... Во ревет-то, господи помилуй! Ну ничего, он еще разойдется.

— А что это такое — «полная пустышка»? — спрашивает Дик. — Просто «пустышку» я знаю, а

вот что такое полная? Первый раз слышу.

Я ему объяснил. Он головой покачал, губами почмокал.

— Да, — говорит. — Это интересно. Это, — говорит, — что-то новенькое. А с кем ты ходил? С русским?

— Да, — отвечаю. — С Кириллом и с Тендером. Знаешь, наш лаборант.

— Намучился с ними, наверное...

— Ничего подобного. Вполне прилично держались ребята. Особенно Кирилл. Прирожденный сталкер, — говорю. — Ему бы опыта побольше, торопливость с него эту ребячью сбить, я бы с ним каждый день в Зону ходил.

— И каждую ночь? — спрашивает он с пьяным смешком.

— Ты это брось, — говорю. — Шутки шутками...

— Знаю, — говорит он. — Шутки шутками, а за такое и по морде можно схлопотать. Считай, что я тебе должен две плюхи...

— Кому две плюхи? — встрепенулся Гуталин. — Который здесь?

Схватили мы его за руки, еле усадили. Дик ему сигарету в зубы вставил и зажигалку поднес. Успокоили. А народу тем временем все прибавляется. Стойку уже облепили, многие столики

заняты. Эрнест своих девок кликнул, бегают они, разносят кому что — кому пива, кому коктейлей, кому чистого. Я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось — все больше какие-то молокососы в пестрых шарфах до полу. Я сказал об этом Дику. Дик кивнул.

— А как же, — говорит. — Начинается большое строительство. Институт три новых здания закладывает, а кроме того, Зону собираются стеной огородить — от кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются...

— А когда они у сталкеров были? — говорю. А сам думаю: вот тебе и на, что еще за новости? Значит, теперь не подработаешь. Ну что ж, может, это и к лучшему — соблазна меньше. Буду ходить в Зону днем, как порядочный, — деньги, конечно, не те, но зато куда безопаснее: «галоша», спецкостюм, то-се, и на патрулей наплевать... Прожить можно и на зарплату, а выпивать буду на премиальные. И такая меня тоска взяла! Опять каждый грош считать: это можно себе позволить, это нельзя себе позволить, Гуте на любую тряпку копи, в бар не ходи, ходи в кино... И серо все, серо. Каждый день серо, и каждый вечер, и каждую ночь.

Сижу я так, думаю, а Дик над ухом гудит:

— Вчера в гостинице зашел я в бар принять ночной колпачок — сидят какие-то новые. Сразу они мне не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека, дает понять, что он меня знает, знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги...

— Шпик, — говорю я. Не очень мне интересно было все это, шпиков я здесь навидался и разговоров насчет услуг наслышался.

— Нет, милый мой, не шпик. Ты послушай. Я немножко с ним побеседовал, — осторожно, конечно, дурачка такого состроил. Его интересуют кое-какие предметы в Зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, «зуда», «черные брызги» и прочая бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекал.

— Так что же ему нужно? — спрашиваю я.

— «Ведьмин студень», как я понял, — говорит Дик и странно как-то на меня смотрит.

— Ах, «ведьмин студень» ему нужен! — говорю я. — А «смерть-лампа» ему, случайно, не нужна?

— Я его тоже так спросил.

— Ну?

— Представь себе, нужна.

— Да? — говорю я. — Ну так пусть сам и добыва-

ет все это. Это же раз плюнуть! «Ведьмина студня» вон полные подвалы, бери ведро да зачерпывай. Похороны за свой счет.

Дик молчит, смотрит на меня исподлобья и даже не улыбается. Что за черт, нанять он меня хочет, что ли? И тут до меня дошло.

— Подожди, — говорю. — Кто же это такой был? «Студень» запрещено даже в Институте изучать...

— Правильно, — говорит Дик неторопливо, а сам все на меня смотрит. — Исследования, представляющие потенциальную опасность для человечества. Понял теперь, кто это?

Ничего я не понимал.

— Пришельцы, что ли? — говорю.

Он расхохотался, похлопал меня по руке и говорит:

— Давай-ка лучше выпьем, простая ты душа!

— Давай, — говорю, но злюсь. Какого хрена — нашли себе простую душу, сукины дети! — Эй, — говорю, — Гуталин! Хватит спать, давай выпьем.

Нет, спит Гуталин. Положил свою черную ряшку на черный столик и спит, руки до полу свесил. Выпили мы с Диком без Гуталина.

— Ну ладно, — говорю. — Простая я там душа

или сложная, а про этого типа я бы тут же донес куда следует. Уж на что я не люблю полицию, а сам бы пошел и донес.

— Угу, — говорит Дик. — А тебя бы в полиции спросили: а почему, собственно, оный тип именно к вам обратился? А?

Я помотал головой.

— Все равно. Ты, толстый боров, в городе третий год, а в Зоне ни разу не был, «ведьмин студень» только в кино видел, а посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает — ты бы тут же и обгадился. Это, милок, страшная штука, ее из Зоны выносить нельзя... Сам знаешь, сталкеры — люди грубые, им только капусту подавай, да побольше, но на такое даже покойный Слизняк не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет... Я даже представить себе боюсь, кому и для чего «ведьмин студень» может понадобиться...

— Что ж, — говорит Дик, — все это правильно. Только мне, понимаешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке покончившего жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже...

Тут Эрнест вдруг заорал из-за стойки:

— Господин Нунан! Вас к телефону!

— Вот дьявол, — говорит Дик злобно. — Опять, наверное, рекламация. Везде найдут. Извини, — говорит, — Рэд.

Встает он и уходит к телефону. А я остаюсь с Гуталином и с бутылкой, и поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку вплотную. Черт бы побрал эту Зону, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь — Зона, Зона, Зона... Хорошо, конечно, Кириллу рассуждать, что из Зоны проистечет вечный мир и благорастворение воздухов. Кирилл — хороший парень, никто его дураком не назовет, наоборот — умница, но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой сволочи крутится вокруг Зоны. Вот теперь пожалуйста: «ведьмин студень» кому-то понадобился. Нет, Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь-подумаешь, да и скажешь: может, действительно оставить дьяволово дьяволу? Не тронь дерьмо...

Тут усаживается на место Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.

— Господин Шухарт? — спрашивает.

— Ну? — говорю.

— Меня зовут Креон, — говорит. — Я с Мальты.

— Ну, — говорю. — И как там у вас на Мальте?

— У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.

Так, думаю. Сволочь все-таки этот Эрнест. Ни жалости в нем нет, ничего. Вот сидит парнишка — смугленький, чистенький, красавчик, не брился поди еще ни разу и девку еще ни разу не целовал, а Эрнесту все равно, ему бы только побольше народу в Зону загнать, один из трех с хабаром вернется — уже капуста...

— Ну и как поживает старина Эрнест? — спрашиваю.

Он оглянулся на стойку и говорит:

— По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.

— А я бы нет, — говорю. — Выпить хочешь?

— Спасибо, я не пью.

— Ну, закури, — говорю.

— Извините, но я и не курю тоже.

— Черт тебя подери! — говорю я ему. — Так зачем тебе тогда деньги?

Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит:

— Наверное, — говорит, — это только меня касается, господин Шухарт, правда ведь?

— Что правда, то правда, — говорю я и наливаю

себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит, и в теле этакая приятная расслабленность: совсем отпустила Зона. — Сейчас я пьян, — говорю. — Гуляю, как видишь. Ходил в Зону, вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой, и уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что давай отложим серьезный разговор...

Тут он вскакивает, говорит «извините», и я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю — что-то случилось.

— Ну, — спрашиваю, — опять твои баллоны вакуум не держат?

— Да, — говорит он. — Опять.

Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплевывает — тот еще работничек.

— Давай, — говорит, — выпьем, Рэд. — И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую. — Ты знаешь, — говорит он, — Кирилл Панов умер.

Сквозь хмель я его не сразу понял. Умер там кто-то и умер.

— Что ж, — говорю, — выпьем за упокой ду-

ши...

Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно все у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, уперся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.

— Кирилл?!. — А у самого перед глазами серебряная паутина, и снова я слышу, как она потрескивает, разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос Дика доходит до меня как из другой комнаты:

— Разрыв сердца. В душевой его нашли, голого. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали, я сказал, что ты в полном порядке...

— А чего тут не понимать? — говорю. — Зона...

— Ты сядь, — говорит мне Дик. — Сядь и выпей.

— Зона... — повторяю я и не могу остановиться. — Зона... Зона...

Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине, люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит, лицо у него удивленное, детское — ничего не понимает.

— Малыш, — говорю я ему ласково, — сколько тебе денег надо? Тысячи хватит? На! Бери, бери!

— Сую я ему деньги и уже кричу: — Иди к Эрнесту и скажи ему, что он сволочь и подонок, не бойся, скажи! Он же трус!.. Скажи и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!..

Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой, Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает:

— Ты сегодня вроде при деньгах?

— Да, — говорю, — при деньгах...

— Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.

И тут я вижу — в кулаке у меня пачка денег. Смотрю я на эту капусту зеленую и бормочу:

— Надо же, не взял, значит, Креон Мальтийский... Гордый, значит... Ну, все остальное — судьба.

— Что это с тобой? — спрашивает друг Эрни. — Перебрал малость?

— Нет, — говорю. — Я, — говорю, — в полном порядке. Хоть сейчас в душ.

— Шел бы ты домой, — говорит друг Эрни. — Перебрал ты малость.

— Кирилл умер, — говорю я ему.

— Это который Кирилл? Шелудивый, что ли?

— Сам ты шелудивый, сволочь, — говорю я ему.

— Из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Паскуда ты, — говорю. — Торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелененькие... Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь, ногами кого-то пинаю, потом опомнился — сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю, и тик мне какой-то щеку сводит, никогда этого раньше не было. А из зала — шум, трещит там что-то, посуда бьется, девки визжат, и слышу — Гуталин ревет, как белый медведь во время случки: «Покайтесь, паразиты! Где Рыжий? Куда Рыжего дели, дьяволово семя?..» И полицейская сирена завывает.

Как она завыла, тут у меня в мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет — одна ледяная злоба. Так, думаю, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер, торгаш ты вонючий. Вытащил я из часового карманчика «зуду», новенькую, ни разу не пользованную, пару раз сжал ее между пальцами для

разгона, дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонько в плевательницу. А сам окошко в сортире распахнул — и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится, но надо было рвать когти. Я эту «зуду» переношу плохо, у меня от нее кровь из носа идет.

Перебежал я через двор и слышу: заработала моя «зуда» на полную катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу — они первыми «зуду» чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался, — кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться... Страшная штука — «зуда». Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, сволочь, конечно, догадается про меня, да только мне наплевать... Все. Нет больше сталкера Рэда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только, выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в Зоне добра.

Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Впереди пустота, ничего нет. Тоска, будни. Ки-

рилл, дружок мой единственный, как же это мы с тобой? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал, про новый мир, про измененный мир... А теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, паразит, не кто-нибудь, а я! Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли? Всю жизнь волком жил, всю жизнь об одном себе думал... И вот в кои-то веки вздумал облагодетельствовать, подарочек поднести. На кой черт я вообще ему про эту «пустышку» сказал?.. И как вспомнил я об этом — взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл — люди от меня что-то шарахаться стали, а потом вдруг словно бы полегчало — смотрю: Гута идет.

Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазеют, а она идет как по струночке, ни на кого не глядит, и почему-то я сразу понял, что это она меня ищет.

— Здравствуй, — говорю, — Гута. Куда это ты, — говорю, — направилась?

Она окинула меня взглядом, в момент все увидела — и морду у меня разбитую, и куртку

мокрую, и кулаки в ссадинах, но ничего про это не сказала, а говорит только:

— Здравствуй, Рэд. А я как раз тебя ищу.

— Знаю, — говорю. — Пойдем ко мне.

Она молчит, отвернулась и в сторону смотрит. Ах как у нее головка-то посажена, шейка какая — как у кобылки молоденькой, гордой, но покорной уже своему хозяину. Потом она говорит:

— Не знаю, Рэд. Может, ты со мной больше встречаться не захочешь.

У меня сердце сразу сжалось — что еще? Но я спокойно ей так говорю:

— Что-то я тебя не понимаю, Гута. Ты меня извини, я сегодня маленько того, может, поэтому плохо соображаю... Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться?

Беру я ее под руку, и идем мы не спеша к моему дому, и все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо рыла прячут. Я на этой улице всю жизнь живу, Рэда Рыжего здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро узнает, и он это чувствует.

— Мать велит аборт делать, — говорит вдруг Гута. — А я не хочу.

Я еще несколько шагов прошел, прежде чем понял, а Гута продолжает:

— Не хочу я никаких абортов, я ребенка хочу от тебя. А ты — как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.

Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит, слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится: одним человеком меньше — одним человеком больше.

— Она мне толкует, — говорит Гута, — ребенок, мол, от сталкера, чего тебе уродов плодить? Проходимец он, говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле — завтра в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. Я и сама могу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи — на порог не пущу...

— Гута, — говорю, — девочка моя! Да подожди ты... — А сам не могу, смех меня разбирает какой-то нервный, идиотский. — Ласточка моя, — говорю, — чего же ты меня гонишь, в самом деле?

Я хохочу как последний дурак, а она остановилась, уткнулась мне в грудь и ревет.

— Как же мы теперь будем, Рэд? — говорит она сквозь слезы. — Как же мы теперь будем?

2. Рэдрик Шухарт, 28 лет, женат, без определенных занятий

Рэдрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожектора патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам, и тогда он зажмуривался и задерживал дыхание.

Прошло уже два часа, а на дороге все оставалось по-прежнему. Машина, мерно клокоча двигателем, работающим вхолостую, стояла на месте и все шарила и шарила своими тремя прожекторами по заросшим запущенным могилам, по покосившимся ржавым крестам и плитам, по неряшливо разросшимся кустам рябины, по гребню трехметровой стены, обрывавшейся слева. Патрульные боялись Зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Рэдрика доносились приглушенные голоса, иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро, недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Рэдрик ощущал влажный

холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва и вроде бы посыпалась земля, а потом с негромким стуком упало тяжелое и твердое. Рэдрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Рэдрик замер, следя за его бесшумным движением, ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, повернув в сторону Рэдрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Рэдрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам.

В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал

Барбридж. Он по-прежнему лежал на спине, оттягивая обеими руками воротник свитера, и тихонько, мучительно кряхтел, то и дело срываясь на стоны. Рэдрик сел рядом с ним и отвинтил колпачок у фляги. Потом он осторожно запустил руку под голову Барбриджа, всей ладонью ощущая липкую от пота, горячую лысину, и приложил горлышко фляги к губам старика. Было темно, но в слабых отсветах прожекторов Рэдрик видел широко раскрытые и словно бы остекленевшие глаза Барбриджа, черную щетину, покрывающую его щеки. Барбридж жадно глотнул несколько раз, а затем беспокойно задвигался, ощупывая рукой мешок с хабаром.

— Вернулся... — проговорил он. — Хороший парень... Рыжий... не бросишь старика... подыхать...

Рэдрик, запрокинув голову, сделал хороший глоток.

— Стоит, жаба, — сказал он. — Как приклеенная.

— Это... неспроста... — проговорил Барбридж. Говорил он отрывисто, на выдохе. — Настучал кто-то. Ждут.

— Может быть, — сказал Рэдрик. — Дать еще глоток?

— Нет. Хватит пока. Ты меня не бросай. Не

бросишь — не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, Рыжий?

Рэдрик не ответил. Он смотрел в сторону шоссе на голубые сполохи прожекторов. Мраморный обелиск был виден отсюда, но непонятно было, сидит там *этот* или сгинул.

— Слушай, Рыжий. Я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив? Знаешь? Боб Горилла сгинул, Фараон Банкер погиб, как не было. Какой был сталкер! А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик. Каллоген. Пит Болячка. Все. Один я остался. Почему? Знаешь?

— Подлец ты всегда был, — сказал Рэдрик, не отрывая глаз от шоссе. — Стервятник.

— Подлец. Это верно. Без этого нельзя. Но ведь и все так. Фараон. Слизняк. А остался один я. Знаешь почему?

— Знаю, — сказал Рэдрик, чтобы отвязаться.

— Врешь. Не знаешь. Про Золотой Шар слыхал?

— Слыхал.

— Думаешь — сказка?

— Ты бы молчал лучше, — посоветовал Рэдрик. — Силы ведь теряешь!

— Ничего, ты меня вынесешь. Мы с тобой столько ходили! Неужели бросишь? Я тебя вот такого...

маленького знал. Отца твоего.

Рэдрик молчал. Очень хотелось курить, он вытащил сигарету, выкрошил табак на ладонь и стал нюхать. Не помогало.

— Ты меня должен вытащить, — проговорил Барбридж. — Это из-за тебя я погорел. Это ты Мальтийца не взял.

Мальтиец очень набивался пойти с ними. Целый вечер угощал, предлагал хороший залог, клялся, что достанет спецкостюм, и Барбридж, сидевший рядом с Мальтийцем, загородившись от него тяжелой морщинистой ладонью, яростно подмигивал Рэдрику: соглашайся, мол, не прогадаем. Может быть, именно поэтому Рэдрик сказал тогда «нет».

— Из-за жадности своей ты погорел, — холодно сказал Рэдрик. — Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

Некоторое время Барбридж только кряхтел. Он снова запустил пальцы за воротник и совсем запрокинул голову.

— Пусть весь хабар твой будет, — прокряхтел он, — только не бросай.

Рэдрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного, а патрульная машина все не уходила. Прожектора ее продолжали шарить

по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный «лендровер», и каждую минуту его могли обнаружить.

— Золотой Шар, — сказал Барбридж. — Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели. Я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Хрена — любое! Если бы любое, меня б здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

Рэдрик посмотрел на него сверху вниз. В бегущих голубых отсветах запрокинутое лицо Барбриджа казалось мертвым. Но стеклянные глаза его выкатились и пристально, не отрываясь, следили за Рэдриком.

— Вечную молодость — хрен я получил, — бормотал он. — Денег — хрен. А вот здоровье — да. И дети у меня хорошие. И жив. Ты такого во сне не видел, где я был. И все равно — жив. — Он облизал губы. — Я его только об этом прошу. Жить, мол, дай. И здоровья. И чтобы дети.

— Да заткнись ты, — сказал наконец Рэдрик. — Что ты как баба? Если смогу — вытащу. Дину мне твою жалко — на панель ведь пойдет девка...

— Дина... — прохрипел Барбридж. — Деточка моя. Красавица. Они ж у меня балованные, Рыжий. Отказа не знали. Пропадут. Артур. Арчи мой. Ты ж его знаешь, Рыжий. Где ты еще таких

видел?

— Сказано тебе: смогу — вытащу.

— Нет, — упрямо сказал Барбридж. — Ты меня в любом случае вытащишь. Золотой Шар. Хочешь — скажу где?

— Ну, скажи.

Барбридж застонал и пошевелился.

— Ноги мои... — прокряхтел он. — Пощупай, как там.

Рэдрик протянул руку и, ощупывая, провел по его ноге ладонью от колена и ниже.

— Кости... — хрипел Барбридж. — Кости есть еще?

— Есть, есть, — соврал Рэдрик. — Не суетись.

На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка, ее можно было узлом завязать.

— Врешь ведь, — сказал Барбридж. — Зачем врешь? Что я — не знаю, не видел никогда?

— Колени целы, — сказал Рэдрик.

— Врешь ведь, наверное, — сказал Барбридж с тоской. — Ну, ладно. Ты только меня вытащи. Я тебе всё. Золотой Шар. Карту нарисую. Все ловушки укажу. Всё расскажу...

Он говорил и обещал еще что-то, но Рэдрик

уже не слушал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожектора больше не метались по кустам, они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске, и в ярком голубом тумане Рэдрик отчетливо увидел согнутую фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожектора. Рэдрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю, и через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нелепым, нечеловеческим упорством, как заведенный механизм.

И вдруг прожектора погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной. Рэдрик судорожно глотнул и распустил «молнию» на комбинезоне.

— Никак уехали... — лихорадочно забормотал Барбридж. — Рыжий, давай... Давай по-быстрому! — Он заерзал, зашарил вокруг себя руками, схватил мешок с хабаром и попытался подняться.

— Ну давай, чего сидишь!

Рэдрик все смотрел в сторону шоссе. Теперь там было темно и ничего не было видно, но где-то там был *этот* — вышагивал, словно заводная кукла, оступаясь, падая, налетая на кресты, путаясь в кустарнике.

— Ладно, — сказал Рэдрик вслух. — Пойдем.

Он поднял Барбриджа. Старик как клещами обхватил его левой рукой за шею, и Рэдрик, не в силах выпрямиться, на четвереньках поволок его через дыру в ограде, хватаясь руками за мокрую траву.

— Давай, давай... — хрипел Барбридж. — Не беспокойся, хабар я держу, не выпущу... Давай!

Тропа была знакомая, но мокрая трава скользила, ветки рябины хлестали по лицу, грузный старик был неимоверно тяжел, словно мертвец, да еще мешок с хабаром, позвякивая и постукивая, все время цеплялся за что-то, и еще страшно было наткнуться на *этого*, который, может быть, все еще блуждал здесь в потемках.

Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями

ночной мрак уже засинел, и потянуло оттуда знобким влажным ветерком. Рэдрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел «лендровер», сбросил с капота и кузова маскирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги.

— Быстро! — прохрипел он. — Быстро давай! Колени, целы еще у меня колени... Колени бы спасти!

Рэдрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж со стуком рухнул на заднее сиденье и застонал. Мешок он так и не выпустил. Рэдрик подобрал с земли и бросил на него сверху просвинцованный плащ. Барбридж ухитрился притащить с собой и плащ.

Рэдрик достал фонарик и прошелся взад-вперед по обочине, высматривая следы. Следов, в общем, не было. Выкатываясь на шоссе, «лендровер» примял высокую густую траву, но трава эта должна была подняться через несколько часов. Вокруг места, где стоял патрульный автомобиль, валялось огромное количество окурков. Рэдрик вспомнил, что давно хочет курить, вытащил

сигарету и закурил, хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.

— Что же ты? — плачущим голосом сказал из машины Барбридж. — Воду не вылил, снасти все сухие... Чего стоишь? Прячь хабар!

— Заткнись! — сказал Рэдрик. — Не мешай! — Он затянулся. — На южную окраину свернем, — сказал он.

— Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник! Колени!

Рэдрик затянулся последний раз и сунул окурок в спичечный коробок.

— Не пыли, Стервятник, — сказал он. — Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной да остановят.

— Ну и что?

— Посмотрят твои копыта — и конец.

— А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор!

— А если кто-нибудь пощупает?

— Пощупает... Я так заору, что вперед забудет, как щупать.

Но Рэдрик все уже решил. Он поднял водительское сиденье, подсвечивая себе фонариком,

открыл потайную крышку и сказал:

— Давай сюда хабар.

Бензобак под сиденьем был фальшивым. Рэдрик принял мешок и затолкал его внутрь, слыша, как в мешке звякает и перекатывается.

— Мне рисковать нельзя, — пробормотал он. — Не имею права.

Он поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверху тряпок и опустил сиденье. Барбридж кряхтел, постанывал, жалобно требовал поторопиться, опять принялся обещать Золотой Шар, а сам все вертелся на своем сиденье, встревоженно вглядываясь в редеющую тьму. Рэдрик не обращал на него внимания. Он вспорол налитый водой пластиковый пузырь с рыбой, воду вылил на рыболовные снасти, уложенные на дне кузова, а бьющуюся рыбу пересыпал в брезентовый мешок. Пластиковый пузырь он сложил и сунул в карман комбинезона. Теперь все было в порядке: рыбаки возвращались с не слишком удачного лова. Он сел за руль и тронул машину.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая Зону, а справа были кусты, реденькие рощицы, иногда попадались заброшенные

коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Рэдрик хорошо видел в темноте, да и темнота не была уже такой плотной, и, кроме того, он знал, что сейчас будет, поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода. Он только пригнулся пониже к рулю. *Этот* вышагивал прямо посередине шоссе — как и все они, он шел в город. Рэдрик обогнал его, прижав машину к обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

— Матерь божия! — пробормотал сзади Барбридж. — Рыжий, ты видел?

— Да, — сказал Рэдрик.

— Господи!.. Этого нам еще не хватало!.. — бормотал Барбридж и вдруг принялся громко читать молитву.

— Заткнись! — прикрикнул на него Рэдрик.

Поворот должен был быть где-то здесь. Рэдрик замедлил ход, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, потянувшуюся справа. Старая трансформаторная будка... столб с подпоркой... подгнивший мостик через кювет... Рэдрик повернул руль. Машину подбросило на колдобине.

— Ты куда?! — дико заорал Барбридж. — Ноги мне загубишь, сволочь!

Рэдрик на секунду повернулся и наотмашь ударил старика по лицу, ощутив тыльной стороной ладони колючую щеку. Барбридж поперхнулся и замолк. Машину подбрасывало, колеса то и дело пробуксовывали в свежей после ночного дождя грязи. Рэдрик включил фары. Белый прыгающий свет озарил заросшие травой старые колеи, огромные лужи, гнилые, покосившиеся заборы по сторонам. Барбридж плакал, всхлипывая и сморкаясь. Он больше ничего не обещал, он жаловался и грозился, но очень негромко и неразборчиво, так что Рэдрику были слышны только отдельные слова. Что-то о ногах, о коленях, о красавчике Арчи... Потом он затих.

Поселок тянулся вдоль западной окраины города. Когда-то здесь были дачи, огороды, фруктовые сады, летние резиденции городского начальства и заводской администрации. Зеленые веселые места, маленькие озера с чистыми песчаными берегами, прозрачные березовые рощи, пруды, в которых разводили карпов. Заводская вонь и заводские едкие дымы сюда никогда не доходили, так же, впрочем, как и городская канализация. Теперь все здесь было покинуто и заброшено, и за все время им попался всего один жилой дом — желто светилось задернутое занавеской окошко,

висело на веревках промокшее от дождя белье, и огромный пес, заходясь от ярости, вылетел сбоку и некоторое время гнался за машиной в вихре комьев грязи, летевшей из-под колес.

Рэдрик осторожно переехал еще через один старый перекосившийся мостик и, когда впереди завиднелся поворот на Западное шоссе, остановил машину и заглушил двигатель. Потом он вылез на дорогу, не обернувшись на Барбриджа, и пошел вперед, зябко засунув руки в сырые карманы комбинезона. Было уже совсем светло. Все вокруг было мокрое, тихое, сонное. Он дошел до шоссе и осторожно выглянул из-за кустов. Полицейская застава хорошо была видна отсюда: маленький домик на колесах, три светящихся окошка, дымок из узкой высокой трубы; патрульная машина стояла у обочины, в ней никого не было. Некоторое время Рэдрик стоял и смотрел. На заставе не было никакого движения: видимо, патрульные озябли и измотались за ночь и теперь грелись в домике — дремали с сигареткой, прилипшей к нижней губе.

— Жабы, — негромко сказал Рэдрик.

Он нащупал в кармане кастет, просунул пальцы в овальные отверстия, зажал в кулаке холодный металл и, все так же зябко сутулясь, не вынимая

рук из карманов, пошел обратно. «Лендровер», слегка накренившись, стоял между кустами. Место было глухое, заброшенное — никто сюда, наверное, не заглядывал уже лет десять.

Когда Рэдрик подошел к машине, Барбридж приподнялся и посмотрел на него, приоткрыв рот. Сейчас он выглядел даже старше, чем обычно, — морщинистый, лысый, обросший нечистой щетиной, гнилозубый. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, и вдруг Барбридж сказал невнятно:

— Карту дам... все ловушки, всё... Сам найдешь, не пожалеешь...

Рэдрик слушал его, не двигаясь, потом разжал пальцы, выпуская в кармане кастет, и сказал:

— Ладно. Твое дело — лежать в обмороке, понял? Стони и не давай прикасаться.

Он сел за руль, включил двигатель и тронул машину.

И все обошлось. Никто не вышел из домика, когда «лендровер» в аккуратном соответствии со знаками и указателями медленно прокатил мимо, а затем, все наращивая и наращивая скорость, помчался в город через южную окраину. Было шесть часов утра, улицы были пусты, асфальт мокрый и черный, автоматические светофоры

одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках. Они миновали пекарню с высокими, ярко освещенными окнами, и Рэдрика обдало волной теплого, необыкновенно вкусного запаха.

— Жрать охота, — сказал Рэдрик и, разминая затекшие от напряжения мышцы, потянулся, упираясь руками в руль.

— Что? — испуганно спросил Барбридж.

— Жрать, говорю, охота... Тебя куда? Домой или прямо к Мяснику?

— К Мяснику, к Мяснику гони! — торопливо забормотал Барбридж, весь подавшись вперед, лихорадочно и горячо дыша Рэдрику в затылок. — Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще семьсот монет должен. Да гони ты, гони, что ты ползешь, как вошь по мокрому месту! — И вдруг принялся ругаться бессильно и злобно, черными, грязными словами, брызгая слюной, задыхаясь и заходясь в приступах кашля.

Рэдрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомирить расходившегося Стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в «Метрополе». Он вывернул на Шестнадцатую улицу, проехал два квартала и остановил маши-

ну перед серым двухэтажным особняком.

Мясник открыл ему сам — видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке — стакан со вставной челюстью. Волосы были взлохмачены, под мутными глазами набрякли темные мешочки.

— А! — сказал он. — Рыший? Што скашешь?

— Надевай зубы и пойдем, — сказал Рэдрик.

— Угу, — отозвался Мясник, приглашающе мотнул головой в глубину холла, а сам, шаркая персидскими туфлями и двигаясь с удивительной быстротой, направился в ванную. — Кто? — спросил он оттуда.

— Барбридж, — ответил Рэдрик.

— Что?

— Ноги.

В ванной полилась вода, раздалось фырканье, плеск, что-то упало и покатилось по кафельному полу. Рэдрик устало присел в кресло, вынул сигарету и закурил, озираясь. Да, холл был ничего себе. Мясник денег не жалел. Он был очень опытным и очень модным хирургом, светилом медицины не только города, но и штата, и со сталкерами он связался, конечно, не из-за денег. Он тоже брал свою долю с Зоны: брал натурой,

разным хабаром, который применял в своей медицине; брал знаниями, изучая на покалеченных сталкерах неизвестные ранее болезни, уродства и повреждения человеческого организма; брал славой, славой первого на планете врача — специалиста по нечеловеческим заболеваниям человека. Деньгами он, впрочем, тоже брал с охотой.

— Что именно с ногами? — спросил он, появляясь из ванной с огромным полотенцем на плече. Краем полотенца он осторожно вытирал длинные нервные пальцы.

— Вляпался в «студень», — сказал Рэдрик.

Мясник свистнул.

— Значит, конец Барбриджу, — пробормотал он. — Жалко, знаменитый был сталкер.

— Ничего, — сказал Рэдрик, откидываясь в кресле. — Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по Зоне попрыгает.

— Ну, хорошо, — сказал Мясник. Лицо у него сделалось совсем деловое. — Подожди, я сейчас оденусь.

Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Рэдрик неподвижно полулежал в кресле и курил. Только один раз он пошевелился, чтобы

вытащить флягу. Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать. Он просто ждал.

Потом они вместе вышли к машине, Рэдрик сел за руль, Мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, стал ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, сразу как-то съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, Мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Рэдрик снова закурил, а Барбридж вдруг сказал ясно и раздельно, словно совсем успокоившись:

— Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.

— Не убил ведь, — равнодушно сказал Рэдрик.

— Да, не убил... — Барбридж помолчал. — Это я тоже запомню.

— Запомни, запомни, — сказал Рэдрик. — Ты бы, конечно, меня убивать не стал...

Он обернулся и посмотрел на Барбриджа. Старик неуверенно кривил рот, подергивая пересохшими губами.

— Ты бы меня просто бросил, — сказал Рэдрик. — Оставил бы меня в Зоне, и концы в воду. Как

Очкарика.

— Очкарик сам помер, — угрюмо возразил Барбридж. — Я тут ни при чем. Приковало его.

— Сволочь ты, — равнодушно сказал Рэдрик, отворачиваясь. — Стервятник.

Из подъезда выскочили сонные встрепанные санитары и, на ходу разворачивая носилки, подбежали к машине. Рэдрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди и отрешенно глядя в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные «студнем», были странно и неестественно вывернуты.

Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после Посещения, когда Зона еще не называлась Зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Рэдрику было тогда десять лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной — он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой сволочью он уже

был, потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену, шумно, всем напоказ... Так и забил до смерти.

Рэдрик развернул «лендровер» и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой.

Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел управляющего, который шел к нему со стороны скверика. Как всегда, управляющий был не в духе, помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шел, а по навозной жиже.

— Доброе утро, — сказал ему Рэдрик вежливо.

Управляющий, остановившись в двух шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо.

— Это ваша работа? — невнятно спросил он. Видно было, что это первые его слова со вчерашнего дня.

— Вы о чем?

— Качели эти... Вы поставили?

— Я.

— Для чего?

Рэдрик, не отвечая, подошел к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий по-

следовал за ним и остановился у него за спиной.

— Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?

— Дочка попросила, — сказал Рэдрик очень спокойно. Он откатил ворота.

— Я вас не про дочку спрашиваю! — Управляющий повысил голос. — О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил? Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?

Рэдрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в бледную, с прожилочками переносицу. Управляющий отступил на шаг и произнес тоном пониже:

— И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам...

— Напрасно стараетесь, — сказал Рэдрик. — Все равно я отсюда не съеду.

Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал:

— Но уж если придется все-таки съехать, сволочь, тогда молись.

Он загнал машину в гараж, включил лампу и

закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок с хабаром, привел машину в порядок, всунул мешок в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. Потом он еще раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплющенная сигарета. Рэдрик отодрал ее — сигарета оказалась шведская. Рэдрик подумал и сунул ее в спичечный коробок. В коробке уже было три окурка.

На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома, а Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей — терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.

— Ну ладно... — проговорила она наконец

низким хрипловатым голосом, отпустила его и включила в прихожей свет, а сама, не оборачиваясь, пошла на кухню. — Сейчас я тебе кофе... — сказала она оттуда.

— Я тут рыбу приволок, — сказал он нарочито бодрым голосом. — Зажарь, да всё сразу жарь, жрать охота — сил нет!

Она вернулась, пряча лицо в распущенных волосах, он поставил корзину на пол, помог ей вынуть сетку с рыбой, и они вместе отнесли сетку на кухню и вывалили рыбу в мойку.

— Иди мойся, — сказала она. — Пока помоешься, все будет готово.

— Как Мартышка? — спросил Рэдрик, усаживаясь и стягивая с ног сапоги.

— Да болтала весь вечер, — отозвалась Гута. — Еле-еле я ее уложила. Пристает все время: где папа, где папа? Вынь да положь ей папу...

Она ловко и бесшумно двигалась по кухне — крепкая, ладная, и уже закипала вода в котелке на плите, и летела чешуя из-под ножа, и скворчало масло на самой большой сковороде, и восхитительно запахло свежим кофе.

Рэдрик поднялся, ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Мартышка

безмятежно дрыхла, сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони — маленький сопящий зверек. Рэдрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой, и в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять Мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить, да и грязен он был как черт, весь пропитан Зоной и смертью. Он вернулся на кухню, снова сел за стол и сказал:

— Налей чашечку кофе. Мыться потом пойду.

На столе лежала пачка вечерней корреспонденции: «Хармонтская газета», журнал «Атлет», журнал «Плейбой» — целая куча журналов подвалила — и толстенькие, в серой обложке «Доклады Международного института внеземных культур», выпуск 56. Рэдрик принял от Гуты кружку дымящегося кофе и потянул к себе «Доклады». Кривульки, значки какие-то, чертежи... На фотографиях — знакомые предметы в странных ракурсах. Еще одна посмертная статья Кирилла вышла: «Об одном неожиданном свойстве магнитных ловушек типа 77-б». Фамилия «Панов» обведена черной рамкой, внизу мелким шрифтом примечание: «Доктор Кирилл А. Панов, СССР,

трагически погиб в процессе проведения эксперимента в апреле 19.. года». Рэдрик отбросил журнал, обжигаясь, хлебнул кофе и спросил:

— Заходил кто-нибудь?

— Гуталин заходил, — сказала Гута, чуточку помедлив. Она стояла у плиты и смотрела на него. — Пьяный был в стельку, я его выпроводила.

— А Мартышка как же?

— Не хотела, конечно, его отпускать. Реветь наладилась. Но я ей сказала, что дядя Гуталин плохо себя чувствует. А она мне так понимающе отвечает: «Опять засосал Гуталин!»

Рэдрик усмехнулся и сделал еще глоток. Потом спросил:

— Соседи как?

И снова Гута чуть помедлила, прежде чем ответить.

— Да как всегда, — сказала она наконец.

— Ладно, не рассказывай.

— А! — сказала она, с отвращением махнув рукой. — Сегодня ночью стучится эта баба снизу. Глаза вот такие, пена так и брызжет. Чего это мы среди ночи пилим в ванной!..

— Зараза, — сказал Рэдрик сквозь зубы. — Слушай, может быть, уедем все-таки? Купим где-нибудь дом на окраине, где никто не живет,

дачу какую-нибудь заброшенную...

— А Мартышка?

— Господи, — сказал Рэдрик. — Ну неужели мы вдвоем с тобой не сделаем, чтобы ей было хорошо?

Гута помотала головой:

— Она детишек любит. И они ее любят. Они же не виноваты, что...

— Да, — проговорил Рэдрик. — Они, конечно, не виноваты.

— Что там говорить! — сказала Гута. — Тебе звонил кто-то. Себя не назвал. Я сказала, что ты на рыбалке.

Рэдрик поставил кружку и поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Пойду все-таки помоюсь. Куча дел еще у меня.

Он заперся в ванной, бросил одежду в бак, а кастет, оставшиеся гайки, сигареты и прочую мелочь положил на полочку. Он долго крутился под горячим, как кипяток, душем, кряхтя, растирая тело варежкой из жесткой губки, пока кожа не стала багровой, потом выключил душ, сел на край ванны и закурил. Урчала вода в трубах, Гута на кухне позвякивала посудой; запахло жареной рыбой, потом Гута постучала в дверь и просунула ему чистое белье.

— Давай побыстрее, — приказала она. — Рыба стынет.

Она уже совсем отошла и снова принялась командовать. Усмехаясь, Рэдрик оделся, то есть натянул майку и трусы, и прямо в таком виде вернулся на кухню.

— Вот теперь и поесть можно, — сказал он, усаживаясь.

— Шмотки в бак положил? — спросила Гута.

— Угу, — проговорил он с набитым ртом. — Хороша рыбка!

— Водой залил?

— Не-а... Виноват, сэр, больше не повторится, сэр... Да брось ты, успеешь, посиди!

Он поймал ее за руку и попытался посадить к себе на колени, но она вывернулась и села за стол напротив.

— Пренебрегаешь, значит, мужем, — сказал Рэдрик, снова набивая полный рот. — Брезгуешь, значит.

— Да какой ты сейчас муж, — сказала Гута. — Пустой мешок ты сейчас, а не муж. Тебя сначала набить надо.

— А вдруг? — сказал Рэдрик. — Бывают же на свете чудеса!

— Что-то я таких чудес от тебя еще не видела.

Выпьешь, может быть?

Рэдрик нерешительно поиграл вилкой.

— Н-нет, пожалуй, — проговорил он. Он взглянул на часы и поднялся. — Я сейчас пойду. Приготовь мне выходной костюм. По классу «А». Рубашечку там, галстук...

С наслаждением шлепая чистыми босыми ногами по прохладному полу, он прошел в чулан и запер дверь на щеколду. Потом он надел резиновый фартук, натянул резиновые перчатки до локтей и принялся выгружать на стол то, что было в мешке. Две «пустышки». Коробка с «булавками». Девять «батареек». Три «браслета». И один какой-то обруч — тоже вроде «браслета», но из белого металла, полегче и диаметром побольше, миллиметров на тридцать. Шестнадцать штук «черных брызг» в полиэтиленовом пакете. Две великолепной сохранности «губки» с кулак величиной. Три «зуды». Банка «газированной глины». В мешке еще оставался тяжелый фарфоровый контейнер, тщательно упакованный в стекловату, но Рэдрик не стал его трогать. Он достал сигареты и закурил, рассматривая добро, разложенное на столе.

Потом он выдвинул ящик, вынул листок бумаги, огрызок карандаша и счеты. Зажав сигарету

в углу рта и щурясь от дыма, он писал цифру за цифрой, выстраивая все в три столбика, а потом просуммировал первые два. Суммы получились внушительные. Он задавил окурок в пепельнице, осторожно открыл коробку и высыпал «булавки» на бумагу. В электрическом свете «булавки» отливали синевой и только изредка вдруг брызгали чистыми спектральными красками — желтым, красным, зеленым. Он взял одну «булавку» и осторожно, чтобы не уколоться, зажал между большим и указательным пальцами. Потом он выключил свет и подождал немного, привыкая к темноте. Но «булавка» молчала. Он отложил ее в сторону, нашарил другую и тоже зажал между пальцами. Ничего. Он нажал посильнее, рискуя уколоться, и «булавка» заговорила: слабые красноватые вспышки пробежали по ней и вдруг сменились более редкими зелеными. Несколько секунд Рэдрик любовался этой странной игрой огоньков, которая, как он узнал из «Докладов», должна была что-то означать, может быть, что-то очень важное, очень значительное, а потом положил «булавку» отдельно от первой и взял новую...

Всего «булавок» оказалось семьдесят три, из них говорили двенадцать, остальные молчали.

На самом деле они тоже должны были разговаривать, но для этого пальцев было мало, а нужна была специальная машина величиной со стол. Рэдрик снова зажег свет и к уже написанным цифрам добавил еще две. И только после этого он решился.

Он засунул обе руки в мешок и, затаив дыхание, извлек и положил на стол мягкий сверток. Некоторое время он смотрел на этот сверток, задумчиво почесывая подбородок тыльной стороной ладони. Потом все-таки взял карандаш, повертел его в неуклюжих резиновых пальцах и снова отбросил. Достал еще одну сигарету и, не отрывая глаз от свертка, выкурил ее всю.

— Кой черт! — сказал он громко, решительно взял сверток и сунул его обратно в мешок. — И все. И хватит.

Он быстро ссыпал «булавки» обратно в коробку и поднялся. Пора было идти. Наверное, с полчасика можно было еще поспать, чтобы голова сделалась яснее, но, с другой стороны, гораздо полезней прийти на место пораньше и посмотреть, как и что. Он сбросил рукавицы, повесил фартук и, не выключив света, вышел из чулана.

Костюм уже был разложен на кровати, и Рэдрик принялся одеваться. Он завязывал галстук перед

зеркалом, когда за его спиной тихонько скрипнули половицы, раздалось азартное сопение, и он сделал хмурое лицо, чтобы не рассмеяться.

— У! — крикнул вдруг рядом с ним тоненький голосок, и его схватили за ногу.

— Ах! — воскликнул Рэдрик, падая в обморок на кровать.

Мартышка, хохоча и взвизгивая, немедленно вскарабкалась на него. Его топтали, дергали за волосы и окатывали потоками разных сведений. Соседский Вилли оторвал у куклы ногу. На третьем этаже завелся котенок, весь белый и с красными глазами, — наверное, не слушался маму и ходил в Зону. На ужин была каша с вареньем. Дядя Гуталин опять засосал и был больной, он даже плакал. Почему рыбы не тонут, если они в воде? Почему мама ночью не спала? Почему пальцев пять, а рук две, а нос один?.. Рэдрик осторожно обнимал теплое существо, ползающее по нему, вглядывался в огромные, сплошь темные, без белков глаза, прижимался щекой к пухлой, заросшей золотым шелковистым пушком щечке и повторял:

— Мартышка... Ах ты, Мартышка... Мартышка ты этакая...

Потом над ухом резко зазвонил телефон. Он

протянул руку и взял трубку.

— Слушаю.

Трубка молчала.

— Алло! — сказал Рэдрик. — Алло!

Никто не отзывался. Потом в трубке щелкнуло, и раздались короткие гудки. Тогда Рэдрик поднялся, опустил Мартышку на пол и, уже больше не слушая ее, натянул брюки и пиджак. Мартышка тарахтела не умолкая, но он только рассеянно улыбался одним ртом, так что наконец ему было объявлено, что папа язык проглотил, зубами закусил, и он был оставлен в покое.

Он вернулся в чулан, сложил в портфель то, что лежало на столе, сбегал в ванную за кастетом, снова вернулся в чулан, взял портфель в одну руку, корзину с мешком — в другую, вышел, тщательно запер дверь чулана и крикнул Гуте: «Я пошел!»

— Когда вернешься? — спросила Гута, выйдя из кухни. Она уже причесалась и подкрасилась, и на ней был не халат, а домашнее платье, самое его любимое, ярко-синее с большим вырезом.

— Я позвоню, — сказал он, глядя на нее, потом подошел, наклонился и поцеловал в вырез.

— Иди уж, — тихо сказала Гута.

— А я? А меня? — заверещала Мартышка, про-

лезая между ними. Пришлось наклониться еще ниже. Гута смотрела на него неподвижными глазами.

— Чепуха, — сказал он. — Не беспокойся. Я позвоню.

На лестничной площадке этажом ниже Рэдрик увидел грузного человека в полосатой пижаме, который возился с дверным замком у своей двери. Из темных недр квартиры тянуло теплой кислятиной. Рэдрик остановился и сказал:

— Добрый день.

Грузный человек опасливо посмотрел на него через могучее плечо и что-то буркнул.

— Ваша супруга ночью к нам заходила, — сказал Рэдрик. — Будто мы что-то пилим. Это какое-то недоразумение.

— А мне-то что, — проворчал человек в пижаме.

— Жена вчера вечером стирала, — продолжал Рэдрик. — Если мы вас побеспокоили, прошу прощения.

— А я ничего не говорил, — сказал человек в пижаме. — Пожалуйста...

— Ну, я очень рад, — сказал Рэдрик.

Он спустился вниз, зашел в гараж, поставил корзину с мешком в угол, навалил на нее старое

сиденье, оглядел все напоследок и вышел на улицу.

Идти было недалеко — два квартала до площади, потом через парк и еще один квартал до Центрального проспекта. Перед «Метрополем», как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин, лакеи в малиновых куртках тащили в подъезд чемоданы, какие-то иностранного вида солидные люди группками по двое, по трое беседовали, дымя сигарами, на мраморной лестнице. Рэдрик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы, спросил кофе и закурил. В двух шагах от него сидели за столиком трое чинов международной полиции в штатском, они молча и торопливо насыщались жареными сосисками по-хармонтски и пили темное пиво из высоких стеклянных кружек. По другую сторону, шагах в десяти, какой-то сержант мрачно пожирал жареный картофель, зажав вилку в кулаке. Голубая каска стояла вверх дном на полу рядом с его стулом, ремень с кобурой висел на спинке. Больше в кафе посетителей не было. Официантка, незнакомая пожилая женщина, стояла в сторонке и время от времени зевала, деликатно прикрывая ладонью раскрашенный рот. Было без

двадцати девять.

Рэдрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, жуя на ходу и нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Он бодро ссыпался по лестнице — маленький, толстенький, розовый, весь такой благополучный, благостный, свежевымытый, решительно уверенный, что день не принесет ему никаких неприятностей. Он помахал кому-то рукой, перебросил свернутый плащ через правое плечо и подошел к своему «пежо». «Пежо» у Дика был тоже округлый, коротенький, свежевымытый и тоже как бы уверенный, что никакие неприятности ему не грозят.

Прикрывшись ладонью, Рэдрик смотрел, как Нунан хлопотливо и деловито устраивается на переднем сиденье за рулем, что-то перекладывает с переднего сиденья на заднее, нагибается за чем-то, поправляет зеркальце заднего вида. Потом «пежо» фыркнул голубоватым дымком, бибикнул на какого-то африканца в бурнусе и бодренько выкатился на улицу. Судя по всему, Нунан направлялся в Институт, а значит должен был обогнуть фонтан и проехать мимо кафе. Вставать и уходить было уже поздно, поэтому Рэдрик только совсем закрыл лицо ладонью и сгорбился над своей чашкой. Однако это не помогло. «Пежо»

пробибикал над самым ухом, скрипнули тормоза, и бодрый голос Нунана позвал:

— Э! Шухарт! Рэд!

Выругавшись про себя, Рэдрик поднял голову. Нунан уже шел к нему, на ходу протягивая руку. Нунан приветливо сиял.

— Ты что здесь делаешь в такую рань? — спросил он подойдя. — Спасибо, мамаша, — бросил он официантке. — Ничего не надо... — И снова Рэдрику: — Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?

— Да так... — неохотно сказал Рэдрик. — Больше по мелочам.

Он смотрел, как Нунан с обычной хлопотливостью и основательностью устраивается на стуле напротив, отодвигает пухлыми ручками стакан с салфетками в одну сторону, тарелку из-под сандвичей — в другую, и слушал, как Нунан дружелюбно болтает.

— Вид у тебя какой-то дохлый — недосыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой, но спать — нет, брат, сон для меня первое дело, провались она, эта автоматика... — Он вдруг огляделся. — Пардон, может, ты ждешь кого-нибудь? Я не помешал?

— Да нет... — вяло сказал Рэдрик. — Просто время есть, дай, думаю, кофе хоть попью.

— Ну, я тебя надолго не задержу, — сказал Дик и посмотрел на часы. — Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи, возвращайся в Институт. Ты же знаешь, там тебя в любой момент возьмут. Хочешь, опять к русскому, прибыл недавно?

Рэдрик покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Второй Кирилл на свет еще не народился... Да и нечего мне делать в вашем Институте. У вас там теперь все автоматика, роботы в Зону ходят, премиальные, надо понимать, тоже роботы получают... А лаборантские гроши — мне их и на табак не хватит.

— Брось, все это можно было бы устроить, — возразил Нунан.

— А я не люблю, когда для меня устраивают, — сказал Рэдрик. — Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.

— Гордый ты стал, — произнес Нунан с осуждением.

— Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.

— Ну что ж, ты прав, — сказал Нунан рассеянно. Он равнодушно поглядел на портфель Рэдрика на стуле рядом, потер пальцем сереб-

ряную пластинку с выгравированными на ней славянскими буквами. — Все правильно: деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать... Кирилл подарил? — спросил он, кивая на портфель.

— В наследство достался, — сказал Рэдрик. — Что это тебя в «Боржче» не видно последнее время?

— Положим, это тебя не видно, — возразил Нунан. — Я-то там почти каждый день обедаю, здесь в «Метрополе» за каждую котлету так дерут... Слушай, — сказал он вдруг, — а как у тебя сейчас с деньгами?

— Занять хочешь? — спросил Рэдрик.

— Нет, наоборот.

— Одолжить, значит...

— Есть работа, — сказал Нунан.

— О господи! — сказал Рэдрик. — И ты туда же!

— А кто еще? — сейчас же спросил Нунан.

— Да много вас таких... работодателей.

Нунан, словно бы только сейчас поняв его, рассмеялся:

— Да нет, это не по твоей основной специальности.

— А по чьей?

Нунан снова посмотрел на часы.

— Вот что, — сказал он, поднимаясь. — Приходи сегодня в «Боржч» к обеду, часам к двум. Поговорим.

— К двум я могу не успеть, — сказал Рэдрик.

— Тогда вечером, часам к шести. Идет?

— Посмотрим, — сказал Рэдрик и тоже взглянул на часы. Было без пяти девять.

Нунан сделал ручкой и покатился к своему «пежо». Рэдрик проводил его глазами, подозвал официантку, спросил пачку «Лаки страйк», расплатился и, взявши портфель, неторопливо пошел через улицу к отелю. Солнце уже изрядно припекало, улица быстро наполнялась влажной духотой, и Рэдрик ощутил жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило.

Такого с ним еще никогда не бывало вне Зоны, да и в Зоне случалось всего раза два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обрушились на него — резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжники, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твердым, в нем объявились грани, поверхности, углы,

словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами, и через все это приходилось протискиваться, как во сне через темную лавку старьевщика, забитую старинной уродливой мебелью... Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и все пропало. Это был не другой мир — это прежний знакомый мир повернулся к нему другой, неизвестной стороной, сторона эта открылась ему на мгновение и снова закрылась наглухо, прежде чем он успел разобраться...

Над ухом рявкнул раздраженный сигнал, Рэдрик ускорил шаги, потом побежал и остановился только у стены «Метрополя». Сердце стучало бешено, он поставил портфель на асфальт, торопливо разорвал пачку сигарет, закурил. Он глубоко затягивался, отдыхая, как после драки, и дежурный полисмен остановился рядом и спросил его озабоченно:

— Вам помочь, мистер?

— Н-нет, — выдавил из себя Рэдрик и прокашлялся. — Душно...

— Может быть, проводить вас?

Рэдрик наклонился и поднял портфель.

— Всё, — сказал он. — Всё в порядке, приятель. Спасибо.

Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отойти, отдышаться, но он уже и без того опаздывал. Он позволил себе только докурить до конца сигарету, разглядывая из-под полуопущенных век людей, которые толклись в вестибюле. Костлявый был уже тут как тут — с раздраженным видом копался в журналах у газетной стойки. Рэдрик бросил окурок в урну и вошел в кабину лифта.

Он не успел закрыть дверь, и вместе с ним втиснулись: какой-то плотный толстяк с астматическим дыханием, крепко надушенная дамочка при мрачном мальчике, жующем шоколад, и обширная старуха с плохо выбритым подбородком. Рэдрика затиснули в угол. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мальчика, у которого по подбородку текли шоколадные слюни, но личико было свежее, чистое, без единого волоска... не видеть его мамашу, скудный бюст которой украшало ожерелье из крупных «черных брызг», оправленных в серебро... и не видеть выкаченных склеротических белков толстяка и устрашающих бородавок на вздутом рыле старухи. Толстяк попытался

закурить, но старуха его осадила и продолжала осаживать до пятого этажа, где она выкатилась, а как только она выкатилась, толстяк все-таки закурил с таким видом, словно отстоял свои гражданские свободы, и тут же принялся кашлять и задыхаться, сипя и хрипя, по-верблюжьи вытягивая губы и толкая Рэдрика в бок мучительно оттопыренным локтем...

На восьмом этаже Рэдрик вышел и, чтобы хоть немного разрядиться, громко, старательно произнес:

— В душу твою небритую, карга, старая ты лягва, кашлюном вонючим, полудохлым в бога трахнутая, пополам с сопляком слюнявым, шоколадным...

Потом он двинулся по мягкому ковру вдоль коридора, озаренного уютным светом скрытых ламп. Здесь пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по пятьсот монет за ночь, массивными золотыми портсигарами — всей этой дешевкой, всей этой гнусной плесенью, которая наросла на Зоне, пила от Зоны, жрала, хапала, жирела от Зоны, и на все ей было наплевать, и в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она на-

жрется, нахапает всласть, а все, что было в Зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Рэдрик без стука толкнул дверь номера восемьсот семьдесят четыре.

Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор, нездоровое одутловатое лицо его было гладко выбрито.

— Ага, — произнес он, не поднимая глаз. — Точность — вежливость королей. Здравствуйте, мой мальчик!

Он кончил отстригать у сигары кончик, взял ее двумя руками, поднес к усам и поводил носом вдоль нее взад и вперед.

— А где же наш старый добрый Барбридж? — спросил он и поднял глаза. Глаза у него были прозрачные, голубые, ангельские.

Рэдрик поставил портфель на диван, сел и достал сигареты.

— Барбридж не придет, — сказал он.

— Старый добрый Барбридж, — проговорил Хрипатый, взял сигару в два пальца и осторожно поднес ее ко рту. — У старого Барбриджа разыгрались нервы...

Он все смотрел на Рэдрика чистыми голубы-

ми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся Костлявый.

— Кто был этот человек, с которым вы разговаривали? — спросил он прямо с порога.

— А, здравствуйте, — приветливо сказал ему Рэдрик, стряхивая пепел на пол.

Костлявый засунул руки в карманы, приблизился, широко переступая огромными, скошенными внутрь ступнями, и остановился перед Рэдриком.

— Мы же с вами сто раз говорили, — укоризненно произнес он. — Никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?

— Я — здороваюсь, — сказал Рэдрик. — А вы?

Хрипатый рассмеялся, а Костлявый раздраженно сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте... — Он перестал сверлить Рэдрика укоряющим взглядом и грохнулся рядом на диван. — Нельзя так делать, — сказал он. — Понимаете? Нельзя!

— Тогда назначайте мне свидания там, где у меня нет знакомых, — сказал Рэдрик.

— Мальчик прав, — заметил Хрипатый. — Наша промашка... Так кто был этот человек?

— Это Ричард Нунан, — сказал Рэдрик. — Он

представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для Института. Живет здесь, в отеле.

— Вот видишь, как просто! — сказал Хрипатый Костлявому, взял со стола колоссальную зажигалку, оформленную под Статую Свободы, с сомнением посмотрел на нее и поставил обратно.

— А Барбридж где? — спросил Костлявый уже совсем дружелюбно.

— Накрылся Барбридж, — сказал Рэдрик.

Эти двое быстро переглянулись.

— Мир праху его, — сказал Хрипатый настороженно. — Или, может быть, он арестован?

Некоторое время Рэдрик не отвечал, медленными затяжками докуривая сигарету. Потом он бросил окурок на пол и сказал:

— Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.

— Ничего себе — чисто! — сказал Костлявый нервно, вскочил и прошел к окну. — В какой больнице?

— Не бойтесь, — повторил Рэдрик. — В какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.

— В какой именно больнице? — уже раздраженно спросил Костлявый.

— Так я вам и сказал, — отозвался Рэдрик. Он

взял портфель. — Будем мы сегодня делом заниматься или нет?

— Будем, будем, мой мальчик, — бодро сказал Хрипатый. С неожиданной легкостью он соскочил на пол, быстро придвинул к Рэдрику журнальный столик, одним движением смахнул на ковер кипу журналов и газет и сел напротив, уперев в колени розовые волосатые руки. — Предъявляйте, — сказал он.

Рэдрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.

— Это счет, — сказал Рэдрик.

— Вижу, — отозвался Хрипатый. — Предъявляйте, предъявляйте!

— Деньги, — сказал Рэдрик.

— Что это за «кольцо»? — подозрительно осведомился Костлявый, тыча пальцем в список через плечо Хрипатого.

Рэдрик молчал. Он держал раскрытый портфель на коленях и, не отрываясь, смотрел в голубые ангельские глазки. Хрипатый наконец усмехнулся.

— И за что это я вас так люблю, мой мальчик?

— проворковал он. — А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает! — Он театрально вздохнул. — Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты, отслюни зелененьких... и дай мне наконец спичку! Ты же видишь... — И он потряс сигарой, все еще зажатой в двух пальцах.

Костлявый Фил проворчал что-то неразборчивое, бросил ему коробок, а сам вышел в соседнюю комнату через дверь, задернутую портьерой. Было слышно, как он с кем-то там разговаривает, раздраженно и невнятно, что-то насчет кота в мешке, а Хрипатый, раскуривая наконец свою сигару, все разглядывал Рэдрика в упор с застывшей улыбкой на тонких бледных губах и словно бы размышлял о чем-то, а Рэдрик, положив подбородок на портфель, тоже смотрел ему в лицо и тоже старался не мигать, хотя веки жгло как огнем и на глаза набегали слезы. Потом Костлявый вернулся, бросил на столик две обандероленные пачки банкнот и, надувшись, сел рядом с Рэдриком. Рэдрик лениво потянулся за деньгами, но Хрипатый жестом остановил его, ободрал с пачек бандероли и сунул их себе в карман.

— Теперь прошу, — сказал он.

Рэдрик взял деньги и, не считая, запихал пачки

во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар. Он делал это медленно, давая возможность им обоим рассмотреть и сверить со списком каждый предмет в отдельности. В комнате было тихо, только тяжело дышал Хрипатый, и еще из-за портьеры доносилось слабое звяканье — вроде бы ложечки о край стакана.

Когда Рэдрик наконец закрыл портфель и защелкнул замки, Хрипатый поднял на него глаза и спросил:

— Ну, а как насчет главного?

— Никак, — ответил Рэдрик. Он помолчал и добавил: — Пока.

— Мне нравится это «пока», — ласково сказал Хрипатый. — А тебе, Фил?

— Темните, Шухарт, — сказал брюзгливо Костлявый Фил. — А чего темнить, спрашивается?

— Специальность такая: темные делишки, — сказал Рэд. — Тяжелая у нас с вами специальность.

— Ну хорошо, — сказал Хрипатый. — А где фотоаппарат?

— А, черт! — проговорил Рэдрик. Он потер пальцами щеку, чувствуя, как краска заливает ему лицо. — Виноват, — сказал он. — Начисто забыл.

— Там? — спросил Хрипатый, делая неопреде-

ленное движение сигарой.

— Не помню... Наверное, там... — Рэдрик закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. — Нет. Начисто не помню.

— Жаль, — сказал Хрипатый. — Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?

— Да нет же, — с досадой сказал Рэдрик. — В том-то все и дело. Мы же не дошли до кауперов. Барбридж вляпался в «студень», и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли... Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл...

— Слушай-ка, Хью, посмотри! — испуганным шепотом произнес вдруг Костлявый. — Что это, а?

Он сидел, напряженно вытянув перед собой указательный палец правой руки. Вокруг пальца крутился тот самый белый металлический обруч, и Костлявый глядел на этот обруч, вытаращив глаза.

— Он не останавливается! — громко сказал Костлявый, переводя круглые глаза с обруча на Хрипатого и обратно.

— Что значит — не останавливается? — осторожно спросил Хрипатый и чуть отодвинулся.

— Я надел его на палец и крутанул разок — просто так... И он уже целую минуту не оста-

навливается!

Костлявый вдруг вскочил и, держа вытянутый палец перед собой, побежал за портьеру. Обруч, серебристо поблескивая, мерно крутился перед ним, как самолетный пропеллер.

— Что это вы нам принесли? — спросил Хрипатый.

— Черт его знает, — сказал Рэдрик. — Я и не знал... Знал бы — содрал бы побольше.

Хрипатый некоторое время смотрел на него, затем поднялся и тоже исчез за портьерой. Там сейчас же забубнили голоса. Рэдрик вытащил сигарету, закурил, подобрал с пола какой-то журнал и принялся его рассеянно перелистывать. В журнале было полным-полно крепкозадых красоток, но почему-то сейчас было тошно смотреть на них. Рэдрик отшвырнул журнал и пошарил глазами по номеру, ища что-нибудь выпить. Потом он извлек из внутреннего кармана пачку и пересчитал бумажки. Все было правильно, но, чтобы не заснуть, он пересчитал и вторую пачку. Когда он прятал ее в карман, вернулся Хрипатый.

— Вам везет, мой мальчик, — объявил он, снова усаживаясь напротив Рэдрика. — Знаете, что такое перпетуум мобиле?

— Нет, — сказал Рэдрик. — У нас этого не про-

ходили.

— И не надо, — сказал Хрипатый.

Он вытащил еще одну пачку банкнот.

— Это цена первого экземпляра, — произнес он, обдирая с пачки бандероль. — За каждый новый экземпляр этого вашего «кольца» вы будете получать по две такие пачки. Запомнили, мой мальчик? По две. Но при условии, что, кроме нас с вами, никто об этих кольцах никогда ничего не узнает. Договорились?

Рэдрик молча засунул пачку в карман и поднялся.

— Я пошел, — сказал он. — Когда и где в следующий раз?

Хрипатый тоже поднялся.

— Вам позвонят, — сказал он. — Ждите звонка каждую пятницу с девяти до девяти тридцати утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание.

Рэдрик кивнул и направился к двери. Хрипатый последовал за ним, положив руку ему на плечо.

— Я хотел бы, чтобы вы поняли, — продолжал он. — Все это хорошо, очень мило и так далее, а «кольцо» — так это просто чудесно, но прежде всего нам нужны две вещи: фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат, но с

заснятой пленкой, и наш фарфоровый контейнер, но не пустой, а полный, и вам больше никогда не придется ходить в Зону...

Рэдрик, шевельнув плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Он не стал ждать лифта и спустился с восьмого этажа пешком.

Выйдя из «Метрополя», он взял такси и поехал на другой конец города. Шофер попался незнакомый, из новичков, носатый прыщавый малец, один из тех, кто валом валил в Хармонт в последние годы в поисках зубодробительных приключений, несметных богатств, всемирной славы, какой-то особенной религии, валили валом, да так и осели шоферами такси, официантами, строительными рабочими, вышибалами в бардаках — алчущие, бесталанные, замученные неясными желаниями, всем на свете недовольные, ужасно разочарованные и убежденные, что здесь их снова обманули. Половина из них, промыкавшись месяц-другой, с проклятиями возвращалась по домам, разнося великое свое разочарование чуть ли не во все страны света, считанные единицы становились сталкера-

ми и быстро погибали, так и не успев ни в чем разобраться, и посмертно превращались в легендарных героев, некоторым удавалось поступить в Институт, самым толковым и грамотным, годным хотя бы на должность препаратора, а остальные насоздавали политических партий, религиозных сект, каких-то кружков взаимопомощи, вечера напролет просиживали в кабаках, дрались из-за расхождений во взглядах, из-за девчонок и просто так, по пьянке. Время от времени они устраивали шествия с какими-то петициями, какие-то демонстрации протеста, какие-то забастовки — сидячие, стоячие и даже лежачие, — совершенно остервенили городскую полицию, комендатуру и старожилов, но чем дальше, тем основательнее успокаивались, смирялись и все меньше и меньше интересовались знать, для чего они здесь.

От прыщавого шофера за версту несло перегаром, глаза у него были красные, как у кролика, но он был страшно возбужден и с ходу принялся рассказывать Рэдрику, как нынче утром на их улицу заявился покойник с кладбища. Пришел, значит, в свой дом, а дом-то уж сколько лет заколочен, все оттуда уехали — и вдова его, старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет тридцать назад, еще до Посещения, а теперь

вот — привет! — приперся. Походил-походил вокруг дома, поскребся, потом уселся у забора и сидит. Народу набежало — со всего квартала, смотрят, а подойти, конечно, боятся. Потом кто-то догадался: взломали дверь в его доме, открыли, значит, ему вход. И что вы думаете? Встал и вошел, и дверь за собой прикрыл. Мне на работу надо было бежать, не знаю, чем там дело кончилось, знаю только, что собирались в Институт звонить, чтобы забрали его от нас к чертовой бабушке. Знаете, чего говорят? Говорят, комендатура готовит приказ, чтобы этих покойников, если родственники у них выехали, посылали бы к ним, по новому месту жительства. То-то радости у родственников будет! А уж смердит от него... ну, на то он и покойник...

— Стоп, — сказал Рэдрик. — Останови вот здесь.

Он пошарил в кармане. Мелочи не оказалось, пришлось разменять новую банкноту. Потом он постоял у ворот, подождал, пока такси уедет. Коттеджик у Стервятника был неплохой: два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь. И вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной

краской. Рэдрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Рэдрик неторопливо двинулся по песчаной дорожке, обсаженной розовыми кустами, а на крыльце коттеджа уже стоял Суслик — скрюченный, черно-багровый, весь азартно трясущийся от желания услужить. В нетерпении он повернулся боком, спустил со ступеньки одну судорожно нащупывающую опору ногу, утвердился, стал тянуть к нижней ступеньке вторую ногу и при этом все дергал, дергал в сторону Рэдрика здоровой рукой: сейчас, мол, сейчас...

— Эй, Рыжий! — позвал из сада женский голос.

Рэдрик повернул голову и увидел среди зелени рядом с белой ажурной крышей беседки голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. Он кивнул Суслику, свернул с дорожки и напролом через розовые кусты, по мягкой зеленой траве направился к беседке.

На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме, рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же, в тени под кустом, стояло блестящее ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.

— Здорово, Рыжий! — сказала Дина Барбридж, делая приветственное движение стаканом. — А где же папахен? Неужели опять засыпался?

Рэдрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в Зоне выпросил на славу. Вся она была атласная, пышно-плотная, без единого изъяна, без единой лишней складки — полтораста фунтов двадцатилетней лакомой плоти, и еще изумрудные глаза, светящиеся изнутри, и еще большой влажный рот и ровные белые зубы, и еще вороные волосы, блестящие под солнцем, небрежно брошенные на одно плечо, а солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее, а она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехаясь, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.

— Хочешь? — сказала она, облизывая губы, и, подождав ровно столько, чтобы двусмысленность дошла до него, протянула ему стакан.

Он отвернулся, поискал глазами и, обнаружив в тени шезлонг, уселся и вытянул ноги.

— Барбридж в больнице, — сказал он. — Ноги ему отрежут.

По-прежнему улыбаясь, она смотрела на него одним глазом, другой скрывала плотная волна волос, упавшая на плечо, только улыбка ее сделалась неподвижной — сахарный оскал на смуглом лице. Потом она машинально покачала стакан, словно бы прислушиваясь к звяканью льдинок о стенки, и спросила:

— Обе ноги?

— Обе. Может быть, до колен, а может быть, и выше.

Она поставила стакан и отвела с лица волосы. Она больше не улыбалась.

— Жаль, — проговорила она. — А ты, значит...

Именно ей, Дине Барбридж, он мог бы подробно рассказать, как все это случилось и как все это было. Наверное, он мог бы ей рассказать даже, как возвращался к машине, держа наготове кастет, и как Барбридж просил — не за себя просил даже, за детей, за нее и за Арчи, и сулил Золотой Шар. Но он не стал рассказывать. Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил ее на красный мат, прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень ими интересовалась.

— Последняя получка, значит, — проговорила она.

Рэдрик перегнулся с шезлонга, дотянулся до ведерка и, вытащив бутылку, взглянул на ярлык. По темному стеклу стекала вода, и Рэдрик отвел бутылку в сторону, чтобы не капало на брюки. Он не любил дорогого виски, но сейчас можно было хлебнуть и этого. И он уже нацелился хлебнуть прямо из горлышка, но его остановили невнятные протестующие звуки за спиной. Он оглянулся и увидел, что через лужайку, мучительно переставляя кривые ноги, изо всех сил спешит Суслик, держа перед собой в обеих руках высокий стакан с прозрачной смесью. От усердия пот градом катился по его черно-багровому лицу, налитые кровью глаза совсем вылезли из орбит, и увидев, что Рэдрик смотрит на него, он чуть ли не с отчаянием протянул перед собой стакан и снова не то замычал, не то заскулил, широко и бессильно раскрывая беззубый рот.

— Жду, жду, — сказал ему Рэдрик и сунул бутылку обратно в лед.

Суслик подковылял наконец, подал Рэдрику стакан и с робкой фамильярностью потрепал его по плечу клешнятой рукой.

— Спасибо, Диксон, — серьезно сказал Рэдрик.

— Это как раз то самое, чего мне сейчас не хватало. Ты, как всегда, на высоте, Диксон.

И пока Суслик в смущении и восторге тряс головой и судорожно бил себя здоровой рукой по бедру, Рэдрик торжественно поднял стакан, кивнул ему и залпом отпил половину. Потом он посмотрел на Дину.

— Хочешь? — сказал он, показывая ей стакан.

Она не ответила. Она складывала ассигнацию пополам, и еще раз пополам, и еще раз пополам.

— Брось, — сказал он. — Не пропадете. У твоего папаши...

Она перебила его:

— А ты его, значит, тащил, — сказала она. Она его не спрашивала, она утверждала. — Пер его, дурак, через всю Зону, кретин рыжий, пер на хребте эту сволочь, слюнтяй, такой случай упустил...

Он смотрел на нее, забыв о стакане, а она поднялась, подошла, ступая по разбросанным банкнотам, и остановилась перед ним, уперев сжатые кулаки в гладкие бока, загородив от него весь мир своим великолепным телом, пахнущим духами и сладким потом.

— Вот так он всех вас, идиотиков, вокруг пальца... По костям вашим, по вашим башкам безмозглым... Погоди, погоди, он еще на косты-

лях по вашим черепушкам походит, он вам еще покажет братскую любовь и милосердие! — Она уже почти кричала. — Золотой Шар небось тебе обещал, да? Карту, ловушки, да? Болван! Кретин! По роже твоей конопатой вижу, что обещал... Погоди, он тебе еще даст карту, упокой, господи, глупую душу рыжего дурака Рэдрика Шухарта...

Тогда Рэдрик неторопливо поднялся и с размаху залепил ей пощечину, и она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная, на траву и уткнула лицо в ладони.

— Дурак... рыжий... — невнятно проговорила она. — Такой случай упустил... Такой случай...

Рэдрик, глядя на нее сверху вниз, допил стакан и, не оборачиваясь, ткнул его Суслику. Говорить здесь было больше не о чем. Хороших деток вымолил себе Стервятник Барбридж в Зоне. Любящих и почтительных.

Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать к «Боржчу». Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо, перед глазами все плыло, и он таки заснул, навалившись на портфель всем телом, и проснулся, только когда шофер потряс его за плечо.

— Приехали, мистер.

— Где это мы? — проговорил он, спросонья ози-

раясь. — Я же тебе велел в банк...

— Никак нет, мистер, — осклабился шофер. — Велели к «Боржчу». Вот вам «Боржч».

— Ладно, — проворчал Рэдрик. — Приснилось что-то...

Он расплатился и вылез, с трудом шевеля затекшими ногами. Асфальт уже раскалился под солнцем, стало очень жарко. Рэдрик почувствовал, что он весь мокрый, во рту было гадко, глаза слезились. Прежде чем войти, он огляделся. Улица перед «Боржчом», как всегда в этот час, была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам «Боржч» был, собственно, закрыт, но Эрнест был уже на посту — протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то хмырей, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья, незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Рэдрик подошел к стойке, положил на стойку портфель и поздоровался. Эрнест пробурчал в ответ что-то неприветливое.

— Пива налей, — сказал Рэдрик и судорожно зевнул.

Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, вы-

хватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Рэдрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Горлышко бутылки несколько раз звякнуло о край кружки. Рэдрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлен, толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Рэдрика, хмыри в углу азартно и злобно спорили о бегах, негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся. Негр принялся бормотать извинения. Эрнест сдавленным голосом спросил:

— Принес?

— Что — принес? — Рэдрик оглянулся через плечо.

Один из хмырей лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.

— Пойдем потолкуем, — сказал Эрнест.

Негр со шваброй теперь тоже стоял между Рэдриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.

— Пойдем, — сказал Рэдрик и взял портфель. Сна у него уже не было ни в одном глазу.

Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Негр прищемил, видно,

себе палец — облизывал ноготь, исподлобья разглядывая Рэдрика. Тоже очень крепкий негр, с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Рэдрик последовал за ним, потому что теперь уже все трое хмырей стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад.

В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены, а из-за стола поднялся капитан Квотерблад, желтый и скорбный, а откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Рэдрика за бока и провел огромными ладонями по его карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Рэдрика к капитану. Рэдрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.

— Что же ты, зараза! — сказал он Эрнесту.

Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой.

Капитан Квотерблад, с отвращением кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, вы-

кладывая на стол: «пустышки» малые — две штуки; «батарейки» — девять штук; «черные брызги» разных размеров — шестнадцать штук в полиэтиленовом пакете; «губки» прекрасной сохранности — две штуки; «газированной глины» — одна банка...

— В карманах есть что-нибудь? — тихо произнес капитан Квотерблад. — Выкладывайте...

— Гады, — сказал Рэдрик. — Зар-разы.

Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнот. Банкноты полетели во все стороны.

— Ого! — произнес капитан Квотерблад. — Еще?

— Жабы вонючие! — заорал Рэдрик, выхватил из кармана вторую пачку и с размаху швырнул ее себе под ноги. — Жрите! Подавитесь!

— Очень интересно, — произнес капитан Квотерблад спокойно. — А теперь подбери все это.

— Редьку в глаз! — сказал ему Рэдрик, закладывая руки за спину. — Холуи твои подберут. Сам подберешь!

— Подбери деньги, сталкер, — не повышая голоса, сказал капитан Квотерблад, упираясь кулаками в стол и весь подавшись вперед.

Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза, потом Рэдрик, бормоча ругательства,

опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Негры за спиной захихикали, а ооновец злорадно фыркнул.

— Не фыркай, ты! — сказал ему Рэдрик. — Сопля вылетит!

Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно, он все выкрикивал и выкрикивал грязные ругательства, все, какие мог вспомнить, и еще те, которые придумывал на ходу, а когда настал момент, он замолчал, напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх, и распахнувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться об пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки, в сырую холодную тьму винного погреба.

Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него, оскальзываясь, взбежал по невидимым ступенькам, всем телом вышиб обитую ржавой жестью

дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал, перед глазами плыли кровавые пятна, сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло, но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и пополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. На бегу он прислушался, но воя патрульных сирен слышно пока не было, и он побежал еще быстрее, распугивая шарахающихся ребятишек, ныряя под развешанное белье, пролезая в дыры в сгнивших заборах, стараясь поскорее выбраться из этого квартала, пока капитан Квотерблад не успел вызвать оцепление. Он прекрасно знал эти места. Во всех этих дворах, в подвалах, в заброшенных прачечных, в угольных складах он играл еще мальчишкой, везде у него здесь были знакомые и даже друзья, и при других обстоятельствах

ему ничего не стоило бы спрятаться здесь и отсиживаться хоть целую неделю, но не для того он совершил «дерзкий побег из-под ареста» — из-под носа у капитана Квотерблада, разом заработав себе лишних двенадцать месяцев.

Ему здорово повезло. По Седьмой улице валило, горланя и пыля, очередное шествие какой-то лиги — человек двести длинноволосых дураков и стриженых дур, размахивающих дурацкими транспарантами, таких же растерзанных и неопрятных, как и он сам, и даже хуже, будто все они тоже только что продирались через лазы в заборах, опрокидывали на себя мусорные баки, да вдобавок еще предварительно провели бурную ночку на угольном складе. Он вынырнул из подворотни, с ходу врезался в эту толпу и наискосок, толкаясь, наступая на ноги, получая по уху и давая сдачи, продрался на другую сторону улицы и снова нырнул в подворотню — как раз в тот момент, когда впереди раздался знакомый отвратительный вой патрульных машин, и шествие остановилось, сжимаясь гармошкой. Но теперь он был уже в другом квартале, и капитан Квотерблад не мог знать, в каком именно.

Он вышел на свой гараж со стороны склада радиотоваров, и ему пришлось прождать неко-

торое время, пока рабочие загружали автокар огромными картонными коробками с телевизорами. Он устроился в чахлых кустах сирени перед глухой стеной соседнего дома, отдышался немного и выкурил сигарету. Он жадно курил, присев на корточки, прислонившись спиной к жесткой штукатурке брандмауэра, время от времени прикладывая руку к щеке, чтобы унять нервный тик, и думал, думал, думал, а когда автокар с рабочими, гудя, укатил в подворотню, он засмеялся и негромко сказал ему вслед: «Спасибо вам, ребята, задержали дурака... дали подумать». С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости, ловко, продуманно, словно работал в Зоне.

Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и пристроил его за пазухой. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленное кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. Сквозь щели ворот в полутьму гаража падали узкие полосы солнечного света, полные сверкающих пылинок, во дворе весело и азартно визжали ребятишки, и, уже собираясь уходить, он вдруг узнал голос дочки. Тогда он приник глазом к

самой широкой щели и некоторое время смотрел, как Мартышка, размахивая двумя воздушными шариками, бегает вокруг новых качелей, а три старухи-соседки с вязанием на коленях сидят тут же на скамеечке и смотрят на нее, неприязненно поджав губы. Обмениваются своими паршивыми мнениями, старые кочерыжки. А ребятишки — ничего, играют с ней как ни в чем не бывало, не зря же он к ним подлизывался как умел — и горку деревянную сделал для них, и кукольный домик, и качели... И скамейку эту, на которой расселись старые кочерыжки, тоже он сделал. Ладно, сказал он одними губами, оторвался от щели, последний раз оглядел гараж и нырнул в лаз.

На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает кто теперь здесь ею пользовался — вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Рэдрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу, оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с «браслетами», и старый бумажник

с поддельными документами — тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минуту он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова задергало щеку.

— Шухарт, — пробормотал он, не слыша своего голоса. — Что же ты, зараза, делаешь? Падаль ты, они же этой штукой всех нас передушат... — Он прижал пальцами дергающуюся щеку, но это не помогло. — Гады, — сказал он про рабочих, грузивших телевизоры на автокар. — Попались же вы мне на дороге... Кинул бы ее, стерву, обратно в Зону, и концы в воду...

Он с тоской огляделся. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воздух, угрюмо глядели заколоченные окна, по пустырю бродили пылевые чертики. Он был один.

— Ладно, — сказал он решительно. — Каждый за себя, один Бог за всех. На наш век хватит...

Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на колени и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя

руками и поднялся, отряхивая ладони.

— И все, — сказал он. — И никаких.

Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.

— Гута, — сказал он. — Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался.

Ему было слышно, как она судорожно вздохнула, и он торопливо проговорил:

— Да ерундистика это все, месяцев шесть-восемь... и со свиданиями... Переживем. А без денег ты не будешь, деньги тебе пришлют... — Она все молчала. — Завтра утром тебя вызовут в комендатуру, там увидимся. Мартышку приведи.

— Обыска не будет? — спросила она глухо.

— А хоть бы и был. Дома все чисто. Ничего, держи хвост трубой... Уши торчком, хвост пистолетом. Взяла в мужья сталкера, теперь не жалуйся. Ну, до завтра... Имей в виду, я тебе не звонил. Целую в попку.

Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы так, что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

— Слушаю вас, — сказал Хрипатый.

— Говорит Шухарт, — сказал Рэдрик. — Слушайте внимательно и не перебивайте...

— Шухарт? — очень натурально удивился Хрипатый. — Какой Шухарт?

— Не перебивайте, я говорю! Я попался, бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года два с половиной или три. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Понятно, я вас спрашиваю?

— Продолжайте, — сказал Хрипатый.

— Недалеко от того места, где мы с вами в первый раз встретились, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите — берите, хотите — нет, но жена моя чтобы ни в чем не нуждалась. Нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто... Я вам не советую играть нечисто. Понятно?

— Я все понял, — сказал Хрипатый. — Спасибо. — Потом, помедлив немного, спросил: — Может быть, адвоката?

— Нет, — сказал Рэдрик. — Все деньги до последнего медяка — жене. С приветом.

Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

3. Ричард Г. Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при Хармонтском филиале МИВК

Ричард Г. Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. При этом он сочувственно улыбался, кивал лысой головой и не слушал посетителя. Он просто ждал телефонного звонка, а посетитель, доктор Пильман, лениво делал ему выговор. Или воображал, что делает ему выговор. Или хотел заставить себя поверить, будто делает ему выговор.

— Мы все это учтем, Валентин, — сказал наконец Нунан, дорисовав десятого для ровного счета чертика и захлопнув блокнот. — В самом деле, безобразие...

Валентин протянул тонкую руку и аккуратно стряхнул пепел в пепельницу.

— И что же именно вы учтете? — вежливо осведомился он.

— А все, что вы сказали, — весело ответил Нунан, откидываясь в кресле. — До последнего слова.

— А что я сказал?

— Это несущественно, — произнес Нунан. — Что бы вы ни сказали, все будет учтено.

Валентин (доктор Валентин Пильман, лауреат Нобелевской премии и все такое прочее) сидел перед ним в глубоком кресле, маленький, изящный, аккуратный, на замшевой курточке — ни пятнышка, на поддернутых брюках — ни морщинки; ослепительная рубашка, строгий одноцветный галстук, сияющие ботинки, на тонких бледных губах — ехидная улыбочка, огромные черные очки скрывают глаза, над широким низким лбом — черные волосы жестким ежиком.

— По-моему, вам зря платят ваше фантастическое жалованье, — сказал он. — Мало того, Дик, по-моему, вы еще и саботажник.

— Чш-ш-ш! — произнес Нунан шепотом. — Ради бога, не так громко.

— В самом деле, — продолжал Валентин. — Я довольно давно слежу за вами: по-моему, вы совсем не работаете...

— Одну минутку! — прервал его Нунан и протестующе помахал розовым толстым пальцем. — Как это не работаю? Разве хоть одна реклама-ция осталась без последствий?

— Не знаю, — сказал Валентин и снова стряхнул

пепел. — Приходит хорошее оборудование, приходит плохое оборудование. Хорошее приходит чаще, а при чем здесь вы — не знаю.

— А вот если бы не я, — возразил Нунан, — хорошее приходило бы реже. Кроме того, вы, ученые, все время портите хорошее оборудование, а потом заявляете рекламации, и кто вас тогда покрывает? Вот, например, что вы сделали с «ищейкой»? Великолепный аппарат, блестяще показал себя в геологоразведке, устойчивый, автономный... А вы гоняли его в совершенно ненормальных режимах, запалили механизм, как скаковую лошадь...

— Напоили не вовремя и не задали овса... — заметил Валентин. — Конюх вы, Дик, а не промышленник!

— Конюх, — задумчиво повторил Нунан. — Это уже лучше. Вот несколько лет назад здесь работал доктор Панов, вы его, наверное, знали, он потом погиб... Так вот, он полагал, что мое призвание — разводить крокодилов.

— Я читал его работы, — сказал Валентин. — Очень серьезный и обстоятельный человек. На вашем месте я бы призадумался над его словами.

— Хорошо. Поразмыслю на досуге... Вы мне лучше скажите, чем вчера кончился пробный

запуск СК-3?

— СК-3? — повторил Валентин, морща бледный лоб. — А... «Скоморох»! Ничего особенного. По маршруту прошел хорошо, принес несколько «браслетов» и какую-то пластинку неизвестного назначения... — Он помолчал. — И пряжку от подтяжек фирмы «Люкс».

— А что за пластинка?

— Сплав ванадия, пока трудно сказать точнее. Поведение нулевое.

— Почему тогда СК ее притащил?

— Спросите у фирмы. Это уже по вашей части.

Нунан задумчиво постучал карандашиком по блокноту.

— В конце концов, это же был пробный запуск, — проговорил он. — А может быть, пластинка разрядилась... Знаете, что я вам посоветую? Забросьте ее опять в Зону, а через денек-другой пошлите за ней «ищейку». Я помню, в позапрошлом году...

Зазвонил телефон, и Нунан, сразу забыв о Валентине, схватил трубку.

— Мистер Нунан? — спросила секретарша. — Вас снова господин Лемхен.

— Соединяйте.

Валентин поднялся, положил потухший окурок

в пепельницу, в знак прощания пошевелил у виска двумя пальцами и вышел — маленький, прямой, складный.

— Мистер Нунан? — раздался в трубке знакомый медлительный голос.

— Слушаю вас.

— Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.

— Пришла новая партия...

— Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече. Имеются в виду последние контракты «Мицубиси Дэнси». Юридическая сторона.

— К вашим услугам.

— Тогда, если вы не возражаете, минут через тридцать в конторе нашего отделения. Вас устраивает?

— Вполне. Через тридцать минут.

Ричард Нунан положил трубку, поднялся и, потирая пухлые руки, прошелся по кабинету. Он даже запел какой-то модный шлягер, но тут же пустил петуха и добродушно засмеялся над собой. Затем он взял шляпу, перекинул через руку плащ и вышел в приемную.

— Детка, — сказал он секретарше, — меня по-

несло по клиентам. Оставайтесь командовать гарнизоном, удерживайте, как говорится, крепость, а я вам принесу шоколадку.

Секретарша расцвела. Нунан послал ей воздушный поцелуй и покатился по коридорам Института. Несколько раз его пытались поймать за полу — он увертывался, отшучивался, просил удерживать без него позиции, беречь почки, не напрягаться, и в конце концов, так никем и не уловленный, выкатился из здания, привычно взмахнув нераскрытым пропуском перед носом дежурного сержанта.

Над городом висели низкие тучи, парило, первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой пробежал вдоль шеренги машин к своему «пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. Из бокового кармана пиджака он извлек черную круглую палочку «этака», вставил ее в аккумуляторное гнездо и задвинул большим пальцем до щелчка. Потом, поерзав задом, он поудобнее устроился за рулем и нажал педаль. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника.

Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в

небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость. Итак, рапорт получен, думал он. Сейчас нас будут хвалить. Что ж, я — за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно когда хвалит сам господин Лемхен, через силу. Странное дело, почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? «Он прославился: теперь о нем знали трое». Ну, скажем, четверо, если считать Бейлиса. Забавное существо человек!.. Похоже, мы любим похвалу как таковую. Как детишки — мороженое. Комплекс неполноценности это, вот что. Похвала тешит наши комплексы. И очень глупо. Как я могу подняться в собственных глазах? Что я — сам себя не знаю? Старого толстого Ричарда Г. Нунана? А кстати, что такое это «Г»? Вот тебе и на! И спросить не у кого... Не у господина же Лемхена спрашивать... А, вспомнил! Герберт. Ричард Герберт Нунан. Ну и льет...

Он вывернул на Центральный проспект и вдруг подумал: до чего сильно вырос городишко за последние годы!.. Экие небоскребы отгрохали... Вот еще один строят. Это что же у нас будет? А, луна-комплекс — лучшие в мире джазы, и ва-

рьете, и публичный дом на тысячу станков, все для нашего доблестного гарнизона и для наших храбрых туристов, особенно пожилых, и для благородных рыцарей науки... А окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойникам.

— Восставшим из могил пути домой закрыты, — произнес он вслух, — поэтому они печальны и сердиты...

Да, хотел бы я знать, чем все это кончится. Между прочим, десять лет назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны. Пояс пустоты шириной в пятьдесят километров. Ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво... И ведь надо же, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты!.. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. «С одной стороны — нельзя не признать, но с другой стороны — нельзя не согласиться». А началось это, кажется, когда сталкеры вынесли из Зоны первые «этаки». Батарейки... Да, кажется, с этого и началось. Особенно когда открылось, что «этаки» размножаются. Язва оказалась не

такой уж и язвой, и даже не язвой вовсе, а, напротив, сокровищницей... А теперь уже никто и не знает, что она такое — язва ли, сокровищница, адский соблазн, шкатулка Пандоры, черт, дьявол... Пользуются помаленьку. Двадцать лет корячатся, миллиарды ухлопали, а организованного грабежа наладить так и не смогли. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают: с одной стороны — нельзя не признать, а с другой стороны — нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом восемнадцать градусов, испускает квазитепловые электроны под углом двадцать два градуса... К дьяволу! Все равно до самого конца мне не дожить...

Машина катилась мимо особняка Стервятника Барбриджа. Во всем доме по случаю проливного дождя горел свет — видно было, как в окнах второго этажа, в комнатах красотки Дины, движутся танцующие пары. Не то спозаранку начали, не то со вчерашнего никак кончить не могут. Мода такая пошла по городу — сутками напролет. Крепкую мы вырастили молодежь, выносливую и упорную в своих намерениях...

Нунан остановил машину перед невзрачным зданием со скромной вывеской — «Юридическая

контора Корш, Корш и Саймак». Он вынул и спрятал в карман «этак», снова натянул на голову плащ, подхватил шляпу и опрометью бросился в парадное — мимо швейцара, углубленного в газету, по лестнице, покрытой потертым ковром, застучал каблуками по темному коридору второго этажа, пропитанному специфическим запахом, природу которого он в свое время напрасно тщился выяснить, распахнул дверь в конце коридора и вошел в приемную. На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах некоего сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет.

Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоящего у завешенного портьерой окна. Прямоугольное генеральское лицо его собралось в складки, означающие не то приветливую улыбку, не то скорбь по поводу дурной погоды, а может быть — с тру-

дом обуздываемое желание чихнуть.

— Ну вот и вы, — медлительно проговорил он. — Входите, располагайтесь.

Нунан поискал взглядом, где бы расположиться, и не обнаружил ничего, кроме жесткого стула с прямой спинкой, упрятанного за стол. Тогда он присел на край стола. Веселое настроение его начало почему-то улетучиваться — он и сам не понимал еще, почему. Вдруг сделалось ясно, что хвалить его здесь не будут. Скорее наоборот. День гнева, философически подумал он и приготовился к худшему.

— Закуривайте, — предложил господин Лемхен, снова опускаясь в кресло.

— Спасибо, не курю.

Господин Лемхен покивал головой с таким видом, словно подтвердились самые дурные его предположения, соединил перед лицом кончики пальцев обеих рук и некоторое время внимательно разглядывал образовавшуюся фигуру.

— Полагаю, юридические дела фирмы «Мицубиси Дэнси» мы обсуждать с вами не будем, — проговорил он наконец.

Это была шутка. Ричард Нунан с готовностью улыбнулся и сказал:

— Как вам будет угодно!

Сидеть на столе было чертовски неудобно, ноги не доставали до полу, резало зад.

— С сожалением должен сообщить вам, Ричард, — сказал господин Лемхен, — что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление.

— Гм... — произнес Нунан. Начинается, подумал он.

— Вас даже собирались представить к ордену, — продолжал господин Лемхен, — однако я предложил повременить. И правильно сделал. — Он наконец оторвался от созерцания фигуры из десяти пальцев и посмотрел исподлобья на Нунана. — Вы спросите меня, почему я проявил такую, казалось бы, чрезмерную осторожность.

— Наверное, у вас были к тому основания, — скучным голосом сказал Нунан.

— Да, были. Что получалось из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована. Вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа. Тоже ваша. Группы «Варр», «Квазимодо», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было, все подтверждается

перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?

— Во всяком случае, — осторожно сказал Нунан, — последние три месяца утечка материалов из Зоны через Хармонт прекратилась... По крайней мере, по моим сведениям, — добавил он.

— Противник отступил, не так ли?

— Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.

— Не так! — сказал господин Лемхен. — Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.

Растак и растуда твои награды, думал Нунан, раскачивая ногой и угрюмо глядя на мелькающий носок ботинка. В сортир я твои растакие ордена вешал. Тоже мне моралист, воспитатель молодежи, я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело, нечего мне морали читать, какой растакой и перетакой у меня противник. Скажи просто и ясно: где, как и что я прошлепал... что эти сволочи откололи еще... где, как и какие нашли щели... И

без предисловий, я тебе не приготовишка сопливый, мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих перетаких орденов сижу...

— Что вы слышали о Золотом Шаре? — спросил вдруг господин Лемхен.

Господи, с раздражением подумал Нунан, Золотой-то Шар здесь при чем? Растак тебя и растуда с твоей манерой разговаривать...

— Золотой Шар есть легенда, — скучным голосом доложил он. — Мифическое сооружение в Зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.

— Любых?

— В соответствии с каноническим текстом легенды — любых. Существуют, однако, варианты...

— Так, — произнес господин Лемхен. — А что вы слышали о «смерть-лампе»?

— Восемь лет назад, — скучным голосом затянул Нунан, — сталкер по имени Стефан Норман и по кличке Очкарик вынес из Зоны некое устройство, представляющее собою, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат Институту. В цене они не сошлись, Очкарик ушел в

Зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время — неизвестно. В Институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из «Метрополя» предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.

— Все? — спросил господин Лемхен.

— Все, — ответил Нунан. Он демонстративно оглядывал комнату. Комната была скучная, смотреть было не на что.

— Так, — сказал Лемхен. — А что вы слышали о «рачьем глазе»?

— О каком глазе?

— О рачьем. Рак. Знаете? — Господин Лемхен постриг воздух двумя пальцами. — С клешнями.

— В первый раз слышу, — сказал Нунан, нахмурившись.

— Ну а что вы знаете о «гремучих салфетках»?

Нунан слез со стола и встал перед Лемхеном, засунув руки в карманы.

— Ничего не знаю, — сказал он. — А вы?

— К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о «рачьем глазе», ни о «гремучих салфетках». А между тем они существуют.

— В моей Зоне? — спросил Нунан.

— Вы сядьте, сядьте, — сказал господин Лемхен, помавая ладонью. — Наш разговор только начи-

нается. Сядьте.

Нунан обогнул стол и уселся на жесткий стул с высокой спинкой. Куда гнет? — лихорадочно думал он. Что еще за новости? Наверное, нашли что-нибудь в других Зонах, а он меня разыгрывает, скотина, так его и не так. Всегда он меня не любил, старый черт, не может забыть того стишка...

— Продолжим наш маленький экзамен, — объявил Лемхен, отогнул портьеру и выглянул в окно. — Льет, — сообщил он. — Люблю. — Он отпустил портьеру, откинулся в кресле и, глядя в потолок, спросил: — Как поживает старый Барбридж?

— Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Калека, в средствах не нуждается. С Зоной не связан. Содержит четыре бара, танцкласс и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь, Дина, ведет рассеянный образ жизни. Сын, Артур, только что окончил юридический колледж.

Господин Лемхен удовлетворенно покивал.

— Отчетливо, — похвалил он. — А что поделывает Креон-Мальтиец?

— Один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой «Квазимодо», теперь сбы-

вает хабар Институту, через меня. Я держу его на свободе: когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, последнее время он сильно пьет и, боюсь, долго не протянет.

— Контакты с Барбриджем?

— Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.

— Очень хорошо, — сказал господин Лемхен. — А что слышно о Рыжем Шухарте?

— Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался эмигрировать, но у него... — Нунан помолчал. — Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до Зоны.

— Все?

— Все.

— Немного, — сказал господин Лемхен. — А как обстоят дела у Счастливчика Картера?

— Он уже много лет не сталкер. Торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомашин на питание от «этаков». Четверо детей, жена умерла год назад. Теща.

Лемхен покивал.

— Ну, кого из стариков я еще забыл? — добродушно осведомился он.

— Вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И

вы забыли Гуталина...

— Да-да, что Гуталин?

— Гуталин все тот же, — сказал Нунан. — У него группа из трех человек. Неделями пропадают в Зоне. Все, что находят, уничтожают на месте. А его общество Воинствующих Ангелов распалось.

— Почему?

— Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в Зону. Дьяволово дьяволу. Теперь скупать стало нечего, а кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.

— Понимаю, — сказал господин Лемхен. — Ну а молодые?

— Что ж — молодые... Приходят и уходят, есть человек пять-шесть с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар, и они растерялись. Я их понемножку приручаю... Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей Зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.

— Да-да, я слыхал об этом, — сказал господин Лемхен. — Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я

ошибаюсь?

— Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать.

— Как скоро?

— Лет через пять-шесть...

Господин Лемхен снова покивал.

— Между прочим, вы, наверное, еще не знаете, противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.

— В моей Зоне? — снова спросил Нунан, насторожившись.

— И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис, перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиное ущелье, на Черное озеро, к подножию Болдер-пика.

— Так ведь это же периферия, — сказал Нунан недоверчиво. — Там пусто, что они там могут найти?

— Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это я для справки, это вас не касается... Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Хармонте почти не осталось. Те, что остались, к Зоне больше отношения не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет, а когда он появляется, его некому сбывать.

Незаконная утечка материалов из Хармонтской Зоны уже три месяца как прекратилась. Так?

Нунан молчал. Сейчас, думал он. Сейчас он мне врежет. Но где же у меня дыра? И здоровенная, видимо, пробоина. Ну, давай, давай, старая морковка!.. Не тяни душу...

— Не слышу ответа, — произнес господин Лемхен и приложил ладонь к морщинистому волосатому уху.

— Ладно, шеф, — мрачно сказал Нунан. — Хватит. Вы меня уже сварили и изжарили, подавайте на стол.

Господин Лемхен неопределенно хмыкнул.

— Вам даже нечего мне сказать, — проговорил он с неожиданной горечью. — Ушами вот хлопаете перед начальством, а каково же было мне, когда позавчера... — Он вдруг оборвал себя, поднялся и побрел по кабинету к сейфу. — Короче говоря, за последние два месяца, только по имеющимся сведениям, комплексы противника получили свыше шести тысяч единиц материала из различных Зон... — Он остановился около сейфа, погладил его по крашеному боку и резко повернулся к Нунану. — Не тешьте себя иллюзиями! — заорал он. — Отпечатки пальцев Барбриджа! Отпечатки пальцев Мальтийца!

Отпечатки пальцев Носатого Бен-Галеви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть! Отпечатки пальцев Гундосого Гереша и Карлика Цмыга! Так-то вы приручаете вашу молодежь! «Браслеты»! «Иголки»! «Белые вертячки»! И мало того — какие-то «рачьи глаза», какие-то «сучьи погремушки», «гремучие салфетки», черт бы их подрал!

Он снова оборвал себя, вернулся в кресло, опять соединил пальцы и вежливо спросил:

— Что вы об этом думаете, Ричард?

Нунан вытащил носовой платок и вытер шею и затылок.

— Ничего не думаю, — просипел он честно. — Простите, шеф, я сейчас вообще... Дайте отдышаться... Барбридж! Можете подтереться моим послужным списком, но Барбридж не имеет никакого отношения к Зоне! Я знаю каждый его шаг! Он устраивает попойки и пикники на озерах, он зашибает хорошие деньги, и ему просто не нужно... Простите, я чепуху, конечно, говорю, но уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы...

— Я вас больше не задерживаю, — сказал господин Лемхен. — Даю неделю сроку. Представьте соображения, каким образом материалы из ва-

шей Зоны попадают в руки Барбриджа... и всей прочей сволочи. До свидания!

Нунан поднялся, неловко кивнул профилю господина Лемхена и, продолжая вытирать платком обильно потеющую шею, выбрался в приемную. Смуглый молодой человек курил, задумчиво глядя в недра развороченной электроники. Он мельком посмотрел в сторону Нунана — глаза у него были пустые, обращенные внутрь.

Ричард Нунан кое-как нахлобучил шляпу, схватил плащ под мышку и пошел вон. Такого со мной, пожалуй, еще не бывало, беспорядочно думал он. Надо же — Носатый Бен-Галеви! Кличку уже успел заработать... Когда? Этакий шибздик, соплей перешибить можно... мальчишка... Нет, все это не то... Ах ты, сволочь безногая, Стервятник! Как же ты меня уел! Без штанов ведь пустил, грязными носками накормил... Как же это могло случиться? Этого же просто не могло случиться! Прямо как тогда, в Сингапуре, — мордой об стол, затылком об стену...

Он сел в автомобиль и некоторое время, ничего не соображая, шарил под щитком в поисках ключа зажигания. Со шляпы текло на колени, он снял ее и, не глядя, швырнул за спину. Дождь заливал переднее стекло, и Ричарду Нунану пред-

ставлялось почему-то, что именно из-за этого он никак не может понять, что же делать дальше. Осознав это, он с размаху стукнул себя кулаком в лысый лоб. Полегчало. Сразу вспомнилось, что ключа зажигания нет и быть не может, а есть в кармане «этак». Вечный аккумулятор. И надо его вытащить из кармана, мать его сучью за ногу, и вставить в приемное гнездо, и тогда можно будет по крайней мере куда-нибудь поехать — подальше от этого дома, где из окна за ним наверняка наблюдает эта старая брюква...

Рука Нунана с «этаком» замерла на полпути. Так. С кого начать — я, по крайней мере, знаю. Вот с него и начну. Ох, как я с него начну! Никто ни с кого никогда так не начинал, как начну с него я сейчас. И с таким удовольствием... Он включил дворники и погнал машину вдоль бульвара, почти ничего не видя перед собой, но уже понемногу успокаиваясь. Ладно. Пусть как в Сингапуре. В конце концов в Сингапуре ведь все кончилось благополучно... Подумаешь, разок мордой об стол! Могло быть и хуже. Могло быть не мордой и не об стол, а обо что-нибудь с гвоздями... Господи, как просто все это можно было бы сделать! Сгрести в одну кучу всю эту сволочь, засадить лет на пятнадцать... или выслать

к чертовой матери! В России вот о сталкерах и не слыхивали. Там вокруг Зоны действительно пустота, сто километров, никого лишнего, ни туристов этих вонючих, ни Барбриджей... Проще надо поступать, господа, проще! Никаких сложностей тут, ей-богу же, не требуется. Нечего тебе делать в Зоне — до свиданья, на сто первый километр... Ладно, не будем отвлекаться. Где тут мой бардак? Не видно ни черта... Ага, вот он.

Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой «Метрополь». Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нунан вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Старый Бенни, еще без ливреи, сидел за стойкой наискосок от входа и что-то жрал, держа вилку в кулаке. Перед ним, расположив среди пустых бокалов чудовищный бюст, возвышалась Мадам и, пригорюнясь, смотрела, как он ест. В холле еще даже не убирали после вчерашнего. Когда Нунан вошел, Мадам сейчас же повернула в его сторону широкое наштукатуренное лицо, сначала недовольное, но тут же расплывшееся в профессиональной улыбке.

— Хо! — пробасила она. — Никак сам господин Нунан! По девочкам соскучились?

Бенни продолжал жрать, он был глух как пень.

— Привет, старушка! — отозвался Нунан, подходя. — Зачем мне девочки, когда передо мной настоящая женщина?

Бенни наконец заметил его. Страшная маска, вся в синих и багровых шрамах, с натугой перекосилась в приветливой улыбке.

— Здравствуйте, хозяин! — прохрипел он. — Обсушиться зашли?

Нунан улыбнулся в ответ и сделал ручкой. Он не любил разговаривать с Бенни: все время приходилось орать.

— Где мой управляющий, ребята? — спросил он.

— У себя, — ответила Мадам. — Завтра налоги платить.

— Ох уж эти налоги! — сказал Нунан. — Ладно. Мадам, попрошу приготовить мое любимое, я скоро вернусь.

Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору мимо задернутых портьерами стойл — на стене возле каждого стойла красовалось изображение какого-нибудь цветка, — свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь.

Мосол Катюша восседал за столом и рассмат-

ривал в зеркальце зловещую болячку на носу. Плевать ему было, что завтра налоги платить. На совершенно пустом столе перед ним стояла баночка ртутной мази и стакан с прозрачной жидкостью. Мосол Катюша поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив и некоторое время молча рассматривал прохвоста и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчет проклятого дождя и ревматизма. Потом он сказал:

— Закрой-ка дверь на ключ, голубчик.

Мосол, плоскостопо бухая ножищами, подбежал к двери, щелкнул ключом и вернулся к столу. Он волосатой горой возвышался над Нунаном, преданно глядя ему в рот. Нунан все рассматривал его через прищуренные веки. Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Мосла Катюши — Рафаэль. Мослом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные и голые, торчащие из густой шерсти, покрывавшей его руки, словно из манжет. Катюшей же он называл себя сам в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.

— Как дела? — спросил он ласково.

— В полном порядке, босс, — поспешно ответствовал Рафаэль-Мосол.

— Тот скандал уладил в комендатуре?

— Сто пятьдесят монет выложил. Все довольны.

— Сто пятьдесят с тебя, — сказал Нунан. — Твоя вина, голубчик. Надо было следить.

Мосол сделал несчастное лицо и с покорностью развел огромные ладони.

— Паркет в холле надо бы перестелить, — сказал Нунан.

— Будет сделано.

Нунан помолчал, топорща губы.

— Хабар? — спросил он, понизив голос.

— Есть немножко, — тоже понизив голос, произнес Мосол.

— Покажи.

Мосол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке «черных брызг», взял «браслет», оглядел его со всех сторон и положил обратно.

— Это все? — спросил он.

— Не несут, — виновато сказал Мосол.

— Не несут... — повторил Нунан.

Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул

носком ботинка Мослу в голень. Мосол охнул, пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули в зад, отшвырнул кресло, схватил Мосла за воротник сорочки и пошел на него, лягаясь, вращая глазами и шепча ругательства. Мосол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.

— На две стороны работаешь, стерва? — шипел Нунан прямо в его белые от ужаса глаза. — Стервятник в хабаре купается, а ты мне бусики в бумажечке подносишь?.. — Он развернулся и ударил Мосла по лицу, стараясь зацепить нос с болячкой. — В тюрьме сгною! В навозе у меня жить будешь... Навоз жрать будешь... Жалеть будешь, что на свет родился! — Он снова с размаху ткнул кулаком в болячку. — Откуда у Барбриджа хабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь, свинья волосатая? Говори!

Мосол беззвучно открывал и закрывал рот. Нунан отпустил его, вернулся в кресло и задрал ноги на стол.

— Ну? — сказал он.

Мосол с хлюпаньем втянул носом кровь и сказал:

— Ей-богу, босс... Чего вы? Какой у Стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нету...

— Ты что — спорить со мной будешь? — ласково спросил Нунан, снимая ноги со стола.

— Да нет, босс... ей-богу... — заторопился Мосол. — Мать-перемать! Какое там спорить! И в мыслях этого нету...

— Вышвырну я тебя, — мрачно произнес Нунан. — Потому что ты либо скурвился, либо работать не умеешь. На кой черт ты мне, такой-сякой, сдался? Я таких, как ты, на четвертак десяток наберу. Мне настоящий человек нужен при деле, а ты мне здесь только девчонок портишь да пиво жрешь.

— Погодите, босс, — рассудительно сказал Мосол, размазывая кровь по морде. — Что это вы сразу, с налету?.. Давайте все-таки разберемся... — Он осторожно потрогал болячку кончиками пальцев. — Хабара, говорите, много у Барбриджа? Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то заливает. Ни у кого сейчас хабара нет. В Зону ведь одни сопляки ходят, так они же не возвращаются почти никогда. Нет, босс, в натуре, это вам кто-то заливает...

Нунан искоса следил за ним. Было похоже, что Мосол действительно ничего не знает. Да ему и невыгодно было врать — на Стервятнике много не заработаешь.

— Эти пикники его — выгодное дело? — спросил он.

— Пикники? Да не так чтобы очень. Лопатой не загребешь... Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось...

— Где эти пикники устраиваются?

— Устраиваются где? Так, в разных местах. У Белой горы, на Горячих источниках бывают, на Радужных озерах...

— А какая клиентура?

— Клиентура какая? — Мосол снова потрогал болячку, посмотрел на пальцы и сказал доверительно: — Если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против Стервятника вам здесь не посветит.

— Это почему же?

— У Стервятника клиентура: голубые каски — раз. — Мосол принялся отгибать пальцы. — Офицеры из комендатуры — два, туристы из «Метрополя», из «Белой Лилии», из «Пришельца»... это три. Потом у него уже реклама поставлена, местные ребята тоже к нему ходят...

Ей-богу, босс, не стоит с этим связываться. За девочек он нам платит — не то чтобы богато...

— Местные тоже к нему ходят?

— Молодежь, в основном.

— Ну и что там, на пикниках, делается?

— Делается что? Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточки, буфетик, музычка... Ну, и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на Зону смотреть — ежели у Горячих источников, то до Зоны там рукой подать, прямо за Серной расщелиной... Стервятник туда им лошадиных костей накидал, вот они и смотрят в бинокли...

— А местные?

— Местные? Местным это, конечно, неинтересно... Так, развлекаются, кто как умеет...

— А Барбридж?

— Так а что — Барбридж? Как все, так и Барбридж...

— А ты?

— А что — я? Как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали, и... это... ну, там... Ну, как все, в общем.

— И сколько это все продолжается?

— Когда как. Когда трое суток, а когда и всю неделю.

— И сколько это удовольствие стоит? — спросил Нунан, думая совсем о другом.

Мосол ответил что-то, Нунан его не слышал. Вот она, прореха, думал он. Несколько суток... Несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью, а не валяешься с девками и не сосешь пиво, как мой монгольский царь... И все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина... Нет, тут что-то не то...

— Кто из местных ездит постоянно?

— Из местных? Так я ж говорю — больше молодежь. Самые оторвы, какие есть в городе. Ну там Галеви, Ражба... Куренок Цапфа... этот... Цмыг... Ну, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что, говорят, посетим «воскресную школу»? Они там в основном насчет пожилых туристок, неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы...

— «Воскресная школа», — повторил Нунан.

Какая-то странная мысль появилась вдруг у него. Школа. Он поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Бог с ними, с пикниками. Это не для нас. Но чтоб ты знал: у Стервятника есть хабар, а это уже — наше дело, голубчик. Это

мы просто так оставить не можем. Ищи, Мосол, ищи, а то выгоню я тебя к чертовой матери. Откуда он берет хабар, кто ему доставляет, — выясни все и давай на двадцать процентов больше, чем он. Понял?

— Понял, босс. — Мосол уже тоже стоял, руки по швам, на измазанной морде — преданность.

— Да перестань мне портить девок, животное! — заорал вдруг Нунан и вышел.

В холле у стойки он неспешно распил свой аперитив, побеседовал с Мадам насчет падения нравов, намекнул, что в ближайшем будущем намерен расширить заведение, и, понизив голос для значительности, посоветовался, как быть с Бенни: стар становится мужик, слуха нет, реакция совсем не та, не поспевает, как раньше... Было уже шесть часов, хотелось есть, а в мозгу все сверлила, все крутилась неожиданная мыслишка, ни с чем не сообразная и в то же время многое объясняющая. Впрочем, и так уже кое-что объяснилось, исчез с этого дела раздражающий и пугающий налет мистики, осталась только досада на себя, что раньше не подумал о такой возможности, но главное-то было не в этом, главное было в этой мыслишке, которая все крутилась и крутилась и не давала покоя.

Попрощавшись с Мадам и пожав руку Бенни, Нунан поехал прямиком в «Боржч». Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы, думал он. Плевать на годы — мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, что все меняется, нас с детства учат, что все меняется, мы много раз видели своими глазами, как все меняется, и в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры — оснащенные кибернетикой. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством, миллиметр за миллиметром, полз на брюхе по Зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт при галстуке, инженер, сидит где-нибудь в километре от Зоны, в зубах сигаретка, возле локтя — стакан с бодрящей смесью, сидит себе и смотрит за экранами. Джентльмен на жалованье. Очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности — «воскресная школа», например.

И вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря. Боже мой, подумал он. Ведь ничего же у нас не

получится! Не удержать, не остановить! Никаких сил не хватит удержать в горшке эту квашню, подумал он с ужасом. Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее и ловчее нас. Просто мир такой. Человек такой. Не было бы Посещения — было бы что-нибудь другое. Свинья грязи найдет...

В «Боржче» было много света и очень вкусно пахло. «Боржч» тоже изменился — ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует, и Рэдрик Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха, дорвалась: солидная постоянная клиентура, весь Институт сюда ходит обедать, да и старшие офицеры. Уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня.

В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел за чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел.

— Разрешите соседствовать? — спросил он.

Валентин поднял на него черные окуляры.

— А, — сказал он. — Прошу.

— Сейчас, только руки помою, — сказал Нунан,

вспомнив вдруг болячку.

Здесь его хорошо знали. Когда он вернулся и сел напротив Валентина, на столе уже стояли маленькая жаровня с дымящимся шураско и высокая кружка пива — не холодного и не теплого, как он любил. Валентин отложил журнал и пригубил кофе.

— Слушайте, Валентин, — сказал Нунан, отрезая кусочек мяса и обмакивая его в соус. — Как вы думаете, чем все это кончится?

— Вы о чем?

— Посещение, Зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы — вся эта куча... Чем все это может кончиться?

Валентин долго смотрел на него слепыми черными стеклами. Потом он закурил сигарету и сказал:

— Для кого? Конкретизируйте.

— Ну, скажем, для человечества в целом.

— Это зависит от того, повезет нам или нет, — сказал Валентин. — Мы теперь знаем, что для человечества в целом Посещение прошло, в общем, бесследно. Для человечества все проходит бесследно. Конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы в конце концов вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на

планете станет просто невозможной. Это будет невезенье. Однако согласитесь, что такое всегда грозило человечеству. — Он разогнал дым сигареты ладонью и усмехнулся: — Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом — слишком стационарная система, ее ничем не проймешь.

— Вы так думаете? — разочарованно произнес Нунан. — Что ж, может быть и так...

— Скажите по чести, Ричард, — явно развлекаясь, сказал Валентин. — Вот для вас, дельца, что изменилось с Посещением? Вот вы узнали, что во Вселенной есть еще по крайней мере один разум помимо человеческого. Ну и что?

— Да как вам сказать? — промямлил Нунан. Он уже жалел, что затеял этот разговор. Не о чем здесь было разговаривать. — Что для меня изменилось?.. Например, вот уже много лет я ощущаю некоторое неудобство, неуютность какую-то. Хорошо, они пришли и сразу ушли. А если они придут снова и им взбредет в голову остаться? Для меня, для дельца, это, знаете ли, не праздный вопрос: кто они, как они живут, что им нужно?.. В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным

в их системе? — Он оживился. — А если мы все окажемся ненужными? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Кто они, что им было нужно, вернутся или нет?..

— Ответы существуют, — сказал Валентин, усмехаясь. — Их даже очень много, выбирайте любой.

— А сами вы что считаете?

— Откровенно говоря, я никогда не позволял себе размышлять об этом серьезно. Для меня Посещение — это прежде всего уникальное событие, чреватое возможностью перепрыгнуть сразу через несколько ступенек в процессе познания. Что-то вроде путешествия в будущее технологии. Н-ну, как если бы в лабораторию к Исааку Ньютону попал современный квантовый генератор...

— Ньютон бы ничего не понял.

— Напрасно вы так думаете! Ньютон был очень проницательный человек.

— Да? Ну ладно, бог с ним, с Ньютоном. А как вы все-таки толкуете Посещение? Пусть даже несерьезно...

— Хорошо, я вам скажу. Только я должен предупредить вас, Ричард, что ваш вопрос находится в компетенции псевдонауки под названием ксе-

нология. Ксенология — это некая неестественная помесь научной фантастики с формальной логикой. Основой ее метода является порочный прием — навязывание инопланетному разуму человеческой психологии.

— Почему порочный? — сказал Нунан.

— А потому, что биологи в свое время уже обожглись, когда пытались перенести психологию человека на животных. Земных животных, заметьте.

— Позвольте, — сказал Нунан. — Это совсем другое дело. Ведь мы говорим о психологии *разумных* существ...

— Да. И все было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум.

— А разве мы не знаем? — удивился Нунан.

— Представьте себе, нет. Обычно исходят из очень плоского определения: разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы все понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятельностью человека. Например: разум есть

способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки.

— Да, это про нас, — согласился Нунан.

— К сожалению. Или, скажем, определение-гипотеза. Разум есть сложный инстинкт, не успевший еще сформироваться. Имеется в виду, что инстинктивная деятельность всегда целесообразна и естественна. Пройдет миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем совершать ошибки, которые, вероятно, являются неотъемлемым свойством разума. И тогда, если во Вселенной что-нибудь изменится, мы благополучно вымрем, — опять же именно потому, что разучились совершать ошибки, то есть пробовать разные, не предусмотренные жесткой программой варианты.

— Как-то это все у вас получается... унизительно.

— Пожалуйста, тогда еще одно определение — очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира.

Нунан сморщился и замотал головой.

— Нет, — сказал он. — Это уж слишком... Это не про нас... Ну а как насчет того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее

непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал.

— Я тоже, — сказал Валентин. — Но вся беда в том, что человек, во всяком случае массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, у него такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая... Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул плюс так называемая интуиция, так называемая практическая сметка и так называемый здравый смысл.

— Погодите, — сказал Нунан. Он допил пиво и со стуком поставил пустую кружку на стол. — Не отвлекайтесь. Давайте все-таки так. Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумны?

— Представления не имею, — сказал Валентин веселясь. — Все, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит, они разумны. И наоборот: если

они разумны, они способны к контакту. И вообще: если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно. Такие дела, Ричард. Читали Воннегута?

— Вот тебе и на, — сказал Нунан. — А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам...

— Разложить по полочкам и обезьяна может, — заметил Валентин.

— Нет, погодите, — сказал Нунан. Почему-то он чувствовал себя обманутым. — Но если вы таких простых вещей не знаете... Ладно, господь с ним, с разумом. Видно, здесь сам черт ногу сломит. Но насчет Посещения? Что вы все-таки думаете насчет Посещения?

— Пожалуйста, — сказал Валентин. — Представьте себе пикник...

Нунан вздрогнул:

— Как вы сказали?

— Пикник. Представьте себе: лес, проселок, лужайка. С проселка на лужайку съезжает машина, из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты... Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка. А утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее,

выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры. Валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов осталась грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте... ну и, сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые, драные газеты, монетки, увядшие цветы с других полян...

— Я понял, — сказал Нунан. — Пикник на обочине.

— Именно. Пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете: вернутся они или нет.

— Дайте-ка мне закурить, — сказал Нунан. — Черт бы побрал вашу псевдонауку! Как-то я все это не так себе представлял.

— Это ваше право, — заметил Валентин.

— Значит, что же — они нас даже и не заметили?

— Почему?

— Ну, во всяком случае, не обратили на нас внимания...

— Знаете, я бы на вашем месте не огорчался,

— посоветовал Валентин.

Нунан затянулся, закашлялся, бросил сигарету.

— Все равно, — сказал он упрямо. — Не может быть... Черт бы вас, ученых, подрал! Откуда это у вас такое пренебрежение к человеку? Что вы его все время стремитесь принизить?..

— Подождите, — сказал Валентин. — Послушайте. «Вы спросите меня: чем велик человек? — процитировал он. — Тем, что создал вторую природу? Что привел в движение силы почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее».

Наступило молчание. Нунан думал.

— Может быть... — сказал он неуверенно. — Конечно, если с этой точки зрения...

— Да вы не огорчайтесь, — благодушно сказал Валентин. — Пикник — это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картинка... Так называемые серьезные ксенологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого Посещения не было, что Посещение еще только будет. Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с

образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который и будет означать реальную готовность к контакту. Как вам это?

— Это уже значительно лучше, — сказал Нунан. — Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди.

— Или вот. Посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в Зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к «жестоким чудесам грядущего».

— Вот это я понимаю! — сказал Нунан. — По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Между прочим, ваш пикник эту возню не объясняет.

— Почему же не объясняет? — возразил Валентин. — Могла ведь какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка...

— Ну, это вы бросьте, — решительно сказал Нунан. — Ничего себе медвежонок — земля трясется... Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия! Эй, старуха! Два

пива господам ксенологам!.. А все-таки приятно с вами побеседовать, — сказал он Валентину. — Этакое прочищение мозгов, словно английской соли насыпали под черепушку. А то вот работаешь-работаешь, а зачем, для чего, что будет, что случится, чем сердце успокоится...

Принесли пива. Нунан отхлебнул, глядя поверх пены, как Валентин с выражением брезгливого сомнения рассматривает свою кружку.

— Что, не нравится? — спросил он, облизывая губы.

— Да я, собственно, не пью, — нерешительно сказал Валентин.

— Ну да? — поразился Нунан.

— Черт возьми! — сказал Валентин. — Должен же в этом мире быть хоть один непьющий. — Он решительно отодвинул кружку. — Закажите мне лучше коньяку, раз так, — сказал он.

— Розалия! — немедленно рявкнул вконец развеселившийся Нунан.

Когда принесли коньяк, он сказал:

— И все-таки так нельзя. Я уж не говорю про ваш пикник — это вообще свинство, — но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Я понимаю — «браслеты», «пустышки»... Но «ведьмин-то

студень» зачем? «Комариные плеши», пух этот отвратительный...

— Простите, — сказал Валентин, выбирая ломтик лимона. — Я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши?

Нунан засмеялся.

— Это фольклор, — пояснил он. — Рабочий жаргон сталкеров. «Комариные плеши» — это области повышенной гравитации.

— А, гравиконцентраты... Направленная гравитация. Вот об этом я бы поговорил с удовольствием, но вы ничего не поймете.

— Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер...

— Потому что я сам не понимаю, — сказал Валентин. — У меня есть системы уравнений, но как их истолковать — я представления не имею... А «ведьмин студень» — это, вероятно, коллоидный газ?

— Он самый. Слыхали о катастрофе в Карригановских лабораториях?

— Слыхал кое-что, — неохотно отозвался Валентин.

— Эти идиоты поместили фарфоровый контейнер со «студнем» в специальную камеру, предельно изолированную... То есть это они ду-

мали, что камера предельно изолирована, но когда они открыли контейнер манипуляторами, «студень» пошел через металл и пластик, как вода через промокашку, вырвался наружу, и все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в «студень». Погибло тридцать пять человек, больше ста изувечено, а все здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Великолепное сооружение! А теперь «студень» стек в подвалы и нижние этажи... Вот вам и прелюдия к контакту.

Валентин весь сморщился.

— Да, я знаю все это, — сказал он. — Однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании у нас военно-промышленных комплексов?

— А следовало бы знать! — назидательно ответил Нунан.

— А они сказали бы вам на это: следовало бы давным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы.

— И то верно, — согласился Нунан. — Вот бы они этим и занялись, раз такие могучие.

— То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?

— Гм, — сказал Нунан. — Так мы, конечно,

можем зайти очень далеко. Не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну вот, например, вы, ученые. Надеетесь вы получить из Зоны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни?..

Валентин допил рюмку и пожал плечами:

— Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис. Если исходить из того, что мы уже получили, впереди целый спектр возможностей, и ничего определенного сказать нельзя.

— Розалия, еще коньяку! — крикнул Нунан. — Ну хорошо, попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?

— Как это ни забавно, довольно мало. Мы обнаружили много чудес. В некоторых случаях мы научились даже использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним... Лабораторная обезьяна нажимает красную кнопку — получает банан, нажимает белую — апельсин, но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понима-

ет. Возьмем, скажем, «этаки». Мы научились ими пользоваться. Мы открыли даже условия, при которых они размножаются делением. Но мы до сих пор не сумели сделать ни одного «этака», не понимаем, как они устроены, и, судя по всему, разберемся во всем этом не скоро... Я бы сказал так. Есть объекты, которым мы нашли применение. Мы используем их, хотя почти наверняка не так, как их используют пришельцы. Я совершенно уверен, что в подавляющем большинстве случаев мы забиваем микроскопами гвозди. Но все-таки кое-что мы применяем: «этаки», «браслеты», стимулирующие жизненные процессы... различные типы квазибиологических масс, которые произвели такой переворот в медицине... Мы получили новые транквилизаторы, новые типы минеральных удобрений, переворот в агрономии... В общем, что я вам перечисляю! Вы знаете все это не хуже меня — «браслетик», я вижу, сами носите... Назовем эту группу объектов полезными. Можно сказать, что в какой-то степени человечество ими облагодетельствовано, хотя никогда не следует забывать, что в нашем эвклидовом мире всякая палка имеет два конца...

— Нежелательные применения? — вставил Нунан.

— Вот именно. Скажем, применение «этаков» в военной промышленности... Я не об этом. Действие каждого полезного объекта нами более или менее изучено, более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через пятьдесят мы сами научимся изготавливать эти королевские печати и тогда уж вволю будем колоть ими орехи. Сложнее обстоит дело с другой группой объектов — сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Например, магнитные ловушки разных типов. Мы понимаем, что это магнитная ловушка, Панов это очень остроумно доказал. Но мы не понимаем, где источник такого мощного магнитного поля, в чем причина его сверхустойчивости... ничего не понимаем. Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или К-23... Как вы их называете, эти черные красивые шарики, которые идут на украшения?

— «Черные брызги», — сказал Нунан.

— Вот-вот, «черные брызги»... Хорошее название... Ну, вы знаете про их свойства. Если пустить

луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой, причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров, и частота выходящего света всегда меньше частоты входящего... Что это такое? Почему? Есть безумная идея, будто эти ваши «черные брызги» — суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наше, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства... — Валентин вытащил сигарету и закурил. — Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. Это свалившиеся с неба ответы на вопросы, которые мы еще не умеем задать. Упомянутый выше сэр Исаак, может быть, и не разобрался бы в лазере, но он, во всяком случае, понял бы, что такая вещь возможна, и это очень сильно повлияло бы на его научное мировоззрение. Я не буду вдаваться в подробности, но существование таких объектов, как магнитные ловушки, К-23, «белое кольцо», разом зачеркнуло целое поле недавно процветавших теорий и вызвало к жизни совершенно новые идеи. А ведь есть еще третья группа...

— Да, — сказал Нунан. — «Ведьмин студень» и прочее дерьмо...

— Нет-нет. Все это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. Я имею в виду объекты, о которых мы ничего не знаем или знаем только понаслышке, которых мы никогда не держали в руках. То, что уволокли у нас из-под носа сталкеры, — продали неизвестно кому, припрятали. То, о чем они молчат. Легенды и полулегенды: «машина желаний», «бродяга Дик», «веселые призраки»...

— Минуточку, минуточку, — сказал Нунан. — Это еще что такое? «Машина желаний» — понимаю...

Валентин засмеялся.

— Видите, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. «Бродяга Дик» — это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А «веселые призраки» — это некая опасная турбуленция, имеющая место в некоторых районах Зоны.

— Первый раз слышу, — сказал Нунан.

— Вы понимаете, Ричард, — сказал Валентин, — мы ковыряемся в Зоне два десятка лет, но мы не знаем и тысячной доли того, что она содержит. А если уж говорить о воздействии Зоны на

человека... Вот, кстати, тут нам придется ввести в классификацию еще одну, четвертую группу. Уже не объектов, а воздействий. Эта группа изучена безобразно плохо, хотя фактов накопилось, на мой взгляд, более чем достаточно. И вы знаете, Ричард, я — физик и, следовательно, скептик. Но и меня иногда мороз продирает по коже, когда я думаю об этих фактах.

— Живые покойники... — пробормотал Нунан.

— Что? А... Нет — это загадочно, но не более того. Как бы это сказать... Это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того ни с сего начинают происходить внефизические, внебиологические явления...

— А, вы имеете в виду эмигрантов...

— Вот именно. Математическая статистика, знаете ли, — это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайными величинами. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная...

Валентин, по-видимому, слегка охмелел. Он стал говорить громче, щеки его порозовели, а брови над черными окулярами высоко задрались, сминая лоб в гармошку.

— Розалия! — гаркнул вдруг он. — Еще коньяку! Большую рюмку!

— Люблю непьющих, — с уважением сказал Нунан.

— Не отвлекайтесь! — сказал Валентин строго. — Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно.

Он поднял рюмку, разом отхлебнул половину и продолжал:

— Мы не знаем, что произошло с бедными хармонтцами в самый момент Посещения. Но вот один из них решил эмигрировать. Какой-нибудь обыкновеннейший обыватель. Парикмахер. Сын парикмахера и внук парикмахера. Он переезжает, скажем, в Детройт. Открывает парикмахерскую, и начинается чертов бред. Более девяноста процентов его клиентуры погибает на протяжении года: гибнут в автомобильных авариях, вываливаются из окон, вырезаются гангстерами и хулиганами, тонут на мелких местах и так далее, и так далее. Мало того. Число коммунальных катастроф в Детройте резко возрастает. В два раза чаще взрываются газовые колонки. В три с половиной раза чаще возникают пожары от неисправности электросети. В три раза увеличивается количество автомобильных аварий. В два раза возрастает смертность от эпидемий гриппа. Мало того. Возрастает количество стихийных

бедствий в Детройте и его окрестностях. Откуда-то берутся смерчи и тайфуны, которых в этих местах не видывали с тысяча семьсот затертого года. Разверзаются хляби небесные, и озеро Онтарио, или Мичиган, или где там стоит Детройт, выходит из берегов... Ну и все в таком же роде. И такие катаклизмы происходят в любом городе, в любой местности, где селится эмигрант из района Посещения, и количество этих катаклизмов прямо пропорционально числу эмигрантов, поселившихся в данном месте. И заметьте, подобное действие оказывают только те эмигранты, которые пережили само Посещение. Родившиеся после Посещения на статистику несчастных случаев никакого влияния не оказывают. Вы прожили в Хармонте десять лет, но вы приехали сюда после Посещения, и вас без опаски можно селить хоть в Ватикане. Как объяснить такое? От чего нужно отказаться — от статистики? Или от здравого смысла? — Валентин схватил рюмку и залпом допил ее.

Ричард Нунан почесал за ухом.

— М-да, — сказал он. — Я вообще-то наслышан о таких вещах, но я, честно говоря, всегда полагал, что все это, мягко выражаясь, несколько преувеличено... Просто понадобился предлог, чтобы

запретить эмиграцию.

Валентин горько усмехнулся:

— Ничего себе предлог! Да кто же такому бреду поверит? Ну, придумали бы какие-нибудь эпидемии... опасность распространения вредных слухов... да мало ли что!

Он уперся локтями в стол и пригорюнился, опустив лицо в ладони.

— Я вам сочувствую, — сказал Нунан. — Действительно, с точки зрения нашей могучей позитивистской науки...

— Или, скажем, мутагенное воздействие Зоны, — прервал его Валентин. Он снял очки и уставился на Нунана черными подслеповатыми глазами. — Все люди, которые достаточно долго общаются с Зоной, подвергаются изменениям — как фенотипическим, так и генотипическим. Вы знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. Почему? Где мутагенный фактор? Радиации в Зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в Зоне хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. Что же мне в таких условиях — в колдовство начать верить? В дурной глаз?.. Слушайте, Ричард, давайте еще по рюмке. Я что-то разошелся, будь оно все

неладно...

Ричард Нунан, ухмыляясь, потребовал еще рюмку коньяку для лауреата и кружку пива для себя. Потом он сказал:

— Так вот. Я вам, конечно, сочувствую в ваших метаниях. Но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем данные статистики. Тем более что данных статистики я никогда не видел, а покойников и видел, и обонял предостаточно...

Валентин легкомысленно махнул рукой.

— А, покойники ваши... — сказал он. — Слушайте, Ричард, вам не стыдно? Вы же все-таки человек с образованием... Неужели не понятно, что, с точки зрения фундаментальных принципов, эти ваши покойники — нисколько не более и не менее удивительная вещь, чем вечные аккумуляторы. Просто «этаки» нарушают первый принцип термодинамики, а покойники — второй, вот и вся разница. Все мы в каком-то смысле пещерные люди — ничего страшнее призрака или вурдалака представить себе не можем. А между тем нарушение принципа причинности — гораздо более страшная вещь, чем целые стада привидений... и всяких там чудовищ Рубинштейна... или Валленштейна?

— Франкенштейна.

— Да, конечно, Франкенштейна. Мадам Шелли. Супруга поэта. Или дочь. — Он вдруг засмеялся. — У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство — автономная жизнеспособность. Можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить... то есть не ходить, конечно... в общем, жить. Отдельно. Без всяких физиологических растворов... Так вот, недавно доставили в Институт одного такого... невостребованного. Н-н-ну, препарировали его... Это мне лаборант Бойда рассказывал. Отделили правую руку для каких-то там надобностей, приходят на другое утро, а она дулю показывает... — Валентин захохотал. — А? И так до сих пор! То разожмет пальцы, то опять сложит. Как вы полагаете, что она этим хочет сказать?

— По-моему, символ довольно прозрачный... А не пора ли нам по домам, Валентин? — сказал Нунан, глядя на часы. — У меня есть еще одно важное дело.

— Пойдемте, — охотно согласился Валентин, тщетно пытаясь попасть лицом в оправу очков. — Ф-фу, напоили вы меня, Ричард... — Он взял очки в обе руки и старательно водрузил их на место. — У вас машина?

— Да, я вас завезу.

Они расплатились и направились к выходу. Валентин держался еще более прямо чем обычно и то и дело с размаху прикладывал палец к виску, приветствуя знакомых лаборантов, которые с любопытством и изумлением наблюдали за светилом мировой физики. У самого выхода, приветствуя расплывшегося в улыбке швейцара, он сшиб с себя очки, и все трое кинулись их ловить.

— Ф-фу, Ричард... — приговаривал Валентин, влезая в «пежо». — Вы меня без-бож-но напоили. Нельзя же так, черт возьми... Неудобно. У меня завтра эксперимент. Вы знаете, любопытная вещь...

И он принялся рассказывать о завтрашнем эксперименте, поминутно отвлекаясь на анекдоты и приговаривая: «Напоили... надо же! К чертям собачьим...» Нунан отвез его в научный городок, решительно пресек неожиданно вспыхнувшее у лауреата желание добавить («...и какой там к дьяволу эксперимент? Знаете, что я с этим вашим экспериментом сделаю? Я его отложу!..») и сдал с рук на руки жене, которая при виде своего супруга пришла в веселое негодование.

— ...Г-гости? — шумел супруг. — Кто? А, профессор Бойд? Превосходно! Сейчас мы с ним дернем.

Но не рюмками, черт побери, а стаканами... Ричард! Где вы, Ричард!..

Это Нунан слышал, уже сбегая по лестнице. А ведь они тоже боятся, думал он, снова усаживаясь в «пежо». Боятся, боятся, высоколобые... Да так и должно быть. Они должны бояться даже больше, чем все мы, простые обыватели, вместе взятые. Ведь мы просто ничего не понимаем, а они по крайней мере понимают, до какой степени ничего не понимают. Смотрят в эту бездонную пропасть и знают, что неизбежно им туда спускаться, — сердце заходится, но спускаться надо, а как спускаться, что там на дне и, главное, можно ли будет потом оттуда выбраться?.. А мы, грешные, смотрим, так сказать, в другую сторону. Слушай, а может быть, так и надо? Пусть оно идет все своим чередом, а мы уж проживем как-нибудь. Правильно он сказал: самый героический поступок человечества — это то, что оно выжило и намерено выжить дальше... А все-таки черт бы вас подрал, сказал он пришельцам. Не могли устроить свой пикник в другом месте. На Луне, например. Или на Марсе. Такая же вы равнодушная дрянь, как и все, хоть и научились сворачивать пространство. Пикник, видите ли, нам здесь устроили... Пикник...

Как же мне получше обойтись с моими пикниками, думал он, медленно ведя «пежо» по ярко освещенным мокрым улицам. Как бы мне половчее все это провернуть? По принципу наименьшего действия. Как в механике. На кой черт мне мой такой-сякой инженерный диплом, если я не могу придумать, как мне половчее ущучить этого безногого мерзавца...

Он остановил машину перед домом, где жил Рэдрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Потом он вынул «этак», вылез из машины и только тут обратил внимание, что дом выглядит нежилым. Почти все окна были темные, в скверике никого не было, и даже фонари там не горели. Это напомнило ему, чт`о он сейчас увидит, и он зябко поежился. Ему даже пришло в голову, что, может быть, имеет смысл вызвать Рэдрика по телефону и побеседовать с ним в машине или в какой-нибудь тихой пивнушке, но он отогнал эту мысль. По целому ряду причин. И кроме всего прочего, сказал он себе, давай-ка не будем уподобляться всем этим жалким сволочам, которые разбежались отсюда, как тараканы, ошпаренные кипятком.

Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно не метенной лестнице. Вокруг стояла

нежилая тишина, многие двери, выходящие на лестничные площадки, были приотворены или даже распахнуты настежь — из темных прихожих тянуло затхлыми запахами сырости и пыли. Он остановился перед дверью квартиры Рэдрика, пригладил волосы за ушами, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Некоторое время за дверью было тихо, потом там скрипнули половицы, щелкнул замок, и дверь тихо приоткрылась. Шагов он так и не услышал.

На пороге стояла Мартышка, дочь Рэдрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет, и в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев, но потом она отступила в глубь прихожей, и он увидел ее лицо. В горле у него мгновенно пересохло.

— Здравствуй, Мария, — сказал он, стараясь говорить как можно ласковее. — Как поживаешь, Мартышка?

Она не ответила. Она молча и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него исподлобья. Похоже, она не узнавала его. Да и он, честно говоря, не узнавал ее. Зона, подумал он. Дрянь...

— Кто там? — спросила Гута, выглядывая из кухни. — Господи, Дик! Где вы пропадали? Вы знаете, Рэдрик вернулся!

Она поспешила к нему, на ходу вытирая руки полотенцем, переброшенным через плечо, — все такая же красивая, энергичная, сильная, только вот подтянуло ее как-то: лицо осунулось, и глаза были какие-то... лихорадочные, что ли?

Он поцеловал ее в щеку, отдал ей плащ и шляпу и сказал:

— Наслышаны, наслышаны... Все времени никак не мог выбрать — забежать. Дома он?

— Дома, — сказала Гута. — У него там один... Скоро уйдет, наверное, они давно уже сидят. Проходите, Дик...

Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Один. Неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый свет от абажура падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева, ввалившийся безгубый рот, остановившиеся, без блеска, глаза. И сейчас же Нунан почувствовал запах. Он знал, что это игра воображения, запах бывал только первые дни, а потом исчезал напрочь, но Ричард Нунан чувствовал его как бы памятью — душный, тяжелый

запах разрытой земли.

— А то пойдемте на кухню, — поспешно сказала Гута. — Я там ужин готовлю, заодно поболтаем.

— Да, конечно, — сказал Нунан бодро. — Столько не виделись!.. Вы еще не забыли, что именно я люблю выпить перед ужином?

Они прошли на кухню, Гута сразу же открыла холодильник, а Нунан уселся за стол и огляделся. Как всегда, здесь все было чисто, все блестело, над кастрюльками поднимался пар. Плита была новая, полуавтомат, значит, деньги в доме были.

— Ну как он? — спросил Нунан.

— Да все такой же, — ответила Гута. — Похудел в тюрьме, но сейчас уже отъелся.

— Рыжий?

— Еще бы!

— Злой?

— А как же! Это у него уж до самой смерти.

Гута поставила перед ним стакан «кровавой Мэри» — прозрачный слой русской водки словно бы висел над слоем томатного сока.

— Не много? — спросила она.

— В самый раз. — Нунан набрал в грудь воздуху и, зажмурившись, влил в себя смесь. Это было хорошо. Он вспомнил, что, по сути дела, за весь день впервые выпил нечто существенное. — Вот это

другое дело, — сказал он. — Теперь можно жить.

— У вас все хорошо? — спросила Гута. — Что вы так долго не заходили?

— Проклятые дела, — сказал Нунан. — Каждую неделю собирался зайти или хотя бы позвонить, но сначала пришлось ехать в Рексополис, потом скандал один начался, потом мне говорят: «Рэдрик вернулся», — ладно, думаю, зачем им мешать... В общем, завертелся я, Гута. Я иногда спрашиваю себя: какого черта мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой черт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся?..

Гута звякнула крышками кастрюлек, взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить, и снова, второй раз в жизни, увидел, что у нее дрожат пальцы, как тогда, когда Рэдрика только что осудили и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег, — первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался — откуда, но он продолжал приходить, приносил Мартышке лакомства и игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую

благополучную жизнь Рэдрика, а потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал, наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь Рыжий вернется, он вам все кости переломает...» — ничего не помогало.

— А как поживает ваша девушка? — спросила Гута.

— Которая?

— Ну, с которой вы заходили тогда... Беленькая такая...

— Какая же это моя девушка? Это моя стенографистка. Вышла замуж и уволилась.

— Жениться вам надо, Дик, — сказала Гута. — Хотите, невесту найду?

Нунан хотел было ответить, как обычно: «Мартышка вот подрастет...», но вовремя остановился. Сейчас бы это уже не прозвучало.

— Стенографистка мне нужна, а не жена, — проворчал он. — Бросайте вы своего рыжего дьявола и идите ко мне в стенографистки. Вы же были отличной стенографисткой. Старый Гаррис вас до сих пор вспоминает.

— Еще бы, — сказала она. — Всю руку тогда об него отбила.

— Ах даже так? — Нунан сделал вид, что удив-

лен. — Ай да Гаррис!

— Господи! — сказала Гута. — Да он мне проходу не давал! Я только одного боялась, как бы Рэд не узнал.

Бесшумно вошла Мартышка — возникла в дверях, посмотрела на кастрюли, на Ричарда, потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.

— Ну что, Мартышка, — сказал бодро Ричард Нунан. — Шоколадку хочешь?

Он полез в жилетный карман, вытащил шоколадный автомобильчик в прозрачном пакетике и протянул девочке. Она не пошевелилась. Гута взяла у него шоколадку и положила на стол. У нее вдруг побелели губы.

— Да, Гута, — бодро сказал Нунан. — А я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице. Во-первых, от Института все-таки далеко...

— Она уже почти ничего не понимает, — тихо сказала Гута, и он оборвал себя, взял в обе руки стакан и принялся бессмысленно вертеть его в пальцах. — Вы вот не спрашиваете, как мы живем, — продолжала она, — и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик, нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь.

— У врача были? — спросил Нунан, не подни-

мая глаз.

— Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал...

Она замолчала. Он тоже молчал. Не о чем тут было говорить и не хотелось об этом думать, но его вдруг ударила жуткая мысль: это вторжение. Не пикник на обочине, не призыв к контакту — вторжение. Они не могут изменить нас, но они проникают в тела наших детей и изменяют их по своему образу и подобию. Ему стало зябко, но он тут же вспомнил, что уже читал о чем-то подобном, какой-то покетбук в яркой глянцевой обложке, и от этого воспоминания ему полегчало. Придумать можно все, что угодно. На самом деле никогда не бывает так, как придумывают.

— А один сказал, что она уже не человек, — проговорила Гута.

— Вздор, — глухо сказал Нунан. — Обратитесь к настоящему специалисту. Обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Устрою вам прием...

— Это к Мяснику? — Она нервно засмеялась. — Не надо, Дик, спасибо. Это он и сказал. Видно, судьба.

Когда Нунан снова осмелился поднять глаза, Мартышки уже не было, а Гута сидела неподвиж-

но, рот у нее был приоткрыт, глаза пустые, и на сигарете в ее пальцах нарос длинный кривой столбик серого пепла. Тогда он толкнул к ней по столу стакан и проговорил:

— Сделайте-ка мне еще одну порцию, детка... И себе сделайте. И выпьем.

Она уронила пепел, поискала глазами, куда бросить окурок, и бросила в мойку.

— За что? — проговорила она. — Вот я чего не понимаю! Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе...

Нунан подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала — открыла холодильник, достала водку и сок и сняла с полки второй стакан.

— Вы все-таки не отчаивайтесь, — сказал Нунан. — Нет на свете ничего такого, чего нельзя было бы исправить. И вы мне поверьте, Гута, у меня очень большие связи. Все, что смогу, я сделаю...

Сейчас он сам верил в то, что говорил, и уже перебирал в уме имена, клиники и города, и ему уже казалось, будто о подобных случаях он что-то где-то слышал, и вроде бы все кончилось благополучно, надо только сообразить, где это было и кто лечил, но тут он вспомнил, зачем он сюда пришел, и вспомнил господина Лемхена, и вспомнил,

для чего он подружился с Гутой, и ему больше не захотелось думать ни о чем, и он отогнал от себя все связные мысли, сел поудобнее, расслабился и стал ждать, пока ему поднесут выпивку.

В это время в прихожей послышались шаркающие шаги, постукивание, и отвратительный, особенно сейчас, голос Стервятника Барбриджа прогундосил:

— Э, Рыжий! А к твоей бабе, видать, кто-то заглянул, — шляпа... Я б на твоем месте это дело так не оставил...

И голос Рэдрика:

— Береги протезы, Стервятник. И прикуси язык. Вон двери, уйти не забудь, мне ужинать пора.

И Барбридж:

— Тьфу ты, господи, пошутить уже нельзя!

И Рэдрик:

— Мы с тобой уже все отшутили. И точка. Мотай, мотай, не задерживай!

Щелкнул замок, и голоса стали тише — очевидно, оба вышли на лестничную площадку. Барбридж что-то сказал вполголоса, и Рэдрик ему ответил: «Все, все, поговорили!» Снова ворчанье Барбриджа и резкий голос Рэдрика: «Сказал — все!» Ахнула дверь, простучали быстрые шаги в прихожей, и на пороге кухни появился Рэдрик

Шухарт. Нунан поднялся ему навстречу, и они крепко пожали друг другу руки.

— Я так и знал, что это ты, — сказал Рэдрик, оглядывая Нунана быстрыми зеленоватыми глазами. — У-у, растолстел, толстяк! Все задницу в барах нагуливаешь... Эге! Да вы тут, я вижу, весело время проводите! Гута, старушка, сделай мне порцию, надо догонять...

— Да мы еще и не начали, — сказал Нунан. — Мы только собирались. От тебя разве убежишь!

Рэдрик резко засмеялся, ткнул Нунана кулаком в плечо.

— А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит! Я, брат, два года постился, мне, чтоб тебя догнать, цистерну вылакать надо... Пошли, пошли, что мы здесь на кухне! Гута, тащи ужин...

Он нырнул в холодильник и снова выпрямился, держа в каждой руке по две бутылки с разными наклейками.

— Гулять будем! — объявил он. — В честь лучшего друга Ричарда Нунана, который не покидает своих в беде! Хотя пользы ему от этого никакой. Эх, Гуталина нет, жалко...

— А ты позвони ему, — предложил Нунан.

Рэдрик помотал ярко-рыжей головой.

— Туда еще телефон не провели, куда ему сейчас звонить. Ну пошли, пошли...

Он первым вошел в гостиную и грохнул бутылки на стол.

— Гулять будем, папаня! — сказал он неподвижному старику. — Это вот Ричард Нунан, наш друг! Дик, а это папаня мой, Шухарт-старший...

Ричард Нунан, собравшись мысленно в непроницаемый комок, раздвинул рот до ушей, потряс в воздухе ладонью и сказал покойнику:

— Очень рад, мистер Шухарт. Как поживаете?.. Мы ведь знакомы, Рэд, — сказал он Шухарту-младшему, который копался в баре. — Мы один раз уже виделись, мельком, правда...

— Садись, — сказал ему Рэдрик, кивая на стул напротив старика. — Ты, если будешь с ним говорить, говори громче — он не слышит ни хрена.

Он расставил бокалы, быстро откупорил бутылки и сказал Нунану:

— Разливай. Папане немного, на самое донышко...

Нунан неторопливо принялся разливать. Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. А Нунан уже переключился на новую ситуацию. Это была игра, страшная и жалкая.

Игру разыгрывал Рэдрик, и он включился в эту игру, как всю жизнь включался в чужие игры, и страшные, и жалкие, и стыдные, и дикие, и гораздо более опасные, чем эта. Рэдрик, подняв свой бокал, произнес: «Ну что, понеслись?», и Нунан совершенно естественным образом взглянул на старика, а Рэдрик нетерпеливо позвякал своим бокалом о бокал Нунана и сказал: «Понеслись, понеслись, ты за него не беспокойся, он своего не упустит...», и тогда Нунан совершенно естественно кивнул, и они выпили.

Рэдрик крякнул и, блестя глазами, заговорил все в том же возбужденном, немного искусственном тоне:

— Все, браток! Больше меня тюрьма не увидит. Если бы ты знал, милый мой, до чего же дома хорошо! Деньги есть, я себе хороший коттеджик присмотрел, с садом будем, не хуже, чем у Стервятника... Ты знаешь, я ведь эмигрировать хотел, еще в тюрьме решил. Ради какой стервы я в этом вшивом городишке сижу? Да провались, думаю, все пропадом. Возвращаюсь — привет, запретили эмиграцию! Да что же мы — чумные какие-нибудь сделались за эти два года?..

Он говорил и говорил, а Нунан кивал, прихлебывая виски, вставлял сочувственные ругатель-

ства, риторические вопросы, потом принялся расспрашивать про коттедж — что за коттедж, где, за какую цену? — и они с Рэдриком поспорили. Нунан доказывал, что коттедж дорогой и в неудобном месте, он вытащил записную книжку, принялся листать ее и называть адреса заброшенных коттеджей, которые отдадут за бесценок, а ремонт обойдется всего ничего, особенно если подать заявление об эмиграции, получить от властей отказ и потребовать компенсацию.

— Ты, я вижу, уже и недвижимостью занялся, — сказал Рэдрик.

— А я всем понемножку занимаюсь, — ответил Нунан и подмигнул.

— Знаю, знаю, наслышан о твоих бардачных аферах!

Нунан сделал большие глаза, приложил палец к губам и кивнул в сторону кухни.

— Да ладно, все это знают, — сказал Рэдрик. — Деньги не пахнут. Теперь-то я это точно понял... Но Мосла ты себе подобрал в управляющие — я животики надорвал, когда услышал! Пустил, понимаешь, козла в огород... Он же псих, я его с детства знаю!

Тут старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с

деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом, сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу. Рэдрик замолчал и посмотрел на него. В лице его что-то дрогнуло, и Нунан с изумлением увидел на этой конопатой хищной физиономии самую настоящую, самую неподдельную любовь и нежность.

— Пейте, папаня, пейте, — ласково сказал Рэдрик. — Немножко можно, пейте на здоровье... Ничего, — вполголоса сказал он Нунану, заговорщически подмигивая. — Он до этого стаканчика доберется, будь покоен...

Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бойда явились сюда за этим покойником. Лаборантов было двое, оба крепкие современные парни, спортсмены и все такое, и еще был врач из городской больницы и при нем двое санитаров, людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Потом один из лаборантов рассказывал, что «этот рыжий» сначала вроде не понял, о чем идет речь, впустил в квартиру, дал осмотреть отца, и, наверное, старика так бы и увезли, потому что Рэдрик, похоже, вообразил, будто папаню кладут в больницу на профилак-

тику. Но эти болваны-санитары, которые в ходе предварительных переговоров торчали в прихожей и подглядывали за Гутой, как она моет в кухне окна, взялись, когда их позвали, за старика как за бревно — поволокли, уронили на пол. Рэдрик взбесился, и тут вылез вперед болван-врач и стал обстоятельно разъяснять, что, куда и зачем. Рэдрик послушал его минуту или две, а потом вдруг безо всякого предупреждения взорвался, как водородная бомба. Рассказывавший все это лаборант и сам не помнит, как он очутился на улице. Рыжий дьявол спустил с лестницы всех пятерых, причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспамятстве, а остальных троих Рэдрик гнал по улице четыре квартала, после чего вернулся к институтской труповозке и выбил в ней все стекла — шофера в машине уже не было, он удрал по улице в противоположном направлении...

— ...Мне тут в одном баре новый коктейль показали, — говорил между тем Рэдрик, разливая виски. — «Ведьмин студень» называется, я тебе потом сделаю, когда поедим. Это, брат, такая вещь, что на пустое брюхо принимать опасно для

жизни: руки-ноги отнимаются с одной порции... Ты как хочешь, Дик, а я тебя сегодня укачаю. И тебя укачаю, и сам укачаюсь... Старые добрые времена вспомним, «Боржч» вспомним... Бедняга-то Эрни до сих пор сидит, знаешь? — Он выпил, вытер губы тыльной стороной ладони и спросил небрежно: — А что там в Институте, за «ведьмин студень» еще не взялись? Я, знаешь ли, от науки слегка поотстал...

Нунан сразу понял, почему Рэдрик заводит разговор на эту тему. Он всплеснул руками и сказал:

— Что ты, дружище! С этим «студнем» знаешь какая штука случилась? Про Карригановские лаборатории слыхал? Есть такая частная лавочка... Так вот, раздобыли они порцию «студня»...

Он рассказал про катастрофу, про скандал, что концов так и не нашли, откуда взялся «студень» — так и не выяснили, а Рэдрик слушал вроде бы рассеянно, цокал языком, качал головой, а потом решительно плеснул еще виски в бокалы и сказал:

— Так им и надо, паразитам, чтоб они все сдохли...

Они выпили. Рэдрик посмотрел на папаню — снова в его лице что-то дрогнуло. Он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным

пальцам, и пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко.

— Вот так-то оно дело побыстрее пойдет, — сказал Рэдрик. — Гута! — заорал он. — Долго ты нас будешь голодом морить?.. Это она для тебя старается, — объяснил он Нунану. — Обязательно твой любимый салат готовит, с моллюсками, она их давно припасла, я видел... Ну а как вообще в Институте дела? Нашли что-нибудь новенькое? У вас там, говорят, теперь вовсю автоматы работают, да мало вырабатывают...

Нунан принялся рассказывать про институтские дела, и пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла Мартышка, постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику и положила голову ему на плечо. И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два чудовищных порождения Зоны: Господи, да что же еще? Что же еще нужно с нами сделать, чтобы нас наконец проняло? Неужели этого вот — мало?.. Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать, а если и узнают, то поужасаются десять минут и снова вернутся на круги своя. Напьюсь, подумал он с остервенением. К

черту Барбриджа, к черту Лемхена... Семью эту, богом проклятую, к черту. Напьюсь.

— Ты чего на них уставился? — негромко спросил Рэдрик. — Ты не беспокойся, это ей не вредно. Даже наоборот — говорят, от них здоровье исходит.

— Да, я знаю, — сказал Нунан и залпом осушил бокал.

Вошла Гута, деловито приказала Рэдрику расставлять тарелки и поставила на стол большую серебряную миску с любимым салатом Нунана. И тут старик, словно кто-то спохватился и дернул за ниточки, одним движением вскинул бокал к открывшемуся рту.

— Ну, ребята, — сказал Рэдрик восхищенным голосом, — теперь у нас пойдет гулянка на славу!

4. Рэдрик Шухарт, 31 год

За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами, и Рэдрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, которые они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток «зеленки», обтекавшей холм и исчезавшей в овраге.

По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана, но Рэдрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. И еще он знал, что, когда взойдет солнце и туман осядет

росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди — состав вагонеток, и вот тогда начнется самое дело.

Рэдрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет. Тяжелый, паразит, как я с ним поползу? Полтора километра на карачках... Ладно, не гунди, сталкер, знал, на что идешь. Пятьсот тысяч монет дожидаются в конце дороги, можно и попотеть. Пятьсот тысяч, лакомый ломоть, а? Хрен я им отдам меньше чем за пятьсот тысяч. И хрен я дам Стервятнику больше тридцати. А сопляку... а сопляку — ничего. Если старый гад хоть полправды сказал, то сопляку — ничего...

Он снова взглянул в спину Артуру и некоторое время прищурясь наблюдал, как тот легко шагает через две шпалы разом, широкоплечий, узкобедрый, и длинные вороные, как у сестры, волосы вздрагивают в такт шагам. Сам напросился, угрюмо подумал Рэдрик. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прямо дрожал весь, слезы на глазах... «Возьмите меня, мистер Шухарт! Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами, они ведь все никуда не годятся! Отец... но ведь он теперь не может!»

Рэдрик усилием воли оборвал это воспоминание. Думать об этом было противно, и, может быть, поэтому он стал думать о сестре Артура, о том, как он с этой Диной спал — и трезвый спал, и пьяный спал, и какое это каждый раз было разочарование. Просто уму непостижимо: такая роскошная баба, век бы с ней любился, а на самом деле — пустышка, обман, кукла неживая, а не женщина. Как, помнится, пуговицы на кофте у матери — янтарные такие, полупрозрачные, золотистые, так и хочется сунуть в рот и сосать в ожидании какой-то необычайной сладости, и он брал их в рот и сосал, и каждый раз страшно разочаровывался, и каждый раз забывал об этом разочаровании — даже не то чтобы забывал, а просто отказывался верить собственной памяти, стоило ему их снова увидеть.

А может быть, папахен его ко мне подослал, подумал он об Артуре. Вон у него какая пушка в заднем кармане... Нет, вряд ли. Стервятник меня знает. Стервятник знает, что со мной шутки плохи. И знает, какой я в Зоне. Нет, чепуха все это. Не первый он меня просил, не первый он слезы лил, другие и на колени становились... А пушки они все с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Неужели по последнему? Ох, по

последнему, парень! Вот ведь что получается, Стервятник, по последнему. Да, папахен, узнал бы ты про эту его затею — так бы его костылями отделал, сыночка своего, в Зоне вымоленного... Он вдруг почувствовал, что впереди что-то есть — недалеко уже, метрах в тридцати-сорока.

— Стой, — сказал он Артуру.

Парень послушно замер на месте. Реакция у него была хорошая — он так и застыл с приподнятой ногой, а затем медленно и осторожно опустил ее на землю. Рэдрик остановился рядом с ним. Колея здесь заметно уходила вниз и совершенно скрывалась в тумане. И там, в тумане, что-то было. Что-то большое и неподвижное. Безопасное. Рэдрик осторожно потянул ноздрями воздух. Да. Безопасное.

— Вперед, — сказал он негромко, подождал, пока Артур сделает шаг, и двинулся за ним.

Краем глаза он видел лицо Артура, точеный его профиль, чистую кожу щеки и решительно поджатые губы под тончайшими усиками.

Они погрузились в туман по пояс, потом по шею, а еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.

— Все, — сказал Рэдрик и стал стягивать рюкзак. — Садись, где стоишь. Перекур.

Артур помог ему стянуть рюкзак, а потом они сели рядышком на ржавый рельс, Рэдрик отстегнул один из клапанов, достал сверток с едой и термос с кофе и, пока Артур разворачивал сверток и устраивал бутерброды на рюкзаке, вытащил из-за пазухи флягу, отвинтил крышку и, прикрыв глаза, сделал несколько медленных глотков.

— Глотнешь? — предложил он, обтирая ладонью горлышко фляги. — Для храбрости...

Артур обиженно помотал головой.

— Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт, — сказал он. — Я лучше кофе, если разрешите. Сыро здесь очень, правда?

— Сыро, — согласился Рэдрик. Он спрятал флягу, выбрал бутерброд и принялся жевать. — Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было — страшное дело...

Он замолчал и налил себе кофе. Кофе был горячий, густой, сладкий, пить его сейчас было даже приятнее, чем спиртное. От него пахло домом. Гутой. И не просто Гутой, а Гутой в халатике, прямо со сна, с еще сохранившимся рубцом от подушки на щеке. Зря я в это дело впутался, подумал он. Пятьсот тысяч... А на кой ляд мне эти пятьсот тысяч? Бар я на них покупать собираюсь, что

ли? Деньги нужны, чтобы о них не думать. Это правильно. Это Дик верно сказал. Но я ведь о них и так не думаю последнее время. На кой мне ляд эти деньги? Дом есть, сад есть, без работы в Хармонте не останешься... Завел меня Стервятник, гнида вонючая, завел, как молоденького...

— Мистер Шухарт, — сказал вдруг Артур, глядя в сторону, — а вы серьезно верите, что эта штука исполняет желания?

— Чепуха! — рассеянно произнес Рэдрик и замер с поднесенным ко рту стаканчиком. — А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?

Артур смущенно засмеялся, запустил пятерню в вороные волосы, подергал и сказал:

— Да вот догадался!.. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль... Ну, во-первых, раньше отец все время бубнил про этот Золотой Шар, а последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам, а я ведь знаю — никакие вы не друзья, что бы там отец ни говорил... Потом, он странный какой-то стал последнее время... — Артур снова засмеялся и покрутил головой, что-то вспоминая. — А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик... — Он похлопал ладонью по рюкзаку, где лежала туго свернутая оболочка

воздушного шара. — Честно говоря, я вас тогда выследил, и, когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в Зоне, кроме Золотого Шара, ничего тяжелого больше не осталось. — Он откусил от бутерброда, пожевал и задумчиво проговорил с набитым ртом: — Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять, он же, наверное, гладкий...

Рэдрик все смотрел на него поверх стаканчика и думал, до чего же они не похожи друг на друга, отец и сын. Ничего общего между ними не было. Ни лица, ни голоса, ни души. У Стервятника голос хриплый, заискивающий, подлый какой-то, но когда он об этом говорил, то говорил здорово. Нельзя его было не слушать. «Рыжий, — говорил он тогда, перегнувшись через стол. — Нас ведь двое осталось всего, да на двоих две ноги, и обе твои... Кому же, как не тебе? Это же, может, самое ценное, что в Зоне есть! Кому ж достанется, а? Неужто этим чистоплюям достанется, с ихними машинами? Ведь я его нашел, я! Сколько там наших по дороге полегло! А нашел я! Себе берег. И сейчас никому бы не отдал, да руки, видишь, коротки стали... Кроме тебя — некому. Сколько я разных молокососов натаскивал, целую школу,

понимаешь, для них открыл, — не могут, кость не та... Ну ладно, ты не веришь. Не веришь — не надо. Тебе деньги. Дашь мне, сколько сам захочешь, я знаю, ты не обидишь... А я, может, ноги себе верну. Ноги верну, понимаешь ты? Зона ведь ноги у меня отобрала, так, может, Зона и отдаст?..»

— Что? — спросил Рэдрик, очнувшись.

— Я спросил, закурить можно, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Кури, кури... Я тоже закурю.

Он залпом допил остаток кофе, вытащил сигарету и, разминая ее, уставился в редеющий туман. Псих, подумал он. Сумасшедший же. Ноги ему. Стервецу... гниде вшивой...

От всех этих разговоров копился в душе какой-то осадок, непонятно какой. И он не растворялся со временем, этот осадок, а, наоборот, все копился и копился. И непонятно было, что это такое, но оно мешало, словно он чем-то заразился от Стервятника, но не гадостью какой-нибудь, а наоборот... силой, что ли? Нет, не силой. А чем же тогда?.. Ну ладно, сказал он себе. Давай так: предположим, не дошел я сюда. Совсем уже собрался, рюкзак уложил, и тут что-то случилось... Сцапали меня, например. Плохо было бы? Определенно плохо. Почему плохо? Деньги пропали? Да нет, не

в деньгах дело... Что добро это гадам достанется, Хрипатым да Костлявым? Правда, в этом что-то есть. Обидно. Но мне-то что до них? Все равно в конце концов все им достанется...

— Бр-р-р... — Артур передернул плечами. — До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок?

Рэдрик молча достал флягу и протянул ему. А ведь я не сразу согласился, подумал он вдруг. Двадцать раз я посылал Стервятника подальше, а на двадцать первый все-таки согласился. Как-то мне невмоготу стало совсем. И последний разговор у нас получился короткий и вполне деловой. «Здорово, Рыжий. Я вот карту принес. Может, все-таки посмотришь?» А я посмотрел ему в глаза, а глаза у него как нарывы — желтые с черной точкой, и я сказал: «Давай». И все. Помню, что пьяный был тогда, целую неделю пил. На душе было гадостно... А ч-черт, не все ли равно! Пошел и пошел. Что я в этом копаюсь, как в дерьме прутиком! Боюсь я, что ли?..

Он вздрогнул. Длинный, тоскливый скрип донесся вдруг из тумана. Рэдрик вскочил, как подброшенный, и сейчас же, как подброшенный, вскочил Артур. Но уже снова было тихо, только шуршала, струясь по насыпи у них из-под ног,

мелкая галька.

— Это, наверное, порода просела, — неуверенно, с трудом выговаривая слова, прошептал Артур. — Вагонетки — с породой... стоят давно...

Рэдрик смотрел прямо перед собой и ничего не видел. Он вспомнил. Это было ночью. Он проснулся от такого же звука, тоскливого и длинного, обмирая, как во сне. Только это был не сон. Это кричала Мартышка, сидя на своей постели у окна, а с другого конца дома откликался батя, очень похоже, так же длинно и скрипуче, только еще с каким-то клокотанием. И так они перекликались и перекликались в темноте — век, сто лет и еще сто лет. Гута проснулась тоже и взяла Рэдрика за руку, он чувствовал ее мгновенно покрывшееся испариной плечо, и так они лежали все эти сто лет и еще сто лет и слушали, а когда Мартышка замолчала и улеглась, он подождал еще немного, потом встал, спустился на кухню и жадно выпил полбутылки коньяку. С этой ночи он запил.

— ...Порода, — говорил Артур. — Она, знаете, проседает со временем. От сырости, от эрозии, от всяких таких причин...

Рэдрик посмотрел на его побледневшее лицо и снова сел. Сигарета его куда-то пропала из пальцев, он закурил новую. Артур постоял еще

немного, опасливо вертя головой, потом тоже сел и сказал негромко:

— Я знаю, рассказывают, что в Зоне будто бы кто-то живет. Какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто Посещение застигло их тут, и они мутировали... приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то.

...Вот он чем меня заразил, думал он. Сумасшествием своим он меня заразил. Вот, значит, почему я сюда пошел. Вот что мне здесь надо... Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печенках, но только сейчас он о нем догадался, и все встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни, потому что только сейчас он понял: единственное на всем свете, что у него еще осталось, единственное, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он, дурак, болван, отталкивал эту надежду, затаптывал ее, издевался над нею, пропивал ее,

потому что он так привык, потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя, и потому что с самого детства этот расчет на себя выражался у него в количестве зелененьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда, и так было бы и дальше, если бы он в конце концов не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелененькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда — уже не надежда, а уверенность в чуде — заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке... Он засмеялся и толкнул Артура в плечо.

— Что, сталкер, — сказал он. — Замарал подштанники? Привыкай, браток, не стесняйся, дома отстирают.

Артур удивленно посмотрел на него, неуверенно улыбаясь. А Рэдрик смял промасленную бумагу от бутербродов, зашвырнул ее под вагонетку и прилег на рюкзак, упершись локтем.

— Ну хорошо, — сказал он. — А предположим, например, что этот самый Золотой Шар действительно... Что б ты тогда пожелал?

— Значит, вы все-таки верите? — быстро спросил Артур.

— Это неважно — верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.

Ему вдруг на самом деле стало интересно узнать, что может попросить у Золотого Шара такой вот парень, молокосос еще, вчерашний школьник, и он с веселым любопытством следил, как Артур хмурится, тревожит усики, вскидывает на него и снова прячет глаза.

— Ну, конечно, ноги отцу... — проговорил Артур наконец. — Чтобы дома было все хорошо...

— Врешь, врешь, — добродушно сказал Рэдрик. — Ты, браток, учти: Золотой Шар только сокровенные желания выполняет, только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю!

Артур Барбридж покраснел, снова вскинул на Рэдрика и тотчас же опустил глаза и совсем залился краской, даже слезы выступили. Рэдрик ухмыльнулся, глядя на него.

— Все понятно, — сказал он почти ласково. — Ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе... — И тут он вдруг вспомнил про пистолет и подумал, что, пока есть время, надо учесть все, что можно учесть. — Что это у тебя в заднем кармане? — спросил он небрежно.

— Пистолет, — буркнул Артур и закусил губу.

— Зачем он тебе?

— Стрелять! — сказал Артур с вызовом.

— Брось, брось, — строго проговорил Рэдрик и сел прямо. — Давай его сюда. В Зоне стрелять не в кого. Давай.

Артур хотел что-то сказать, но промолчал, сунул руку за спину, вытащил армейский кольт и протянул Рэдрику, держа за ствол. Рэдрик взял пистолет за теплую рубчатую рукоятку, подбросил его, поймал и спросил:

— Платок у тебя есть какой-нибудь? Давай, я заверну...

Он взял у Артура носовой платок, чистенький, пахнущий одеколоном, завернул пистолет и положил сверток на шпалу.

— Пусть пока здесь полежит, — объяснил он. — Даст бог, вернемся сюда — возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется... Хотя от патрульных отстреливаться, браток...

Артур решительно помотал головой.

— Да мне не для этого, — сказал он с досадой. — Там только один патрон. Чтобы, если как с отцом...

— Во-он что... — протянул Рэдрик, рассматривая

его в упор. — Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Обещаю... Гляди, рассвело!

Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протаивала, сквозь нее прорастали округлые щетинистые вершины холмов, и между холмами кое-где виднелась уже рябая поверхность прокисшего болота, покрытая реденьким заморенным лозняком, а на горизонте, за холмами, ярко-желтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое. Артур оглянулся через плечо и восхищенно вскрикнул. Рэдрик тоже оглянулся. На востоке горы казались черными, а над ними полыхало и переливалось знакомое изумрудное зарево — зеленая заря Зоны. Рэдрик поднялся и, расстегивая ремень, сказал:

— Облегчиться не собираешься? Смотри, потом негде будет и некогда...

Он зашел за вагонетку, присел на насыпи и, покряхтывая, смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зеленое зарево, и оранжевая краюха солнца выползает из-за хребта, и сразу от холмов потянулись лиловатые тени — все стало резким, рельефным, все стало видно как на

ладони, и прямо перед собой, метрах в двухстах, Рэдрик увидел вертолет. Вертолет упал, видно, в самый центр «комариной плеши», и весь фюзеляж его расплющило в жестяной блин, только хвост остался цел, его слегка изогнуло, и он черным крючком торчал над прогалиной между холмами, и стабилизирующий винт остался цел — отчетливо поскрипывал, покачиваясь на легком ветерке. «Плешь», видимо, попалась мощная, даже пожара настоящего не получилось, и на расплющенной жестянке отчетливо выделялась красно-синяя эмблема королевских военно-воздушных сил, которую Рэдрик вот уже сколько лет и в глаза не видел и вроде бы даже позабыл, как она выглядит.

Справив нужду, Рэдрик вернулся к рюкзаку, достал карту и разложил ее на спекшейся груде породы в вагонетке. Самого карьера видно отсюда не было — его заслонял холм с почерневшим, обгорелым деревом на вершине. Этот холм предстояло обойти справа, по лощине между ним и другим холмом, который тоже был виден отсюда, совсем голый, с бурой каменной осыпью по всему склону.

Все ориентиры совпадали, но Рэдрик не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт

сталкера категорически протестовал против самой мысли, несуразной и противоестественной, — прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. Ладно, подумал Рэдрик. Это мы еще посмотрим. На месте будет виднее. Тропа до этой лощины вела по болоту, по открытому ровному месту, которое казалось отсюда безопасным, но, приглядевшись, Рэдрик различил между сухими кочками какое-то темно-серое пятно. Он взглянул на карту. Там стоял крестик и корявыми буквами было написано: «Хлюст». Красный пунктир тропы шел правее крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но кто такой этот Хлюст, как он выглядел и когда он был, Рэдрик вспомнить не мог. Вспомнилось ему почему-то только: дымный зал в «Боржче», какие-то пьяные свирепые хари, огромные красные лапы, сжимающие стаканы, громовой хохот, разинутые желтозубые пасти — фантастическое стадо титанов и гигантов, собравшееся на водопой, одно из самых ярких воспоминаний детства — первое посещение «Боржча». Что я тогда принес? «Пустышку», кажется. Прямо из Зоны, мокрый, голодный, ошалелый, с мешком через плечо, ввалился в этот кабак, грохнул мешок на стойку перед Эрнестом, злобно щерясь и озираясь, выдержал грохочу-

щий залп издевательств, дождался, пока Эрнест — тогда еще молодой, всегда при галстуке бабочкой — отсчитал сколько-то там зелененьких... нет, тогда были еще не зелененькие, тогда были квадратные, королевские, с какой-то полуголой бабой в плаще и в венке... дождался, спрятал деньги в карман и неожиданно для себя самого цапнул со стойки тяжелую пивную кружку и с размаху хватил ею по ближайшей хохочущей пасти... Рэдрик ухмыльнулся и подумал: может, это и был Хлюст?

— Разве между холмами можно, господин Шухарт? — вполголоса спросил над ухом Артур. Он стоял рядом и тоже разглядывал карту.

— Там посмотрим, — сказал Рэдрик. Он все смотрел на карту. На карте было еще два крестика: один — на склоне холма с деревом, другой — на каменной осыпи. Пудель и Очкарик. Тропа проходила понизу между ними. — Там посмотрим, — повторил он, сложил карту и сунул ее в карман.

Он оглядел Артура и спросил:

— Как стул? — и, не дожидаясь ответа, приказал: — Подай мне на спину рюкзак... Пойдем как раньше, — сказал он, встряхивая рюкзак и прилаживая лямки поудобнее. — Ты идешь

впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придется много ползти, грязи не вздумай бояться, если прикажу — мордой в грязь без разговоров... Да курточку свою застегни. Готов?

— Готов, — сказал Артур глухо. Он здорово нервничал. Румянца на щеках у него как не бывало.

— Первое направление — вот. — Рэдрик резко махнул ладонью в сторону ближайшего холма в сотне шагов от насыпи. — Ясно? Пошел.

Артур судорожно вздохнул и, перешагнув через рельс, стал боком спускаться с насыпи. Галька с шумом сыпалась за ним.

— Легче, легче, — сказал Рэдрик. — Спешить некуда.

Он стал осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжелого рюкзака мускулами ног. Краем глаза он все время следил за Артуром. Боится парень, думал он. И правильно боится. Предчувствует, наверное. Если у него чутье, как у папаши, то должен предчувствовать... Знал бы ты, Стервятник, как обернулось дело. Знал бы ты, Стервятник, что на этот раз я тебя послушаюсь. «...А вот здесь, Рыжий, тебе одному не пройти. Хочешь не хочешь, а придется

тебе кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих сопляков отдать, кого не жалко...» Уговорил. Первый раз в жизни согласился я на такое дело. Ну ничего, подумал он. Может быть, все-таки обойдется, все-таки я не Стервятник, может быть, словчим что-нибудь...

— Стоп! — приказал он Артуру.

Парнишка остановился по щиколотку в ржавой воде. Пока Рэдрик спускался к нему, трясина затянула его по колено.

— Камень видишь? — спросил Рэдрик. — Вон, под холмом лежит. Давай на него.

Артур двинулся вперед. Рэдрик отпустил его на десять шагов и пошел следом. Трясина под ногами чавкала и воняла. Это была мертвая трясина — ни мошкары, ни лягушек, даже лозняк здесь высох и сгнил. Рэдрик привычно посматривал по сторонам, но пока все было вроде бы спокойно. Холм медленно приближался, наполз на низкое еще солнце, потом закрыл всю восточную часть неба. У камня Рэдрик оглянулся в сторону насыпи. Насыпь была ярко озарена солнцем, на ней стоял поезд из десятка вагонеток, часть вагонеток сорвалась с рельсов и лежала на боку, насыпь под ними была покрыта рыжими потеками высыпавшейся породы. А дальше, в сторону карьера,

к северу от поезда, воздух над рельсами мутно дрожал и переливался, и время от времени в нем мгновенно вспыхивали и гасли маленькие радуги. Рэдрик посмотрел на это дрожание, сплюнул почти всухую и отвернулся.

— Дальше, — сказал он, и Артур повернул к нему напряженное лицо. — Вон тряпье, видишь? Да не туда смотришь! Вон там, правее...

— Да, — сказал Артур.

— Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших и теперь лежит там специально для того, чтобы показывать умным людям дорогу. Возьми два пальца вправо от этого Хлюста... Взял? Засек точку? Ну, примерно там, где лозняк чуть погуще... Двигай туда. Пошел!

Теперь они шли параллельно насыпи. С каждым шагом воды под ногами становилось все меньше, и скоро они шагали уже по сухим пружинистым кочкам. А на карте здесь везде сплошное болото, подумал Рэдрик. Устарела карта. Давненько Барбридж здесь не бывал, вот она и устарела. Плохо. Оно, конечно, по сухому идти легче, но лучше уж, чтобы здесь было это болото... Ишь вышагивает, подумал он про Артура. Как по Центральному проспекту.

Артур, видимо, приободрился и шел теперь

полным шагом. Одну руку он засунул в карман, а другой весело отмахивал, словно на прогулке. Тогда Рэдрик пошарил в кармане, выбрал гайку граммов на двадцать и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру точно в затылок. Парень ахнул, обхватил голову руками и, скорчившись, рухнул на сухую траву. Рэдрик остановился над ним.

— Вот так оно здесь и бывает, Арчи, — сказал он назидательно. — Это тебе не бульвар, ты здесь со мной не на шпацир вышел.

Артур медленно поднялся. Лицо у него было совершенно белое.

— Все понятно? — спросил Рэдрик.

Артур глотнул и покивал.

— Вот и хорошо. А в следующий раз надаю по зубам. Если жив останешься. Пошел!

А из паренька мог бы получиться сталкер, думал Рэдрик. Звали бы его, наверное, Красавчик. Красавчик Арчи. У нас был уже один Красавчик, звали его Диксон, а теперь его зовут Суслик. Единственный сталкер, который попал в «мясорубку» и все-таки выжил. Повезло. Он-то, чудак, до сих пор думает, что это его Барбридж из «мясорубки» вытащил. Черта с два. Из «мясорубки» не вытащишь... Из Зоны он его выволок, это верно.

Совершил Барбридж такой геройский поступок. Только попробовал бы он не выволочь. Эти его штучки тогда уже всем надоели, и ребята ему сказали в тот раз прямо: один лучше не возвращайся. А ведь как раз тогда Барбриджа и прозвали Стервятником, до этого он у нас в Битюгах ходил...

Рэдрик вдруг ощутил на левой щеке едва заметный ток воздуха и сейчас же, еще не успев ни о чем подумать, крикнул:

— Стой!

Он вытянул руку влево. Ток воздуха чувствовался там сильнее. Где-то между ними и насыпью разлеглась «комариная плешь», а может быть, она шла и по самой насыпи — не зря же свалились вагонетки. Артур стоял как вкопанный, он даже не обернулся.

— Возьми правее, — приказал Рэдрик. — Пошел.

Да, неплохой был бы сталкер... Кой черт, жалею я его, что ли? Этого еще не хватало. А меня кто-нибудь когда-нибудь жалел?.. Вообще-то да, жалели. Кирилл меня жалел. Дик Нунан меня жалеет. Правда, он, может быть, не столько меня жалеет, сколько к Гуте прислоняется, но, может быть, и жалеет, одно другому не помеха у порядочных людей... Только мне вот жалеть никого не при-

ходится. У меня выбор: или — или... Он впервые с полной отчетливостью представил себе этот выбор: или этот паренек, или моя Мартышка. Тут и выбирать нечего, все ясно. Если только чудо возможно, — сказал какой-то скептический голос изнутри, и он с ужасом и ожесточением задавил в себе этот голос.

Они миновали груду серого тряпья. От Хлюста ничего не осталось, только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка — миноискатель. Было время, многие пользовались миноискателями, покупали втихаря у армейских интендантов, надеялись на эти штуки как на самого господа бога, а потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами. И как отрезало... Кто же все-таки был этот Хлюст? Стервятник его сюда привел, или он сам сюда пришел? И почему их всех тянуло к этому карьеру? Почему я об этом ничего не слыхал?.. Дьявол, припекает-то как! И это с утра, а что будет потом?

Артур, который шел шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Рэдрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы *скрипит*,

как картофельная мука, и она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая, — она рассыпалась под сапогом, словно лохмотья копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!»

Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой, и он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет, хотя и понимал, что они попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивал все тело, как простыня, смоченная кипятком, глаза залило потом, и Рэдрик запоздало крикнул Артуру: «Не шевелись! Терпи!» — и стал терпеть сам.

И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо-благородно, пропотели бы только, но не выдержал Артур. То ли не расслышал он, что ему крикнули, то ли перепугался сверх всякой меры, а может быть, разом припекло его еще сильнее, чем Рэдрика, — во всяком случае управлять собой он перестал и слепо, с каким-то горловым воплем, кинулся, пригнувшись, куда погнал его бессмысленный инстинкт — назад, как раз туда, куда бежать уж никак нельзя было. Рэдрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв

тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, лягнул Рэдрика свободной ногой в лицо, забился и задергался, но Рэдрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю, обеими руками держа за длинные волосы дергающуюся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычание, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, жаба, лежи, убью...», а сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля, и уже полыхала на нем одежда, и трещала, вздуваясь пузырями и лопаясь, кожа на ногах и боках, и он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил...

Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать, что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку, и сообразил, что надо спешить, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Он сполз с Артура, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе

его ноги под мышкой и, помогая себе свободной рукой, пополз вперед, не спуская глаз с черты, за которой снова начиналась трава, — мертвая, сухая, колючая, но настоящая, — она казалась ему сейчас величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах, обожженное лицо то и дело обдавало остатками жара, пот лил прямо в глаза — наверное, потому, что ни бровей, ни ресниц у него больше не было. Артур волочился следом, словно нарочно цепляясь своей проклятой курточкой, горела обваренная задница, а рюкзак при каждом движении поддавал в обгорелый затылок. От боли и духоты Рэдрик с ужасом подумал, что совсем обварился и теперь ему не дойти. От этого страха он сильнее заработал свободным локтем и коленками, выталкивая через пересохшую глотку самые гнусные ругательства, какие приходили ему в голову, а потом вдруг с какой-то сумасшедшей радостью вспомнил, что за пазухой у него лежит почти полная фляга, подружечка, милая моя, не выдаст, только бы доползти, ну еще немного, давай, Рэд, давай, Рыжий, вот так, вот так, ну еще немного, в бога, в ангелов, на Северном полюсе, под тридцатью одеялами, в пришельцев и в Стервятника душу...

Потом он долго лежал, погрузив лицо и руки

в холодную ржавую воду, с наслаждением вдыхая провонявшую гнилью прохладу. Век бы так лежал, но он заставил себя подняться, стоя на коленях, сбросил рюкзак, на четвереньках подобрался к Артуру, который все еще неподвижно лежал шагах в тридцати от болота, и перевернул его на спину. Н-да, красивый был мальчик. Теперь эта смазливая мордашка казалась черно-серой маской из смеси запекшейся крови и пепла, и несколько секунд Рэдрик с тупым интересом разглядывал продольные борозды на этой маске — следы от кочек и камней. Потом он поднялся на ноги, взял Артура под мышки и потащил к воде. Артур хрипло дышал, время от времени постанывая. Рэдрик бросил его лицом в самую большую лужу и повалился рядом, снова переживая наслаждение от мокрой ледяной ласки. Артур забулькал, завозился, подтянул под себя руки и поднял голову. Глаза его были вытаращены, он ничего не соображал и жадно хватал ртом воздух, отплевываясь и кашляя. Потом взгляд его сделался осмысленным и остановился на Рэдрике.

— Ф-фу-у... — сказал он и помотал головой, разбрызгивая грязную воду. — Что это было, мистер Шухарт?

— Смерть это была, — невнятно произнес

Рэдрик и закашлялся. Он ощупал лицо. Было больно. Нос распух, но брови и ресницы, как это ни странно, были на месте. И кожа на руках тоже оказалась цела, только покраснела малость. Надо думать, и задницу не до кости прожгло... Он пощупал — нет, явно не до кости, даже штаны целы. Просто как кипятком ошпарило...

Артур тоже осторожно трогал пальцами свое лицо. Теперь, когда страшную маску смыло водой, физиономия у него оказалась — тоже противу ожиданий — почти в порядке. Несколько царапин, ссадина на лбу, рассечена нижняя губа, а так, в общем, ничего.

— Никогда о таком не слышал, — проговорил Артур и посмотрел назад.

Рэдрик тоже оглянулся. На сероватой испепеленной траве осталось много следов, и Рэдрик поразился, как, оказывается, короток был тот страшный, бесконечный путь, который он прополз, спасаясь от гибели. Каких-нибудь метров двадцать-тридцать, не больше, было всего от края до края выжженной проплешины, но он сослепу и от страха полз по ней каким-то диким зигзагом, как таракан по раскаленной сковороде, и спасибо еще, что полз, в общем, туда, куда надо, а ведь мог бы заползти на «комариную плешь»

слева, а мог бы и вообще повернуть обратно... Нет, не мог бы, подумал он с ожесточением. Это молокосос какой-нибудь мог бы, а я тебе не молокосос, и если бы не этот дурак, то вообще ничего бы не случилось, обварил бы себе зад — вот и все неприятности.

Он посмотрел на Артура. Артур с фырканьем умывался, покряхтывал, задевая больные места. Рэдрик поднялся и, морщась от прикосновений задубевшей от жара одежды к обожженной коже, вышел на сухое место и нагнулся над рюкзаком. Вот рюкзаку досталось по-настоящему. Верхние клапаны просто-напросто обгорели, пузырьки в аптечке все полопались от жара к чертовой матери, и от жухлого пятна несло невыносимой медициной. Рэдрик отстегнул клапан, принялся выгребать осколки стекла и пластика, и тут Артур у него за спиной сказал:

— Спасибо вам, мистер Шухарт! Вытащили вы меня.

Рэдрик промолчал. Кой еще черт — спасибо! Сдался ты мне — спасать тебя.

— Я сам виноват, — сказал Артур. — Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать, но я здорово перепугался, а когда припекло — совсем голову потерял. Я очень боли боюсь, мистер Шухарт...

— Давай вставай, — сказал Рэдрик, не оборачиваясь. — Это все были цветочки... Вставай, чего разлегся!

Зашипев от боли в обожженных плечах, он вскинул на спину рюкзак, продел руки в лямки. Ощущение было такое, будто кожа на обожженных местах съежилась и покрылась болезненными морщинами. Боли он боится... С дерьмом тебя пополам вместе с твоей болью!.. Он огляделся. Ничего, с тропы не сошли. Теперь эти холмики с покойниками. Поганые холмики — стоят, гниды, торчат как стервячьи ягодицы, и эта лощинка между ними... Он невольно потянул носом воздух. Ах, сволочная лощинка, вот она-то самая погань и есть. Жаба.

— Лощинку между холмами видишь? — спросил он Артура.

— Вижу.

— Прямо на нее. Марш!

Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед, шлепая по лужам. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше, — согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской. Вот и еще одного я вытащил, подумал Рэдрик. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спраши-

вается: зачем? Что он мне — родной? Поручился я за него? Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся... Теперь-то, на ясную голову, я знаю: правильно я его тащил, мне без него не обойтись, он у меня как заложник за Мартышку. Я не человека вытащил, я миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить, хотя про все забыл — и про отмычку забыл, и про Мартышку забыл... Что же это получается? Получается, что я и в самом деле добрый парень. Это мне и Гута твердит, и Кирилл-покойник внушал, и Ричард все время насчет этого долдонит... Тоже мне, нашли добряка. Ты это брось, сказал он себе. Тебе здесь эта доброта ни к чему! Думать надо, а потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз, понятно? Добряк... Мне его надо сберечь для «мясорубки», холодно и ясно подумал он. Здесь все можно пройти, кроме «мясорубки».

— Стой! — сказал он Артуру.

Лощина была перед ними, и Артур уже стоял, растерянно глядя на Рэдрика. Дно лощины было покрыто гнойно-зеленой, жирно отсвечивающей на солнце жижей. Над поверхностью ее курился

легкий парок, между холмами он становился гуще, и в тридцати шагах уже ничего не было видно. И смрад. Черт знает что гнило там в этом месиве, но Рэдрику показалось, что сто тысяч разбитых тухлых яиц, вылитых на кучу из ста тысяч тухлых рыбьих голов и дохлых кошек, не могли бы смердеть так, как смердело здесь. «Запашок там будет, Рыжий, так ты не того... не дрейфь».

Артур издал горловой звук и попятился. Тогда Рэдрик стряхнул с себя оцепенение, торопливо вытащил из кармана сверток с ватой, пропитанной дезодоратором, заткнул ноздри тампонами и протянул вату Артуру.

— Спасибо, мистер Шухарт, — слабым голосом сказал Артур. — А как-нибудь поверху нельзя?..

Рэдрик молча взял его за волосы и повернул его голову в сторону кучи тряпья на каменной осыпи.

— Это был Очкарик, — сказал он. — А на левом холме — отсюда не видно — лежит Пудель. В том же виде. Понял? Вперед.

Жижа была теплая, липкая, как гной. Сначала они шли в рост, погрузившись по пояс, дно под ногами, к счастью, было каменистое и довольно ровное, но вскоре Рэдрик услышал знакомое жужжание с обеих сторон. На левом холме, осве-

щенном солнцем, ничего не было видно, а на склоне справа, в тени, запрыгали бледные лиловатые огоньки.

— Пригнись! — скомандовал он сквозь зубы и пригнулся сам. — Ниже, дурак! — крикнул он.

Артур испуганно пригнулся, и в ту же секунду громовой разряд расколол воздух. Над самыми головами у них затряслась в бешеной пляске разветвленная молния, едва заметная на фоне неба. Артур присел и окунулся по плечи. Рэдрик, чувствуя, что уши ему заложило от грохота, повернул голову и увидел в тени ярко-алое, быстро тающее пятно среди каменного крошева, и сейчас же туда ударила вторая молния.

— Вперед! Вперед! — заорал он, не слыша себя.

Теперь они двигались на корточках, гусиным шагом, выставив наружу только головы, и при каждом разряде Рэдрик видел, как длинные волосы Артура встают дыбом, и чувствовал, как тысячи иголочек вонзаются в кожу лица. «Вперед! — монотонно повторял он. — Вперед!» Он уже ничего не слышал. Один раз Артур повернулся к нему в профиль, и он увидел вытаращенный ужасом глаз, скошенный на него, и белые прыгающие губы, и замазанную зеленью потную щеку. Потом молнии стали бить так низко, что

им приходилось окунаться с головой. Зеленая слизь заклеивала рот, стало трудно дышать. Хватая ртом воздух, Рэдрик вырвал из носа тампоны и обнаружил вдруг, что смрад исчез, что воздух наполнен свежим, пронзительным запахом озона, а пар вокруг становился все гуще, или, может быть, это потемнело в глазах, и уже не видно было холмов ни справа, ни слева — ничего не было видно, кроме облепленной зеленой грязью головы Артура и желтого клубящегося пара вокруг.

Пройду, пройду, думал Рэдрик. Не в первый раз, всю жизнь так: сам в дерьме, а над головой молнии, иначе никогда и не было... И откуда здесь это дерьмо? Сколько дерьма... с ума сойти, сколько дерьма в одном месте, здесь дерьмо со всего света... Это Стервятник, подумал он яростно. Это Стервятник здесь прошел, это за ним осталось... Очкарик лег справа, Пудель лег слева, и все для того, чтобы Стервятник прошел между ними и оставил за собой всё свое дерьмо... Так тебе и надо, сказал он себе. Кто идет следом за Стервятником, тот всегда глотает дерьмо. Ты что, этого раньше не знал? Во всем мире так. Их слишком много, Стервятников, почему и не осталось ни одного чистого места, все загажено... Нунан — дурак: ты, мол, Рыжий, нарушитель равнове-

сия, разрушитель порядка, тебе, мол, Рыжий, при любом порядке плохо, и при плохом плохо, и при хорошем плохо, — из-за таких, как ты, никогда не будет царствия небесного на земле... Да что ты в этом понимаешь, толстяк? Когда это я видел хороший порядок? Когда это ты видел меня при хорошем порядке?.. Я всю свою жизнь только и вижу, как умирают Кириллы да Очкарики, а Стервятники проползают между ихними трупами, по ихним трупам, как черви, и гадят, и гадят, и гадят...

Он поскользнулся на повернувшемся под ногой камне, окунулся с головой, вынырнул, увидел совсем рядом перекошенное, с вытаращенными глазами лицо Артура и вдруг на мгновение похолодел: ему показалось, что он потерял направление. Но он не потерял направления. Он сейчас же понял, что идти надо вон туда, где из жижи торчит черная верхушка камня, — понял, хотя, кроме этой верхушки, ничего не было видно в желтом тумане.

— Стой! — заорал он. — Правее держи! Правее камня!

Он опять не услышал своего голоса и тогда догнал Артура, поймал его за плечо и стал показывать рукой: держи правее камня, голову вниз. Вы

мне за это заплатите, подумал он. У камня Артур нырнул, и сейчас же молния с треском ударила в черную верхушку, только раскаленные крошки полетели. Вы мне за это заплатите, повторял он, погружаясь с головой и изо всех сил работая руками и ногами. В ушах гулко раскатился новый удар молнии. Я из вас всю душу вытрясу за это! Он мимолетно подумал: о ком это я? Не знаю. Но кто-то за это должен заплатить, кто-то мне за это заплатит! Подождите, дайте только добраться до Шара, до Шара мне дайте добраться, я это дерьмо вам в глотку вобью, я вам не Стервятник, я с вас спрошу по-своему...

Когда они выбрались на сухое место, на уже раскаленное солнцем каменное крошево, оглушенные, вывернутые наизнанку, шатаясь и цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, Рэдрик увидел облупленный автофургон, просевший на осях, и смутно вспомнил, что здесь, возле этого фургона, можно отдышаться в тени. Они забрались в тень. Артур лег на спину и принялся вялыми пальцами расстегивать на себе куртку, а Рэдрик привалился рюкзаком к стенке фургона, кое-как вытер ладони о щебень и полез за пазуху.

— И мне... — проговорил Артур. — И мне, ми-

стер Шухарт.

Рэдрик поразился, какой у этого мальчишки громкий голос, хлебнул, закрыл глаза, прислушиваясь, как горячая, всеочищающая струя проливается в глотку и растекается по груди, глотнул еще раз и протянул флягу Артуру. Все, подумал он вяло. Прошли. И это прошли. Теперь — сумму прописью. Вы думаете, я забыл? Нет, я все помню. Думаете, я вам спасибо скажу, что вы меня живым оставили, не утопили в этом дерьме? Кол вам, а не спасибо. Теперь вам всем конец, понятно? Я ничего этого не оставлю. Теперь я решаю. Я, Рэдрик Шухарт, в здравом уме и трезвой памяти буду решать все и за всех. А вы, все прочие, стервятники, жабы, пришельцы, костлявые, квотерблады, паразиты, зелененькие, хрипатые, в галстучках, в мундирчиках, чистенькие, с портфелями, с речами, с благодеяниями, с работодательством, с вечными аккумуляторами, с вечными двигателями, с «комариными плешами», со светлыми обещаниями — хватит, поводили меня за нос, через всю мою жизнь волокли меня за нос, я все, дурак, хвастался, что, мол, как хочу, так и делаю, а вы только поддакивали, а сами, гады, перемигивались и волокли меня за нос, тянули, тащили, через дерьмо, через

тюрьмы, через кабаки... Хватит! Он отстегнул ремни рюкзака и принял из рук Артура флягу.

— ...Никогда я не думал, — говорил Артур с кротким недоумением в голосе, — даже представить себе не мог... Я, конечно, знал — смерть, огонь... Но вот такое!.. Как же мы с вами обратно-то пойдем?

Рэдрик не слушал его. То, что говорит этот человечек, теперь не имеет никакого значения. Это и раньше не имело никакого значения, но раньше он все-таки был человеком. А теперь это... так, говорящая отмычка. Пусть говорит.

— Помыться бы... — Артур озабоченно озирался. — Хоть бы лицо сполоснуть.

Рэдрик рассеянно взглянул на него, увидел слипшиеся, свалявшиеся войлоком волосы, измазанное подсохшей слизью лицо со следами пальцев, и всего его, покрытого коркой потрескавшейся грязи, и не ощутил ни жалости, ни раздражения, ничего. Говорящая отмычка. Он отвернулся. Впереди расстилалось унылое, как заброшенная строительная площадка, пространство, засыпанное острой щебенкой, запорошенное белой пылью, залитое слепящим солнцем, нестерпимо белое, горячее, злое, мертвое. Дальний край карьера был уже виден отсюда

— тоже ослепительно белый и кажущийся с этого расстояния совершенно ровным и отвесным, а ближний край отмечала россыпь крупных обломков, и спуск в карьер был там, где среди обломков красным пятном выделялась кабина экскаватора. Это был единственный ориентир. Надо было идти прямо на него, положившись на самое обыкновенное везенье.

Артур вдруг приподнялся, сунул руку под фургон и вытащил оттуда ржавую консервную банку.

— Взгляните-ка, мистер Шухарт, — сказал он, оживившись. — Ведь это, наверное, отец оставил... Там и еще есть.

Рэдрик не ответил. Это ты зря, подумал он равнодушно. Лучше бы тебе сейчас про отца не вспоминать, лучше бы тебе сейчас вообще помалкивать. А впрочем, все равно... Он поднялся и зашипел от боли, потому что вся одежда приклеилась к телу, к обожженной коже, и теперь что-то там внутри мучительно рвалось, отдиралось, как засохший бинт от раны. Артур тоже поднялся и тоже зашипел и закряхтел и страдальчески посмотрел на Рэдрика — видно было, что ему очень хочется пожаловаться, но он не решается. Он только сказал сдавленным голосом:

— А нельзя мне сейчас еще разок глотнуть, мистер Шухарт?

Рэдрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал:

— Красное видишь между камнями?

— Вижу, — сказал Артур и судорожно перевел дух.

— Прямо на него. Пошел.

Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился и, озираясь, проговорил:

— Помыться бы хоть немножко... Приклеилось все.

Рэдрик молча ждал. Артур безнадежно посмотрел на него, покивал и двинулся было, но тут же остановился.

— Рюкзак, — сказал он. — Рюкзак забыли, мистер Шухарт.

— Марш! — приказал Рэдрик.

Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать, да и ни к чему все это было. И так пойдет. Деваться ему некуда. Пойдет. И Артур пошел. Побрел, ссутулившись, волоча ноги, пытаясь отодрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый бродячий котенок. Рэдрик двинулся следом, и, как только он вышел из тени, солнце опалило и ослепило

его, и он прикрылся ладонью, жалея, что не прихватил темные очки.

От каждого шага взлетало облачко белой пыли, пыль садилась на ботинки, она воняла — вернее, это от Артура несло, идти за ним следом было невозможно, и не сразу Рэдрик понял, что воняет-то больше всего от него самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый — это в городе так воняло в те дни, когда северный ветер нес по улицам дымы от завода. И от отца так же воняло, когда он возвращался домой, огромный, мрачный, с красными бешеными глазами, и Рэдрик торопился забраться куда-нибудь в дальний угол и оттуда смотрел боязливо, как отец сдирает с себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, стаскивает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, пихает их под вешалку, а сам в одних носках липко шлепает в ванную под душ и долго ухает там, с треском хлопая себя по мокрым телесам, гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревет на весь дом: «Мария! Заснула?» Нужно было дождаться, пока он отмоется, сядет за стол, где уже стоит четвертинка, глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом, дождаться, пока он опустошит четвертинку, дохлебает суп, рыгнет и примется за мясо с бобами, и вот тогда

можно было выбираться на свет, залезать к нему на колени и спрашивать, какого мастера и какого инженера он утопил сегодня в купоросном масле...

Все вокруг было раскалено добела, и его мутило от сухой жестокой жары, от вони, от усталости, и неистово саднила обожженная, полопавшаяся на сгибах кожа, и ему казалось, что сквозь горячую муть, обволакивающую сознание, она пытается докричаться до него, умоляя о покое, о воде, о прохладе. Затертые до незнакомости воспоминания громоздились в отекшем мозгу, опрокидывали друг друга, заслоняли друг друга, смешивались друг с другом, вплетаясь в белый знойный мир, пляшущий перед полузакрытыми глазами, и все они были горькими, и все они смердели, и все они вызывали царапающую жалость или ненависть. Он пытался вмешаться в этот хаос, силился вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости, он выдавливал из глубин памяти свежее смеющееся личико Гуты, еще девчонки, желанной и неприкосновенной, и оно появлялось было, но сразу же затекало ржавчиной, искажалось и превращалось в угрюмую, заросшую грубой бурой шерстью мордочку Мартышки; он силился

вспомнить Кирилла, святого человека, его быстрые, уверенные движения, его смех, его голос, обещающий небывалые и прекрасные места и времена, и Кирилл появлялся перед ним, а потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, и вот уже нет Кирилла, а уставляются в лицо Рэдрику немигающие ангельские глазки Хрипатого Хью, и большая белая рука его взвешивает на ладони фарфоровый контейнер... Какие-то темные силы, ворочающиеся в его сознании, мгновенно сминали волевой барьер и гасили то немногое хорошее, что еще хранила его память, и уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе, а только рыла, рыла, рыла...

И все это время он оставался сталкером. Не думая, не осознавая, не запоминая даже, он фиксировал словно бы спинным мозгом, что вот слева, на безопасном расстоянии, над грудой старых досок стоит «веселый призрак» — спокойный, выдохшийся, и плевать на него; а справа подул невнятный ветерок, и через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, «комариная плешь», многохвостая, будто морская звезда, — далеко, не страшно, — а в центре ее — расплющенная в тень птица, редкая штука, птицы над Зоной почти не летают; а вон рядом с тропой две

брошенные «пустышки» — видно, Стервятник бросил на обратном пути, страх сильнее жадности... Он все это видел, все учитывал, и стоило скрюченному Артуру хоть на шаг уклониться от направления, как рот Рэдрика сам собой раскрывался и хриплый предостерегающий оклик сам собой вылетал из глотки. Машину, думал он. Машину вы из меня сделали... А каменные обломки на краю карьера все приближались, и уже можно было разглядеть прихотливые узоры ржавчины на красной крыше кабины экскаватора.

Дурак ты, Барбридж, думал Рэдрик. Хитер, а дурак. Как же ты мне поверил, а? Ты же меня с таких вот пор знаешь, ты же меня лучше меня самого знать должен. Старый ты стал, вот что. Поглупел. Да и то сказать — всю жизнь с дураками дело имел... И тут он представил себе, какое рыло сделалось у Стервятника, когда тот узнал, что Артур-то, Арчи, красавчик, кровинушка... что в Зону с Рыжим за его, Стервятниковыми, ногами ушел не сопляк бесполезный, а родной сын, жизнь, гордость... И, представив себе это рыло, Рэдрик захохотал, а когда Артур испуганно оглянулся на него, он, продолжая хохотать, махнул ему рукой: марш, марш! И опять поползли по сознанию, как по экрану, рыла, рыла, рыла... Надо

было менять все. Не одну жизнь и не две жизни, не одну судьбу и не две судьбы — каждый винтик этого смрадного мира надо было менять...

Артур остановился перед крутым съездом в карьер, остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Рэдрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.

Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога, еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос, а слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор, ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как и следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно, только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые витые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось, даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание Стервятника. Вон та — это Стервятник живым и невредимым вернулся из

подвала седьмого корпуса. Вон та, побольше, — это Стервятник без помех вытащил из Зоны «шевелящийся магнит». А вон та сосулька — это роскошная, не похожая ни на мать, ни на отца, всеми вожделенная шлюха Дина Барбридж. А вот это пятно — не похожий ни на мать, ни на отца Артур Барбридж, Арчи, красавчик, гордость...

— Дошли! — исступленно прохрипел Артур. — Мистер Шухарт, дошли ведь все-таки, а?

Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Колтун волос у него на макушке трясся и раскачивался смешно и нелепо, летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Рэдрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно. С опаской. С затаенным страхом, что он окажется каким-нибудь не таким — разочарует, вызовет сомнение, сбросит с неба, на которое удалось вскарабкаться, захлебываясь в дерьме...

Он был не золотой, он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий, и он мутно отсвечивал на солнце. Он лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч слежавшейся породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный и как тяжко придавил он

свое ложе.

В нем не было ничего разочаровывающего или вызывающего сомнение, но не было ничего и внушающего надежду. Почему-то сразу в голову приходила мысль, что он, вероятно, полый и что на ощупь он должен быть очень горячим — солнце раскалило. Он явно не светился своим светом и он явно был не способен взлетать на воздух и плясать, как это часто случалось в легендах о нем. Он лежал там, где он упал. Может быть, вывалился из какого-нибудь огромного кармана или затерялся, закатился во время игры каких-то гигантов — он не был установлен здесь, он валялся, валялся точно так же, как все эти «пустышки», «браслеты», «батарейки» и прочий мусор, оставшийся от Посещения.

Но в то же время что-то в нем все-таки было, и чем дольше Рэдрик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно, что к нему хочется подойти, его хочется потрогать, погладить, и откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, а еще лучше — прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, повспоминать, а может быть, и просто подремать, отдыхая...

Артур вскочил, раздернул все «молнии» на сво-

ей куртке, сорвал ее с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, вприпрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Рэдрика, он забыл о Рэдрике, он забыл обо всем — он шел выполнять свои желания, маленькие сокровенные желания краснеющего колледжера, мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных, молокососа, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло спиртным, из которого растили известного адвоката, а в перспективе — министра, а в самой далекой перспективе — сами понимаете, президента... Рэдрик, прищурив от слепящего света воспаленные глаза, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдет, и он знал, что не будет смотреть на это, но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочался вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой.

А мальчишка все спускался, приплясывая, по

крутому спуску, отбивая немыслимую чечетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко, и очень весело, и очень торжественно — как песню или как заклинание, — и Рэдрик подумал, что впервые за все время существования карьера по этой дороге спускались так — словно на праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка, а потом как будто что-то включилось в нем, и он услышал:

— Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угодно счастья!.. Все собирайтесь сюда!.. Хватит всем!.. Никто не уйдет обиженный!.. Даром!.. Счастье! Даром!..

А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему кляп в рот. И Рэдрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно, с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Рэдрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове, и он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на

дороге. Тогда он вспомнил о фляге — без обычной радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода.

Прошло некоторое время, и в голове стали появляться более или менее связные мысли. Ну вот и все, думал он нехотя. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти, но лучше, конечно, подождать еще немножко. «Мясорубки» бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное — думать, вот в чем беда. Что такое «думать»? Думать — это значит изгильнуться, сфинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца, но ведь здесь все это не годится...

Ну ладно. Мартышка, отец... Расплатиться за все, душу из гадов вынуть, пусть дерьма пожрут, как я жрал... Не то, не то это, Рыжий... То есть то, конечно, но что все это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, а не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия и, сразу перешагнув через множество разных рассуждений, которые еще предстояли, свирепо приказал себе: ты вот что, рыжая сволочь, ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела, сдохнешь здесь

рядом с этим шариком, сжаришься, сгниешь, падаль, но не уйдешь никуда...

Господи, да где же слова-то, мысли мои где? Он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу. Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было! Подожди, Кирилл ведь что-то говорил такое... Кирилл! Он лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые и полузнакомые, но все это было не то, потому что не слова остались от Кирилла — остались какие-то смутные картины, очень добрые, но ведь совершенно неправдоподобные...

Подлость, подлость... И здесь они меня обвели, без языка оставили, гады... Шпана. Как был шпаной, так шпаной и состарился... Вот этого не должно быть! Ты, слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено! Человек рожден, чтобы мыслить (вот он, Кирилл, наконец-то!..). Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю, и для чего человек рожден — не знаю. Родился — вот и рожден. Кормятся кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это — мы? Кто — они? Ничего же не понять. Мне хорошо — Барбриджу плохо, Барбриджу хорошо — Очкарику плохо, Хрипатому хорошо — всем плохо, и самому

Хрипатому плохо, только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться... Господи, это ж каша, каша! Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю, а он всю жизнь с хрипатыми воевал и от меня, обалдуя, только одного лишь хотел — чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Работать идти? А не хочу я на вас работать, тошнит меня от вашей работы, можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает, раб он — и больше ничего, а я всегда хотел сам, сам хотел быть, чтобы на всех поплевывать, на тоску ихнюю и скуку...

Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то — он сразу же забыл о ней. Теперь он сидел, закрыв глаза руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть, но он опять видел только рыла, рыла, рыла... зелененькие, бутылки, кучи тряпья, которые когда-то были людьми, столбики цифр... Он знал, что все это надо уничтожить, и он желал это уничтожить, но он догадывался, что если все это будет уничтожено, то не останется ничего — только ровная голая земля. От бессилия и отча-

яния ему снова захотелось прислониться спиной и откинуть голову — он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер.

Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой... всемогущий, всесильный, всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю — там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня

сам, чего же я хочу, — ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов — *счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный*!»

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ, ИЛИ ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

«Как сообщают, в округе Винги, близ города Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из космоса...»

(Из газет.)

Еще одна отходная детективному жанру

Глава первая

Я остановил машину, вылез и снял черные очки. Здесь все было именно так, как рассказывал Згут. Отель был двухэтажный, желтый с зеленым, над крыльцом красовалась траурная вывеска: «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами — я насчитал семь штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо, и тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. Тяжелой медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алек Сневар, владелец отеля, долины и Бутылочного Горлышка.

— Там... — произнес он неестественно низким и

глухим голосом. — Вон там это произошло. — Он простер указующую руку. В руке был штопор. — На той вершине...

Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на иззубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба.

— Лопнул карабин, — все тем же глухим голосом продолжал владелец. — Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может быть, он молился. Его слышал только Бог. Потом он достиг склона, и мы здесь услышали лавину, рев разбуженного зверя, жадный голодный рев, и земля дрогнула, когда он грянулся о нее вместе с сорока двумя тысячами тонн кристаллического снега...

— Чего ради его туда понесло? — спросил я, разглядывая зловещую стену.

— Позвольте мне погрузиться в прошлое, — проговорил владелец, склонил голову и приложил кулак со штопором к лысому лбу.

Все было совершенно так, как рассказывал Згут. Только вот собаки нигде не было видно,

но я заметил множество ее визитных карточек на снегу возле крыльца и вокруг лыж. Я полез в машину и достал корзину с бутылками.

— Привет от инспектора Згута, — сказал я, и владелец тут же вынырнул из прошлого.

— Вот достойный человек! — сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом. — Как он поживает?

— Неплохо, — ответил я, вручая ему корзину.

— Я вижу, он не забыл вечера, которые провел у моего камина.

— Он только о них и говорит, — сказал я и снова повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку.

— Ни шагу назад! — строго произнес он. — Этим займется Кайса. Кайса! — трубно взревел он.

На крыльцо выскочила собака — великолепный сенбернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от Погибшего Альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере-музее. Я был не прочь посмотреть, как этот кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукой уже направлял меня в дом.

Мы прошли через сумрачный холл, где ощу-

щался теплый запах погасшего камина и тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло, позвякивающая и булькающая корзинка водворилась в углу, и хозяин распахнул на столе громоздкий гроссбух.

— Прежде всего разрешите представиться, — сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера. — Алек Сневар, владелец отеля и механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из Бутылочного Горлышка?

— Ах, это были ветряки?..

— Да. Ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил. Вот этими руками.

— Что вы говорите... — пробормотал я.

— Да. Сам. И еще многое.

— А куда нести? — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос.

Я обернулся. В дверях, с моим чемоданом в руке, стояла этакая кубышечка, пышечка этакая лет двадцати пяти, с румянцем во всю щеку, с широко расставленными и широко раскрытыми голубыми глазками.

— Это Кайса, — сообщил мне хозяин. — Кайса! Этот господин привез нам привет от господина

Згута. Ты помнишь господина Згута, Кайса? Ты должна его помнить.

Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью.

— Помнит, — объяснил мне хозяин. — Запомнила... Н-ну-с... Так я помещу вас в номер четыре. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина... м-м...

— Глебски, — сказал я.

— Отнеси чемодан господина Глебски в четвертый номер... Поразительная дура, — сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась. — В своем роде феномен... Итак, господин Глебски? — Он выжидательно взглянул на меня.

— Петер Глебски, — продиктовал я. — Инспектор полиции. В отпуске. На две недели. Один.

Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами, а пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел сенбернар. Он поглядел на меня, подмигнул и вдруг с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, пал около сейфа, уронив морду на лапу.

— Это Лель, — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки. — Сапиенс. Все понимает на трех европейских языках. Блох нет, но линяет.

Лель вздохнул и переложил морду на другую

лапу.

— Пойдемте, — сказал хозяин, вставая. — Я провожу вас в номер.

Мы снова пересекли холл и стали подниматься по лестнице.

— Обедаем мы в шесть, — рассказывал хозяин. — Но перекусить можно в любое время, а равно и выпить чего-нибудь освежающего. В десять вечера — легкий ужин. Танцы, бильярд, картишки, собеседования у камина.

Мы вышли в коридор второго этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился.

— Здесь, — произнес он прежним глухим голосом. — Прошу.

Он распахнул передо мною дверь, и я вошел.

— С того самого незабываемого страшного дня... — начал он и вдруг замолчал.

Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпеншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла посередине комнаты висела чья-то брезентовая куртка, на полу рядом с креслом валялась газета.

— Гм... — сказал я озадаченно. — По-моему, здесь уже кто-то живет.

Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Кажется, «данхилл». Из трубки поднимался дымок.

— Живет... — произнес наконец хозяин. — Живет ли?.. Впрочем, почему бы и нет?

Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж.

— Здесь, — окрепшим голосом продолжал хозяин, — вот уже шесть лет, с того самого незабываемого страшного дня, все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением...

Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку.

— Да! — сказал хозяин с вызовом. — Это *его* трубка. Это вот — *его* куртка. А вот это — *его* альпеншток. «Возьмите с собой альпеншток», — сказал я ему в то утро. Он только улыбнулся и покачал головой. «Но не хотите же вы остаться там навсегда!» — воскликнул я, холодея от страшного предчувствия. «Пуркуа па?» — ответствовал он мне по-французски. Мне до сих пор так и не

удалось выяснить, что это означало...

— Это означало «почему бы и нет?», — заметил я.

Хозяин горестно покивал.

— Я так и думал... А вот это — *его* саквояж. Я не разрешил полиции копаться в его вещах...

— А вот это — *его* газета, — сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний «Мюрский Вестник».

— Нет, — сказал хозяин. — Газета, конечно, не его.

— У меня тоже такое впечатление, — согласился я.

— Газета, конечно, не его, — повторил хозяин. — И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой.

Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших.

— Нет, — задумчиво возразил хозяин, — здесь все сложнее. Здесь все гораздо сложнее, господин Глебски. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер.

Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенного шкафа и, подойдя к окну, похлопал ладонями по портьерам. По-моему, ему очень

хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор.

— Инспектор Згут как-то рассказывал мне, — произнес хозяин после короткого молчания, — что его специальность — так называемые медвежатники. А у вас какая специальность, если это, конечно, не секрет?

Он распахнул передо мною дверь четвертого номера.

— У меня скучная специальность, — ответил я. — Должностные преступления, растраты, подлоги, подделка государственных бумаг...

Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе — ни пылинки, за промытым окном — снежная равнина и сиреневые горы.

— Жаль, — сказал хозяин.

— Почему? — спросил я рассеянно и заглянул в спальню. Здесь еще хозяйничала Кайса. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены, а Кайса взбивала подушки.

— А впрочем, и не жаль нисколько, — заявил хозяин. — Вам не приходилось, господин Глебски, замечать, насколько неизвестное интереснее познанного? Неизвестное будоражит мысль, заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рож-

дает удивительные фантазии, обещает, манит. Неизвестное подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Но, ставши познанным, оно становится плоским, серым и неразличимо сливается с серым фоном будней.

— Вы поэт, господин Сневар, — заметил я еще рассеяннее. Я смотрел на Кайсу и понимал Згута. Пышечка-кубышечка на фоне постели выглядела необычайно заманчиво. Было в ней что-то неизвестное, что-то еще не познанное...

— Ну вот вы и дома, — сказал хозяин. — Располагайтесь, отдыхайте, делайте что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам внизу, обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в шесть, а если вздумаете перекусить прямо сейчас или освежиться — я имею в виду напитки, — обращайтесь к Кайсе. Приветствую вас.

И он ушел.

Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немыслимого совершенства, а я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, всеблагий Господи, наконец-то я был один! Я знаю — нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в

одиночестве! Нет, я люблю своих детей, я люблю свою жену, у меня нет никаких злых чувств к моим родственникам, и большинство моих друзей и знакомых вполне тактичные и приятные в общении люди. Но когда изо дня в день, из часа в час они непрерывно толкутся возле меня, сменяя друг друга, и нет никакой, ни малейшей возможности прекратить эту толчею, отделить себя от всех, запереться, отключиться... Сам я этого не читал, но вот сын мой утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня две недельки отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И чтобы не было ничего такого, что я обязан делать, а было бы только то, что мне хочется делать. Сигарета, которую я закурю, потому что мне хочется, а не потому, что мне суют под нос пачку. И которую я не закурю, если мне не хочется, именно потому, что мне не хочется, а вовсе не потому, что мадам Зельц не выносит табачного дыма... Рюмка бренди у горящего камина — это хорошо. Это действительно будет неплохо. Вообще мне здесь, кажется, будет неплохо. И это просто прекрасно. Мне хорошо

с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно нестарым, еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину, к сиреневым отрогам, по свистящему снегу, и вот тогда станет совсем уж превосходно...

— Принести что-нибудь? — спросила Кайса. — Угодно?

Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке, руки у нее были голые, сдобные, и голую сдобную шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин. Носки она держала несколько внутрь и не была похожа ни на одну из моих знакомых, и это тоже было хорошо.

— Кто у вас тут сейчас живет? — спросил я.

— Где?

— У вас. В отеле.

— В отеле? У нас тут? Да живут здесь...

— Кто именно?

— Ну — кто? Господин Мозес живут с женой. В первом и втором. И в третьем тоже. Только там они не живут. А может, с дочерью. Не разобрать. Красавица, всё глазами смотрит...

— Так-так, — сказал я, чтобы ее подбодрить.

— Господин Симонэ живут. Тут вот, напротив. Ученые. Все на бильярде играют и по стенам ползают. Шалуны они, только унылые. На психической почве. — Она снова закраснелась и принялась поводить плечами.

— А еще кто? — спросил я.

— Господин дю Барнстокр, гипнотизеры из цирка...

— Барнстокр? Тот самый?

— Не знаю, может, и тот. Гипнотизеры... и Брюн...

— Кто это — Брюн?

— Да с мотоциклом они, в штанах. Тоже шалуны, хоть и молоденькие совсем.

— Так, — сказал я. — Все?

— Еще кто-то живет. Недавно вроде бы приехали. Только они просто так... Стоят просто. Не спят, не едят, только на постое стоят...

— Не понимаю, — признался я.

— А и никто не понимает. Стоят, и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина дю Барнстокра утащили. Ищем, ищем везде — нет туфлей. А они их в музей занесли, да там и оставили. И еще следы оставляют...

— Какие? — Очень мне хотелось ее понять.

— Мокрые. Так по всему коридору и идут. А еще манеру взяли мне звонить. То из одного номера, то из другого. Приду, а там никого нет.

— Ну ладно, — сказал я со вздохом. — Не понять мне тебя, Кайса. И не надо. Пойду-ка я лучше в душ.

Я раздавил окурок в девственно-чистой пепельнице и отправился в спальню за бельем. Там я сложил на столике в изголовье стопку книг, подумав мельком, что зря я их, пожалуй, сюда тащил, сбросил ботинки, сунул ноги в шлепанцы и, захватив купальное полотенце, отправился в душ. Кайса уже ушла, пепельница на столе снова сияла девственной чистотой. В коридоре было пустынно, откуда-то доносилось постукивание бильярдных шаров — должно быть, развлекался унылый шалун на психической почве. Как его... Симонэ, кажется.

Дверь в душевую я обнаружил на лестничной площадке, и дверь эта оказалась заперта. Некоторое время я стоял в нерешительности, осторожно крутя пластмассовую ручку. Кто-то неторопливо, грузным шагом прошел по коридору. Можно, конечно, спуститься в душевую на первом этаже, подумал я. А можно и не спускаться. Можно сначала пробежаться на лыжах. Я рассеянно

уставился на деревянную лестницу, ведущую, видимо, на крышу. Или, например, подняться на крышу и полюбоваться видом. Говорят, здесь неописуемо хороши восходы и закаты. А все-таки свинство, что душ заперт. Или там кто-то засел? Да нет, тихо... Я еще раз подергал ручку. А, ладно. Бог с ним, с душем. Успеется. Я повернулся и пошел к себе.

Что-то изменилось в моем номере, я почувствовал это сразу. Через секунду я понял: пахло трубочным табаком, совсем как в номере-музее. Я немедленно взглянул на пепельницу. Курящейся трубки там не было — была горка пепла вперемешку с табачными крошками. На постое стоят, вспомнилось мне. Не пьют, не едят, только следы оставляют...

И тут рядом кто-то протяжно и громко зевнул. Из спальни, стуча когтями, лениво вышел сенбернар Лель, с ухмылкой посмотрел на меня и потянулся.

— Ах, так это ты здесь курил? — сказал я.

Лель подмигнул и помотал головой. Словно муху отгонял.

Глава вторая

Судя по следам на снегу, кто-то здесь уже пытался ходить на лыжах, — отъехал метров на пятьдесят, падая на каждом шагу, а затем возвратился, проваливаясь по колено, таща лыжи и палки в охапке, роняя их, подбирая и снова роняя, — казалось, над этими скорбными голубыми рытвинами и шрамами в снегу до сих пор не осели замерзшие проклятия. Но в остальном снежный покров долины был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня.

Я попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения... унылые заслякощенные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки, сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой, и выцветшие розовенькие обои в

спальне, и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской... с каждым выдохом освобождаясь от самого себя — казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе, и как же это здорово, что я сюда приехал... молодец Згут, умница Згут, спасибо тебе, Згут, хоть ты и лупишь, говорят, своих «медвежатников» по мордам во время допросов... и какой же я еще крепкий, ловкий, сильный — могу вот так, по идеальной прямой, сто тысяч километров по идеальной прямой, а могу вот так, круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега... а ведь я уже три года не бегал на лыжах, с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик, и на кой черт мы это сделали, снабдились приютом на старость, всю жизнь работаешь на старость... а, черт с ним со всем, не хочу я об этом сейчас думать, черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петер, Петер Глебски, законолюбивый чиновник, спаси тебя Бог...

Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы запорошенный снежной пылью. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками, а восторг приходит — и тут же уходит, и ничего от него не остается, кроме неловкости, мокрой спины и дрожащих от миновавшего возбуждения мышц. Вот и уши ветром заложило... Я снял перчатку, сунул мизинец в ухо, повертел и вдруг услышал трескучий грохот, словно по соседству шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня — не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих, новых, которые пробивают стены и губят больше жизней, чем все насильники, грабители и убийцы вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, очки снова залепило, но я все-таки заметил тощую согнутую фигуру, развевающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа. За езду без шлема, подумал я автоматически, пятьдесят крон штрафа и лишение водительского удостоверения на месяц... Впрочем, не могло быть и речи о том, чтобы разглядеть номер — я не мог разглядеть даже отель

и половину долины в придачу — снежное облако поднялось до неба. А, какое мне дело! Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю.

Когда я подъехал, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. До чего все-таки зловещая машина. Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У Погибшего Мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: «Сюда. Сюда он врезался на скорости сто двадцать миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собой четыреста тридцать два кирпича...» Хорошая вещь — реклама, подумал я, поднимаясь по ступенькам. Приду вот сейчас к себе в номер, а за моим столом расселся скелет с дымящейся трубкой в зубах, и перед ним фирменная настойка на мухоморах, три кроны за литр.

Посредине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему гибкому существу

неопределенного пола, изящно развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф.

Когда я закрыл за собой дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическими брыльями и не менее аристократическим носом феноменальной формы. Такой нос мог быть только у одного человека, и этот человек не мог не быть той самой знаменитостью. Секунду он разглядывал меня, словно бы в недоумении, затем сложил губы куриной гузкой и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь.

— Дю Барнстокр, — почти пропел он. — К вашим услугам.

— Неужели тот самый дю Барнстокр? — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку.

— Тот самый, сударь, тот самый, — произнес он. — С кем имею честь?

Я отрекомендовался, испытывая какую-то дурацкую робость, которая нам, полицейским чиновникам, вообще-то не свойственна. Ведь с

первого же взгляда было ясно, что такой человек не может не скрывать доходов и налоговые декларации заполняет туманно.

— Какая прелесть! — пропел вдруг дю Барнстокр, хватая меня за лацкан. — Где вы это нашли? Брюн, дитя мое, взгляните, какая прелесть!

В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И запахло фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник.

— Из рукава, — заявило оно хриплым басом. — Хилая работа, дядя.

— Из рукава! — грустно повторил дю Барнстокр. — Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа. Хилая и недостойная такого знатока, как господин Глебски.

Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрав брови, и фиалка пропала. Я закрыл рот и потряс головой. У меня не было слов.

— Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебски, — сказал дю Барнстокр. — Я следил за вами из окна. И, надо сказать, получил истинное наслаждение.

— Ну что вы, — пробормотал я. — Так, бегал когда-то...

— Дядя, — воззвало вдруг существо из недр кресла. — Сотворите лучше сигаретку.

Дю Барнстокр, казалось, спохватился.

— Да! — сказал он. — Позвольте представить вам, господин Глебски: это Брюн, единственное дитя моего дорогого покойного брата... Брюн, дитя мое!

Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а впрочем, может быть, совсем наоборот — стройные девичьи. Куртка же была размера на три больше, чем требовалось. Одним словом, я бы предпочел, чтобы дю Барнстокр представил чадо своего дорогого покойника просто как племянницу или племянника. Дитя равнодушно улыбнулось мне розовым нежным ртом и протянуло обветренную исцарапанную руку.

— Хорошо мы вас шуганули? — осведомилось оно сипло. — Там, на дороге...

— Мы? — переспросил я.

— Ну, не мы, конечно. Буцефал. Он это умеет...

Все очки ему залепил, — сообщило оно дяде.

— В данном случае, — любезно пояснил дю Барнстокр, — Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал — это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении двух последних лет и в конце концов, как я чувствую, вгонит меня в гроб.

— Сигаретку бы, — напомнило чадо.

Дю Барнстокр удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее чаду. Чадо затянулось и капризно буркнуло:

— Опять с фильтром...

— Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска, — сказал мне дю Барнстокр. — Скоро обед...

— Да, — сказал я. — Конечно. Прошу прощения.

Для меня было большим облегчением удрать от этой компании. Я не чувствовал себя в форме. Меня застали врасплох. Все-таки знаменитый фокусник на арене — это одно, а знаменитый фокусник в частной жизни — это, оказывается, совсем другое. Я кое-как откланялся и пошел

шагать через три ступеньки на свой этаж.

В коридоре по-прежнему было пусто, где-то в отдалении по-прежнему сухо пощелкивали бильярдные шары. Проклятый душ был по-прежнему заперт. Я кое-как умылся у себя в номере, переоделся и, взяв сигаретку, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то взвизг и зловещий рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы промяукал: «Кушать, пожалуйста!» Я откликнулся в том смысле, что да-да, сейчас иду, и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. «Кушать, пожалуйста!» — донеслось издали, а потом еще раз: «Кушать, пожалуйста!», — а потом снова короткий визг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряканье ржавых цепей.

Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание; мужественная замкнутость профессионала; простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «гы». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел.

Дверь номера напротив была распахнута. В проеме, у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной — в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась, однако же, вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте, — сказал я, помолчав. — Вам помочь?

Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною во фрунт.

— Честь имею, инспектор, — сказал он. — Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симонэ.

— Вольно, — сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик, — сообщил он. — Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как «от инфантерии». Получается смешно. — И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.

— Что вы там делали наверху? — спросил я, преодолевая оторопь.

— Тренировался, — ответствовал он. — Я ведь альпинист...

— Погибший? — сострил я и сейчас же пожалел об этом, потому что он снова обрушил на меня лавину своего замогильного хохота.

— Неплохо, неплохо для начала, — проговорил он, вытирая глаза. — Нет, я еще живой. Я приехал сюда полазать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лазаю по дверям, по стенам... — Он вдруг замолчал и взял меня под руку. — Собственно говоря, — сказал он, — я приехал сюда проветриться. Переутомление. Проект «Мидас», слыхали? Совершенно секретно. Четыре года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий. — Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски. — Держитесь за мной, инспектор, — гаркнул он на бегу. — Торопитесь, а не то друзья и близкие Погибшего съедят всю икру...

Столовая была большая, в пять окон. Посередине стоял огромный овальный стол персон на двадцать; роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками; скатерть на столе была крахмальная,

посуда — прекрасного фарфора, приборы — серебряные, с благородной чернью. Но при всем при том порядки здесь, видимо, были самые демократические. На столике для закусок красовались закуски — хватай что успеешь. На другой столик, поменьше, Кайса водружала фаянсовые лохани с овощным супом и бульоном — сам выбирай, сам наливай. Для желающих освежиться существовала буфетная батарея — бренди, ирландский джин, пиво и фирменная настойка (на лепестках эдельвейса, утверждал Згут).

За столом уже сидели дю Барнстокр и чадо его покойного брата. Дю Барнстокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, уплетало овощной суп.

Во главе стола царила незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то двадцать, не то сорок, нежные смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема — это была, несомненно, госпожа Мозес, и ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журна-

лах да еще, пожалуй, в супербоевиках.

Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносиком в руке. На подносике в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка.

— Боевое крещение! — объявил хозяин, приблизившись. — Набирайте закуску поострее.

Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух (еще пару затхлых кабинетов и коридоров) и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, поэтому я содрогнулся только мысленно и откусил половину пикуля. Хозяин крякнул. Симонэ тоже крякнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О! Это настоящий мужчина». Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину пикуля, горько сожалея, что не бывает пикулей величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо.

— Госпожа Мозес! — произнес хозяин. — Разрешите представить вам инспектора Глебски.

Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы.

— Господин Глебски! — сказал хозяин. — Госпожа Мозес.

Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам, так у меня пекло в животе, но госпожа Мозес улыбнулась, и мне сразу полегчало. Скромно отвернувшись, я покончил с закуской и отправился за супом. Хозяин усадил меня напротив Барнстокров, так что справа от меня, к сожалению, слишком далеко, оказалась госпожа Мозес, а слева, к сожалению, слишком близко, — унылый шалун Симонэ, готовый в любую минуту разразиться жутким хохотом.

Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее — о том, что в отеле происходят в последние дни странные вещи. Меня как новичка посвятили в подробности. Дю Барнстокр подтвердил, что действительно два дня назад у него пропали туфли, которые обнаружились только к вечеру в номере-музее. Симонэ, похохатывая, сообщил, что кто-то читает его книги — по преимуществу специальную литературу — и делает на полях пометки — по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то несомненно бродит по дому. Он слышал это своими ушами и один раз даже видел белую фигуру, скользнувшую

от входной двери через холл по направлению к лестнице. Госпожа Мозес, нисколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Дю Барнстокр тоже подтвердил, что кто-то ходит, но он лично считает, что это всего лишь наша добрая Кайса, так ему, во всяком случае, показалось. Хозяин заметил, что это совершенно исключено, а Симон Симонэ похвастался, будто он вот спит по ночам как мертвый и ничего такого не слышал. Но он уже дважды замечал, что лыжные ботинки его постоянно пребывают в мокром состоянии, как будто кто-то ночью бегает в них по снегу. Я, потешаясь про себя, рассказал про случай с пепельницей и сенбернаром, а чадо хрипло объявило — к сведению всех присутствующих, — что оно, чадо, в общем ничего особенного против этих штучек-дрючек не имеет, оно к этим фокусам-покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его, чадиной, постели. При этом оно свирепо целилось в меня своими окулярами, и я порадовался, что приехал только сегодня.

Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик.

— Приезжает как-то один штабс-капитан в

незнакомый город, — объявил он. — Останавливается в гостинице и велит позвать хозяина...

Внезапно он замолчал и огляделся.

— Пардон, — произнес он. — Я не уверен, что в присутствии дам, — тут он поклонился в сторону госпожи Мозес, — а также юно... э-э... юношества, — он посмотрел на чадо, — э-э...

— А, дурацкий анекдот, — сказало чадо с пренебрежением. — «Все прекрасно, но не делится пополам». Этот, что ли?

— Именно! — воскликнул Симонэ и разразился хохотом.

— Делится пополам? — улыбаясь, спросила госпожа Мозес.

— Не делится! — сердито поправило чадо.

— Ах, не делится? — удивилась госпожа Мозес. — А что именно не делится?

Дитя открыло было рот, но дю Барнстокр сделал неуловимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило.

— В конце концов, удивительное происходит не только в нашем отеле, — сказал дю Барнстокр. — Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах...

Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось

и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Черт знает что! То вдруг чудилась в этой стройной ладной фигуре молоденькая прелестная девушка. Но стоило смягчиться душою, и девушка пропадала, а вместо нее самым непристойным образом появлялся расхлябанный нагловатый подросток — из тех, что разводят блох на пляжах и накачивают себя наркотиками в общественных уборных. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт его возьми, или девочка, а дю Барнстокр продолжал журчать:

— ...Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума во Вселенной. По оценкам различных ученых — господин Симонэ поправит меня, если я ошибаюсь, — только в нашей Галактике может существовать до миллиона обитаемых солнечных систем. Если бы я был математиком, господа, я бы на основании этих данных попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания...

Самого дю Барнстокра спрашивать как-то неловко, размышлял я. К тому же он, пожалуй, и сам толком не знает. Откуда ему знать? Дитя и

дитя... Любезному хозяину наверняка наплевать. Кайса глупа. У Симонэ спросить — пережить лишний вал загробного веселья... Впрочем, что это я? Мне-то какое до этого дело?.. Жаркого еще взять, что ли?.. Кайса, без сомнения, глупа, но в кулинарии, без всякого сомнения, толк знает...

— ...Согласитесь, — журчал дю Барнстокр, — мысль о том, что чужие глаза внимательно и прилежно изучают нашу старушку-планету через бездны Космоса, — эта мысль уже сама по себе способна занимать воображение...

— Подсчитал, — сказал Симонэ. — Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных и наблюдают только населенные, то это будет единица минус «е» в степени минус единица.

— Неужели так и будет? — сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симонэ восхищенной улыбкой.

Симонэ заржал, словно дворняга загавкала. Он даже на стуле задвигался. Глаза его увлажнились.

— Сколько же это будет в численном выражении? — осведомился дю Барнстокр, переждав сей акустический налет.

— Приблизительно две трети, — ответил Си-

монэ, вытирая глаза.

— Но это же огромная вероятность! — с жаром сказал дю Барнстокр. — Я понимаю это так, что мы почти наверняка являемся объектом наблюдения!

Тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задребезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой.

— На себя! — крикнул хозяин. — На себя, пожалуйста!

Я обернулся, и в ту же секунду дверь распахнулась. На пороге появилась удивительная фигура. Массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги, с полами до колен. Под камзолом виднелись форменные брюки с золотыми генеральскими лампасами. Одну руку он держал за спиной, а другой сжимал высокую металлическую кружку.

— Ольга! — прорычал он, глядя перед собой мутными глазами. — Супу!

Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столику с супами, хозяин отвалился от буфета и принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить, Симонэ

поспешно набил рот картофелем и выкатил глаза, чтобы не загоготать, а господин Мозес — ибо, несомненно, это был он, — торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и там уселся, едва не промахнувшись мимо сиденья.

— Погода, господа, нынче — снег, — объявил он. Он был совершенно пьян. Госпожа Мозес поставила перед ним суп, он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки. — О чем речь? — осведомился он.

— Мы обсуждали здесь возможность посещения Земли визитерами из космического пространства, — пояснил дю Барнстокр, приятно улыбаясь.

— Что это вы имеете в виду? — спросил господин Мозес, с огромным подозрением уставясь поверх кружки на дю Барнстокра. — Не ожидал этого от вас, Барн... Барл... дю!

— О, это чистая теория! — легко воскликнул дю Барнстокр. — Господин Симонэ подсчитал нам вероятность...

— Вздор, — сказал господин Мозес. — Чепуха. Математика — это не наука... А это кто? — спросил он, выкатывая на меня правый глаз. Мутный какой-то глаз, нехороший.

— Позвольте представить, — поспешно сказал хозяин. — Господин Мозес — господин инспектор Глебски. Господин Глебски — господин Мозес.

— Инспектор... — проворчал Мозес. — Фальшивые квитанции, подложные паспорта... Так вы имейте в виду, Глебски, у меня паспорта не подложные. Память хорошая?

— Не жалуюсь, — сказал я.

— Ну так вот, не забывайте. — Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки. — Хороший суп сегодня, — сообщил он. — Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Но что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю.

— По поводу мяса, — сейчас же сказал Симонэ. — Некий чревоугодник заказал в ресторане филе...

— Филе. Так! — одобрительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки.

— Официант принял заказ, — продолжал Симонэ, — а чревоугодник в ожидании любимого блюда разглядывает девиц на эстраде...

— Смешно, — сказал господин Мозес. — Очень смешно пока. Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. Ну-с?

Симонэ заколебался.

— Пардон, — сказал он нерешительно. — У меня тут появились сильнейшие опасения...

— Так. Опасения, — удовлетворенно констатировал господин Мозес. — А дальше?

— Всё, — сказал с унынием Симонэ и откинулся на спинку стула.

Мозес воззрился на него.

— Как — все? — спросил он с негодованием. — Но ему принесли филе?

— М-м... Собственно... Нет, — сказал Симонэ.

— Это наглость, — сказал Мозес. — Надо было вызвать метрдотеля. — Он с отвращением отодвинул от себя тарелку. — На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симонэ.

— Уж какая есть, — сказал Симонэ, бледно улыбаясь.

Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину.

— Сневар, — сказал он, — вы нашли негодяя, который крадет туфли?.. Инспектор, вот вам работа. Займитесь-ка на досуге. Все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна.

Я хотел было ответить, что займусь обязательно, но тут чадо завело под самыми окнами своего

Буцефала. Стекла в столовой задребезжали, разговаривать стало затруднительно. Все уткнулись в тарелки, а дю Барнстокр, прижав растопыренную пятерню к сердцу, расточал направо и налево немые извинения. Потом Буцефал взревел совсем уж невыносимо, за окнами взлетело облако снежной пыли, рев стремительно удалился и превратился в едва слышное жужжание.

— Совершенно как на Ниагаре, — прозвенел хрустальный голосок госпожи Мозес.

— Как на ракетодроме! — возразил Симонэ. — Зверская машина.

Кайса на цыпочках приблизилась к господину Мозесу и поставила перед ним графин с ананасным сиропом. Мозес благосклонно посмотрел на графин и отхлебнул из кружки.

— Инспектор, — произнес он, — а что вы думаете по поводу этих краж?

— Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих, — ответил я.

— Странная мысль, — неодобрительно сказал Мозес.

— Нисколько, — возразил я. — Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои.

— О да! — произнес хозяин глухим голосом. — Конечно, в доме только свои. Но *он* был для Леля не просто своим. *Он* был для него богом, господа!

Мозес уставился на него.

— Кто это — *он*? — спросил он строго.

— *Он*. Погибший.

— Как интересно! — прощебетала госпожа Мозес.

— Не забивайте мне голову, — сказал Мозес хозяину. — А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте — настоятельно посоветуйте! — ему прекратить. Вы меня понимаете? — Он обвел нас налитыми глазами. — Иначе я тоже начну шутить! — рявкнул он.

Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если господин Мозес начнет шутить. Не знаю, как у других, а у меня лично картина получилась на редкость безотрадная. Мозес разглядывал каждого из нас по очереди, не забывая прихлебывать из кружки. Совершенно невозможно было понять, кто он таков и что здесь делает. И почему на нем этот шутовской лапсердак? (Может быть, он уже начал шутить?) И что у него в кружке? И почему она у него все время словно бы полна, хотя он на моих глазах уже прикладывался к ней раз сто и

весьма основательно?..

Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила:

— Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!

Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо:

— Благодарю вас, господа. До ужина.

Глава третья

— Представления не имею, кто он такой, — произнес хозяин, разглядывая стакан на свет. — Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности. Но он не коммерсант. Полоумный алхимик, волшебник, изобретатель... но только не коммерсант.

Мы сидели в каминной. Жарко пылал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе начиналась пурга, в каминной трубе посвистывало. В доме было тихо, только временами издалека, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота да резкие, как выстрелы, трески удачных клапштосов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями.

— Коммерсанты обычно скупы, — продолжал хозяин задумчиво. — А господин Мозес не скуп, нет. «Могу ли я осведомиться, — спросил я его, — чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?» Вместо ответа он вытащил из бумажника стокроновый билет, поджег его зажигалкой, раскурил от него сигарету и, выпустив

дым мне в лицо, ответил: «Я — Мозес, сударь. Альберт Мозес! Мозес не нуждается в рекомендациях. Мозес везде и всюду дома». Что вы на это скажете?

Я подумал.

— У меня был знакомый фальшивомонетчик, который вел себя примерно так же, когда у него спрашивали документы, — сказал я.

— Отпадает, — с удовольствием сказал хозяин. — Билеты у него настоящие.

— Значит, взбесившийся миллионер.

— То, что он миллионер, это ясно, — сказал хозяин. — А вот кто он такой? Путешествует по собственной надобности... По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги.

Я совсем лег в кресле и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и с самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес.

— Ну хорошо, — сказал я. — Тупик. А что делает в этом тупике знаменитый господин дю Барнстокр?

— О, господин дю Барнстокр — это совсем другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно вот уже три-

надцатый год подряд. Впервые он приехал еще тогда, когда отель назывался просто «Шалаш». Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе, а между тем за все время не взял у меня ни бутылки.

Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток.

— Изобретатель, — решительно сказал хозяин. — Изобретатель или волшебник.

— Вы верите в волшебников, господин Сневар?

— Алек, если вам будет угодно. Просто Алек.

Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека.

— Тогда зовите меня просто Петер, — сказал я.

Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера.

— Верю ли я в волшебников? — сказал он. — Я верю во все, что могу себе представить, Петер. В волшебников, в Господа Бога, в дьявола, в привидения... в летающие тарелки... Раз человеческий мозг может все это вообразить, значит, все это где-то существует, иначе зачем бы мозгу такая способность?

— Вы философ, Алек.

— Да, Петер, я философ. Я поэт, философ и механик. Вы видели мои вечные двигатели?

— Нет. Они работают?

— Иногда. Мне приходится часто останавливать их, слишком быстро изнашиваются детали... Кайса! — заорал он вдруг так, что я вздрогнул. — Еще стакан горячего портвейна господину инспектору!

Вошел сенбернар, обнюхал нас, с сомнением поглядел на огонь, отошел к стене и с грохотом обрушился на пол.

— Лель, — сказал хозяин. — Иногда я завидую этому псу. Он многое, очень многое видит и слышит, когда бродит ночами по коридорам. Он мог бы многое рассказать, если бы умел. И если бы захотел, конечно.

Появилась Кайса, очень румяная и слегка растрепанная. Она подала мне стакан портвейна, сделала книксен, хихикнула и удалилась.

— Пышечка, — пробормотал я машинально. Все-таки это был уже третий стакан. Хозяин добродушно хохотнул.

— Неотразима, — признал он. — Даже господин дю Барнстокр не удержался и ущипнул ее вчера за зад. А уж что делается с нашим физиком...

— По-моему, наш физик имеет в виду прежде всего госпожу Мозес, — возразил я.

— Госпожа Мозес... — задумчиво произнес хо-

зяин. — А вы знаете, Петер, у меня есть довольно веские основания предполагать, что никакая она не госпожа и вовсе не Мозес.

Я не возражал. Подумаешь...

— Вы, вероятно, уже заметили, — продолжал хозяин, — что она гораздо глупее Кайсы. И потом... — Он понизил голос. — По-моему, Мозес ее бьет.

Я вздрогнул.

— Как — бьет?

— По-моему, плеткой. У Мозеса есть плетка. Арапник. Едва я его увидел, как сразу задал себе вопрос: зачем господину Мозесу арапник? Вы можете ответить на этот вопрос?

— Ну, знаете, Алек... — сказал я.

— Я не настаиваю, — сказал хозяин. — Я ни на чем не настаиваю. И вообще о госпоже Мозес заговорили вы, я бы никогда не позволил себе первым коснуться такого предмета. Я говорил о нашем великом физике.

— Ладно, — согласился я. — Поговорим о великом физике.

— Он гостит у меня не то третий, не то четвертый раз, — сказал хозяин, — и с каждым разом приезжает все более великим.

— Подождите, — сказал я. — Кого вы, собственно, имеете в виду?

— Господина Симонэ, разумеется. Неужели вы никогда раньше не слыхали этого имени?

— Никогда, — сказал я. — А что, он попадался на подлогах багажных квитанций?

Хозяин посмотрел на меня укоризненно.

— Героев национальной науки надо знать, — строго сказал он.

— Вы серьезно? — осведомился я.

— Абсолютно.

— Этот унылый шалун — герой национальной науки?

Хозяин покивал.

— Да, — сказал он. — Я понимаю вас... Конечно: прежде всего манеры, а потом уже все остальное... Впрочем, вы правы. Господин Симонэ служит для меня неиссякаемым источником размышлений о разительном несоответствии между поведением человека, когда он отдыхает, и его значением для человечества, когда он работает.

— Гм... — произнес я. Это было почище арапника.

— Я вижу, вы не верите, — сказал хозяин. — Но должен вам заметить...

Он замолчал, и я почувствовал, что в каминной появился еще кто-то. Пришлось повернуть голову и скосить глаза. Это было единственное

дитя покойного брата господина дю Барнстокра. Оно возникло совершенно неслышно и теперь сидело на корточках рядом с Лелем и гладило собаку по голове. Багровые блики от раскаленных углей светились в огромных черных очках. Дитя было какое-то очень уж одинокое, всеми забытое и маленькое. И от него исходил едва заметный запах пота, хороших духов и бензина.

— Метель какая... — сказало оно тоненьким жалобным голоском.

— Брюн, — сказал я. — Дитя мое. Снимите на минутку ваши ужасные очки.

— Зачем? — жалобно спросило чадо.

Действительно, зачем? — подумал я и сказал:

— Я хотел бы увидеть ваше лицо.

— Это совершенно не нужно, — сказало чадо, вздохнуло и попросило: — Дайте, пожалуйста, сигаретку.

Ну конечно же, это была девушка. Очень милая девушка. И очень одинокая. Это ужасно — в таком возрасте быть одиноким. Я поднес ей пачку с сигаретами, я щелкнул зажигалкой, я поискал, что сказать, и не нашел. Конечно, это была девушка. Она и курила как девушка — короткими нервными затяжками.

— Как-то мне страшно, — сказала она. — Кто-то

трогал ручку моей двери.

— Ну-ну, — сказал я. — Наверное, это был ваш дядя.

— Нет, — возразила она. — Дядя спит. Уронил книжку на пол и лежит с открытым ртом. И мне почему-то вдруг показалось, что он умер...

— Рюмку бренди, Брюн? — сказал хозяин глухим голосом. — Рюмка бренди не помешает в такую ночь, а, Брюн?

— Не хочу, — сказала Брюн и передернула плечами. — Вы еще долго будете здесь сидеть?

У меня не стало сил слушать этот жалобный голос.

— Черт возьми, Алек, — сказал я. — Вы хозяин или нет? Неужели нельзя приказать Кайсе провести ночь с бедной девушкой?

— Гм... — сказал хозяин с сомнением, и мне почудилось, будто дитя хихикнуло.

— Или что-нибудь в этом роде... — добавил я с уже меньшим энтузиазмом.

— Эта идея мне нравится, — сказало дитя, оживившись. — Кайса — это как раз то, что надо. Кайса или что-нибудь в этом роде.

Я в замешательстве опорожнил стакан, а дитя вдруг выпустило в камин длинный точный плевок и отправило следом окурок.

— Машина, — сказало оно сиплым басом. — Не слышите, что ли?

Хозяин поднялся, подхватил меховой жилет и направился к выходу. Я устремился за ним.

На дворе бушевала настоящая метель. Перед крыльцом стояла большая черная машина, возле нее в отсветах фар размахивали руками и ругались.

— Двадцать крон! — вопили фальцетом. — Двадцать крон и ни грошом меньше! Черт бы вас подрал, вы что, не видели, какая дорога?

— Да за двадцать крон я куплю тебя вместе с твоим драндулетом! — визжали в ответ.

Хозяин ринулся с крыльца.

— Господа! — загудел его мощный голос. — Это все пустяки!..

— Двадцать крон! Мне еще назад возвращаться!..

— Пятнадцать и ни гроша больше! Вымогатель! Дай мне твой номер, я запишу!

— Скупердяй ты, вот и все! Из-за пятерки удавиться готов!..

— Господа! Господа!..

Мне стало холодно, и я вернулся к камину. Ни собаки, ни чада здесь уже не было. Это меня огорчило. Я взял свой стакан и направился в

буфетную. В холле я задержался — входная дверь распахнулась, и на пороге появился громадный, залепленный снегом человек с чемоданом в руке. Он сказал «бр-р-р», мощно встряхнулся и оказался светловолосым румяным викингом. Лицо у него было мокрое, на бровях белым пухом лежали снежинки. Заметив меня, он коротко улыбнулся, показав ровные чистые зубы, и произнес приятным баритоном:

— Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф.

Я тоже представился. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним — маленький, закутанный до глаз человечек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный.

— Проклятые хапуги! — говорил он с истерическим надрывом. — Подрядились за пятнадцать. Ясно, кажется, — по семь с половиной с носа. Почему двадцать? Что за чертовы порядки в этом городишке? Я, черт побери, в полицию его сволоку!..

— Господа, господа!.. — приговаривал хозяин. — Все это пустяки... Прошу вас сюда, налево... Господа!..

Маленький человечек, продолжая кричать про разбитые в кровь морды и про полицию, дал

себя увлечь в контору, а викинг Олаф пробасил: «Скряга...» — и принялся оглядываться с таким видом, словно ожидал здесь обнаружить толпу встречающих.

— Кто он такой? — спросил я.

— Не знаю. Взяли одно такси. Другого не оказалось.

Он замолчал, глядя через мое плечо. Я оглянулся. Ничего особенного там не было. Только портьера, закрывающая вход в коридор, который вел в каминную и к номерам Мозеса, слегка колыхалась. Наверное, от сквозняка.

Глава четвертая

К утру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крякая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие трех стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта на востоке, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что третье окно справа на втором этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то даже ночью пожелал вдыхать целебный горный воздух.

Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную, прыгая через ступеньку. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне чашку какао и сандвич, и я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. Только бы никого не встретить, подумал я. Утро слишком хорошо для двоих... Думая об этом утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний, закутанный до бровей в

шубу человечишко, закативший скандал из-за пяти крон. (Хинкус, ходатай по делам несовершеннолетних, в отпуске по болезни.) И я никого не встретил, кроме сенбернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепления, и утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному.

Когда, совершив десятимильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже била ключом. Все население вывалилось погреться на солнышке. Чадо со своим Буцефалом на радость зрителям вспарывало и потрошило свежие сугробы — от обоих валил пар. Ходатай по делам несовершеннолетних, оказавшийся вне шубы жилистым остролицым типчиком лет тридцати пяти, гикая, описывал на лыжах сложные восьмерки вокруг отеля, не удаляясь, впрочем, слишком далеко. Сам господин дю Барнстокр взгромоздился на лыжи и был уже весь вывалян в снегу, как неимоверно длинная и истощенная снежная баба. Что же касается викинга Олафа, то он демонстрировал танцы на лыжах, и я почувствовал себя несколько уязвленным, когда понял, что это — настоящий умелец. С плоской крыши на все это взирали госпожа Мозес

в изящной меховой пелерине, господин Мозес в своем камзоле и с неизменной кружкой в руке и хозяин, что-то им обоим втолковывающий. Я поискал глазами господина Симонэ. Великий физик тоже должен был где-то здесь наличествовать — ржание и лай его я услышал мили за три от отеля. И он здесь наличествовал — висел на верхушке совершенно гладкого телефонного столба и отдавал мне честь.

Меня вообще приветствовали очень тепло. Господин дю Барнстокр поведал мне, что у меня появился достойный соперник, а госпожа Мозес с крыши прозвенела подобно серебряному колокольчику о том, что господин Олаф прекрасен, как возмужалый бог. Это меня кольнуло, и я не замедлил свалять дурака. Когда чадо, которое сегодня, несомненно, было парнем, этаким диким ангелом без манер и без морали, предложило гонки на лыжах за мотоциклом, я бросил вызов судьбе и викингу и первым подхватил конец троса.

Десяток лет назад я занимался этим видом спорта, однако тогда мировая промышленность, по-видимому, не выпускала еще Буцефалов, да и сам я был покрепче. Короче говоря, минуты через три я снова оказался перед крыльцом, и

вид у меня, вероятно, был неважный, потому что госпожа Мозес испуганно спросила, не следует ли меня растереть, господин Мозес ворчливо посоветовал растереть этого горе-лыжника в порошок, а хозяин, мигом очутившийся внизу, заботливо подхватил меня под мышки и стал уговаривать немедленно глотнуть чудодейственной фирменной настойки — «ароматной, крепкой, утоляющей боль и восстанавливающей душевное равновесие». Господин Симонэ издевательски рыдал и гукал с вершины телефонного столба, господин дю Барнстокр, извиняясь, прижимал к сердцу растопыренную пятерню, а подъехавший ходатай Хинкус, азартно толкаясь и вертя головой, спрашивал у всех, много ли переломов и «куда его унесли».

Пока меня отряхивали, ощупывали, массировали, вытирали мне лицо, выгребали у меня из-за шиворота снег и искали мой шлем, конец троса подхватил Олаф Андварафорс, и меня тут же бросили, чтобы упиться новым зрелищем — действительно, довольно эффектным. Всеми покинутый и забытый, я все еще приводил себя в порядок, а изменчивая толпа уже восторженно приветствовала нового кумира. Но фортуне, знаете ли, безразлично, кто вы — белокурый бог

снегов или стареющий полицейский чиновник. В апогее триумфа, когда викинг уже возвышался у крыльца, картинно опершись на палки и посылая ослепительные улыбки госпоже Мозес, фортуна слегка повернула свое крылатое колесо. Сенбернар Лель деловито подошел к победителю, пристально его обнюхал и вдруг коротким, точным движением поднял лапу прямо ему на пьексы. О большем я и мечтать не мог. Госпожа Мозес взвизгнула, разразился многоголосый взрыв возмущения, и я ушел в дом. По натуре я человек не злорадный, я только люблю справедливость. Во всем.

В буфетной я не без труда выяснил у Кайсы, что душ в отеле работает, оказывается, только на первом этаже, поспешил за свежим бельем и полотенцем, но как я ни спешил, а все-таки опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение, а перед дверью стоял Симонэ, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин дю Барнстокр. Мы закурили. Симонэ, давясь от смеха и оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. Но тут, к счастью, появилась госпожа

Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин дю Барнстокр галантно и пространно ответил ей, что, увы, нет. Симонэ, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение с явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю де Шанель у них две ванны — одна золотая, а другая, кажется, платиновая, и, когда мы не нашлись, что на это ответить, сообщила, что пойдет поищет господина Мозеса в другом месте. Симонэ тут же вызвался сопровождать ее, и мы с дю Барнстокром остались вдвоем. Дю Барнстокр, понизив голос, осведомился, видел ли я досадную сцену, имевшую место между сенбернаром Лелем и господином Андварафорсом. Я доставил себе маленькое удовольствие, ответивши, что нет, не видел. Тогда дю Барнстокр описал мне эту сцену со всеми подробностями и, когда я кончил всплескивать руками и сокрушенно цокать языком, скорбно добавил, что наш добрый хозяин совершенно распустил своего пса, ибо не далее как позавчера сенбернар точно так

же обошелся в гараже с самой госпожой Мозес. Я снова всплеснул руками и зацокал языком, на этот раз уже вполне искренне, но тут к нам присоединился Хинкус, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут как с двоих, а душ вот работает только один. Господин дю Барнстокр ловко успокоил его: извлек из его полотенца двух леденцовых петушков на палочке. Хинкус немедленно замолчал и даже, бедняга, переменился в лице. Он принял петушков, засунул их себе в рот и уставился на великого престидижитатора с ужасом и недоверием. Тогда господин дю Барнстокр, чрезвычайно довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел.

А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и опозоренный невоспитанной собакой кумир дня Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря лишнего слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше десяти минут.

Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой.

— Давно стоите? — осведомился Олаф.

— Да, довольно давно, — отозвался дю Барнстокр.

Хинкус вдруг неразборчиво что-то пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл.

— Послушайте, — сказал я. — Кто-нибудь еще приехал сегодня утром?

— Только вот эти господа, — сказал дю Барнстокр. — Господин Андварафорс и господин... э-э... вот этот маленький господин, который только что ушел...

— Мы приехали вчера вечером, — возразил Олаф.

Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. И конечно же, дверь открылась. И конечно же, в душевой никого не оказалось.

Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка Погибшего Альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.

— Кэ дьябль! — воскликнул дю Барнстокр. — Хозяин! Подите сюда!

Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симонэ. Перегнулось через перила чадо с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасливо выглянул Хинкус.

— Это невероятно! — возбужденно говорил дю Барнстокр. — Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа, не правда ли, инспектор?

— А у меня опять кто-то на постели валялся, — сообщило чадо сверху. — И полотенце все мокрое.

В глазах Симонэ прыгало дьявольское веселье.

— Господа, господа... — приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он нырнул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное. — Господа! — произнес он глухим голосом. — Я могу только засвидетельствовать факты. Это *его* приемник,

господа. И это *его* куртка.

— А, собственно, чья... — спокойно начал Олаф.

— *Его*. Погибшего.

— Я хотел спросить, чья, собственно, очередь? — по-прежнему спокойно сказал Олаф.

Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симонэ, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, наверное, подумал я со злостью. Пусть-ка теперь постоит. Герой национальной науки. Сколько воды зря пропало... Нет, этих шутников надо ловить. И наказывать. Я вам покажу, как со мной шутки шутить...

Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом!» — сказало оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер.

Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и про-

будился, вероятно, часа через полтора — солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это, должно быть, великий физик Симонэ прыгает там с трубы на трубу и гогочет на всю долину. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек — один, по-видимому, сидел, другой стоял перед ним. Загорают, подумал я и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. Я закурил и вышел в коридор. Было уже что-то около трех.

На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота, лицо у него при этом было белое до зелени, глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды.

Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился.

— Загораете? — спросил я из вежливости. — Не сгорите там. Вид у вас нездоровый.

Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не

дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом.

— Захотелось вот выпить, — проговорил он хрипловато.

— Жарко? — спросил я, не оборачиваясь.

— Д-да... Жарковато.

— Смотрите, — сказал я. — Мартовское солнце в горах — злое.

— Да ничего... Выпью вот, и ничего.

Мы спустились в холл.

— Вы бы все-таки оделись, — посоветовал я. — Вдруг там госпожа Мозес...

— Да, — сказал он. — Натурально. Совсем забыл.

Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче.

— Симонэ тоже там? — спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом.

— Где? — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по

пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Нет. Никого там нет.

Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку.

— Странно, — сказал я. — Мне почему-то показалось, что Симонэ тоже там, на крыше.

— А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось, — грубо ответил ходатай по делам и выпил. И тут же налил снова.

— Что это с вами? — спросил я.

Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку.

— Так, — сказал он наконец, — неприятности. Могут быть у человека неприятности?

Было в нем что-то жалкое, и я смягчился.

— Да, конечно, — сказал я. — Извините, если я нечаянно...

Он опрокинул третью рюмку и вдруг сказал:

— Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?

— Да нет, спасибо, — ответил я. — Боюсь сгореть. Кожа чувствительная.

— И никогда не загораете?

— Нет.

Он подумал, взял бутылку, навинтил колпа-

чок.

— Воздух там хорош, — произнес он. — И вид прекрасный. Вся долина как на ладони. Горы...

— Пойдемте сыграем на бильярде, — предложил я. — Вы играете?

Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазками.

— Нет, — сказал он. — Я уж лучше воздухом подышу.

Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свое бренди.

— Смотрите не свалитесь с крыши, — сказал я ему.

Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симонэ. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симонэ там тоже не было. Дю Барнстокр и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посредине стола высилась кучка смятых банкнот. Увидев меня, дю Барнстокр сделал широкий жест и воскликнул:

— Заходите, заходите, инспектор! Дорогой

Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора?

— Да, — сказал Олаф, не отрываясь от карт. — С радостью. — И объявил пики.

Я извинился и закрыл дверь. Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его и, что самое удивительное, не слышно. А впрочем, что мне он? Погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще приятнее. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес. Увидев меня, она улыбнулась совершенно обворожительно.

— И вы тоже загорали? — ляпнул я, потерявшись.

— Загорала? Я? Что за странная мысль. — Она пересекла площадку и приблизилась ко мне. — Какие странные предположения вы высказываете, инспектор!

— Не называйте меня, пожалуйста, инспектором, — попросил я. — Мне до такой степени надоело это слышать на службе... а теперь еще от вас...

— Я о-бо-жаю полицию, — произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза. — Эти герои,

эти смельчаки... Вы ведь смельчак, не правда ли?

Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел ее в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная.

— Сударыня, — сказал я. — Да вы совсем замерзли...

— Нисколько, инспектор, — ответила она и тут же спохватилась. — Простите, но как же мне вас называть теперь?

— Может быть, Петер? — предложил я.

— Это было бы прелестно. У меня был друг Петер, барон фон Готтескнехт. Вы не знакомы?.. Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес?

— Переживет, — пробормотал я. Я искоса глядел на ее чудные плечи, на царственную шею, на гордый профиль, и меня бросало то в жар, то в холод. Ну, глупа, лихорадочно неслось у меня в голове, ну и что же? И пусть. Мало ли кто глуп!

Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симонэ. Почему-то он лежал на полу в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, волосы взлохмачены.

— Симон! — воскликнула госпожа Мозес и прижала ладони к щекам. — Что с вами?

В ответ Симонэ заклекотал и, упираясь руками

и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Боже мой, да вы убьетесь! — закричала госпожа Мозес.

— В самом деле, Симонэ, — сказал я с досадой. — Бросьте эти дурацкие штучки, вы сломаете себе шею.

Однако шалун и не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом легко и мягко спрыгнул вниз и отдал нам честь. Госпожа Мозес зааплодировала.

— Вы просто чудо, Симон, — сказала она. — Как муха!

— Ну что, инспектор, — сказал Симонэ, чуть задыхаясь. — Сразимся во славу прекрасной дамы? — Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад. — Я вас вызываю, инспектор Глебски, защищайтесь!

С этими словами он повернулся к бильярдному столу и, не целясь, с таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда. Я угрюмо взял кий.

— Сражайтесь, господа, сражайтесь, — сказала госпожа Мозес. — Прекрасная дама оставляет залог победителю. — Она бросила на середину

стола кружевной платочек. — А я вынуждена покинуть вас. Боюсь, мой Мозес уже вне себя. — Она послала нам воздушный поцелуй и удалилась.

— Чертовски завлекательная женщина, — заявил Симонэ. — С ума можно сойти. — Он подцепил кием платочек, погрузил нос в кружева и закатил глаза. — Прелесть!.. У вас, я вижу, тоже без всякого успеха, инспектор?

— Вы бы побольше путались под ногами, — мрачно сказал я, собирая шары в треугольник. — Кто вас просил торчать здесь, в бильярдной?

— А зачем вы, голова садовая, повели ее в бильярдную? — резонно возразил Симонэ.

— Не в номер же к себе мне ее вести... — огрызнулся я.

— Не умеете — не беритесь, — посоветовал Симонэ. — И поставьте шары ровнее, вы имеете дело с гроссмейстером... Вот так. Что играем? Лондонскую?

— Нет. Давайте что-нибудь попроще.

— Попроще так попроще, — согласился Симонэ.

Он аккуратно положил платочек на подоконник, задержался на секунду, склонив голову и заглядывая сквозь стекло куда-то вбок, потом вернулся к столу.

— Вы помните, что сделал Ганнибал с римлянами при Каннах? — спросил он.

— Давайте, давайте, — сказал я. — Начинайте.

— Сейчас я вам напомню, — пообещал Симонэ. Он элегантнейшим образом покатал кием биток, установил его, прицелился и положил шар. Потом он положил еще шар и при этом разбил пирамиду. Затем, не давая мне времени извлекать его добычу из луз, он закатил подряд еще два шара и наконец скиксовал.

— Ваше счастье, — сообщил он, меля кий. — Реабилитируйтесь.

Я пошел вокруг стола, выбирая шар полегче.

— Глядите-ка, — сказал Симонэ. Он снова стоял у окна и заглядывал куда-то вбок. — Какой-то дурак сидит на крыше... Пардон! Два дурака. Один стоит, я принял его за печную трубу. Положительно, мои лавры не дают кому-то покоя.

— Это Хинкус, — проворчал я, пристраиваясь поудобнее для удара.

— Хинкус — это такой маленький и все время брюзжит, — сказал Симонэ. — Ерундовый человечек. Вот Олаф — это да. Если бы вы видели, как он прижал Кайсу — прямо на кухне, среди кипящих кастрюль и скворчащих омлетов... Это истый потомок древних конунгов, вот что я вам скажу,

инспектор Глебски.

Я наконец ударил. И промазал. Совсем несложный шар промазал. Обидно. Я осмотрел конец кия, потрогал накладку.

— Не разглядывайте, не разглядывайте, — сказал Симонэ, подходя к столу. — Нет у вас никаких оправданий.

— Что вы собираетесь бить? — спросил я недоуменно, следя за ним.

— От двух бортов в середину, — с невинным видом сообщил он.

Я застонал и пошел к окну, чтобы не видеть этого. Симонэ ударил. Потом еще раз ударил. Хлестко, с треском, с лязгом. Потом еще раз ударил и сказал:

— Пардон. Действуйте, инспектор.

Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит?..

— Вы будете бить или нет? — спросил Симонэ. — Что там такое?

— Хинкус надирается, — сказал я. — Ох, свалится он сегодня с крыши.

Хинкус основательно присосался, а затем принял прежнюю позу. Угощать стоявшего он не

стал. Кто же это такой? А, так это же чадо, наверное... Интересно, о чем чадо может разговаривать с Хинкусом? Я вернулся к столу, выбрал шар полегче и опять промазал.

— Вы читали мемуар Кориолиса о бильярдной игре? — спросил Симонэ.

— Нет, — сказал я мрачно. — И не собираюсь.

— А я вот читал, — сказал Симонэ. Он в два удара кончил партию и наконец разразился своим жутким хохотом. Я положил кий поперек стола.

— Вы остались без партнера, Симонэ, — сказал я мстительно. — Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве.

Симонэ взял платочек и торжественно сунул его в нагрудный карман.

— Прекрасно, — сказал он. — Чем мы теперь займемся?

Я подумал.

— Пойду-ка я побреюсь. Обед скоро.

— А я? — спросил Симонэ.

— А вы играйте сами с собой в бильярд, — посоветовал я. — Или ступайте в номер к Олафу. У вас есть деньги? Если есть, то вас там примут с распростертыми объятиями.

— А, — сказал Симонэ. — Я уже.

— Что — уже?

— Уже просадил Олафу двести крон. Играет как машина, ни одной ошибки. Даже неинтересно. Тогда я взял и напустил на него Барнстокра. Фокусник есть фокусник, пусть-ка он его пощиплет...

Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на чадо любимого покойного брата господина дю Барнстокра. Чадо загородило нам дорогу и, нагло поблескивая вытаращенными черными окулярами, потребовало сигаретку.

— Как там Хинкус? — спросил я, доставая пачку. — Здорово надрался?

— Хинкус? Ах, этот... — Чадо закурило и, сложив губы колечком, выпустило дым. — Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно и еще взял бутылку с собой.

— Ого, — сказал я. — Это уже вторая...

— А что здесь еще делать? — спросило чадо.

— А вы тоже с ним заряжались? — спросил Симонэ с интересом.

Чадо пренебрежительно фыркнуло.

— Черта с два! Он меня и не заметил. Ведь там была Кайса...

Тут мне пришло в голову, что пора наконец выяснить, парень это или девушка, и я раскинул сеть.

— Значит, вы были в буфетной? — спросил я вкрадчиво.

— Да. А что? Полиция не разрешает?

— Полиция хочет знать, что вы там делали.

— И научный мир тоже, — добавил Симонэ. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему.

— Кофе пить полиция разрешает? — осведомилось чадо.

— Да, — ответил я. — А еще что вы там делали?

Вот сейчас... Сейчас она... оно скажет: «Я закусывал» или «закусывала». Не может же оно сказать: «Я закусывало»...

— А ничего, — хладнокровно сказало чадо. — Кофе и пирожки с кремом. Вот и все мои занятия в буфетной.

— Сладкое перед обедом вредно, — с упреком сказал Симонэ. Он был явно разочарован. Я тоже.

— Ну а надираться среди бела дня — это не по мне, — закончило чадо, торжествуя победу. — Пусть этот ваш Хинкус надирается.

— Ладно, — пробормотал я. — Пойду побреюсь.

— Может быть, есть еще вопросы? — спросило чадо нам вслед.

— Да нет, бог с вами, — сказал я.

Хлопнула дверь — чадо удалилось в свой номер.

— Схожу-ка и я перекушу, — сказал Симонэ, останавливаясь возле лестничной площадки. — Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним...

— Знаю я, как вы там будете перекусывать, — сказал я. — Ступайте сами, я человек семейный, меня Кайса не интересует.

Симонэ хохотнул и сказал:

— Раз уж вы человек семейный, вы можете мне сказать, парень это или девчонка? Никак не разберу.

— Занимайтесь Кайсой, — сказал я. — Оставьте эту загадку полиции... Скажите лучше, это вы учинили шуточку с душем?

— И не думал, — возразил Симонэ. — Если хотите знать, по-моему, это сам хозяин.

Я пожал плечами, и мы разошлись. Симонэ застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда я проходил мимо номера-музея, там послышался треск, что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное и послышалось недовольное ворчание. Не теряя ни секунды, я рванул дверь, влетел в номер и едва не сшиб с ног самого господина Мозеса. Господин Мозес, высоко задрав одной рукою край ковра, а в другой сжимая свою неизменную

кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы.

— Проклятый притон, — прохрипел он при виде меня. — Грязное логово.

— Что вы тут делаете? — спросил я свирепо.

Господин Мозес немедленно взвинтился.

— Что я тут делаю? — взревел он, изо всех сил рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло. — Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене! Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?

Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился.

— Может быть, я должен объявить награду? — продолжал он, взвинчивая себя все круче. — Проклятая полиция ведь и пальцем не шевельнет, пока ей не пообещают награду! Извольте, объявляю. Сколько вам нужно, вы, инспектор? Пятьсот? Тысячу? Извольте: полторы тысячи крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы! Две тысячи крон!

— У вас пропали часы? — спросил я, нахмурившись.

— Да!

— Когда вы обнаружили пропажу?

— Только что!

Шутки кончились. Золотые часы — это вам не войлочные туфли и не занятый привидением душ.

— Когда вы видели их в последний раз?

— Сегодня рано утром.

— Где вы их обычно храните?

— Я не храню часы! Я ими пользуюсь! Они лежали у меня на столе!

Я подумал.

— Советую вам, — сказал я наконец, — написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию.

Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал:

— На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?

— Мне неудобно вмешиваться в это дело, — возразил я, пожав плечами. — Я не частный сыщик, я государственный служащий. Существует профессиональная этика, и кроме того...

— Ладно, — сказал он вдруг. — Я подумаю... —

Он помолчал. — Может быть, они сами найдутся. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу вам это заявление.

На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я — к себе.

Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг: «Когда я слышу слово «культура», я вызываю мою полицию». Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гуммиарабиком — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же, — и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: «Господина инспектора Глебски извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры».

Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял

ее содержание. Потом я закурил и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно — это была, конечно, чадова работа. Просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французы писали на своей Сорбонне. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь, мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно быть полным кретином или дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Кретинов здесь полно, это верно... но не до такой же степени! Я еще раз перечитал записку, изо всех сил затянулся и подошел к окну. Вот тебе и отпуск, подумал я. Вот тебе и долгожданная свобода...

Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один.

Глава пятая

Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был как всегда пуст. Из бильярдной доносился треск шаров — там был Симонэ. Дю Барнстокр продолжал чистить Олафа в номере у Олафа. Чадо возилось с мотоциклом. Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. Пять минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, судя по всему, дышать чистым воздухом по крайней мере до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок. Конечно, я не имел ни малейшего права вторгаться в чужой номер и производить там обыск или даже просто осмотр без ордера. Но я чувствовал, что это необходимо сделать, иначе я не смогу спокойно спать и вообще жить в ближайшее время.

Пятый или шестой ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков, — других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за

хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста, а оба баула стояли прямо посредине комнаты. Никак не подумаешь, что человек собирается прожить здесь две недели.

Содержимое первого, более тяжелого баула насторожило меня еще сильнее. Это был типичный фальшивый багаж: какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Ясно было, что Хинкус валил в этот баул все, что подвертывалось под руку. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь было три смены белья, пижама, несессер, набор авторучек, пачка денег — солидная пачка, побольше моей — и две дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка — пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой, полная. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы со сложным циферблатом и маленький дамский браунинг.

Я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо, но времени на размышление у меня оставалось крайне мало. Я оглядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма. Золото было настоящее, червонное, с

красноватым отблеском, циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, пропавшие часы господина Мозеса. Потом я оглядел пистолет. Безделушка с перламутровой рукояткой, никелированный ствол, калибр 0,25, оружие для рукопашного боя и, строго говоря, вообще не оружие... Вздор, все это вздор. Гангстеры не обременяют себя такой чепухой. И если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких старинных и массивных, — настоящие гангстеры, с именем и репутацией. Тем более в гостинице, в первый же день, с риском немедленно засыпаться.

Так-так-так... Давай-ка быстренько сформулируем самую суть. Никаких доказательств, что Хинкус — опасный гангстер, маньяк и садист, и сколько угодно доказательств, что кому-то очень хочется выдать его за такового. Правда, фальшивый багаж... Ладно, с этим я разберусь потом. Что делать с пистолетом и часами? Если изъять их, а Хинкус действительно вор (хотя и не гангстер), тогда он выходит сухим из воды... Если их ему подбросили... Черт, никак не соображу... Опыта не хватает. Тоже мне, Эркюль Пуаро... Если их изъять, то, во-первых, куда я их дену? Таскать при себе? Еще обвинят в воровстве... И в номере

прятать нельзя...

Я снова прислушался. В столовой звенели посудой — Кайса уже накрывала на стол. Кто-то протопал мимо дверей. Голос Симонэ зычно осведомился: «А где же инспектор? Где он, наш храбрец?» Пронзительно взвизгнула Кайса, леденящий хохот сотряс этаж. Пора было удирать.

Так ничего и не придумав, я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился дю Барнстокр. Обратив ко мне аристократический профиль, он говорил кому-то, по-видимому, Олафу:

— Дорогой мой, о чем может быть речь? Когда это дю Барнстокры отказывались от реванша? Сегодня же, если вам будет угодно! Скажем, в десять часов вечера, у вас...

Я принял непринужденную позу (то есть вытащил зубочистку и стал ею орудовать), а дю Барнстокр повернулся и, увидев меня, приветливо помахал рукой.

— Дорогой инспектор! — провозгласил он. — Победа, слава, богатство! Таков всегдашний удел дю Барнстокров.

Я пошел ему навстречу, и мы сблизились возле

дверей его номера.

— Обчистили Олафа? — спросил я.

— Представьте себе, да! — сказал он, счастливо улыбаясь. — Наш милый Олаф слишком уж методичен, играет как машина, никакой фантазии. Даже скучно... Минуточку, что это у вас? — Он ловко выдернул у меня из нагрудного кармана игральную карту. — А, это тот самый туз червей, которым я окончательно сразил нашего беднягу Олафа...

Бедняга Олаф вышел из своего номера, огромный, румяный, легкий, прошел мимо нас и добродушно улыбнулся, буркнув: «Выпить перед обедом...» Дю Барнстокр, улыбаясь, проводил его глазами и вдруг, словно что-то вспомнив, схватил меня за рукав.

— Кстати, милый инспектор. Вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Зайдемте-ка на минуточку ко мне...

Он втащил меня к себе в номер, пихнул в кресло и предложил сигару.

— Где же она? — пробормотал он, похлопывая себя по карманам. — Ага! Вот, извольте взглянуть, что я получил сегодня. — Он протянул мне смятый клочок бумаги.

Это опять была записка. Корявыми печатными

буквами, с орфографическими ошибками, там было написано: «Мы вас нашли. Я держу вас на мушке. Не пытайтесь бежать и не делайте глупостей. Стрелять буду без предупреждения. Ф.»

Стиснув зубами сигару, я перечитал это послание дважды и трижды.

— Прелестно, не правда ли? — сказал дю Барнстокр, охорашиваясь перед зеркалом. — Даже подпись есть. Надо бы спросить хозяина, как звали Погибшего...

— Как она к вам попала?

— Ее подбросили в номер к Олафу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Раздался стук в дверь, я сказал: «Да-да, войдите», но никто не вошел. Я удивился, и вдруг я увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь.

— Вы, конечно, выглянули в коридор и, конечно, никого не увидели, — сказал я.

— Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла, — сказал дю Барнстокр. — Пойдемте? Откровенно говоря, я основательно проголодался.

Я положил записку в карман, и мы отправились в столовую, захватив по дороге чадо и так и не сумев уговорить его помыть руки.

— Какой-то у вас озабоченный вид, инспектор, — заметил дю Барнстокр, когда мы подошли к столовой.

Я посмотрел в его ясные старческие глаза, и мне вдруг пришло в голову, что всю историю с этими записками устроил он. На секунду меня охватило холодное бешенство, мне захотелось затопать ногами и заорать: «Оставьте меня в покое! Дайте мне спокойно кататься на лыжах!» Но я, конечно, сдержался.

Мы вошли в столовую. Кажется, все уже были в сборе. Госпожа Мозес обслуживала господина Мозеса, Симонэ и Олаф топтались возле стола с закусками, хозяин разливал настойку. Дю Барнстокр и чадо отправились на свои места, а я присоединился к мужчинам. Симонэ зловещим шепотом читал Олафу лекцию о воздействии эдельвейсовой настойки на человеческие внутренности. Упоминались: лейкемия, желтуха, рак двенадцатиперстной кишки. Олаф, добродушно хмыкая, поедал икру. Тут вошла Кайса и принялась тарахтеть, обращаясь к хозяину:

— Они не желают идти, они сказали, раз не все собрались, так и они не пойдут. А когда все соберутся, тогда они и придут. Они так и сказали... И две бутылки пустые...

— Так пойди и скажи ему, что все уже собрались, — приказал хозяин.

— Они мне не верят, я и так сказала, что все собрались, а они мне...

— О ком речь? — отрывисто вопросил господин Мозес.

— Речь идет о господине Хинкусе, — откликнулся хозяин. — Он все еще пребывает на крыше, а я хотел бы...

— Чего там — на крыше! — сиплым басом сказало чадо. — Вон он — Хинкус! — И оно указало вилкой с нанизанным пикулем на Олафа.

— Дитя мое, вы заблуждаетесь, — мягко произнес дю Барнстокр, а Олаф добродушно осклабился и прогудел:

— Олаф Андварафорс, к вашим услугам, детка. Можно просто Олаф.

— А почему тогда он?.. — Вилка с пикулем протянулась в мою сторону.

— Господа, господа! — вмешался хозяин. — Не надо спорить. Все это сущие пустяки. Господин Хинкус, пользуясь той свободой, которую гарантирует каждому администрация нашего отеля, пребывает на крыше, и Кайса сейчас приведет его сюда.

— Да не идут они... — заныла Кайса.

— Какого дьявола, Сневар! — сказал Мозес. — Не хочет идти — пусть торчит на морозе.

— Уважаемый господин Мозес, — произнес хозяин с достоинством, — именно сейчас весьма желательно, чтобы все мы были в сборе. Я имею сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость... Кайса, быстро!

— Да не хотят они...

Я поставил тарелку с закуской на столик.

— Погодите, — сказал я. — Сейчас я его приведу.

Выходя из столовой, я услыхал, как Симонэ сказал: «Правильно! Пусть-ка полиция наконец займется своим делом», после чего залился кладбищенским хохотом, сопровождавшим меня до самой чердачной лестницы.

Я поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками для отдыха вдоль стен. Здесь было холодно, странно пахло снегом и пылью, горой громоздились сложенные шезлонги. Фанерная дверь, ведущая наружу, была приоткрыта.

Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега, вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше, к покосившейся антенне, вела тропин-

ка, и в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге закутанный в шубу Хинкус. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазухой, должно быть, отогревал. Лица его почти не было видно, оно было скрыто воротником шубы и козырьком меховой шапки, только настороженные глаза поблескивали оттуда — словно тарантул глядел из норки.

— Пойдемте, Хинкус, — сказал я. — Все собрались.

— Все? — хрипло спросил он.

Я выдохнул клуб пара, приблизился и сунул руки в карманы.

— Все до одного. Ждем вас.

— Значит, все... — повторил Хинкус.

Я кивнул и огляделся. Солнце скрылось за хребтом, снег в долине казался лиловатым, в темнеющее небо поднималась бледная луна.

Краем глаза я заметил, что Хинкус внимательно следит за мной.

— А чего меня ждать? — спросил он. — Начинали бы... Зачем людей зря беспокоить?

— Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз, и ему нужно, чтобы мы все собрались.

— Сюрприз... — сказал Хинкус и покашлял. — Туберкулез у меня, — сообщил он вдруг. — Врачи

говорят, мне все время надо на свежем воздухе... и мясо черномясой курицы, — добавил он, помолчав.

Мне стало его жалко.

— Черт возьми, — сказал я искренне, — сочувствую вам. Но обедать-то все-таки тоже нужно...

— Нужно, конечно, — согласился он и встал. — Пообедаю и опять сюда вернусь. — Он поставил бутылку в снег. — Как вы думаете, врут доктора или нет? Насчет свежего воздуха...

— Думаю, что нет, — сказал я. Я вспомнил, какой бледно-зеленый он спускался днем по лестнице, и спросил: — Послушайте, зачем вы так глушите водку? Ведь вам это, должно быть, вредно.

— Э-э! — произнес он с тихим отчаянием. — Разве мне можно без водки? — Он замолчал. Мы спускались по лестнице. — Без водки мне нельзя, — сказал он решительно. — Страшно. Я без водки с ума сойти могу.

— Ну-ну, Хинкус, — сказал я. — Туберкулез теперь лечат. Это вам не девятнадцатый век.

— Да, наверное, — вяло согласился он. Мы свернули в коридор. В столовой звенела посуда, гудели голоса. — Вы идите, я шубу сброшу, — сказал он, останавливаясь у своей двери.

Я кивнул и вошел в столовую.

— А где арестованный? — громогласно вопросил Симонэ.

— Я же говорю, они не идут... — пискнула Кайса.

— Все в порядке, — сказал я. — Сейчас придет.

Я сел на свое место, затем, вспомнив о здешних правилах, вскочил и пошел за супом. Дю Барнстокр что-то рассказывал о магии чисел. Госпожа Мозес ахала. Симонэ отрывисто похохатывал. «Бросьте, Бардл... Дюбр... — гудел Мозес. — Все это — средневековый вздор». Я наливал себе суп, когда в столовой появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Его встретил взрыв приветствий, а он, торопливо обведя стол глазами, как-то неуверенно направился к своему месту — между мною и Олафом.

— Нет-нет! — вскричал хозяин, набегая на него с рюмкой настойки. — Боевое крещение!

Хинкус остановился, поглядел на рюмку и что-то сказал, неслышное за общим шумом.

— Нет-нет! — возразил хозяин. — Это — лучшее лекарство. От всех скорбей! Так сказать, панацея. Прошу!

Хинкус не стал спорить. Он выплеснул в рот зелье, поставил рюмку на поднос и сел за стол.

— Ах, какой мужчина! — восхищенно прозве-

нела госпожа Мозес. — Господа, вот истинный мужчина!

Я вернулся на свое место и принялся за еду. Хинкус за первым не пошел, он только положил себе немного жаркого. Теперь он выглядел не так дурно и, казалось, о чем-то сосредоточенно размышлял. Я стал слушать разглагольствования дю Барнстокра, и в это время хозяин постучал ножом о край тарелки.

— Господа! — торжественно провозгласил он. — Прошу минуточку внимания! Теперь, когда мы все собрались здесь, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить сегодня праздничный бал Встречи Весны. Конца обеду не будет! Танцы, господа, вино, карты, веселая беседа!

Симонэ с треском ударил в костлявые ладони. Госпожа Мозес тоже зааплодировала. Все оживились, и даже неуступчивый господин Мозес, сделав основательный глоток из кружки, просипел: «Ну, карты — это еще куда ни шло...» А дитя стучало вилкой о стол и показывало мне язык. Розовый такой язычок, вполне приятного вида. И в самый разгар этого шума и оживления Хинкус вдруг придвинулся ко мне и зашептал в ухо:

— Слушайте, инспектор, вы, я слышал, полицейский... Что мне делать? Полез я сейчас в баул... за лекарством. Мне велено пить перед обедом микстуру какую-то... А у меня там... ну, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там... Так ничего этого у меня не осталось. Тряпки какие-то — не мои, белье рваное... и книжки...

Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, правое веко подергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер. Маньяк и садист.

— Ну, хорошо, — сказал я сквозь зубы. — А чего вы от меня хотите?

Он сразу как-то увял и втянул голову в плечи.

— Да нет... ничего... Я только не понимаю, это шутка или как... Если кража, так ведь вы — полицейский... А может быть, конечно, и шутка, как вы полагаете?

— Да, Хинкус, — сказал я, отведя глаза и снова принимаясь за суп. — Тут, знаете ли, все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус.

Глава шестая

К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. У меня даже возникла идея снова забраться к нему в номер и извлечь все-таки из баула эти проклятые часы. Шутки шутками, а из-за этих часов у него могут случиться серьезные неприятности. Хватит с него неприятностей, подумал я. Хватит с меня этих неприятностей, хватит с меня этих шуток и моей собственной глупости... Напьюсь, решил я, и мне сразу стало легче. Я пошарил глазами по столу и переменил рюмку на стакан. Какое мне до всего этого дело? Я в отпуске. И я вообще не полицейский. Мало ли как я там зарегистрировался... На самом деле, я отставной учитель физкультуры... нет, на самом деле, если хотите знать, я торговый агент. Торгую подержанными умывальниками. И унитазами... Мельком я подумал, что для ходатая по делам, даже по делам

несовершеннолетних, у Хинкуса слишком уж убогий лексикон. Я отогнал эту мысль и старательно загоготал вместе с Симонэ над какой-то его очередной суконной остротой, которую не расслышал. Я залпом проглотил полстакана бренди и налил еще. В голове у меня зашумело.

Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и дю Барнстокр, делая друг другу приглашающие жесты, проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Хозяин включил оглушительную музыку. Олаф и Симонэ одновременно устремились к госпоже Мозес, и, поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чадо снова показало мне язык. Правильно! Я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице... к этому разбойнику бутылку и стакан. Сейчас или никогда, думал я. Такое расследование во всяком случае интереснее, чем кража часов и иного барахла. Впрочем, я ведь торговец. Хорошо и прямо-таки чудом сохранившиеся умывальники...

— Танец, мадм'зель? — произнес я, плюхнувшись на стул рядом с чадом.

— Я не танцую, сударыня, — лениво ответило

чадо. — Бросьте трепаться и дайте сигаретку.

Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение — по-ве-де-ние! — аморально, что так нельзя. Что я когда-нибудь его выпорю, дайте мне только срок. Или, добавил я, подумав, привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. Развешивание лозунгов, сказал я. Нехорошо. На дверях. Шокирует и будирует... Будирует! Я честный торговец, и я не позволю никому... Блестящая мысль осенила меня. Я пожалуюсь на вас в полицию, сказал я, заливаясь счастливым смехом. Со своей же стороны могу предложить вам... нет, не унитаз, конечно, это было бы неприлично, тем более за столом... но... прекрасный умывальник. Дивно сохранившийся, несмотря ни на что. Фирмы «Павел Буре». Не угодно ли? Отдыхать так отдыхать!..

Чадо отвечало мне что-то, и довольно остроумно, то хрипловатым мальчишеским баском, то нежным девичьим альтом. Голова у меня пошла кругом, и скоро мне стало казаться, что разговариваю я сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный, вставший на дурной путь подросток, который все время хлобыстал мое бренди и за которого я нес определенную от-

ветственность как работник полиции, опытный торговый агент и старший по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная пикантная девушка, которая, слава богу, ну совершенно не походила на мою старуху и к которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. Отпихивая все время ввязывавшегося в разговор подростка, я изложил девушке свои взгляды на брак как на добровольный союз двух сердец, взявших на себя определенные моральные обязательства. И никаких велосипедов-мотоциклов, добавил я строго. Условимся об этом сразу же. Моя старуха этого не выносит... Мы условились и выпили — сначала с подростком, потом с девушкой, моей невестой. Почему бы, черт возьми, молодой совершеннолетней девице не выпить немножко хорошего коньяку? Трижды повторив не без вызова эту мысль, показавшуюся мне самому несколько спорной, я откинулся на стуле и оглядел зал.

Все шло прекрасно. Ни законы, ни моральные нормы не нарушались. Никто не вывешивал лозунгов, не писал записок и не крал часов. Музыка гремела. Дю Барнстокр, Мозес и хозяин резались в тринадцать без ограничения ставок. Госпожа Мозес лихо отплясывала с Симонэ что-то

совершенно современное, Кайса убирала посуду. Тарелки, вилки и Олафы так и вились вокруг нее. Вся посуда на столе находилась в движении — я едва успел подхватить убегающую бутылку и облил себе брюки.

— Брюн, — сказал я проникновенно, — не обращайте внимания. Это все идиотские шутки. Всякие там золотые часы, пододеяльники... — Тут меня осенила новая мысль. — А что, парень, — сказал я, — не поучить ли мне тебя стрелять из пистолета?

— Я не парень, — грустно сказала девушка. — Мы же с вами обручились.

— Тем более! — воскликнул я с энтузиазмом. — У меня есть дамский браунинг...

Некоторое время мы с нею беседовали о пистолетах, обручальных кольцах и почему-то о телекинезе. Потом мною овладело сомнение.

— Нет! — сказал я решительно. — Так я не согласен. Сначала снимите очки. Я не желаю покупать кота в мешке.

Это была ошибка. Девушка обиделась и куда-то пропала, а подросток остался и принялся хамить. Но тут ко мне подошла госпожа Мозес и пригласила меня на танец, и я с удовольствием согласился. Через минуту у меня появилась

твердая уверенность в том, что я болван, что судьбу свою мне надлежит связать с госпожой Мозес, и только с нею. С моей Ольгой. У нее были божественно мягкие ручки, нисколько не обветренные и совсем без цыпок, и она охотно мне позволяла целовать их, и у нее были прекрасные, хорошо различимые глаза, не скрытые никакой оптикой, и от нее очаровательно пахло, и у нее не было родственника-брата, грубого разбитного юнца, не дающего слова сказать. Правда, кругом все время почему-то оказывался Симонэ, унылый шалун и великий физик, но с этим вполне можно было мириться, поскольку он не был родственником. Мы с ним были пожилые опытные люди, мы предавались чувственным удовольствиям по совету врача и, наступая друг другу на ноги, мужественно и честно признавались: «Извини, старик, это я виноват...»

Потом я как-то внезапно протрезвел и обнаружил, что нахожусь с госпожой Мозес за портьерой у окна. Я держал ее за талию, а она, склонив голову мне на плечо, говорила:

— Посмотри, какой очаровательный вид!..

Это неожиданное обращение на «ты» смутило меня, и я принялся тупо рассматривать вид, раздумывая, как бы это поделикатнее убрать руку с

талии, пока нас тут не застукали. Впрочем, вид действительно не был лишен очарования. Луна, наверное, уже поднялась высоко, вся долина казалась голубой в ее свете, а близкие горы словно висели в неподвижном воздухе. Тут я заметил унылую тень несчастного Хинкуса, сгорбившегося на крыше, и пробормотал:

— Бедняга Хинкус...

Госпожа Мозес слегка отстранилась и удивленно посмотрела на меня снизу вверх.

— Бедняга? — спросила она. — Почему — бедняга?

— Он тяжело болен, — объяснил я. — У него туберкулез, и он страшно боится.

— Да-да, — подхватила она. — Вы тоже заметили? Он все время чего-то боится. Какой-то подозрительный и очень неприятный господин. И совсем не нашего круга...

Я горестно покачал головой и вздохнул.

— Ну вот, и вы туда же, — сказал я. — Ничего подозрительного в нем нет. Просто несчастный одинокий человечек. Очень жалкий. Вы бы посмотрели, как он поминутно зеленеет и покрывается потом... А тут еще все над ним шутки шутят...

Она вдруг засмеялась своим чудесным хру-

стальным смехом.

— Граф Грэйсток тоже, бывало, поминутно зеленел. До того забавный!

Я не нашелся, что на это ответить, и, с облегчением сняв наконец руку с ее талии, предложил ей сигарету. Она отказалась и принялась рассказывать что-то о графах, баронах, виконтах и князьях, а я смотрел на нее и все пытался вспомнить, каким это ветром занесло меня с нею за эту портьеру. Потом портьера с треском раздвинулась, и перед нами возникло чадо. Не глядя на меня, оно неуклюже шаркнуло ногой и сипло произнесло:

— Пермете ву...

— Битте, мой мальчик, — очаровательно улыбаясь, отозвалась госпожа Мозес, подарила мне очередную ослепительную улыбку и, обхваченная чадом, заскользила по паркету.

Я отдулся и вытер лоб платком. Стол был уже убран. Тройка картежников в углу продолжала резаться. Симонэ лупил шарами в бильярдной. Олаф и Кайса испарились. Музыка гремела вполсилы, госпожа Мозес и Брюн демонстрировали незаурядное мастерство. Я осторожно обошел их стороной и направился в бильярдную.

Симонэ приветствовал меня взмахом кия и, не

теряя ни секунды драгоценного времени, предложил мне пять шаров форы. Я снял пиджак, засучил рукава, и игра началась. Я проиграл огромное количество партий и был за это наказан огромным количеством анекдотов. На душе у меня стало совсем легко. Я хохотал над анекдотами, которых почти не понимал, ибо речь в них шла о каких-то кварках, левожующих коровах и профессорах с экзотическими именами, я пил содовую, не поддаваясь на уговоры и насмешки партнера, я преувеличенно стонал и хватался за сердце, промахиваясь, я исполнялся неумеренного торжества, попадая, я придумывал новые правила игры и с жаром их отстаивал, я распоясался до того, что снял галстук и расстегнул воротник сорочки. По-моему, я был в ударе. Симонэ тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары, он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку, в промежутках между анекдотами он во все горло распевал песни математического содержания, он постоянно сбивался на «ты» и говорил при этом: «Пардон, старина! Проклятое демократическое воспитание!..»

Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозя-

ина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу. Музыка все гремела, игроки азартно вскрикивали, то объявляя пики, то убивая черви, то козыряя бубнами. Время от времени слышалось хриплое: «Послушайте, Драбл... Бандрл... дю!..», и негодующий стук кружки по столу, и голос хозяина: «Господа, господа! Деньги — это прах...», и раздавался хрустальный смех госпожи Мозес и ее голосок: «Мозес, что вы делаете, ведь пики уже прошли...» Потом часы пробили половину чего-то, в столовой задвигали стульями, и я увидел, как Мозес хлопает дю Барнстокра по плечу рукой, свободной от кружки, и услышал, как он гудит: «Как вам угодно, господа, но Мозесам пора спать. Игра была хороша, Барн... дю... Вы — опасный противник. Спокойной ночи, господа! Пойдемте, дорогая...» Потом, помнится, у Симонэ вышел, как он выразился, запас горючего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решивши, что и мне пора пополнить кладовые веселья и беззаботности.

В зале все еще играла музыка, но уже никого не было, только дю Барнстокр, сидя спиною ко мне за карточным столиком, задумчиво творил чудеса с двумя колодами. Он плавным движением

узких белых рук извлекал карты из воздуха, заставлял их исчезать с раскрытых ладоней, пускал колоды из руки в руку мерцающей струей, веером рассыпал их в воздухе перед собой и отправлял в небытие. Меня он не заметил, а я не стал его отвлекать. Я просто взял с буфета бутылку и на цыпочках вернулся в бильярдную.

Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу два шара и порвал сукно на бильярде. Симонэ пришел в восхищение, но я понял, что с меня достаточно.

— Все, — сказал я и положил кий. — Пойду подышу свежим воздухом.

Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо. Почему-то мне было грустно, что вечеринка кончилась, а ничего интересного не произошло, что я упустил шанс с госпожой Мозес и, кажется, наговорил какой-то ерунды чаду покойного брата господина дю Барнстокра, и что луна яркая, маленькая и ледяная, и что вокруг на много миль только снег да скалы. Я поговорил с сенбернаром, совершавшим ночной обход, и он согласился, что ночь действительно излишне тиха и пустынна и что одиночество — это действительно при всех его

огромных преимуществах паршивая вещь, но он наотрез отказался огласить долину воем или в крайнем случае лаем вместе со мной. В ответ на мои уговоры он только помотал головой, отошел недовольный и лег у крыльца.

Я прошелся взад-вперед по расчищенной дорожке перед отелем, поглазел на залитый голубой луной фасад. Светилось желтым окно кухни, светилось розовым окно в спальне госпожи Мозес, горел свет у дю Барнстокра и за портьерами в столовой, а остальные окна были темны, и окно в номере Олафа было раскрыто настежь, как и утром. На крыше одиноко торчал закутанный с головой в шубу страдалец Хинкус, такой же одинокий, как и мы с Лелем, но еще более несчастный, согнутый под бременем своей болезни и своего страха.

— Хинкус! — тихонько позвал я, но он не шевельнулся. Может быть, дремал, а может быть, не слышал сквозь теплые наушники и поднятый воротник.

Я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время закрепить наметившуюся добрую традицию и выпить горячего портвейна.

— Пойдем, Лель, — сказал я, и мы вернулись в холл. Там мы встретили хозяина, и я посвятил его

в свой замысел. Я встретил полное понимание.

— Сейчас можно отлично посидеть в каминной, — сказал он. — Ступайте туда, Петер, а я пойду распоряжусь.

Я последовал его приглашению и, устроившись перед огнем, принялся греть озябшие руки. Я слышал, как хозяин ходит по холлу, как он что-то бубнит Кайсе и опять ходит по холлу, щелкая выключателями, потом шаги его затихли, а наверху в столовой смолкла музыка. Грузно ступая по ступенькам лестницы, он снова спустился в холл, негромко выговаривая Лелю: «Нет-нет, Лель, не приставай, — говорил он строго. — Ты опять совершил это безобразие. На этот раз прямо в доме. Господин Олаф жаловался мне, и это позор. Где это видано, чтобы добропорядочная собака...»

Итак, викинга опозорили вторично, подумал я с некоторым злорадством. Я вспомнил, как лихо Олаф отплясывал в столовой с чадом, и мое злорадство усилилось. Поэтому, когда Лель с виновато опущенной головой подошел ко мне, цокая когтями, и сунул холодный нос мне в кулак, я потрепал его по шее и шепнул: «Молодец, собака, так ему и надо!»

В этот самый момент пол слегка дрогнул под моими ногами, жалобно задребезжали стекла,

и я услышал отдаленный мощный грохот. Лель вскинул голову и приподнял уши. Я машинально поглядел на часы — было десять часов две минуты. Я ждал, весь напрягшись. Грохот не повторялся. Где-то наверху с силой хлопнула дверь, звякнули кастрюли на кухне. Кайса громко сказала: «Ой, господи!» Я поднялся, но тут раздались шаги, и в каминную вошел хозяин с двумя стаканами горячего пойла.

— Слыхали? — спросил он.

— Да. Что это было?

— Обвал в горах. И не очень далеко... Подождите-ка, Петер.

Он поставил стаканы на каминную полку и вышел. Я взял стакан и снова уселся в свое кресло. Я был совершенно спокоен. Обвалы меня не пугали, а портвейн, вскипяченный с лимоном и корицей, был превыше всяческих похвал. «Хорошо!» — подумал я, устраиваясь поудобнее.

— Хорошо! — сказал я вслух. — Правда, Лель?

Лель не возражал, хотя у него и не было горячего портвейна.

Вернулся хозяин. Он взял свой стакан, сел рядом и некоторое время молча смотрел на раскаленные угли.

— Дело швах, Петер, — глухо и торжественно

произнес наконец он. — Мы отрезаны от внешнего мира.

— То есть как? — спросил я.

— До которого числа у вас отпуск, Петер? — продолжал он тем же глухим голосом.

— Скажем, до двадцатого. А в чем дело?

— До двадцатого, — медленно повторил он. — Больше двух недель... Да, у вас, пожалуй, есть шанс вовремя вернуться на службу.

Я поставил стакан на колено и саркастически посмотрел на этого мистификатора.

— Говорите прямо, Алек, — сказал я. — Не щадите меня. Что случилось? Вернулся наконец *он*?

Хозяин довольно осклабился.

— Нет. До этого, к счастью, пока не дошло. Должен вам сказать — между нами, — что *он* был на редкость сварливый и капризный тип, и если бы *он* вернулся... Впрочем, о мертвых либо ничего, либо хорошо. Поговорим о живых. Я рад, что у вас есть две недели в запасе, потому что раньше нас, может быть, и не откопают.

Я понял.

— Завалило дорогу?

— Да. Сейчас я попробовал связаться с Мюром. Телефон не действует. Это может означать только то, что означало уже несколько раз за последние

десять лет: обвалом забило Бутылочное Горлышко, вы его проезжали, единственный проход в мою долину.

Он отпил из стакана.

— Я сразу понял, что к чему, — продолжал он. — Грохот донесся с севера. Теперь нам остается только ждать. Пока о нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду...

— Воды у нас хватит с избытком, — задумчиво сказал я. — А вот не впадем ли мы в людоедство?

— Нет, — сказал хозяин с видимым сожалением. — Разве что вам захочется разнообразить меню. Только я заранее предупреждаю: Кайсу я вам не отдам. Можете обгладывать господина дю Барнстокра. Он выиграл у меня сегодня семьдесят крон, старый мошенник.

— А как насчет топлива? — спросил я.

— У нас всегда есть в резерве мои вечные двигатели.

— Гм... — сказал я. — Они деревянные?

Хозяин взглянул на меня с упреком. Потом он сказал:

— Почему вы не спросите, Петер, как у нас с выпивкой?

— А как?

— С выпивкой, — гордо сказал хозяин, — у нас

особенно хорошо. Одной только фирменной настойки у нас сто двадцать бутылок.

Некоторое время мы молча смотрели на угли, спокойно прихлебывая из стаканов. Мне было хорошо как никогда. Я обдумывал возникшие только что перспективы, и чем больше я их обдумывал, тем больше они мне нравились. Потом хозяин вдруг сказал:

— Одно меня беспокоит, Петер, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов.

— Каким образом? — спросил я. — Наоборот, восемь жирных мух запутались в вашей паутине, и у них теперь нет никаких шансов выбраться раньше, чем через две недели. А какая реклама! Все они потом будут рассказывать, как были погребены заживо и чуть не съели друг друга...

— Это так, — самодовольно признался хозяин. — Об этом я уже подумал. Но ведь мух могло быть и больше, сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса...

— Друзья Хинкуса? — удивился я. — Он сказал вам, что ждет друзей?

— Нет, не то чтобы сказал... Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму.

— Ну и что?

Хозяин поднял палец и торжественно продекламировал:

— «Мюр, отель «У Погибшего Альпиниста». Жду, поторопитесь». Примерно вот так.

— Вот уж никогда бы не подумал, — пробормотал я, — что у Хинкуса есть друзья, которые согласны разделить с ним его одиночество. Хотя... почему бы и нет? Пуркуа па, так сказать...

Глава седьмая

К полуночи мы с хозяином прикончили кувшин горячего портвейна, обсудили, как бы поэффектнее оповестить остальных гостей о том, что они замурованы заживо, и решили несколько мировых проблем, а именно: обречено ли человечество на вымирание (да, обречено, однако нас к тому времени уже не будет); существует ли в природе нечто недоступное познавательным усилиям человека (да, существует, однако нам этого никогда не познать); является ли сенбернар Лель разумным существом (да, является, однако убедить в этом дураков ученых не представляется возможным); угрожает ли Вселенной так называемая тепловая смерть (нет, не угрожает, ввиду наличия у хозяина в сарае вечных двигателей как первого, так и второго рода); какого пола Брюн (здесь я доказать ничего не сумел, а хозяин высказал и обосновал странную идею, будто Брюн — это зомби, то есть оживленный магией мертвец, пола не имеющий)...

Кайса прибрала в столовой, перемыла всю посуду и явилась за разрешением ложиться спать. Мы ее отпустили. Глядя ей вслед, хозяин пожаловал-

ся мне на одиночество и на то, что от него ушла жена. То есть не то чтобы ушла... тут все не так просто... но, одним словом, жены у него теперь нет. Я ответил, что не советую ему жениться на Кайсе. Во-первых, это повредило бы заведению. А во-вторых, Кайса слишком любит мужчин, чтобы сделаться хорошей женой. Хозяин согласился, что все это верно, он сам много думал об этом и пришел к точно таким же выводам. Но, сказал он, на ком же ему тогда жениться, если мы теперь навеки замурованы в этой долине. Я оказался не в силах что-либо ему посоветовать. Я только покаялся, что женат уже вторично и таким образом, вероятно, исчерпал его, хозяина, лимит. Это была страшная мысль, и хотя хозяин тут же простил мне все, я все же ощутил себя эгоистом и ущемителем интересов ближнего. И чтобы хоть как-то скомпенсировать эти свои отвратительные качества, я решил посвятить хозяина во все технические тонкости подделки лотерейных билетов. Хозяин слушал внимательно, но мне этого показалось мало, и я потребовал, чтобы он все записал. «Забудете ведь! — повторял я с отчаянием. — Протрезвеете и забудете...» Хозяин страшно перепугался, что он действительно все забудет, и потребовал практических занятий.

Кажется, именно в эту минуту сенбернар Лель вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понял! — строго сказал он.

Лель гавкнул два раза подряд и направился в холл.

— Ага, — сказал хозяин, поднимаясь. — Кто-то пожаловал.

Мы последовали за Лелем. Мы были исполнены гостеприимства. Лель стоял перед парадной дверью. Из-за двери доносились странные скребущие и скулящие звуки. Я схватил хозяина за руку.

— Медведь! — прошептал я. — Гризли! Ружье есть? Быстро!

— Боюсь, что это не медведь, — глухим голосом произнес хозяин. — Боюсь, что это наконец *он*. Надо отпереть.

— Не надо! — возразил я.

— Надо. Он заплатил за две недели, а прожил всего одну. Мы не имеем права. У меня отберут лицензию.

За дверью скреблись и поскуливали. Лель вел себя странно: он стоял к двери боком и смотрел на нее с вопросительным выражением, то и дело шумно потягивая воздух носом. Именно так, по-моему, должны вести себя собаки, впервые

встретившись с привидением. Пока я мучительно подыскивал законные основания не отпирать дверей, хозяин принял самостоятельное решение. Он смело протянул руку и отодвинул засов.

Дверь отворилась, и к нашим ногам медленно сползло облепленное снегом тело. Мы все трое бросились к нему, втащили в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел.

Хозяин, не теряя ни секунды, развил бешеную деятельность. Он разбудил Кайсу, велел ей греть воду, влил в рот незнакомцу стакан горячего портвейна, растер ему лицо шерстяной рукавицей, а затем объявил, что нужно отнести его в душевую. «Берите его под мышки, Петер, — распорядился он, — а я возьму за ноги...» Я выполнил приказание и ощутил некоторый шок — оказалось, что незнакомец был однорукий, правой руки у него не было до самого плеча. Мы перетащили беднягу в душевую, уложили на скамью, а затем прибежала Кайса в одной рубашке, и хозяин объявил мне, что дальше справится сам.

Я вернулся в каминную и допил свой портвейн. Голова у меня была совершенно ясная, я был способен анализировать и сопоставлять с

необыкновенной быстротой. Одет незнакомец был явно не по сезону. На нем был кургузый пиджачок, брюки дудочкой и модельные туфли. В здешних местах так мог быть одет только человек, едущий на автомобиле. Значит, у него что-то случилось с автомобилем, и он был вынужден добираться до отеля пешком. И видимо, издалека, раз он так обессилел и замерз. Тут я понял. Совершенно ясно: он ехал сюда на автомобиле и попал под лавину в Бутылочном Горлышке. Это был приятель Хинкуса, вот кто! Надо разбудить Хинкуса... Может быть, в машине остались еще люди, искалеченные так, что они не могут двигаться. Может быть, уже есть жертвы... Хинкус должен знать...

Я выскочил из каминной и побежал на второй этаж. Пробегая мимо душевой, я слышал, как там обильно лилась вода и хозяин свирепым шепотом разносил Кайсу за глупость. Свет в коридоре был погашен, я довольно долго искал выключатель, а потом еще дольше стучал в дверь к Хинкусу. Хинкус не отзывался. Да ведь он все еще на крыше! — ужаснулся я. Неужели дрыхнет там? А вдруг он замерз? Я стремглав помчался к чердачной лестнице... Так и есть, — сидит на крыше. Он сидел в прежней своей позе, нахох-

лившись, уйдя головой в огромный воротник и сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул я.

Он не пошевелился. Тогда я подбежал к нему и потряс за плечо. Я обалдел. Хинкус вдруг как-то странно осел, мягко подавшись у меня под рукой.

— Хинкус! — растерянно закричал я, непроизвольно подхватывая его.

Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, свалилась меховая шапка, и только тогда я понял, что Хинкуса нет, а есть только снежное чучело, облаченное в его шубу. Вот в этот момент я протрезвел уже окончательно. Я быстро огляделся. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, и все было видно как днем. На крыше было множество следов, и все они были совершенно одинаковые, не разберешь чьи. Рядом с шезлонгом снег был промят, разбросан и разрыт — то ли здесь боролись, то ли просто собирали снег для чучела. Снежная долина, на сколько хватал глаз, была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север и терялась в серо-голубой дымке, скрывающей устье Бутылочного Горлышка.

Стоп, подумал я, стараясь держать себя в руках.

Попробуем сообразить, зачем Хинкусу понадобилась вся эта бутафория. Несомненно, чтобы мы думали, будто он сидит на крыше. А он в это время находился совсем в другом месте и обделывал какие-то свои делишки... лже-туберкулезник, лже-бедняга... Какие же делишки и где? Я снова внимательно осмотрел крышу, попытался разобраться в следах, ничего не понял, поискал в снегу, нашел две бутылки — одна была пустая, в другой еще оставалось бренди. Вот это самое недопитое бренди доконало меня. Я понял, что с того момента, как Хинкус счел возможным выбросить коту под хвост бренди на сумму не менее пяти крон, события приняли действительно серьезный оборот. Я медленно спустился на второй этаж, снова постучался к Хинкусу, и снова никто не отозвался. На всякий случай я нажал на ручку. Дверь отворилась. Готовый ко всяким неожиданностям, вытянув перед собой руку, чтобы предупредить возможное нападение из темноты, я вошел и, быстро нашарив выключатель, зажег свет. В комнате все было как будто по-прежнему, и баулы стояли на прежних местах, но оба они были раскрыты. Хинкуса, конечно, в номере не было, да я и не ожидал его здесь найти. Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их.

В них тоже все было по-прежнему, за одним маленьким исключением: исчезли и золотые часы, и браунинг. Если бы Хинкус бежал, он захватил бы деньги. Хорошая пачка, увесистая. Значит, он не бежал. Значит, он здесь. А если и отлучился, то намерен вернуться.

Одно мне было ясно: готовилось какое-то преступление. Какое? Убийство? Ограбление? Мысль об убийстве я торопливо прогнал от себя. Я просто не мог себе представить, кого здесь могут убить и зачем. Но потом я вспомнил записку, которую подбросили дю Барнстокру, и мне сделалось нехорошо. Впрочем, из записки явствовало, что дю Барнстокра убьют лишь в том случае, если он попытается бежать...

Я выключил свет и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Я подошел к номеру дю Барнстокра и потрогал ручку. Дверь была заперта. Тогда я постучал. Никто не откликнулся. Я постучал вторично и приложил ухо к замочной скважине. Невнятный, явно со сна, голос дю Барнстокра отозвался: «Одну минуточку, я сейчас...» Старик был жив, и старик не собирался бежать. Объясняться с ним мне не хотелось, я выскочил на лестничную площадку и прижался к стене под чердачной лестницей. Через минуту щелкнул

ключ, скрипнула дверь. Голос дю Барнстокра с изумлением произнес: «Странно, однако...» Снова скрипнула дверь, и снова щелкнул ключ. Здесь все было в порядке — по крайней мере пока.

Нет, решительно подумал я. Убийство — это, конечно, чепуха, и записку ему подбросили либо в шутку, либо для отвода глаз. А вот как насчет ограбления? Кого здесь имеет смысл грабить? Насколько я понимаю, в отеле два богатых человека: Мозес и хозяин. Так. Прекрасно. Оба на первом этаже. Номера Мозеса в южном крыле, сейф хозяина — в северном. Их разделяет холл. Если я засяду в холле... Впрочем, в контору к хозяину можно попасть и сверху, спустившись из столовой в кухню и пройдя потом через буфетную. Если припереть снаружи дверь буфетной... Решено, проведем ночь в холле, а завтра видно будет. Вдруг я вспомнил об одноруком незнакомце. Гм... Судя по всему, он приятель Хинкуса и, следовательно, сообщник. Может быть, он действительно попал в аварию, а может быть, все это комедия, вроде снежной бабы на крыше... Нет, на этом нас не поймаешь, господа!

Я спустился в холл. В душевой уже никого не было, а посредине холла стояла с ошалелым видом Кайса в ночной рубашке с мокрым подо-

лом и держала в охапке мокрую мятую одежду незнакомца. В коридоре южного крыла горел свет, из пустовавшего номера, что напротив каминной, доносился приглушенный бас хозяина. Незнакомца, по-видимому, устроили там, а ему, может быть, только того и надо было. Хороший расчет: не потащат же полуживого человека на второй этаж...

Кайса, очнувшись наконец, двинулась было на хозяйскую половину, но я ее остановил. Я отобрал у нее одежду и обыскал карманы. К моему огромному изумлению, в карманах не оказалось ничего. Решительно ничего. Ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка — ничего.

— Что на нем сейчас? — спросил я.

— Как это? — спросила Кайса, и я оставил ее в покое.

Я вернул ей одежду и пошел посмотреть сам. Незнакомец лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим, приговаривая: «Надо, сударь, надо... пропотеть надо... хорошенько пропотеть...» Вид у незнакомца, надо сказать, был ужасный. Лицо было синее, кончик острого носа — белый как снег, один глаз болезненно сощурен, а другой

и вовсе закрыт. Он слабо постанывал при каждом вздохе. Если это и был чей-нибудь сообщник, то он ни к черту не годился. Но несколько вопросов я должен был ему задать. В любом случае.

— Вы один? — спросил я.

Он молча смотрел на меня сощуренным глазом и тихонько стонал.

— Кто-нибудь еще остался в машине? — спросил я раздельно. — Или вы ехали один?

Незнакомец приоткрыл рот, подышал немного и снова закрыл рот.

— Слаб, — сказал хозяин. — У него все тело как тряпка.

— Черт возьми, — пробормотал я. — А ведь придется сейчас кому-нибудь ехать к Бутылочному Горлышку.

— Да, — согласился хозяин. — Вдруг там еще кто-нибудь остался... Я думаю, они попали под обвал.

— Придется вам поехать, — сказал я решительно, и в этот момент незнакомец заговорил.

— Олаф, — сказал он без выражения. — Олаф Анд-ва-ра-форс... Позовите.

Я испытал очередной шок.

— Ага, — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол. — Сейчас позову.

— Олаф... — повторил незнакомец.

Хозяин вышел, и я сел на его место. Я чувствовал себя идиотом. В то же время у меня немного отлегло от сердца: мрачная при всей ее убедительности схема, которую я построил, развалилась сама собой.

— Вы были один? — снова спросил я. — Кто-нибудь еще пострадал?

— Один... — простонал незнакомец. — Авария... Позовите Олафа... Где Олаф Андварафорс?

— Здесь, здесь, — сказал я. — Сейчас придет.

Он закрыл глаза и затих. Я откинулся на спинку стула. Ну ладно. А куда все-таки девался Хинкус? И как там хозяйский сейф? В голове у меня была каша.

Вернулся хозяин, брови у него были высоко задраны, губы поджаты. Он наклонился к моему уху и прошептал:

— Странное дело, Петер. Олаф не отзывается. Дверь заперта, оттуда несет холодом. И мои запасные ключи куда-то пропали...

Я молча извлек из кармана связку, которую стащил у него в конторе, и протянул ему.

— Ага, — сказал хозяин. Он взял ключи. — Ну все равно. Вы знаете, Петер, пойдемте-ка вместе. Что-то мне все это не нравится...

— Олаф... — простонал незнакомец. — Где Олаф?

— Сейчас, сейчас, — сказал я ему. Я чувствовал, что у меня начала подергиваться щека. Мы с хозяином вышли в коридор. — Вот что, Алек, — сказал я. — Позовите сюда Кайсу. Пусть сидит возле этого парня и не трогается с места, пока мы не вернемся.

— Ага, — снова произнес хозяин, играя бровями. — Вот, значит, как дела обстоят... То-то я смотрю...

Он трусцой побежал на свою половину, а я медленно направился к лестнице. Я уже поднялся на несколько ступенек, когда хозяин позади строго произнес:

— Иди сюда, Лель. Сиди здесь... Сидеть. Никого не впускать. Никого не выпускать.

Он нагнал меня уже в коридоре второго этажа, и мы вместе подошли к номеру Олафа. Я постучал и в ту же секунду увидел на двери перед самым носом записку. Записка была приколота кнопкой на уровне глаз. «В соответствии с договоренностью, был, не застал. Если по-прежнему жаждете реванша, до одиннадцати часов к Вашим услугам. Дю Б.»

— Это вы видели? — быстро спросил я хозяина.

— Да. Только не успел вам сказать.

Я снова постучался и, уже не ожидая ответа, отобрал у хозяина связку ключей.

— Который? — спросил я.

Хозяин показал. Я сунул ключ в замочную скважину. Черта с два — дверь была заперта изнутри, и в скважине уже был один ключ. Пока я возился, выталкивая его, отворилась дверь соседнего номера, и, затягивая пояс халата, в коридор вышел дю Барнстокр, заспанный, но благодушный.

— Что происходит, господа? — осведомился он. — Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин дю Барнстокр, — сказал хозяин, — но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как? — произнес дю Барнстокр с интересом. — Надеюсь, я не помешаю?

Я расчистил путь для ключа и выпрямился. Из-под двери несло зимним холодом, и я был совершенно уверен, что комната окажется пуста, как и номер Хинкуса. Я повернул ключ и распахнул дверь. Волна морозного воздуха окатила меня, но я почти не почувствовал этого. Номер не был пуст. На полу лежал человек. Света из коридора было недостаточно, чтобы узнать его.

Я видел только огромные подошвы на пороге прихожей. Я шагнул в прихожую и зажег свет.

Это был Олаф Андварафорс, истый потомок конунгов и возмужалый бог. Он был явно и безнадежно мертв.

Глава восьмая

Я тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал меня с клеем и полосками бумаги. Дю Барнстокр не ушел, он стоял тут же, прислонившись плечом к стене, и выглядел постаревшим лет на двадцать. Аристократические брылья его обвисли и жалко подрагивали.

— Какой ужас! — бормотал он, с отчаянием глядя на меня. — Какой кошмар!..

Я запер дверь, опечатал ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске.

— Какой ужас!.. — бормотал дю Барнстокр у меня за спиной. — И ни реванша теперь... и ничего...

— Идите к себе в номер, — сказал я ему. — Запритесь и сидите, пока я вас не позову... Да, одну минуту. Записка ваша?

— Моя, — сказал дю Барнстокр. — Я...

— Ладно, потом, — сказал я. — Идите. — Я повернулся к хозяину. — Оба ключа я забираю себе. Больше ключей нет? Хорошо. У меня к вам просьба, Алек. Ничего пока не сообщайте этому...

однорукому. Соврите что-нибудь, если он станет очень уж беспокоиться. Посмотрите гараж — все ли машины на месте... Теперь вот что. Если увидите Хинкуса, задержите его, хотя бы силой. Пока все. Я буду у себя в номере. И никому ни слова, поняли?

Хозяин молча кивнул и отправился вниз.

У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загаженный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще даже хуже, чем фальшбагаж Хинкуса. Там, по крайней мере, были тряпки и книжки. А здесь, в этом плоском элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью... какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры... Ни белья, ни пижамы, ни мыльницы... Я закрыл чемодан, повалился в кресло и закурил.

Ладно. Что же мы имеем, инспектор Глебски? Вместо того чтобы лежать между свежими простынями и сладко спать. Вместо того чтобы встать пораньше, обтереться снегом и обежать на лыжах всю долину по периметру. Вместо того чтобы потом весело пообедать, сгонять партию в бильярд, пофлиртовать с госпожой Мозес, а вечером

уютно устроиться у камина со стаканом горячего портвейна. Вместо того чтобы наслаждаться каждым днем первого настоящего отпуска за четыре года... Что мы имеем вместо всего этого? Мы имеем свежий труп. Зверское убийство. Тоскливую уголовную неразбериху.

Ладно. В ноль часов двадцать четыре минуты третьего марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алека Сневара и дю Барнстокра обнаружен труп некоего Олафа Андварафорса. Труп находился в номере упомянутого Андварафорса, каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на сто восемьдесят градусов, так что, хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Руки мертвого были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, каковой чемодан был единственным багажом, принадлежавшим убитому. В правой руке убитый сжимал ожерелье из деревянных бус, принадлежащее, как достоверно известно, доброй гражданке Кайсе. Черты лица убитого искажены, глаза широко раскрыты, рот оскален. Вблизи рта ощущается

слабый, но явственный запах какого-то едкого химического вещества, то ли карболки, то ли формалина. Определенные и недвусмысленные следы борьбы в номере отсутствуют. Покрывало застеленной кровати смято, дверцы стенного шкафа приотворены, сильно сдвинуто тяжелое кресло, предназначенное стоять в подобных номерах у стола. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа (я достал из кармана ключ и еще раз внимательно осмотрел его)... следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Ввиду отсутствия специалистов, инструментов и лаборатории, медицинское, дактилоскопическое и всякое иное специальное исследование провести не представляется возможным (и не представится). Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андварафорсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею.

Непонятен странный запах изо рта и непонятно, какой же гигантской силой должен обладать убийца, чтобы свернуть шею этому великану без длительной, шумной и оставляющей множество следов борьбы. Впрочем, два минуса, как известно, иногда дают плюс. Можно предполо-

жить, что Олаф был сначала отравлен, приведен в беспомощное состояние каким-то ядом, после чего его и прикончили таким злодейским способом, который, между прочим, сам по себе тоже требует немалой силы. Да, такое предположение кое-что объясняет, хотя сразу же возникают новые вопросы. Зачем было добивать ослабевшего таким зверским и трудным способом? Почему его попросту не ткнули ножом или не придушили веревкой, на худой конец? Ярость, бешенство, ненависть, месть?.. Садизм?.. Хинкус? Может быть, и Хинкус, хотя Хинкус на вид, пожалуй, жидковат для таких упражнений... А может быть, не Хинкус, а тот, кто подбросил мне записку о Хинкусе?..

Нет, так у меня не пойдет. Ну почему это не фальшивый лотерейный билет и не подчищенная бухгалтерская книга? Там бы я быстро разобрался... Вот что мне надо сделать: сесть в автомобиль и гнать по дороге до самого завала, а там попытаться перейти завал на лыжах, добраться до Мюра и вернуться сюда с ребятами из отдела убийств. Я даже приподнялся было, но снова сел. Хороший, конечно, это был выход, но уж больно плохой. Оставить здесь все на произвол судьбы, дать убийце время и разные возможно-

сти... оставить дю Барнстокра, которому грозили... Да и как я переберусь через завал? Можно себе представить, что это такое: лавина в Бутылочном Горлышке.

В дверь постучали. Вошел хозяин, неся на подносе чашку с горячим кофе и сандвичи.

— Машины все на месте, — объявил он, ставя передо мною поднос. — Лыжи тоже. Хинкуса нигде не нашел. На крыше валяются его шуба и шапка, но это вы, наверное, видели.

— Да, это я видел, — проговорил я, отхлебывая кофе. — А что однорукий?

— Спит, — сказал хозяин. Он поджал губы и потрогал пальцем натеки клея на столе. — Н-да... Так вот, он спит. Странный тип. Уже порозовел и выглядит вполне прилично. Я там держу Леля. Так, на всякий случай.

— Спасибо, Алек, — сказал я. — Идите пока, и пусть все будет тихо. Пусть все спят.

Хозяин покачал головой.

— Уже не выйдет. Мозес уже встал, у него свет... Ладно, я пойду. А Кайсу я запру, она у меня дура. Хотя она еще ничего не знает.

— И пусть не знает, — сказал я.

Хозяин вышел. Я с наслаждением выпил кофе, отодвинул тарелку с сандвичами и снова заку-

рил. Когда я видел Олафа последний раз? Я играл на бильярде, он танцевал с чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробило половину чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Ну, это время нетрудно будет установить. Но вот насколько раньше этого времени я в последний раз видел Олафа? А ведь, пожалуй, незадолго. Ладно, мы это установим. Теперь так: ожерелье Кайсы, записка дю Барнстокра, слышали ли что-нибудь соседи Олафа — дю Барнстокр и Симонэ...

Я только-только начал чувствовать, что у меня вырисовывается какой-то план расследования, как вдруг услышал глухие и довольно сильные удары в стену — из номера-музея. Я даже тихонько застонал от бешенства. Я сбросил пиджак, поддернул рукава и осторожно, на цыпочках вышел в коридор. По физиономии, по щекам, мельком подумал я. Я ему покажу шуточки, кто бы это ни был...

Я распахнул дверь и пулей влетел в номер-музей. Там было темно, и я быстро включил свет. Номер был пуст, и стук вдруг прекратился, но я чувствовал, что здесь кто-то есть. Я сунулся в туалет, в шкаф, за портьеры. Позади меня глухо замычали. Я подскочил к столу и отшвырнул

тяжелое кресло.

— Вылезай! — яростно приказал я.

В ответ снова раздалось глухое мычание. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таращил на меня из сумрака слезящиеся мученические глаза. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп.

— Что это значит? — спросил я.

В ответ он принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением, он отплевывался во все стороны, он охал и хрипел. Я заглянул в туалетную, взял бритву Погибшего Альпиниста и разрезал на Хинкусе веревки. Бедняга так затек, что не мог даже поднять руку и вытереть физиономию. Я дал ему воды. Он жадно выпил и наконец подал голос: сложно и скверно выругался. Я помог ему встать и усадил его в кресло. Бормоча ругательства, плачевно сморщив лицо, он принялся ощупывать себе шею, запястья, бока.

— Что с вами случилось? — спросил я. Глядя на него, я испытывал определенное облегчение:

оказывается, мысль о том, что где-то за кулисами убийства прячется невидимый Хинкус, очень беспокоила меня.

— Что случилось... — бормотал он. — Сами видите, что случилось! Связали, как барана, и сунули под стол...

— Кто?

— Почем я знаю? — сказал он мрачно, и вдруг его всего передернуло. — Бог ты мой! — пробормотал он. — Выпить бы... У вас нет чего-нибудь выпить, инспектор?

— Нет, — сказал я. — Но будет. Как только вы ответите на мои вопросы.

Он с трудом поднял левую руку и отогнул рукав.

— А, черт, часы раздавил, сволочь... — пробормотал он. — Сколько сейчас времени, инспектор?

— Час ночи, — ответил я.

— Час ночи... — повторил он. — Час ночи... — Глаза у него остановились. — Нет, — сказал он и поднялся. — Надо выпить. Схожу в буфетную и выпью.

Легким толчком в грудь я усадил его снова.

— Успеется, — сказал я.

— А я вам говорю, что хочу выпить! — сказал он, повышая голос и снова делая попытку встать.

— А я вам говорю, что успеется! — сказал я, снова пресекая эту попытку.

— Кто вы такой, чтобы здесь распоряжаться? — уже в полный голос взвизгнул он.

— Не орите, — сказал я. — Я — полицейский инспектор. А вы на подозрении, Хинкус.

— На каком еще подозрении? — спросил он, сразу сбавив тон.

— Сами знаете, — ответил я. Я старался выиграть время, чтобы сообразить, как действовать дальше.

— Ничего я не знаю, — угрюмо заявил он. — Что вы мне голову морочите? Ничего я не знаю и знать не хочу. А вы за ваши штучки ответите, инспектор.

Я и сам чувствовал, что мне придется отвечать за мои штучки.

— Слушайте, Хинкус, — сказал я. — В отеле произошло убийство. Так что лучше отвечайте на мои вопросы, потому что, если вы будете финтить, я изуродую вас, как бог черепаху. Мне терять нечего, семь бед — один ответ.

Некоторое время он молча смотрел на меня, приоткрыв рот.

— Убийство... — повторил он как бы разочарованно. — Вот те на! А только я-то здесь при чем?

Меня самого без малого укокошили... А кто убит?

— А вы думаете — кто?

— Откуда мне знать? Когда я из столовой уходил, все вроде были живы. А потом... — Он замолчал.

— Ну? — сказал я. — Что было потом?

— А ничего не было. Я сидел себе на крыше, задремал. Вдруг чувствую, душат, валят, а больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом, чуть с ума не сошел: думал, заживо похоронили. Принялся стучать. Стучал-стучал, никто не идет. Потом вы пришли. Вот и все.

— Вы можете сказать, когда примерно вас схватили?

Он задумался и некоторое время сидел молча. Потом он вытер ладонью рот, посмотрел на пальцы, его снова передернуло, и он вытер ладонь о штанину.

— Ну? — сказал я.

Он поднял на меня тусклые глаза.

— Что?

— Я спрашиваю, когда примерно вас...

— А... Да что-то около девяти. Последний раз, когда я смотрел на часы, было восемь сорок.

— Дайте сюда ваши часы, — сказал я.

Он послушно отстегнул часы и протянул мне. Я

заметил, что запястье у него покрыто сине-багровыми пятнами.

— Разбиты они, — сообщил он.

Часы были не разбиты, они были раздавлены. Часовая стрелка отломилась, а минутная показывала сорок три минуты.

— Кто это был? — снова спросил я.

— Откуда мне знать? Я же говорю, что задремал.

— И не проснулись, когда вас схватили?

— Меня схватили сзади, — угрюмо произнес он. — Нет у меня глаз на заду.

— А ну, поднимите подбородок!

Он мрачно смотрел на меня исподлобья, и я понял, что я на верном пути. Я взял его двумя пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но я уверенно сказал:

— Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был?

Дернув головой, он освободился.

— Идите к черту, — прохрипел он. — К дьяволу. Не ваше собачье дело. Кого бы здесь ни стукнули, я к этому отношения не имею, а на остальное мне наплевать... И мне нужно выпить! — заорал

он вдруг. — У меня все болит, понимаете вы это, полицейская балда?

По-видимому, он был прав. В чем бы он ни был замешан, к убийству он отношения не имел, во всяком случае, прямого. Однако и я не имел права отступать.

— Как угодно, — холодно сказал я. — Тогда я запру вас в кладовку, и вы не получите ни бренди, ни сигарет, пока не скажете все, что знаете.

— Да что вам от меня нужно?.. — простонал он. Я видел, что он вот-вот заплачет. — Чего вы ко мне привязались?

— Кто вас схватил?

— Ч-черт! — прошипел он в отчаянии. — Да не желаю я об этом говорить, можете вы это понять? Видел, да, видел, кто это был! — Его снова передернуло, прямо-таки перекосило на сторону. — Врагу своему не пожелаю такое увидеть!.. Вам, черт бы вас подрал, не пожелаю такого! Вы бы сдохли от страха!

Он был не в себе.

— Ладно, — сказал я и поднялся. — Пойдемте.

— Куда?

— За выпивкой, — сказал я.

Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он

отреагирует, увидев наклейки на двери Олафа, но он ничего не заметил, ему явно было не до того. Я привел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшиеся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку.

— Господи, — прохрипел он, утираясь. — Смачно-то как!..

Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более что он приехал вместе с Олафом, можно было даже предположить, что он и есть убийца и что сообщники потом связали его для создания алиби, но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним явно было не все в порядке: никакой он не туберкулезник, и никакой он, видимо, не ходатай по делам несовершеннолетних, и остается открытым вопрос, для чего он торчал на крыше... Меня вдруг осенило. Что бы он ни делал на крыше, это кому-то мешало, возможно, как-то мешало покончить с Олафом, и его убрали. Его убрали, а тот, кто его убирал, внушал почему-то Хинкусу невыносимый ужас, а значит, не был постояльцем отеля, ибо никого в отеле Хинкус, по-видимому, не боялся. Чепуха какая-то... И тут

я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками... и вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши...

— Слушайте, Хинкус, — мягко сказал я. — Тот, кто вас схватил... вы ведь видели его и раньше, днем?

Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке.

— Так, — сказал я. — Ну, пойдемте. Я запру вас в номере. Бутылку можете взять с собой.

— А вы? — хрипло спросил он.

— Что — я?

— Вы уйдете?

— Естественно, — сказал я.

— Послушайте, — сказал он. — Послушайте, инспектор... — Глаза у него бегали, он искал, что сказать. — Вы... Я... Вы... вы заглядывайте ко мне, ладно? Я, может быть, вспомню еще что-нибудь... Или, может быть, я побуду с вами? — Он умоляюще глядел на меня. — Я не убегу, и... ничего... клянусь вам...

— Вы боитесь остаться один в номере? — спросил я.

— Да, — ответил он.

— Но ведь я вас запру, — сказал я. — И ключ

унесу с собой...

В каком-то отчаянии он махнул рукой.

— Это не поможет, — пробормотал он.

— Ну-ну, Хинкус, — строго сказал я. — Будьте мужчиной! Что вы раскисли, как старая баба?

Он ничего не ответил и только нежно прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость, потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял: Хинкус плакал.

Я оставил его наедине с его совестью и направился к дю Барнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма.

— Мой дорогой инспектор! — немедленно начал он, выделывая фантастические вещи с сигарой, которую он держал двумя пальцами в приподнятой руке. — Мой уважаемый друг! Я

чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности...

— Что вы убили Олафа Андварафорса, — мрачно сказал я, опускаясь в кресло.

Он содрогнулся и всплеснул руками.

— О боже! Нет! Я в жизни своей никого не тронул пальцем! Кэль идэ! Нет! Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле... — Он прижал руки к груди, обсыпая халат сигарным пеплом. — Поверьте, поймите меня правильно: это были просто шутки! Пусть не бог весть какие изящные и остроумные, но совершенно невинные... Это у меня профессиональное, я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения... Никакого злого умысла, уверяю вас! Никакой корысти...

— Какие именно шутки вы имеете в виду? — спросил я сухо. Я был зол и разочарован. Я не ожидал, что этим занимается именно дю Барнстокр. Я был о старике лучшего мнения.

— Н-ну... Все эти маленькие розыгрыши по поводу тени Погибшего Альпиниста. Ну, там, туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать... Шутка с душем... Вас я немножко поми-

стифицировал — помните, пепел из трубки?.. Ну и тому подобное, я уж не упомню всего...

— Стол у меня испоганили тоже вы? — спросил я.

— Стол? — Он растерянно посмотрел на меня, потом оглянулся на свой собственный стол.

— Да, стол. Залили клеем, безнадежно испортили хорошую вещь...

— Н-нет, — испуганно сказал он. — Клеем... стол... Нет-нет, это не я, клянусь вам! — Он снова прижал руки к груди. — Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно, я никому не причинял ни малейшего ущерба... Мне даже казалось, что это всем нравится, а наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал...

— Хозяин был с вами в сговоре?

— Нет, что вы! — Он замахал на меня руками. — Я имею в виду, что он... что ему это, в общем, нравилось, он же и сам немножко мистификатор, вы заметили? Как он говорит, знаете, таким особенным голосом, и это его знаменитое «позвольте мне погрузиться в прошлое...».

— Понятно, — сказал я. — А следы в коридорах?

Лицо дю Барнстокра сделалось сосредоточенным и серьезным.

— Нет-нет, — сказал он. — Это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было еще до вашего приезда. Мокрые следы босых ног, они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер-музей... Тоже шутка, конечно, но не моя...

— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили, это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю?

— Тоже не мой, — сказал дю Барнстокр с достоинством. — Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду.

— Минуточку, — сказал я. — Значит, дело было так. Олаф вышел, вы остались сидеть. Кто-то постучал в дверь, вы откликнулись, потом глянули и увидели на полу у дверей записку. Так?

— Так.

— Минуточку, — повторил я. Я ощутил приближение новой мысли. — Позвольте, господин дю Барнстокр, а почему вы, собственно, решили, что это угрожающее послание адресовано именно вам?

— Совершенно с вами согласен, — сказал дю Барнстокр. — Уже потом я понял, уже прочитав, что, будь записка адресована мне, ее, наверное, подсунули бы под мою дверь. Но в тот момент

я действовал как-то подсознательно, что ли... Ведь тот, кто постучал, слышал мой голос, то есть знал, что я здесь... Вы меня понимаете? Во всяком случае, когда наш бедный Олаф вернулся, я немедленно показал ему эту записку, чтобы вместе посмеяться над нею...

— Так, — сказал я. — И что же Олаф? Смеялся?

— Н-нет, он не смеялся... У него, знаете ли, чувство юмора... В общем, он прочел, пожал плечами, и мы тут же продолжили игру. Он оставался совершенно спокоен, флегматичен и больше ни разу не вспомнил об этой записке... А я, как вы знаете, решил, что это чья-то мистификация, и, откровенно говоря, продолжаю думать так же и сейчас... Вы знаете, в узком кругу отдыхающих, скучающих людей всегда найдется человек...

— Знаю, — сказал я.

— Вы полагаете, эта записка действительно?..

— Все может быть, — сказал я. Мы помолчали. — А теперь расскажите, что вы делали с того момента, как Мозесы ушли спать.

— Извольте, — сказал дю Барнстокр. — Я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было это примерно в половине десятого, я некоторое время...

— Одну минуту, — прервал я его. — Это было в половине десятого, говорите вы?

— Да, примерно.

— Хорошо. Тогда расскажите сначала мне вот что. Не можете ли вы припомнить, кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого?

Дю Барнстокр взялся за лоб длинными белыми пальцами.

— М-м-м... — произнес он. — Это будет посложнее. Я ведь был занят игрой... Ну, естественно, Мозес, хозяин... Время от времени карту брала госпожа Мозес... Это у нас за столиком. Брюн и Олаф танцевали, а потом... нет, пардон, еще до этого... танцевали госпожа Мозес и Брюн... Но вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не в состоянии установить, когда это было — в половине девятого, в девять... О! Часы пробили девять, и я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и зал был пуст, танцевали только Брюн с Олафом... Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти, — закончил он с сожалением.

— Так, — сказал я. — А хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола?

— Нет, — сказал он уверенно. — Оба они оказались чрезвычайно азартными партнерами.

— То есть в девять часов в зале было только трое игроков, Брюн и Олаф?

— Именно так. Это я помню совершенно отчетливо.

— Хорошо, — сказал я. — Теперь вернемся к вам. Итак, после того как все разошлись, вы посидели еще некоторое время за карточным столиком, упражняясь в карточных фокусах...

— Упражняясь в фокусах?.. А, вполне возможно. Иногда в задумчивости я, знаете ли... даю волю своим пальцам, это происходит неосознанно. Да. Затем я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я выкурил сигару, сел в это кресло и, признаться, вздремнул. Проснулся я словно бы от какого-то толчка — я вдруг вспомнил, что в десять часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы. Точного времени не помню, но было самое начало одиннадцатого, и я с облегчением понял, что опоздаю ненамного. Я наскоро привел себя в порядок перед зеркалом, взял пачку ассигнаций, сигары и вышел в коридор. В коридоре, инспектор, было пусто, это я помню. Я постучал в дверь к Олафу — никто не отозвался. Я постучал вторично, и снова без

всякого успеха. Я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше и занят какими-нибудь более интересными делами. Однако в таких вопросах я страшно щепетилен. Я написал известную вам записку и приколол ее к двери. Затем я честно прождал до одиннадцати, читая вот эту книгу, и в одиннадцать лег спать. И вот что интересно, инспектор. Незадолго до того, как вы с хозяином принялись шуметь и стучать в коридоре, меня разбудил стук в мою дверь. Я открыл, но никого не оказалось. Я лег снова и больше уже не смог заснуть.

— Угу, — сказал я. — Понятно. Значит, с того момента, как вы прикололи записку, и до одиннадцати часов, когда вы легли спать, не произошло больше ничего существенного... не было никакого шума, движения?

— Нет, — сказал дю Барнстокр. — Ничего.

— А где вы были? Здесь или в спальне?

— Здесь, сидел в этом кресле.

— Угу, — сказал я. — И последний вопрос. Вчера до обеда вы не разговаривали с Хинкусом?

— С Хинкусом?.. А, это такой маленький, жалкий... Постойте, мой милый друг... Да, конечно! Мы же все вместе стояли возле душа, помните? Господин Хинкус был раздражен ожиданием, и я

успокоил его каким-то маленьким фокусом... Ах да, леденцы! Он очень забавно растерялся тогда. Обожаю такие мистификации.

— А после этого вы с ним не разговаривали?

Дю Барнстокр задумчиво сложил губы куриной гузкой.

— Нет, — сказал он. — Насколько мне помнится — нет.

— И не поднимались на крышу?

— На крышу? Нет. Нет-нет. На крышу я не поднимался.

Я встал.

— Благодарю вас, господин дю Барнстокр. Вы оказали следствию помощь. Я надеюсь, вы понимаете, насколько неуместны были бы сейчас новые мистификации. (Он молча замахал на меня руками.) Ну, вот и хорошо. Я очень советую вам принять таблетку снотворного и лечь спать. На мой взгляд, это лучшее, что вы можете сейчас сделать.

— Я попытаюсь, — с готовностью сказал дю Барнстокр.

Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Я направился разбудить чадо, но тут я увидел, как в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симонэ. Я

немедленно повернул туда.

Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Через открытую дверь спальни я увидел, как великий физик, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах номера горел свет.

— Не трудитесь, Симонэ, — произнес я угрюмо. — Все равно вы не успеете развязать галстук.

Симонэ обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я вошел в спальню и остановился перед ним, засунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали. Я не сказал больше ни слова, я просто смотрел на него, давая ему время осознать, что он пропал. А он под моим взглядом все более сникал, голова его все глубже уходила в плечи, волнистый унылый нос становился все более унылым. Наконец он не выдержал.

— Я буду говорить только в присутствии своего адвоката, — объявил он надтреснутым голосом.

— Бросьте, Симонэ, — сказал я с отвращением. — А еще физик. Какие вам тут, в задницу, адвокаты?

Он вдруг схватил меня за полу пиджака и, заглядывая мне в глаза снизу вверх, просипел:

— Думайте что хотите, Петер, но я вам клянусь: я не убивал ее.

Наступила моя очередь присесть. Я нащупал за собой стул и сел.

— Подумайте сами, зачем это мне? — страстно продолжал Симонэ. — Ведь должны же быть мотивы... Никто же не убивает просто так... Конечно, существуют садисты, но они ведь сумасшедшие, а я... Правда, врачи... Но вы сами понимаете, нервное переутомление, чувственные удовольствия... Это же совсем, совсем другое!.. Тем более такое зверство, такой кошмар... Клянусь вам! Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее!

На несколько секунд я закрыл глаза. Так. В доме был еще один труп. На этот раз — женщина.

— Вы же отлично знаете, — горячечно бормотал Симонэ, — преступлений просто так не бывает. Правда, Андре Жид писал... Но это все так, игра интеллекта... Нужен мотив... Вы же меня знаете, Петер! Посмотрите на меня: разве я похож на убийцу?

— Стоп, — сказал я. — Заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку.

Он не стал думать.

— Пожалуйста, — с готовностью сказал он. — Но

вы должны поверить мне, Петер. Все, что я расскажу, будет истинная правда, и только правда. Дело было так. Еще во время этого проклятого бала... Да она и раньше давала мне понять, только я не решался... А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. Почему бы нет? Ведь это же не преступление, не правда ли? Н-ну, и вот часов в одиннадцать, когда все угомонились, я вышел и тихонько спустился вниз. Вы с хозяином несли какую-то чепуху в каминной, что-то там о познании природы, обычная ерунда... Я тихонько прошел мимо каминной — я был в носках — и прокрался к ее номеру. У старика света не было, у нее — тоже. Дверь ее, как я и ожидал, была не заперта, это сразу придало мне бодрости. Темно было — хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул, она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней и, сами понимаете, обнял... Бр-р-р-р!.. Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая... твердая, окоченевшая... Лед! Окаменевшая, как дерево! И этот оскал... Я не помню, как оттуда вылетел. По-моему, я там всю мебель поломал... Я клянусь вам, Петер, поверьте честному человеку, когда я дотронулся до нее, она была уже совершенно

мертвая, холодная и окоченевшая... И потом, я не зверь...

— Наденьте брюки, — сказал я с тихим отчаянием. — Приведите себя в порядок и следуйте за мной.

— Куда? — спросил он с ужасом.

— В тюрьму! — гаркнул я. — В карцер! В башню пыток, идиот!

— Сейчас, — сказал он. — Сию минуту. Я просто не понял вас, Петер.

Мы спустились в холл навстречу вопрошающему взгляду хозяина. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый многозарядный винчестер. Я знаком предложил ему оставаться на месте и свернул в коридор на половину Мозесов. Лель, лежавший на пороге комнаты незнакомца, проворчал нам что-то неприязненное. Симонэ семенил за мною следом, время от времени судорожно вздыхая.

Я решительно толкнул дверь в номер госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване прямо напротив двери в позе мадам Рекамье возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симонэ

за моей спиной издал странный звук — что-то вроде «а-ап!».

— Прошу прощения, — еле ворочая языком, проговорил я и со всей возможной стремительностью закрыл двери. Затем я повернулся к Симонэ и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук.

— Клянусь! — одними губами произнес Симонэ. Он был на грани обморока.

Я отпустил его.

— Вы ошиблись, Симонэ, — сухо сказал я. — Вернемся в ваш номер.

Прежним порядком мы проследовали в обратном направлении. Впрочем, по дороге я передумал и повел его в свой номер. Я вдруг сообразил, что номер мой не заперт, а там у меня вещественное доказательство. И кстати, не мешает показать это самое доказательство великому физику.

Войдя, Симонэ бросился в мое кресло, на секунду закрыл лицо руками, а затем принялся стучать себя по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе.

— Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой. — Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!..

Потом он положил руки на край стола, уста-

вился на меня круглыми глазами и произнес шепотом:

— Но ведь она была мертва, Петер! Клянусь вам. Она была мертва, она была убита, и мало того...

— Ерунда, — сказал я холодно. — Просто вы были омерзительно пьяны.

— Нет-нет, — возразил Симонэ, мотая головой. — Я был пьян, это верно, но тут что-то нечисто, тут что-то не так... Скорее уж это был кошмар, бред... почудилось... Может быть, я и на самом деле немножко того, а, Петер?

— Может быть, — согласился я.

— Не знаю, просто не знаю... Я глаз не сомкнул все это время, то раздевался, то одевался... хотел даже бежать... особенно когда услышал, как вы там ходите и говорите придушенными голосами...

— Где вы находились в это время?

— Я находился... В какое, собственно, время?

— Пока мы говорили придушенными голосами.

— У себя. Я не выходил из номера.

— В какой именно комнате вашего номера вы находились?

— То в одной, то в другой... Честно говоря, пока вы допрашивали Олафа, я пытался подслуши-

вать и сидел в спальне... — Глаза его вдруг снова выкатились. — Постойте-ка, — сказал он. — Но если она жива... тогда из-за чего вся эта суета? Что случилось? Заболел кто-нибудь?

— Отвечайте на мои вопросы, — сказал я. — Что вы делали после того, как я ушел из бильярдной?

Некоторое время он молчал, глядя на меня круглыми глазами и покусывая нижнюю губу.

— Понятно, — сказал он наконец. — Значит, все-таки что-то случилось. Ну, ладно... Что я делал после того, как вы ушли? Сыграл сам с собой на бильярде и пошел к себе. Было уже около десяти, а я назначил свое предприятие на одиннадцать, надо было привести себя в порядок, освежиться, побриться, то-се... Этим я и занимался примерно до половины одиннадцатого. А потом ждал, смотрел на часы, смотрел в окошко... Остальное вы знаете... Вот так...

— Вы вернулись в номер около десяти. А точнее? Ведь вы собирались на свидание и наверняка часто поглядывали на часы.

Симонэ тихонько свистнул.

— Ого! — сказал он. — Кажется, это следствие по всем правилам. Может быть, вы все-таки скажете мне, что произошло?

— Убит Олаф, — сказал я.

— Как — убит? Вы же только что были у него в номере... Я сам слышал, как вы с ним там разговаривали...

— Я разговаривал не с ним, — сказал я. — Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер?

Симонэ вытер покрытый испариной лоб. Лицо у него сделалось несчастным.

— Безумие какое-то, — пробормотал он. — Сумасшедший бред... Сначала то, теперь это...

Я применил старый испытанный прием. Пристально глядя на Симонэ, я сказал:

— Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы.

Симонэ мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же испарились. Он перестал думать о госпоже Мозес. Он перестал думать о бедном Олафе. Теперь он думал только о себе.

— Что вы этим хотите сказать? — пробормотал он. — Что это значит — «перестаньте крутить»?..

— Это значит, что я жду ответа, — сказал я. — Когда — точно — вы вернулись в свой номер?

Симонэ преувеличенно оскорбленно пожал плечами.

— Извольте, — сказал он. — Смешно, конечно, и дико, но... пожалуйста. Извольте. Из бильярдной я вышел без десяти десять. С точностью плюс-минус одна минута. Я посмотрел на часы и понял, что мне пора. Было без десяти десять.

— Что вы сделали, когда вошли в номер?

— Извольте. Я прошел в спальню, разделся... — Он вдруг остановился. — А знаете, Петер... Я ведь понимаю, что вам нужно. В это время Олаф был еще жив. Впрочем, откуда мне знать, может быть, это был уже не Олаф.

— Рассказывайте по порядку, — приказал я.

— Да тут нечего рассказывать по порядку... За стеной спальни двигали мебель. Голосов я не помню. Не было голосов. Но что-то там двигалось. Помнится, я показал стене язык и подумал: вот так-то, белокурая бестия, ты ляжешь баиньки, а я пойду к моей Ольге... Или что-то в этом духе. Это было, следовательно, примерно без пяти десять. Плюс-минус три минуты.

— Так. Дальше.

— Дальше... Дальше я пошел в туалетную комнату. Я тщательно вымылся до пояса. Я тщательно вытерся махровым полотенцем... Я тщательно побрился электрической бритвой... Я тщательно оделся... — В голосе унылого шалуна стремитель-

но нарастала язвительность. Впрочем, он тут же почувствовал неуместность такого тона и спохватился. — Короче говоря, в следующий раз я посмотрел на часы, когда вышел из туалетной. Было около половины одиннадцатого. Без двух-трех минут.

— Вы остались в спальне?

— Да, одевался я в спальне. Но больше я уже ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимания. Одевшись, я вышел в гостиную и стал ждать. И клятвенно утверждаю, что после вечеринки я Олафа в глаза не видел.

— Вы уже утверждали клятвенно, что госпожа Мозес мертва, — заметил я.

— Ну, это я не знаю... Это я не понимаю. Уверяю вас, Петер...

— Верю, — сказал я. — Теперь скажите, когда вы последний раз разговаривали с Хинкусом?

— Гм... Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал. Ни разу. Не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать.

— А когда вы его в последний раз видели?

Симонэ прищурился, вспоминая.

— Около душа? — произнес он с вопросительной интонацией. — Да нет, что это я! Он же обедал вместе со всеми, вы его тогда привели с крыши.

А потом... куда-то он испарился, что ли... А что с ним случилось?

— Ничего особенного, — небрежно сказал я. — Еще один вопрос. Кто, по-вашему, разыгрывал все эти штучки? С душем, с пропавшими туфлями...

— Понимаю, — сказал Симонэ. — По-моему, начал это дю Барнстокр, а поддерживали его все кому не лень. Хозяин в первую очередь.

— А вы?

— И я. Я заглядывал в окна к госпоже Мозес. Обожаю такие шутки... — Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо.

— И больше ничего? — спросил я.

— Ну, почему же ничего? Я звонил Кайсе из пустых номеров и устраивал «посещения утопленника»...

— То есть?

— То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами. Потом я собирался соорудить небольшое привидение, да так и не собрался.

— Нам повезло, — сухо сказал я. — А часы Мозеса — ваша работа?

— Какие часы Мозеса? Золотые такие? Луковица?

Мне захотелось его ударить.

— Да, — сказал я. — Луковица. Вы их сперли?

— За кого вы меня принимаете? — возмутился Симонэ. — Что я вам — форточник какой-нибудь?

— Нет-нет, не форточник, — сказал я, сдерживаясь. — Вы их утащили в шутку. Устроили «посещение Багдадского Вора».

— Слушайте, Петер, — сказал Симонэ очень серьезно. — Я вижу, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот — я их не трогал. Но я их видел. Да и все, наверное, видели. Здоровенная такая луковица, Мозес однажды при всем народе уронил ее в свою кружку...

— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Теперь у меня к вам вопрос как к специалисту. — Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку. — Что это может быть, как по-вашему?

Симонэ быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно вложил обратно в чемодан.

— Не моя область, — сказал он. — Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое. Не знаю. Даже догадаться не могу. Где вы это взяли? У Олафа?

— Да, — сказал я.

— Подумать только! — пробормотал он. — У этой дубины... Впрочем, пардон. На кой черт здесь верньеры?.. Ну, это-то, вероятно, гнезда подключения... Очень странный агрегат... — Он посмотрел на меня. — Если хотите, Петер, я могу понажимать здесь клавиши и покрутить колесики и винтики. Я человек рисковый. Но имейте в виду, это очень нездоровое занятие.

— Не надо, — сказал я. — Дайте сюда. — Я закрыл чемодан.

— Правильно, — одобрил Симонэ, откидываясь в кресле. — Это надо отдать экспертам. Я даже знаю — кому... Между прочим, — сказал он, — что это вы всем этим занимаетесь? Вы что — энтузиаст своего дела? Почему вы не вызовете специалистов?

Я коротко объяснил ему про обвал.

— Все одно к одному, — уныло произнес он. — Мне можно идти?

— Да, — сказал я. — И сидите в своем номере. Лучше всего ложитесь спать.

Он ушел. Я взял чемодан и поискал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. Военное или космическое, подумал я. Только этого мне и не хватало. Политическое убийство, шпионаж,

диверсия... Тьфу, глупость! Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли... Куда же мне его деть? Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку — для верности, — спустился вниз.

Хозяин расположился за столиком с бумагами и допотопным арифмометром. Винчестер был у него под рукой — прислонен рядом к стене.

— Что новенького? — спросил я.

Он поднялся мне навстречу.

— Да ничего особенно хорошего, — ответил он с виноватым лицом. — Пришлось мне все-таки объяснить Мозесу, что произошло.

— Зачем?

— Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил ему, что к чему. Я решил, что так будет меньше шуму.

— Плохо, — сказал я. — Но это я сам виноват. А он что?

— А ничего. Выкатил на меня свои глазищи, отхлебнул из кружки, помолчал с полминуты, а потом стал орать — кого это я поселил на его территории да как посмел... Еле-еле я от него отбился.

— Ну ладно, — сказал я. — Вот что, Алек. Дайте мне ключ от вашего сейфа, я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ — вы уж извините — оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. Приведите ее в вашу контору. А в-третьих, я очень хотел бы кофе.

— Пойдемте, — сказал хозяин.

Глава девятая

Я выпил большую чашку кофе и допросил Кайсу. Кофе был прекрасный. Но от Кайсы я почти ничего не добился. Во-первых, она все время засыпала на стуле, а когда я ее будил, немедленно спрашивала: «Чего это?» Во-вторых, она, казалось, совершенно неспособна была говорить об Олафе. Каждый раз, когда я произносил это имя, она заливалась краской, принималась хихикать, совершать сложные движения плечом и закрываться ладонью. У меня осталось определенное впечатление, что Олаф успел здесь нашалить и что произошло это почти сразу после обеда, когда Кайса сносила вниз и мыла посуду. «А бусы они у меня забрали, — рассказала Кайса, хихикая и жеманясь. — Сувенир, говорят, на память то есть. Шалуны они...» В общем, я отправил ее спать, а сам вышел в холл и принялся за хозяина.

— Что вы об этом думаете, Алек? — спросил я.

Он с удовольствием отодвинул арифмометр и с хрустом расправил могучие плечи.

— Я думаю, Петер, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название.

— Вот как? — сказал я. — И что это будет за

название?

— Еще не знаю, — ответил хозяин. — И это меня несколько беспокоит. Через несколько дней моя долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии. Конечно, многое будет зависеть от того, к каким выводам придет официальное следствие, но ведь и к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться...

— У владельца уже есть частное мнение? — удивился я.

— Ну, может быть, не совсем правильно называть это мнением... Но, во всяком случае, у меня есть некое ощущение, которого у вас, по-моему, пока еще нет. Но оно будет, Петер. Оно обязательно появится и у вас, когда вы копнете это дело поглубже. Просто мы с вами по-разному устроены. Я все-таки механик-самоучка, поэтому ощущения мои, как правило, возникают вместо выводов. А вы — полицейский инспектор. У вас ощущения возникают в результате выводов, когда выводы вас не удовлетворяют. Когда они вас обескураживают. Так-то вот, Петер... А теперь задавайте ваши вопросы.

И тут неожиданно для себя — уж очень я отчаялся и устал — я рассказал ему о Хинкусе. Он

слушал, кивая лысой головой.

— Да, — сказал он, когда я кончил. — Вот видите, и Хинкус тоже...

Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и без всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало. Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, задал трепку Кайсе за неторопливость, и тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет.

— ...Конечно, я мог бы тогда же зайти к Олафу и свернуть ему шею, хотя я вовсе не уверен, что Олаф позволил бы мне это сделать. Но я и пытаться не стал, а просто пошел вниз и погасил свет в холле. Насколько я помню, все было в порядке. Все двери на верхнем этаже были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал: пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах.

Позвонив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались.

Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной. И вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу, особенно если Олаф был предварительно отравлен. И он, хозяин отеля, как никто другой, располагал реальной возможностью отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа. Третий ключ... Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов — очень глубоких и очень заметных следов — внизу под окном... Между прочим, этого никто не смог бы сделать. Оставалось предположить существование потайного люка, ведущего из номера Олафа в номер, который сейчас занимает однорукий. Но тогда преступление становится изощренно сложным, это означало бы, что его запланировали давно, тщательно и с совершенно непонятной целью... А, черт, я же своими ушами слышал, как он, выключив музыку, спускался по лестнице и делал выговор Лелю. Через минуту после этого случился обвал,

а потом...

— Вы мне разрешите полюбопытствовать, — сказал хозяин, — зачем вы с Симонэ заходили к госпоже Мозес?

— А, пустяки, — сказал я. — Великий физик слегка перебрал, и ему почудилось бог знает что...

— Вы не скажете мне, что именно?

— Да вздор это все! — сказал я с досадой, пытаясь ухватить за хвостик какую-то любопытную мысль, проскользнувшую у меня в сознании за несколько секунд до этого. — Вы меня сбили, Алек, со своими глупостями... Ну ладно, потом вспомню... Давайте насчет Хинкуса. Попытайтесь вспомнить, кто выходил из столовой между половиной девятого и девятью.

— Я, конечно, могу попытаться, — мягко сказал хозяин, — но ведь вы сами обратили мое внимание на тот факт, что Хинкус безумно напуган этим, скажем, существом, которое его связало.

Я впился в него глазами.

— Ну, и что вы об этом думаете?

— А вы? — спросил он. — Я бы на вашем месте подумал об этом самым серьезным образом.

— Вы шутите или нет? — сказал я раздраженно. — Я не могу сейчас заниматься мистикой, фантастикой и прочей философией. Я просто склонен

думать, что Хинкус того... — Я постучал себя по темени. — Я не могу представить себе, чтобы в отеле кто-то прятался, кого мы не знаем.

— Ну хорошо, хорошо, — произнес хозяин примирительно. — Не будем спорить об этом. Итак, кто выходил из зала между половиной девятого и девятью? Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил. В-третьих, ребенок дю Барнстокра... Впрочем, нет. Ребенок исчез позже, вместе с Олафом...

— Когда это было? — быстро спросил я.

— Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода.

— Это очень интересно, — сказал я. — Но об этом после. Так. Кто еще выходил?

— Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес... Гм... — Он сильно поскреб ногтями обширную щеку. — Нет, — сказал он решительно. — Не помню. Я, как хозяин, в общем, следил за гостями и поэтому, как видите, кое-что помню довольно хорошо. Но вы знаете, был такой момент, когда мне чертовски везло. Это длилось недолго, всего два-три круга, но что было во время этой полосы удач... — Хозяин развел руками. — Я хорошо

помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она... Нет, я не видел. К сожалению.

— Ну что ж, и на том спасибо, — сказал я рассеянно. Я уже думал о другом. — А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так?

— Так.

— И было это до половины десятого, когда вы поднялись из-за карт?

— Именно так.

— Спасибо, — сказал я и встал. — Пойду, пожалуй. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда?

— После обеда? Нет.

— Ах да, вы же играли... А до обеда?

— До обеда я его видел несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал, потом на дворе, когда все мы играли и резвились... Потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом... Да! Потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать... Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной, он забавлялся с бутылкой бренди. Больше я его днем не видел.

Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую было мысль.

— Слушайте, Алек, я совсем забыл, — сказал я. — Как записался у вас Олаф?

— Принести вам книгу? — спросил хозяин. — Или так сказать?

— Так скажите.

— Олаф Андварафорс, государственный служащий, в отпуск на десять дней, один.

Нет, это была не та мысль.

— Спасибо, Алек, — сказал я и снова сел. — Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать.

Я охватил голову руками и стал думать. Что же у меня есть? Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался. Теперь так. Выяснилось, что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо — это последний человек, который видел Олафа живым. Если не считать убийцы, конечно. И если считать, что все допрошенные говорят правду. Значит, Олаф убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе промежуточек. Впрочем, Симонэ утверждает, будто без пяти десять в ком-

нате Олафа было слышно какое-то движение, а примерно в десять минут одиннадцатого никто в номере не отзывался на стук дю Барнстокра. Но это еще ничего не значит, Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли убить не в номере... Нет, рано, рано делать выводы. У меня еще остается Брюн по делу Олафа и госпожа Мозес по делу Хинкуса... Хотя что она мне может сказать? Ну, вышла на крышу, ну, увидела Хинкуса... Минуточку, а зачем она выходила на крышу? Одна, без мужа, декольте... Ладно. Вопрос: с кого начать? Поскольку убит Олаф, а не Хинкус, и поскольку госпожа Мозес уже наверняка знает об убийстве от супруга, начнем с чада. Спросонок люди говорят иногда интересные вещи. Заодно, может быть, удастся определить, какого оно пола, мельком подумал я, поднимаясь.

Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: какого дьявола?

— Откройте, Брюн, это я, Глебски, — сказал я.

Последовало короткое молчание. Затем голос испуганно спросил:

— Вы что, свихнулись? Три часа ночи!..

— Откройте, вам говорят! — прикрикнул я.

— А в чем дело?

— Вашему дядюшке плохо, — сказал я наугад.

— Ну да?.. Постойте, дайте штаны надеть...

Шлепанье босых ног удалилось. Я ждал. Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог.

— Не так быстро, — сказал я, придерживая его за плечо. — Ну-ка, зайдемте в номер...

Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали.

— Так плохо? — шепотом спросило оно. — Да не молчите же, скажите что-нибудь наконец!

С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, по-видимому, любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая:

— Нет, ваш дядя жив и здоров. Речь пойдет о другом.

— Но вы же сказали...

— Ничего я не говорил, вам приснилось. Вот

что: быстро и немедленно говорите. Когда вы расстались с Олафом? Ну, живо!

— С каким Олафом? Чего вам от меня надо?

— Когда и где вы в последний раз видели Олафа?

Чадо помотало головой.

— Ничего не понимаю. При чем здесь Олаф? Что с дядей?

— Дядя спит. Дядя жив и здоров. Когда и где вы в последний раз виделись с Олафом?

— Да что вы затвердили одно и то же? — возмутилось чадо. Оно постепенно приходило в себя. — И чего вы вообще вперлись ко мне посреди ночи?

— Я вас спрашиваю...

— А мне на вас плевать! Убирайся отсюда, а то я дядю позову! Фараон чертов!

— Вы танцевали с Олафом, а потом ушли. Куда? Зачем?

— А вам-то что? Невесту приревновал?

— Хватит болтать, скверная девчонка! — гаркнул я. — Олаф убит! Я знаю, что ты — последняя, кто видел его живым! Когда это было? Где? Живо! Ну?

Наверное, я был страшен. Чадо отшатнулось и, словно защищаясь, вытянуло руки ладонями

вперед.

— Нет! — прошептало оно. — Что вы? Что вы?..

— Отвечайте, — сказал я спокойно. — Вы вышли с ним из столовой и направились... Куда?

— Н-никуда... просто вышли в коридор...

— А потом?

Чадо молчало. Я не видел его глаз, и это было непривычно и неудобно.

— А потом? — повторил я.

— Позовите дядю, — сказало чадо твердо. — Я хочу, чтобы здесь был дядя.

— Дядя вам не поможет, — возразил я. — Вам поможет только одно — правда. Говорите правду.

Чадо молчало. Оно сидело, съежившись, на кровати под большим рукописным плакатом «Будем жестокими!» и молчало. Потом из-под черных очков по щекам потекли слезы.

— Слезы тоже не помогут, — сказал я холодно. — Говорите правду. Если вы будете лгать и изворачиваться, — я сунул руку в карман, — я надену на вас наручники и отправлю в Мюр. Там с вами будут говорить совсем уже посторонние люди. Дело идет об убийстве, вы понимаете это?

— Я понимаю... — едва слышно пролепетало чадо. — Я скажу...

— Правильное решение, — одобрил я. — Итак,

вы с Олафом вышли в коридор. Что было дальше?

— Мы вышли в коридор... — повторило чадо механически. — А дальше... дальше... Я плохо помню, память у меня паршивая... Он что-то сказал, а я... Он что-то сказал и ушел, а я... это...

— Никуда не годится, — сказал я, покачав головой. — Попробуйте снова.

Чадо с хлюпаньем утерло нос и полезло рукой под подушку. За носовым платком.

— Ну? — сказал я.

— Это... это стыдно, — прошептало чадо. — И противно. А Олаф мертвый.

— Полиция, как и медицина, — наставительно произнес я, ощущая огромную неловкость, — не признает таких понятий, как «стыдно».

— Ну ладно, — сказало вдруг чадо, гордо вздернув голову. — Хрен с вами. Дело было так. Сначала шутки: жених или невеста, мальчик или девочка... ну, вроде как вы со мной обращались... Он тоже, наверное, принял меня неизвестно за что... А потом, когда мы вышли, он принялся меня лапать. Мне стало противно, и пришлось дать ему по морде... по лицу...

— Ну? — сказал я, не глядя на него.

— Ну, он обиделся, обругал меня и ушел. Может

быть, я, конечно, зря, может, и не надо было давать волю рукам, но он тоже был хорош...

— Куда он ушел?

— Да откуда мне знать? Стану я смотреть, куда да зачем... Ушел по коридору... — Чадо махнуло рукой. — Не знаю куда.

— А вы?

— А я... А что — я? Все настроение пропало, противно, скукотища... Одно и оставалось — пойти к себе, запереться и напиться до чертиков...

— И вы напились? — спросил я, осторожно потягивая носом и исподволь оглядывая номер. Кавардак в номере был страшный, все было разбросано, все валялось кое-как, а стол был завален длинными полосами бумаги — лозунгами, как я понял. Вешать на дверях у полицейских чиновников... Спиртным действительно попахивало, а на полу у изголовья постели я заметил бутылку.

— Ну натурально, я же говорю вам!

Я наклонился и взял бутылку. Бутылка была основательно почата.

— Драть вас некому, молодой человек, — сказал я, ставя бутылку на стол, прямо на лозунг «Долой обобщения! Да здравствует мгновение!». — Вы потом все время сидели здесь?

— Да. А что делать? — Чадо по-прежнему, ви-

димо по старой привычке, старательно избегало родовых окончаний.

— А когда вы легли спать?

— Не помню.

— Ну хорошо, предположим, — сказал я. — А теперь подробно опишите все ваши действия с того момента, как вы вышли из-за стола, и до того момента, как вы с Олафом удалились в коридор.

— Подробно? — спросило чадо.

— Да, со всеми подробностями.

— Ладно, — согласилось чадо, показав мелкие, острые, до голубизны белые зубы. — Значит, доедаю я десерт. Тут подсаживается ко мне в дрезину бухой инспектор полиции и начинает мне вкручивать, как я ему нравлюсь и насчет немедленного обручения. При этом он то и дело пихает меня в плечо своей лапищей и приговаривает: «А ты иди, иди, я не с тобой, а с твоей сестрой...»

Я скушал эту тираду, не моргнув глазом. Надеюсь, лицо у меня было достаточно каменное.

— Тут, на мое счастье, — продолжало чадо злорадно, — подплывает Мозесиха и хищно тащит инспектора танцевать. Они пляшут, а я смотрю, и все это похоже на портовый кабак в Гамбурге. Потом он хватает Мозесиху пониже спины и волочет за портьеру, и это уже похоже на совсем

другое заведение в Гамбурге. А я смотрю на эту портьеру, и ужасно мне этого инспектора жалко, потому что парень он, в общем, неплохой, просто пить не умеет, а старый Мозес тоже уже хищно поглядывает на ту же портьеру. Тогда я встаю и приглашаю Мозесиху на пляс, причем инспектор рад-радешенек — видно, что за портьерой он протрезвел...

— Кто в это время был в зале? — сухо спросил я.

— Все были. Олафа не было, Кайсы не было, а Симонэ наяривал в бильярд. С горя, что его инспектор отшил.

— Так, продолжайте, — сказал я.

— Ну, пляшу я с Мозесихой, она ко мне хищно прижимается — ей ведь все равно кто, лишь бы не Мозес, — и тут у нее что-то лопается в туалете. Ах, говорит она, пардон, у меня авария. Ну, мне плевать, она со своей аварией уплывает в коридор, а на меня набегает Олаф...

— Постойте, когда это было?

— Ну, знаете! Часы мне были ни к чему.

— Значит, госпожа Мозес вышла в коридор?

— Ну, я не знаю, в коридор, или к себе пошла, или в пустой номер — там рядом два пустых номера... Я же не знаю, какая у нее была авария,

может быть, вы ей за портьерой весь корсет разнесли... Дальше рассказывать?

— Да.

— Пляшем мы с Олафом, он отсыпает мне разные комплименты — фигура, мол, осанка, мол, походка... а потом говорит: пойдемте, говорит, я вам что-то интересненькое покажу. А мне что? Пожалуйста, можно и пойти... Тем более что в зале ничего интересненького я не вижу...

— А госпожу Мозес вы в зале видите в это время?

— Нет, она у себя в сухом доке, заделывает пробоины... Ну, выходим мы в коридор... а дальше вам уже рассказано.

— И госпожу Мозес вы больше не видели?

И тут произошла заминка. Крошечная такая заминочка, но я ее уловил.

— Н-нет, — сказало чадо. — Откуда? Мне было не до того. Только и оставалось — от тоски глушить водку.

Очень, очень мне мешали черные очки, и я твердо решил, что при втором допросе я эти очки сниму. Хотя бы и силой.

— Что вы делали днем на крыше? — спросил я резко.

— На какой еще крыше?

— На крыше отеля. — Я ткнул пальцем в потолок. — И не врите, я вас там видел.

— Идите-ка вы знаете куда? — ощетинилось чадо. — Что я вам — лунатик какой-нибудь по крышам бегать?

— Значит, это были не вы, — примирительно сказал я. — Ну, хорошо. Теперь насчет Хинкуса. Помните, такой маленький, вы его сначала спутали с Олафом...

— Ну, помню, — сказало чадо.

— Когда вы его видели в последний раз?

— В последний?.. В последний раз это было, пожалуй, в коридоре, когда мы с Олафом вышли из столовой.

Я так и подскочил.

— Когда? — спросил я.

Чадо встревожилось.

— А что такого? — спросило оно. — Ничего такого не было... Только это мы выскочили из зала, смотрю — Хинкус сворачивает на лестницу...

Я судорожно соображал. Они выскочили из столовой не раньше девяти часов, в девять они еще танцевали, их помнит дю Барнстокр. Но в восемь сорок три у Хинкуса раздавили часы, и, значит, в девять он уже лежал связанный под столом...

— Вы уверены, что это был Хинкус?

Чадо пожало плечами.

— Мне показалось, что Хинкус... Правда, он сразу свернул налево, на лестничную площадку... но все равно — Хинкус, кому же еще быть? С Кайсой или с Мозесихой его не спутаешь... да и ни с кем другим. Маленький такой, сутулый...

— Стоп! — сказал я. — Он был в шубе?

— Да... в этой своей дурацкой шубе до пят, и на ногах что-то белое... А что такое? — Чадо перешло на шепот. — Это он убил, да? Хинкус?

— Нет-нет, — сказал я. Неужели Хинкус врал? Неужели это все-таки инсценировка? Часы раздавили, переведя стрелки назад... а Хинкус сидел под столом и хихикал, а потом ловко разыграл меня и сейчас хихикает у себя в номере... а его сообщник хихикает где-то в другом месте. Я вскочил.

— Сидите здесь, — приказал я. — Не смейте выходить из номера. Имейте в виду, я с вами еще не закончил.

Я пошел к выходу, потом вернулся и забрал со стола бутылку.

— Это я конфискую. Мне не нужны пьяные свидетели.

— А можно, я пойду к дяде? — спросило чадо дрожащим голосом.

Я поколебался, потом махнул рукой.

— Идите. Может быть, он сумеет убедить вас, что надо говорить правду.

Выскочив в коридор, я свернул к номеру Хинкуса, отпер дверь и ворвался внутрь. Везде горел свет: в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся сломанный стул, и Хинкус сжимал в руке одну из ножек.

— Это вы? — сказал он хрипло и выпрямился.

— Да! — сказал я. Вид его и какое-то безумное выражение налитых кровью глаз снова поколебали мое убеждение, что он врет и притворяется. Нужно быть великим артистом, чтобы так играть свою роль. Но я все-таки сказал свирепо: — Мне надоело слушать вранье, Хинкус! Вы мне соврали! Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок. Но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете мне говорить правду или нет?

На его лице промелькнула растерянность.

— Меня? После девяти?

— Да! Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку.

— Я? — Он вдруг судорожно хихикнул. — Я шел по коридору? — Он снова хихикнул, и еще

раз, и еще, и вдруг весь затрясся от визгливого истерического хохота. — Я?.. Меня?.. Вот то-то и оно, инспектор! Вот то-то и оно! — проговорил он, захлебываясь. — Меня видели в коридоре... и я тоже видел меня... И я схватил меня... и я связал меня... и я замуровал меня в стену! Я — меня... Понимаете, инспектор? Я — меня!

Глава десятая

Спустившись в холл, я мрачно сказал хозяину:

— Там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какое-нибудь успокаивающее посильнее?

— У меня всё есть, — ответил хозяин, нисколько не удивившись.

— Инъекцию сделать сумеете?

— Я всё умею.

— Вот и займитесь, — сказал я, протягивая ему ключ.

Голова у меня гудела. Было без пяти четыре. Я устал, осатанел и, главное, не испытывал никакого охотничьего азарта. Я слишком отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу. Ни малейшего просвета, даже наоборот — чем дальше, тем хуже. Может быть, в отеле кто-то прячется, похожий на Хинкуса? Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник — опасный гангстер, маньяк и садист? Это кое-что объяснило бы... убийство, страх Хинкуса, его истерику... Но зато тогда пришлось бы решить вопрос, как он сюда попал, где и как ему удается прятаться. У нас же здесь все-таки не Лувр и не Зимний дворец — у нас здесь «маленький уютный отель на

двенадцать номеров; гарантируется полная приватность и совершенно домашний уют»... Ладно, займусь-ка я Мозесами.

Старик Мозес не пустил меня к себе в номер. Он вышел на стук в огромном восточном халате, с неизменной кружкой в руке и буквально выпер меня в коридор своим толстым брюхом.

— Вы намерены беседовать здесь? — устало спросил я.

— Да, намерен, — с вызовом ответил он, густо дохнув мне в лицо сложной и непонятной смесью запахов, — именно здесь. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса.

— Тогда лучше пойдемте в контору, — предложил я.

— Н-ну... В контору... — Он отхлебнул из кружки. — В контору — еще куда ни шло. Хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве — меня, Мозеса?

— Нет, — сказал я. — Упаси бог. Но ваши показания могут оказать неоценимую помощь следствию.

— Следствию! — Он презрительно фыркнул и снова отхлебнул из кружки. — Ну ладно, пойдемте... — Пока мы шли, он брюзжал: — Часы не могли найти, обыкновенные украденные часы, а

туда же — убийство, следствие...

В конторе я усадил его в кресло, а сам сел за стол.

— Значит, ваши часы так и не нашлись? — спросил я.

Он негодующе воззрился на меня.

— А вы что, господин полицейский, надеялись, что они сами собой как-нибудь обнаружатся?

— Была у меня такая надежда, — признался я. — Но раз не обнаружились, ничего не поделаешь.

— Мне не нравится наша полиция, — заявил Мозес, пристально глядя на меня. — Мне не нравится этот отель. Какие-то убийства, какие-то обвалы... собаки, воры, шум среди ночи... Кого это вы поселили в моей комнате? Я же ясно сказал: весь коридор мой, за исключением каминной. Мне не нужна каминная. Как вы осмелились нарушить договор? Что это за бродяга расположился у меня в номере третьем?

— Он попал под обвал, — сказал я. — Он искалечен, обморожен. Было бы жестоко тащить его наверх.

— Но я вам заплатил за номер третий! Вы были обязаны спросить у меня разрешения!

Я не мог с ним спорить, у меня сил не было объяснять ему, что он с пьяных глаз перепутал

меня с хозяином. Поэтому я просто сказал:

— Администрация отеля приносит вам свои извинения, господин Мозес, и обязуется завтра же восстановить статус-кво.

— Нищеброды! — прорычал господин Мозес и припал к кружке. — Но он, по крайней мере, приличный человек, этот бродяга из третьего номера? Или он тоже какой-нибудь вор?

— Это совершенно приличный человек, — успокоительно сказал я.

— Почему же в таком случае его сторожит этот ваш омерзительный пес?

— Это чистая случайность, — ответил я, закрывая глаза. — Завтра же все вернется в нормальное состояние, уверяю вас.

— Может быть, и покойник воскреснет? — ядовито осведомился паршивый старик. — Может быть, вы мне и это пообещаете? Я — Мозес, сударь! Альберт Мозес! Я не привык ко всем этим покойникам, собакам, бождомам, обвалам и нищебродам...

Я сидел с закрытыми глазами и ждал.

— Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи, — продолжал Мозес. — Я не привык проигрывать по триста крон за вечер каким-то заезжим фокусникам, выдающим себя за аристо-

кратов... Этот Барл... Бралд... Он же просто шулер! Мозес не садится за стол с шулерами! Мозес — это Мозес, сударь!..

Он еще долго бурчал, скворчал, брюзжал, шумно отхлебывая, рыгал и отдувался, и я на всю жизнь усвоил себе, что Мозес — это Мозес, что это Альберт Мозес, сударь, что он не привык к тому-то, тому-то и проклятому снегу по колено, а привык он к тому-то, тому-то и хвойным ваннам, сударь... Я сидел с закрытыми глазами и, чтобы отвлечься, старался представить себе, как он ложится спать, не выпуская из рук своей кружки, как он, храпя и посвистывая, бережно держит ее на весу и время от времени отхлебывает, не просыпаясь... Потом стало тихо.

— Вот так-то, инспектор, — сказал он нравоучительно и поднялся. — Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал, и пусть это послужит вам уроком на всю жизнь. Это многому научит вас, сударь. Спокойной ночи.

— Одну минуточку, — сказал я. — Два пустяковых вопроса. — Он в негодовании открыл было рот, но я был начеку и не дал ему говорить. — Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес?

— Примерно? — хрюкнул он. — И таким манером вы надеетесь раскрыть преступление?

Примерно!.. Я могу дать вам самые точные сведения. Мозес ничего не делает примерно, иначе он бы не стал Мозесом... Может быть, вы все-таки разрешите мне сесть? — осведомился он ядовито.

— Да, простите, прошу вас.

— Благодарю вас, инспектор, — произнес он еще более ядовито и сел. — Так вот, я с госпожой Мозес, в номер которой вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука, я уже не говорю об ордере или о чем-нибудь подобном, — я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого честного человека пребывать в своем доме как в своей крепости, и в особенности, сударь, когда речь идет о супруге Мозеса, Альберта Мозеса, инспектор!..

— Да-да, это было опрометчиво, — сказал я. — Я приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения.

— Я не могу принять ваши извинения, инспектор, до тех пор, пока не уясню себе с полной отчетливостью, что за человек поселен в номере третьем, принадлежащем мне, на каком основа-

нии он расположился в помещении, граничащем со спальней моей супруги, и почему его сторожит собака.

— Мы еще сами не уяснили себе с полной отчетливостью, кто этот человек, — сказал я, снова закрывая глаза. — Он потерпел аварию на автомобиле, он — калека, без руки, сейчас спит. Как только будет выяснена его личность, мы вам немедленно доложим, господин Мозес. — Я открыл глаза. — А теперь вернемся к тому моменту, когда вы с госпожой Мозес покинули столовую. Когда это было точно?

Он поднес кружку к губам и грозно посмотрел на меня.

— Меня удовлетворили ваши объяснения, — заявил он. — Выражаю надежду, что вы сдержите ваше обещание и доложите немедленно. — Он отхлебнул. — Итак, мы с госпожой Мозес встали из-за стола и покинули зал примерно... — Он прищурился с большой язвительностью и повторил: — Примерно, инспектор, в двадцать один час тридцать три минуты с секундами по местному времени. Это вас удовлетворяет? Отлично. Переходите к вашему второму, и, я надеюсь, последнему вопросу.

— Мы еще не совсем покончили с первым, —

возразил я. — Итак, вы вышли из зала в двадцать один тридцать три. А дальше?

— Что дальше? — злобно спросил Мозес. — Что вы хотите этим сказать, молодой человек? Уж не хотите ли вы узнать, чем я занимался, когда вернулся в свой номер?

— Следствие было бы благодарно вам, сударь, — сказал я с чувством.

— Следствие? Мне нет дела до благодарности вашего следствия! Впрочем, мне нечего скрывать. Вернувшись в свой номер, я немедленно разделся и лег спать. И спал до тех пор, пока не поднялся этот отвратительный шум и возня в принадлежащем мне третьем номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я — Мозес, не позволили мне нагрянуть немедленно и разогнать весь этот сброд с полицией во главе. Но имейте в виду, сдержанность моя имеет пределы, никаким бездельникам я не позволю...

— Да-да, и будете совершенно правы, — поспешно сказал я. — Еще один, последний вопрос, господин Мозес.

— Последний! — сказал он, угрожающе потрясая указательным пальцем.

— Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую?

Наступила жуткая пауза. Мозес, наливаясь синевой, глядел на меня вытаращенными мутными глазами.

— Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Мозеса причастна к убийству? — сдавленным голосом произнес он. Я отчаянно замотал головой, но это не помогло. — И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, быть может, полагаете, что имеете дело не с Мозесом, сударь? Может быть, вы позволили себе вообразить, будто имеете дело с каким-нибудь одноруким бродягой, укравшим у меня драгоценные золотые часы? Или, быть может...

Я закрыл глаза. На протяжении последующих пяти минут я услыхал массу самых чудовищных предположений относительно своих намерений и своих замыслов, направленных против чести, достоинства, имущества, а также физической безопасности Мозеса, сударь, не какого-нибудь мерзкого пса, служащего очевидным рассадником блох, а Мозеса, Альберта Мозеса, сударь, вы способны понять это или нет?.. К концу этой речи я уже не надеялся получить сколько-нибудь вразумительный ответ. Я только с отчаянием думал,

что уж до госпожи Мозес мне теперь не добраться никогда. Но получилось иначе. Мозес вдруг остановился, подождал, пока я открою глаза, и произнес с невыразимым презрением:

— Впрочем, это смешно — приписывать такой обыкновенной личности столь хитроумные замыслы. Смешно и недостойно Мозеса. Конечно, мы имеем здесь дело с элементарной чиновничье-полицейской бестактностью, обусловленной низким уровнем культурного и умственного развития. Я принимаю ваши извинения, сударь, и честь имею откланяться. Мало того. Взвесив все обстоятельства... Я же понимаю, что у вас недостанет благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы — не больше двух вопросов, сударь! — в моем присутствии. Немедленно. Следуйте за мной.

Внутренне ликуя, я последовал за ним. Он постучался в дверь госпожи Мозес и, когда она откликнулась, скрипуче проворковал:

— К вам можно, дорогая? Я не один...

К дорогой было можно. Дорогая в прежней позе возлежала под торшером, теперь уже полностью одетая. Она встретила нас своей чарующей улыбкой. Старый хрыч подсеменил к ней и поцеловал

ей руку — тут я почему-то вспомнил, что он, по словам хозяина, лупит ее плеткой.

— Это инспектор, дорогая, — проскрипел Мозес, валясь в кресло. — Вы помните инспектора?

— Ну как я могла забыть нашего милого господина Глебски? — откликнулась красавица. — Садитесь, инспектор, сделайте одолжение. Чудная ночь, не правда ли? Столько поэзии!.. Луна...

Я сел на стул.

— Инспектор делает нам честь, дорогая, — объявил Мозес, — подозревая нас с вами в убийстве этого Олафа. Вы помните Олафа? Так вот, его убили.

— Да, я уже слыхала об этом, — сказала госпожа Мозес. — Это ужасно. Милый Глебски, неужели вы действительно подозреваете нас в этом кошмарном злодеянии?

Мне все это надоело. Хватит, подумал я. К чертовой матери.

— Сударыня, — сказал я сухо. — Следствием установлено, что вчера примерно в половине девятого вечера вы покидали столовую. Вы, конечно, подтверждаете это?

Старик негодующе заворочался в кресле, но госпожа Мозес опередила его.

— Ну разумеется, подтверждаю, — сказала она.

— С какой стати я буду это отрицать? Мне понадобилось отлучиться, и я отлучилась.

— Насколько я понимаю, — продолжал я, — вы спустились сюда, в ваш номер, а в начале десятого вновь вернулись в столовую. Это так?

— Да, конечно. Правда, я не совсем уверена относительно времени, я не смотрела на часы... Но скорее всего, это было именно так.

— Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, сударыня, видели ли вы кого-нибудь на пути из столовой и обратно в столовую.

— Да... кажется... — сказала госпожа Мозес. Она наморщила лобик, и я весь так и напрягся. — Ну конечно! — воскликнула она. — Когда я уже возвращалась, я увидела в коридоре парочку...

— Где? — быстро спросил я.

— Ну... сразу налево от лестничной площадки. Это был наш бедный Олаф и это забавное существо... я не знаю, юноша или девушка... Кто он, Мозес?

— Минуточку, — сказал я. — Вы уверены, что они стояли слева от лестничной площадки?

— Совершенно уверена. Они стояли, держась за руки, и очень мило ворковали. Я, конечно, сделала вид, будто ничего не заметила...

Вот она, заминочка Брюн, подумал я. Чадо

вспомнило, что их могли видеть перед номером Олафа, и не успело ничего сообразить, а потом принялось врать в надежде, что как-нибудь да пронесет.

— Я — женщина, инспектор, — продолжала госпожа Мозес, — и я никогда не вмешиваюсь в дела окружающих. При других обстоятельствах вы бы не услышали от меня ни слова, но сейчас, мне кажется, я обязана быть вполне откровенной... Не правда ли, Мозес?

Мозес из своего кресла пробурчал что-то неопределенное.

— И еще, — продолжала госпожа Мозес. — Но это уже, наверное, не имеет особенного значения... Когда я спускалась по лестнице, мне повстречался этот маленький несчастный человек...

— Хинкус, — просипел я и откашлялся. У меня что-то застряло в горле.

— Да, Финкус... его, кажется, так зовут... Вы знаете, инспектор, ведь у него туберкулез. А ведь никогда не подумаешь, правда?

— Прошу прощения, — сказал я. — Когда вы встретили его, он поднимался по лестнице из холла?

— Даже полицейскому должно быть ясно, — раздраженно прорычал Мозес. — Моя жена ясно

сказала вам, что она встретила этого Фикуса, когда спускалась по лестнице. Следовательно, он поднимался ей навстречу...

— Не сердитесь, Мозес, — ласково произнесла госпожа Мозес. — Инспектор просто интересуется деталями. Наверное, это ему важно... Да, инспектор, он поднимался мне навстречу и, по-видимому, именно из холла. Он шел не спеша и, кажется, глубоко задумавшись, потому что не обратил на меня никакого внимания. Мы разминулись и пошли каждый своей дорогой.

— Как он был одет?

— Ужасно! Какая-то кошмарная шуба... как это называется... овчина! От него даже, простите, пахло... мокрой шерстью, псиной... Не знаю, как вы, инспектор, но я думаю: если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество.

— Я бы многим здесь посоветовал, — прорычал Мозес поверх кружки, — сидеть дома и не выезжать в места, где бывает приличное общество. Ну что, инспектор, вы наконец закончили?

— Нет, не совсем, — проговорил я медленно. — Еще один вопрос... Вернувшись к себе после окончания бала, вы, сударыня, наверное, легли

спать и крепко заснули?

— Крепко заснула?.. Да как вам сказать... Так, подремала немножко, я чувствовала себя возбужденной — вероятно, выпила немного больше, чем следовало...

— Но, вероятно, вас что-то разбудило? — сказал я. — Ведь когда я позже так неловко ворвался в ваш номер — я приношу вам глубочайшие извинения, — вы не спали...

— Ах, вот вы о чем... Не спала... Да, действительно не спала, но я не могу сказать, инспектор, чтобы меня что-то разбудило. Просто я чувствовала, что сегодня мне как следует не заснуть, и решила почитать немного. И вот, как видите, читаю до сих пор... Впрочем, если вы хотели узнать, слышала ли я ночью какой-нибудь подозрительный шум, то я могу твердо сказать: нет, не слышала.

— Никакого шума? — удивился я.

Она посмотрела на Мозеса с какой-то, как мне показалось, растерянностью. Я не спускал с нее глаз.

— По-моему, никакого, — сказала она неуверенно. — А вы, Мозес?

— Абсолютно никакого, — решительно сказал Мозес. — Если не считать отвратительной возни,

поднятой этими господами вокруг нищеброда...

— И никто из вас не слышал даже шума обвала? Не ощутил сотрясения?

— Какого обвала? — удивилась госпожа Мозес.

— Не волнуйтесь, дорогая, — сказал Мозес. — Ничего страшного. Неподалеку в горах случился обвал, я расскажу вам об этом после... Ну что, инспектор? Теперь уже, может быть, достаточно?

— Да, — сказал я. — Теперь достаточно. — Я встал. — Еще один, самый последний вопрос.

Господин Мозес зарычал — совсем как рассерженный Лель, — но госпожа Мозес благосклонно кивнула.

— Пожалуйста, инспектор.

— Сегодня днем, незадолго до обеда, вы поднимались на крышу, госпожа Мозес...

Она рассмеялась и перебила меня:

— Нет, я не поднималась на крышу. Я поднималась из холла на второй этаж и по рассеянности, в задумчивости, пошла дальше по этой ужасной чердачной лестнице. Я почувствовала себя очень глупо, когда увидела вдруг перед собой дверь, какие-то доски... я даже не сразу поняла, куда я попала...

Мне очень хотелось спросить ее, зачем это она поднималась на второй этаж. Я представления

не имел, что ей могло понадобиться на втором этаже, хотя и можно было предположить, что речь шла об амурах с Симонэ, в которые я случайно вмешался. Но тут я посмотрел на старика, и все это вылетело у меня из головы. Потому что на коленях у Мозеса лежала плетка — мрачный черный арапник с толстой рукояткой и с многочисленными витыми хвостами, в которых поблескивал металл. Я ужаснулся и отвел глаза.

— Благодарю вас, сударыня, — пробормотал я. — Вы оказали большую помощь следствию, сударыня.

Чувствуя себя безнадежно усталым, я дотащился до холла и присел отдохнуть рядом с хозяином. Жуткое видение арапника все еще стояло у меня перед глазами, и, помотав головой, я с трудом отогнал его. Это не мое дело. Это дело семейное, меня это не касается... Глаза у меня резало, как от песка. Наверное, мне следовало бы поспать — хотя бы часа два. Мне предстояло еще допросить незнакомца, и вторично допросить чадо, и вторично допросить Кайсу, для всего этого мне понадобятся силы, и поэтому мне надо поспать. Но я чувствовал, что мне сейчас не заснуть. По отелю бродят двойники Хинкуса. Чадо дю Барнстокра врет. Да и с госпожой Мозес тоже не все

ладно. Либо она спала мертвым сном, и тогда непонятно, почему она проснулась и почему врет, что почти не спала. Либо она не спала, и тогда непонятно, почему она не слышала ни обвала, ни возни в соседней комнате. И совсем непонятно, что все-таки произошло с Симонэ... Слишком много сумасшедших в этом деле, подумал я вяло. Сумасшедших, пьяных и дур... И вообще я, наверное, действую неправильно. Как бы поступил на моем месте Згут? Он немедленно отобрал бы всех, у кого хватит силы свернуть шею двухметровому викингу, и работал бы только с ними. А я вожусь с этим слабосильным чадом, с плюгавым шизофреником Хинкусом, со старым алкоголиком Мозесом... Да и не в этом дело. Ну, найду я убийцу. А дальше? Это же типичный случай убийства в закрытой комнате. Мне сроду не доказать, как убийца туда вошел и как он оттуда вышел... Эх, беда. Кофе, что ли, выпить?

Я посмотрел на хозяина. Хозяин прилежно нажимал клавиши арифмометра и что-то записывал в счетоводную книгу.

— Послушайте, Алек, — сказал я. — Может в вашем отеле укрыться, оставаясь незамеченным, двойник Хинкуса?

Хозяин поднял голову и посмотрел на меня.

— Именно двойник Хинкуса? — деловито спросил он. — Не кто-нибудь еще?

— Да. Именно двойник Хинкуса, Алек. В вашем отеле живет двойник Хинкуса. Он не платит за постой, Алек. Он, должно быть, ворует продукты, подумайте об этом, Алек!

Хозяин подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Ничего такого я не заметил. Я чувствую только одно, Петер. Вы заблуждаетесь. Вы идете по самому естественному пути, и именно поэтому вы заблуждаетесь особенно сильно. Вы исследуете алиби, вы собираете улики, вы ищете мотивы. А мне кажется, что в этом деле обычные понятия вашего искусства теряют свой смысл, как понятие времени при сверхсветовых скоростях...

— Это и есть ваше ощущение? — горько спросил я.

— Что вы имеете в виду?

— Да всю эту вашу философию насчет алиби при сверхсветовых скоростях. У меня голова пухнет, а вы черт знает что городите. Принесите уж лучше кофе.

Хозяин встал.

— Вы все-таки еще не созрели, Петер, — сказал он. — А я жду, когда вы наконец созреете.

— Зачем это вам надо? Я уже перезрел, я скоро упаду.

— Не упадете! — успокоил меня хозяин. — И вы еще далеко не созрели. А вот когда вы созреете, когда я увижу, что вы готовы, тогда я вам кое-что расскажу.

— Расскажите сейчас, — вяло попросил я.

— Сейчас рассказывать бессмысленно. Вы отмахнетесь и забудете. А я хочу дождаться момента, когда мои слова покажутся вам единственным ключом к пониманию всего этого дела.

— Господи, — пробормотал я. — Могу себе представить, что это за слова!

Хозяин снисходительно улыбнулся и направился к кухне. На пороге он остановился и предложил:

— А хотите, я сейчас расскажу вам, что именно почудилось нашему великому физику?

— Ну, попробуйте, — сказал я.

— Наш великий физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петер, холодную куклу.

Глава одиннадцатая

Он стоял на пороге и, ухмыляясь, глядел на меня.

— Ну-ка, подите сюда, — сказал я. — Рассказывайте.

— А кофе?

— Черт с ним, с кофе! Я же вижу, что вы что-то знаете. Не морочьте мне голову, выкладывайте все как есть.

Он вернулся к столику, но садиться не стал.

— Я не знаю, как все есть, — сказал он. — Я могу только кое-что предполагать.

— Откуда вы знаете, что обнаружил Симонэ?

— Ага, значит, я угадал... — Он сел и удобно развалился. — Впрочем, это и так было ясно по вашему обалделому виду, Петер. Согласитесь, это вышло у меня довольно эффектно...

— Слушайте, Алек, — сказал я. — Я не стану скрывать: вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже, — сказал он.

— Заткнитесь. Вы мне нравитесь. Но это еще ничего не значит. Я не подозреваю вас, Алек. У меня, к сожалению, нет никаких оснований вас подозревать. Но в этом отношении вы ни-

чем не отличаетесь от остальных... Я никого не подозреваю. А мне надо, мне уже пора кого-то подозревать.

— Не давайте себе воли! — сказал хозяин, подняв толстый палец.

— Я вам сказал: заткнитесь. Так вот, если вы будете морочить мне голову, то я начну вас подозревать. У вас будут неприятности, Алек. Я очень неопытен в такого рода делах, и потому у вас могут быть очень большие неприятности. Вы представить себе не можете, сколько неприятностей может причинить доброму гражданину неопытный полицейский.

— Ну, раз так, — сказал он, — тогда конечно. Значит, откуда я знаю, что увидел господин Симонэ в спальне госпожи Мозес...

— Да, — сказал я. — Откуда?

Он сидел в своем кресле, широкий, кряжистый, жовиальный, невыносимо довольный собой.

— Значит, так. Начнем с теории. Колдуны и знахари некоторых малоисследованных племен Центральной Африки издревле владеют искусством возвращать видимость жизни своим умершим соплеменникам...

Я застонал, и хозяин повысил голос:

— Такое явление реального мира — мертвый

человек, имеющий внешность живого и совершающий, на первый взгляд, вполне осмысленные и самостоятельные действия, — носит название зомби. Строго говоря, зомби не есть мертвец. Можно сказать, что зомби — это третье состояние живого организма. А если использовать терминологию современной науки, то зомби функционально представляет собой очень точный биологический механизм, выполняющий...

— Слушайте, Алек, — утомленно сказал я. — Я смотрю телевизор и время от времени хожу в кино. Все эти чудовища Франкенштейна, Серые Девы, Джоны Кровавые Пузыри, Дракулы...

— Все это порождения невежественного воображения, — с достоинством возразил хозяин. — А Дракула — это вообще...

— Мне все это неинтересно. Я понимаю: вы репетируете свою речь перед газетчиками. Но мне-то все это неинтересно! Вы обещали рассказать что-то насчет госпожи Мозес и Симонэ. Вот и рассказывайте! Вы что, тоже залезали к ней в постель? И тоже претерпели, мягко выражаясь, разочарование?

Некоторое время он грустно смотрел на меня.

— Да, — сказал он наконец с сожалением. — Так я и думал. Вы еще не созрели... Ну, хорошо.

— Он вздохнул. — Пусть будут факты без теории. Шесть дней тому назад, когда мой отель осчастливили посещением господин и госпожа Мозес, со мною имело место следующее происшествие. Произведя все необходимые отметки в паспортах указанных господ, я отправился в номер господина Мозеса с целью вернуть ему эти паспорта. Я постучался. Я был несколько рассеян и потому, не дожидаясь разрешения, отворил дверь. Я был немедленно наказан за нарушение элементарных норм приличия. Я увидел в кресле посередине комнаты то, что при желании можно было бы назвать госпожой Мозес. Но это не была госпожа Мозес. Это была большая, в натуральную величину, красивая кукла, очень похожая на госпожу Мозес и одетая в точности как она. Сейчас вы спросите меня, почему я уверен, что это была кукла, а не госпожа Мозес. В ответ я мог бы перечислить вам некие конкретности: неестественность позы, остекленелый взгляд, абсолютная неподвижность черт и так далее. Но в этом, по-моему, нет никакой необходимости. Всякий нормальный человек, как мне кажется, способен в течение нескольких секунд сообразить, что перед ним: манекенщица или манекен. Эти несколько секунд у меня были. А затем я был

грубо схвачен за плечо и выдворен в коридор. Это грубое, но вполне оправданное действие произвел надо мною господин Мозес, который в это время, по-видимому, осматривал апартаменты своей супруги и набросился на меня сзади...

— Кукла... — сказал я задумчиво.

— Зомби, — мягко поправил меня хозяин.

— Кукла... — повторил я, не обращая на него внимания. — Какой у него багаж?

— Несколько обычных чемоданов, — сказал хозяин. — И гигантский, окованный железом, старинный дорожный сундук. Он привез с собой четверых носильщиков, и бедняги измучились, затаскивая сундук в дом. Разворотили мне весь косяк...

— Ну что ж, — сказал я, подумав. — В конце концов, это его личное дело. Я слыхал о миллионере, который повсюду таскал за собой свою коллекцию ночных горшков... Если человеку нравится иметь манекен своей супруги в натуральную величину... что ж, денег у него много, делать ему явно нечего... Между прочим, вполне возможно, что он заметил поползновения нашего Симонэ, понял все и подсунул ему вместо жены эту самую куклу... Черт побери, может быть, он возит с собой эту куклу именно для таких вот случаев! Судя

по поведению госпожи Мозес... — Я представил себя на месте Симонэ и содрогнулся. — Ей-богу, славная шутка, — сказал я.

— Ну вот вы все и объяснили, — сказал хозяин негромко.

Тон его мне не понравился. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он все еще был мне симпатичен. Но черт его побери, зачем ему это нужно — забивать мне мозги всей этой африканской чепухой? Я же все-таки не репортер, и рекламе этого заведения в ущерб собственной репутации я способствовать не намерен... Нет, хватит с меня. Больше я с господином Алеком Сневаром на эти темы не разговариваю. Если у него и есть цель сбить меня с толку, это ему не удастся. Он только ухудшит свое собственное положение. Ему не следовало бы обращать на себя слишком много моего внимания...

— Вот что, — сказал я. — Вы мне мешаете, Алек. Сидите здесь, а я, пожалуй, пойду в каминную. Я должен хорошенько подумать.

— Уже без четверти пять, — напомнил хозяин.

— Ну и что? Спать сегодня все равно не придется. Имейте в виду, Алек, у меня вовсе нет впечатления, будто события закончились. Поэтому оставайтесь здесь в холле и будьте наготове.

— Ну что ж, надо — значит надо, — сказал хозяин.

Я прошел в каминную (Лель опять поворчал на меня), взял кочергу и принялся мешать тлеющие угли. Итак, происшествие с Симонэ более или менее объяснилось, и его можно выкинуть из головы. Или наоборот, нельзя выкидывать ни в коем случае, потому что если в одиннадцать часов вечера в номере госпожи Мозес была кукла, то где была сама госпожа Мозес? Шутка, конечно, на славу... но есть в ней что-то чрезмерно громоздкое... Шутка ли? Может быть, попытка устроить алиби?.. Да нет, какое, к черту, алиби — ночь, темно, установить это алиби можно только на ощупь, а на ощупь получается не алиби, а шутка. Возможно, расчет был на то, что у бедняги Симонэ сдадут нервы, что он в ужасе заорет, поднимет всех на ноги, начнется скандал, тарарам, переполох... а что дальше? И главное, при чем здесь кукла? Все это можно было устроить без всякой куклы... Собственно, что меня здесь смущает? Только одно: комната Симонэ находится рядом с комнатой Олафа. Можно предположить, например, следующее: Мозесам нужно было, чтобы комната Симонэ, начиная с одиннадцати часов и в течение некоторого времени, была

пуста. Вот что меня смущает. Но чтобы отвлечь господина Симонэ, совсем не нужна кукла. Конечно, рассуждая гипотетически, кукла могла бы повергнуть Симонэ в глубокий и долгий обморок, но чтобы отвлечь Симонэ, достаточно было самой госпожи Мозес. Это был бы самый естественный и надежный способ отвлечь. И раз прибегают к такому неестественному и ненадежному способу, как кукла, значит, надо было, чтобы госпожа Мозес находилась где-то в другом месте. Госпожа Мозес... хрупкая, изнеженная, до кретинизма светская госпожа Мозес... Нет, все это никуда меня не ведет. Окончательно выбрасывать из головы славную шутку не стоит, но и пользы от этой истории пока не видно...

То есть на редкость мерзкая ситуация: все нити никуда не ведут. Во-первых, нет ни одного подозреваемого. Во-вторых, абсолютно непонятно, как произошло преступление. Непонятно самое главное. Бог с ним, с убийцей! Объясните мне, как он убил! Как? Окно открыто, но никаких следов на подоконнике, никаких следов на снегу, на карнизе. Ни снизу, ни справа, ни слева к окну подобраться нельзя. Остается одно — сверху. С крыши по веревке. Но тогда были бы следы на краю крыши. Можно, конечно, сходить и посмот-

реть снова, но я точно помню: снег разрыт только рядом с шезлонгом Хинкуса. Теперь уже ничего больше не остается, кроме Карлсона с пропеллером в заднице. Влетел, свернул соотечественнику шею и вылетел... Так что в запасе у меня только два паршивеньких предположеньица. Первое — это всякие потайные люки, замаскированные дверцы и двойные стены. А второе — какой-то гений изобрел новое техническое приспособление, позволяющее поворачивать ключ снаружи, не оставляя на нем никаких следов...

Оба предположения указывают, между прочим, прямо на владельца дома и механика-изобретателя. Так. Ну-с, а как выглядит у нас алиби этого человека? До половины десятого он безвылазно сидит за карточным столом. Начиная примерно с без пяти десять и до момента обнаружения трупа он фактически либо у меня на глазах, либо где-то в пределах слышимости. У него остается на убийство примерно двадцать — двадцать пять минут, когда его не видит никто либо видит только Кайса, которой он, по его словам, задает трепку. Таким образом, теоретически он может быть убийцей, если знает потайной ход или владеет средством поворачивать ключ снаружи, не оставляя следов... Непонятны мотивы (не для рекламы

же!), психологически совершенно неоправданно всё его поведение, но, повторяю, теоретически он мог убить. Запомним это и пойдем дальше.

Дю Барнстокр. Алиби не имеет. Но он хилый старик, у него просто не хватит сил свернуть человеку шею... Симонэ. Алиби не имеет. Шею свернуть мог бы — парень крепкий, к тому же слегка не в себе. Непонятно, как попал в комнату к Олафу. А если попал, то непонятно, как оттуда ушел. Теоретически, конечно, мог случайно обнаружить пресловутую потайную дверь. Непонятны мотивы, непонятно все поведение после убийства. Ничего не понятно. Хинкус... Двойник Хинкуса... Хорошо бы выпить еще кофе. Хорошо бы плюнуть на все и завалиться спать...

Брюн. Да, это единственная ниточка, которая пока не оборвалась. Этот ребенок мне солгал. Ребенок видел госпожу Мозес, но сказал, что не видел. Ребенок любезничал с Олафом у дверей его номера, но сказал, что дал ему пощечину у дверей столовой... И тут я вдруг вспомнил. Я сидел вот здесь, в этом кресле. Пол дрогнул, послышался гул обвала. Я посмотрел на часы, было две минуты одиннадцатого, и тут наверху громко хлопнула дверь. Именно наверху. Кто-то с силой захлопнул дверь. Кто? Симонэ в это время брился. Дю Барн-

стокр спал и, возможно, проснулся именно от этого стука. Хинкус лежал связанный под столом. Хозяин и Кайса были в кухне. Мозесы были у себя. Значит, дверью могли хлопнуть либо Олаф, либо Брюн, либо убийца. Например, двойник Хинкуса... Я бросил кочергу и побежал наверх.

Номер чада был пуст, и я постучался к дю Барнстокру. Чадо, подперев кулаками щеки, уныло сидело за столом. Дю Барнстокр, закутавшись в шотландский плед, клевал носом в кресле у окна. Оба они так и вскинулись, когда я вошел.

— Снимите очки! — резко приказал я чаду, и чадо немедленно повиновалось.

Да, это была девушка. И прехорошенькая, хотя глаза у нее опухли и покраснели от слез. Подавив вздох облегчения, я сел напротив и сказал:

— Вот что, Брюн. Перестаньте запираться. Лично вам ничего не грозит. Я не считаю вас убийцей, так что можете не врать. В девять часов десять минут госпожа Мозес видела вас с Олафом здесь... в коридоре, у дверей его номера. Вы сказали мне неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах?

Некоторое время она смотрела на меня, губы ее дрожали, покрасневшие глаза снова на-

полнились слезами. Потом она закрыла лицо ладонями.

— Мы были у него в номере, — сказала она.

Дю Барнстокр жалобно застонал.

— Нечего стонать, дядя! — сказала Брюн, немедленно рассвирепев. — Ничего непоправимого не произошло. Мы целовались, и было довольно весело, только холодно, потому что у него все время было открыто окно. Я не помню, сколько времени все это продолжалось. Помню, он вытащил из кармана что-то вроде ожерелья, какие-то бусы, и все хотел надеть мне на шею, но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте — лавина!» И он вдруг отпустил меня и схватился за голову, как будто что-то вспомнил... Знаете, как люди хватаются за голову, когда что-то вспоминают, что-то важное... Это длилось буквально несколько секунд. Он бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выкинул в коридор. Я чуть не грохнулась, а он сразу же с силой захлопнул за мной дверь. При этом он ничего не говорил, только выругался шепотом, и еще я помню, как он повернул ключ в замке. Больше я его не видела. Я дико разозлилась, потому что он поступил по-хамски, да еще обругал меня, и поэтому я сразу пошла к себе и напилась...

Дю Барнстокр снова застонал.

— Так, — сказал я. — Он схватился за голову, словно что-то вспомнил, и кинулся к окну... Может быть, его кто-нибудь позвал?

Брюн затрясла головой.

— Нет. Я ничего не слышала, только шум обвала.

— И ушли вы сразу же? Не задерживались у дверей ни на секунду?

— Сразу же. Я дико разозлилась.

— Хорошо. А как развивались действия после того, как вы с ним вышли из столовой? Повторите снова.

— Он сказал, что хочет мне что-то показать, — заговорила она, нагнув голову. — Мы вышли в коридор, и он потянул меня к себе в номер. Я, конечно, сопротивлялась... ну, в общем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей...

— Стоп. В прошлый раз вы сказали, что видели Хинкуса.

— Да, видели. Сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу.

— Так. Продолжайте.

— Когда мы уже стояли у дверей Олафа, появи-

лась эта Мозесиха. Она, конечно, сделала вид, что нас не заметила, но мне стало неловко... Противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Н-ну... и мы зашли в номер к Олафу.

— Понятно. — Я покосился на Барнстокра. Старик сидел, возведя очи горе. Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают. — Ну, ладно. Вы что-нибудь пили у Олафа?

— Я?

— Меня интересует, что пил Олаф.

— Ничего. Мы не пили — ни он, ни я.

— Теперь так... гм... Вы не заметили... м-м... Вы не заметили какого-нибудь странного запаха?

— Нет. Там был очень чистый, свежий воздух.

— Я не о комнате. Черт возьми, когда вы целовались, вы не заметили чего-нибудь странного? Странного запаха, я имею в виду...

— Ничего я такого не заметила, — сказала Брюн сердито.

Некоторое время я пытался поделикатнее сформулировать следующий вопрос, потом отчаялся и спросил напрямик:

— Есть предположение, что Олафа перед убийством отравили медленно действующим ядом.

Вы не заметили ничего такого, что подтверждало бы это предположение?

— А что такого я могла заметить?

— Обычно заметно, когда человек плохо себя чувствует, — пояснил я. — Особенно это заметно, если на ваших глазах он чувствует себя все хуже и хуже.

— Ничего такого не было, — решительно сказала Брюн. — Он чувствовал себя прекрасно.

— Свет вы не зажигали?

— Нет.

— А из того, что он говорил, вы не помните ничего странного?

— Я вообще ничего не помню, что он там говорил, — ответила Брюн тихо. — Это был обычный треп. Шуточки, остроты, хохмы... Про мотоциклы мы с ним говорили, про лыжи. По-моему, он был хороший механик. Во всех двигателях разбирался...

— И он не показал вам ничего интересного? Он ведь собирался вам что-то показать...

— Да нет, конечно. Вы что — не понимаете? Это было просто так сказано... ну, для трепа...

— Когда случился обвал, вы сидели или стояли?

— Стояли.

— Где?

— У самых дверей. Мне уже надоело, и я собиралась уходить. И тут он стал напяливать на меня это ожерелье...

— А вы уверены, что он кинулся от вас именно к окну?

— Н-ну, как вам сказать... Он схватился за голову, повернулся ко мне спиной, сделал шаг или два к окну... в сторону окна... ну, я не знаю, как вам еще сказать, может быть не к окну, конечно, но я просто ничего в комнате больше не видела, кроме окна...

— Вам не кажется, что, кроме вас, в комнате мог быть кто-нибудь еще? Может быть, вы сейчас вспомните какие-нибудь шорохи, странные звуки, на которые тогда не обратили внимания...

Она задумалась.

— Да нет, было тихо... Какой-то небольшой шум слышался, но за стеной. Олаф еще сострил, что это Симонэ у себя в номере бродит по стенам... А больше ничего не было.

— А шум действительно доносился от Симонэ?

— Да, — уверенно сказала Брюн. — Мы тогда уже стояли, и шум шел слева. Ну, самый обычный шум. Шаги, вода из крана...

— Олаф при вас передвигал какую-нибудь ме-

бель?

— Мебель?.. А, да, было. Это он заявил, что не выпустит меня, и придвинул к двери кресло... Ну, потом, конечно, отодвинул.

Я встал.

— На сегодня — всё, — сказал я. — Ложитесь спать. Больше я вас сегодня не буду беспокоить.

Дю Барнстокр тоже поднялся и двинулся ко мне с протянутыми руками.

— Дорогой инспектор! Вы, конечно, понимаете, что я и понятия не имел...

— Да, дю Барнстокр, — сказал я. — Дети растут, дю Барнстокр. Все дети. В том числе и дети покойников. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, дю Барнстокр. Глаза — это зеркало души.

Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл.

— Вы реабилитированы, Алек, — объявил я хозяину.

— А разве я был осужден? — удивился он, поднимая глаза от арифмометра.

— Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Но не воображайте, что это дает вам право опять

забивать мне голову зомбизмом-момбизмом... Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим однoруким парнем первым должен говорить я.

— А если он проснется раньше вас?

— Я не собираюсь спать, — сказал я. — Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной.

— Слушаюсь, — сказал хозяин. — Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним?

Я подумал.

— Да, пожалуй. В девять часов завтрак. А там видно будет... Кстати, Алек, когда, по-вашему, можно ожидать здесь кого-нибудь из Мюра?

— Трудно сказать. Раскапывать завал они, может быть, начнут даже завтра. Я помню примеры такой оперативности... Но в то же время они прекрасно знают, что нам здесь ничего не грозит... Возможно, дня через два прилетит на вертолете Цвирик, наш горный инспектор... если у него в других местах все благополучно. Вся беда в том, что им сначала нужно узнать откуда-то про сам факт обвала... Короче говоря, на завтрашний день я бы не рассчитывал...

— То есть на сегодняшний?

— Да, на сегодняшний... Но завтра кто-нибудь может прилететь.

— Передатчика у вас нет?

— Ну, откуда? И главное, зачем? Это мне не выгодно, Петер.

— Понимаю, — сказал я. — Значит, завтра...

— За завтра я тоже не ручаюсь, — возразил хозяин.

— Одним словом, в ближайшие два-три дня... Хорошо. Теперь вот что, Алек. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались?

— Гм... — сказал хозяин с сомнением. — Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек?

— Где бы вы спрятались? — повторил я.

Хозяин покачал головой.

— Обманывают вас, — сказал он. — Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. Двенадцать номеров, из них только два пустуют, но Кайса убирает их каждый день, она бы заметила. Человек всегда оставляет после себя всякий мусор, а у нее бзик — чистота... Подвал — он у меня закрыт снаружи на висячий замок... Чердака нет, в пространство между крышей и потолком

едва руку просунешь... Служебные помещения тоже все закрываются снаружи, и, кроме того, мы там целый день крутимся, то я, то Кайса. Вот, собственно, и все.

— А верхняя душевая? — спросил я.

— Правильно. Верхняя душевая имеет место, и туда мы давно не заглядывали. И еще, может быть, стоит заглянуть в генераторную — туда я тоже нечасто наведываюсь. Посмотрите, Петер, поищите...

— Давайте ключи, — сказал я.

Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную, влез даже в подземный склад солярки — я нигде ничего не обнаружил. Естественно, я и не ожидал ничего обнаружить, это было бы слишком просто, но проклятая чиновничья добросовестность не позволила мне оставлять в тылу белые пятна. Двадцать лет беспорочной службы — это двадцать лет беспорочной службы: в глазах начальства, да и в глазах подчиненных тоже всегда лучше выглядеть добросовестным болваном, чем блестящим, но хватающим верхки талантом. И я шарил, ползал, пачкался, дышал пылью и дрянью, жалел себя и ругал дурацкую судьбу.

Когда я, злой и грязный, выбрался из подземного склада, уже рассветало. Луна побледнела и склонилась к западу. Серые громады скал подернулись сиреневой дымкой. И какой же свежий, сладкий, морозный воздух наполнял долину! Пропади оно все пропадом!..

Я уже подходил к дому, когда дверь распахнулась и на крыльцо вышел хозяин.

— Ага, — произнес он, увидев меня. — А я как раз за вами. Этот бедняга проснулся и зовет маму.

— Иду, — сказал я, отряхивая пиджак.

— Собственно, он зовет не маму, — сказал хозяин, — он зовет Олафа Андварафорса.

Глава двенадцатая

Увидев меня, незнакомец живо наклонился вперед и спросил:

— Вы — Олаф Андварафорс?

Такого вопроса я не ожидал. Совсем не ожидал. Я поискал глазами стул, придвинул стул к кровати, неторопливо уселся и только тогда посмотрел на незнакомца. Был большой соблазн ответить утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик и не сыщик. Я честный полицейский чиновник. Поэтому я ответил:

— Нет. Я не Олаф Андварафорс. Я инспектор полиции, и зовут меня Петер Глебски.

— Да? — сказал он удивленно, но без всякого беспокойства. — Но где же Олаф Андварафорс?

По-видимому, он вполне оправился после вчерашнего. Тощее лицо его порозовело, кончик длинного носа, такой белый вчера, теперь был красен. Он сидел на кровати, закрывшись до пояса одеялом, ночная рубашка Алека была ему явно велика, ворот висел хомутом и обнажал острые ключицы и бледную безволосую кожу на груди. И на лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие бе-

лесые ресницы. Он сидел, наклонившись вперед, и рассеянно наматывал на левую руку пустой рукав правой.

— Прошу прощения, — сказал я, — но предварительно я должен задать вам несколько вопросов.

На эти мои слова незнакомец не ответил ничего. Лицо его приняло странное выражение — до того странное, что я не сразу понял, в чем дело. А дело было в том, что одним глазом он уставился на меня, а другой глаз закатил под лоб, так что его почти не стало видно. Некоторое время мы молчали.

— Так вот, — сказал я. — Прежде всего хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик, — сказал он быстро.

— Луарвик... А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

Он снова помолчал. Я боролся с неловкостью, какую всегда испытываешь, разговаривая с сильно косоглазыми людьми.

— Приблизительно да, — сказал он наконец.

— В каком смысле — приблизительно?

— Луарвик Луарвик.

— Хорошо. Допустим. Кто вы такой?

— Луарвик, — сказал он. — Я — Луарвик. — Он

помолчал. — Луарвик Луарвик. Луарвик Л. Луарвик.

Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным, и это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач.

— Я хотел узнать, чем вы занимаетесь.

— Я механик, — сказал он. — Механик-водитель.

— Водитель чего? — спросил я.

Тут он уставился на меня обоими глазами. Он явно не понимал вопроса.

— Хорошо, оставим это, — поспешно сказал я. — Вы иностранец?

— Очень, — сказал он. — В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

Что он — издевается надо мной? — подумал я. Непохоже. Скорее, у него вид человека, припертого к стене.

— Зачем вы сюда приехали? — спросил я.

— Здесь есть Олаф Андварафорс. Он вам все расскажет. Я не могу.

— Вы ехали к Олафу Андварафорсу?

— Да.

— Попали под обвал?

— Да.

— Ехали на автомобиле?

Он подумал.

— Машина, — сказал он.

— Зачем вам нужен Андварафорс?

— Я имею с ним дело.

— Какое именно?

— Я имею с ним дело, — повторил он. — С ним. Он расскажет.

Дверь за моей спиной скрипнула. Я обернулся. На пороге, держа кружку на отлете, стоял Мозес.

— Сюда нельзя, — сказал я резко.

Мозес из-под нависших бровей разглядывал незнакомца. На меня он не обратил никакого внимания. Я вскочил и пошел на него грудью.

— Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес!

— Не орите на меня, — неожиданно миролюбиво предложил Мозес. — Могу же я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении.

— Не сейчас, позже... — Я стал постепенно, но настойчиво закрывать дверь.

— Извольте, извольте... — бурчал Мозес, вытесняемый в коридор. — Я, конечно, мог бы протестовать...

Я закрыл дверь и снова повернулся к Луарвику Л. Луарвику.

— Это был Олаф Андварафорс? — спросил Луарвик.

— Нет, — сказал я. — Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.

— Убит, — повторил Луарвик. В голосе его не было никаких эмоций. Ни удивления, ни страха, ни горя. Как будто я сообщил ему, что Олаф на минутку вышел и сейчас вернется. — Мертвый? Олаф Андварафорс?

— Да.

— Нет, — сказал Луарвик. — Вы неточно знаете.

— Я знаю совершенно точно. Я видел его мертвым. Сам.

— Я хочу посмотреть.

— Зачем это вам? Я понял так, что вы не знаете его в лицо.

— Я имею с ним дело, — сказал Луарвик.

— Но я же говорю вам: он убит. Умер. Его убили.

— Хорошо. Я хочу посмотреть.

Меня вдруг осенило — я вспомнил про чемодан.

— Он должен был вам что-нибудь передать?

— Нет, — ответил он равнодушно. — Мы должны говорить. Я — с ним.

— О чем?

— Я — с ним. С ним.

— Слушайте, господин Луарвик, — сказал я. — Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу. Понимаете? Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Прошу вас быть откровенным. Рано или поздно вам обязательно придется рассказать все. Лучше рано, чем поздно.

Он вдруг заполз под одеяло до самого носа. Глаза у него снова глядели в разные стороны.

— Я ничего не могу сказать вам, — невнятно проговорил он сквозь одеяло.

— Почему?

— Я могу сказать только Олафу Андварафорсу.

— Откуда вы ехали? — спросил я.

Он молчал.

— Где вы живете?

Молчание. Тихое посапывание. Один глаз смотрит на меня, другой — в потолок.

— Вы выполняете чье-нибудь поручение?

— Да.

— Чье именно?

— Зачем вы хотите это знать? — спросил он. — Я имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами.

— Прошу вас понять, — сказал я проникновен-

но. — Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто его убийца. Ну, хорошо. Вы, по-видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать.

— Они не знают Олафа тоже, — сказал он.

— То есть как?

— Они не знают Олафа. Зачем?

Я потер обросшие щетиной щеки.

— У вас концы с концами не сходятся, — сказал я угрюмо. — Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть?

— Это может быть. Это так.

— Кто эти люди?

Молчание.

— Где они находятся?

Молчание.

— Господин Луарвик, у вас могут быть большие неприятности.

— Зачем? — спросил он.

— При расследовании убийства каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания, — сказал я строго. — Отказ может быть рассмотрен как соучастие.

Луарвик Л. Луарвик не реагировал.

— Не исключено, что придется вас арестовать, — добавил я. Это была явно незаконная угроза, и я поспешил поправиться: — Во всяком случае, ваше упорное запирательство очень повредит вам во время суда.

— Я хочу одеть одежду, — вдруг сказал Луарвик. — Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.

— С какой целью? — спросил я.

— Я хочу его видеть.

— Но вы же не знаете его в лицо.

— Я не хочу его лицо, — сказал Луарвик.

— А что же вам нужно?

Луарвик вылез из-под одеяла и снова сел.

— Я хочу видеть Олафа Андварафорса! — сказал он очень громко. Правый глаз его дергался и вращался. — Зачем вопросы? Зачем опять вопросы? Очень много вопросов. Почему я не вижу Олафа Андварафорса?

Я тоже потерял терпение.

— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?

— Опознать... Узнать?

— Да! Узнать!

— Хочу. Хочу видеть.

— Как вы можете его узнать, — сказал я, — если

вы не знаете его в лицо?

— Какое лицо? — заорал Луарвик. — Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс, что это есть другой!

— Почему вы думаете, что это — другой? — быстро спросил я.

— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил он.

Мы уставились друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф Андварафорс, которого ищет Луарвик Л. Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андварафорс, и это мог быть вообще не Олаф Андварафорс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. В лицо... А действительно, почему обязательно — в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде, или по какому-нибудь там перстню... или, скажем, по татуировке...

В дверь постучали, и голос Кайсы пропищал: «Одеваться, пожалуйста...» Я открыл дверь и принял у Кайсы высушенный и выглаженный костюм незнакомца.

— Одевайтесь, — сказал я, положив костюм на

постель.

Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу Погибшего Альпиниста, уже озаренную розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую синеву неба. За спиной у меня раздавалось шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом: по-видимому, это нелегкое дело — одеваться при помощи одной руки и при таком косоглазии вдобавок. Дважды меня так и подмывало повернуться и предложить помощь, но я сдерживался. Потом Луарвик сказал: «Я одел».

Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился, но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночью, и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы хозяина. Пока я все это делал, он покорно стоял, отставив единственную руку. Пустой правый рукав я засунул ему в карман. Он посмотрел на шлепанцы и сказал с сомнением:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши туфли еще не высохли, — сказал я. — Обувайте это, и пошли.

Можно было подумать, что он никогда в жизни не имел дело со шлепанцами. Дважды он с

размаху попытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он далеко еще не пришел в себя. Я его хорошо понимал: со мной тоже бывало такое...

Наверное, все это время какая-то машинка неслышно крутилась у меня в подсознании, потому что меня вдруг осенила на мгновение дивная мысль: что если Олаф — не Олаф, а Хинкус... А Хинкус — не Хинкус, а Олаф, и послал он телеграмму, чтобы вызвать вот этого странного человечка. Но от перестановки имен ничего в конечном итоге не прояснилось, и я выбросил эту мысль из головы.

Рука об руку мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин, по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимания не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. Я на всякий случай придерживал его за локоть.

Перед дверью номера Олафа мы остановились. Я внимательно осмотрел свои наклейки — все было в порядке. Тогда я достал ключ и распахнул дверь. Резкий неприятный запах ударил мне в

нос — очень странный запах, похожий на запах дезинфекции. Я задержался на пороге, мне стало не по себе. Впрочем, в комнате все осталось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне, возможно, из-за освещения, и пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Луарвик довольно чувствительно толкнул меня между лопаток. Я шагнул в прихожую и посторонился, пропуская его посмотреть.

Можно было подумать, что он не механик-водитель, а служитель морга. С совершенно равнодушным видом он остановился над трупом и низко наклонился, закинув единственную руку за спину. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения — деловитый осмотр. И тем более странными показались мне его слова.

— Я удивлен, — произнес он совершенно бесцветным голосом. — Это есть Олаф Андварафорс на самом деле. Я не понимаю.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил я.

Он, не выпрямляясь, повернул голову и посмотрел на меня одним глазом. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на меня снизу вверх и молчал. Это продолжалось так долго, что у меня заныла шея. Как это он может оставаться в такой

нелепой позе? В поясницу ему вступило, что ли?.. Наконец он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше. Тогда не знал, что Олаф Андварафорс.

— А где вы его видели раньше? — спросил я.

— Там. — Он, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно. — Это не есть главное.

Вдруг он разогнулся и заковылял по комнате, смешно вертя головой. Я весь подобрался, не спуская с него глаз. Он явно искал что-то, и я уже догадывался — что именно.

— Олаф Андварафорс умер не здесь? — спросил он, останавливаясь передо мною.

— Почему вы так думаете? — спросил я.

— Я не думаю. Я сделал вопрос.

— Вы что-нибудь ищете?

— Олаф Андварафорс имел предмет, — сказал он. — Где?

— Вы ищете чемодан? — спросил я. — Вы за ним приехали?

— Где он? — повторил Луарвик.

— Чемодан у меня, — сказал я.

— Это хорошо, — похвалил он. — Я хочу иметь его здесь. Принесите.

Я пропустил мимо ушей его тон и сказал:

— Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы

должны ответить на мои вопросы.

— Зачем? — с огромным изумлением спросил он. — Зачем снова вопросы?

— А затем, — терпеливо ответил я, — что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю, — сказал он.

— Я не знаю, — сказал я, — ваш это чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

Глаза у него разъехались и снова съехались к переносице.

— Не надо, — сказал он. — Не хочу. Устал. Пойдем.

Несколько озадаченный, я вышел вслед за ним из номера. Воздух в коридоре показался на удивление свежим и чистым. Откуда в номере эта аптечная вонь? Может быть, там и раньше было что-то разлито, только при открытом окне не чувствовалось? Я запер дверь. Пока я ходил к себе за клеем и бумагой и занимался опечатыванием, Луарвик оставался на месте, погруженный, казалось, в глубокую задумчивость.

— Ну что? — спросил я. — Вы будете отвечать на вопросы?

— Нет, — решительно ответил он. — Не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать?

— Ступайте в свою комнату, — вяло сказал я. Мною овладела апатия. Вдруг зверски разболелась голова. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть глаза. Все это нелепое, ни на что не похожее, уродливо-бессмысленное дело словно бы воплотилось в нелепом, ни на кого не похожем, уродливо-бессмысленном Луарвике Л. Луарвике.

Мы спустились в холл, и он проковылял к себе в комнату, а я сел в кресло, вытянулся и наконец закрыл глаза. Где-то шумело море, играла громкая неразборчивая музыка, приплывали и уплывали какие-то туманные пятна. Во рту было такое ощущение, как будто я много часов подряд жевал сырое сукно. Потом кто-то обнюхал мне ухо мокрым носом, и тяжелая голова Леля дружески прижалась к моему колену.

Глава тринадцатая

Наверное, мне все-таки удалось вздремнуть минут пятнадцать, а больше дремать мне не дал Лель. Он облизывал мне уши и щеки, теребил штанину, толкался и, наконец, легонько укусил за руку. Тогда я не выдержал и подскочил, готовый разорвать его на куски, бессвязные проклятия и жалобы теснились в моей глотке, но тут взгляд мой упал на столик, и я замер. На блестящей лакированной поверхности, рядом с бумагами и счетами хозяина, лежал огромный черный пистолет.

Это был люгер калибра 0,45 с удлиненной рукоятью. Он лежал в лужице воды, и комочки нерастаявшего снега еще облепляли его; и пока я смотрел, разинув рот, один комочек сорвался с курка и упал на поверхность стола. Тогда я оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом со столиком и, наклонив голову набок, серьезно-вопросительно смотрел на меня. Из кухни доносились обычные кухонные звуки, слышался негромкий басок хозяина и тянуло запахом кофе.

— Это ты принес? — спросил я Леля шепотом.

Он наклонил голову на другой бок и все про-

должал смотреть на меня. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Я осторожно взял пистолет.

Вот это было настоящее гангстерское оружие. Дальность прицельного боя — двести метров, приспособление для установки оптического прицела, рамка для приставного приклада, рычажок перевода на автоматическую стрельбу и прочие удобства... Ствол был забит снегом. Пистолет был холодный, тяжелый, рубчатая рукоять ладно лежала в ладони. Почему-то я вспомнил, что не обыскал Хинкуса. Багаж его обыскал, шубу обыскал, а самого его — забыл. Должно быть, потому, что он представлялся мне жертвой.

Я извлек из рукояти обойму — обойма была полна. Я оттянул затвор, и на стол выскочил патрон. Я взял его, чтобы вставить в обойму, и вдруг обратил внимание на странный цвет пули. Она была не желтая и не тускло-серая, как обычно. Она сверкала, как никелированная, только это был не никель, а скорее серебро. Никогда в жизни не видел таких пуль. Я стал торопливо, один за другим выщелкивать патроны из обоймы. Все они были с такими же серебряными пулями. Я облизал пересохшие губы и снова посмотрел на Леля.

— Где ты это взял, старик? — спросил я.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно, — сказал я. — Понимаю. Подожди минутку.

Я собрал патроны в обойму, загнал обойму в рукоять и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, пошел к выходу. За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Я был почти уверен, что он остановится под окном Олафа, но он не остановился. Он обогнул дом, исчез на секунду и снова появился, нетерпеливо выглядывая из-за угла. Я схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом.

Мы обогнули гостиницу, затем Лель устремился прочь от дома и остановился метрах в пятидесяти. Я подъехал к нему и огляделся. Все это было как-то странно. Я видел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, я видел след своих лыж позади, видел борозды, которые оставил Лель, прыгая через сугробы, а в остальном пелена снега вокруг была не тронута. Это могло означать только одно: пистолет зашвырнули сюда либо с дороги, либо из отеля. И в любом случае это был хороший бросок. Я не был уверен, что сам

сумел бы забросить такую тяжелую и неудобную для броска штуку столь далеко. Потом я понял. Пистолет бросили с крыши. Пистолет отобрали у Хинкуса и забросили подальше. Может быть, впрочем, и сам Хинкус забросил его подальше. Может быть, он боялся, что его застукают с этим пистолетом. А может быть, конечно, это сделал и не Хинкус, а кто-то другой... но почти наверняка — с крыши. С дороги такой бросок мог сделать разве что хороший гранатометчик, а из окна какого-нибудь номера это сделать и вообще было бы невозможно.

— Что ж, Лель, — сказал я сенбернару, — ты молодец. А я вот — нет. Хинкуса надо было трясти поосновательней, на манер старины Згута. Правильно? К счастью, это еще не поздно сделать.

И, не дожидаясь ответа Леля, я побежал обратно. Лель, разбрасывая снег, проваливаясь и размахивая ушами, скакал рядом.

Я намеревался сразу же отправиться к Хинкусу, разбудить этого сукина сына и вытрясти из него душу, даже если это будет стоить мне выговора в послужной формуляр. Мне было теперь предельно ясно, что дело Олафа и дело Хинкуса связаны между собой самым непосредственным образом, что Олаф и Хинкус приехали сюда вместе отнюдь

не случайно, что Хинкус сидел на крыше, вооружившись дальнобойным пистолетом, только с одной целью: держать под прицелом ближайшие окрестности и не дать кому-то уйти из отеля; что это именно он предупреждал кого-то запиской, подписанной «Ф» (тут он, правда, напутал, и записка попала явно не по адресу — дю Барнстокр не вызывает ни малейших подозрений); что он кому-то здесь страшно мешал и, вероятно, продолжает мешать, и будь я проклят, если я сейчас же не выясню — кому и почему. В этой версии была, конечно, масса противоречий. Если Хинкус, скажем, был телохранителем Олафа и мешал его убийце, то почему с ним, Хинкусом, обошлись так мягко? Почему ему тоже не свернули шею? Почему его противник пользовался такими исключительно гуманными средствами борьбы, как донос и пленение?.. Впрочем, это как раз было бы нетрудно объяснить: Хинкус, видимо, наемный человек, и об него просто не хотели пачкать руки... Да! И надо выяснить, кому он посылал телеграмму. Я все время упускаю это из виду...

Хозяин окликнул меня из буфетной и, не говоря больше ни слова, предложил чашку горячего кофе и громадный треугольный бутерброд со свежей ветчиной. Это было как раз то, что нужно.

Пока я торопливо жевал, он разглядывал меня прищуренными глазами и наконец спросил:

— Что-нибудь новенькое?

Я кивнул.

— Да. Пистолет. Только это не я, а Лель. А я — идиот.

— Гм... Да. Лель — умная собака. А что за пистолет?

— Интересный пистолет, — сказал я. — Профессиональный... Между прочим, вы слыхали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Некоторое время хозяин молчал, выпячивая челюсть.

— Этот ваш пистолет заряжен серебряными пулями? — медленно произнес он.

Я кивнул.

— М-да, я читал об этом... — сказал хозяин. — Оружие заряжается серебряными пулями, когда человек собирается стрелять по призракам.

— Опять зомбизм-момбизм, — проворчал я. Но теперь я и сам вспомнил об этом.

— Да, опять. Вурдалака не убьешь обычной пулей. Вервольф... лисица-кицунэ... жабья королева... Я вас предупреждал, Петер! — Он поднял толстый палец. — Я уже давно жду чего-нибудь

вроде. А теперь оказывается, что не только я...

Я дожевал бутерброд и допил кофе. Нельзя сказать, что слова хозяина так уж совсем не задели меня. Почему-то всё время так получалось, что версия хозяина — единственная и безумная — все время находила подтверждение, а все мои версии — многочисленные и реалистические — нет... Вурдалаки, призраки, привидения... Тут вся беда была в том, что тогда мне осталось бы только сложить оружие: как сказал какой-то писатель, потусторонний мир — это ведомство церкви, а не полиции...

— Вы узнали, чей это пистолет? — спросил хозяин.

— Да есть тут у нас один охотник за вурдалаками, Хинкус его фамилия, — сказал я и вышел.

Посреди холла, весь какой-то корявый и неестественный, торчал покосившимся чучелом господин Луарвик Л. Луарвик. Одним глазом он смотрел на меня, а другим — на лестницу. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли, пустой рукав болтался и имел такой вид, словно его жевала корова. Я кивнул ему и хотел пройти мимо, но он быстро заковылял мне наперерез и загородил дорогу.

— Да? — сказал я, приостановившись.

— Один небольшой, но важный разговор, — объявил он.

— Я занят. Давайте через полчаса.

Он поймал меня за локоть.

— Очень прошу выделить. Немедленно.

— Не понимаю. Что выделить?

— Выделить несколько минут. Это важно для меня.

— Это важно для вас... — повторил я, продолжая продвигаться к лестнице. — Если это важно только для вас, то для меня это не важно совсем.

Он тащился за мной, как привязанный, как-то странно ставя ноги — одну носком наружу, другую — носком внутрь.

— Для вас тоже важно, — сказал он. — Вы будете довольны. Вы получите все желаемое.

Мы уже поднимались по лестнице.

— А в чем, собственно, дело? — спросил я.

— Это дело относительно чемодана.

— Вы готовы отвечать на мои вопросы?

— Давайте остановимся и поговорим, — попросил он. — Ноги ходят плохо.

Ага, припекает, подумал я. Это хорошо, это мне нравится.

— Через полчаса, — сказал я. — И отпустите меня, пожалуйста, вы мне мешаете.

— Да, — согласился он. — Мешаю. Я хочу мешать. Мой разговор срочный.

— Какая там срочность, — возразил я. — Успеется. Через полчаса. Или, скажем, через час.

— Нет-нет, очень прошу вас немедленно. Многое зависит. И это быстро. Я — вам, вы — мне. Всё.

Мы были уже в коридоре второго этажа, и я сжалился.

— Хорошо, пойдемте ко мне. Только давайте побыстрее.

— Да-да, это будет быстро.

Я привел его в свой номер и, присев на край стола, сказал:

— Выкладывайте.

Но он начал не сразу. Сначала он огляделся, надеясь, вероятно, что чемодан лежит где-нибудь здесь, на виду.

— Нету здесь чемодана, — сказал я. — Давайте скорее.

— Тогда я сяду, — сказал он и сел в мое кресло. — Мне очень нужен чемодан. Что вы хотите за?

— Ничего не хочу. Докажите, что вы имеете на него права, и он — ваш.

Луарвик Л. Луарвик покачал головой и сказал:

— Нет. Доказывать не буду. Чемодан не мой.

Сначала я ничего не понимал. Теперь я долго думал и все понял. Олаф украл чемодан. Мне было приказано найти Олафа и сказать ему: «Отдай то, что взял. Комендант двести двадцать четыре». Я не знаю, что это значит. Не знал, что он взял. И потом, вы все время говорите — чемодан. Это меня обмануло. Не чемодан. Футляр. Внутри — прибор. Раньше я не знал. Когда увидел Олафа — догадался. Теперь я знаю: Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный. Угроза для всех. Все будут как Олаф, или может быть взрыв. Тогда все будут еще хуже. Понимаете, почему надо быстро? Олаф — дурак, он умер. Мы — умные, мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

Все это он протараторил своим бесцветным голосом, глядя на меня по очереди то правым, то левым глазом и немилосердно терзая пустой рукав. Лицо его оставалось неподвижным, только время от времени поднимались и опускались реденькие брови. Я смотрел на него и думал, что манеры и грамматика у него остались прежние, а вот запас слов за последние полчаса основательно увеличился. Разговорился Луарвик.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я эмигрант, иностранный специалист. Изгнанник. Жертва политики.

Да, разговорился Луарвик. И откуда что берется!

— Эмигрант откуда? — спросил я.

— Не надо таких вопросов. Не могу сказать. Честь. Никакого вреда вашей стране.

— Но вы мне уже сказали, что вы швед.

— Швед? Не говорил. Эмигрант, политический изгнанник.

— Прошу прощения, — сказал я. — Час назад вы сказали мне, что вы швед. Что вы даже в большой степени швед. А теперь отказываетесь?

— Не знаю... не помню... — забормотал он. — Плохо себя чувствую. Боюсь. Надо скорее чемодан.

Чем больше он меня торопил, тем меньше я был склонен спешить. Мне все было ясно: он врал, и врал страшно неумело.

— Где вы живете? — спросил я.

— Не могу сказать.

— На чем вы ехали сюда?

— Машина.

— Какой марки?

— Марки?.. Черный, большой.

— Вы не знаете марки своего автомобиля?

— Не знаю, он не мой.

— Но вы же механик, — сказал я со злорадством.

— Какой же вы, к черту, механик, да еще водитель, если вы не разбираетесь в автомобилях?

— Дайте мне чемодан, иначе будет несчастье.

— А что вы будете делать с этим чемоданом?

— Быстро увезу.

— Куда? Вы же знаете, лавина завалила дорогу.

— Это все равно. Увезу подальше. Попробую разрядить. Если не сумею, убегу. Пусть лежит там.

— Хорошо, — сказал я и соскочил со стола. — Поехали.

— Как?

— На моей машине. У меня хорошая машина, марки «Москвич». Возьмем чемодан. Отвезем подальше, посмотрим.

Он не двинулся с места.

— Вам не надо. Очень опасно.

— Ничего. Я рискну. Ну?

Он сидел неподвижно и молчал.

— Чего же вы сидите? — спросил я. — Ведь опасно, надо скорее.

— Не годится, — сказал он наконец. — Попробуем по-другому. Не хотите отдать чемодан, тогда продайте. А?

— То есть? — сказал я, снова присаживаясь на край стола.

— Я даю деньги, много денег. Вы даете мне че-

модан. Никто ничего не узнает, все довольны. Вы нашли чемодан, я его купил. Все.

— И сколько же вы мне дадите? — спросил я.

— Много. Сколько хотите. Вот.

Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. В натуре я видел такие пачки только один раз — в Государственном банке, когда вел там дело о подлоге.

— Сколько здесь? — спросил я.

— Мало? Тогда еще вот.

Он полез в боковой карман и вытащил еще одну такую же пачку и тоже бросил ее на стол рядом со мной.

— Сколько здесь денег? — спросил я.

— Какая разница? — удивился он. — Всё — ваше.

— Очень большая разница. Вы знаете, сколько здесь денег?

Он молчал, глаза его то съезжались, то разъезжались.

— Так. Не знаете. А где вы их взяли?

— Это мои.

— Бросьте, Луарвик. Кто вам их дал? Вы же явились сюда с пустыми карманами. Мозес, больше некому. Так?

— Вы не хотите деньги?

— Вот что, — сказал я. — Эти деньги я конфискую, а вас привлекаю за попытку подкупа должностного лица. Вы вляпались в очень нехорошую историю, Луарвик. Вам остается одно: говорите все начистоту. Кто вы такой?

— Вы взяли деньги? — осведомился Луарвик.

— Я их конфисковал.

— Конфисковал... Хорошо, — сказал он. — А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое «конфисковал»? — спросил я. — Спросите у Мозеса... Итак, кто вы такой?

Не говоря ни слова, он встал и направился к двери. Я сгреб деньги и пошел за ним следом. Мы прошли по коридору и стали спускаться по лестнице.

— Вы напрасно не отдаете чемодан, — сказал Луарвик. — Это не будет вам полезно.

— Не угрожайте, — напомнил я.

— Вы будете причиной большого несчастья.

— Хватит врать, — сказал я. — Не хотите говорить правду — дело ваше. Но вы уже влипли по уши, Луарвик, и утянули за собой Мозеса. Теперь вы легко не отделаетесь. С часу на час сюда приедет полиция, и вам все равно придется рассказать правду... Стоп! Не туда. Идите за мной.

Я взял его за пустой рукав и отвел в контору. Потом я позвал хозяина и в его присутствии пересчитал деньги и написал протокол. Хозяин тоже пересчитал деньги — денег оказалось больше восьмидесяти тысяч, мое жалованье за восемь лет беспорочной службы, — и подписал протокол.

Все это время Луарвик стоял поодаль, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, как человек, которому хочется уйти как можно скорее.

— Подпишите, — сказал я, протягивая ему авторучку.

Он взял ручку, внимательно оглядел ее и осторожно положил на стол.

— Нет, — сказал он. — Я пойду.

— Как хотите, — сказал я. — Вашего положения это не изменит.

Он сейчас же повернулся и вышел, задев плечом за косяк. Мы с хозяином посмотрели друг на друга.

— Зачем он хотел вас подкупить? — спросил хозяин. — Что ему было надо?

— Чемодан, — сказал я.

— Какой чемодан?

— Чемодан Олафа, который стоит у вас в сейфе... — Я достал ключ и открыл сейф. — Вот этот вот.

— Он стоит восемьдесят тысяч? — спросил хо-

зяин с уважением.

— Он стоит, наверное, гораздо больше. Тут какая-то темная история, Алек. — Я сложил деньги в сейф, снова запер тяжелую дверцу, а протокол положил в карман.

— Кто же этот Луарвик? — задумчиво сказал хозяин. — Откуда у него столько денег?

— У Луарвика не было ни гроша. Деньги ему дал Мозес, больше некому.

Хозяин поднял было толстый палец, чтобы что-то сказать, но раздумал. Вместо этого он энергично потер толстый подбородок, гаркнул: «Кайса!» — и вышел. Я остался сидеть за конторкой. Я принялся вспоминать. Я тщательно перебрал в памяти самые мелкие подробности, самые незначительные происшествия, свидетелем которых я был в этом отеле. Выяснилось, что запомнил я довольно много.

Оказывается, я помнил, что при первой нашей встрече Симонэ был одет в серый костюм, а на вчерашней вечеринке он был в бордовом, и запонки у него были с желтыми камешками. Я помнил, что, когда Брюн клянчила у своего дяди сигарету, он всегда доставал их из-за правого уха. Я помнил, что у Кайсы есть маленькая черная родинка на правой ноздре; что дю Барнстокр,

орудуя вилкой, элегантно отставляет мизинец; что ключ моего номера похож на ключ от номера Олафа; и еще много подобной же дребедени. Во всей этой навозной куче я обнаружил только две жемчужины. Во-первых, я вспомнил, как позавчера вечером Олаф, весь в снегу, стоял посередине холла со своим черным чемоданом и оглядывался, словно ожидал торжественной встречи, и как он посмотрел мимо меня на закрытый портьерой вход на половину Мозесов, и как мне показалось, что портьера колышется — надо полагать, от сквозняка. Во-вторых, я вспомнил, что, когда стоял в очереди у душа, сверху спустились рука об руку Олаф и Мозес...

Все это упорно наводило меня на мысль, что Олаф, Мозес, а теперь и Луарвик — все это одна компания, причем эта компания отнюдь не стремится афишировать, что она — одна компания. И если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере-музее рядом со своим номером за пять минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка; и если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены (явно подброшены, а потом снова изъяты) в баул Хинкуса... и если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным чело-

веком, не считая, может быть, Кайсы, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол... если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная.

В эту картину неплохо укладывается и заявление Хинкуса о том, что один из его баулов ловко превратился в фальшбагаж, и то обстоятельство, что госпожа Мозес была единственным человеком, который видел двойника Хинкуса в лицо. Ведь о Брюн никак нельзя было сказать, что она видела двойника Хинкуса: она видела только шубу Хинкуса, а кто был в этой шубе, неизвестно.

Конечно, в картине оставалось еще много белых и совершенно непонятных пятен. Но по крайней мере теперь была ясна расстановка сил: Хинкус с одной стороны, а Мозесы, Олаф и Луарвик — с другой. Впрочем, судя по совершенно нелепым действиям Луарвика и той откровенности, с которой Мозес снабдил его деньгами, дело близилось к какому-то кризису... И тут мне пришло в голову, что я, пожалуй, напрасно держу Хинкуса взаперти. В надвигающейся схватке неплохо было бы обзавестись союзником, пусть даже таким сомнительным и явно преступным, как Хинкус.

Так я и сделаю, подумал я. Напущу-ка я на них гангстера и маньяка. Мозес небось думает, что Хинкус до сих пор валяется под столом. Посмотрим, как он себя поведет, когда Хинкус вдруг объявится в столовой за завтраком. О том, как и кто скрутил Хинкуса, о том, кто и как убил Олафа, я решил пока не думать. Я смял свои заметки, положил в пепельницу и поджег.

— Кушать, пожалуйста... — пропищала где-то наверху Кайса. — Кушать, пожалуйста.

Глава четырнадцатая

Хинкус уже поднялся. Он стоял посередине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем.

— Доброе утро, — сказал я. — Как вы себя чувствуете?

Он настороженно глядел на меня исподлобья, лицо его несколько опухло, но в общем он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад.

— Более или менее, — буркнул он. — Чего это меня здесь заперли?

— У вас был нервный припадок, — объяснил я. Лицо у него немного перекосилось. — Ничего страшного. Хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?

— Пойду, — сказал он. — Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Тоже мне — отдых в горах... — Он скомкал и отшвырнул полотенце. — Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза... Шуба моя где, не знаете? И шапка...

— На крыше, наверное, — сказал я.

— На крыше... — пробурчал он, надевая подтяжки. — На крыше...

— Да, — сказал я. — Не повезло вам. Можно только посочувствовать... Ну, мы еще поговорим об этом.

Я повернулся и пошел к двери.

— Нечего мне об этом разговаривать! — со злостью крикнул он мне вслед.

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сандвичами. Я поздоровался с нею, отнаблюдал серию ужимок, выслушал серию хихиканий и выбрал себе новое место — спиной к буфету и лицом к двери, рядом со стулом дю Барнстокра. Едва я уселся, как вошел Симонэ — в толстом пестром свитере, свежевыбритый, с красными припухшими глазами.

— Ну и ночка, инспектор, — сказал он. — Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина... — Он сел, выбрал сандвич, потом посмотрел на меня. — Нашли?.. — спросил он.

— Смотря что, — ответил я.

— Ага, — сказал он и неуверенно хохотнул. — Вид у вас неважный.

— У каждого тот вид, которого он достоин, —

отозвался я, и в ту же секунду вошли Барнстокры. Эти были как огурчики. Дядюшка щеголял астрой в петлице, благородные седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня.

— Доброе утро, инспектор, — нежно пропел он. — Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симонэ. Не правда ли?

— Привет, — буркнуло чадо.

— Коньяку бы выпить, — сказал Симонэ с какой-то тоской. — Но ведь неприлично, а? Или ничего?

— Не знаю, право, — сказал Барнстокр. — Я бы не рискнул.

— А, инспектор? — сказал Симонэ.

Я помотал головой и отхлебнул кофе, который поставила передо мной Кайса.

— Жаль, — сказал Симонэ. — А то я бы выпил.

— А как наши дела, дорогой инспектор? — искательно спросил дю Барнстокр.

— Следствие напало на след, — сообщил я. — В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симонэ снова загоготал было, но сразу же сделал серьезное лицо.

— Вероятно, нам придется провести весь день в доме, — сказал дю Барнстокр. — Выходить, вероятно, не разрешается...

— Почему же? — возразил я. — Сколько угодно. И чем больше, тем лучше.

— Удрать все равно не удастся, — добавил Симонэ. — Обвал. Мы здесь заперты — и надолго. Идеальная ситуация для полиции. Я бы, конечно, мог удрать через скалы...

— Но? — спросил я.

— Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скал. А во-вторых, что я там буду делать?.. Послушайте, господа, — сказал он. — Давайте прогуляемся по дороге — посмотрим, как там в Бутылочном Горлышке...

— Вы не возражаете, инспектор? — осведомился дю Барнстокр.

— Нет, — сказал я, и тут вошли Мозесы. Они тоже были как огурчики. То есть мадам была как огурчик... как персик... как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой. Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел

на сандвичи перед собой.

— Доброе утро, господа! — хрустальным голоском произнесла госпожа Мозес.

Я покосился на Симонэ. Симонэ косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за свой кофе.

— Прелестное утро, — продолжала госпожа Мозес. — Так тепло, солнечно! Бедный Олаф, он не дожил до этого утра!

— Все там будем, — провозгласил вдруг Мозес хрипло.

— Аминь, — вежливо закончил дю Барнстокр.

Я покосился на Брюн. Девочка сидела нахохлившись, уткнувшись носом в чашку. Дверь снова отворилась, и появился Луарвик Л. Луарвик в сопровождении хозяина. Хозяин скорбно улыбался.

— Доброе утро, господа, — произнес он. — Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в нашем гостеприимстве.

Судя по виду господина Луарвика Луарвика, постигшая его катастрофа была чудовищной, и он очень нуждался в гостеприимстве. Хозяин

был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симонэ.

— Очень приятно, Луарвик! — прохрипел господин Мозес. — Здесь все свои, Луарвик, будьте как дома.

— Да, — сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, а другим на Симонэ. — Прекрасная погода. Совсем зима...

— Это все чепуха, Луарвик, — сказал Мозес. — Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид... Симонэ, напомните-ка, что там было с этим метрдотелем? Кажется, он съел чье-то филе...

И тут наконец появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симонэ пустился вновь рассказывать про метрдотеля, и пока он объяснял, что названный метрдотель не ел никакого филе, а все было как раз наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него, стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов. Я смотрел и ничего не понимал. Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна. Господин Мозес, правда, покосился на Хинкуса кровавым глазом, но — с полнейшим равнодушием и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать

не сумел.

Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили веслом по голове. Затем на лице явственно проступила радость, исступленная какая-то, он даже заулыбался вдруг, совершенно по-детски. А потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокров: сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, господин Хинкус? — участливо наклоняясь вперед, осведомился дю Барнстокр. — Здешний воздух...

Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки.

— Я-то себя ничего чувствую, — ответствовал он, усаживаясь. — А вот каково вы себя чувствуете, а?

Дю Барнстокр в изумлении откинулся на спинку стула.

— Я? Благодарю вас... — Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн. — Может быть, я как-то задел... затронул... В таком случае я приношу...

— Не выгорело дельце! — продолжал Хинкус, с остервенением запихивая себе за воротник салфетку. — Сорвалось, а, старина?

Дю Барнстокр был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились, все смотрели на него и на Хинкуса.

— Право же, я боюсь... — Старый фокусник явно не знал, как себя вести. — Я имел в виду исключительно ваше самочувствие, никак не более того...

— Ладно, ладно, замнем для ясности... — ответствовал Хинкус.

Он обеими руками взял большой сандвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями.

— А хамить-то не надо бы! — сказала вдруг Брюн.

Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел взгляд.

— Брюн, дитя мое... — сказал дю Барнстокр.

— Р-распетушился! — сказала Брюн, постукивая ножом о тарелку. — Пьянствовать меньше надо...

— Господа, господа! — сказал хозяин. — Все это пустяки!

— Не беспокойтесь, Сневар, — поспешно сказал дю Барнстокр. — Это какое-то маленькое недоразумение... Нервы напряжены... События этой

ночи...

— Понятно, что я говорю? — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры.

— Господа! — решительно вмешался хозяин. — Господа, я прошу внимания! Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю — да, нервы напряжены. Но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа Андварафорса находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски, который по счастливому стечению обстоятельств оказался в нашей среде. С другой же стороны, нас вовсе не должно нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

Хинкус перестал жевать и поднял голову.

— Наши погреба полны, господа! — торжественно продолжал хозяин. — Все мыслимые и даже некоторые немыслимые припасы к вашим услугам. И я убежден, что, когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал, она застанет нас...

— Какой такой обвал? — громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами. — Что за чертовщина?

— Да, простите, — сказал хозяин, поднося ладонь ко лбу. — Я совсем забыл, что некоторые

гости могут не знать об этом событии. Дело в том, что вчера в десять часов вечера снежная лавина завалила Бутылочное Горлышко и разрушила телефонную связь.

За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки. Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу, — вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Л. Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая от него вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекал на пиджак желтоватый сок. У меня свело скулы, я отхлебнул кофе и объявил:

— Имею добавить следующее. Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Как лицо неофициальное, я могу предпринять лишь немногие меры. Например, я могу собрать материал для официальных представителей мюрской полиции. Таковой материал в основном уже собран, хотя я был бы очень благодарен каждому гражданину, который сообщит следствию какие-нибудь новые сведения. Далее я хочу поставить в известность всех добрых граждан о том, что они могут чувствовать себя в полной безопасности и свободно вести себя так, как им заблагорассудится. Что же касается лиц, состав-

ляющих упомянутые банды, то я призываю их прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшать и без того безнадежное свое положение. Я напоминаю, что наша отрезанность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневара и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский самолет, а потому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа.

— Как интересно! — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. — Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните! Мы поймем!

Я покосился на хозяина. Алек Сневар, повернувшись к гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете.

Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах, да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя, но все, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот курятник хорошего хорька, и

теперь надо было ожидать событий.

Первым поднялся дю Барнстокр.

— Дамы и господа! — сказал он. — Я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться на небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдемте.

Задвигались стулья, гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симонэ предложил руку госпоже Мозес — очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика Л. Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками.

За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться впрок и надолго. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей.

— Ну что, Хинкус? — сказал я. — Поговорим?

— Это насчет чего? — угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем.

— Да насчет всего, — сказал я. — Как видите, смотаться у вас не получится. И на крыше вам

больше торчать незачем. Верно?

— Не о чем нам говорить, — сказал Хинкус мрачно. — Ничего я по этому делу не знаю.

— По какому делу? — спросил я.

— Про убийство! По какому еще...

— Есть еще дело Хинкуса, — сказал я. — Вы кончили? Тогда пойдемте. Вот сюда, в бильярдную. Там сейчас солнышко, и нам никто не помешает.

Он ничего не ответил. Дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся.

— Алек, — сказал я хозяину. — Будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера сидели, понимаете?

— Понимаю, — сказал хозяин. — Будет сделано.

Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел. Я распахнул дверь в бильярдную и пропустил Хинкуса вперед. Он вошел и остановился, засунув руки в карманы и жуя спичку. Я взял у стены один из стульев, поставил на самое солнце и сказал: «Сядьте». Помедлив секунду, Хинкус сел и сразу сощурился — солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки... — проворчал он с горечью.

— Служба такая, — сказал я и присел перед ним на край бильярда в тени. — Ну, Хинкус, что там у вас произошло с Барнстокром?

— С каким еще Барнстокром? Что у нас может произойти? Ничего у нас не произошло. Я его и знать не знаю.

— Записку угрожающую вы ему писали?

— Никаких записок я никому не писал. А вот жалобу я напишу. За истязание больного человека...

— Слушайте, Хинкус. Через час-другой прилетит полиция. Прилетят эксперты. Записка ваша у меня в кармане. Определить, что написали ее именно вы, ничего не стоит. Зачем же вы запираетесь?

Он быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. В зале брякала тарелками Кайса, напевая что-то тонким фальшивым голоском.

— Ничего не знаю про записку, — сказал наконец Хинкус.

— Хватит врать, Филин! — гаркнул я. — Мне все о тебе известно! Ты влип, Филин. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тяни на пункт «д»! Чистосердечное признание до начала официального следствия... Ну?

Он выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету

и задумался.

— Ну? — повторил я.

— Путаете вы что-то, — ответил Хинкус. — Филин какой-то. Я не Филин, я — Хинкус.

Я соскочил с бильярда и сунул ему под нос пистолет.

— А это узнаешь? А? Твоя машинка? Говори!

— Ничего не знаю, — угрюмо сказал он. — Чего вы ко мне привязались?

Я вернулся на стол, положил пистолет рядом с собой на сукно и закурил.

— Думай, думай, — сказал я. — Быстрей думай, а то поздно будет. Ты подсунул Барнстокру записку, а он отдал ее мне — этого ты, конечно, никак не ожидал. Пистолет у тебя отобрали, а я его нашел. Ребятам своим ты дал телеграмму, а они не поспели, потому что случился обвал. А полиция будет часа через два самое большее. Понял, какая картина?

В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать чего-нибудь? Угодно?

— Идите, идите, Кайса, — сказал я. — Ступайте.

Хинкус молчал, сосредоточенно шаря в кармане, потом извлек коробок спичек и закурил. Солнце пекло. На его лице выступил пот.

— Маху ты дал, Филин, — сказал я. — Перепутал

божий дар с яичницей. Чего ты привязался к Барнстокру? Напугал бедного старика до полусмерти... Разве его приказали тебе держать на мушке? Мозеса! Мозеса надо было держать! Олух ты царя небесного, я бы тебя в дворники не взял, не то что такое поручение давать... И твоя шпана тебе это еще припомнит! Так что теперь, Филин, тебе только одно и остается...

Он не дал мне закончить поучение. Я сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, покуривал себе и при этом, дурак этакий, самодовольно разглядывал струйки дыма в солнечном луче. А Хинкус сидел на стуле в двух шагах от меня, и он вдруг наклонился вперед, поймал меня за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и круто повернул. Недооценил я Хинкуса, прямо скажем, недооценил. Меня снесло с бильярда, и я всеми своими девяноста килограммами, плашмя, мордой, животом, коленями грохнулся об пол.

О том, что случилось дальше, я могу только догадываться. Коротко говоря, примерно через минуту я пришел в себя окончательно и обнаружил, что сижу на полу, прислонясь к бильярду, подбородок у меня разбит, два зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь, а правое плечо ломит

совершенно невыносимо. Хинкус валялся тут же неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным Змием, возвышался осклабившийся героический Симонэ, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Я утер кровь со лба и поднялся. Меня пошатывало. Хотелось лечь в тень и забыться. Симонэ нагнулся, поднял с пола пистолет и подал его мне.

— Вам повезло, инспектор, — сказал он, сияя. — Еще секунду, и он проломил бы вам голову. Куда вам попало? По плечу?

Я кивнул. У меня перехватило дыхание, и говорить я не мог.

— Подождите-ка, — сказал Симонэ и выскочил в столовую, бросив обломок кия на бильярд.

Я обошел стол и присел в тени так, чтобы видеть Хинкуса. Хинкус все еще лежал неподвижно. Экий дьявол, а ведь посмотришь на него — соплей перешибить можно... Да, джентльмены, это настоящий ганмен, в лучших чикагских традициях. И откуда, непонятно, они берутся в нашей добропорядочной стране? И подумать только — ведь у Згута такой же оклад, как у меня. Да его же озолотить надо!.. Я достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу.

Хинкус застонал, заворочался и попытался встать. Он все еще держался за голову. Симонэ вернулся с графином воды. Я взял у него графин, кое-как добрался до Хинкуса и полил ему на лицо. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Физиономия у него опять была зеленоватая, но теперь это объяснялось вполне понятными причинами. Симонэ присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он. — Времени разбираться у меня, сами понимаете, не было.

— Ничего, старина, все будет в порядке... — Я поднял руку, чтобы похлопать его по плечу, и застонал от боли. — Сейчас я его возьму в оборот.

— Мне уйти? — спросил Симонэ.

— Нет уж, вы лучше останьтесь. А то как бы он не взял в оборот меня. Принесите еще воды... на случай обмороков...

— И бренди! — с энтузиазмом сказал Симонэ.

— Правильно, — сказал я. — Мы его живо приведем в порядок. Только никому не говорите, что случилось.

Симонэ принес еще воды и початую бутылку коньяку. Я разжал Хинкусу рот и влил в него полстакана чистого. Еще полстакана чистого выпил

я сам. Симонэ, предусмотрительно запасшийся вторым стаканом, выпил с нами за компанию. Потом мы оттащили Хинкуса к стенке, прислонили его спиной, я снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Он открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку? — спросил я.

— Да... — сипло выдохнул он.

Я дал ему еще коньяку. Он облизнулся и решительно произнес:

— Что вы там говорили насчет семьдесят второй «д»?

— Там видно будет, — сказал я.

Он помотал головой и сморщился.

— Нет, так не пойдет. Мне бессрочная и так обеспечена.

— Wanted and listed? — сказал я.

— В точности так. У меня теперь только один интерес: уклониться от галстука. И между прочим, все шансы у меня есть — к Олафу я отношения не имею, сами знаете, а тогда что остается? Незаконное ношение оружия? Ерунда, это еще доказать надо, что я его носил...

— А нападение на инспектора полиции?

— Так об этом и речь!.. — сказал Хинкус, осторожно ощупывая макушку. — По-моему, так

никакого нападения и не было, а было одно только сплошное чистосердечное признание до начала официального следствия. Как ваше мнение, шеф?

— Признания пока не было, — напомнил я.

— Сейчас будет, — сказал Хинкус. — Но вот в присутствии этого физика-химика обещаете, шеф? Семьдесят вторую «д» — обещаете?

— Ладно, — сказал я. — Для начала будем считать, что имела место драка на личной почве в состоянии опьянения. То есть это ты был в состоянии опьянения, а я тебя урезонивал.

Симонэ заржал.

— А я что? — спросил он.

— А вы помогли мне справиться... Ладно, хватит болтать. Рассказывай, Филин. И смотри, если ты хоть слово соврешь. Ты мне два зуба расшатал, сволочь!..

Он только глянул на меня своими желтенькими глазками и заговорил:

— Значит, так, — начал он. — Меня намылил сюда Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слыхали... Так вот, в позапрошлый месяц откопал Чемпион где-то одного типа. Где он его откопал, чем его на крючок взял, я не знаю, и настоящего его имени я тоже не знаю. У нас его

звали Вельзевулом. Правильно звали, жуткий тип... Сработал он нам всего два дела, но зато дела были для простого человека ну никак не подъемные, и сработал он их чисто, красиво... да вы и сами знаете. Второй Национальный банк — раз, броневик с золотыми слитками — два. Знакомые дела, шеф, а? То-то! Дела эти вы не раскрыли, а кого вы посажали, те в полной мере ни при чем, это вам самим хорошо известно. В общем, сработал он нам эти два дела и вдруг решил завязать. Почему — это вопрос особый, но Вельзевул наш рванул когти, и нас намылили кого куда ему наперехват. Засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиону... Ну, а в крайнем случае было велено кончать Вельзевула на месте. Вот я его и засек, и тут все мое чистосердечное признание.

— Так, — сказал я. — Ну, а кто у нас здесь в отеле Вельзевул?

— Тут я, как вы правильно сказали, дал маху, шеф. Это вы мне глаза открыли, а я-то грешил на этого фокусника, на Барнстокра. Во-первых, вижу — магические штучки, разные фокусы. А во-вторых, подумал: если Вельзевул захочет под кого-нибудь замаскироваться, то под кого? Чтобы без лишнего шума... Ясно — под фокусника!

— Что-то ты тут путаешь, — сказал я. — Фокусы

— ладно. Но ведь Барнстокр и Мозес — это небо и земля. Один — тощий, длинный, другой — толстый, приземистый...

Хинкус махнул рукой.

— Я его в разных видах видал, и толстым, и тонким. Никто не знает, какой вид у него натуральный... Это вам надо понять, шеф. Вельзевул — он ведь не простой человек. Он — колдун, оборотень! У него власть над нечистой силой...

— Понес, понес, — сказал я предостерегающе.

— Правильно, — согласился Хинкус. — Конечно, никто не поверит, кто сам не видел... А вот, например, баба эта, с которой он разъезжает, кто это, по-вашему, шеф? Я ведь своими глазами видел, как она сейф в две тонны весом выворотила и несла по карнизу. Под мышкой несла. Была она тогда маленькая, щупленькая, ни дать ни взять — ребенок, подросточек, вроде Барнстокровой этой девчонки... а ручищи — во, метра два... да что там — метра три длиной...

— Филин, — сказал я строго. — Хватит врать.

Хинкус снова махнул рукой и приуныл было, но, впрочем, тут же оживился.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Пускай я вру. Но вот я, извиняюсь, вас голыми руками положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Так

сами подумайте, кто мог меня таким манером скрутить, как младенца, и засунуть под стол?

— Кто? — спросил я.

— Она! Теперь-то я усек, как все это случилось. Он меня, гад, узнал, запомнил. И когда он увидел, что я сижу на крыше и живьем его из дома не выпущу, он и наслал на меня свою бабу. Под моим же видом наслал... — В глазах у Хинкуса всплеснулся пережитый ужас. — Матерь пресвятая, сижу я там, а оно стоит передо мной, то есть я сам и стою — голый, покойник, и глаза вытекли... Как я там со страха не подох, как с ума не сошел — не понимаю. Три раза в отключку уходил, ей-богу... И главное, пью и ведь не пьянею, как на землю лью... Это надо же, — проник, значит, он, что у меня в черепушке не того, не все в порядке, наследственное это у меня, от папаши досталось. Тому, бывало, тоже всякое чудилось — как схватит ружье, как начнет палить... Вот Вельзевул и решил: либо с ума меня свести, либо запугать до потери сознания, чтобы я слинял у него с глаз долой. А когда увидел, что не получается, ну, делать нечего, тут он силу и применил...

— А почему он тебя попросту не прихлопнул? — спросил я.

Хинкус затряс головой.

— Нет, этого он не может. Ведь, если правду вам сказать, почему он завязал? Когда броневик брали, сами знаете, охрану нам пришлось убрать. Ребята погорячились, а получается вроде бы, что кровь-то на нем, на Вельзевуле... А у него вся чародейская сила пропасть может, если он человеческую жизнь погубит. Чемпион нам так и сказал. А то разве кто-нибудь посмел бы его выслеживать? Да упаси бог!

— Ну, допустим, — проговорил я неуверенно.

Я опять ничего не понимал. Хинкус, как он и сам признался, был несомненно психом. Но в его сумасшествии была своя логика. В рамках этого сумасшествия все концы сходились с концами, и даже серебряные пули находили свое место в общей картине. И все это каким-то странным образом переплеталось с реальной действительностью. Сейф из Второго Национального и в самом деле исчез удивительно, загадочно и необъяснимо — «растворился в воздухе», разводили руками эксперты, и единственные следы, которые вели из помещения, вели как раз на карниз. А свидетели ограбления броневика, словно сговорившись, упорно твердили под присягой, будто все началось с того, что какой-то человек ухватил броневик под днище и перевернул эту

махину набок... Черт его знает, как все это понимать.

— Ну, а серебряные пули? — на всякий случай спросил я. — Почему пистолет заряжен серебряными пулями?

— Потому и заряжен, — снисходительно пояснил Хинкус. — Свинцовой пулей оборотня не возьмешь. Чемпион с самого начала на всякий случай подготовил серебряные бананчики, подготовил и Вельзевулу показал: вот, мол, смерть-то твоя, имей, мол, в виду, не рыпайся.

— А почему же они остались в отеле? — спросил я. — Тебя связали, а сами остались...

— Этого я не знаю, — признался Хинкус. — Этого я сам не понимаю. Я как утром увидел Барнстокра, так прямо обалдел. Я ведь думал, их тут давным-давно и след простыл... Тьфу, не Барнстокра, конечно... Но я-то думал тогда, что Барнстокр... В общем, Вельзевул здесь, а почему он здесь остался, этого я не знаю. Может быть, тоже не может через завал перебраться?.. Он хоть и колдун, но не господь же бог. Летать, например, он не умеет, это уж точно известно. Через стены проходить — тоже... Правда, ежели подумать, баба эта его — или кто она там есть — любой завал могла бы расковырять в два счета. Присобачил

бы он ей вместо рук ковши, как у экскаватора, и готово дело...

Я повернулся к Симонэ.

— Ну, — сказал я, — а что скажет по этому поводу наука?

Лицо Симонэ меня удивило. Физик был очень серьезен.

— В рассуждениях господина Хинкуса, — произнес он, — есть по крайней мере одна очень интересная деталь. Вельзевул у него не всемогущ. Чувствуете, инспектор? Это очень важно. И очень странно. Казалось бы, в фантазиях этих темных невежественных людей никаких законов и ограничений быть не должно. Но они есть... А как, собственно, был убит Олаф?

— Этого я не знаю, — решительно сказал Хинкус. — Об Олафе ничегошеньки не знаю, шеф. Как на духу говорю. — Он прижал руку к сердцу. — Могу только сказать, что Олаф — не наш, и ежели его действительно прикончил Вельзевул, то не понимаю — зачем... Тогда вообще получается, что Олаф не человек, а какая-нибудь погань, вроде самого Вельзевула... Я же говорю, нельзя Вельзевулу людей убивать. Что он — враг себе, что ли?

— Так-так-так, — сказал Симонэ. — А как же все-таки был убит Олаф, инспектор?

Я коротко изложил ему факты: про запертую изнутри дверь, про свернутую шею, про пятна на лице, про аптечный запах. Рассказывая, я, не скрываясь, наблюдал за Хинкусом. Хинкус дергался, ежился, бегал глазами и, наконец, умоляюще попросил еще глоточек. Ясно было, что все это ему внове и пугает это его до содрогания. А Симонэ совсем нахмурился. Глаза у него стали отсутствующими, обнажились желтоватые зубы-лопаты. Дослушав, он тихонько выругался. Больше он ничего не сказал.

Я хлебнул коньяку и угостил Хинкуса — оба мы чувствовали себя неважно. Не знаю, как я, а Хинкус был совсем зеленый и время от времени осторожно ощупывал голову. Потом я оставил физика размышлять и снова взялся за Хинкуса.

— А как же ты его, Филин, выследил? Ты же не знал заранее, в каком он обличье...

Несмотря на свою зеленоватость, Хинкус самодовольно усмехнулся.

— Это мы тоже умеем, — сказал он. — Не хуже вас, шеф. Во-первых, Вельзевул хоть и колдун, но дурак. Всюду за собой таскает свой кованый сундук. Таких во всем свете больше ни у кого нет. Мне одно и оставалось — расспрашивать, куда этот сундук поехал. Второе — деньгам счету не

знает... Сколько из кармана достанет, столько и платит. Такие люди, сами понимаете, нечасто попадаются. Где он проехал, там одни только о нем и разговоры. Не фокус. В общем, выследил я его, я свое дело знаю... Ну, а что с Барнстокром осечка получилась — ничего не скажешь: напылил мне в глаза старикашка, чтоб ему пусто было. Леденцы эти его проклятые... А потом — захожу я в холл, сидит он там один, думает, что никто его не видит, и в руках у него куколка какая-то деревянная. Так что он с этой куколкой делал, господи!.. Да, осечка тут у меня вышла, конечно...

— И потом он все время с этой женщиной... — сказал я задумчиво.

— Нет, — сказал Хинкус. — Женщина — это, шеф, не обязательно. Она не всегда при нем. Это когда на дело надо идти, он ее откуда-то раздобывает... Да и не женщина она вовсе, а тоже вроде оборотня... Куда она девается, когда ее нет, этого никто не знает.

Тут я поймал себя на том, что я, солидный, опытный полицейский, немолодой уже человек, сижу здесь и с полной серьезностью обсуждаю с полупомешанным бандитом всякие сказки насчет оборотней, чародеев и колдунов... Я виновато оглянулся на Симонэ и обнаружил, что

физик исчез, а вместо него в дверях, прислонившись к косяку, стоит хозяин с винчестером под мышкой, и я вспомнил все его намеки, все эти его разговорчики насчет зомби, и его толстый указательный палец, совершающий многозначительные движения перед моим носом. Еще более устыдившись, я раскурил сигарету и с нарочитой строгостью сказал Хинкусу:

— Так. Хватит об этом. Ты видел когда-нибудь раньше этого однорукого?

— Какого однорукого?

— Ты сидел с ним рядом за столом.

— А, это который лимон жрал... Нет, в первый раз. А что?

— Ничего, — сказал я. — Когда должен был прибыть Чемпион?

— Вечером я его ждал. Не приехал. Теперь-то я понимаю — лавина.

— На что же ты, дурак, рассчитывал, когда напал на меня?

— А куда мне было деваться? — сказал Хинкус с тоской. — Сами посудите, шеф. Полицию мне было дожидаться ни к чему. Я человек известный, пожизненная мне обеспечена. Вот я и решил: отберу пистолет, шлепну кого надо, а сам подамся к завалу... либо сам как-нибудь переберусь, либо

Чемпион меня подберет. Чемпион ведь сейчас тоже не спит, не думайте. Самолеты не только у полиции есть...

— Сколько человек должно прибыть с Чемпионом?

— Не знаю. Не меньше трех. Ну, конечно, самые отборные...

— Ладно, вставай, — сказал я и не без труда поднялся сам. — Пойдем, я тебя запру.

Хинкус, постанывая и кряхтя, тоже встал. Мы с хозяином повели его вниз, по черной лестнице, чтобы ни с кем не встречаться. В кухне мы все-таки встретили Кайсу, и, увидев меня, она взвизгнула и спряталась за плиту.

— Не визжи, дура, — строго сказал ей хозяин. — Горячую воду приготовь, бинты, йод... Сюда, Петер, в чулан его.

Я осмотрел чулан, и он мне понравился. Дверь закрывалась снаружи висячим замком и была крепкая, надежная. Других выходов и даже окон в чулане не было.

— Будешь сидеть здесь, — сказал я Хинкусу на прощание, — пока полиция не прилетит. И не вздумай проявлять какую-нибудь активность — пристрелю на месте.

— Ну да! — заныл Хинкус. — Филина под замок,

а этот ходит на свободе, с него все как с гуся вода... Нехорошо, шеф. Несправедливо получается... И раненый я, башка болит...

Я не стал с ним разговаривать, запер дверь и сунул ключ в карман. Огромное количество ключей скопилось у меня в кармане. Еще пара часов, подумал я, и все ключи, какие есть в отеле, мне придется таскать на себе.

Потом мы пошли в контору, Кайса принесла воду и бинты, и хозяин принялся меня обрабатывать.

— Какое оружие есть в отеле? — спросил я у него.

— Винчестер, два охотничьих дробовика. Пистолет. Оружие есть, а вот кто из него будет стрелять?

— Н-да, — сказал я. — Тяжеловато.

Дробовики против пулеметов. Дю Барнстокр против отборных головорезов. Да и не будут они перестрелками заниматься, знаю я этого Чемпиона — сбросит с самолета какую-нибудь зажигательную пакость и перещелкает нас всех в чистом поле, как куропаток...

— Пока вы были наверху, — сообщил хозяин, ловко обмывая мне лоб вокруг ссадины, — сюда ко мне заявился Мозес. Положил на стол мешок с

деньгами — именно мешок, я не преувеличиваю, Петер, — и потребовал, чтобы я все это тут же при нем положил в сейф. Он, видите ли, считает, что при таком положении дел его имущество находится в серьезной опасности.

— А вы? — спросил я.

— Тут я немного промахнулся, — признался хозяин. — Не сообразил и ляпнул ему, что ключи от сейфа у вас.

— Спасибо, Алек, — сказал я с горечью. — Вот теперь начнется охота на полицейского инспектора...

Мы помолчали. Хозяин обкручивал меня бинтами, мне было больно, прямо тошнило от боли. Должно быть, этот подонок все-таки сломал мне ключицу. Радиоприемник хрипел и потрескивал, передавали местные новости. О лавине в Бутылочном Горлышке не было сказано ни слова. Потом хозяин отступил на шаг и критически оглядел дело рук своих.

— Ну, вот так будет достаточно прилично, — сказал он.

— Спасибо, — сказал я.

Он взял таз и деловито осведомился:

— Кого вам прислать?

— К чертям, — сказал я. — Спать хочу. Возьмите

винчестер, сядьте в холле и стреляйте в каждого, кто приблизится к этой двери. Мне нужно хоть часок поспать, иначе я сейчас упаду. Проклятые вурдалаки. Вонючие оборотни.

— У меня нет серебряных пуль, — кротко заметил хозяин.

— Так стреляйте свинцовыми, черт бы вас подрал! И прекратите разводить здесь ваши суеверия! Эта банда водит меня за нос, а вы им помогаете... Ставни у вас здесь есть на окне?

Хозяин поставил таз, молча подошел к окну и опустил железную штору.

— Так, — сказал я. — Хорошо... Нет, свет включать не надо... И вот еще что, Алек... Поставьте кого-нибудь... Симонэ или эту девчонку... Брюн... пусть следят за небом. Объясните им, что дело идет о жизни и смерти. Как только появится какой-нибудь самолет, пусть поднимают тревогу...

Хозяин кивнул, взял таз и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Хотите мой совет, Петер? — сказал он. — Последний.

— Ну?

— Отдайте вы им чемодан, и пусть они убираются с ним прямо в свой ад, откуда они вышли. Неужели вы не понимаете: единственное, что их

здесь держит, — это чемодан...

— Понимаю, — сказал я. — Уж это-то я понимаю очень хорошо. И именно поэтому я буду спать здесь на жестких стульях, упираясь головой в ваш проклятый сейф, и расстреляю серебряными пулями любую сволочь, которая попытается отобрать у меня чемодан. Если увидите Мозеса, передайте все это ему слово в слово. Выражений можете не смягчать. И скажите ему, что на стрелковых соревнованиях я брал призы именно с люгером калибра 0,45. Идите и оставьте меня в покое.

Глава пятнадцатая

Наверное, это был служебный проступок. Помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Я мог рассчитывать только на то, что Чемпиону сейчас не до Вельзевула. Наткнувшись вчера вечером на завал, он наверняка растерялся и впопыхах вполне мог наделать глупостей — вроде попытки захватить вертолет на Мюрском аэродроме. Я знал, что полиция давно следит за этим бандитом, и надежда моя имела некоторые основания. А кроме того, я больше просто не держался на ногах. Проклятый Филин меня доконал. Я расстелил газеты и какую-то отчетность перед сейфом, придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив люгер рядом с собою. Заснул я мгновенно, а когда проснулся, было уже начало первого.

В дверь негромко, но настойчиво стучали.

— Кто там? — гаркнул я, торопливо нащупывая рукоять люгера.

— Это я, — отозвался голос Симонэ. — Откройте, инспектор.

— Что, самолет?

— Нет. Но надо поговорить. Открывайте. Сейчас

не время спать.

Он был прав. Спать было не время. Хрустя зубами от боли, я поднялся — сначала на четвереньки, а потом, упираясь в сейф, на ноги. Плечо болело ужасно. Бинт сполз на глаза, подбородок распух. Я включил свет, оттащил конторку от двери и повернул ключ. Затем я отступил, держа люгер наготове.

Вид у Симонэ был непривычно торжественный и деловой, хотя чувствовалось в нем и какое-то скрытое возбуждение.

— Ого! — сказал он. — Вы тут как в крепости. И совершенно напрасно: никто на вас не собирается нападать.

— Этого я не знаю, — сказал я угрюмо.

— Да вы здесь ничего не знаете, — сказал Симонэ. — Пока вы дрыхли, инспектор, я выполнил за вас всю вашу работу.

— Да что вы говорите? — произнес я язвительно. — Неужели Мозес уже в наручниках, а его сообщница арестована?

Симонэ нахмурился. Куда девался унылый шалун, еще вчера беспечно бегавший по стенам?

— В этом нет никакой необходимости, — сказал он. — Мозес ни в чем не виновен. Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, инспектор.

— Только не рассказывайте мне о вурдалаках, — попросил я, усаживаясь на стул рядом с сейфом.

Симонэ усмехнулся.

— Никаких вурдалаков. Никакой мистики. Сплошная научная фантастика. Мозес — не человек, инспектор. Тут наш хозяин оказался прав. Мозес и Луарвик — это не земляне.

— Они прибыли к нам с Венеры, — сказал я понимающе.

— Этого я не знаю. Может быть, с Венеры, может быть, из другой планетной системы, может быть, из соседствующего пространства... Этого они не говорят. Важно то, что они — не люди. Мозес находится на Земле уже давно, больше года. Примерно полтора месяца назад он попал в лапы к гангстерам. Они его шантажировали, непрерывно держали на мушке. Ему еле-еле удалось вырваться и бежать сюда. Луарвик — что-то вроде пилота, он ведает переброской. Отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь. Но в десять часов вечера случилась какая-то авария, что-то у них там взорвалось в аппаратуре. В результате — обвал, и Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих... Им надо помочь, инспектор. Это просто наша обязанность. Если гангстеры поспеют сюда раньше полиции, они

их убьют.

— Нас тоже, — сказал я.

— Возможно, — согласился он. — Но это наше, земное дело. А если мы допустим убийство инопланетников, это будет позор.

Я смотрел на него и уныло думал: нет, слишком много все-таки сумасшедших в этом отеле. Вот вам и еще один псих.

— Короче, что вам от меня надо? — спросил я.

— Отдайте им аккумулятор, Петер, — сказал Симонэ.

— Какой аккумулятор?

— В чемодане — аккумулятор. Энергия для обоих роботов. Олаф не убит. Он вообще не живое существо. Он — робот, и госпожа Мозес тоже. Это роботы, им нужна энергия для того, чтобы они могли функционировать. В момент взрыва погибла их энергетическая станция, прекратилась подача энергии, и все их роботы в радиусе ста километров оказались, так сказать, обесточены. Некоторые, наверное, успели подключиться к своим портативным аккумуляторам. Госпожу Мозес подключил к аккумулятору сам Мозес... а я, если помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел...

— Ага, — сказал я. — Не успел он подключить-

ся, упал, да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на сто восемьдесят градусов...

— Вы совершенно напрасно язвите, — сказал Симонэ. — Это у них квазиагонические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы... Я ведь так и не успел вам сказать: у госпожи Мозес тоже была свернута шея...

— Ну ладно, — сказал я. — Квазимышцы, псевдосвязки... Вы же не мальчик, Симонэ, вы должны понимать: если пользоваться арсеналом мистики да фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет очень логично. Но разумные люди в такую логику не верят.

— Я ожидал этого возражения, Петер, — сказал Симонэ. — Все это очень легко проверить. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа. Ведь хотите же вы, чтобы Олаф снова был жив...

— Не пойдет, — сказал я сразу.

— Почему? Вы не верите — вам предлагают доказательства. В чем дело?

Я взялся за свою бедную забинтованную голову.

Действительно, в чем дело? Для чего я слу-

шаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу как доброго гражданина, обязанного содействовать закону. А Мозесов запереть в подвале. И Луарвика туда же. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит... И Барнстокров туда же, и Кайсу. И будем держаться. А в самом крайнем случае я этих Мозесов выдам. С Чемпионом шутки плохи. Дай бог, чтобы он согласился на переговоры...

— Ну, что же вы молчите? — сказал Симонэ. — Сказать нечего?

Но мне было что сказать.

— Я не ученый, — медленно проговорил я. — Я — полицейский чиновник. Слишком много вранья накручено вокруг этого чемодана... Погодите, не перебивайте. Я вас не перебивал... Я готов во все это поверить. Пожалуйста. Пусть Олаф и эта баба — роботы. Тем хуже. Госпожа Мозес уже совершила... то есть ее руками уже совершено несколько преступлений. Такие страшные орудия в руках гангстеров — слуга покорный. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил и госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудия преступления! Понимаете, что у вас получается?

Симонэ в затруднении похлопал себя по те-

мени.

— Слушайте, — сказал он. — Если налетят гангстеры, нам всем конец. Ведь вы наврали насчет почтовых голубей? На полицию ведь рассчитывать не приходится, так? А если мы поможем бежать Мозесу и Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста, — сказал я. — А у меня она будет замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам.

— Они не бандиты! — сказал Симонэ.

— Они бандиты! — сказал я. — Они самые настоящие гангстеры. Вы же сами слышали показания Хинкуса. Мозес был членом банды Чемпиона. Мозес организовал и произвел несколько преступно дерзких нападений, нанеся государству и частным лицам огромный урон. Если вам угодно знать, Мозесу полагается не менее двадцати пяти лет каторжной тюрьмы, и я обязан сделать все, чтобы он получил эти двадцать пять лет.

— Черт возьми, — сказал Симонэ. — Вы что, не понимаете? Его запутали! Его шантажом втянули в эту банду! У него не было никакого выхода!

— В этом будет разбираться суд, — сказал я холодно.

Симонэ откинулся на спинку кресла и посмот-

рел на меня прищурившись.

— А вы, однако, порядочная дубина, Глебски, — сказал он. — Не ожидал.

— Придержите язык, — сказал я. — Идите и занимайтесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственные удовольствия?

Симонэ покусал губу.

— Вот тебе и первый контакт, — пробормотал он. — Вот тебе и встреча двух миров.

— Не капайте мне на мозги, Симонэ, — сказал я зло. — И уходите отсюда. Вы мне надоели.

Он поднялся и пошел к двери. Голова его была опущена, плечи ссутулились. На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись:

— А ведь вы пожалеете об этом, Глебски. Вам будет стыдно, очень стыдно.

— Возможно, — сказал я сухо. — Это мое дело... Кстати, вы стрелять умеете?

— Да.

— Это хорошо. Возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять.

Он молча вышел. Я осторожно погладил вспухшее плечо. Ну и отпуск. И чем все это кончится — неясно. Черт побери, неужели это действительно пришельцы? Уж больно здорово все

совпадает... «Вам будет стыдно, Глебски»... Что ж, может быть, и будет. А что делать? Хотя в общем-то, какая мне разница, пришельцы они или нет? Где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки? Землянам, видите ли, не разрешается, а пришельцам — можно... Ладно. Что же мне все-таки делать? Того и гляди начнется осада, а гарнизон у меня совершенно ненадежный.

На всякий случай я снял телефонную трубку. Ничего. Мертвая тишина. Все-таки скотина этот Алек. Не мог запастись аварийной сигнализацией. А вдруг сейчас бы у кого-нибудь приступ аппендицита? Торгаш несчастный, только бы ему деньги тянуть с клиентов...

В дверь снова постучали, и я снова поспешно схватился за люгер. На этот раз меня почтил вниманием сам господин Мозес, собственной персоной, — он же оборотень, он же венерианец, он же старая брюква с неизменной кружкой в руке.

— Сядьте у двери, — сказал я. — Вон стул.

— Я могу и постоять, — пророкотал он, глядя на меня исподлобья.

— Дело ваше, — сказал я. — Что вам нужно?

Все так же вызверяясь, он отхлебнул из кружки.

— Какие вам еще нужны доказательства? —

спросил он. — Вы губите нас. Все это понимают. Все, кроме вас. Что вам от нас нужно?

— Кто бы вы ни были, — сказал я, — вы совершили ряд преступлений. И вы за них будете отвечать.

Он шумно потянул носом, подошел к стулу и сел.

— Конечно, мне, наверное, уже давно нужно было обратиться к вам, — сказал он. — Но я все время надеялся, что как-нибудь обойдется и мне удастся избежать контакта с официальными лицами. Если бы не эта проклятая авария, меня бы здесь уже давно не было. Не было бы никакого убийства. Вы нашли бы связанного Филина и размотали бы клубок всех преступлений, которые совершил Чемпион с моей помощью. Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я возмещаю их немедленно — я готов вручить вам ассигнации государственного банка общей суммой на миллион крон. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Что вам еще нужно?

Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником,

слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение, и, чтобы избавиться от этого наваждения, я сухо спросил:

— Это вы изгадили мой стол и наклеили записку?

— Да. Я боялся, что иначе записку сдует сквозняком. А главное, я хотел, чтобы вы сразу поняли, что это не мистификация.

— Золотые часы?..

— Тоже я. И браунинг. Мне нужно было, чтобы вы поверили, чтобы заинтересовались Хинкусом и арестовали его.

— Это было очень неуклюже сделано, — сказал я. — Все получилось наоборот. Я понял это так, что Хинкус — никакой не гангстер, а просто кому-то выгодно выдать его за гангстера.

— Да? — сказал Мозес. — Вот, значит, в чем дело... Ну что ж, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи... не для того я здесь...

Я снова ощутил прилив сочувствия и снова попытался взвинтить себя.

— Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул, — сказал я. — Ну, какой же вы к чертовой матери пришелец? Вы просто негодяй. Богатый, развратный, до предела обнаглевший негодяй. И притом еще пьяница...

Мозес отхлебнул из кружки.

— И роботы ваши... — продолжал я. — Самка из светского салона... Спортсмен-викинг... Роботы у вас не роботы, а какие-то, понимаете, половые неврастеники. Неужели вы хоть на секунду можете себе вообразить, что я поверю, будто это роботы?

— То есть вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей? — спросил Мозес. — Но согласитесь, нам иначе нельзя. Это довольно точные копии людей, которые существуют на самом деле. Почти двойники... — Он снова отхлебнул из кружки. — А что касается меня, инспектор, то я, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличье. К сожалению — потому что тогда бы вы сразу поверили мне.

— Рискните, — сказал я. — Покажитесь. Я как-нибудь переживу.

Он покачал головой.

— Во-первых, вряд ли вы так уж легко это переживете, — грустно сказал он. — А во-вторых, вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите, это трансляционное устройство. Но может быть, мне придется рискнуть — я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется,

что убедить вас иначе совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совсем ни при чем...

И тут я наконец рассвирепел.

— Куда отпущу? — заорал я. — Разве я вас держу? Что вы мне все врете? Если вам нужно было уйти, вы бы давно ушли! Перестаньте врать, говорите правду: что это за чемодан? Что в нем? Вы мне долбите, что вы пришельцы. А я склонен полагать, что вы просто банда иностранных шпионов, укравших ценную аппаратуру...

— Нет! — сказал Мозес. — Нет! Все совсем не так. Наша станция разрушена, ее может починить только Олаф. Он — робот-смотритель этой станции, понимаете? Конечно, мы бы ушли давным-давно, но куда нам идти? Без Олафа мы совершенно беспомощны, а Олаф выключен, и вы не даете нам аккумулятор!

— И опять вранье! — сказал я. — Госпожа Мозес ведь тоже робот, как я понял! У нее, как я понял, тоже есть аккумулятор...

Он закрыл глаза и замотал головой, так что затряслись землистые его щеки.

— Ольга — простое рабочее устройство. Носильщик, землекоп, телохранитель... Ну неужели

вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать... ну, я не знаю... грубый трактор, например, и телевизор... Это же принципиально разные системы...

— У вас на все готов ответ, — угрюмо сказал я. — Но я не эксперт. Я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона, вот и все. Кто бы вы ни были на самом деле, вы находитесь на территории моей страны и подлежите ее юрисдикции. — Я встал. — С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен запирать вас, я догадываюсь, что это бессмысленно. Но если вы попытаетесь бежать, я буду стрелять. И напоминаю: все, что вы с этой минуты скажете, может быть обращено против вас на суде.

— Так, — сказал он, помолчав. — Со мной вы решили. Пусть будет так. — Он отхлебнул из кружки. — Ну, а Луарвик-то в чем виноват? Против него-то вы ничего не можете иметь... Заприте меня и отдайте чемодан Луарвику. Пусть по крайней мере хоть он спасется...

Я снова сел.

— Спасется... При чем здесь — спасется? Почему это вы так уверены, что Чемпион настигнет вас?

Может быть, он давным-давно лежит под обвалом... может быть, его уже сцапали... да и самолет достать не так-то легко... Если вы действительно невиновны, то почему вы так паникуете? Подождите сутки-другие. Прибудет полиция, я сдам вас на руки властям, власти соберут экспертов, специалистов...

Он затряс щеками.

— Плохо, не годится. Во-первых, мы не имеем права входить в организованный контакт. Я здесь всего-навсего наблюдатель. Я наделал ошибок, но все это поправимые ошибки... Неподготовленный контакт может иметь и для вашего, и для нашего мира самые ужасные последствия... Но даже не это сейчас самое главное, инспектор. Я боюсь за Луарвика. Он не кондиционирован для ваших условий, никогда не предполагалось, что ему потребуется провести на вашей планете более суток. А у него вдобавок поврежден скафандр, вы же видите — нет руки... Он уже отравлен... он слабеет с каждым часом...

Я стиснул зубы. Да, у него на все был готов ответ. Мне не за что зацепиться. Мне ни разу не удалось поймать его. Все было безукоризненно логично. Я был вынужден признать, что, если бы речь не шла обо всех этих скафандрах, контактах и

псевдомышцах, такие показания удовлетворили бы меня полностью. Я испытывал жалость и был склонен идти навстречу, я терял непредубежденность...

В самом-то деле. Юридические претензии у меня были только к Мозесу. Луарвик был формально чист. Конечно, он тоже мог быть сообщником, но... Настоящий уголовник никогда не предложит себя в заложники. Мозес предлагал. Ну хорошо, запереть Мозеса и... Что «и»? Отдать Луарвику аппарат? Что я знаю про этот аппарат? Только то, что мне сказал Мозес. Да, все, что говорит Мозес, звучит правдоподобно. А если это просто удачная интерпретация совершенно иных обстоятельств? Если я просто не нашел вопроса, который бы разрушил эту удачную интерпретацию?..

Если отбросить все слова, правдивы они или нет, — налицо два несомненных факта. Закон требует, чтобы я задержал этих людей впредь до выяснения обстоятельств. Вот факт номер один. А вот факт номер два: эти люди хотят уйти. Неважно, от чего они в действительности хотят уйти — от закона, от гангстеров, от преждевременного контакта или еще от чего-нибудь... Они хотят уйти.

Вот два факта, и они абсолютно противостоят

друг другу...

— Что там у вас вышло с Чемпионом? — угрюмо спросил я.

Он исподлобья взглянул на меня, лицо его перекосилось. Потом он опустил глаза и стал рассказывать.

Если отвлечься от зомбизма-момбизма и всяких там псевдосвязок, это была совершенно банальная история вполне заурядного шантажа. Примерно два месяца назад господин Мозес, у которого были достаточно веские основания скрывать от официальных лиц не только свои истинные занятия, но и самый факт своего существования, начал ощущать признаки назойливого и пристального внимания к своей особе. Он попытался переменить местожительство. Это не помогло. Он попытался отпугнуть преследователей. Это тоже не помогло. В конце концов, как это всегда бывает, к нему явились и предложили полюбовную сделку. Он окажет посильное содействие в ограблении Второго Национального, ему заплатят за это молчанием. Разумеется, его заверили, что беспокоят его в первый и последний раз. Как водится, он отказывался. Как водится, они настаивали. Как водится, он в конце концов согласился.

Мозес утверждал, что иного выхода у него не было. Смерти как таковой он не боялся: они там все умеют преодолевать страх смерти. На этом этапе он мог даже не особенно опасаться попыток разоблачения: свернуть свои мастерские и остаться просто богатым бездельником ему ничего не стоило, а свидетельства агентов Чемпиона, пострадавших при столкновении с роботами, вряд ли были бы приняты всерьез. Но и смерть, и разоблачение грозили надолго приостановить громадную работу, которая была успешно начата несколько лет назад. Короче говоря, он рискнул уступить Чемпиону, тем более что убытки, понесенные Вторым Национальным, ему нетрудно было бы впоследствии возместить чистым золотом.

Дельце провернули, и Чемпион действительно исчез с горизонта. Впрочем, всего на месяц. Через месяц он объявился вновь. На этот раз шла речь о броневике с золотом. Но теперь положение существенно изменилось. Мудрый Чемпион предъявил злосчастной жертве показания восьми свидетелей, исключавшие для Мозеса хоть какую-нибудь возможность алиби, плюс кинопленку, на которой была запечатлена вся процедура ограбления банка, — не только три

или четыре гангстера, готовых пойти на отсидку за приличный гонорар, но и Ольга с сейфом под мышкой, и сам Мозес с неким аппаратом («форсаж-генератором») в руках. В случае отказа Мозесу грозила уже не дешевая газетная шумиха. Теперь ему грозило формальное судебное преследование, а значит, и полное разоблачение всех его тайн, а значит, преждевременный контакт на чудовищно невыгодных для его стороны условиях. Как и многие другие жертвы шантажа, уступая в первый раз, Мозес всего этого не предусмотрел.

Положение было ужасно. Отказ означал преступление перед своими. Согласие ничего не меняло в его положении, потому что теперь-то он понимал, какая железная рука держит его за горло. Бежать в другой город, в другую страну не имело смысла: он уже убедился, что рука у Чемпиона не только железная, но и длинная. Немедленно бежать с Земли он тоже не мог: подготовка транспорта требовала десяти-двенадцати земных суток. Тогда он связался со своими и потребовал эвакуации в кратчайшие сроки. Да, он был вынужден совершить еще одно преступление — теперь это означало только увеличение долга, лишние триста тридцать пять килограммов золота, стоимость необходимой отсрочки.

Когда подошло время, он бежал, обманув агентуру Чемпиона своим двойником. Он знал, что за ним будет погоня, он знал, что хинкусы рано или поздно нападут на его след, — он только надеялся, что ему удастся опередить их...

— Вы можете верить или не верить, инспектор, — закончил Мозес. — Но я хочу, чтобы вы поняли: есть всего две возможности. Либо вы отдаете нам аккумулятор, и тогда мы попытаемся спастись. Повторяю, в этом случае все убытки, понесенные вашими согражданами, будут полностью возмещены. Либо... — Он отхлебнул из кружки. — Постарайтесь, пожалуйста, это понять, инспектор. Я не имею права попасть живым в руки официальных лиц. Понимаете, это мой долг. Я не могу рисковать будущим наших миров. Это будущее еще только начинается. Я провалился, но я ведь первый, а не последний наблюдатель на вашей Земле. Это вы понимаете, инспектор?

Я понимал только одно: дело мое дрянь.

— Чем вы, собственно, здесь занимаетесь? — спросил я.

Мозес покачал головой.

— Я не могу вам этого сказать, инспектор. Я исследовал возможности контакта. Я его готовил. А конкретно... Да это к тому же и очень сложно,

инспектор. Вы ведь не специалист.

— Идите, — сказал я. — И позовите сюда Луарвика.

Мозес грузно поднялся и вышел. Я оперся локтями на стол и положил голову на руки. Люгер приятно холодил правую щеку. Мельком я подумал, что таскаюсь теперь с этим люгером, как Мозес со своей кружкой. Я был смешон. Я был жалок. Я ненавидел себя. Я ненавидел Згута с его дружескими советами. Я ненавидел всю эту банду, собравшуюся здесь. Верить или не верить... В том-то и дело, черт возьми, что я верил. Я не первый год работаю, я чувствую, когда люди говорят правду. Но ведь люди же, люди! А если я поверил, то они для меня уже не люди!.. Да я просто не имею права верить. Это просто самоубийство — верить! Это значит — взять на себя такую ответственность, на которую я не имею никакого права, которой я не хочу, не хочу, не хочу... Она раздавит меня, как клопа! Представить было страшно, что станут говорить в Управлении об этой истории. Ловец Привидений, Охотник за Пришельцами... Ладно, Хинкуса я, во всяком случае, поймал. И Мозеса я тоже не выпущу! Пусть будет что будет, а тайна Второго Национального и тайна золотого броневика раскрыты. Вот так-то.

А если здесь замешана межпланетная политика, так я — простой полицейский, пусть политикой занимается тот, кому это положено... В обморок бы сейчас брякнуться, подумал я с тоской. И пусть делают что хотят...

Дверь скрипнула, и я встрепенулся. Но это был не Луарвик. Вошли Симонэ и хозяин. Хозяин поставил передо мной чашку кофе, а Симонэ взял у стены стул и уселся напротив меня. Мне показалось, что он сильно осунулся и даже как-то пожелтел.

— Ну, что вы надумали, инспектор? — спросил он.

— Где Луарвик? Я вызывал Луарвика.

— Луарвику совсем плохо, — сказал Симонэ. — Мозес делает ему какие-то процедуры. — Он неприятно оскалился. — Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего два дня, но никак не мог ожидать, что вы окажетесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами.

Свободной рукой я взял чашку, поднес ее ко рту и поставил обратно. Не мог я больше пить кофе. Меня уже тошнило от кофе.

— Отстаньте вы от меня. Все вы болтуны. Алек заботится только о своем заведении, а вы, Симонэ,

просто интеллектуал на отдыхе...

— А вы-то? — сказал Симонэ. — Вы-то о чем заботитесь? Бляху лишнюю вам захотелось на мундир?

— Да, — холодно сказал я. — Бляху. Люблю, знаете ли, бляхи.

— Вы мелкая полицейская сошка, — сказал Симонэ. — В кои-то веки судьба вам бросила кусок. В первый и последний раз в жизни. Звездный час инспектора Глебски! В ваших руках оказалось действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый...

— Заткнитесь, — сказал я устало. — Перестаньте болтать и хоть минуту просто подумайте. Оставим в стороне то, что Мозес — обыкновенный преступник. Вы, я вижу, ни черта не смыслите в законе. Вы, кажется, воображаете, будто существует один закон для людей и другой закон для вурдалаков. Но оставим в стороне все это. Пусть они пришельцы. Пусть они жертвы шантажа. Великий контакт... — Я вяло помахал рукой с люгером. — Дружба миров и так далее... Вопрос: что они делают у нас на Земле? Мозес сам признался, что он наблюдатель. За чем он, собственно, наблюдает? Что им здесь понадобилось?.. Не скальтесь, не скальтесь... Мы здесь с вами занима-

емся фантастикой, а в фантастических романах, насколько я помню, пришельцы на Земле занимаются шпионажем и готовят вторжение. Как, по вашему мнению, в такой ситуации должен поступать я, чиновник с золотыми пуговицами? Должен я исполнить свой долг или нет? А вы сами, Симонэ, как землянин, что вы думаете о своем долге?

Симонэ молча щерился, уставясь на меня. Хозяин прошел к окну и поднял штору. Я оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Хозяин ответил не сразу. Прижимаясь лицом к стеклу, он оглядывал небо.

— Да вот все посматриваю, Петер, — медленно сказал он, не оборачиваясь. — Жду, Петер, жду... Вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там, на снегу, она прямо готовая мишень... Меня она не слушает...

Я положил люгер на стол, взял чашку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. Готовая мишень... Все мы здесь — готовые мишени... И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я открыл глаза и дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание.

— Ничего, Петер, ничего, — ласково сказал хозяин. — Потерпите.

Симонэ с озабоченным и виноватым видом уже засовывал люгер к себе в карман.

— Предатели!.. — сказал я с удивлением.

— Нет-нет, Петер, — сказал хозяин. — Надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая.

Симонэ, осторожно зайдя сбоку, похлопал меня по карману. Ключи звякнули. Заранее покрывшись потом в ожидании жуткой боли, я рванулся изо всех сил. Это ничем не кончилось, и, когда я опомнился, Симонэ уже выходил из комнаты с чемоданом в руке. Хозяин, все еще придерживая меня за локти, тревожно говорил ему вслед:

— Поторапливайтесь, Симонэ, поторапливайтесь, ему плохо...

Я хотел заговорить, но у меня перехватило горло, и я только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился надо мной.

— Господи, Петер, — проговорил он, — на вас лица нет...

— Бандиты... — прохрипел я. — Арестанты...

— Да, да, конечно, — покорно согласился хозяин. — Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь... ведь

вам же очень больно, а я вас пока все равно не выпущу...

Да, не выпустит. Я и раньше видел, что он здоровый медведь, но такой хватки все-таки не ожидал. Я откинулся на спинку стула и перестал сопротивляться. Меня мутило, тупое безразличие овладело мною. И где-то на самом донышке души слабо тлело чувство облегчения — ситуация больше не зависела от меня, ответственность взяли на себя другие. По-видимому, я снова потерял сознание, потому что оказался вдруг на полу, а хозяин стоял рядом со мной на коленях и смачивал мне лоб мокрой ледяной тряпкой. Едва я открыл глаза, он поднес к моим губам горлышко бутылки. Он был очень бледен.

— Помогите мне сесть, — сказал я.

Он беспрекословно повиновался. Дверь была распахнута настежь, по полу тянуло холодом, слышались возбужденные голоса, потом что-то грохнуло, затрещало. Хозяин болезненно сморщился.

— Проклятый сундук, — произнес он сдавленным голосом. — Опять они мне косяк развороти...

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!..

Голос Симонэ прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клекота и свиста. И стало тихо. Я поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом, широкое лицо его было белое и рыхлое, как вата, по лбу стекал пот. Он беззвучно шевелил губами — наверное, молился.

Мы вышли в пустой холл, по которому гулял ледяной ветер, и хозяин пробормотал: «Давайте выйдем, Петер, вам надо подышать свежим воздухом...» Я оттолкнул его и двинулся к лестнице. Мимоходом я с глубоким злорадством отметил, что входная дверь снесена начисто. На лестнице, на первых же ступеньках, мне стало дурно, и я вцепился в перила. Хозяин попытался поддержать меня, но я снова отпихнул его здоровым плечом и сказал: «Убирайтесь к черту, слышите?..» Он исчез. Я медленно пополз по ступенькам, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и побрел в свой номер. Дверь номера Олафа была распахнута настежь, там было пусто, резкий аптечный запах расползался по коридору. Добраться бы до дивана, думал я. Только бы добраться до

дивана и лечь... И тут я услышал крик.

— Вот они!.. — завопил кто-то. — Поздно! Будь оно все проклято, поздно!..

Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилось, и вдруг я услышал ровное далекое гудение. Тогда я повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице.

Вся широкая снежная долина распахнулась передо мной. Я зажмурился от солнечного блеска, а потом различил две голубоватые, совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, я увидел четкие, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. У меня отличное зрение, я хорошо видел их, и это было самое дикое и нелепое зрелище, какое я помню.

Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским черным сундуком под мышкой, а на плечах ее грузно восседал сам старый Мозес. Правее и чуть отставая, ровным финским шагом несся Олаф с Луарвиком на спине. Билась по ветру широкая юбка госпожи Мозес, вился пустой рукав Луарвика, и старый Мозес, не останавливаясь ни на секунду, страшно и яростно работал многохвостой плетью. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез,

сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет.

Вся долина была наполнена мощным ровным гулом, вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, спускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, а потом кубарем покатился по снегу Мозес, а Симонэ рвал на мне воротник и рыдал мне в ухо: «Видишь? Видишь? Видишь?..» А потом вертолет повис над неподвижными телами и медленно опустился, скрыв от нас и тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто еще пытался ползти... Снег закрутился вихрем от его винтов, сверкающая белая туча горбом встала на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и Алек сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симонэ все рыдал, все кричал мне: «Добился! Добился своего, дубина, убийца!..»

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и

жалобно завыл Лель.

Эпилог

С тех пор прошло более двадцати лет. Вот уже год, как я в отставке. У меня внуки, и я иногда рассказываю младшенькой эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно: пришельцы благополучно отбывают домой в своей прекрасной сверкающей ракете, а банду Чемпиона благополучно захватывает подоспевшая полиция. Сначала пришельцы отбывали у меня на Венеру, а потом, когда на Венере высадились первые экспедиции, мне пришлось перенести господина Мозеса в созвездие Волопаса. Впрочем, не об этом речь.

Сначала факты. Бутылочное Горлышко расчистили через два дня. Я вызвал полицию и передал ей Хинкуса, миллион сто пятнадцать тысяч крон и свой подробный отчет. Но следствие, надо сказать, кончилось ничем. Правда, в разрытом снегу было найдено более пятисот серебряных пуль, однако вертолет Чемпиона, забравший все трупы, исчез бесследно. Через несколько недель супружеская чета туристов-лыжников, путешествовавших неподалеку от нашей долины, сообщила, что они видели, как какой-то вертолет

прямо у них на глазах упал в озеро Трех Тысяч Дев. Были организованы розыски, однако ничего интересного обнаружить не удалось. Глубина этого озера, как известно, достигает местами четырехсот метров, дно его ледяное, и рельеф дна постоянно меняется. Чемпион, по-видимому, погиб — во всяком случае на уголовной сцене он больше не появлялся. Банда его, благодаря Хинкусу, который торопился спасти свою шкуру, была частично отловлена, а частично рассеялась по всей Европе. Гангстеры, попавшие под следствие, ничего существенного к показаниям Хинкуса не добавили — все они были убеждены, что Вельзевул был колдуном или даже самим дьяволом и что их бывший главарь погиб, откусив кусок не по глотке. Симонэ считал, что один из роботов, уже в вертолете, очнулся и в последней вспышке активности сокрушил все, до чего мог дотянуться. Очень может быть, и если это так, то не завидую я Чемпиону в его последние минуты...

Симонэ сделался тогда главным специалистом по этому вопросу. Он создавал какие-то комиссии, писал в газеты и журналы, выступал по телевидению. Оказалось, что он и в самом деле был крупным физиком, но это нисколько ему не помогло. Ни огромный его авторитет не помог,

ни прошлые заслуги. Не знаю, что о нем говорили в научных кругах, но никакой поддержки там он, по-моему, не получил. Комиссии, правда, функционировали, всех нас, даже Кайсу, вызывали в качестве свидетелей, однако ни один научный журнал, насколько мне известно, не опубликовал по этому поводу ни строчки. Комиссии распадались, снова возникали, то объединялись с Обществом исследования летающих тарелок, то отмежевывались от него, материалы комиссий то засекречивались властями, то вдруг начинали широко публиковаться, десятки и сотни халтурщиков вились вокруг этого дела, вышло несколько брошюр, написанных фальшивыми свидетелями и подозрительными очевидцами, и кончилось все это тем, что Симонэ остался один с кучкой энтузиастов — молодых ученых и студентов. Они совершили несколько восхождений на скалы в районе Бутылочного Горлышка, пытаясь обнаружить остатки разрушенной станции. Во время одного из этих восхождений Симонэ погиб. Найти так ничего и не удалось.

Все остальные участники описанных выше событий живы до сих пор. Недавно я прочитал о чествовании дю Барнстокра в Международном обществе иллюзионистов — старику исполнилось

девяносто лет. На чествовании «присутствовала очаровательная племянница юбиляра Брюнхилд Канн с супругом, известным космонавтом Перри Канном». Хинкус отсиживает свою бессрочную и ежегодно пишет прошение об амнистии. В начале срока на него было сделано два покушения, он был ранен в голову, но как-то вывернулся. Говорят, он пристрастился вырезать по дереву и неплохо прирабатывает. Тюремная администрация им довольна. Кайса вышла замуж, у нее четверо детей. В прошлом году я ездил к Алеку и видел ее. Она живет в пригороде Мюра и очень мало изменилась — все так же толста, все так же глупа и смешлива. Я убежден, что вся трагедия прошла совершенно мимо ее сознания, не оставив никаких следов.

С Алеком мы большие друзья. Отель «У Межзвездного Зомби» процветает — в долине теперь уже два здания, второе построено из современных материалов, изобилует электронными удобствами и совсем мне не нравится. Когда я приезжаю к Алеку, я всегда поселяюсь в своем старом номере, а вечера мы проводим, как встарь, в каминной, за стаканом горячего портвейна со специями. Увы, одного стакана теперь хватает на весь вечер. Алек сильно высох и отпустил бороду, нос у

него стал бордовый, но он по-прежнему любит говорить глухим голосом и не прочь подшутить над гостями. Он, как и раньше, увлекается изобретательством и даже запатентовал новый тип ветряного двигателя. Диплом на изобретение он держит под стеклом над своим старым сейфом в старой конторе. Вечные двигатели обоих родов все еще не запущены; впрочем, дело за деталями. Насколько я понял, для того, чтобы его вечные двигатели работали действительно вечно, необходимо изобрести вечную пластмассу. Мне всегда очень хорошо у Алека — так спокойно, уютно. Но однажды он шепотом признался мне, что постоянно держит теперь в подвале пулемет Брена — на всякий случай.

Я совсем забыл упомянуть о сенбернаре Леле. Лель умер. Просто от старости. Алек любит рассказывать, что этот удивительный пес незадолго до смерти научился читать.

А теперь обо мне. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос: прав я был или нет? Формально я был прав, начальство признало мои действия соответствующими обстановке, только начальник статского

управления слегка побранил меня за то, что я не отдал чемодан сразу и тем самым подвергнул свидетелей излишнему риску. За поимку Хинкуса и за спасение миллиона с лишним крон я получил премию, а в отставку вышел в чине старшего инспектора — предел, на который я только и мог рассчитывать. Мне пришлось немало помучиться, пока я писал отчет об этом странном деле. Я должен был исключить из официальной бумаги всякий намек на мое субъективное отношение, и в конце концов это мне, по-видимому, удалось. Во всяком случае, я не стал ни посмешищем, ни человеком с репутацией фантазера. Конечно, в отчете многого не было. Как можно было описать в полицейской бумаге эту жуткую гонку на лыжах через снежную равнину? Когда при простуде у меня поднимается температура, я снова и снова вижу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клекот... Нет, формально все обошлось. Правда, товарищи иногда посмеивались надо мной под веселую руку, однако чисто дружески, без зла и язвительности. Згуту я рассказал больше, чем другим. Он долго размышлял, скреб железную свою щетину, вонял трубкой, но так ничего путного и не сказал, только пообещал мне, что дальше него эта история

не пойдет. Неоднократно я заводил разговор на эту тему с Алеком. Каждый раз он отвечал мне односложно и только однажды, пряча глаза, признался, что тогда его больше всего интересовала целость отеля и жизнь клиентов. Мне кажется, потом он стыдился этих слов и жалел о своем признании. А Симонэ до самой своей гибели так и не сказал мне ни слова.

Наверное, они все-таки действительно были пришельцами. Никогда и нигде я не выражал своего личного мнения по этому поводу. Выступая перед комиссиями, я всегда строго придерживался сухих фактов и того отчета, который представил своему начальству. Но теперь я почти не сомневаюсь. Раз люди высадились на Марсе и Венере, почему бы не высадиться кому-нибудь и у нас, на Земле? И потом, просто невозможно придумать другую версию, которая объясняла бы все темные места этой истории. Но разве дело в том, что они были пришельцами? Я много думал об этом и теперь могу сказать: да, дело только в этом. Они, бедняги, попались как кур в ощип, и обойтись с ними так, как обошелся я, было, пожалуй, слишком жестоко. Наверное, все дело в том, что они прилетели не вовремя и встретились не с теми людьми, с которыми им следовало бы

встретиться. Они встретились с гангстерами и с полицией... Ну, ладно. А если бы они встретились с контрразведкой или военными? Было бы им лучше? Вряд ли...

Совесть у меня болит, вот в чем дело. Никогда со мной такого не было: поступал правильно, чист перед Богом, законом и людьми, а совесть болит. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них и просить, чтобы они простили меня. Мысль о том, что кто-то из них, может быть, еще бродит среди людей, замаскированный, неузнаваемый, мысль эта не дает мне покоя. Я даже вступил было в Общество имени Адама Адамского, и они вытянули из меня массу денег, прежде чем я понял, что все это только болтовня и что никогда не помогут они мне найти друзей Мозеса и Луарвика...

Да, они пришли к нам не вовремя. Мы не были готовы их встретить. Мы не готовы к этому и сейчас. Даже сейчас и даже я, тот самый человек, который все это пережил и передумал, снова столкнувшись с подобной ситуацией, прежде всего спрошу себя: а правду ли они говорят, не скрывают ли чего-нибудь, не таится ли в их появлении какая-то огромная беда? Я-то старый человек, но у меня, видите ли, есть внучки...

Когда мне становится совсем уж плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что, если бы я даже не чинил препятствий Мозесу и всем им удалось бы уйти, это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. Все это совершенно правильно. Я сам научил ее говорить так, только теперь она уже забыла об этом, и ей кажется, что это ее собственная мысль. И все-таки от ее утешений мне становится немножко легче. Но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симонэ до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним — и на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседаниях многих комиссий, и он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного.

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

— Как живете, караси?

— Ничего себе, мерси.

В. Катаев. «Радиожираф»

...Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)

Часть первая. Мусорщик

Глава первая

Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова.

Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом, под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами; темные клочья пыльной паутины под сводами; непристойные женские изображения в натуральную величину; а около дверей в дворницкую — беспорядочная

толпа пустых бутылок и банок из-под компота, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль...

Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте.

— Да бросьте вы копаться, Ван, — раздраженно произнес Дональд. — Каждый раз вы копаетесь. Все равно ведь чище не будет.

— Дворник должен быть метущий, — наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям: ему показалось, что он немного растянул сухожилие.

— Ведь все равно же опять навалят, — сказал Дональд с ненавистью. — Мы и обернуться не успеем, а уже навалят больше прежнего.

Ван ссыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку.

— Можно, — сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил: — Я только хотел бы напомнить вам...

— Давайте, давайте! — нетерпеливо прикрикнул Дональд.

Раз-два. Андрей и Ван рывком подняли бак.

Три-четыре. Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на десять, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами.

— Мать вашу в бога, в душу и святаго духа, — сказал Андрей, едва успевший отскочить. — Руки ваши дырявые!..

— Я только хотел напомнить, — кротко проговорил Ван, — что у этого бака отломана ручка.

Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен.

— Проклятье... — пробормотал он глухо. — Проклятая подлость.

С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь — в особенности. Поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд

молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал:

— Жили-были в одном городишке два ассенизатора — отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы с жижицей. И они это дерьмо вычерпывали ведром и заливали в свою бочку, причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: «Чучело ты, — говорит, — огородное, тундра! Никакого толку в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь».

Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал: «Всех ям не выгребешь». А Ван, возившийся возле бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил:

— А почем оно у вас?

— Что — почем? — не понял Андрей.

— Дерьмо. Дорого?

Андрей неуверенно хохотнул.

— Да как тебе сказать... Смотря чье...

— Разве оно у вас разное? — удивился Ван. — У нас — одинаковое. А чье у вас самое дорогое?

— Профессорское, — немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться.

— А! — Ван высыпал в бак очередной совок и покивал. — Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна — пять юаней за ведро. Это — в Сычуани. А в Цзянси, например, цены доходили до семи и даже до восьми юаней.

Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожниться на огороде хозяина, однако спрашивать это было, конечно, неловко.

— А как у нас сейчас, я не знаю, — продолжал Ван. — Последнее время я не жил в деревне... А почему профессорское ценится у вас дороже?

— Это я пошутил, — сказал Андрей виновато. — У нас этим делом вообще не торгуют.

— Торгуют, — сказал Дональд. — Вы даже этого не знаете, Андрей.

— А вы даже это знаете, — огрызнулся Андрей.

Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом

в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и понятия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Да шли бы вы с вашей херстовиной!» — отмахивался он. Но потом появился этот недоносок Изя Кацман, и Андрей спорить перестал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое он объяснял тем обстоятельством, что он-то пришел сюда из пятьдесят первого года, а эти двое — из шестьдесят седьмого.

— Счастливый вы человек, — сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины.

Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. Ну, и не знаю, думал он. Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах? Или, скажем, о постоянной Хаббла? Мало ли кто чего не знает...

Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кэнси Убукаты.

— Сюда, пожалуйста, — сказал он кому-то через

плечо и двумя пальцами откозырял Андрею. — Привет, мусорщики!

Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с Кэнси. Была она совсем молоденькая, лет двадцати, не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка, на бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи.

— Не пугайтесь, — вежливо улыбаясь, сказал ей Кэнси. — Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны... Ван, — позвал он. — Это Сельма Нагель, новенькая. Приказано поселить у тебя в восемнадцатом номере. Восемнадцатый свободен?

Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним.

— Свободен, — сказал он. — Давно уже свободен. Здравствуйте, Сельма Нагель. Я — дворник, меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот — дверь в дворницкую, приходите сюда.

— Давай ключ, — сказал Кэнси. — Пойдемте, я вас провожу, — сказал он девушке.

— Не надо, — проговорила она устало. — Сама найду.

— Как угодно, — сказал Кэнси и снова откозырял. — Вот ваш чемодан.

Девушка взяла у Кэнси чемодан, а у Вана — ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила:

— Который подъезд?

— Прямо, — сказал Ван. — Вон тот, под освещенным окном. Пятый этаж. Может быть, вы хотите есть? Чаю?

— Нет, не хочу, — сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея.

Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу, юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из-под арки в темноту двора, и в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги.

Потом заныла, завизжала и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице, ступенька за ступенькой... гладкие икры, ямочки под коле-

нями, обалдеть можно... Как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью восемнадцатой квартиры — как раз напротив шестнадцатой квартиры... ч-черт, надо хоть белье постельное переменить, три недели уже не менял, наволочка серая сделалась, как портянка... А какое у нее лицо? Надо же — совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и запомнил.

Он вдруг осознал, что молчат все, даже женатый Ван, и в ту же секунду заговорил Кэнси:

— У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки. Бывший полковник бывшей императорской армии. Сначала он был адъютантом господина Осимы и два года просидел в Берлине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу...

Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов.

— ...Потом, — продолжал Кэнси неторопливо, закуривая сигаретку, — он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на Кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и был одним из организаторов знаменитого «марша смерти»

пяти тысяч американских военнопленных — извините меня, Дональд... Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона, где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал восемь тысяч китайских рабочих... извини меня, Ван... Потом он попал к русским в плен, и они, вместо того чтобы повесить его или, что то же самое, передать его Китаю, всего-навсего упрятали его на десяток лет в концлагерь...

Пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной; и Ван, широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век; и Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно, очень

нужное дело, каждый на своем посту.

— ...Теперь он уже старый человек, — закончил Кэнси. — И он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал, — это русские женщины. Эмигрантки в Харбине.

Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета.

Андрей сказал:

— Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель.

— Да, она шведка, — сказал Кэнси. — Но все равно. Это был рассказ по ассоциации.

— Ладно, поехали, — сказал Дональд и полез в кабину.

— Слушай, Кэнси, — сказал Андрей, берясь за дверцу. — А кем ты был раньше?

— Контролером на литейном заводе, а до того — министром коммунального...

— Да нет, не здесь, а там...

— А-а, там? Там я был литсотрудником в издательстве «Хаякава».

Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма.

— У вас правый подфарник не горит! — крикнул Кэнси.

— Он у нас сроду не горел, — отозвался Андрей.

— Так почините! Еще раз увижу — оштрафую!

— Понасажали вас на нашу голову...

— Что? Не слышу!

— Бандитов, говорю, лови, а не шоферов! — проорал Андрей, стараясь перекричать лязг и дребезг. — Дался тебе наш подфарник! И когда только вас всех разгонят, дармоедов!

— Скоро! — крикнул Кэнси. — Теперь уже скоро — не пройдет и ста лет!

Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на Главную улицу и круто повернул направо.

Устраиваясь поудобнее, так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола в зад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мочь. Он всегда ездил так, «с максимально разрешенной скоростью», не думая даже тормозить перед частыми выбоинами на асфальте, и на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот,

а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал, тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел.

— Что это с вами, Дон? — спросил Андрей наконец. — Зубы болят?

Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил.

— Правда, вы какой-то сам не свой последние дни. Я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно?

— Бросьте, Андрей, — проговорил Дональд сквозь зубы. — При чем здесь вы?

И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное: где уж тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?.. Но тут Дональд заговорил снова:

— Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас. Или сквозь вас. А по мне это идет, как паровой каток. Ни одной целой кости не осталось.

— О чем вы? Ничего не понимаю.

Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него, невидящими глазами поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстроенно сказал:

— Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет...

— Потому я вам и завидую, — жестко сказал Дональд. — И хватит об этом. Не обращайте внимания.

— То есть как не обращать внимания? — сказал Андрей, совсем расстроившись. — Как это я могу не обращать внимания? Мы здесь все вместе... вы, я, ребята... Конечно, дружба — это большое слово, слишком большое... ну, просто товарищи... Я бы, например, рассказал, если что... Ведь никто же не откажется помочь! Ну, сами скажите: если бы со мной что-нибудь случилось и я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали? Ведь не отказали бы, верно?

Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке. Просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра? Просто у него самолюбие взыг-

рало. Все-таки как-никак профессор социологии, а тут баки с мусором, а до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему это неприятно и обидно, тем более что никому об этих обидах не расскажешь — никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно... Это только сказать просто: выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили... Ну и ладно. И хватит об этом. Сам справится.

А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана, и здания по сторонам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно, на мостовой и на тротуарах не было ни души, даже дворники почему-то не попадались, только на углу Семнадцатого переулка, перед приземистой неуклюжей гостиницей, известной более под названием «Клопиный вольер», стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, закутавшись с головой в брезент. Было четыре часа ночи — время самого крепкого сна, и ни одно окно не светилось в черных этажах.

Впереди слева из подворотни высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывер-

нув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал, где ему было тягаться с Дональдом, — так, посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в Горелых кварталах, и вовремя, потому что сразу за Горелыми кварталами начался булыжник, и Дональду пришлось-таки снизить скорость, чтобы старикашка невзначай не развалился.

Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые, — они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский, который попросил подбросить его до Капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет.

Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно крутил носом, словно бог весть что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом, и Андрей вспомнил, что эта часть Города уже

отключена от водопровода.

Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из оперетки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и Второй Левой нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали.

— Плохо работаете, — зло сказал ему Андрей.

Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее: сразу было видно, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый, и убийцы.

Полицейский озадаченно повернул широкую ряшку и спросил:

— Ты, что ли, меня учить будешь, как работать?

— Может быть, и я, — сказал Андрей.

Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал:

— Учителей-то, учителей!.. Куда ни харкни — везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже возит, а все учит.

— Я тебя не учу... — начал было Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему не дал.

— Вот вернусь сейчас в участок, — спокойно сообщил он, — и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него,

понимаешь, не горит, а туда же — учит полицию, как работать. Молокосос.

Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбиво:

— Я один на сорок домов, понял? И оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках.

— Так а чего же вы? — ошеломленно сказал Андрей. — Протестовали бы, требовали бы...

— «Протестовали», — повторил полицейский язвительно. — «Требовали»... Новичок, что ли? Эй, шеф, — позвал он Дональда. — Притормози-ка. Мне здесь.

Он спрыгнул с подножки и вразвалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей.

— Да что они, ей-богу, сдурели, что ли? — возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась. — Как это так — в городе полно шпаны, а полиция без оружия! Не может этого быть. У Кэнси же кобура на боку, что он в ней — сигареты носит?

— Бутерброды, — сказал Дональд.

— Ничего не понимаю, — сказал Андрей.

— Было разъяснение, — сказал Дональд. — «В связи с участившимися случаями нападения гангстеров на полицейских с целью захвата оружия»... и так далее.

Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывало над сиденьем. Булыжник практически уже кончился.

— По-моему, это ужасно глупо, — сказал он наконец. — А по-вашему?

— И по-моему тоже, — отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой.

— И вы об этом так спокойно говорите?

— Я уже свое отбеспокоился, — сказал Дональд. — Это очень старое разъяснение, вас еще здесь не было.

Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает, может, и был какой-то смысл в этом разъяснении? В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная приманка для этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало, а надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть

одним махом. Население привлечь. Я бы, например, пожалуйста, пошел... Дональд бы, конечно, пошел... Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новое направление.

— Слушайте, Дон, — сказал он. — Вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология — это никакая не наука... я вам уже говорил... и вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните: откуда в нашем Городе вся эта дрянь? Как они сюда попали — убийцы, насильники, ворье... Неужели Наставники не понимали, кого сюда приглашают?

— Понимали, наверное, — равнодушно ответил Дональд, с ходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой.

— Так зачем же тогда?..

— Вором не рождаются. Вором становятся. А потом, как известно: «Откуда нам знать, что нужно Эксперименту? Эксперимент есть Эксперимент...» — Дональд помолчал. — Футбол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший...

Фонари кончились, жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины — остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фун-

даменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сияние, Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и наконец затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого.

— Часок простоим, — бодро сказал Андрей. — Пошли посмотрим, кто там впереди.

Сзади подошла и остановилась еще одна машина.

— Идите один, — сказал Дональд, откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо.

Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впереди полным ходом шла разгрузка — лязгали крышки баков, высокий голос учетчика кричал: «...восемь... десять...», на столбе покачивалась тысячесвечовая лампа под плоской жестяной тарелкой. Потом вдруг заорали сразу в несколько

глоток: «Куда, куда, мать твою?.. Сдай назад! Сам ты жопа слепая!.. По зубам захотел?..» Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу, ночной ветерок наносил ужасную тухлятину.

Знакомый голос вдруг сказал над ухом:

— Здорово, говновозы! Как идет великий Эксперимент?

Это был Изя Кацман, в натуральную величину, — встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный.

— Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется! Вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец — теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома!

— Неостроумно, — сказал Андрей сухо.

— Неостроумно? — Изя встал на подножку и просунул голову в кабину. — Наоборот! Чрезвычайно остроумно! Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников...

— За что дворникам выдается дополнительный паек в размере литра водки, — подхватил Андрей,

чем и привел Изю в необъяснимый восторг: Изя принялся хихикать, издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом.

Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и обеспокоенно спросил:

— Что это с ним?

— Не знаю, — мрачно сказал Андрей. — Наверное, его от тебя затошнило... А вообще-то он уже несколько дней такой.

— Правда? — Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд. — Жалко. Он хороший человек. Только очень уж неприспособленный.

— А кто приспособленный?

— Я приспособленный. Ты приспособленный. Ван приспособленный... Дональд давеча все возмущался: почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди? На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?

— Ну и правильно возмущался, — сказал Андрей. — Действительно же, кретинизм какой-то.

— Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу, — возразил Изя. — Ты прекрасно понимаешь, что учетчик — человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успевает, образуется,

сами понимаете, очередь. А очередь — она и есть очередь... — Изя снова забулькал и забрызгал. — Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика, здоровенного бугая, отправил бы в полицию ловить бандитов. Или на передовую, к фермерам...

— Ну, — сказал Андрей нетерпеливо.

— Что — ну? Дональд ведь не начальство!

— Ну, а начальство почему так не сделает?

— А зачем ему? — радостно вскричал Изя. — Сам подумай! Мусор вывозится? Вывозится! Вывоз учитывается? Учитывается! Систематически? Систематически. Месяц окончится, будет представлен отчет: вывезено на столько-то баков говна больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны, а что Дональд недоволен, так его сюда никто не гнал — доброволец!..

Грузовик впереди выбросил клуб синего дыма и проехал вперед метров на пятнадцать. Андрей торопливо пересел за руль, выглянул. Дональда нигде не было видно. Тогда он с опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же пятнадцать метров, трижды заглохнув по дороге. Изя при этом шел рядом, испуганно шарахаясь

каждый раз, когда машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но Андрей слушал плохо — он был весь мокрый от пережитого напряжения.

Под яркой лампой по-прежнему лязгали баки и стоял мат. В крышу кабины что-то ударилось и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдеман, попросил закурить. Негр, по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы.

Изя пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то тонтон-макутом, а Оскара расспрашивал о каком-то Туре Хейердале. Сильва строил страшные рожи, изображал пальцами очки, делал вид, что строчит из автомата, Изя хватался за живот и делал вид, что сражен на месте, — Андрей ничего не понимал, и Оскар, по-видимому, тоже: очень скоро выяснилось, что он путает Гаити с Таити.

По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора ударился в капот и разлетелся в клочья.

— Эй! — крикнул Оскар в темноту. — Прекратите!

Впереди вновь заорали в двадцать глоток,

плотность брани достигла вдруг немыслимого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся пополам — теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сейчас же в голову ему ударила пустая консервная банка — не больно, но очень оскорбительно. Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался.

Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого стекла. Дикий возмущенный рев взлетел над колонной. «Какая сволочь там развлекается?!» — ревели чуть ли не хором. Зарычали включенные двигатели, вспыхнули фары. Некоторые грузовики принялись судорожно елозить взад-вперед: видимо, водители пытались развернуть их так, чтобы осветить мусорные хребты, откуда летели уже целые кирпичи и пустые бутылки. Еще несколько человек, пригнувшись как Сильва, ринулись в темноту.

Мельком Андрей заметил, что Изя с искривленным плачущим лицом скорчился возле заднего ската и ощупывает живот. Тогда Андрей нырнул в кабину, выхватил из-под сиденья монтировку и

снова выскочил наружу. По башкам сволочей, по башкам! Видно было, как с десяток мусорщиков на четвереньках, цепляясь руками, остервенело карабкаются по склону. Кому-то из водителей удалось-таки поставить машину поперек, и свет фар озарил неровный гребень, ощетиненный обломками старой мебели, взлохмаченный тряпьем и обрывками бумаги, сверкающий битым стеклом, и над гребнем — высоко задранный ковш экскаватора на фоне черного неба. И что-то там шевелилось на ковше, что-то большое, серое с серебристым отливом. Андрей замер, вглядываясь, и в ту же минуту отчаянный вопль перекрыл всю разноголосицу:

— Это дьяволы! Дьяволы! Спасайтесь!..

И сейчас же со склона кубарем, на карачках, через голову, поднимая столбы пыли, в вихре рваного тряпья и бумажных лохмотьев, посыпались люди, — обезумевшие глаза, разинутые рты, размахивающие руки. Кто-то, обхватив руками голову, спрятав голову между сжатыми локтями, продолжая панически визжать, пронесся мимо Андрея, поскользнулся в колее, упал, снова вскочил и изо всех сил побежал дальше, по направлению к городу. Кто-то, хрипло дыша, втиснулся между радиатором Андреева грузо-

вика и кузовом передней машины, застрял там, зацепился, принялся рваться и тоже заорал не своим голосом. Стало вдруг тише, только ворчали двигатели, и тут хлестко, словно удары бича, звонко защелкали выстрелы. И Андрей увидел — на гребне, в голубоватом свете фар — высокого тощего человека, который стоял спиной к машинам, держа пистолет в обеих руках, и раз за разом палил куда-то в темноту за гребень.

Он выстрелил пять или шесть раз в полной тишине, а потом из темноты возник тысячеголосый нечеловеческий вой, злобный, мяукающий и тоскливый, как будто двадцать тысяч мартовских котов заорали одновременно в мегафоны, и тощий человек попятился, оступился, нелепо взмахнул руками и съехал на спине по склону. Андрей тоже попятился в предчувствии чего-то невыносимо страшного, и он увидел, как гребень вдруг зашевелился.

Серебристо-серые, невероятные, чудовищно уродливые призраки закишели вдруг там, засверкали тысячами кроваво светящихся глаз, заблестели миллионами яростно оскаленных влажных клыков, замахали лесом невообразимо длинных мохнатых лап. Пыль густой стеной взлетела над ними в свете фар, и сплошной ли-

вень обломков, камней, бутылок, комков дряни обрушился на колонну.

Андрей не выдержал. Он нырнул в кабину, вжался в самый дальний угол и выставил перед собой монтировку, обмирая, как в кошмаре. Он абсолютно ничего не соображал, и когда какое-то темное тело заслонило открытую дверь, он заорал, не слыша собственного голоса, и принялся тыкать железом в мягкое, страшное, сопротивляющееся, лезущее на него, и тыкал до тех пор, пока жалобный вопль Изи: «Идиот, это же я!» не привел его в чувство. И тогда Изя влез в кабину, захлопнул за собой дверь и неожиданно спокойным голосом объявил:

— Ты знаешь, что это такое? Это обезьяны. Вот суки!

Сначала Андрей не понял его, потом понял, но не поверил.

— Ну да? — сказал он, вылез на подножку и выглянул из-за кабины.

Точно: это были обезьяны. Очень крупные, очень волосатые, очень свирепые на вид, но не дьяволы и не привидения, а всего лишь обезьяны. Андрея обдало жаром от стыда и облегчения, и в ту же секунду что-то тяжелое и твердое ахнуло его прямо по уху, да так, что другим ухом он ах-

нулся о крышу кабины.

— Все по машинам! — взревел где-то впереди властный голос. — Прекратить панику! Это павианы! Ничего страшного! По машинам и задний ход!..

В колонне стоял ад кромешный. Стреляли глушители, вспыхивали и гасли фары, двигатели ревели вразнос, сизый дым клубами поднимался к беззвездному небу. Из тьмы вдруг вынырнуло какое-то залитое черным и блестящим лицо, чьи-то руки схватили Андрея за плечи, встряхнули, как щенка, сунули боком в кабину, и тут же передний грузовик сдал назад и с хрустом врезался в радиатор, а грузовик сзади дернулся вперед и ударил в кузов, как в бубен, так, что там загремели потревоженные баки, а Изя дергал за плечо и приставал: «Ты машину водить умеешь или нет? Андрей! Умеешь?», а из сизого дыма кто-то вопил истошно: «Убили! Спасите!», а властный голос все ревел: «Прекратить панику! Задняя машина, задний ход! Живо!», а сверху, справа, слева градом сыпалось твердое, лязгало по капоту, гремело по бакам, со звоном било в стекла, и непрерывно ныли и гундели сигналы, и все нарастал и нарастал гнусный мяукающий вой.

Изя вдруг сказал: «Ну, я пошел...» и, заранее

прикрывая руками голову, вылез наружу. Он чуть не попал под машину, промчавшуюся по направлению к городу, — среди подпрыгивающих баков промелькнуло перекошенное лицо учетчика. Потом Изя исчез, и появился Дональд — без шляпы, ободранный, весь в грязи, — швырнул на сиденье пистолет, сел за руль, включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход.

Видимо, какой-то порядок все-таки установился: панические вопли утихли, моторы ревели слаженно, и вся колонна понемногу пятилась назад. Даже каменно-бутылочный град, казалось, несколько поутих. Павианы прыгали и расхаживали по мусорному гребню, но вниз не спускались — только орали там, разевая собачьи пасти, и издевательски поворачивали к колонне лоснящиеся в свете фар ягодицы.

Грузовик катился все быстрее, снова пробуксовал в грязевой яме, выскочил на шоссе, развернулся. Дональд со скрежетанием переключил скорость, дал газ и, захлопнув дверцу, откинулся на сиденье. Впереди прыгали во мраке красные огоньки удирающих во весь дух машин.

Оторвались, с облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и пульсировало. Надо же — павианы! Павианы-то откуда?

Да такие здоровенные... да в таких количествах!.. Сроду у нас тут не было никаких павианов... если не считать, конечно, Изю Кацмана. И почему именно павианы? Почему не тигры?.. Он поерзал на сиденье, и в это время грузовик тряхнуло. Андрей подлетел и с размаху опустился на что-то твердое, незнакомое. Он сунул руку под зад и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не понимая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом Дональд вдруг сказал:

— Осторожнее. Дайте сюда.

Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот.

— Так это вы там... палили? — спросил он сипло.

Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной грузовик. Через перекресток, перед самым радиатором, пронеслись, изогнув хвосты, несколько павианов, но Андрею было уже не до них.

— Откуда у вас оружие, Дон?

Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой — попытался надвинуть на глаза

несуществующую шляпу.

— Вот что, Дон, — сказал тогда Андрей решительно. — Мы сейчас же едем в мэрию, вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал.

— Бросьте чепуху молоть, — отозвался Дональд, сморщившись. — Дайте лучше сигарету.

Андрей машинально достал пачку.

— Это не чепуха, — сказал он. — Я не хочу ничего знать. Вы молчали — ладно, это ваше личное дело. И вообще я вам доверяю... Но в городе только у бандитов есть оружие. Я ничего такого не хочу сказать, но в общем я вас не понимаю... в общем, оружие надо сдать и все объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какой вы последнее время. Лучше пойти и сразу все рассказать.

Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у него было в глазах — то ли насмешка, то ли страдание, — но он показался Андрею очень старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил:

— Сдать и все рассказать. Все!

— Вы понимаете, что обезьяны идут на город? — спросил Дональд.

— Ну и что? — растерялся Андрей.

— Действительно — ну и что? — сказал Дональд и неприятно рассмеялся.

Глава вторая

Обезьяны уже были в городе. Они носились по карнизам, гроздьями висели на фонарных столбах, жуткими косматыми толпами плясали на перекрестках, липли к окнам, швырялись булыжниками, вывороченными из мостовой, гонялись за обезумевшими людьми, которые в одном белье выскочили на улицу.

Несколько раз Дональд останавливал машину, чтобы взять в кузов беженцев. Баки давно выкинули вон. Одно время перед грузовиком мчалась галопом осатаневшая лошадь, запряженная в телегу, а в телеге этой уже никто не спал, укутавшись в брезент, — там приседал и раскачивался, размахивал длинными волосатыми ручищами и пронзительно вопил здоровенный серебристый павиан. Андрей видел, как телега с треском врезалась в фонарный столб, лошадь с оборванными постромками понеслась дальше, а павиан лихо перелетел на ближайшую водосточную трубу и исчез на крыше.

На площади перед мэрией кипела паника. Подъезжали и отъезжали автомобили, бегали полицейские, бродили потерянные люди в испод-

нем, у подъезда какого-то чиновника прижали к стене, требовательно кричали на него, а он отпихивался тростью и отмахивался портфелем.

— Бардак, — сказал Дональд и выпрыгнул из машины.

Они вбежали в здание и сразу же потеряли друг друга в непроворотной толпе людей в штатском, людей в полицейской форме и людей в нижнем белье. Стоял многоголосый гомон, от табачного дыма ело глаза.

— Поймите! Не могу же я вот так — в одних подштанниках!

— ...Немедленно открыть арсенал и раздать оружие... Черт вас побери, ну хотя бы полицейским раздать оружие!..

— Где шеф полиции? Только что здесь крутился...

— У меня жена там осталась, вы можете это понять? И теща-старуха!

— Слушайте, да ничего страшного. Обезьяны — они и есть обезьяны...

— Представляешь, просыпаюсь я, а на подоконнике кто-то сидит...

— А шеф полиции где? Дрыхнет, толстая задница?

— Был у нас в переулке один фонарь. Пова-

лили.

— Ковалевский! В двенадцатую комнату, быстро!

— Однако согласитесь, что в одних подштанниках...

— Кто умеет водить машину? Шофера! Все на площадь, к рекламной тумбе!

— Да где, черт побери, шеф полиции? Сбежал, что ли, сучара?

— Значит, так. Бери ребят — и в литейные мастерские. Там возьмешь эти... ну, штыри такие, для парковой ограды... Все бери, все! И сразу сюда...

— Как я гвоздану по этой волосатой морде, — даже руку отшиб, ей-богу... А он орет: «Господи! Что ты делаешь? Это же я — Фредди!..» Тьфу ты, пропасть...

— А духовые ружья годятся?

— В семьдесят второй квартал — три машины! В семьдесят третий квартал — пять машин...

— Извольте распорядиться, чтобы им выдали обмундирование второго срока. Только под расписку, чтобы потом вернули!

— Слушайте, у них хвосты есть? Или мне показалось?..

Андрея толкали, тискали, прижимали к стенам

коридора, оттоптали все ноги, и он сам толкался, протискивался, отпихивал. Сначала он искал Дональда, чтобы в качестве свидетеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия, потом до него дошло, что нашествие павианов — дело, видимо, очень серьезное, раз поднялась такая кутерьма, и он немедленно пожалел, что грузовики водить не умеет, где находятся литейные мастерские с таинственными штырями — не знает, обеспечить кого-нибудь обмундированием второго срока — не может, и получается, что он тут как бы никому и не нужен. Он попытался, по крайней мере, сообщить о том, что видел своими глазами — может быть, эти сведения окажутся полезными, — но одни его не слушали вовсе, а другие, стоило ему начать, перебивали и принимались рассказывать сами.

С горечью он убедился, что знакомых лиц в этом круговороте мундиров и подштанников не было, мелькнул только черный Сильва с головой, обмотанной кровавой тряпкой, да тут же и исчез, — а между тем что-то явно предпринималось, кто-то кого-то организовывал и куда-то посылал, голоса становились все громче, тон их становился все увереннее, подштанники стали понемногу исчезать, а мундиров стало, наоборот, заметно

больше, на какое-то мгновение Андрею даже почудился мерный грохот сапог и строевая песня, но оказалось, что это просто уронили переносимый сейф, и он скатился, грохоча, по ступенькам и застрял в дверях продовольственного отдела...

Тут Андрей увидел знакомое лицо — чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии Палаты Мер и Весов. Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и единым духом выложил, что вот он, Андрей Воронин, — помните, мы вместе работали? — ныне грузчик-ассенизатор, никого найти не могу, направьте меня куда-нибудь в дело, ведь наверняка же нужны люди... Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые конвульсивные попытки вырваться, а потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал: «Куда я вас направлю? Вы что, не видите — я бумаги несу на подпись!» и почти убежал по коридору.

Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях, но все от него отказывались и отмахивались, все страшно спешили, не было буквально ни одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахивать все

двери подряд, надеясь найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не размахивает руками, — из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность.

Первая комната оказалась пуста. Во второй — один человек в подштанниках громко кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский халат. Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненые-перечиненые полицейские же штиблеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-то розовым с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался Наставник.

Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени, и смотрел в черноту за стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И увидев эту улыбку, Андрей сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце концов все обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится бла-

гополучно.

— Вот, — сказал он, разводя руки и улыбаясь в ответ. — Оказался никому не нужен. Машину водить не умею, где находится гимназиум — не знаю... Суматоха, ничего не понять...

— Да, — сочувственно согласился Наставник. — Ужасная суматоха. — Он спустил ноги с подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок. — Даже неприлично. Стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные... Значит, не хватает организованности! Правильно, Андрей? Значит, какие-то важные вопросы пущены на самотек. Неподготовленность... недостаток дисциплины... Ну и бюрократизм, конечно.

— Да! — сказал Андрей. — Конечно! Я, знаете, что решил? Не буду я больше никого искать, и не буду я ничего выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь к какому-нибудь отряду. А если не примут — сам. Там ведь женщины остались... и дети...

На каждое его слово Наставник коротко кивал, он больше не улыбался, лицо у него теперь было серьезное и сочувственное.

— Вот только одно... — сказал Андрей, сморщившись. — Как с Дональдом?

— С Дональдом? — переспросил Наставник, приподнимая брови. — Ах, с Дональдом Купером? — Он засмеялся. — Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и покаялся в своих преступлениях... Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует отряд добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия, и, конечно, никакой он не гангстер и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменял на черном рынке за старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане — привык!

— Ну, конечно! — сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение. — Ясно же! Я ведь и сам не верил, просто я считал, что... Ладно! — Он повернулся, чтобы идти, но остановился. — Скажите... если не секрет, конечно... Скажите, зачем все это? Обезьяны! Откуда они? Что они должны доказать?

Наставник вздохнул и слез с подоконника.

— Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые...

— Нет! Я все понимаю! — проникновенно сказал Андрей, прижимая руку к груди. — Я только...

— Подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить. Пойми-

те вы это, наконец: *не умею*!.. Эрозия построек, помните? Превращение воды в желчь... Впрочем, это было еще до вас... Теперь вот — павианы... Помните, вы все у меня допытывались, как это так: люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и даже не подозревают этого. Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались даже, как доказывали Кэнси, что он говорит по-русски, а Кэнси доказывал вам, что это вы сами говорите по-японски, помните? А теперь вот вы привыкли, теперь эти вопросы вам и в голову не приходят. Одно из условий Эксперимента. Эксперимент есть Эксперимент, что здесь еще можно сказать? — Он улыбнулся. — Ну, идите, идите, Андрей. Ваше место — там. Действие прежде всего. Каждый на своем месте, и каждый — все, что может!

И Андрей вышел, и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустевший, и скатился по парадной лестнице на площадь, и сразу же увидел деловитую, несуетливую толпу вокруг грузовика под фонарем и не колеблясь вмешался в эту толпу, протолкался вперед, ему сунули в руки тяжелое металлическое копье, и он почувствовал себя вооруженным, сильным и готовым к решительному бою.

Неподалеку кто-то — очень знакомый голос! — зычно командовал строиться в колонну по три, и Андрей, держа копье на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллигентом в помятом костюме, который страшно нервничал — то и дело снимал свои очки, дышал на стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами.

Отряд был невелик, всего человек тридцать. А командовал, оказывается, Фриц Гейгер, что было, с одной стороны, достаточно обидно, но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в данной ситуации Фриц Гейгер, хотя и является бывшим фашистским недобитком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте.

Как и полагается бывшему унтер-офицеру вермахта, в выражениях он не стеснялся, и слушать его было довольно противно. «Па-а-др-равняйсь! — орал он на всю площадь, словно командовал полком на строевых учениях. — Эй, вы, там, в шлепанцах! Да, вы! Подберите брюхо!.. А вы что там раскорячились, как корова после случки? Вас не касается? Пики — к ноге!.. Не на плечо, а к ноге, я сказал, — вы, баба в подтяжках! Смир-р-рна! За

мной, шагом... Ат-ставить! Шагом... арш!» Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу, он споткнулся, толкнул плечом интеллигента, и тот, конечно, выронил в очередной раз протираемые очки. «Кар-р-рова!» — сказал ему Андрей, не сдержавшись. «Осторожнее! — завопил интеллигент высоким голосом. — Ради бога!..» Андрей помог ему найти очки, а когда Фриц налетел на них, захлебываясь от ярости, Андрей послал его к чертовой матери.

Вдвоем с интеллигентом, не переставшим благодарить и спотыкаться, они догнали колонну, прошли еще метров двадцать и получили приказ «по машинам». Машина, впрочем, была всего одна — мощный спецгрузовик для перевозки цементного раствора. Когда погрузились, выяснилось, что под ногами чавкает и хлюпает. Человек в шлепанцах грузно перелез обратно через борт и объявил высоким голосом, что на *этой* машине лично он никуда не поедет. Фриц приказал ему вернуться в кузов. Человек еще более высоким голосом возразил, что он в шлепанцах и у него промокли ноги. Фриц помянул супоросую свинью. Человек в промокших шлепанцах, нисколько не испугавшись, возразил, что *он*-то как раз не свинья, что свинья, возможно,

и согласилась бы ехать в этой грязи, — он приносит глубокие извинения всем, согласившимся ехать в этом свинарнике, но... Тут из кузова вылез вдруг латиноамериканец, презрительно сплюнул Фрицу под ноги и, сунув большие пальцы под подтяжки, неторопливо зашагал прочь.

Наблюдая все это, Андрей испытывал определенное злорадство. Не то чтобы он одобрял поведение человека в шлепанцах и тем более поступок мексиканца — несомненно, оба они поступили не по-товарищески и вообще вели себя как обыватели, — но было крайне любопытно посмотреть, что теперь будет делать наш битый унтер и как он выберется из создавшейся ситуации.

Андрей был вынужден признать, что битый унтер выбрался из ситуации с честью. Не говоря ни слова, Фриц повернулся на каблуке, вскочил на подножку рядом с шофером и скомандовал: «Поехали!» Грузовик тронулся, и в ту же минуту включили солнце.

С трудом удерживаясь на ногах, поминутно хватаясь за соседей, Андрей, вывернув шею, наблюдал, как на своем обычном месте медленно разгорается малиновый диск. Сначала диск дрожал, словно пульсируя, становясь все ярче

и ярче, наливался оранжевым, желтым, белым, потом он на мгновение погас и сейчас же вспыхнул во всю силу, так что смотреть на него стало невозможно.

Начался новый день. Непроглядно-черное беззвездное небо сделалось мутно-голубым, знойным, пахнуло жарким, как из пустыни, ветром, и Город возник вокруг как бы из ничего — яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий... Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями, и ни одно здание не было похоже на другое, и стала видна раскаленная Желтая Стена, уходящая в небо справа, а слева, в просветах над крышами, возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу же захотелось пить. Многие по привычке сейчас же посмотрели на часы. Было ровно восемь.

Ехали недолго. Видимо, обезьяньи полчища еще не добрались сюда — улицы были тихи и пустынны, как всегда в этот ранний час. Кое-где в домах распахивались окна, заспанные люди сонно потягивались, равнодушно поглядывая на грузовик. Женщины в чепчиках вывешивали на подоконники матрасы, на одном из балконов усердно занимался зарядкой жилистый старик

с развевающейся бородой и в полосатых трусах. Сюда паника еще не докатилась, но ближе к Шестнадцатому кварталу стали попадаться первые беженцы, встрепанные, не столько испуганные, сколько злые, некоторые с узлами за спиной. Эти люди, увидев грузовик, останавливались, махали руками, кричали что-то. Грузовик с ревом повернул на Четвертую Левую, чуть не сбив престарелую пару, катившую перед собой двухколесную тележку с чемоданами, и остановился. Все сразу увидели павианов.

Павианы держались на Четвертой Левой как у себя дома — в джунглях или где они там живут. Загнув крючками хвосты, они ленивыми толпами бродили с тротуара на тротуар, весело прыгали по карнизам, раскачивались на фонарях, сосредоточенно искались, забравшись на рекламные тумбы, зычно перекликались, гримасничали, дрались и непринужденно занимались любовью. Шайка серебристых громил разносила продуктовый ларек, двое хвостатых хулиганов приставали к побелевшей от ужаса женщине, обмершей в подъезде, а какая-то мохнатая красотка, расположившись в будке регулировщика, кокетливо показывала Андрею язык. Теплый ветер нес вдоль улицы клубы пыли, перья из перин,

листки бумаги, клочья шерсти и уже устоявшиеся запахи зверинца.

Андрей растерянно посмотрел на Фрица. Гейгер, сощурившись, с видом завзятого полководца озирал поле предстоящих действий. Шофер выключил двигатель, и наступившая тишина наполнилась дикими, совершенно не городскими звуками — ревом и мявом, низким бархатным курлыканьем, рыганьем, чавканьем, хрюканьем... Тут осажденная женщина вдруг завизжала изо всех сил, и Фриц приступил к делу.

— Выходи! — скомандовал он. — Живо, живо! Развернуться в цепь... В цепь, я сказал, а не в кучу! Вперед! Бейте их, гоните! Чтоб ни одной твари здесь не осталось! Бить по головам и по хребту! Не колоть, а бить! Вперед, живо! Не останавливаться, эй, вы, там!..

Андрей выскочил одним из первых. В цепь он разворачиваться не стал, а, перехватив свой железный дрын поудобнее, устремился прямо на помощь женщине. Хвостатые хулиганы, завидев его, залились дьявольским хохотом и вприпрыжку умчались вверх по улице, издевательски виляя лоснящимися ягодицами. Женщина продолжала визжать, изо всех сил зажмурившись и сжав кулаки, но теперь ей ничего больше не грозило,

и Андрей, оставив ее, направился к бандитам, которые грабили ларек.

Это были могучие, видавшие виды экземпляры, особенно один, с угольно-черным хвостом, — он сидел на бочке, запускал в нее по плечо длиннющую мохнатую лапу, извлекал соленые огурцы и смачно хрупал ими, время от времени поплевывая на своих дружков, азартно отдиравших фанерную стенку ларька. Заметив приближающегося Андрея, чернохвостый перестал жевать и плотоядно ухмыльнулся. Андрею эта ухмылка крайне не понравилась, но отступать было невозможно. Он взмахнул железным шестом, заорал: «Пшел!» и бросился вперед.

Чернохвостый оскалился еще пуще — клыки у него были, как у кашалота, — лениво соскочил с бочки, отошел на несколько шагов в сторону и принялся выкусывать под мышкой. «Пшел, зараза!» — заорал Андрей еще громче и с размаху ударил железом по бочке. Тогда чернохвостый метнулся в сторону и одним прыжком оказался на карнизе второго этажа. Ободренный трусостью противника, Андрей подскочил к ларьку и грохнул своим ломом по стенке. Стенка дала трещину, приятели чернохвостого прыснули в разные стороны. Поле боя очистилось, Андрей

огляделся.

Боевые порядки Фрица распались. Бойцы растерянно бродили по опустевшей улице, заглядывали в подворотни, останавливались и, задрав головы, смотрели на павианов, усеявших карнизы домов. Вдалеке, вращая над головой палкой, пылил по мостовой давешний интеллигент, преследуя какую-то хромую обезьяну, неторопливо трусившую в двух шагах перед ним. Воевать было не с кем, даже Фриц растерялся. Он стоял возле грузовика, хмурился и кусал палец.

Притихшие было павианы, ощутив себя в безопасности, снова принялись обмениваться репликами, чесаться и заниматься любовью. Наиболее наглые спускались пониже, с явной руганью гримасничали и оскорбительно показывали зады. Андрей снова увидел чернохвостого: тот был уже на другой стороне улицы, сидел на фонаре и заливался смехом. К фонарю с угрожающим видом направился маленький чернявый человек, похожий на грека. Он размахнулся и изо всей силы запустил железным штырем в чернохвостого. Раздался звон и дребезг, посыпалось стекло, чернохвостый от неожиданности подскочил на метр, чуть не сорвался, но ловко ухватился хвостом, принял прежнюю позу и вдруг, выгнув

спину, обдал грека струей жидкого кала. У Андрея подступило к горлу, и он отвернулся. Поражение было полным, придумать что бы то ни было не представлялось возможным. Тогда Андрей подошел к Фрицу и спросил негромко:

— Ну, что будем делать?

— Хрен его знает, — злобно сказал Фриц. — Огнемет бы сюда...

— Может, кирпичей привезти? — спросил, подойдя, прыщавый парень в комбинезоне. — Я с кирпичного. Машина есть, в полчаса обернемся...

— Нет, — авторитетно произнес Фриц. — Кирпичи не годятся. Все стекла перебьем, а потом они же нас этими же кирпичами... Нет. Тут надо бы какую-нибудь пиротехнику... Ракеты, петарды... Эх, фосгену бы десяток баллонов!

— Откуда в городе петарды? — произнес презрительный бас. — А что касается фосгена, то, по-моему, уж лучше павианы...

Вокруг начальства начала собираться толпа. Один чернявый грек остался в стороне — изрыгая нечеловеческие проклятия, он отмывался у водоразборной колонки.

Краем глаза Андрей наблюдал, как чернохвостый и его приятели бочком-бочком снова

подбираются к ларьку. Тут и там в окнах домов стали появляться бледные от пережитых страхов и красные от раздражения лица аборигенов, в основном женские. «Ну, чего вы там стали? — сердито кричали из окон. — Прогоните же их, вы, мужчины!.. Смотрите, ларек грабят!.. Мужчины, чего же вы стоите? Эй, ты, белобрысый! Командуй, что ли?.. Что вы стоите, как столбы?.. Господи, у меня дети плачут! Сделайте же так, чтобы мы могли выйти!.. Мужчины называется! Обезьян испугались!..» Мужчины угрюмо и пристыженно огрызались. Настроение было подавленное.

— Пожарников! Пожарников надо вызывать! — твердил презрительный бас, предпочитавший павианов фосгену. — С лестницами, с брандспойтами...

— Да бросьте вы, откуда у нас столько пожарников...

— Пожарники — на Главной.

— Может, факелы какие-нибудь запалить? Может, они огня испугаются!

— Черт! Какого дьявола у полицейских отобрали оружие? Пусть раздадут!

— А не двинуть ли нам, ребята, по домам? Я как подумаю, что у меня жена там сейчас одна...

— Это вы бросьте. У всех жены. Эти женщины

— тоже чьи-то жены.

— Так-то оно так...

— Может, на крыши взобраться? С крыш их чем-нибудь... того...

— Чем ты их достанешь, балда? Палкой своей, что ли?

— У, гады! — заревел вдруг с ненавистью презрительный бас, разбежался и с натугой метнул свой лом в многострадальный ларек. Фанерную стенку пробило насквозь, шайка чернохвостого глянула с удивлением, помедлила и снова принялась за огурцы и картошку. Женщины в окнах издевательски захохотали.

— Ну что ж, — сказал кто-то рассудительно. — Во всяком случае, мы своим присутствием задерживаем их здесь, стесняем их, так сказать, действия. И то хорошо. Пока мы здесь, они побоятся продвинуться дальше в глубину...

Все принялись озираться и загомонили. Рассудительного быстро заставили замолчать. Во-первых, выяснилось, что павианы продвигаются-таки в глубину, невзирая на присутствие здесь рассудительного. А во-вторых, если бы даже они и не продвигались, то что же он, рассудительный, — собрался ночевать здесь? Жить здесь? Спать здесь? Какать и писать здесь?..

Тут послышалось неторопливое цоканье копыт, тележный скрип, все посмотрели вверх по улице и замолчали. По мостовой неторопливо приближалась пароконная телега. На телеге боком, свесив ноги в грубых кирзовых сапогах, дремал крупный мужчина в выгоревшей гимнастерке русского военного образца и в выгоревших же бриджах хэ-бэ. Склоненная голова мужчины была сплошь покрыта спутанным русым волосом. В огромных коричневых руках он вяло держал вожжи. Лошади — одна гнедая, другая серая в яблоках — переступали лениво и тоже, кажется, дремали на ходу.

— На рынок едет, — сказал кто-то почтительно. — Фермер.

— Да, ребята, фермерам горюшка мало — когда еще до них эта сволочь доберется...

— Между прочим, как представлю я себе павианов на посевах!..

Андрей с любопытством приглядывался. Фермера он видел впервые за все время своего пребывания в Городе, хотя слыхал об этих людях немало — были они, якобы, угрюмы и диковаты, жили далеко в диких местах, вели там суровую борьбу с болотами и джунглями, в город наезжали только для сбыта продуктов своего хозяйства

и, в отличие от горожан, никогда не меняли профессии.

Телега медленно приближалась, возница, вздрагивая опущенной головой, время от времени, не просыпаясь, чмокал губами, несильно дергая вожжи, и вдруг обезьяны, настроенные до того довольно миролюбиво, пришли в необычайное злобное возбуждение. То ли их раздражили лошади, то ли им надоело, наконец, присутствие посторонних толп на их улице, но они вдруг загомонили, заметались, засверкали клыками, а несколько самых решительных вскарабкались по водостокам на крышу и принялись ломать там черепицу.

Один из первых обломков угодил вознице прямо между лопаток. Фермер вздрогнул, выпрямился и широко раскрытыми налитыми глазами обвел окрестности. Первым, кого он заметил, был все тот же очкастый интеллигент, который устало возвращался из своей безрезультатной погони и одиноко маячил позади телеги. Не говоря ни слова, фермер бросил вожжи (лошади сразу остановились), соскочил с телеги и, разворачиваясь на ходу, ринулся было к обидчику, но тут другой кусок черепицы угодил интеллигенту по темечку. Интеллигент охнул, выронил шест

и присел на корточки, обхватив руками голову. Фермер озадаченно остановился. Вокруг него на мостовую с треском падали куски черепицы, разлетаясь в оранжевую крошку.

— Отряд, в укрытие! — браво скомандовал Фриц и устремился в ближайшую подворотню. Все кинулись кто куда, врассыпную, Андрей прижался к стене в мертвой зоне и с интересом следил за фермером, который в полном обалдении озирался по сторонам и, по-видимому, ничегошеньки не соображал. Затуманенный взор его скользил по карнизам и водосточным трубам, облепленным беснующимися павианами, он зажмурился и затряс головой, а потом снова широко раскрыл глаза и громко произнес:

— Ядрит твою налево!

— В укрытие! — кричали ему со всех сторон. — Эй, борода! Сюда давай! По кумполу же получишь, обалдуй болотный!..

— Что же это такое? — громко вопросил фермер, обращаясь к интеллигенту, ползающему на карачках в поисках очков. — Это кто же такие здесь, вы не скажете?

— Обезьяны, разумеется, — сердито ответствовал интеллигент. — Неужели вы сами не видите, сударь?

— Ну и порядочки тут у вас, — ошеломленно произнес фермер, только теперь окончательно проснувшись. — И вечно вы тут что-нибудь выдумаете...

Этот сын болот был настроен теперь философски и добродушно. Он убедился, что нанесенная ему обида не может, собственно, считаться таковой, и теперь был просто несколько ошарашен зрелищем мохнатых орд, прыгающих по карнизам и фонарям. Он только укоризненно покачивал головой и скреб в бороде. Но тут интеллигент нашел, наконец, свои очки, подобрал шест и опрометью кинулся в укрытие, так что фермер остался посреди мостовой один-одинешенек — единственная и достаточно соблазнительная мишень для волосатых снайперов. Крайняя невыгодность такой позиции не замедлила себя обнаружить. Дюжина крупных осколков с треском лопнула у его ног, а обломки помельче забарабанили по патлатой голове и по плечам.

— Да что ж это такое! — взревел фермер. Новый осколок стукнул его в лоб. Фермер замолчал и стремглав бросился к своей телеге.

Это было как раз напротив Андрея, и Андрей подумал сначала, что фермер упадет сейчас боком на телегу, махнет по всем по двум и умчится

к себе на болота, подальше от этого опасного места. Но бородач и не думал махать по всем по двум. Бормоча: «З-за-ра-зы, пр-роститутки...», он с лихорадочной поспешностью и очень ловко расшпиливал свой воз. Андрею за его широкой спиной не было видно, что он там делает, но женщины в доме напротив все видели — они вдруг разом завизжали, захлопнули окна и скрылись. Андрей глазом моргнуть не успел. Бородач ловко присел на корточки, и над его головой поднялся к крышам толстый, масляно отсвечивающий ствол в дырчатом металлическом кожухе.

— А-атставить! — заорал Фриц, и Андрей увидел, как он громадными прыжками несется откуда-то справа прямиком к телеге.

— Ну, гады, ну, заразы... — бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень сноровистые движения руками, сопровождавшиеся скользящими металлическими щелчками и позвякиваниями. Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня, и обезьяны на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и, беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими соображениями.

Но Фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повторил:

— Отставить!

— Подожди! — досадливо бормотал бородач, дергая плечом. — Да подожди, дай я их срежу, сволочь хвостатую...

— Я приказал — отставить! — гаркнул Фриц.

Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся.

— Чего такое? — спросил он, с неимоверным презрением растягивая слова. Ростом он был с Фрица, но заметно шире его и в плечах, и пониже спины.

— Откуда у вас оружие? — резко спросил Фриц. — Предъявите документы!

— Ах ты сопляк! — с грозным удивлением сказал бородач. — Документы ему! А вот этого не хочешь, вошь белобрысая?

Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо в глаза, он гаркнул на всю улицу:

— Румер! Воронин! Фрижа! Ко мне!

Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и неторопливо подошел к телеге. С другой стороны мелкой трусцой приближался приземистый вислоплечий

Румер, в прошлом — профессиональный боксер, и бежал со всех ног дружок Фрица, маленький, тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами.

— Давайте, давайте... — недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления.

— Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы, — с ледяной вежливостью повторил Фриц.

— А шел бы ты в жопу, — лениво ответствовал бородач. Смотрел он теперь главным образом на Румера, а руку как бы невзначай положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи.

— Ребята, ребята! — предостерегающе сказал Андрей. — Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии...

— Барал я вашу мэрию, — ответствовал солдат, недобрым взглядом измеряя Румера с головы до пят.

— Ну, в чем тут дело? — осведомился тот негромко и очень хрипло.

— Вы отлично знаете, — сказал Фриц бородачу, — что оружие в черте города запрещено. Тем более — пулемет. Если у вас есть разрешение,

прошу предъявить.

— А кто вы такие — разрешение у меня спрашивать? Что вы мне — полиция? Гестапо какое-нибудь?

— Мы — добровольный отряд самообороны.

Бородач ухмыльнулся.

— Ну и обороняйтесь, если вы из обороны, кто вам мешает?

Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно собирался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов — кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались — фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов: пот, чесночная колбаса, спиртное...

Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерку с одинокой (и то незастегнутой) бронзовой пуговичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды, могучие кирзовые сапоги-говнодавы — только бородища, пожалуй,

казалась здесь неуместной, не вписывалась в образ... И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица. Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравши нос в презрительные морщины, и старался заледенить бородача взглядом серо-стальных, истинно арийских глаз.

— Нам разрешения не полагаются, — лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом. — Нам вообще ни хрена не полагается, только кормить вас, дармоедов, нам полагается...

— Ну хорошо, — гундел в задних рядах бас. — А пулемет-то откуда?

— А что — пулемет? Смычка, значит, города и деревни. Я тебе — четверть первача, ты мне — пулемет, все честно-благородно...

— Ну нет, — гундел бас. — Пулемет все-таки — это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там...

— А мне вот кажется, — вмешался рассудительный, — что фермерам как раз оружие разрешено!

— Оружие никому не разрешено! — пискнул Фрижа и сильно покраснел.

— Ну и глупо! — откликнулся рассудительный.

— Ясное дело, что глупо, — сказал бородач. — Посидел бы ты у нас на болотах, да ночью, да еще когда гон идет...

— У кого гон? — с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд.

— У кого надо, у того и гон, — ответил ему фермер пренебрежительно.

— Нет, нет, позвольте... — заторопился интеллигент. — Ведь я биолог, и мне до сих пор не удается...

— Помолчите, — сказал ему Фриц. — А вам, — продолжал он, обращаясь к бородачу, — я предлагаю следовать за мной. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю!

Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело. Борода его раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно-тоненьким голосом:

— Млеко-яйки? Гитлер капут!

Ни черта не боялся он кровопролития — ни напрасного, никакого.

Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым,

на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними, но Фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил:

— Это к делу не относится. Извольте следовать за мной.

— Да отстаньте вы от него, Гейгер! — сказал бас. — Ясно же, что это фермер. Виданное ли это дело — к фермерам приставать!

И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер, уедет и пулемет с собою заберет, не гангстер же он какой-нибудь, в самом-то деле.

— Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем, — добавил рассудительный.

Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели, и держались как у себя в джунглях. Выяснилось также, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и

палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, не знакомых с правилами уличного движения.

— Да, господа мои, — сказал кто-то. — Видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир?

Фриц угрюмо исподлобья оглядывал улицу.

— Ну что ж... — произнес он обыкновенным человеческим голосом. — По домам так по домам.

Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить... Рассудительный и тут нашелся: сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки. Толковище вокруг телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки

на болотах бывает гон.

Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснял, что гон на болотах бывает, брат, у краснух, а краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот, только шерстью обросшие. Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки, а во-вторых, ничего во время этого дела не замечают — дом не дом, сарай не сарай, все разносят в щепки...

Глаза у интеллигента горели, он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами. Фриц позвал из грузовика: «Эй, вы едете или нет? Андрей!» Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. А Андрей остался.

Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа ностальгии. И не то чтобы он соскучился по русской речи — ведь все кругом говорили по-русски; и не то чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, по чему Андрей основательно истосковался, что-то такое, чего

он не мог получить ни от строгого язвительного Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кэнси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого. Ни тем более от Фрица, мужика по-своему замечательного, но как-никак вчерашнего смертельного врага... Андрей и не подозревал, что так истосковался по этому загадочному «чему-то».

Бородач искоса взглянул на него и спросил:

— Земляк, что ли?

— Ленинградец, — сказал Андрей, ощущая неловкость, и, чтобы как-то затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу.

— Вон как... — сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки. — Земляки, выходит. А я, браток, вологодский. Череповец — слыхал? Охцы-мохцы Череповцы...

— А как же! — страшно обрадовался Андрей. — Там же сейчас металлургический комбинат отгрохали, огромнейший заводище!

— Ой ты? — сказал бородач довольно равнодушно. — И его, значит, тоже в оборот взяли... Ну ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то?

Андрей назвался.

— А я, видишь ты, крестьянствую, — продолжал

бородач. — Фермер, по-здешнему. Юрий Константинович, фамилия — Давыдов. Выпить хочешь?

Андрей замялся.

— Рановато как будто... — сказал он.

— Ну, может, и рановато, — согласился Юрий Константинович. — Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и — прямо в мастерские, мне там давно пулемет обещали. Ну, то, се, опробовали машинку, сгрузил я им, значит, окорока, четверть самогону, гляжу — солнце выключили... — Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал вожжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом.

— Да-а, — продолжал Юрий Константинович. — Выключили тут, значит, солнце. А он мне и говорит: «Пойдем, говорит, я тут одно место знаю». Поехали мы туда, выпили, закусили. С водкой сам знаешь в городе как, а у меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно... — Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем продолжал, понизив голос: — У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь, одна вдова, ну, ходим к ней... у ней муж в запрошлом году утонул... Ну и знаешь же, как получается, — сходить-то сходишь,

деваться некуда, а потом — то ты ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватор... А, з-зараза! — Он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой. — В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас, белобрысый? Немец?

— Немец, — сказал Андрей. — Бывший унтер-офицер, под Кенигсбергом попал в плен, а из плена — сюда...

— То-то я смотрю — морда противная, — сказал Давыдов. — Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, ползадницы начисто снесли. Ну, а потом я им тоже дал. Танкист я, понял? В последний раз уже под Прагой горел... — Он опять покрутил бородой. — Ну ты скажи, какая судьба! Надо же, где встретились!

— Да нет, он мужик ничего, деловой, — сказал Андрей. — И смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для Эксперимента он, по-моему, очень полезный человек. Организатор.

Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей.

— Приезжает это к нам на болота один на прошлой неделе, — заговорил он наконец. — Ну,

собрались мы у Ковальского — это тоже фермер, поляк, километрах в десяти от меня, дом у него хороший, большой. Да-а... Собрались, значит. Ну, и этот начинает нам баки вертеть: есть ли у нас правильное понимание задач Эксперимента. А сам он из мэрии, из сельхозотдела. Ну, и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что ежели, скажем, есть у нас правильное понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить... А ты женатый? — спросил он вдруг.

— Нет, — сказал Андрей.

— Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром здесь одно дело назначено.

— Ну конечно! — сказал Андрей. — Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте, места у меня сколько угодно, буду только рад...

— Ну и я буду рад, — сказал Давыдов, улыбаясь. — Как-никак, а земляки все-таки.

— Адрес запишите, — сказал Андрей. — Есть у вас на чем записать?

— Говори так, — сказал Давыдов. — Я запомню.

— Адрес простой: улица Главная, дом сто пять, квартира шестнадцать. Со двора. Если меня вдруг не будет, загляните к дворнику, там китаец есть такой, Ван, я у него ключ оставлю.

Очень Давыдов нравился Андрею, хотя, по-видимому, взгляды их не во всем совпадали.

— Ты какого года? — спросил Давыдов.

— Двадцать восьмого.

— А из России когда?

— В пятьдесят первом. Всего четыре месяца назад.

— Ага. А я из России в сорок седьмом сюда подался... Скажи-ка ты мне, Андрюха, как там на деревне — лучше стало?

— Ну конечно! — сказал Андрей. — Все восстановили, цены каждый год снижают... Сам я в деревне, правда, после войны не был, но если судить по кино, по книгам, живут теперь в деревне богато.

— Гм... Кино, — с сомнением произнес Давыдов. — Кино, понимаешь, это такое дело...

— Нет, ну почему же... В городе, в магазинах-то все есть. Карточки отменили давно. Откуда берется? Из деревни ведь...

— Это точно, — сказал Давыдов. — Из деревни... А я, понимаешь, пришел с фронта — жены нет, померла. Сын без вести пропал. На деревне — пустота. Ладно, думаю, это мы поправим. Войну кто выиграл? Мы! Значит, теперь наша сила. Предлагают мне председателем. Согласился. На деревне

одни бабы, так что и жениться не надо было. Сорок шестой кое-как протянули, ну, думаю, теперь полегче станет... — Он вдруг замолчал и молчал долго, словно бы позабыв про Андрея. — Счастье для всего человечества! — проговорил он неожиданно. — Ты как — в это веришь?

— Конечно.

— Вот и я поверил. Нет, думаю, деревня — это дело мертвое. Это ошибка какая-то, думаю. До войны — за грудь, после войны — за горло. Нет, думаю, так они нас задавят. И жизнь ведь, понимаешь, беспросветная, как генеральские погоны. Я уж было пить начал, а тут — Эксперимент. — Он тяжело вздохнул. — Значит, ты полагаешь, получится у них Эксперимент?

— Почему это — у них? У нас!

— Ну, пускай у нас. Получится или нет?

— Должен получиться, — сказал Андрей твердо. — Все зависит только от нас.

— Что от нас зависит — мы делаем. Там делали, здесь делаем... Вообще-то, конечно, грех жаловаться. Жизнь хотя и тяжелая, но не в пример. Главное — сам ты, сам, понял? А если приедет какой-нибудь — уронишь его, бывает, в нужник, и вася-кот!.. Партийный? — спросил он вдруг.

— Комсомолец. Вы, Юрий Константинович,

что-то уж больно мрачно настроены. Эксперимент есть Эксперимент. Трудно, ошибок много, но иначе, наверное, и невозможно. Каждый — на своем посту, каждый — все, что может.

— А ты на каком же посту?

— Мусорщик, — гордо сказал Андрей.

— Большой пост, — сказал Давыдов. — А специальность у тебя есть?

— Специальность у меня очень специальная, — сказал Андрей. — Звездный астроном.

Он произнес это стеснительно и искоса поглядел на Давыдова, ожидая насмешки, но Давыдов, наоборот, страшно заинтересовался.

— В сам-деле, астроном? Слушай, браток, так ты ж должен знать, куда это нас занесло. Планета это какая-нибудь или, скажем, звезда? У нас, на болотах то есть, каждый вечер по этому вопросу сцепляются — до драк доходит, ей-богу! Насосутся самогонки и давай, кто во что горазд... Есть такие, знаешь, что считают: мы здесь вроде как в аквариуме сидим — тут же, на Земле. Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб — люди. Ей-богу! А ты как считаешь — с научной точки зрения?

Андрей почесал в затылке и засмеялся. У него в квартире по этому же поводу дело тоже доходило

чуть ли не до драк — и без всякой самогонки. А насчет аквариума буквально теми же словами, хихикая и брызгая, не раз распространялся Изя Кацман.

— Как тебе, понимаешь... — начал он. — Сложно все это. Непонятно. А с научной точки зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая планета, и тем более — звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к астрономии никакого отношения не имеет.

Давыдов покивал.

— Аквариум, — сказал он убежденно. — И солнце здесь вроде лампочки, и стена эта желтая до небес... Слушай-ка, вот этим проулком я на рынок попаду или нет?

— Попадешь, — сказал Андрей. — Адрес мой не забыл?

— Не забыл, вечером жди...

Давыдов хлестнул по лошадям, присвистнул, и телега, грохоча, скрылась в проулке. Андрей направился домой. Вот славный мужик, думал он растроганно. Солдат! В Эксперимент он, конечно, не пошел, а от трудностей убежал, но тут я ему не судья. Он — раненый, хозяйство было разрушено, мог он дрогнуть?.. Да и здесь, видно, житье у него тоже не сахар. Да и не один он здесь такой, дрог-

нувший, много здесь таких...

По Главной уже вовсю разгуливали павианы. То ли Андрей к ним пригляделся, то ли они сами както переменились, но они уже вовсе не казались такими наглыми или, тем более, страшными, как несколько часов назад. Они мирно устраивались кучками на солнцепеке, тараторили, искались, а когда мимо них проходили люди, протягивали мохнатые лапы с черными ладошками и просительно помаргивали слезящимися глазами. Было похоже, как будто в городе объявилось вдруг огромное количество нищих.

У ворот своего дома Андрей увидел Вана. Ван сидел на тумбе, печально сгорбившись, опустив меж колен натруженные руки.

— Баки потеряли? — спросил он, не поднимая головы. — Посмотри, что делается...

Андрей заглянул в подворотню и ужаснулся. Навалено было, казалось, до самой лампочки. Только к двери дворницкой вела узенькая тропиночка.

— Господи! — сказал Андрей и засуетился. — Я сейчас... подожди... сейчас сбегаю... — Он судорожно пытался припомнить, по каким улицам они с Дональдом гнали вчера ночью и в каком месте беженцы вышвырнули баки из кузова.

— Не надо, — безнадежным голосом сказал Ван. — Уже приезжала комиссия. Переписали номера баков, обещали к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но, может быть, хотя бы к утру, а?

— Ты понимаешь, Ван, — сказал Андрей, — это был такой ад кромешный, стыдно вспоминать...

— Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было.

— Дональд уже дома? — оживился Андрей.

— Да. Он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы. Я дал ему бутылку водки, и он ушел.

— Вот как... — проговорил Андрей, снова оглядывая кучи мусора.

И вдруг ему до такой степени, невыносимо, почти до истерики, до крика, захотелось помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разворачивать все это добро... Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше ни слова, бросился через двор, на свою лестницу, наверх, через три ступеньки, дрожа от нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия.

Глава третья

Прежде всего он разделся. Догола. Скомкал комбинезон и белье, швырнул все в ящик с грязным барахлом. Грязь в грязь. Затем, стоя голышом посередине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отвращения. Кухня была завалена грязной посудой. В углах громоздились тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшей какие-то черные комья. Стол был заставлен мутными захватанными бокалами, стаканами и банками из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдцами. А на табуретках тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаги и котелки. Он приблизился к мойке и пустил воду. О счастье! Вода была горячая! И он принялся за дело.

Перемывши всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением — никак он не мог привыкнуть

и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных и затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями.

Теперь надо было бы смотаться в лавку, купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет, да и из обычной кодлы кто-нибудь завалится наверняка... Но сначала он решил помыться. Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни. А когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево.

Да, это было прекрасно! Это было прохладно, душисто, скрипуче, и справа, в пределах досягаемости, обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева, в тех же пределах, — полочка с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли, но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал «Десять негритят» Агаты Кристи, закурил

и принялся читать.

Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина, только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов, могучий, загорелый, пахнущий потом и свежим перегаром, как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей под уздцы, с бутылкой самогона наготове. Снова постучали, и он проснулся окончательно.

— Иду! — заорал он, вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабая, и штаны пришлось придерживать сбоку.

Противу ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали кони и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распахнул дверь, крякнул и отступил на шаг, вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже. Перед ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая из восемнадцатого

номера.

— Сигареты у вас не найдется? — спросила она без всякой приветливости.

— Да... пожалуйста... заходите... — пробормотал Андрей, пятясь.

Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую, а он захлопнул дверь и с отчаянным криком «Одну минуточку, подождите, я сейчас!» бросился в спальню. Ай-яй-яй, говорил он себе. Ай-яй-яй, как же это я так... Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами — даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо, он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную спортивную куртку с переплетенными буквами «ЛУ» на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель: грудь колесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой, в протянутой руке — пачка сигарет.

Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и закурила. На Андрея она даже и не смотрела, и вид у нее

был такой, словно на все на свете ей наплевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже, нос коротковат и вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Однако ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно — черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер. Да еще с таким ошейником. Как у водолаза.

Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую прекрасную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил.

— Меня зовут Андрей, — сказал он.

Она обратила свой равнодушный взгляд на него. И глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные.

— Андрей, — повторила она. — Поляк?

— Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции.

Она покивала.

— Из Швеции... Так это вас вчера в участке лупили?

Андрей опешил.

— В каком участке? Никто меня не лупил.

— Слушай, Андрей, — сказала она. — Почему у меня здесь машинка не работает? — Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка. — На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа.

Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник.

— Вот это да! — пробормотал он. — Неужели детекторный?

— Откуда я знаю? — Она отобрала у него приемник, раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание. — Не работает, и все. А ты что, никогда таких не видел?

Андрей помотал головой. Потом сказал:

— Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть.

— Господи, — сказала Сельма. — А что ж тогда здесь делать? И ящика нет...

— Какого ящика?

— Ну, телика... Ти-ви!..

— А... Да, это у нас планируется не скоро.

— Ну и тоска!..

— Можно патефон завести, — предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Действительно, что это такое — ни радио, ни телевидения, ни кино...

— Патефон? Это еще что такое?

— Не знаешь, что такое патефон? — удивился Андрей. — Ну, граммофон. Ставишь пластинку...

— А, проигрыватель... — сказала Сельма без всякого воодушевления. — А магнитофона нет?

— Вот еще, — сказал Андрей. — Что я тебе — радиоузел, что ли?

— Дикий ты какой-то, — объявила Сельма Нагель. — Одно слово — русский. Ну ладно, граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?

Андрей рассердился.

— Я сюда не мотоциклы гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?

— Работать он приехал... — сказала Сельма. — Ты скажи, за что тебя в участке лупили? За наркоту?

— Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют, это тебе не Швеция.

Сельма присвистнула.

— Ну-ну, — сказала она насмешливо. — Значит, мне померещилось.

Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате.

— А кто тут до тебя жил? — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с болонкой на коленях. — У меня, например, — явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах — использованные презервативы, а в шкафу — целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик...

— Врешь, — сказал Андрей, обмирая. — Врешь ты все, Сельма Нагель.

— Зачем это мне врать? — удивилась Сельма. — А кто жил? Не знаешь?

— Мэр! Мэр нынешний там жил, понятно?

— А, — сказала Сельма равнодушно. — Понятно.

— Что — понятно? — сказал Андрей. — Что это

тебе понятно?! — вскричал он, накаляясь. — Что ты вообще можешь здесь понимать?! — Он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя.

— Лет ему, наверное, под пятьдесят, — с видом знатока объявила Сельма. — Старость на носу, бесится человек. Климакс! — Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с болонкой.

Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был обширный, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива — о воздержании, о гордом аскетизме, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его, мэра, пишущей машинки...

— Не верит! — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет, она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея. — Не веришь — не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-ни-

будь нанять, что ли?

— Нанять... — тупо повторил Андрей. — Фиг тебе! — сказал он злорадно. — Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего.

Некоторое время они молча разглядывали друг друга со взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза:

— Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?

— Ничего особенного, — сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков. Всяких. — Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник... Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?

— Фокстейлером, — сказала Сельма.

— Кем?

— Ну, как тебе объяснить... Раз-два, ножки врозь...

Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. Все ведь брешет, девка. Идиота из меня делает.

— И хорошо зарабатывала? — саркастически спросил он.

— Дурак, — сказала она почти ласково. — Это же не для денег. Просто интересно. Скука же...

— Как же так? — сказал Андрей горестно. — Куда же твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться...

— Зачем? — спросила Сельма.

— Как — зачем? В люди вышла бы... Инженером бы стала, учителем... Могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм...

— Боже мой, боже мой... — хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудовищную свою ответственность.

— Ну что ты, что ты... — сказал он, неловко придвигаясь к ней. — Что было, то было. Все. Не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что так у тебя получилось: здесь ты все наверстаешь. У меня полно друзей, все — настоящие люди... — Он вспомнил Изю и сморщился. — Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дела до черта! Беспорядка много, неразберихи, просто дряни — каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало! Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить: ну чего тебя сюда принесло, на кой ляд ты здесь кому нужен?..

Он совсем было уже решился по-дружески,

даже по-братски, потрепать Сельму по плечу, но тут она спросила, не отрывая ладоней от лица:

— Значит, не все здесь такие?

— Какие?

— Как ты. Идиоты.

— Ну знаешь!

Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. Вот ведь буржуйка. Шлюха, а туда же. Интересно ей, видите ли... Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала. Прямота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду. Это не то что Изя, скажем: ни нашим ни вашим — скользкий, как червяк, и везде просочится...

Сельма хихикнула у него за спиной.

— Ну чего забегал? — сказала она. — Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну, извини.

Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью воздух.

— Вот что, — сказал он. — Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня да — личные счеты. А с тобой — никаких. Ты здесь — значит ты наш товарищ. Будешь работать хорошо — будем хорошими друзьями. А работать хорошо — придется. Здесь у

нас, знаешь, как в армии: не умеешь — научим, не хочешь — заставим! — Ему очень нравилось, как он говорит, — так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета, перед субботниками. Тут он обнаружил, что Сельма наконец отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он ободряюще подмигнул ей. — Да-да, заставим, а ты как думала? У нас, бывало, на стройку уж такие сачки приезжали — поначалу только и норовят в ларек да в лесок. И ничего! Как миленькие! Труд, знаешь, даже обезьяну очеловечивает...

— А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят? — спросила Сельма.

— Нет, — сказал Андрей, помрачнев. — Только с сегодняшнего дня. В честь твоего прибытия.

— Очеловечивать их будете? — вкрадчиво осведомилась Сельма.

Андрей через силу ухмыльнулся.

— Это уж как придется, — сказал он. — Может быть, действительно придется очеловечивать. Эксперимент есть Эксперимент.

При всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной какого-то рационального зерна. Надо будет вечером этот вопрос поднять, мелькнуло у него в голове. Но

тут же у него возникла и другая мысль.

— Ты что вечером собираешься делать? — спросил он.

— Не знаю. Как придется. А что здесь у вас делают?

Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы. Было уже семь, сборище начиналось.

— Сегодня ты — у меня, — сказал он Сельме решительно. С этим разболтанным существом действовать можно было только решительно. — Веселья особенного не обещаю, но с интересными людьми познакомишься. Идет?

Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь стучали уже каблуком. Это был Изя Кацман.

— У тебя что — женщина? — спросил он прямо с порога. — Когда ты, наконец, звонок поставишь, хотел бы я знать?

Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изя был аккуратно причесан, при крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высокой точностью располагался на линии нос — пупок. Но все равно, Андрей предпочел бы сейчас увидеть Дональда или Кэнси.

— Заходи, заходи, трепло, — сказал он. — Что

это с тобой сегодня — раньше всех заявился?

— А я знал, что у тебя женщина, — ответствовал Изя, потирая руки и хихикая, — и поспешил взглянуть.

Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме.

— Изя Кацман, — представился он бархатным голосом. — Мусорщик.

— Сельма Нагель, — лениво отозвалась Сельма, протягивая руку. — Шлюха.

Изя даже закряхтел от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку.

— Между прочим! — сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме. — Вы слыхали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения, — он поднял палец и повысил голос, — «Об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в городской черте больших скоплений собакоголовых обезьян»... Уф! Предлагается всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами с собственными именами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них ответственны! — Он захихикал, захрюкал и с протяжными тоненькими стонами принялся бить кулаком правой руки в раскрытую

ладонь левой. — Грандиозно! Все дела заброшены, на всех заводах срочно изготовляют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку трех половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты возьмешь себе павианиху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование Эксперимента! Как известно, Эксперимент есть Эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что Эксперимент есть именно Эксперимент — не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно Эксперимент?..

Андрей сказал, с трудом прорвавшись сквозь бульканье и стоны:

— Ну, пошел, пошел трепаться!..

Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевизм должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бродить вот так из дома в дом, хихикать и оплевывать все направо и налево, вместо того чтобы, стиснув зубы...

Изя перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате.

— Может быть, это и трепотня, — сказал он. — Возможно. Но ты, Андрей, как всегда ни черта не понимаешь в психологии руководства. В чем,

по-твоему, назначение руководства?

— Руководить! — сказал Андрей, принимая вызов. — Руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организаций...

— Стоп! Координировать действия — с какой целью? Что является конечной целью этого координирования?

Андрей пожал плечами.

— Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед...

— О! — Изя опять вскинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились. — О! — повторил он и снова замолчал. Сельма смотрела на него с восхищением. — Порядок! — провозгласил Изя. — Порядок! — Глаза его выкатились еще больше. — А теперь представь, что во вверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не можешь — кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь — не хватает жратвы, резервов. Павианы попрошайничают на улицах — вопиющий беспорядок: у нас нет и не может быть попрошаек! Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен. Какой отсюда напрашивается

вывод?

— Ну, уж во всяком случае, не ошейники надевать, — сказал Андрей.

— Правильно! — сказал Изя с одобрением. — Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод: скрыть существование павианов. Сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея: упорядочить присутствие павианов! Хаос, безобразие узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра! Вместо нищенствующих и хулиганящих стад и шаек — милые домашние животные. Мы же все любим животных! Королева Виктория любила животных. Дарвин любил животных. Даже Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уже о Гитлере...

— Наш король Густав тоже любит животных, — вставила Сельма. — У него — кошки.

— Прекрасно! — воскликнул Изя, ударяя кулаком в ладонь. — У короля Густава — кошки, а у Андрея Воронина — персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже два

павиана...

Андрей плюнул и отправился на кухню проверить запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи.

Жрать было нечего: куль картошки, начавшей уже прорастать, сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было — как раз до получки и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а, наоборот, похаживать в гости. В гроб они меня загонят, подумал Андрей мрачно. К черту, хватит. Всех выпотрошу. Что я им — кухмистерская, что ли? Павианы!

Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот — до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами, и уже никакого лоска в нем нет: узел галстука под правым ухом,

волосы дыбом, а манжеты — серые.

Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком — рядовым того же вермахта Отто Фрижей.

— Явились? — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой.

Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся.

— Что за тон? — холодно осведомился Фриц. — Может быть, нам уйти?

— Ты жрать принес что-нибудь? — спросил Андрей.

Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью.

— Жрать? — переспросил он. — М-м, как тебе сказать... — И он вопросительно посмотрел на Отто. Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею. Как пропуск — этикеткой наружу.

— Ну, это ладно... — смягчаясь, сказал Андрей и взял бутылку. — Но учтите, ребята, жрать аб-

солютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы?

— Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом? — осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед: он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой.

Андрей впустил их в прихожую и сказал:

— Деньги. Деньги на бочку!

— Даже здесь нам не удается избежать репараций, Отто, — сказал Фриц, раскрывая портмоне. — На! — Он сунул Андрею несколько бумажек. — Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить, — он сбегает.

— Погоди, не так быстро, — сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил, — он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так чтобы уж очень много, но и не мало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фриц

закуривал ей сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто, красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно.

Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: «Без тебя, без тебя обойдутся...» Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро (чего Андрей никогда не догадался бы сделать), быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце, со словами: «Может, томатный соус попадется...» уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас («Вдруг у них тары не будет...»), так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному: «Да ладно тебе... Да будет... Ну пошли, что ли...»

— А ты тоже пойдешь? — благоговейно удивился Отто, закончив сборы.

— Да, а что?

— Да я и сам могу, — сказал Отто.

— Ну, сам, сам... Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я — в кассу...

— Это верно, — сказал Отто. — Да. Конечно.

Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана — бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь, но оказалось — ничего, висит на пожарной лестнице и скалит клыки.

— Объедков бы ему дать, — сказал Андрей задумчиво. — У меня там объедков для целого стада...

— Сходить? — с готовностью предложил Отто.

Андрей только посмотрел на него и, сказавши: «Вольно!», пошел дальше. На лестнице уже повонивало. Вообще-то здесь и раньше всегда повонивало, но теперь появился некий новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник, и не один.

— Да, прибавится Вану работенки, — сказал Андрей. — Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь?

— Товарищем министра, — уныло ответствовал Отто. — Третий день уже.

— Какого министра? — поинтересовался Андрей.

— Этого... профессионального обучения.

— Тяжело?

— Ничего не понимаю, — тоскливо сказал Отто. — Бумаг очень много, приказы, докладные записки... сметы, бюджет... И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают... Подожди, ты куда?

— В магазин.

— Нет. Пойдем к Гофштаттеру. У него и дешевле, и немец все-таки...

Пошли к Гофштаттеру. Гофштаттер держал на углу Главной и Староперсидского некую помесь зеленной с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил несолоно хлебавши: продуктов у Гофштаттера было мало, и он сам выбирал себе покупателей.

Магазин был пуст, на полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и Гофштаттер, поднявши от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал: «Закрываю». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и Гофштаттер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передви-

гаемые ящики, затарахтела ссыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса...

Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговлишка господина Гофштаттера представляла собой жалкое зрелище. И весы, конечно, не прошли соответствующего контроля, и с санитарией было неважно. Впрочем, это меня не касается, подумал Андрей. Когда все будет устроено как надо, эти гофштаттеры попросту вылетят в трубу. Да они, можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого-каждого он уже не в силах обслуживать. Ишь замаскировался, хрену везде понаставил. Надо бы на него Кэнси напустить — развел тут черный рынок, националист паршивый. «Только для немцев»...

Отто выглянул из недр и шепотом сказал: «Деньги, быстренько!» Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук, остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия Гофштаттера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться, а Гофштаттер добродушно

приговаривал: «Заходите, заходите, молодые люди, всегда вам рад, всегда рад истинным немцам... А господину Гейгеру особенный привет... На следующей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставлю килограмма три...» — «Так точно, господин Гофштаттер, — откликался Отто, — все будет передано в точности, не беспокойтесь, господин Гофштаттер... И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет фройлейн Эльзе — от нас и в особенности от господина Гейгера...» Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.

Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая:

— Подожди... Передохнуть надо... Ф-фу...

Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто.

— Где такую морковочку брали? — осведо-

милась, проходя мимо, женщина в кожаном мужском пальто.

— Все, все, — поспешно сказал ей Отто. — Последнюю взяли. Там уже закрыто... Черт, умаял меня лысый дьявол... — сообщил он Андрею. — Чего я ему там плел! Оторвет мне Фриц башку, когда узнает... Да я и не помню уже, что я там плел...

Андрей ничего не понимал, и Отто вкратце объяснил ему ситуацию.

Господин Гофштаттер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд, и всю жизнь ему не везло. Когда в тридцать втором году какой-то еврей пустил его по миру, открыв напротив большой современный зеленной магазин, Гофштаттер осознал себя истинным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и в тридцать четвертом году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема, и Гофштаттера вычистили. А он к тому времени был уже женат, и уже подрастала у него очаровательная белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал было завоевание Европы, но под Дюнкерком попал под бомбы собственной авиации и

получил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в Дрездене, где провалялся до сорок четвертого, и совсем было уже выписался, когда совершился знаменитый налет союзных армад, уничтоживший Дрезден в одну ночь. От пережитого ужаса у него выпали все волосы, и он немножко тронулся, по его же собственным рассказам. Так что, попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое что ни на есть горячее время, когда еще можно было удрать на Запад. Когда же он решился, наконец, выйти на свет божий, все было уже кончено. Зеленную лавку ему, правда, разрешили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В сорок шестом у него умерла жена, он в помрачении рассудка поддался на уговоры Наставника и, плохо понимая, что он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда. Здесь он немного отошел, хотя до сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии. С черепушкой у него так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него на них особенный нюх, смертельно боится китайцев, арабов и негров,

присутствия которых здесь не понимает и объяснить не может, но более всего он почитает и уважает господина Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштаттеру блестящий Фриц, пока Отто наполнял кошелки, кратко, по-военному, приволокнулся за белокурой Эльзой, осатаневшей без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сумасшедшего лысого Гофштаттера зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец, опора фюрера и гроза евреев, выведет в конце концов несчастное семейство Гофштаттеров из бурно кипящих вод в тихую заводь.

— ...Фрицу что! — жаловался Отто, ежеминутно меняя руки, отмотанные корзиной. — Он у Гофштаттеров бывает раз, ну два в месяц, когда у нас жрать нечего, — пощупает эту дуру, и делов-то... А я сюда каждую неделю хожу, и по два раза, и по три раза в неделю... Ведь Гофштаттер-то дурак, дурак, а человек деловой, знаешь, какие он связи завязал с фермерами, — продукты у него первый сорт и недорого... Изоврался я вконец! Вечную привязанность Фрица к Эльзе я ему обеспечь. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечь. Неуклонное движение войск великого райха к этой зеленной лавке я ему обеспечь...

Я уже сам запутался и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно же все-таки: сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спрашивает меня: что, мол, эти павианы должны означать? А я, не подумавши, ляпнул: десант, говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь — он меня обнял и присосался что к твоей бутылке...

— А Эльза что? — с любопытством спросил Андрей. — Она-то ведь не сумасшедшая?

Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами.

— Эльза... — Он откашлялся. — Тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно: Фриц, Отто, Иван, Абрам... Тридцать лет девке, а Гофштаттер к ней подпускает только Фрица да меня.

— Ну и сволочи же вы с Фрицем, — сказал Андрей искренне.

— Дальше некуда! — согласился Отто печально. — И ведь что самое ужасное: совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный.

Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал.

— Ты это отнеси и поставь воду в большой

кастрюле, — сказал он. — А мне давай деньги, я смотаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану. — Он помялся, отводя глаза. — И ты, это... Фрицу... не надо. А то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой, — любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит?

Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно нагрузил ее Гофштаттер чугунными ядрами. Да, брат, думал Андрей с ожесточением. Какой уж тут Эксперимент, если такие дела делаются. Много ты с этим Отто да с этим Фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие — ни чести, ни совести. А откуда? — подумал он с горечью. Вермахт. Гитлерюгенд. Шваль. Нет, я с Фрицем поговорю! Этого так оставлять нельзя — морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может! Должен! В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку — и баста. Все обгадились, все лапки кверху, один Фриц... Нет, это человек! За него драться надо...

Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги.

Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон. Слышался звон посуды. Шаркали ноги танцующих. И покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голосок Юрия свет-Константиновича: «Ты, браток, насчет экономии всякой и социологии — не нужно. Обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу и хребет поломать можно...»

На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле, на кухонном столе лежал готовый, заново отточенный нож, и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них — промасленный, прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же — собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками.

Андрей бросил корзину и кошелку.

— Эй, бездельники! — заорал он. — Вода кипит!

Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась рас-

красневшаяся, с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал Фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи с талии Сельмы.

— Привет тебе от Гофштаттера! — сказал Андрей. — Эльза беспокоится, что ты не заходишь... Ведь ребеночку уже скоро месяц!

— Дурацкие шутки! — объявил Фриц с отвращением, однако лапы убрал. — Где Отто?

— И правда, вода кипит! — сообщила Сельма с удивлением. — Что теперь с ней делать?

— Бери нож, — сказал Андрей, — и начинай чистить картошку. А ты, Фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат. Так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина.

Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга.

— Слушай! — прошептал он, хихикая и брызгаясь. — Откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий Дикий Запад! Американская вольница!

— Русская вольница ничем не хуже американской, — сказал Андрей с неприязнью.

— Ну да! Ну да! — закричал Изя. — «Когда ев-

рейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот-переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот!..»

— Это ты брось, — сказал Андрей сурово. — Это я не люблю... Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацмана под командование, работайте, да побыстрее, жрать охота — сил нет... Да не орите здесь — Отто будет стучаться, он за консервами побежал.

Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там прежде всего обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый и крепко пахнущий, стоял посередине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные — такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшащихся.

— Вот! — сказал Давыдов. — Пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка еще тебе — два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, на хрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоро-

мах каменных живут, как гниют, белого света не видят... Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси говорю, японцу, плюньте, говорю, ребята! Ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда все к нам...

Кэнси, все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыдову.

— Этим и кончится, Юра, — сказал он. — Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда мы все как один подадимся к вам на болота.

— Да чего вам ждать этих... как их... Плюньте вы на этих камаров. Вот завтра поеду поутру порожняком, телега пустая, три семьи свободно можно погрузить. Ты ведь не семейный? — обратился он к Андрею.

— Бог спас, — сказал Андрей.

— А девушка эта кто тебе? Или она не твоя?

— Она новенькая. Сегодня ночью прибыла.

— Так чего лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай и поехали, а? У нас там воздух. У нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уже год не пил свежего. Я вот все спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного

три коровы, я это молоко и государству сдаю, и сам ем, и свиней кормлю, и на землю лью... Вот у нас поселишься, понимаешь, проснешься поутру в поле идти, а она тебе, твоя-то, крынку парного, прямо из-под коровы, а? — Он крепко замигал обоими глазами по очереди, захохотал, ахнул Андрея по плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате — остановил патефон и вернулся. — А воздух какой? У вас здесь и воздуха не осталось, зверинец у вас здесь, вот и весь ваш воздух... Кэнси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду.

— Она там картошку чистит, — сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал помогать Кэнси. Очень свой человек был Давыдов. Очень близкий. Будто знакомы уже целый год. А что, если и верно — махнуть на болота? Молоко не молоко, а жизнь там, наверное, действительно здоровее. Ишь он какой стоит, как памятник!

— Стучит там кто-то, — сообщил Давыдов. — Открыть или сам откроешь?

— Сейчас, — сказал Андрей и пошел к парадному. За дверью оказался Ван — уже без ватника, в синей саржевой рубахе до колен, с вафельным полотенцем вокруг головы.

— Баки привезли! — сказал он, радостно улы-

баясь.

— Ну и хрен с ними, — ответствовал Андрей не менее радостно. — Баки подождут. Ты почему один? А Мэйлинь где?

— Она дома, — сказал Ван. — Устала очень. Спит. Сын немного захворал.

— Ну заходи, чего стоишь... Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю.

— А мы уже знакомы, — сказал Ван, входя в столовую.

— А, Ваня! — обрадованно закричал Давыдов. — И ты тоже тут! Нет, — сказал он, обращаясь к Кэнси. — Знал я, что Андрей — хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди собираются. Тебя вот взять, или еврейчика этого... как его... Ну, теперь у нас пойдет пир горой! Пойду посмотрю, чего они там копаются. Там и делать-то нечего, а они, понимаешь, развели работу...

Ван быстро оттеснил Кэнси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять приборы. Кэнси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать.

— Что-то Дональд не идет, — сказал он озабоченно.

— Заперся у себя, — отозвался Ван. — Не велел беспокоить.

— Чего-то он хандрит, ребята, последнее время. Ну и бог с ним. Слушай, Кэнси, что это у тебя с рукой?

Кэнси ответил, слегка скривив лицо:

— Павиан цапнул. Такая сволочь — до кости прокусил.

— Ну да? — поразился Андрей. — А мне показалось, они вроде мирные...

— Ну, знаешь, мирные... Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать...

— Какой ошейник?

— Приказ пятьсот семь. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну, мы штук двадцать окольцевали, а остальных перегнали на соседний участок, пусть там разбираются. Ну, чего ты стоишь с открытым ртом?.. Рюмки давай, рюмок не хватает...

Глава четвертая

Когда выключили солнце, вся компания была порядочно уже на взводе. В мгновенно наступившей темноте Андрей вылез из-за стола и, сшибая ногами какие-то кастрюли, стоящие на полу, добрался до выключателя.

— Н-не пугайтесь, милая фройлейн, — бубнил у него за спиной Фриц. — Это здесь всегда...

— Да будет свет! — провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова.

Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне. Андрей обернулся и оглядел собрание.

Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал, слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса назад ставший для Андрея раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья нога, в правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а заскорузлым указательным пальцем левой водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его

сорочки явственно обнаруживались следы мясного соуса.

По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван — перед ним стояла самая маленькая тарелочка с маленьким кусочком и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было поднято и блаженно улыбалось: Ван наслаждался покоем.

Быстроглазый разрумянившийся Кэнси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся с осоловением и в минуты одержанных побед громко восклицавшему: «Да! Конечно! Да! О да!»

Сельма Нагель, шведская шлюха, была прямотаки красавица. Она сидела в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на уровне груди бравого унтера Фрица, так что глаза у Фрица горели, и весь он шел красными пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею на брудершафт, а Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время от времени стряхивала волосатую ласковую лапу Фрица со своих коленок.

Только стул Андрея по другую сторону от

Сельмы был пуст, и был печально пуст стул, поставленный для Дональда. Жалко как — Дональда нет, подумал Андрей. Но! Выдержим, перенесем и это! И не с таким нам приходилось справляться... Мысли его несколько путались, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое место, взял стакан и заорал:

— Тост!

Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая слепнями лошадь, и отозвался: «Да! О да!»

— Я сюда приехал, потому что поверил! — громко басил дядя Юра, не давая хихикающему Изе убрать его сучковатый палец у себя из-под носа. — А поверил потому, что больше верить было не во что. А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни во что не верить, ничего, кроме водки, не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить. В себя нужно верить, без веры, браток, и палку хорошую не бросишь...

— Ну да, ну да! — откликался Изя. — Если у еврея отнять веру в бога, а у русского — веру в доброго царя, они становятся способны черт знает на что...

— Нет... Подожди! Евреи — это дело особое...

— Главное, Отто, не напрягайтесь, — говорил в то же время Кэнси, с удовольствием хрустя капустой. — Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте, зачем нужно профессиональное обучение в Городе, где каждый то и дело меняет профессию?

— О да! — ответствовал Отто, на секунду проясняясь. — То же самое я говорил господину министру.

— И что же министр? — Кэнси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков — словно чай пил.

— Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль, и предложил мне составить разработку. — Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами. — А я вместо этого пошел к Эльзе...

— ...И когда танк оказался на расстоянии двух метров от меня, — гундел Фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы, — я вспомнил все!.. Вы не поверите, фройлейн, все прожитые годы прошли передо мною... Но я — солдат! С именем фюрера...

— Да нет давно вашего фюрера! — втолковывала ему Сельма, плача от смеха. — Сожгли его, вашего фюрера!..

— Фройлейн! — произнес Фриц, угрожающе

выпячивая челюсть. — В сердце каждого истинного немца фюрер жив! Фюрер будет жить века! Вы — арийка, фройлейн, вы меня поймете: когда р-русский танк... в трех метрах... я, с именем фюрера!..

— Да надоел ты со своим фюрером! — заорал на него Андрей. — Ребята! Ну, сволочи же, слушайте же тост!

— Тост? — спохватился дядя Юра. — Давай! Вали, Андрюха!

— За псютздесдам! — вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кэнси.

— Да заткнись ты! — гаркнул Андрей. — Изя, перестань ты скалиться! Я серьезно говорю! Кэнси, черт тебя подери!.. Я считаю, ребята, что мы должны выпить... мы уже пили, но как-то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить за наш Эксперимент, за наше благородное дело и в особенности...

— За вдохновителя всех наших побед, товарища Сталина! — заорал Изя.

Андрей сбился.

— Нет... слушай... — пробормотал он. — Чего ты меня перебиваешь? Ну, и за Сталина, конечно... Черт, сбил меня совсем... Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак!

— Ничего, ничего, Андрюха! — сказал дядя Юра. — Тост хороший, за Эксперимент надо выпить, за дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы, за дружбу выпьем и чтобы все было хорошо.

— А я за Сталина выпью! — упрямилась Сельма. — И за Мао Цзе-дуна. Эй, Мао Цзе-дун, слышишь? За тебя пью! — крикнула она Вану.

Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил.

— Цзе-дун? — спросил Фриц угрожающе. — К-то такой?

Андрей залпом осушил свой стакан и, слегка оглушенный, торопливо тыкал вилкой в закуску. Все разговоры доносились сейчас до него словно из другой комнаты. Сталин... Да, конечно. Какая-то связь должна быть... Как это мне раньше в голову не приходило! Явления одного масштаба — космического. Должна быть какая-то связь и взаимосвязь... Скажем, такой вопрос: выбрать между успехом Эксперимента и здоровьем товарища Сталина... Что лично мне как гражданину, как бойцу... Правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но это не существенно. Предположим, что он жив. И предположим, что передо мной такой выбор: Эксперимент или дело Сталина... Нет, чепуха, не так. Продолжать дело Сталина

под сталинским руководством или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в необычных, в не предусмотренных никакой теорией — вот как ставится вопрос...

— А откуда ты взял, что Наставники продолжают дело Сталина? — донесся вдруг до него голос Изи, и Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух.

— А какое еще дело они могут делать? — удивился он. — Есть только одно дело на Земле, которым стоит заниматься, — построение коммунизма! Это и есть дело Сталина.

— Двойка тебе по «Основам», — отозвался Изя. — Дело Сталина — это построение коммунизма в одной отдельно взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расширение социалистического лагеря до пределов всего мира. Что-то я не вижу, как ты можешь эти задачи осуществить здесь.

— Ску-учно! — заныла Сельма. — Музыку давайте! Танцевать хочу!

Но Андрей уже ничего не видел и не слышал.

— Ты догматик! — гаркнул он. — Талмудист и начетчик! И вообще метафизик. Ничего, кроме формы, ты не видишь. Мало ли какую форму принимает Эксперимент! А содержание у него может

быть только одно, и конечный результат только один: установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами...

— И с трудовой интеллигенцией! — вставил Изя.

— С какой там еще интеллигенцией... Тоже мне говна-пирога — интеллигенция!..

— Да, правда, — сказал Изя. — Это из другой эпохи.

— Интеллигенция вообще импотентна! — заявил Андрей с ожесточением. — Лакейская прослойка. Служит тем, у кого власть.

— Банда хлюпиков! — рявкнул Фриц. — Хлюпики и болтуны, вечный источник расхлябанности и дезорганизации!

— Именно! — Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в поддержке Фрица была полезная сторона. — Вот, пожалуйста: Гейгер. Вообще-то — классовый враг, а позиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения любого класса интеллигенция — это дерьмо. — Он скрипнул зубами. — Ненавижу... Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали...

— Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь

за пистолет! — металлическим голосом провозгласил Фриц.

— Э, нет! — сказал Андрей. — Тут мы с тобой расходимся. Это ты брось! Культура есть великое достояние освободившегося народа. Тут надо диалектически...

Где-то рядом гремел патефон, пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой, но Андрея это не интересовало. Начиналось самое лучшее, то самое, за что он больше всего на свете любил эти сборища. Спор.

— Долой культуру! — вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы подобраться поближе к Андрею. — К нашему Эксперименту она отношения не имеет. В чем задача Эксперимента? Вот вопрос! Вот ты мне что скажи.

— Я уже сказал: создать модель коммунистического общества!

— Да на кой ляд Наставникам модель коммунистического общества, посуди ты сам, голова садовая!

— А почему нет? Почему?

— Я все-таки полагаю так, — сказал дядя Юра, — что Наставники — это не настоящие люди. Что они, как это сказать, другой породы, что ли... Посадили они нас в аквариум... или как бы в зоосад...

и смотрят, что из этого получается.

— Это вы сами придумали, Юрий Константинович? — с огромным интересом повернулся к нему Изя.

Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил:

— В спорах родилось.

Изя даже стукнул кулаком по столу.

— Поразительная штука! — сказал он с азартом. — Почему? Откуда? У самых различных людей, причем мыслящих в общем-то вполне конформистски, почему рождается такое представление — о нечеловеческом происхождении Наставников? Представление, что Эксперимент проводится какими-то высшими силами.

— Я, например, спросил прямо, — вмешался Кэнси. — «Вы пришельцы?» Он от прямого ответа уклонился, но фактически и не отрицал.

— А мне было сказано, что они люди другого измерения, — сказал Андрей. О Наставнике говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми. — Но я не уверен, что я правильно понял... Может быть, это было иносказание...

— А я не желаю! — заявил вдруг Фриц. — Я — не насекомое. Я — сам по себе. А-а! — Он махнул

рукой. — Да разве я попал бы сюда, если бы не плен?

— Но почему? — говорил Изя. — Почему? Я тоже ощущаю все время какой-то внутренний протест и сам не понимаю, в чем здесь дело. Может быть, их задачи в конечном счете близки к нашим...

— А я тебе о чем толкую! — обрадовался Андрей.

— Не в этом смысле, — нетерпеливо отмахнулся Изя. — Не так это все прямолинейно, как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться! А для нас проблема номер один — то же самое: разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам?

— Ах нет, друзья! — сказал Кэнси, мотая головой. — Ах, не обольщайтесь. Готовят они колонизацию Земли и изучают на нас с вами психологию будущих рабов...

— Ну почему, Кэнси? — разочарованно произнес Андрей. — Почему такие страшные предположения? По-моему, просто нечестно так о них думать...

— Да я, наверное, так и не думаю, — отозвался Кэнси. — Просто у меня какое-то странное чувство... Все эти павианы, превращения воды,

всеобщий кабак изо дня в день... В одно прекрасное утро еще смешение языков нам устроят... Они словно систематически готовят нас к какому-то жуткому миру, в котором мы должны будем жить отныне, и присно, и во веки веков. Это как на Окинаве... Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте. Только по-японски. А когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вешали на шею плакат: «Не умею правильно говорить». Так и ходил с этим плакатом.

— Да, да, понимаю... — проговорил Изя, с остановившейся улыбкой дергая и пощипывая бородавку на шее.

— А я — не понимаю! — объявил Андрей. — Все это — извращенное толкование, неверное... Эксперимент есть Эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем. Но ведь мы и не должны понимать! Это же основное условие! Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий... такое понимание сразу обусловит наше поведение, Эксперимент потеряет чистоту и провалится. Это же ясно! Ты как считаешь, Фриц?

Фриц покачал белобрысой головой.

— Не знаю. Меня это не интересует. Меня не

интересует, чего там *они* хотят. Меня интересует, чего Я хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас говорил, я уже не помню, что, может быть, и вся задача Эксперимента состоит в том, чтобы отобрать самых энергичных, самых деловых, самых твердых... Чтобы не языками трепали, и не расползались как тесто, и не философии бы разводили, а гнули бы свою линию. Вот таких они отберут — таких, как я, или, скажем, ты, Андрей, — и бросят обратно на Землю. Потому что раз мы здесь не дрогнули, то и там не дрогнем...

— Очень может быть! — глубокомысленно сказал Андрей. — Я это тоже вполне допускаю.

— А вот Дональд считает, — тихонько сказал Ван, — что Эксперимент уже давным-давно провалился.

Все посмотрели на него. Ван сидел в прежней позе покоя — втянув голову в плечи и подняв лицо к потолку; глаза его были закрыты.

— Он сказал, что Наставники давно запутались в собственной затее, перепробовали все, что можно, и теперь уже сами не знают, что делать. Он сказал: полностью обанкротились. И все теперь просто катится по инерции.

Андрей в полной растерянности полез в заты-

лок — чесаться. Вот так Дональд! То-то он сам не свой ходит... Другие тоже молчали. Дядя Юра медленно сворачивал очередную козью ножку, Изя с окаменевшей улыбкой щипал и терзал бородавку, Кэнси опять принялся за капусту, а Фриц, не отрываясь, глядел на Вана, выдвигая и снова ставя на место челюсть. Вот так и начинается разложение, мелькнуло у Андрея в голове. Вот с таких вот разговоров. Непонимание рождает неверие. Неверие — смерть. Очень, очень опасно. Наставник говорил прямо: главное — поверить в идею до конца, без оглядки. Осознать, что непонимание — это непременнейшее условие Эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности светлого будущего. Что сегодня может быть как угодно тяжело и плохо, и завтра — тоже, но послезавтра мы обязательно увидим небо в звездах, и на нашей улице наступит праздник...

— Я — человек неученый, — сказал вдруг дядя Юра, любовно заклеивая языком новую козью ногу. — У меня четыре класса образования, если хотите знать, и я тут уже Изе говорил, что сюда я, прямо скажем, попросту удрал... Как вот ты... — Он указал козьей ногой на Фрица. — Только

тебе из плена дорога открылась, а мне, значит, из колхоза. Я, если войны не считать, всю жизнь в деревне прожил и всю жизнь света не видел. А здесь вот — увидел! Что они там со своим Экспериментом мудрят — прямо скажу, братки, не моего это ума дело, да и не так уж интересно. Но я здесь — свободный человек, и пока мою эту свободу не тронули, я тоже никого не трону. А вот если тут которые найдутся, чтобы наше нынешнее положение фермерское переменить, то тут я вам в точности обещаю: мы от вашего города камня на камне не оставим. Мы вам, мать вашу так, не павианы. Мы вам, мать вашу так, ошейники себе на горло положить не дадим!.. Вот такие вот пироги, браток, — сказал он, обращаясь непосредственно к Фрицу.

Изя рассеянно хихикнул, и снова воцарилось неловкое молчание. Андрея речь дяди Юры несколько удивила, и он решил, что у Юрия Константиновича жизнь, видимо, сложилась особенно тяжело, и если он говорит, что света он не видел, значит, есть у него на то особые основания, о которых расспрашивать его и тем более сейчас было бы бестактно. Поэтому он только сказал:

— Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы. Эксперимент длится не так уж долго,

работы — невпроворот, надо работать и верить в правоту...

— Это откуда ты взял, что Эксперимент длится недолго? — перебил его Изя с усмешкой. — Эксперимент длится лет сто, не меньше. То есть он длится наверняка гораздо больше, но просто за сто лет я ручаюсь.

— А ты откуда знаешь?

— Ты на север далеко заходил? — спросил Изя.

Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север.

— Ну, север! — нетерпеливо сказал Изя. — Условно считаем, что направление на солнце, та сторона, где болота, поля, фермеры, — это юг, а противоположная сторона, в глубину Города, — север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был... А там еще город и город, там огромные кварталы, целехонькие дворцы... — Он хихикнул. — Дворцы и хижины. Сейчас там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили, и было это «когда-то», я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что ой-ей-ей! Слыхал про такого монарха, Велиария Второго? То-то! А он, между прочим, там царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь, — он постучал ногтем по

столу, — здесь были болота и вкалывали на этих болотах крепостные... или рабы. И было это не меньше, чем сто лет назад...

Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил:

— А еще дальше на север?

— Дальше я не ходил, — сказал Изя. — Но я знаю людей, которые заходили очень далеко — километров на сто — сто пятьдесят, а многие уходили и не возвращались.

— Ну и что там?

— Город. — Изя помолчал. — Правда, и врут про те места тоже безбожно. Поэтому я и говорю только о том, что сам разузнал. Верные сто лет. Понял, друг мой Андрюша? Сто лет. За сто лет на любой эксперимент плюнуть можно.

— Ну ладно, ну подожди... — пробормотал Андрей, потерявшись. — Но ведь не плюнули же! — оживился он. — Раз набирают новых и новых людей, значит, не бросили, не отчаялись! Просто очень трудная задача поставлена. — Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился еще больше. — И вообще: откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть, наш год для них — секунда?..

— Да ничего я этого не знаю, — сказал Изя, по-

жимая плечами. — Я пытаюсь тебе объяснить, в каком мире ты живешь, — вот и все.

— Ладно! — прервал его дядя Юра решительно. — Хватит нам из пустого в порожнее переливать!.. Эй, малый! Как тебя... Отто! Брось девку, и тащи ты нам... Нет, окосел он. Разобьет он мне бутыль, схожу сам...

Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на кухню. Сельма бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в плечо.

— Вы долго еще будете эту бодягу тянуть? Развели скучищу... Эксперимент, эксперимент... Дай закурить!

Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем какой-то неприятный осадок — что-то было недоговорено, что-то было не так понято, не дали ему объяснить, не получилось единства... И Кэнси вот сидит какой-то грустный, а с ним это бывает редко... Слишком много мы о себе думаем, вот что! Эксперимент Экспериментом, а каждый норовит гнуть какую-то свою линию, цепляется за свою позицию, а надо-то вместе, вместе надо!..

Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили по стакану,

закусили, Изя выдал анекдот — грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот, чудовищно неприличный, но очень смешной. Даже Ван смеялся, а Сельма просто скисла от хохота. «В крынку... — захлебывалась она, утирая глаза ладонями. — В крынку не лезет!..» Андрей ахнул кулаком по столу и затянул любимую мамину:

А хто пье, тому наливайтэ,

А хто не пье, тому нэ давайтэ,

А мы будэм питы, тай Бога хвалиты,

И за нас, и за вас, и за нэньку старэньку,

Шо вывчила нас горилочку пить помалэньку...

Ему подтягивали, кто как может, а потом Фриц, бешено вылупив глаза, проорал на пару с Отто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого мира — великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтягивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки, и тут дядя Юра вдруг, уставясь своими ерническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом:

А по деревне пойдетё,

Играетё и поетё,
А мое сердце беспокоетё
И спать не даетё!..

Успех был полный, и дядя Юра продолжил:

А девки, сами знаетё,
Да чем заманиваетё:
Сулитё, не даетё,
Всё обманываетё...

Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула Фрица и сказала с обидой:

— Ничего я вам не сулю, нужны вы мне все...

— Да я ж вообще... — сказал дядя Юра, сильно смутившись. — Это песня такая. Сама ты мне больно нужна...

Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он смутно сознавал, что возится с патефоном и что сейчас уронит его, и патефон действительно упал на пол, но нисколько не пострадал, а напротив, начал играть даже как будто бы громче. Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди — неожиданно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом: обнаружить нечто прекрасно оформ-

ленное под этими бесформенными складками колючей шерсти. Они танцевали, и он держал ее за бока, а она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он — очень славный мальчик и очень ей нравится, и в благодарность он сказал ей, что любит ее, и всегда любил, и теперь ее от себя никуда не отпустит... Дядя Юра грохал кулаком по столу, провозглашал: «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать...», обнимал совершенно уже сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей оказался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлебными шариками и называла его Мао Цзе-дуном. Это навело Андрея на идею спеть «Москва — Пекин», и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором, и потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга и, страшно округлив глаза, все более и более понижая голоса в зловещем шепоте, повторяют, выставив указательные пальцы: «С-слушают нас!.. С-слуш-шают нас-с!..» Далее они с Изей оказались каким-то образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел Кэнси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на

любую работу, здесь — любая работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщиком...

— Вот я — мусор...щик! — выговаривал он с трудом. — Мусорг... мусоргщик!

А Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то: якобы он, Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение от того, что он мусорщик («...да, я мусорг...щик!»), что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на гораздо большее, тем не менее терпеливо и с достоинством, не в пример другим-прочим, несет свой тяжкий крест... Потом появилась Сельма и сразу его утешила. Она была мягкая и ласковая, и делала все, что он хотел, и не перечила ему, и тут в его ощущениях образовался сладостный опустошающий провал, а когда он вынырнул из этого провала, губы у него были распухшие и сухие, Сельма уже спала на его кровати, и он отеческим движением поправил на ней юбку, накинул на нее одеяло, привел в порядок свой собственный туалет и, стараясь ступать бодро, снова вышел в столовую, споткнувшись по дороге о вытянутые ноги несчастного Отто, который спал на стуле в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом в затылок.

На столе возвышалась уже сама четвертная бутыль, а все участники веселья сидели, подперев взлохмаченные головы, и дружно тянули вполголоса: «Там в степи-и глухой за-амерзал ямщик...», и из бледных арийских глаз Фрица катились крупные слезы. Андрей присоединился было к хору, но тут раздался стук в дверь. Он открыл — какая-то закутанная в платок женщина в нижней юбке и ботинках на босу ногу спросила, здесь ли дворник. Андрей растолкал Вана и объяснил ему, где он, Ван, находится и что от него требуется. «Спасибо, Андрей», — сказал Ван, внимательно его выслушав, и, вяло шаркая подошвами, удалился. Оставшиеся допели «ямщика», и дядя Юра предложил выпить, «щоб дома нэ журылись», но тут выяснилось, что Фриц спит и чокаться поэтому не может. «Ну всё, — сказал дядя Юра. — Это, значит, будет последняя...» Но прежде чем они выпили по последней, Изя Кацман, ставший вдруг странно серьезным, исполнил соло еще одну песню, которую Андрей не совсем понял, а дядя Юра, кажется, понял вполне. В этой песне был рефрен «Аве, Мария!» и совершенно жуткая, словно с другой планеты, строфа:

Упекли пророка в республику Коми,

А он и перекинься башкою в лебеду.

А следователь-хмурик получил в месткоме

Льготную путевку на месяц в Теберду...

Когда Изя кончил петь, некоторое время было молчание, а затем дядя Юра вдруг со страшным треском обрушил пудовый кулак на столешницу, длинно и необычайно витиевато выматерился, после чего схватил стакан и припал к нему без всяких тостов. А Кэнси, по какой-то одному ему понятной ассоциации, чрезвычайно неприятным визгливым и яростным голосом спел другую, явно маршевую, песню, в которой говорилось о том, что если все японские солдаты примутся разом мочиться у Великой Китайской стены, то над пустыней Гоби встанет радуга; что сегодня императорская армия в Лондоне, завтра — в Москве, а утром в Чикаго будет пить чай; что сыны Ямато расселись по берегам Ганга и удочками ловят крокодилов... Потом он замолчал, попытался закурить, сломал несколько спичек и вдруг рассказал об одной девочке, с которой он дружил на Окинаве, — ей было четырнадцать лет, и она жила в доме напротив. Однажды пьяные солдаты изнасиловали ее, а когда отец пришел жаловать-

ся в полицию, явились жандармы, взяли его и девочку, и больше Кэнси их никогда не видел...

Все молчали, когда в столовую заглянул Ван, окликнул Кэнси и поманил его к себе.

— Вот такие-то дела... — сказал дядя Юра уныло. — И ведь смотри: что на Западе, что у нас в России, что у желтых — везде ведь одно. Власть неправедная. Нет уж, братки, я там ничего не потерял. Я уж лучше тут...

Вернулся бледный озабоченный Кэнси и принялся искать свой ремень. Мундир у него уже был застегнут на все пуговицы.

— Что-нибудь случилось? — спросил Андрей.

— Да. Случилось, — отрывисто сказал Кэнси, оправляя кобуру. — Дональд Купер застрелился. Около часа назад.

Часть вторая. Следователь

Глава первая

У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский пистолет, по углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коробочках, валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока.

Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые

глаза его были по-прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал книзу и снова подскочил к подбородку могучий хрящеватый кадык.

— Ну? — сказал Андрей.

— Не знаю, — хрипло ответил Копчик. — Не помню ничего такого.

Сволочь, подумал Андрей. Животное.

— Как же это у вас получается? — сказал он. — Бакалею в Шерстяном переулке обслуживали; когда обслуживали — помните, с кем обслуживали — помните. Хорошо. Кафе Дрейдуса обслуживали, когда и с кем — тоже помните. А вот лавку Гофштаттера почему-то забыли. А ведь это ваше последнее дело, Блок.

— Не могу знать, господин следователь, — возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью. — Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было.

— Гофштаттер-то вас опознал.

— Я очень извиняюсь, господин следователь,

— теперь в голосе Копчика явственно слышалась ирония. — Но ведь господин Гофштаттер того-с, это кому угодно известно. Все у него, значит, перепуталось. В лавке у него я бывал, это точно — картошечки там купить, лучку... Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо, знал бы, как дело обернется, перестал бы к нему ходить, а то вот, надо же...

— Дочь Гофштаттера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом, вы персонально.

— Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом к горлу приставала — это было! Зажала меня однажды в кладовке у них — еле ноги унес. У нее же сдвиг на половой почве, от нее все мужики в околотке по углам прячутся... — Копчик снова облизнулся. — Главное, говорит мне: заходи, говорит, в кладовую, сам, говорит, капусту выбирай...

— Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое. Подробно, начиная с момента выключения солнца.

Копчик возвел глаза к потолку.

— Значит, так, — начал он. — Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу Трикотажного и Второй, играл в карты. Потом Джек

Ливер позвал меня в другую пивную, мы пошли, завернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару, да задержались, стали там пить. Джек насосался, и шмара его уложила в постель, а меня выгнала. Я пошел домой спать, но был сильно нагрузившись и по дороге сцепился с какими-то, трое их было, тоже пьяные, никого из них не знаю, впервые в жизни увидел. Они мне так навешали, что я уж больше ничего и не помню, утром только очухался у самого обрыва, еле домой добрался. Лег я спать, а тут за мной пришли...

Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже слегка засален.

— Подтверждается только то, что вы были пьяны, — сказал он. — Медэкспертиза не подтверждает, что вы были избиты. Следов избиения у вас на теле не обнаружено.

— Аккуратно, значит, работали ребята, — сказал Копчик с одобрением. — Были у них, значит, чулки с песком... У меня до сих пор все ребра болят... а меня в госпиталь отказываются... Вот сдохну у вас тут — будете все за меня отвечать...

— Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы — сразу заболело...

— Как же — не болело? Сил никаких не было, как болело, терпежу не стало, вот и жаловаться начал.

— Перестаньте врать, Блок, — устало сказал Андрей. — Срамно слушать...

Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит, гангстер, попался буквально с поличным — и никак его не возьмешь... Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот раскалывают в два счета... А Копчик между тем горестно завздыхал, жалобно искривил лицо, закатил зрачки под лоб и, слабо постанывая, заерзал на сиденье, вознамерившись, по-видимому, половчее грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими омерзительными манипуляциями. Ну, давай, давай, думал он. Попробуй мне только пол заблевать — я тебя, сукиного сына, одной промокашкой заставлю все подобрать...

Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь Фриц Гейгер. Скользнув равнодушным взглядом по скорченному Копчику, он приблизился к столу и присел боком на бумаги. Не спрашивая, вытряхнул из Андреевой пачки несколько сигарет, одну сунул

в зубы, остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар. Андрей чиркнул спичкой, Фриц затянулся, кивнул в знак благодарности и выпустил в потолок струю дыма.

— Шеф велел взять у тебя дело Черных Сороконожек, — сказал он негромко. — Если не возражаешь, конечно. — Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы. — По-видимому, шефу здорово всыпал Главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает накачку. Жди — скоро и до тебя доберется...

Он еще раз затянулся и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею подслушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц спросил:

— С этим ты, кажется, покончил?

Андрей помотал головой. Ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй раз приходил забрать у него дело.

— Да ну? — удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал Копчика, потом сказал вполголоса: — Ты позволишь? — и, не дожидаясь ответа, соскочил со стола.

Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете.

— Все болит? — сочувственно осведомился он.

Копчик застонал утвердительно.

— Пить хочется?

Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку.

— И курить, наверное, тоже хочется?

Копчик недоверчиво приоткрыл один глаз.

— У него все болит, у бедняги! — громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к Андрею. — Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит... и здесь у него болит... и вот здесь у него болит...

Повторяя эти слова на разные лады, Фриц делал короткие непонятные движения рукой, свободной от сигареты, и жалобное мычание Копчика вдруг прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело.

— Встать, сволочь! — неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг.

Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот. Копчика согнуло пополам, а Фриц раскрытой ладонью с глухим стуком ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину.

— Встать! — снова заревел Фриц.

Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо Копчика было теперь совсем белое, с прозеленью, глаза выкатились, обезумели, он обильно потел.

Андрей, гадливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно — что. С одной стороны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит, грабитель, нагло издевающийся над правосудием, фурункул на теле общества...

— По-моему, ты недоволен обращением? — звучал между тем вкрадчивый голос Фрица. — Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот, зовут меня Фридрих Гейгер. Старший следователь Фридрих Гейгер...

Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад, а Фриц, вплотную к нему, слегка нагнувшись, грозно нависал, уперев руки в бока.

— Можешь жаловаться — мое нынешнее начальство ты знаешь... А вот кто был моим

начальником раньше, тебе известно? Некто рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер! Слыхал такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом гестапо! А знаешь, чем я прославился в этом учреждении?..

Зазвонил телефон. Андрей снял трубку.

— Следователь Воронин слушает, — сказал он сквозь зубы.

— Мартинелли, — отозвался глуховатый, с одышкой, голос. — Зайдите ко мне, Воронин. Немедленно.

Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык, но он был рад сейчас уйти из этого кабинета — подальше от обезумевших глаз Копчика, от свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. Зачем это он... гестапо, Гиммлер...

— Меня шеф к себе вызывает, — сказал он не своим, скрипучим каким-то голосом, машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме.

— Желаю удачи, — отозвался Фриц, не оборачиваясь. — Я здесь побуду, не беспокойся.

Андрей, все убыстряя шаг, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина, на

длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких, последнего набора, следователей, непрерывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа.

Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены, он тяжело, с присвистом, дышал через рот и смотрел на Андрея исподлобья.

— Сядьте, — проворчал он.

Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. Часов одиннадцать уже, подумал он. Сколько же времени я потратил на этого мерзавца...

— Сколько у вас дел? — спросил шеф.

— Восемь.

— Сколько намерены закончить к концу квартала?

— Одно.

— Плохо.

Андрей промолчал.

— Плохо работаете, Воронин. Плохо! — сипло сказал шеф. Его мучила одышка.

— Я знаю, — сказал Андрей покорно. — Никак не могу войти в колею.

— А пора бы! — Шеф повысил голос до свистящего шипения. — Столько времени у нас работаете, а всего три жалких дела закрыли. Не выполняете свой долг перед Экспериментом, Воронин. А ведь вам есть у кого поучиться, есть с кем посоветоваться... Посмотрите, например, как работает ваш приятель, я имею в виду... э... я имею в виду Фридриха... э-э... У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно перенимать и достоинства, Воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл одиннадцать дел.

— Я так не умею, — угрюмо сказал Андрей.

— Учиться. Надо учиться. Все мы учимся. Ваш... э-э... Фридрих тоже не с юридических курсов сюда пришел, а работает, и неплохо работает... Вот он уже старший следователь. Есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора... Да. А вот вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о Здании?

— Никак не продвигается, — сказал Андрей. — Это же не дело. Это — так, чушь, мистика какая-то...

— Почему же мистика, раз есть свидетельские показания? Раз есть потерпевшие? Люди-то пропадают, Воронин!

— Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах, — угрюмо сказал Андрей.

Шеф с натугой, с посвистом покашлял.

— Шевелить мозгами надо, Воронин, — просипел он. — Слухи, легенды — да. Мистическая оболочка — да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто распространяет? Зачем? И главное — куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?

Андрей собрался с духом и сказал:

— Понимаю вас, шеф. Но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уголовщиной. Город кишит мерзавцами...

— А я предпочитаю разводить помидоры! — сказал шеф. — Обожаю помидоры, а здесь их почему-то не достать ни за какие деньги... Вы на службе, Воронин, и никого не интересует, что вы там предпочитаете, вам поручено дело о Здании — извольте его вести. То, что вы неумеха, я и

сам вижу. При других обстоятельствах я бы дела о Здании вам бы не поручил. А при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы — наш человек, Воронин. Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь! Потому что прибыли сюда не для себя, а для Эксперимента. Таких людей мало, Воронин. И поэтому я расскажу вам сейчас то, что служащим вашего ранга знать не полагается.

Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее свистя грудью и совсем уже оскалившись.

— Мы боремся с гангстерами, с рэкетирами, с хулиганами, это все знают, это хорошо, это нужно. Но опасность номер один — это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь такое явление природы, именуется Антигород. Слыхали? Нет, не слыхали. И правильно. Не должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал! Служебная тайна с двумя нулями. Антигород. Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения, одно, два, несколько — неизвестно. А им о нас все известно! Возможно нашествие, Воронин. Очень опасно. Конец нашему Городу. Конец Эксперименту. Имеет место шпионаж, имеют место попытки саботажа, диверсии, рас-

пространение панических и порочащих слухов. Ситуация понятна, Воронин? Вижу — понятна. Далее. Здесь, в самом Городе, рядом с нами, среди нас живут люди, прибывшие сюда не ради Эксперимента — по другим, более или менее корыстным мотивам. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анархисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность. Подрыв морали, разрушение идеалов, попытки настраивать одни слои населения против других, разрушающий скептицизм. Пример: ваш хороший знакомый, некий Кацман...

Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и повторил:

— Иосиф Кацман. Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону севера, пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими прямыми обязанностями, но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно быть известно.

Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо.

— Дальше. Самое важное для вас. Замечен вблизи Здания. Дважды. Один раз видели, как

он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о Здании. Этим делом необходимо заняться, Воронин. Это дело, Воронин, я сейчас никому не могу поручить. Есть люди, в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые, но они заняты. Все. Все до одного. И — выше головы. Так что форсируйте дело о Здании, Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в шестнадцать ноль-ноль явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите.

Андрей поднялся.

— Да! Совет. Советую вам обратить внимание на дело о Падающих Звездах. Настоятельно. Может быть связь. Это дело ведет сейчас Чачуа, зайдите к нему, ознакомьтесь. Посоветуйтесь.

Андрей неловко поклонился и направился к выходу.

— Еще одно! — сказал шеф, и Андрей остановился у самой двери. — Имейте в виду: делом о Здании специально интересуется Главный прокурор. Специально! Так что, кроме вас, этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись без упущений, связанных с вашими личными склонностями или наоборот. Идите, Воронин.

Андрей прикрыл за собою дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальственного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его вроде бы даже похвалили, выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячечного энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки, и он осторожно пытался разобраться в себе, а заодно — нащупать те неизбежные осложнения и неудобства, которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации.

Изя Кацман... Болтун. Трепло. Язык нехороший, ядовитый. Циник. И в то же время — никуда не денешься — бессребреник, добряк, совершенно, до глупости, бескорыстный и даже житейски беспомощный... И дело о Здании. И Антигород. Ч-черт... Ладно, разберемся...

Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, курил его сигареты и внимательно

но перелистывал его дела, извлеченные из его сейфа.

— Ну что, получил на полную катушку? — осведомился он, поднимая глаза на Андрея.

Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет.

— Слушай, а этот где?

— В яме, — ответил Фриц пренебрежительно. — Отправил его на ночь в яму, велел не давать жрать, пить и курить. Раскололся он, как миленький, полное признание, и еще двоих назвал, о ком мы не знали. Но напоследок надобно проучить слизняка. Протокол я тебе... — Он перебросил с места на место несколько папок. — Протокол я подшил, сам найдешь. Завтра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное, когда-нибудь пригодится...

Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза, невольно любовался уверенными движениями больших, истинно мужских рук. Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью, он уже больше не обижался на шутки, не каменел лицом

и вообще не вел себя как осел. Одно время он зачастил было к Сельме, потом у них получился какой-то там скандальчик, да и Андрей сказал ему несколько слов. И Фриц спокойно отошел.

— Ты чего на меня уставился? — с доброжелательным интересом осведомился Фриц. — Все не можешь опомниться от клистира? Ничего, дружище, клистир начальника — именины сердца для подчиненного!

— Слушай-ка, — сказал Андрей. — Зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо... Что это за новости в следственной практике?

— Оперетту? — Фриц вздернул правую бровь. — Это, дружище, действует, как выстрел! — Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола. — Я удивляюсь, почему ты до этого не допер. Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в ЧК или в ГПУ, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал... Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь... Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь.

Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ. Дельный парень — Фриц. И хороший товарищ. Что ж,

может быть, так и нужно работать? Какого черта церемониться с этой швалью! И в самом же деле, их там на Западе запугали полуподвалами ЧК до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот Копчик, все средства хороши...

— Ну, вопросы есть? — спросил Фриц. — Нет? Тогда я пошел.

Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола.

— Да! — спохватился Андрей. — Слушай, а ты дело о Здании случайно не забрал? Ты его оставь!..

— Дело о Здании? Голубчик, мой альтруизм так далеко не распространяется. Дело о Здании ты уж сам как-нибудь...

— Угу, — сказал Андрей с угрюмой решительностью. — Сам... Между прочим, — вспомнил он. — Что это за дело — о Падающих Звездах? Название знакомое, а в чем там суть, что это за звезды такие — не помню...

Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея.

— Есть такое дело, — произнес он. — Неужели тебе его поручили? Тогда ты пропал. Оно же у Чачуа. Совершенная безнадюга.

— Нет, — со вздохом сказал Андрей. — Никто мне его не поручал. Просто шеф рекомендовал

ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств? Или нет?

— Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под Стеной находят время от времени людей, разбившихся вдребезги, явно упавших со Стены, с большой высоты...

— То есть как это — со Стены? — удивился Андрей. — Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая... И зачем? У нее и верха-то не видно...

— В том-то и дело! Сначала была идея, что там, наверху, тоже есть город, вроде нашего, и сбрасывают этих людей к нам с ихнего обрыва, ну, как у нас можно сбросить в пропасть. Но потом раза два удалось опознать трупы: оказалось — наши, местные жители... Как они туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы — пытались выбраться из Города наверх... Но с другой стороны... В общем, дело это какое-то темное. Мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну ладно, мне пора.

— Спасибо. Счастливо, — сказал Андрей, и Фриц ушел.

Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о Здании, в сейф и посидел

немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос осведомился: «Х-алло?» Андрей молчал, прижимая трубку к уху. «Халло! Халлоу?» — рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выводивший жалобную песенку, завезенную сюда дядей Юрой:

Ставай, ставай, Катя,
Корабли стоя-ать!
Два корабля синих,
Один голубой...

Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью: «Шлюха паршивая, неисправимая...» и раскрыл папку.

Дело о Здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах Города. В 16-м, 18-м и 32-м участках начали вдруг систематически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно, и не было в этих исчезновениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Оле Свенссон, 43-х лет, рабочий бумажной

фабрики, вышел вечером за хлебом и не вернулся, в хлебной лавке не появлялся. Стефан Цибульский, 25-ти лет, полицейский, ночью исчез с поста, на углу Главной и Алмазного найдена его портупея — и все, больше никаких следов. Моника Лерье, 55-ти лет, швея, вывела на прогулку перед сном своего шпица, шпиц вернулся здоровый и веселый, а швея исчезла. И так далее, и так далее — всего более сорока исчезновений.

Довольно быстро обнаружились свидетели, которые утверждали, что накануне исчезновения пропавшие люди заходили в некий дом, по описаниям — вроде один и тот же, но странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свидетели давали разные показания. Иосиф Гумбольдт, 63-х лет, парикмахер, на глазах у лично знавшего его Лео Палтуса вошел в трехэтажное, красного кирпича здание на углу Второй Правой и Серокаменного переулка, и с тех пор Иосифа Гумбольдта не видел никто. Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Заходько, 32-х лет, фермер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на Третьей Левой улице, неподалеку от костела. Давид Мкртчян рассказал, как встретил в Глинобитном переулке своего

давнего приятеля по работе Рэя Додда, 41-го года, ассенизатора, — они постояли, болтая об урожае, семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рэй Додд сказал: «Погоди минутку, мне нужно зайти в одно место, я постараюсь быстро, а если через пять минут не выйду, ты иди, значит, я задержался...» Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, замазанными мелом. Мкртчян ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой, что же касается Рэя Додда, то он исчез бесследно и навсегда...

Красный кирпичный дом фигурировал в показаниях всех свидетелей. Одни утверждали, что он трехэтажный, другие — что четырех. Одни обратили внимание на окна, замазанные мелом, другие — на окна, забранные решетками. И не было двух свидетелей, которые указали бы одно и то же место его расположения.

По городу поползли слухи. В очередях за молоком, в парикмахерских, в локалях зловещим шепотом передавалась из уст в уста новенькая, с иголочки, легенда о страшном Красном Здании, которое само собой бродит по городу, пристраивается где-нибудь между обычными домами и, жутко приоткрыв пасти дверей, притаившись, ждет неосторожных. Появились друзья

родственников знакомых, которым удалось спастись, вырваться из ненасытной кирпичной утробы. Они рассказывали ужасные вещи и в доказательство предъявляли шрамы и переломы, полученные в прыжках со второго, третьего и даже четвертого этажа. Согласно всем этим слухам и легендам, дом внутри был пуст — там не подстерегали вас ни грабители, ни маньяки-садисты, ни кровососущие мохнатые твари. Но каменные кишки коридоров вдруг сжимались и норовили расплющить жертву; под ногами распахивались черные провалы люков, дышащие ледяным кладбищенским зловонием; неведомые силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не застревал, забивал себя в последнюю каменную щель, — а в пустых комнатах с ободранными обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки жутко догнивали раскрошенные кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья...

Поначалу это дело даже заинтересовало Андрея. Он отметил на карте города крестиками те места, где видели Здание, пытался найти какую-нибудь закономерность в расположении этих крестиков, добрый десяток раз выезжал обследовать эти места и каждый раз обнаруживал на месте Здания

либо заброшенный палисадник, либо пустоту между домами, либо даже обыкновенный жилой дом, ничего общего не имеющий ни с тайнами, ни с загадками.

Смущало то обстоятельство, что Красное Здание ни разу не видели при солнечном свете; смущало, что не менее половины свидетелей видели Здание, находясь в состоянии более или менее сильного алкогольного опьянения; смущали мелкие, но почти обязательные несообразности чуть ли не в каждом показании; особенно же смущала полная бессмысленность и дикость происходящего.

Изя Кацман как-то изрек по этому поводу, что миллионный город, лишенный систематической идеологии, должен неизбежно обзавестись собственными мифами. Это звучало убедительно, но люди-то ведь пропадали на самом деле! Конечно, пропасть в городе было немудрено. Достаточно было сбросить человека с обрыва, и концы, таким образом, оказывались в воде совершенно. Однако кому и зачем нужно было сбрасывать в пропасть каких-то парикмахеров, пожилых швей, мелких лавочников? Людей без денег, без репутации, практически без врагов? Кэнси однажды высказал совершенно здравое предположение, что

Красное Здание, если оно действительно существует, является, по всей видимости, составным элементом Эксперимента, а поэтому искать ему объяснения не имеет смысла — Эксперимент есть Эксперимент. В конце концов Андрей тоже остановился на этой точке зрения. Работы было невпроворот, дело о Здании насчитывало уже более тысячи листов, и Андрей засунул его на самое дно сейфа, изредка только извлекая, чтобы подшить очередное свидетельское показание.

Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако, совершенно новые перспективы. Если в городе действительно есть люди, которые поставили перед собою (или получили от кого-то) задачу создать среди населения атмосферу паники и террора, то очень многое в деле о Здании становилось понятным. Несообразности в показаниях так называемых свидетелей легко объясняются в этом случае искажением слухов при передаче. Исчезновения людей превращаются в обыкновенные убийства с целью уплотнения атмосферы террора. В хаосе болтовни, опасливых шепотов и вранья надлежало теперь искать постоянно действующие источники, центры распространения зловещего тумана...

Андрей взял лист чистой бумаги и принялся

медленно, слово за словом, пункт за пунктом набрасывать черновик плана. Через некоторое время у него получилось следующее.

Главная задача: выявление источников слухов, арест этих источников и выявление руководящего центра. Основные средства: повторный допрос всех свидетелей, дававших ранее показания в трезвом виде; выявление по цепочке и допрос лиц, утверждавших, будто они были в Здании; выявление возможных связей между этими лицами и свидетелями... Учитывать: а) агентурные данные; б) несообразности в показаниях...

Андрей покусал карандаш, пощурился на лампу и вспомнил еще одно: связаться с Петровым. Этот Петров в свое время плешь переел Андрею. У него пропала жена, и он почему-то решил, что ее поглотило Красное Здание. С тех пор он забросил все свои дела и занялся поисками этого Здания — писал бесчисленные записки в прокуратуру, которые аккуратно переправлялись в следственный отдел и попадали к Андрею, рыскал ночами по городу, несколько раз забираем был в полицию по подозрению в нечестных намерениях, буянил там, за что его сажали на десять суток, выходил и снова принимался за поиски.

Андрей выписал повестки ему, а также еще

двум свидетелям, отдал эти повестки дежурному с наказом доставить немедленно, а сам отправился к Чачуа.

Чачуа, громадный разжиревший кавказец, почти без лба, но зато с гигантским носом, возлежал у себя в кабинете на диване в окружении разбухших папок с делами и спал. Андрей растолкал его.

— Э! — хрипло сказал Чачуа, пробуждаясь. — Что случилось?

— Ничего не случилось, — сердито сказал Андрей. Терпеть он не мог такой вот расхлябанности в людях. — Дай дело о Падающих Звездах.

Чачуа сел, лицо его засветилось радостью.

— Забираешь? — спросил он, хищно двигая феноменальным своим носом.

— Не радуйся, не радуйся, — сказал Андрей. — Только посмотреть.

— Слушай, зачем тебе смотреть? — горячо заговорил Чачуа. — Забирай у меня это дело совсем! Ты — красивый, молодой, энергичный, тебя шеф всем в пример ставит. Ты это дело быстро распутаешь — слазаешь на Желтую Стену и моментально распутаешь! Что тебе стоит?..

Андрей засмотрелся на его нос. Огромный, горбатый, на переносице покрытый сетью багровых

жилок, с торчащими из ноздрей пучками черных жестких волос, нос этот жил своей, отдельной от Чачуа, жизнью. Видно было, что он знать ничего не хотел о заботах следователя Чачуа. Он хотел, чтобы все вокруг пили большими бокалами ледяное кахетинское, заедали сочащимися шашлыками и влажной хрустящей зеленью, чтобы плясали, захватив края рукавов в пальцы, выкрикивая азартно «асса!». Он хотел зарываться в душистые белокурые волосы и нависать над обнаженными пышными грудями... О, он многого хотел, этот великолепный жизнелюбивый нос-гедонист, и все его многочисленные желания откровенно отражались в его независимых движениях, в перемене окраски и в разнообразных звуках, издаваемых им!..

— ...А закончишь это дело, — говорил Чачуа, закатывая маслины глаз под низкий лоб, — боже мой! Какая тебе будет слава! Какой почет! Ты думаешь, Чачуа стал бы предлагать тебе это дело, если бы сам мог лазать по Желтой Стене? Ни за что Чачуа не стал бы предлагать тебе этого дела! Это же золотая жила! И я предлагаю его только тебе. Многие приходили и просили его у меня. Нет, думал я. Никому из вас с ним не справиться. Один только Воронин справится, думал я...

— Ну ладно, ладно, — сказал Андрей с досадой. — Завел свою говорильню. Давай папку. Нет у меня времени тут с тобой песни петь.

Чачуа, не переставая болтать, жаловаться и хвастаться, лениво поднялся, шаркая по замусоренному полу, подошел к сейфу и принялся в нем рыться, а Андрей смотрел на его широченные жирные плечи и думал, что Чачуа, наверное, один из лучших следователей в отделе, он просто блестящий следователь, у него самый высокий процент раскрытых дел, а вот дело о Падающих Звездах ему продвинуть так и не удалось, это дело никому продвинуть не удалось — ни Чачуа, ни его предшественнику, ни предшественнику предшественника...

Чачуа достал кучу пухлых засаленных папок, и они вместе пролистали последние страницы, и Андрей тщательно переписал себе на отдельный листок имена и адреса тех двоих, которых удалось опознать, а также те немногие особые приметы, которые удалось установить у некоторых из неопознанных жертв.

— Какое дело! — восклицал Чачуа, прищелкивая языком. — Одиннадцать трупов! А ты отказываешься. Нет, Воронин, не знаешь ты, где твое счастье. Вы, русские, всегда были идиёта-

ми — и на том свете идиётами были, и на этом остались!.. А зачем тебе это? — спросил он вдруг с интересом.

Андрей, как мог связно, объяснил ему свои намерения. Чачуа быстро схватил самую суть, но никакого особого восторга не выказал.

— Попробуй, попробуй... — сказал он вяло. — Сомневаюсь. Что такое твое Здание, и что такое моя Стена? Здание — это выдумка, а Стена — вот она, километр отсюда... Нет, Воронин, не разобраться нам с этим делом...

Впрочем, когда Андрей был уже около двери, Чачуа сказал ему вслед:

— Ну, а если там что-нибудь — ты сразу мне...

— Ладно, — сказал Андрей. — Конечно.

— Послушай, — сказал Чачуа, сосредоточенно морща жирный лоб и двигая носом. Андрей, приостановившись, выжидательно смотрел на него. — Давно хотел тебя спросить... — Лицо его стало серьезным. — Слушай, там у вас в семнадцатом году в Петрограде заварушка была. Чем кончилась, а?

Андрей плюнул и вышел, хлопнув дверью, под раскатистый хохот страшно довольного кавказца. Опять Чачуа поймал его на этот дурацкий анекдот. Хоть совсем с ним не разговаривай.

В коридоре перед кабинетом его ждал сюрприз. На скамье сидел какой-то насмерть перепуганный, взъерошенный, с заспанными глазами человечек, зябко кутающийся в пальто. Дежурный за столиком с телефоном вскочил и браво гаркнул:

— Свидетель Эйно Саари по вашему вызову доставлен, господин следователь!

Андрей обалдело воззрился на него.

— По какому моему вызову?

Дежурный тоже несколько обалдел.

— Вы же сами... — сказал он обиженно. — Полчаса назад... Вручили мне повестки, велели доставить немедленно...

— Господи, — сказал Андрей. — Повестки! Повестки я велел вам доставить немедленно, черт вас подери! На завтра, на десять утра! — Он взглянул на бледно улыбающегося Эйно Саари и на белые тесемки кальсон, свисающие у него из-под брючин, затем снова посмотрел на дежурного. — И остальных сейчас привезут? — спросил он.

— Так точно, — угрюмо сказал дежурный. — Как мне было сказано, так я и сделал.

— Я на вас рапорт подам, — сказал Андрей, еле сдерживаясь. — Переведут вас на улицу — сумасшедших по утрам загонять, — наплачетесь вы у

меня тогда... Ну что ж, — произнес он, обращаясь к Саари. — Раз уж так получилось, заходите...

Он указал Эйно Саари на табурет, сел за стол и взглянул на часы. Было начало первого ночи. Надежда хорошенько выспаться перед завтрашним тяжелым днем печально испарилась.

— Ну ладно, — проговорил он со вздохом, раскрыл дело о Здании, перелистал огромную кипу протоколов, донесений, отношений и экспертиз, отыскал лист с прежними показаниями Саари (43-х лет, саксофонист 2-го городского театра, разведен) и еще раз пробежал глазами. — Ладно, — повторил он. — Мне, собственно, требуется кое-что уточнить относительно ваших показаний, которые вы давали в полиции месяц назад.

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал Саари, с готовностью наклоняясь вперед и каким-то женским движением придерживая на груди распахивающееся пальто.

— Вы показали, что ваша знакомая, Элла Стремберг, на ваших глазах вошла в двадцать три часа сорок минут восьмого сентября нынешнего года в так называемое Красное Здание, имевшее тогда находиться на улице Попугаев в промежутке между гастрономическим магазином номер сто пятнадцать и аптекой Штрема. Вы подтверждае-

те это показание?

— Да, да, подтверждаю. Все было совершенно так. Только вот насчет даты... Точной даты я уже не помню, все-таки месяц с лишним прошел...

— Это неважно, — сказал Андрей. — Тогда вы помнили, да и с другими показаниями это совпадает... Теперь у меня к вам просьба: опишите снова и поподробнее это самое так называемое Красное Здание...

Саари склонил голову набок и задумался.

— Значит, таким образом, — сказал он. — Три этажа. Старый кирпич, темно-красный, как казарма, вы понимаете меня? Окна, знаете ли, такие узкие, высокие. На нижнем этаже все они закрашены мелом и, как сейчас помню, не освещены... — Он опять немного подумал. — Вы знаете, насколько я помню, там вообще не было ни одного освещенного окна. Ну, и... вход. Каменные ступени, две или три... Тяжелая такая дверь... медная такая старинная ручка, резная. Элла ухватилась за эту ручку и с таким, знаете ли, усилием потянула дверь на себя... Номера дома я не заметил, не помню, был ли номер... Словом, общий облик старинного казенного здания, что-нибудь конца прошлого века.

— Так, — сказал Андрей. — А скажите, вам часто

приходилось бывать на этой улице Попугаев?

— В первый раз. И, собственно, в последний. Живу я довольно далеко оттуда, в тех краях не бываю, а в этот раз как-то так получилось, что я решил Эллу проводить. У нас была вечеринка, я за ней... м-м-м... ну, немножко ухаживал и пошел ее провожать. Мы очень мило беседовали по дороге, потом она вдруг сказала: «Ну, пора расставаться», поцеловала меня в щеку, и не успел я опомниться, как она уже нырнула в этот дом. Я, признаться, подумал тогда, что она там живет...

— Понятно, — сказал Андрей. — На вечеринке вы, вероятно, пили?

Саари сокрушенно хлопнул себя ладонями по коленям.

— Нет, господин следователь, — сказал он. — Ни капли. Пить мне нельзя — врачи не рекомендуют.

Андрей сочувственно покивал.

— А вы не помните случайно, были у этого здания печные трубы?

— Да, конечно, помню. Должен вам сказать, вид этого здания как-то поражает воображение, так что оно и сейчас как бы стоит у меня перед глазами. Там была такая черепичная крыша и три довольно высокие трубы. Из одной, помнит-

ся, шел дым, и я подумал еще тогда, как у нас все-таки много еще сохранилось домов с печным отоплением...

Момент настал. Андрей осторожно положил карандаш поперек протоколов, чуть подался вперед и пристально, значительно сощуренными глазами уставился на Эйно Саари, саксофониста:

— В ваших показаниях имеют место несообразности. Во-первых, как обнаружила экспертиза, вы, находясь на улице Попугаев, никак не могли видеть ни крыши, ни печных труб трехэтажного здания.

У Эйно Саари, завравшегося саксофониста, отвисла челюсть, глаза растерянно забегали.

— Далее. Как установлено следствием, улица Попугаев в ночное время не освещается вообще, и поэтому совершенно непонятно, каким образом в кромешной ночной темноте, за триста метров до ближайшего фонаря, вы различили такую массу деталей: цвет здания, старинный кирпич, медную ручку на двери, форму окон и, наконец, дым из трубы. Я хотел бы узнать, как вы объясняете эти несообразности.

Некоторое время Эйно Саари беззвучно открывал и закрывал рот. Потом он судорожно глотнул всухую и проговорил:

— Ничего не понимаю... Вы меня совсем растеряли... Мне это просто и в голову не приходило...

Андрей выжидательно молчал.

— Действительно, как я об этом раньше не подумал... Ведь на этой улице Попугаев было совершенно темно! Не то что домов — тротуара под ногами не видно было... И крыша... Я же стоял у самого дома, у крыльца... но я совершенно отчетливо помню и крышу, и кирпичи, и дым из трубы — такой белый ночной дымок, как будто освещенный луной...

— Да, странно, — произнес Андрей деревянным голосом.

— И ручка на дверях... Такая медная, отполированная многими прикосновениями... этакое хитрое сплетение цветов, листиков... Я бы мог ее сейчас нарисовать, если бы умел рисовать... И в то же время темнота была абсолютная — я лица Эллы не различал, только по голосу чувствовал, что она улыбается, когда...

В расширенных глазах Эйно Саари появилась какая-то новая мысль. Он прижал руки к груди.

— Господин следователь! — сказал он отчаянным голосом. — У меня в голове сейчас сумятица, но я отчетливо понимаю, что свидетельствую против себя, навожу вас на подозрения. Но я

— человек честный, родители мои были честнейшие, глубоко религиозные люди... Все, что я вам сейчас говорю, есть полная и чистейшая правда! Все именно так и было. Просто раньше мне это не приходило в голову. Была кромешная тьма, я стоял у самого дома, и в то же время я помню каждый кирпичик, а черепичную крышу вижу так, будто она вот тут, рядом со мной... и три трубы... И дымок.

— Гм... — сказал Андрей и постучал пальцами по столу. — А может быть, вы не сами все это видели? Может быть, кто-нибудь вам об этом рассказывал?.. До случая с госпожой Стремберг вам приходилось слышать о Красном Здании?

Глаза Эйно Саари вновь смятенно забегали.

— Н-н-н... не припоминаю... — проговорил он. — Потом — да. Уже когда Элла пропала, когда я ходил в полицию... когда был уже объявлен розыск... потом было много разговоров. Но до этого... Господин следователь! — сказал он торжественно. — Я не могу поклясться, что я ничего не слышал о Красном Здании раньше, до исчезновения Эллы, но я могу поклясться, что ничего не помню об этом.

Андрей взял ручку и принялся писать протокол. Одновременно он говорил нарочито монотон-

ным, казенным голосом, который по идее должен был навеять на подследственного суконную тоску и ощущение неизбежного рока, движимого безупречной машиной правосудия.

— Вы сами должны понимать, господин Саари, что следствие не может удовлетвориться вашими показаниями. Элла Стремберг исчезла бесследно, и последний человек, который ее видел, — вы, господин Саари. Красное Здание, которое вы здесь так подробно описали, на улице Попугаев не существует. Описание Красного Здания, которое вы даете, неправдоподобно, ибо противоречит элементарным физическим законам. Наконец, как известно следствию, Элла Стремберг жила в совершенно другом районе, далеко от улицы Попугаев. Это само по себе, конечно, не есть улика против вас, но вызывает дополнительные подозрения. Я вынужден задержать вас впредь до выяснения ряда обстоятельств... Прошу прочесть и подписать протокол.

Эйно Саари, не говоря ни слова, приблизился к столу и, не читая, поставил свою подпись на каждом листке протокола. Карандаш дрожал у него в пальцах, узкий подбородок отвис и тоже трясся. Потом он, шаркая ногами, вернулся к табурету, сел обессиленно и, стиснув руки, сказал:

— Хочу еще раз подчеркнуть, господин следователь, что, давая показания... — Голос у него сорвался, он снова глотнул. — Давая показания, я сознавал, что поступаю себе во вред. Я мог бы что-нибудь выдумать, наврать... Я мог бы вообще не участвовать в розыске — никто ведь не знал, что я ушел провожать Эллу...

— Это ваше заявление, — сказал Андрей равнодушным голосом, — уже фактически содержится в протоколе. Если вы не виновны, вам ничего не грозит. Сейчас вас препроводят в камеру предварительного заключения. Вот вам бумага и карандаш. Вы можете оказать помощь следствию, да и себе самому, если самым подробным образом напишете, кто, когда и при каких обстоятельствах говорил с вами о Красном Здании. Безразлично — до исчезновения Эллы Стремберг или после. Самым подробным образом: кто — имя, адрес; когда — точная дата, время суток; при каких обстоятельствах — где, по какому поводу, с какой целью, в каком тоне. Вы меня поняли?

Эйно Саари кивнул и беззвучно сказал «да». Андрей, пристально глядя ему в глаза, продолжал:

— Я уверен, что все подробности о Красном Здании вы узнали где-то на стороне. Сами вы его, может быть, даже и не видели. И я настоятельно

рекомендую вам вспомнить: кто снабдил вас этими подробностями — кто, когда, при каких обстоятельствах. И с какой целью.

Он звонком вызвал дежурного, и саксофониста увели. Андрей потер руки, наколол протокол и подшил его в дело, спросил горячего чая и вызвал следующего свидетеля. Он был доволен собой. Все-таки воображение и знание элементарной геометрии — полезные вещи. Завравшийся Эйно Саари был ущучен по всем правилам науки.

Следующий свидетель, вернее, свидетельница, Матильда Гусакова (62-х лет, вязание на дому, вдова) представляла собой, по крайней мере по идее, гораздо более простой случай. Это была могучая старуха с маленькой, сплошь седой головкой, румяными щечками и хитрыми глазами. Она нисколько не выглядела заспанной или испуганной, а наоборот, кажется, была очень довольна приключением. В прокуратуру она явилась со своей корзинкой, мотками разноцветной шерсти, набором спиц, а в кабинете немедленно взгромоздилась на табурет, надела очки и заработала спицами.

— Следствию стало известно, госпожа Гусакова, — начал Андрей, — что некоторое время назад вы в кругу своих друзей рассказывали о

происшествии с неким Франтишеком, который якобы попал в так называемое Красное Здание, претерпел там разнообразные приключения и с трудом вырвался на свободу. Было такое?

Престарелая Матильда усмехнулась, ловко выхватила одну спицу, пристроила другую и сказала, не поднимая глаз от вязанья:

— Было, было такое. Рассказывала я, и не раз, только вот откуда это стало известно следствию, хотела бы я знать... У меня вроде бы знакомых среди судейских нет...

— Должен вам сообщить, — доверительно сказал Андрей, — что в настоящее время ведется следствие по поводу так называемого Красного Здания, и мы чрезвычайно заинтересованы войти в контакт хотя бы с одним человеком, который в этом здании побывал...

Матильда Гусакова его не слушала. Она положила вязанье на колени и задумчиво смотрела в стену.

— Кто же это мог сообщить? — проговорила она. — У Лизы все свои, разве что Кармен где-нибудь натрепалась после... болтливая старуха... У Фриды? — Она покачала головой. — Нет, не может быть, чтобы у Фриды. Вот к Любе ходит один... противный такой старикашка, глазки у него так

и бегают, и вечно он пьет за Любин счет... Вот уж не ожидала!.. И здесь, оказывается, надо соображать, кто да с кем... При немцах сидели — рот на замке. После сорок восьмого — опять помалкивай да посматривай. Только немножко рот открыли золотой весной — на тебе, русские на танках прибыли, опять заткнись, опять помалкивай... Сюда подалась — и тут, значит, та же картина...

— Позвольте, пани Гусакова, — прервал ее Андрей. — Вы, по-моему, превратно рассматриваете ситуацию. Вы ведь, насколько я понимаю, не совершили никакого преступления. Мы рассматриваем вас только как свидетеля, как помощника, который...

— Э, голубчик! Какие уж тут помощники? Полиция есть полиция.

— Да нет же! — Андрей для убедительности прижал руку к сердцу. — Мы ищем банду преступников! Они похищают людей и, судя по всему, убивают их. Человек, который побывал в их лапах, может оказать следствию неоценимую услугу!

— Да вы что, голубчик, — сказала старуха, — вы что, верите в это самое Красное Здание?

— А вы разве не верите? — спросил Андрей, несколько опешив.

Старуха не успела ответить. Дверь кабинета приоткрылась, из коридора прорвался гомон возбужденных голосов, и в щель просунулась коренастая черноголовая фигура, которая кричала в коридор: «Да, срочно! Срочно надо!» Андрей нахмурился, но тут фигуру вновь втянули в коридор, и дверь захлопнулась.

— Простите, нас отвлекли, — сказал Андрей. — Вы, кажется, хотели сказать, что сами не верите в это Красное Здание?

Не переставая работать спицами, престарелая Матильда пожала одним плечом.

— Ну какой же взрослый человек может в это поверить? Дом, видите ли, у них бегает с места на место, внутри у него все двери с зубами, поднимаешься по лестнице вверх — оказываешься в подвале... Конечно, в здешних местах все может случиться, Эксперимент есть Эксперимент, но это уж все-таки слишком... Нет, не верю. За кого это вы меня принимаете, чтобы я в такие басни верила? Конечно, в каждом городе есть дома, которые глотают людей, наверное, и в нашем без таких домов не обходится, но вряд ли дома эти бегают с места на место... да и лестницы там, как я понимаю, самые обыкновенные.

— Позвольте, пани Гусакова, — сказал Андрей.

— А зачем же тогда вы эти басни всем рассказываете?

— А почему же не рассказывать, если люди слушают? Скучно же людям, особенно старикам, вроде нас...

— Так вы это что — сами выдумали?

Престарелая Матильда открыла рот, чтобы ответить, но тут у Андрея над самым ухом отчаянно заверещал телефон. Андрей чертыхнулся и схватил трубку.

— Андрю-шоно-чек... — произнес в трубке совершенно пьяный голос Сельмы. — Я их всех выпел-ра... выпер-ла. Ты чего не идешь?

— Извини, — сказал Андрей, покусывая губу и косясь на старуху. — Я сейчас очень занят, я тебе...

— А я не же-ла-ю! — заявила Сельма. — Я тебя люблю, я тебя жду. Я у тебя пьянень-ка-я, голень-ка-я, мне холод-но...

— Сельма, — понизив голос, сказал Андрей в самую трубку. — Не валяй дурака. Я очень занят.

— Все равно ты такой девочки не... не найдешь в этом нуж... нужнике. Я вот тут свернулась калачиком... совсем-совсем голень... голенькая...

— Я приеду через полчаса, — проговорил Андрей торопливо.

— Ду-ра-чок! Через пол... полчаса я спать уже буду... Кто ж через полчаса приезжает?

— Ну ладно, Сельма, ну пока, — сказал Андрей, проклиная тот день и час, когда он дал этой распутной девке телефон своего кабинета.

— Ну и пошел к черту! — заорала вдруг Сельма и дала отбой. Так небось грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаза. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся.

— Ну так, — сказал он. — Угу... Значит, рассказывали вы просто так, от скуки... — Он вспомнил наконец свой последний вопрос. — Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком?

Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить, и снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал:

— Прошу прощения, господин следователь! Доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы допросили его немедленно, поскольку он имеет сообщить...

Глаза у Андрея застлала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обоими кулаками по столу и

заорал так, что у самого в ушах зазвенело:

— Черт вас подери, дежурный! Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире? Кр-ругом — марш!

Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себе онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него саднило от дикого рева. Он исподлобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда знай себе вязала, как ни в чем не бывало.

— Прошу прощения, — пробурчал он.

— Ничего, молодой человек, — успокоила его Матильда. — Я на вас не в обиде. Так вот вы спросили, может, я сама все это выдумала. Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать! Надо же: лестницы — идешь вверх, а попадаешь вниз... Мне бы такое и во сне не приснилось. Как мне рассказали, так и я рассказала...

— А кто именно вам рассказал?

Старуха, не переставая вязать, покачала головой.

— Вот этого уж я не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишек этот якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь...

— А когда это примерно было? — спросил Андрей, понемногу приходя в себя и уже досадуя, что погорячился и взял слишком круто в лоб.

— Месяца два назад, наверное... а может, и три.

Да, испортил я допрос, думал Андрей с горечью. Испортил я, к чертям собачьим, допрос из-за этой стервы и из-за этого болвана-дежурного. Нет, я этого так не оставлю, я его, дубину стоеросовую, припеку. Он у меня попляшет. Он у меня побегает за психами по утреннему холодку... Ну ладно, а со старухой-то что теперь делать? Заперлась ведь старуха, не хочет имен называть...

— А вы уверены, пани Гусакова, — приступил он снова, — что так уж совсем не помните имени той женщины?

— Не помню, голубчик, совсем не помню, — весело откликнулась престарелая Матильда, не переставая бойко сверкать спицами.

— А может быть, подруги ваши помнят?..

Движение спиц несколько замедлилось.

— Вы ведь называли им это имя, верно? — продолжал Андрей. — Вполне ведь возможно, что у них память окажется получше?

Матильда опять пожала одним плечом и ничего не ответила. Андрей откинулся на спинку стула.

— Вот ведь какое у нас с вами получается положение, пани Гусакова. Имя той женщины вы то ли забыли, то ли просто не хотите нам сказать. А подружки ваши его помнят. Значит, придется нам вас немного здесь задержать, чтобы не могли вы предупредить ваших подружек, и держать мы вас будем вынуждены до тех пор, пока либо вы сами, либо кто-нибудь из ваших подружек не вспомнит, от кого вы слыхали эту историю.

— Воля ваша, — сказала пани Гусакова смиренно.

— Так-то оно так, — произнес Андрей. — Но вот пока вы будете вспоминать, а мы будем возиться с вашими подружками, люди-то будут продолжать исчезать, бандиты будут радоваться и потирать руки, и все это будет происходить от вашего странного предубеждения против органов следствия.

Престарелая Матильда ничего не ответила. Она только упрямо поджала сморщенные губы.

— Вы поймите, до чего все это нелепо получается, — продолжал втолковывать Андрей. — Мало того, что нам приходится и днем, и ночью возиться с отребьем, с гадами, с мерзавцами, — приходит честный человек и ни в какую не желает нам помочь. Ну что это такое? Дико ведь!

Да и бессмысленна эта ваша, простите, детская затея. Вы не вспомните — ваши подружки вспомнят, а все равно мы имя этой женщины узнаем, до Франтишека доберемся, и он нам поможет взять все это гнездо. Если только его раньше не укокошат бандиты как опасного свидетеля... А ведь если его убьют, виноваты будете и вы, пани Гусакова! Не по суду, конечно, не по закону, а по совести, по человечеству виноваты!

Вложивши в эту маленькую речь весь заряд своей убежденности, Андрей утомленно закурил сигарету и стал ждать, незаметно поглядывая на циферблат часов. Он положил себе ждать ровно три минуты, а потом, если вздорная старуха так и не расколется, отправить ее, старую корягу, в камеру, хоть и будет это совсем противозаконно. Но, в конце концов, надо же все-таки форсировать это проклятое дело... Сколько можно с каждой старухой возиться? Ночь в камере иногда производит на людей прямо-таки волшебное воздействие... Ну, а если возникнут какие-нибудь неприятности по поводу превышения полномочий... не возникнут, не станет она жаловаться, не похоже... ну, а если все-таки возникнут, так, в конце концов, Главный прокурор лично в этом деле заинтересован и, надо полагать, не выдаст.

Ну, влепят выговор. Что я им — ради благодарностей работаю? Пусть лепят. Только бы дело это проклятое хоть немножко продвинуть... хоть чуть-чуть...

Он курил, вежливо разгоняя клубы дыма, секундная стрелка бодро бежала по циферблату, а пани Гусакова все молчала и только тихонько позвякивала своими спицами.

— Так, — сказал Андрей, когда истекла четвертая минута. Он решительным жестом вдавил окурок в переполненную пепельницу. — Вынужден вас задержать. За сопротивление следствию. Воля ваша, пани Гусакова, но, по-моему, это ребячество какое-то... Подпишите вот протокол, и вас препроводят в камеру.

Когда престарелую Матильду увели (на прощание она пожелала ему спокойной ночи), Андрей вспомнил, что ему так и не принесли горячего чая. Он высунулся в коридор, длинно и резко напомнил дежурному о его обязанностях и приказал ввести свидетеля Петрова.

Свидетель Петров, коренастый, почти квадратный, черный, как ворона, а на вид — совершеннейший бандит, мафиози девяносто шестой пробы, — прочно уселся на табуретку и, не говоря ни слова, стал злобно исподлобья глядеть, как

Андрей прихлебывает чай.

— Ну что же вы, Петров? — сказал ему Андрей благодушно. — Рвались сюда, скандалили, работать мне мешали, а теперь вот молчите...

— А чего с вами, дармоедами, разговаривать? — сказал Петров злобно. — Раньше надо было жопой пошевелить, теперь уже поздно.

— А что же это такое экстренное произошло? — осведомился Андрей, пропуская «дармоедов» и все прочее мимо ушей.

— А то произошло, что пока вы здесь болтовней занимались, устав свой говённый соблюдали, я Здание видел!

Андрей осторожно положил ложечку в стакан.

— Какое здание? — спросил он.

— Да вы что, в самом деле? — моментально взбесился Петров. — Вы что, шутки со мной шутите? Какое здание... Красное! То самое! Стоит, сволочь, прямо на Главной, и люди туда заходят, а вы тут чаек попиваете... Каких-то старух дурацких терзаете...

— Минуточку, минуточку!.. — сказал Андрей, вынимая из папки план города. — Где вы видели? Когда?

— Да вот сейчас, когда везли меня сюда... Я этому идиоту говорю: «Останови!», а он гонит...

Здесь дежурному говорю: давай скорее туда наряд полиции — он тоже не мычит не телится...

— Где вы его видели? В каком месте?

— Синагогу знаете?

— Да, — сказал Андрей, находя на карте синагогу.

— Так вот между синагогой и кинотеатриком — есть там такой занюханный.

На карте между синагогой и кинотеатром «Новый Иллюзион» значился сквер с фонтаном и детской площадкой. Андрей покусал кончик карандаша.

— Когда же это вы его видели? — спросил он.

— Двенадцать двадцать было, — сказал Петров угрюмо. — А сейчас уже — пожалуйста, почти час. Станет оно вас дожидаться... Я, бывало, через пятнадцать, через двадцать минут прибегал, его уже не было, а тут... — Он безнадежно махнул рукой.

Андрей снял трубку и приказал:

— Мотоцикл с коляской и одного полицейского. Немедленно.

Глава вторая

Мотоцикл с треском мчался по Главной улице, подпрыгивая на разбитом асфальте. Андрей, скорчившись, прятал лицо за ветровым щитком коляски, но его все равно пробирало насквозь. Надо было захватить шинель.

Время от времени с тротуаров навстречу мотоциклу выскакивали, кривляясь и приплясывая, синие от холода психи, орали что-то неслышное за шумом двигателя — полицейский мотоциклист притормаживал тогда, ругаясь сквозь зубы, увертывался от цепких протянутых рук, прорывался сквозь цепи полосатых балахонов и тут же снова разгонял машину так, что Андрея отбрасывало назад.

Кроме сумасшедших, никого на улице больше не было. Только однажды им повстречалась медленно катящаяся патрульная машина с оранжевой мигалкой на крыше, да на площади перед мэрией они увидели неуклюже бегущего огромного лохматого павиана. Павиан бежал опрометью, а за ним с гиканьем и пронзительными воплями гнались небритые люди в полосатых пижамах. Андрей, повернув голову, увидел, как

они настигли-таки павиана, повалили, растянули в разные стороны за задние и передние лапы и принялись мерно раскачивать под жуткую загробную песню.

Мчались навстречу редкие фонари, черные кварталы, словно вымершие, без единого огонька, потом впереди показалась смутная желтоватая громада синагоги, и Андрей увидел Здание.

Оно стояло прочно и уверенно, будто всегда, многие десятилетия, занимало это пространство между стеной синагоги, изрисованной свастиками, и задрипанным кинотеатриком, оштрафованным на прошлой неделе за показ порнографических фильмов в ночное время, — стояло на том самом месте, где еще вчерашним днем росли чахлые деревца, бил худосочный фонтанчик в неподобающе громадной неряшливой цементной чаше, а на веревочных качелях висли и визжали разномастные ребятишки.

Оно было действительно красное, кирпичное, четырехэтажное, и окна нижнего этажа были забраны ставнями, и несколько окон на втором и третьем этажах светились желтым и розовым, а крыша была крыта оцинкованной жестью, и рядом с единственной трубой укреплена была странная, с несколькими поперечинами антенна.

К двери действительно вело крыльцо из четырех каменных ступенек, блестела медная ручка, и чем дольше Андрей смотрел на это здание, тем явственнее раздавалась у него в ушах какая-то торжественная и мрачная мелодия, и мельком он вспомнил, что многие из свидетелей показывали, будто в Здании играет музыка...

Андрей поправил козырек фуражки, чтобы не заслонял глаза, и взглянул на полицейского мотоциклиста. Угрюмый толстяк сидел нахохлившись, втянув голову в поднятый воротник, и сонно курил, держа сигарету в зубах.

— Видишь его? — спросил Андрей вполголоса.

Толстяк неловко повернул голову и отогнул воротник.

— А?

— Дом, говорю, видишь? — спросил Андрей, раздражаясь.

— Не слепой, — отозвался полицейский угрюмо.

— А раньше его видел здесь?

— Нет, — сказал полицейский. — Здесь не видел. В других местах — видел. А что? Здесь ночью и не такое увидишь...

Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой, так что он даже плохо слышал полицейско-

го. Происходили какие-то огромные похороны, тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя...

— Жди меня здесь, — сказал Андрей полицейскому, но полицейский не ответил, что, впрочем, было и не удивительно, ибо он со своим мотоциклом остался на той стороне улицы, а Андрей стоял на каменном крыльце перед высокой дубовой дверью с медной ручкой.

Тогда Андрей посмотрел направо вдоль Главной улицы в туманную мглу, налево вдоль Главной улицы в туманную мглу, простился со всем этим на всякий случай и положил руку в перчатке на вычурно-резную блестящую медь.

За дверью оказалась небольшая спокойная прихожая, неярко освещенная желтоватым светом, гроздья шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, вешалки. Под ногами был потертый ковер с бледными неопределенными узорами, а прямо впереди — широкая мраморная лестница с красной мягкой дорожкой, прижатой к ступеням металлическими, хорошо начищенными прутьями. Были еще какие-то картины на стенах, и было еще что-то за дубовым барьером справа, и был кто-то рядом, кто почтительно

отобрал у Андрея папку и шепнул: «Наверх, пожалуйста...» Ничего этого Андрей разобрать не мог, ему ужасно мешал козырек фуражки, который все время съезжал на самые глаза, так что Андрей мог видеть только то, что было у него под ногами. На середине лестницы он подумал, что надо было бы сдать проклятую фуражку в гардероб этому раззолоченному типу в галунах и с бакенбардами до пояса, но теперь было уже поздно, а здесь все было устроено так, что все надо было делать вовремя или не делать совсем, и каждый ход свой, каждое свое действие возвращать назад было уже нельзя. И он со вздохом облегчения шагнул через последнюю ступеньку и снял фуражку.

Как только он появился в дверях, все встали, но он ни на кого не глядел. Он видел только своего партнера, невысокого пожилого мужчину в костюме полувоенного образца, в блестящих хромовых сапожках, мучительно на кого-то похожего и в то же время совершенно незнакомого.

Все неподвижно стояли вдоль стен, белых мраморных стен, украшенных золотом и пурпуром, задрапированных яркими разноцветными знаменами... нет, не разноцветными, все было красное с золотом, только красное и только с золотом, и с бесконечно далекого потолка свисали

огромные пурпурно-золотые полотнища, словно материализовавшиеся ленты какого-то невероятного северного сияния, все стояли вдоль стен с высокими полукруглыми нишами, а в нишах прятались в сумраке горделиво-скромные бюсты, мраморные, гипсовые, бронзовые, золотые, малахитовые, нержавеющей стали... холодом могил веяло из этих ниш, все мерзли, все украдкой потирали руки и ежились, но все стояли навытяжку, глядя прямо перед собой, и только пожилой человек в полувоенной форме, партнер, противник, медленно, неслышными шагами расхаживал в пустом пространстве посередине зала, слегка наклонив массивную седеющую голову, заложив руки за спину, сжимая левой рукой кисть правой. И когда Андрей вошел, и когда все встали и уже стояли некоторое время, и когда под сводами зала уже затих, запутавшись в пурпуре и золоте, едва слышный вздох как бы облегчения, человек этот еще продолжал прохаживаться, а потом вдруг, на полушаге, остановился и очень внимательно, без улыбки поглядел на Андрея, и Андрей увидел, что волосы у него на большом черепе редкие и седые, лоб низкий, пышные усы — тоже редкие и аккуратно подстриженные, а равнодушное лицо — желтоватое, с неровной, как бы изрытой

кожей.

В представлениях не было нужды, и не было нужды в приветственных речах. Они сели за инкрустированный столик, у Андрея оказались черные, а у пожилого партнера — белые, не белые, собственно, а желтоватые, и человек с изрытым лицом протянул маленькую безволосую руку, взял двумя пальцами пешку и сделал первый ход. Андрей сейчас же двинул навстречу свою пешку, тихого надежного Вана, который всегда хотел только одного — чтобы его оставили в покое, — и здесь ему будет обеспечен некоторый, впрочем, весьма сомнительный и относительный, покой, здесь, в самом центре событий, которые развернутся, конечно, которые неизбежны, и Вану придется туго, но именно здесь его можно будет подпирать, прикрывать, защищать — долго, а при желании — бесконечно долго.

Две пешки стояли друг напротив друга, лоб в лоб, они могли коснуться друг друга, могли обменяться ничего не значащими словами, могли просто тихо гордиться собой, гордиться тем, что вот они, простые пешки, обозначили собою ту главную ось, вокруг которой будет теперь разворачиваться вся игра. Но они ничего не могли сделать друг другу, они были нейтральны друг

к другу, они были в разных боевых измерениях — маленький желтый бесформенный Ван с головой, привычно втянутой в плечи, и плотный, по-кавалерийски кривоногий мужичок в бурке и в папахе, с чудовищными пушистыми усами, со скуластым лицом и жесткими, слегка раскосыми глазами.

Снова на доске было равновесие, и это равновесие должно было продлиться довольно долго, потому что Андрей знал, что партнер его — человек гениальной осторожности, всегда полагавший, что самое ценное — это люди, а значит, Вану в ближайшее время ничто не может угрожать, и Андрей отыскал в рядах Вана и чуть-чуть улыбнулся ему, но сейчас же отвел глаза, потому что встретился с внимательным и печальным взглядом Дональда.

Партнер думал, неторопливо постукивая мундштуком длинной папиросы по инкрустированной перламутром поверхности столика, и Андрей снова покосился на замершие ряды вдоль стен, но теперь он уже смотрел не на своих, а на тех, кем распоряжался его соперник. Там почти не было знакомых лиц: какие-то неожиданно интеллигентного вида люди в штатском, с бородами, в пенсне, в старомодных галстуках

и жилетках, какие-то военные в непривычной форме, с многочисленными ромбами в петлицах, при орденах, привинченных на муаровые подкладки... Откуда он набрал таких, с некоторым удивлением подумал Андрей и снова посмотрел на выдвинутую вперед белую пешку. Эта пешка была ему, по крайней мере, хорошо знакома — человек легендарной некогда славы, который, как шептались взрослые, не оправдал возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. Он, видно, и сам знал это, но не особенно горевал — стоял, крепко вцепившись в паркет кривыми ногами, крутил гигантские свои усы, исподлобья поглядывал по сторонам, и от него остро несло водкой и конским потом.

Партнер поднял над доскою руку и переставил вторую пешку. Андрей закрыл глаза. Этого он никак не ожидал. Как же это так — прямо сразу? Кто это? Красивое бледное лицо, вдохновенное и в то же время отталкивающее каким-то высокомерием, голубоватое пенсне, изящная вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым лбом — Андрей никогда раньше не видел этого человека и не мог сказать, кто он, но был он, по-видимому, важной персоной, потому что властно и кратко разговаривал с кривоногим мужичком в бурке, а

тот только шевелил усами, шевелил желваками на скулах и все отводил в сторону слегка раскосые глаза, словно огромная дикая кошка перед уверенным укротителем.

Но Андрею не было дела до их отношений — решалась судьба Вана, судьба маленького, всю свою жизнь мучившегося Вана, совсем уже втянувшего голову в плечи, уже готового к самому худшему и безнадежно покорного в своей готовности, и тут могло быть только одно из трех: либо Вана, либо Ван, либо все оставить так, как есть, подвесить жизни этих двоих в неопределенности — на высоком языке стратегии это называлось бы «непринятый ферзевый гамбит» — и такое продолжение было известно Андрею, и он знал, что оно рекомендуется в учебниках, знал, что это азбука, но он не мог вынести и мысли о том, что Ван еще в течение долгих часов игры будет висеть на волоске, покрываясь холодным потом предсмертного ужаса, а давление на него будет все наращиваться и наращиваться, пока, наконец, чудовищное напряжение в этом пункте не сделается совершенно невыносимым, гигантский кровавый нарыв прорвется, и от Вана не останется и следа.

Я этого не выдержу, подумал Андрей. И в конце

концов, я совсем не знаю этого человека в пенсне, какое мне до него дело, почему это я должен жалеть его, если даже мой гениальный партнер думал всего несколько минут, прежде чем решился предложить эту жертву... И Андрей снял с доски белую пешку и поставил на ее место свою, черную, и в то же мгновение увидел, как дикая кошка в бурке вдруг впервые в жизни взглянула укротителю прямо в глаза и оскалила в плотоядной ухмылке желтые прокуренные клыки. И сейчас же какой-то смуглый, оливково-смуглый, не по-русски, не по-европейски даже выглядящий человек скользнул между рядами к голубому пенсне, взмахнул огромной ржавой лопатой, и пенсне голубой молнией брызнуло в сторону, а человек с бледным лицом великого трибуна и несостоявшегося тирана слабо ахнул, ноги его подломились, и небольшое ладное тело покатилось по выщербленным древним ступеням, раскаленным от тропического солнца, пачкаясь в белой пыли и ярко-красной липкой крови... Андрей перевел дыхание, проглотил мешающий комок в горле и снова посмотрел на доску.

А там уже две белые пешки стояли рядом, и центр был прочно захвачен стратегическим гением, и, кроме того, из глубины прямо в грудь

Вану нацелился зияющий зрачок неминуемой гибели — тут нельзя было долго размышлять, тут дело было уже не только в Ване: одно-единственное промедление, и белый слон вырвется на оперативный простор — он давно уже мечтает вырваться на оперативный простор, этот высокий статный красавец, украшенный созвездиями орденов, значков, ромбов, нашивок, гордый красавец с ледяными глазами и пухлыми, как у юноши, губами, гордость молодой армии, гордость молодой страны, преуспевающий соперник таких же высокомерных, усыпанных орденами, значками, нашивками гордецов западной военной науки. Что ему Ван? Десятки таких Ванов он зарубил собственной рукой, тысячи таких Ванов, грязных, вшивых, голодных, слепо уверовавших в него, по одному его слову, яростно матерясь, в рост шли на танки и пулеметы, и те из них, которые чудом остались в живых, теперь уже холеные и отъевшиеся, готовы были идти и сейчас, готовы были повторить все сначала...

Нет, этому человеку нельзя было отдавать ни Вана, ни центра. И Андрей быстро двинул вперед пешку, стоявшую на подхвате, не глядя, кто это, и думая только об одном: прикрыть, подпереть Вана, защитить его хотя бы со спины, показать

великому танкисту, что Ван, конечно, в его власти, но дальше Вана ему не пройти. И великий танкист понял это, и заблестевшие было глаза его снова сонно прикрылись красивыми тяжелыми веками, но он забыл, видимо, как точно так же забыл и вдруг каким-то страшным внутренним озарением понял Андрей, что здесь все решают не они — не пешки и слоны, и даже не ладьи и не ферзи. И чуть только маленькая безволосая рука медленно поднялась над доской, как Андрей, уже понявший, что сейчас произойдет, сипло каркнул: «Поправляю...» в соответствии с благородным кодексом игры и так поспешно, что даже пальцы свело судорогой, поменял местами Вана и того, кто его подпирал. Удача бледно улыбнулась ему: подпирал Вана, а теперь заменил Вана Валька Сойфертис, с которым Андрей шесть лет просидел за одной партой и который все равно уже умер в сорок девятом году во время операции по поводу язвы желудка.

Брови гениального партнера медленно приподнялись, коричневатые с крапинками глаза удивленно-насмешливо прищурились. Конечно, ему был смешон и непонятен такой бессмысленный как с тактической, так, тем более, и со стратегической точки зрения поступок. Про-

должая движение маленькой слабой руки, он остановил ее над слоном, помедлил еще несколько секунд, размышляя, затем пальцы его уверенно сомкнулись на лакированной головке фигуры, слон устремился вперед, тихонько стукнул о черную пешку, сдвинул ее и утвердился на ее месте. Гениальный стратег еще медленно выносил битую пешку за пределы поля, а кучка людей в белых халатах, деловитых и сосредоточенных, уже окружила хирургическую каталку, на которой лежал Валька Сойфертис, — в последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изглоданный болезнью профиль, и каталка исчезла в дверях операционной...

Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которое ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс, он, в своей наивности и простодушии, привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады, уверенно прущие через чужие земли, и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами летающие крепости, плывущие в облаках

над чужими землями, он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент... Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов, и все же он ни в какую не понимал (и так и не успел понять), как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливого, такого неутомимого и неповторимого, как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями...

Андрей быстро снял его с доски, с глаз долой, и поставил на его место Вана. Люди в голубых фуражках протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок, а гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. Он был доволен. Он отдал слона за пешку и был очень доволен. И тогда Андрей вдруг понял, что в его, стратега, глазах все это выглядит совсем иначе: он ловко и неожиданно убрал мешающего ему

слона да еще получил пешку в придачу — вот как это выглядело на самом деле...

Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры, она была для него так же случайна, как для Андрея — какой-нибудь случайный, по прихоти сделанный ход. Великий стратег стал великим именно потому, что понял (а может быть, знал от рождения): выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор, свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор, нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда, иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой — пусть постоит на краю пропасти в

назидание другим пешкам...

Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрею на глаза, и ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать, слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра. Потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявлял на весь дом: «Жогж! Я чегтовски пгоголодался! Вели скогее подать мне гюмку кюгасо и а-ня-няс!..»

— Прошу прощения, — произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской, — мелькнули черные фалды, начищенные лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой. И еще какая-то белая незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского.

Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить. И он закурил — синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных редковатых усах.

А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал, и ему

пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и предсмертную записку: «Приходя — не радуйся, уходя — не грусти. Пистолет отдайте Воронину. Когда-нибудь пригодится»... Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки, Евгении Романовны, зашитое в старые простыни... Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на Пискаревке, и угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и вперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместилось побольше... А великий стратег щедро, весело и злорадно расправлялся со своими и чужими, и все его холеные люди в бородках и орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга, в ферзи и оставались пешками...

И Андрей все мучительно пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила, и зачем все это происходит, и до самых глубин души продирал его вопрос: как же это он попал в противники великого стратега,

он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за него, не знающий никаких иных целей, кроме его целей, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов Вселенной. Он жадно, не ощутивши никакого вкуса, вылакал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. Ну конечно же, он никакой не противник великого стратега! Ну конечно же, вот в чем дело! Он его союзник, верный его помощник, вот оно — главное правило этой игры! Играют не соперники, играют именно партнеры, союзники, игра идет в одни-единственные ворота, никто не проигрывает, все только выигрывают... кроме тех, конечно, кто не доживет до победы...

Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом: «Будьте любезны, передвиньте ножку...» Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми, теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту

сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы, и тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество, но играть в нее дальше Андрей не мог.

— Выйти... — сказал он хрипло. — На минутку.

Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему, и он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих, всех, кто пока еще оставался в живых.

Мрачно глядел на него, потрескивая цигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настежь, выцветшей гимнастерочке; пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами, задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках; серьезно и понимающе смотрел Кэнси, а рядом с ним — взлохмаченный, как всегда зверски небритый, с отсутствующим взглядом Володька Дмитриев; а на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинствен-

ную командировку Сева Барабанов, восседал теперь брезгливо сморщенный, со своим аристократическим горбатым носом Борька Чистяков, словно готовый спросить: «Ну что ты орешь, как больной слон?» — все были здесь, все самые близкие, самые дорогие, и все смотрели на него, и все по-разному, и в то же время было в их взглядах и что-то общее, какое-то общее их к нему отношение: сочувствие? доверие? жалость? Нет, не это, и он так и не понял, что именно, потому что вдруг увидел среди хорошо знакомых и привычных лиц какого-то совсем незнакомого человека, какого-то азиата с желтоватым лицом и раскосыми глазами, нет, не Вана, какого-то изысканного, даже элегантного азиата, и еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок...

И он встал, резко, со скрипом отодвинув от себя стул, и отвернулся от них всех, и, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и в адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку: «Ну что ж, это правилами допускается,

пусть подумает, поразмыслит... Нужно только остановить часы...»

Совершенно обессиленный, мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер, недалеко от жарко полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза, так что он даже и не пытался разглядеть, что это там за камин и что за люди сидят около камина, он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар, и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках, и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то неторопливо, со вкусом, прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает:

— ...Представляете себе — красавец, в плечах косая сажень, кавалер трех орденов Славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому, таких было меньше даже, чем Героев Советского Союза. Ну, прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, но чуть все разбредутся шерочка с машерочкой, он потихоньку в прихожую, фуражечку набекрень и — привет. Думали

сначала, что есть у него какая-то постоянная любовь. Так нет — то и дело встречали его ребята в публичных местах — ну, в парке Горького, в клубах там разных — с какими-то отъявленными лахудрами, да все с разными! Я вот тоже однажды повстречал. Смотрю — ну и выбрал! — ни кожи ни рожи, чулки вокруг тощих конечностей винтом, размалевана — сказать страшно... а тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было — чуть ли не ваксой сапожной девки брови подводили... В общем, как говорится, явный мезальянс. А он — ничего. Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается. А уж она-то — прямо тает, и гордится, и стыдится — полные штаны удовольствия... И вот однажды в холостой компании мы и пристали к нему: давай выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы, как тебе с этими б...ми ходить не тошно, когда по тебе сохнут лучшие красавицы... А надо вам сказать, что был у нас в академии педагогический факультет, привилегированная такая штучка, туда только из самых высоких семей девиц набирали... Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь. Я, говорит, товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья: и красив, и ордена, и хвост колом. И сам, говорит,

о себе это знаю, и записочек много на этот счет получал. Но был тут у меня, говорит, один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели, жили впроголодь, вкалывали на самой мужской работе — бедные, некрасивые, понятия даже не имеющие, что это такое — быть красивой и желанной. И я, говорит, положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, говорит, знакомлюсь с такой вот вагоновожатой, или с работницей с «Серпа и молота», или с несчастненькой учительницей, которой и без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось, а теперь, когда столько мужиков перебили, и вообще ничего в волнах не видно. Провожу я с ними два-три вечера, говорит, а потом исчезаю, прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное, и остаются они с этим светлым воспоминанием... Хоть какая-то, говорит, светлая искорка в их жизни. Не знаю, говорит, как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом хоть как-то частичку нашего общего мужского долга выполняю... Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить при-

нялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез. Тогда многие у нас так вот исчезали: приказ командования, а в армии не спрашивают, куда и зачем... Больше я его не видел...

И я, подумал Андрей. И я его больше не видел. Было два письма — одно маме, одно мне. И было извещение маме: «Ваш сын, Сергей Михайлович Воронин, погиб с честью при выполнении боевого задания командования». В Корее это было. Под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру, а Сережа там остался со своим полным набором орденов Славы...

Не хочу, подумал Андрей. Не хочу я этой игры. Может быть, так все и должно быть, может, без этой игры и нельзя. Может быть. Даже наверняка. Но я не могу... Не умею. И учиться даже не хочу... Ну что же, подумал он с горечью. Значит, я просто плохой солдат. Вернее сказать, я просто солдат. Всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. И я никакой не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине, и место мое не за столом в

его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой... Я маленький звездный астроном средних способностей, и если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками Схилта, это было бы для меня уже очень и очень много. А что касается великих решений и великих свершений...

И тут он вспомнил, что он уже не звездный астроном, что он — следователь прокуратуры, что ему удалось добиться немалого успеха: с помощью специально подготовленной агентуры особой сыскной методикой засечь это таинственное Красное Здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны, создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни...

Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. Если я сейчас вернусь к столу, из Здания мне уже не вырваться. Оно меня поглотит. Это же ясно: оно уже многих поглотило, на то есть свидетельские показания. Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное — мираж...

Он сполз еще на две ступеньки. Надо освобо-

диться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно. Здесь все отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, сооруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятия морали и долга. И не случайно, что по одну сторону Здания этот грязный кинотеатрик под названием «Новый Иллюзион». Новый! В порнографии ничего нового нет, а он — новый! Все понятно! А по другую сторону что? Синагога...

Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано «Выход». Уже взявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там, наверху. Упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом и не догадывался, а они уже знали точно...

Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему: туманная мгла направо вдоль Главной улицы, туманная мгла налево вдоль Главной улицы, а напротив, на той стороне, рукой подать — мотоцикл с коляской и совсем за-

снувший полицейский водитель, погрузившийся в воротник с головой. «Дрыхнет жиряга, — с умилением подумал Андрей. — Умаялся». И тут голос внутри него вдруг громко произнес: «Время!», и Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правило, придуманное специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев: тот, кто прервал партию, тот сдался; тот, кто сдался, теряет все свои фигуры.

С воплем «Не надо!» Андрей повернулся и протянул руку к медной ручке. Но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и «Нового Иллюзиона». Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, покряхтывая балками перекрытий. С крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку.

Андрей изо всех сил давил на медную ручку, но она словно срослась с деревом двери, а дом двигался все быстрее и быстрее, и Андрей уже бежал, почти волочился за ним, как за отходящим поездом, он рвал и дергал ручку и вдруг споткнулся обо что-то, упал, скрюченные пальцы его сорвались с гладких медных завитков, он

ударился обо что-то головой, очень больно, искры посыпались из глаз, и хрустнуло что-то в черепе, но он еще видел, как дом, пятясь, на ходу гася свои окна, свернул за желтую стену синагоги, исчез, снова появился, словно выглянул двумя своими последними горящими окнами, а потом и эти окна погасли, и наступила тьма.

Глава третья

Он сидел на скамейке перед дурацкой цементной чашей фонтана и прижимал влажный, уже степливший платок к здоровенной, страшной на ощупь гуле над правым глазом. Света белого он не видел, голову ломило так, что он опасался, не лопнул ли череп, саднили разбитые колени, ушибленный локоть онемел, но, по некоторым признакам, обещал в ближайшем будущем еще заявить о себе. Впрочем, все это, может быть, было даже и к лучшему. Все это придавало происходящему отчетливо выраженную грубую реальность. Не было никакого Здания, не было Стратега и темной липкой лужи под столом, не было шахмат, не было никакого предательства, а просто брел человек в темноте, зазевался да и загремел через низенький цементный барьер прямо в идиотскую чашу, треснувшись дурацкой своей башкой и всем прочим о сырое цементное дно...

То есть, Андрей, конечно, прекрасно понимал, что на самом деле все было совсем не так просто, но приятно было думать, что, может быть, все-таки именно брел, именно зацепился и треснулся

— тогда все получалось даже забавно и во всяком случае удобно. Что же мне теперь делать, думал он туманно. Ну, нашел я это Здание, ну, побывал, увидел своими глазами... А дальше? Не забивайте мне голову, больную мою голову теперь не забивайте всеми этими разглагольствованиями о слухах, мифах и прочей пропаганде. Это раз. Не забивайте... Впрочем, виноват — кажется, это я сам всем забивал голову. Надо немедленно выпустить этого... как его... с флейтой. Интересно, эта его Элла — тоже там играла в шахматы?.. Сволочь, как голова болит...

Платок совсем степлился, Андрей, кряхтя, поднялся, подковылял к фонтану и, перегнувшись через край, подержал влажную тряпку в ледяной струйке. В гулю кто-то горячо и яростно толкался изнутри. Вот тебе и миф. Он же мираж... Он отжал платок, снова приложил его к больному месту и посмотрел через улицу. Толстяк по-прежнему спал. Зараза жирная, подумал Андрей с озлоблением. Службу он несет. Я тебя зачем с собой брал? Дрыхнуть я тебя сюда брал? Меня тут сто раз могли кокнуть... Конечно, а эта скотина, выспавшись, заявилась бы завтра утром в прокуратуру и доложила бы как ни в чем не бывало: господин, мол, следователь как зашли ночью в Красное

Здание, так больше наружу и не вышли... Некоторое время Андрей представлял себе, как славно было бы набрать сейчас ведро ледяной воды, подобраться к толстому гаду и вылить ему все ведро за шиворот. То-то бы взвился. Это как на сборах ребята развлекались: задрыхнет кто-нибудь, а ему за шнурок привяжут к причинному месту ботинок, а потом этот огромный грязный говнодав поставят на морду. Тот спросонья озвереет и этот ботинок запускает в пространство с бешеной силой. Очень было смешно.

Андрей вернулся к скамейке и обнаружил, что у него появился сосед. Какой-то маленький тощенький человечек, весь в черном, даже рубашка черная, сидел, положивши ногу на ногу, держа на колене старомодную шляпу-котелок. Наверное, сторож при синагоге. Андрей тяжело опустился рядом с ним, осторожно прощупывая сквозь влажный платок границы гули.

— Ну хорошо, — сказал человечек ясным старческим голосом. — А что будет дальше?

— Ничего особенного, — сказал Андрей. — Всех выловим. Я этого дела так не оставлю.

— А дальше? — настаивал старик.

— Не знаю, — сказал Андрей, подумав. — Может быть, еще какая-нибудь гадость появится. Экспе-

римент есть Эксперимент. Это — надолго.

— Это — навечно, — заметил старик. — В согласии с любой религией это — навечно.

— Религия здесь ни при чем, — возразил Андрей.

— Вы и сейчас так думаете? — удивился старик.

— Конечно. И всегда так думал.

— Хорошо, не будем пока об этом. Эксперимент есть Эксперимент, веревка — вервие простое... здесь многие так себя утешают. Почти все. Этого, между прочим, ни одна религия не предусмотрела. Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начертано: «Оставь надежду...»

Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал:

— Вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли?

— Интересная мысль, — произнес старик задумчиво. — Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам дан еще

один шанс? Что-то вроде штрафного батальона — смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом...

— Да при чем здесь — «со злом»? — сказал Андрей, понемногу раздражаясь. — Зло — это нечто целенаправленное...

— Вы — манихеец! — прервал его старик.

— Я — комсомолец! — возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности. — Зло — это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что — Эксперимент. Нам дан хаос. И либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там — к классовому расслоению и прочей дряни, — либо мы оседлаем хаос и претворим его в новые, прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом...

Некоторое время старик ошарашенно молчал.

— Надо же, — произнес он наконец с огромным удивлением. — Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить... Коммунистическая пропаганда — здесь! Это даже не схизма, это... — Он помолчал. — Впрочем, ведь идеи коммунизма сродни идеям раннего христианства...

— Это ложь! — возразил Андрей сердито. — По-

повская выдумка. Раннее христианство — это идеология смирения, идеология рабов. А мы — бунтари! Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся туда, обратно, к себе, и все перестроим так, как перестроили здесь!

— Вы — Люцифер, — проговорил старик с благоговейным ужасом. — Гордый дух! Неужели вы не смирились?

Андрей аккуратно перевернул платок холодной стороной и подозрительно посмотрел на старичка.

— Люцифер?.. Так. А кто вы, собственно, такой?

— Я — тля, — кратко ответствовал старик.

— Гм... — Спорить было трудно.

— Я — никто, — уточнил старик. — Я был никто там, и здесь я тоже никто. — Он помолчал. — Вы вселили в меня надежду, — объявил он вдруг. — Да, да, да! Вы не представляете себе, как странно, как странно... как радостно было слушать вас! Действительно, раз свобода воли нам оставлена, то почему должно быть обязательно смирение, терпеливые муки?.. Нет, эту встречу я считаю самым значительным эпизодом за все время моего пребывания здесь...

Андрей с неприязненной внимательностью оглядывал его. Издевается, старый хрен... Нет, не

похоже... Сторож синагоги?.. Синагога!

— Прошу прощенья, — вкрадчиво осведомился он. — Вы давно здесь сидите? Я имею в виду — на этой скамеечке?

— Нет, не очень. Сначала я сидел на табуретке вон в той подворотне, там есть табуретка... А когда Дом удалился, я перешел на скамеечку.

— Ага, — сказал Андрей. — Значит, вы видели Дом?

— Конечно! — с достоинством ответил старик. — Его трудно не видеть. Я сидел, слушал музыку и плакал.

— Плакал... — повторил Андрей, мучительно пытаясь сообразить, что к чему. — Скажите, вы еврей?

Старик вздрогнул.

— Господи, нет! Что за вопрос? Я католик, верный и — увы! — недостойный сын римско-католической церкви... Разумеется, я ничего не имею против иудаизма, но... А почему вы об этом спросили?

— Так, — сказал Андрей уклончиво. — К синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения?

— Пожалуй, нет, — сказал старик. — Если не считать того, что я часто сижу в этом скверике и иногда сюда приходит сторож... — Он стеснен-

но захихикал. — Мы с ним ведем религиозные диспуты...

— А как же Красное Здание? — спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе.

— Дом? Ну, когда приходит Дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет.

— Значит, вы видите его не в первый раз?

— Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит... Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно...

— Погодите, — сказал Андрей. — А вы знаете, что это за дом?

— Его трудно не узнать, — тихо сказал старик. — Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображения и описания. Он подробно описан в откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас... Нам, католикам... Словом, я читал это. «И еще являлся мне дом, живой и движущийся, и совершал непристойные движения, а внутри через окна я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу...» Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту... И, разумеется, Иероним Босх... Я бы назвал его святым Иеронимом Босхом, я многим обязан ему, он

подготовил меня к этому... — Он широко повел рукой вокруг себя. — Его замечательные картины... Господь, несомненно, допустил его сюда. Как и Данте... Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте, в ней тоже упоминается этот дом. Как это там... — Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню ко лбу. — Э-э-э... «И спутник мой, простерши руку, сухую и костлявую...» М-м-м... Нет... «Кровавых тел нагих сплетенье в покоях сумрачных...» М-м-м...

— Погодите, — сказал Андрей, облизывая сухие губы. — Что вы мне несете? При чем здесь святой Антоний и Данте? Вы к чему, собственно, клоните?

Старик удивился.

— Я ни к чему не клоню, — сказал он. — Вы ведь спросили меня про Дом, и я... Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что Он в предвечной мудрости и бесконечной доброте своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, и у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, не в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и вдобавок мучительные воспоминания о грехах своих. Воз-

можно, это тоже великая мудрость Творца: вечное сознание грехов своих без осознания возмездия за них... Вот, например, вы, молодой человек, — за что Он низвергнул вас в эту пучину?

— Не понимаю, о чем вы говорите, — пробормотал Андрей угрюмо. «Религиозных фанатиков нам здесь еще только и не хватало», — подумал он.

— Да вы не стесняйтесь, — сказал старик ободряюще. — Здесь скрывать это не имеет смысла, ибо Суд уже состоялся... Я, например, грешен перед народом своим — я был предателем, доносчиком, я видел, как мучили и убивали людей, которых я выдавал слугам сатаны. Меня повесили в тысяча девятьсот сорок четвертом. — Старик помолчал. — А вы когда умерли?

— Я не умирал... — произнес Андрей, холодея.

Старик покивал с улыбкой.

— Да, многие так думают, — сказал он. — Но это заблуждение. История знает случаи, когда людей брали живыми на небо, но никто никогда не слыхал, чтобы их — в наказание! — живыми ссылали в преисподнюю.

Андрей слушал, обалдело воззрившись на него.

— Вы просто забыли, — продолжал старик.

— Была война, бомбы падали на улицах, вы бежали в бомбоубежище, и вдруг — удар, боль, и все исчезло. А потом — видение ангела, говорящего ласково и иносказательно, и вы — здесь... — Он снова понимающе покивал, выпятив губу. — Да-да, несомненно, именно так вот и возникает ощущение свободы воли. Теперь я понимаю: это инерция. Просто инерция, молодой человек. Вы говорили так убежденно, что несколько даже поколебали меня... Организация хаоса, новый мир... Нет-нет, это просто инерция. Это должно со временем пройти. Не забудьте, преисподняя вечна, возврата нет, а вы ведь еще только в первом круге...

— Вы... серьезно? — Голос Андрея дал маленького петуха.

— Вы же все это знаете сами, — ласково сказал старик. — Вы отлично все это знаете! Просто вы — атеист, молодой человек, и не хотите себе признаться, что ошибались всю свою — пусть даже недолгую — жизнь. Вас учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впереди — ничто, пустота, гниение; что ни благодарности, ни возмездия за содеянное ждать не приходится. И вы принимали эти жалкие идеи, потому что они казались вам такими простыми, такими очевид-

ными, а главным образом потому, что вы были совсем молоды, обладали прекрасным здоровьем тела и смерть была для вас далекой абстракцией. Сотворивши зло, вы всегда надеялись уйти от наказания, потому что наказать вас могли только такие же люди, как вы. А если вам случалось сотворить добро, вы требовали от таких же, как вы, немедленной награды. Вы были смешны. Сейчас вы, конечно, понимаете это — я вижу это по вашему лицу... — Он вдруг засмеялся. — У нас в подполье был один инженер, материалист, мы часто спорили с ним о загробной жизни. Господи, как он издевался надо мною! «Папаша, — говорил он, — в раю мы с вами закончим этот бессмысленный спор...» И вы знаете, я все ищу его здесь, ищу и никак не могу найти. Может быть, в его шутке была правда, может быть, он и в самом деле пошел в рай — как мученик. Смерть его воистину была мучительна... А я — здесь.

— Ночные диспуты о жизни и смерти? — проквакал вдруг над ухом знакомый голос, и скамейка затряслась. Изя Кацман, по обыкновению растерзанный и взлохмаченный, с размаху плюхнулся по другую сторону от Андрея и, придерживая левой рукой огромную светлую папку, сейчас же принялся правой терзать свою боро-

давку. Как и всегда, он был в состоянии какого-то восторженного возбуждения.

Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно:

— Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду.

— Пожилой господин абсолютно прав, — немедленно возразил Изя и захихикал. — Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершенно неотличимое по своим проявлениям. Однако согласитесь, пан Ступальский, вы ведь так и не нашли в моей прижизненной карьере ни одного проступка, за который стоило меня сюда отправить! Я даже не прелюбодействовал — до такой степени я был глуп.

— Пан Кацман, — заявил старик, — я вполне допускаю, что вы и сами не знаете ничего об этом своем роковом проступке!

— Возможно, возможно, — легко согласился Изя. — Судя по твоему виду, — обратился он к Андрею, — ты побывал в Красном Здании. Ну, и как тебе там?

И вот тут Андрей окончательно пришел в себя. Словно лопнула и растаяла эта липкая полупрозрачная пленка кошмара, утихла боль в голове, теперь он резко и ясно различал все вокруг се-

бя, и Главная улица перестала быть мглистой и туманной, и полицейский с мотоциклом вовсе, оказывается, не спал, а прохаживался по тротуару, светя красным огоньком сигареты и поглядывая в сторону скамейки. «Господи, — подумал Андрей почти с ужасом. — Что я здесь делаю? Я ведь следователь, время ведь уходит, а я занимаюсь здесь болтовней с этим психом, а ведь здесь Кацман... Кацман? Он-то как здесь оказался?»

— Откуда ты знаешь, где я был? — спросил он отрывисто.

— Нетрудно догадаться, — сказал Изя, хихикая. — Ты бы посмотрел на себя в зеркало...

— Я тебя серьезно спрашиваю! — сказал Андрей, повышая голос.

Старик вдруг поднялся.

— Спокойной ночи, панове, — произнес он, плавно подвигав котелком над головой. — Добрых сновидений.

Андрей не обратил на него внимания. Он смотрел на Изю. А Изя, щипля бородавку и слегка подпрыгивая на месте, смотрел вслед удаляющемуся старичку, осклабясь до ушей и уже заранее давясь и кряхтя.

— Ну? — сказал Андрей.

— Какая фигура! — с восхищением прошипел Изя. — Ах, какая фигура! Ты дурак, Воронин, ты как всегда ничего не знаешь! Ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый пан Ступальский, Иуда-Ступальский! Он выдал гестапо в Лодзи двести сорок восемь человек, дважды его уличали, дважды он как-то выкручивался и подставлял вместо себя кого-нибудь другого. Уже после освобождения его окончательно прищучили, судили судом скорым и правым, но он и тут вывернулся! Господа Наставники сочли полезным вынуть его из петли и переправить сюда. Для букета. Здесь он живет в сумасшедшем доме, изображает психа, а сам продолжает активно работать по своей любимой специальности... Ты думаешь, он случайно оказался здесь, на скамеечке, как раз рядом с тобой? Знаешь, на кого он теперь работает?

— Заткнись! — сказал Андрей, усилием воли раздавив в себе привычное любопытство и интерес, которые одолевали его во время Изиных рассказов. — Меня все это не интересует. Как ты здесь оказался? Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я был в Здании?

— А я и сам там был, — спокойно сказал Изя.

— Так, — сказал Андрей. — И что же там происходило?

— Ну, это тебе видней, что там происходило. Откуда мне знать, что там происходило с твоей точки зрения?

— А что там происходило с твоей точки?

— А вот это уж тебя совершенно не касается, — сказал Изя, поправляя на коленях свою объемистую папку.

— Папку ты взял там? — спросил Андрей, протягивая руку.

— Нет, — сказал Изя. — Не там.

— Что в ней?

— Послушай, — сказал Изя. — Какое тебе дело? Что ты ко мне привязался?

Он еще не понимал, что происходит. Впрочем, Андрей и сам еще не вполне понимал, что происходит, и лихорадочно раздумывал, как действовать дальше.

— А знаешь, что в этой папке? — сказал Изя. — Я раскопал старую мэрию, это километрах в пятнадцати отсюда. Копался там весь день, солнце погасло, темнотища, как у негра в заднице, никакого освещения там, сам понимаешь, уже лет двадцать нету... Плутал я там, плутал, еле выбрался на Главную — кругом развалины, дикие голоса какие-то орут...

— Так, — сказал Андрей. — Ты что, не знаешь,

что в старых развалинах рыться запрещено?

Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начал понимать.

— Ты что, — продолжал Андрей, — инфекцию в Город затащить хочешь?

— Что-то мне твой тон не нравится, — сказал Изя, криво улыбаясь. — Как-то ты не так со мной разговариваешь.

— А ты мне весь не нравишься! — сказал Андрей. — Ты зачем мне голову забивал, будто Красное Здание — это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем?

— Это что — допрос? — спросил Изя.

— А ты как думаешь? — сказал Андрей.

— Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя.

— Дай сюда папку, — сказал Андрей.

— А пошел ты на хер! — сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел.

Андрей тоже встал.

— Поедешь со мной, — сказал он.

— И не подумаю, — сказал Изя отрывисто. — Предъяви ордер на арест.

Тогда Андрей, леденея от ненависти, не спуская

с Изи глаз, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет.

— Идите вперед, — приказал он.

— Идиот... — пробормотал Изя. — Совершенно свихнулся...

— Молчать! — гаркнул Андрей. — Вперед!

Он ткнул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стерты ноги, он сильно хромал.

— От стыда же подохнешь, — сказал он через плечо. — Проспишься — от стыда сгоришь...

— Не разговаривать!

Они подошли к мотоциклу, полицейский ловко откинул полог в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета.

— Садитесь.

Изя молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подскакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленно и бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улице.

Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске. Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде неловкости

— как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, впопыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. Ладно, разберемся...

В предбаннике прокуратуры Андрей, не глядя на Изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному, а сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет.

Было около четырех часов — самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных, отполированных задами скамьях подследственные и свидетели, вид у всех был одинаково безнадежный и сонный, все почти судорожно зевали и таращились осоловело. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом: «Не разговаривать! Не переговариваться!» Из-за обитых дерматином дверей следственных камер доносился стук пишущих машинок, бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутило — захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-нибудь бодрящего: чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вана.

Ван сидел на корточках, прислонившись к

стене спиной, в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своеобычная ватная стеганка, голова втянута в плечи, так что ворот стеганки оттопыривал уши, круглое безволосое лицо спокойно. Он дремал.

— Ты что тут делаешь? — спросил Андрей удивленно.

Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись:

— Арестован. Жду вызова.

— Как арестован? За что?

— Саботаж, — сказал Ван тихонько.

Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее — один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фингалом.

— Какой саботаж?! — поразился Андрей.

— Уклонение от права на труд...

— Статья сто двенадцать, параграф шесть, — деловито пояснил детина с фингалом. — Шесть месяцев болотной терапии — и все дела.

— Помолчите, — сказал ему Андрей.

Детина посветил на него своим фингалом, ухмыльнулся (Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу) и прохрипел миролюбиво:

— Можно и помолчать. Почему не помолчать, когда все ясно без слов?

— Не разговаривать! — грозно заорал издали дежурный. — Кто там к стене прислоняется? А ну отслонись!

— Подожди, — сказал Андрей Вану. — Тебя куда вызвали? Сюда? — Он указал на дверь двадцать второй камеры, пытаясь припомнить, чей это кабинет.

— Точно, — прохрипел детина с готовностью. — В двадцать вторую нас. Полтора часа уже стенку подпираем.

— Подожди, — снова сказал Андрей Вану и толкнул дверь.

За столом восседал Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил: «Можно к тебе?», но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплющенным носом, он пыхтел и даже постанывал от напряжения. Андрей прикрыл за собою дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были

расчерчены на клеточки. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический.

— Чем это ты занимаешься на службе, скотина? — укоризненно спросил Андрей.

Румер заметно вздрогнул и поднял глаза.

— А, это ты... — проговорил он с видимым облегчением. — Чего тебе?

— Это ты так работаешь? — горестно сказал Андрей. — Тебя там люди ждут, а ты...

— Кто ждет? — встрепенулся Румер. — Где?

— Подследственные твои ждут! — сказал Андрей.

— А-а... Ну и что?

— Ничего, — сказал Андрей со злостью. Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота, но Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил.

— Кто это тебе в лоб засветил? — с профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрееву гулю. — Красиво кто-то засветил...

— Неважно, — сказал Андрей нетерпеливо. — Я к тебе вот зачем: дело Ван Лихуна у тебя?

— Ван Лихуна? — Румер перестал разглядывать

гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю. — А что такое? — осторожно спросил он.

— У тебя или нет?

— А ты почему спрашиваешь?

— Потому что он сидит там перед твоей дверью и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься!

— Почему это — свинством? — обиделся Румер. — Ты посмотри, титьки какие! М-м-мух! А?

Андрей брезгливо отстранил фотографию.

— Давай сюда дело, — потребовал он.

— Какое дело?

— Дело Ван Лихуна давай сюда!

— Да нет у меня такого дела! — сердито сказал Румер. Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто.

— Где вообще все твои дела? — спросил Андрей, сдерживаясь.

— Тебе-то что? — сказал Румер агрессивно. — Ты мне не начальник.

Андрей решительно сорвал телефонную трубку. В поросячьих глазках Румера мелькнула тревога.

— Постой, — сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапищей. — Ты это куда? Зачем?..

— Вот я сейчас позвоню Гейгеру, — сказал Андрей зло. — Даст он тебе по мозгам, идиоту...

— Подожди, — бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку. — Что ты, в самом деле... Зачем звонить Гейгеру? Что мы — вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо?

— Я хочу взять себе дело Ван Лихуна.

— Это китайца, что ли? Дворника?

— Да!

— Ну, так бы и сказал с самого начала! Нет на него никакого дела. Только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду.

— За что его задержали?

— Профессию не хочет менять, — сказал Румер, деликатно таща к себе телефонную трубку вместе с Андреем. — Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью сто двенадцать знаешь?..

— Знаю, — сказал Андрей. — Но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводиловка?

Шумно сопя, Румер отобрал наконец у него трубку, положил ее на место, снова полез в стол — в правый ящик, — покопался там, заслонив содержимое гигантскими плечами, вытянул бумажку и, обильно потея, протянул ее Андрею.

Андрей пробежал бумагу глазами.

— Тут не сказано, что он направляется именно к тебе, — объявил он.

— Ну и что?

— А то, что я его забираю к себе, — сказал Андрей и сунул бумажку в карман.

Румер забеспокоился.

— Так он же на меня записан! У дежурного.

— Так вот позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет.

— Это уж ты сам ему позвони, — сказал Румер важно. — Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони. А мне расписку давай, что забрал.

Через пять минут все формальности были закончены. Румер спрятал расписку в ящик, посмотрел на Андрея, посмотрел на фотографию.

— Титьки какие! — сказал он. — Вымя!

— Плохо ты кончишь, Румер, — пообещал ему Андрей, выходя.

В коридоре он молча взял Вана под локоть и повлек за собой. Ван покорился, ни о чем не спрашивая, и Андрею пришло в голову, что вот так же безмолвно и безропотно он шел бы и на расстрел, и на пытку, и на любое унижение. Андрей не понимал этого. Было в этом смирении что-то

животное, недочеловеческое, но в то же время возвышенное, вызывающее необъяснимое почтение, потому что за смирением этим угадывалось сверхъестественное понимание какой-то очень глубокой, скрытой и вечной сущности происходящего, понимание извечной бесполезности, а значит, и недостойности противодействия. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Строчка лживая, несправедливая, унизительная, но в данном случае она почему-то казалась уместной.

У себя в кабинете Андрей усадил Вана на стул — не на табурет для подследственных, а на стул секретаря сбоку от стола, — уселся сам и сказал:

— Ну, что там у тебя с ними произошло? Рассказывай.

И Ван сейчас же принялся рассказывать своим размеренным повествовательным голосом:

— Неделю назад ко мне в дворницкую явился районный уполномоченный по трудоустройству и напомнил мне, что я грубо нарушаю закон о праве на разнообразный труд. Он был прав, я действительно грубо нарушал этот закон. Три раза мне приходили повестки с биржи, и три раза я выбрасывал их в мусор. Уполномоченный объявил мне, что дальнейшее манкирование грозит большими для меня неприятностями. Тогда я

подумал: ведь бывают же случаи, когда машина оставляет человека на прежней работе. В тот же день я отправился на биржу и вложил свою трудовую книжку в распределительную машину. Мне не повезло. Я получил назначение директором обувного комбината. Но я заранее решил, что на новую службу не пойду, и остался дворником. Сегодня вечером за мной пришли двое полицейских и привели сюда. Вот как все было.

— Поня-атно, — протянул Андрей. Ничего ему было не понятно. — Слушай, хочешь чаю? Здесь можно попросить чаю с бутербродами. Бесплатно.

— Это будет большое беспокойство, — возразил Ван. — Не стоит.

— Какое там беспокойство!.. — сердито сказал Андрей и заказал по телефону два стакана чая и бутерброды. Потом он положил трубку, посмотрел на Вана и осторожно спросил: — Я все-таки не совсем понимаю, Ван, почему ты не захотел стать директором комбината? Это уважаемая должность, ты бы получил новую профессию, принес бы много пользы, ты ведь очень исполнительный и трудолюбивый человек... А я знаю этот комбинат — вечно там воровство, целыми ящиками обувь выносят... При тебе этого бы не

было. И потом, там гораздо выше зарплата, а у тебя все-таки жена, ребенок... В чем дело?

— Да, я думаю, тебе это трудно понять, — сказал Ван задумчиво.

— А чего тут понимать? — сказал Андрей нетерпеливо. — Ясно же, что лучше быть директором комбината, чем всю жизнь разгребать мусор... Или, тем более, вкалывать шесть месяцев на болотах...

Ван покачал круглой головой.

— Нет, не лучше, — сказал он. — Лучше всего быть там, откуда некуда падать. Ты этого не поймешь, Андрей.

— Почему же обязательно падать? — спросил Андрей, растерявшись.

— Не знаю — почему. Но это обязательно. Или приходится прилагать такие усилия удержаться, что лучше уж сразу упасть. Я знаю, я все это прошел.

Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись, и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Ваном стакан в потемневшем подстаканнике, придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд.

— Ты просто боишься ответственности, — ска-

зал Андрей расстроенно. — Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим.

— Я всегда стараюсь делать людям только добро, — спокойно возразил Ван. — А что касается ответственности, то на мне лежит величайшая ответственность. Моя жена и ребенок.

— Это верно, — сказал Андрей, снова несколько растерявшись. — Это, конечно, так. Но, согласись, Эксперимент требует от каждого из нас...

Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал:

— Я тебя понимаю. Ты по-своему прав. Но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей.

— Что значит — покоя? Ты же на себя клевещешь! Если бы ты искал покоя, то нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи. Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек. А ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу, и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени... Какой уж тут покой!

— Душевный, Андрей, душевный! — сказал Ван. — В мире с собой и со Вселенной.

Андрей побарабанил пальцами по столу.

— И что же, ты так всю жизнь и намерен про-

быть дворником?

— Не обязательно дворником, — сказал Ван. — Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болота. Я отработал шесть месяцев, вернулся и по закону, как наказанный, получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей, он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили. — Ван помолчал. — Месяца два назад он исчез. Говорят, его нашли убитым, ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала... Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче — мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра...

Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Вана во все глаза, совершенно неприлично, как будто это не Ван сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой. Господи, подумал Андрей. Какую же надо прожить жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь.

Просто обязан. Как?..

— Ну хорошо, — сказал он наконец. — Как хочешь. Только на болота тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь случайно, кто теперь директором биржи?

— Отто Фрижа, — сказал Ван.

— Что? Отто? Так в чем же дело?..

— Да. Я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится.

Андрей схватил телефонную книгу, нашел номер, снял трубку. Ждать пришлось долго: видимо, Отто спал, как сурок. Наконец он отозвался прерывающимся, испуганно-сердитым голосом:

— Директор Отто Фрижа слушает.

— Здравствуй, Отто, — сказал Андрей. — Это Воронин говорит, из прокуратуры.

Наступило молчание. Слышно было, как Отто несколько раз откашлялся. Потом он проговорил осторожно:

— Из прокуратуры? Слушаю вас.

— Ты что — не проснулся? — сердито сказал Андрей. — Это Эльза тебя так укатала? Андрей говорит! Воронин!

— Ах, Андрей?! — совсем другим голосом сказал Отто. — Что ты, в самом деле, среди ночи? Фу ты,

сердце как колотится... Что тебе?

Андрей объяснил ситуацию. Как он и ожидал, все свершилось без сучка без задоринки. Отто был со всем и полностью согласен. Да, он всегда считал, что Ван находится на своем месте. Да, он безусловно полагал, что директор комбината из Вана все равно не получится. Он очевидно и недвусмысленно восхищен стремлением Вана остаться на столь незавидной должности («Побольше бы нам таких людей, а то все лезут вверх, что твои горные егеря!..»), он с негодованием отвергает самое идею отправки Вана на болота, а что касается закона, то он полон священного негодования относительно идиотов и бюрократических кретинов, подменяющих здоровый дух закона его мертвенной буквой. В конце концов, закон существует, чтобы ограничить поползновения разных ловкачей пролезть вверх, а людей, желающих остаться внизу, он никак касаться не должен и не касается. Директор биржи совершенно ясно понимал все это. «Да! — повторял он. — О да, конечно!»

Правда, у Андрея осталось смутное, смешное и досадное впечатление, что Отто согласился бы на любое его, Андрея Воронина, предложение — например, назначить Вана мэром или, наобо-

рот, посадить его в карцер. Отто всегда питал к Андрею болезненно-благодарные чувства, потому, наверное, что Андрей был единственным человеком в их компании (а может быть, и во всем городе), который относился к Отто по-человечески... Впрочем, в конце концов, важнее всего было дело.

— Я распоряжусь, — в десятый раз повторял Отто. — Ты можешь быть совершенно спокоен, Андрей. Я дам указание, и Вана больше никто никогда не тронет.

На том и порешили. Андрей положил трубку и принялся писать Вану пропуск на выход.

— Ты прямо сейчас пойдешь? — спросил он, не переставая писать. — Или подождешь до солнца? Смотри, сейчас опасно на улицах...

— Благодарю вас, — пробормотал Ван. — Благодарю вас...

Андрей удивленно поднял голову. Ван стоял перед ним и мелко-мелко кланялся, сложив ладони перед грудью.

— Да брось ты эти китайские церемонии, — проворчал Андрей с досадой и неловкостью. — Что я тебе — благодеяние, что ли, оказал? — Он протянул Вану пропуск. — Я спрашиваю, ты прямо сейчас пойдешь?

Ван принял пропуск с очередным поклоном.

— Я думаю, мне лучше пойти сразу, — сказал он, как бы извиняясь. — Прямо сейчас. Мусорщики, наверное, уже приехали...

— Мусорщики... — повторил Андрей. Он посмотрел на тарелку с бутербродами. Бутерброды были большие, свежие, с отличной ветчиной. — Погоди-ка, — сказал он, вытащил из ящика старую газету и принялся заворачивать бутерброды. — Возьмешь домой, для Мэйлинь...

Ван слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И Отто, и Ван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все по справедливости, чтобы все было правильно и разумно, а получилось черт знает что — благотворительность какая-то, кумовство, блат... Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчеркивающие официальность и законность ситуации... И вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на Вана сверху вниз, холодно сказал:

— Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный

привод. Ручаюсь, что это больше никогда не повторится.

И тут ему стало совсем неудобно. Чушь какая-то. Во-первых, привод не был, строго говоря, незаконным. Был он, прямо скажем, вполне законным. А во-вторых, следователь Воронин ни за что ручаться не мог, не имел такого права... И тут он вдруг увидел глаза Вана — странный и очень знакомый своей странностью взгляд, и он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании.

— Ван, — проговорил он, внезапно охрипнув. — Я хочу тебя спросить, Ван.

Он замолчал. Глупо было спрашивать, бессмысленно. И уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх.

— Ван, — сказал он, откашлявшись. — Где ты был сегодня в два часа ночи?

Ван не удивился.

— Как раз в два часа за мной пришли, — сказал он. — Я мыл лестницы.

— А до этого?

— А до этого я собирал мусор, мне помогала Мэйлинь, потом она пошла спать, а я пошел мыть лестницы.

— Да, — сказал Андрей. — Так я и думал. Ладно,

до свиданья, Ван. Прости, что так получилось... Или нет, подожди, я тебя провожу...

Глава четвертая

Прежде чем вызвать Изю, Андрей все продумал заново.

Во-первых, он запретил себе относиться к Изе с предубеждением. То, что Изя циник, всезнайка и болтун, то, что он готов высмеять — и высмеивает — все на свете, что он неопрятен, брызгает, когда разговаривает, мерзко хихикает, живет с вдовой как альфонс и неизвестно каким образом зарабатывает себе на жизнь, — все это в данном случае не должно было играть никакой роли.

Надлежало также выкорчевать без остатка примитивную мысль, что Кацман есть простой распространитель панических слухов о Красном Здании и о прочих мистических явлениях. Красное Здание — реальность. Загадочная, фантастическая, непонятно зачем и кому понадобившаяся, но — реальность. (Тут Андрей полез в аптечку и, глядясь в маленькое зеркальце, помазал сочащуюся гулю зеленкой.) В этом плане Кацман — прежде всего свидетель. Что он делал в Красном Здании? Как часто там бывает? Что может о нем рассказать? Какую папку он оттуда вынес? Или папка действительно не оттуда? Дей-

ствительно из старой мэрии?..

Стоп, стоп! Кацман неоднократно проговаривался... нет, не проговаривался, конечно, а просто рассказывал о своих экскурсиях на север. Что он там делал? Антигород тоже где-то на севере! Нет, Кацмана я задержал правильно, хоть и впопыхах. Так ведь оно всегда и бывает: все начинается с простого любопытства, сунет человек свой любопытный нос куда не следует, а потом и пикнуть не успел, как его уже завербовали... Почему он никак не хотел отдать мне эту папку?.. Папка явно оттуда. И Красное Здание оттуда! Тут шеф явно что-то недодумал. Ну, это-то понятно — у него не было фактов. И ему не пришлось там побывать. Да, распространение слухов — это страшная штука, но Красное Здание пострашнее любого слуха. И страшно даже не то, что люди исчезают в нем навсегда, — страшно, что иногда они оттуда выходят! Выходят, возвращаются, живут среди нас. Как Кацман...

Андрей чувствовал, что ухватился сейчас за главное, но ему недоставало смелости проанализировать все до конца. Он знал только, что Андрей Воронин, который вошел в дверь с медной ручкой, был совсем не тот Андрей Воронин, который вышел из этой двери. Что-то сломалось

в нем там, что-то утратилось безвозвратно... Он стиснул зубы: «Ну нет, здесь вы просчитались, господа хорошие. Не надо было вам меня выпускать. Нас так просто не сломаешь... не купишь... не разжалобишь...»

Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами: «КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — КАЦМАН. КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — АНТИГОРОД. АНТИГОРОД — КАЦМАН». Вот как все это получается. Нет, шеф. Нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из Красного Здания живым и невредимым — искать их, вылавливать, изолировать... или устанавливать тщательнейшее наблюдение... Он написал: «Побывавшие в Здании — Антигород». Так что пани Гусаковой придется-таки рассказать все, что она знает про своего Франтишека. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно, не о них речь... Может быть, шефу позвонить? Спросить благословения на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана... Он снял трубку.

— Дежурный? Задержанного Кацмана ко мне в тридцать шестую.

...А расколоть его не только должно, но и мож-

но. Папка. Тут уж он не открутится... У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще... Но он одернул себя.

Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанной походочкой вступил в камеру.

— Садитесь, — сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет.

— Благодарю вас, — отозвался задержанный, осклабляясь еще шире. — Я вижу, вы еще не очухались...

Все ему, мерзавцу, было как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет.

И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было.

— Где папка? — спросил он, стараясь говорить спокойно.

— Какая папка? — нагло осведомился Кацман.

Андрей сорвал трубку.

— Дежурный! Где папка задержанного Кацмана?

— Какая папка? — тупо спросил дежурный. — Сейчас посмотрю... Кацман... Ага... У задержан-

ного Кацмана изъяты: носовых платков — два, кошелек пустой, подержанный...

— Папка там есть в описи? — гаркнул Андрей.

— Папки нет, — отозвался дежурный замирающим голосом.

— Принесите мне опись, — хрипло сказал Андрей и повесил трубку. Потом он исподлобья поглядел на Кацмана. От ненависти у него шумело в ушах. — Еврейские штучки... — сказал он, сдерживаясь. — Где ты девал папку, сволочь?

Кацман откликнулся немедленно:

— «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал папку?»

— Ничего... — сказал Андрей, тяжело дыша носом. — Это тебе не поможет, шпионская морда...

На лице Изи мелькнуло изумление. Впрочем, через секунду он уже вновь ухмылялся своей отвратительно-издевательской ухмылкой.

— Ну как же, как же! — сказал он. — Председатель организации «Джойнт» Иосиф Кацман, к вашим услугам. Не бейте меня, я и так все скажу. Пулеметы спрятаны в Бердичеве, место посадки обозначим кострами...

Вошел испуганный дежурный, неся перед собой в далеко вытянутой руке листок описи.

— Нету тут папки, — пробормотал он, кладя

листок перед Андреем на край стола и отступая. — Я в регистратуру звонил, там тоже...

— Хорошо, идите, — сказал Андрей сквозь зубы.

Он взял чистый бланк допроса и, не поднимая глаз, спросил:

— Имя? Фамилия? Отчество?

— Кацман Иосиф Михайлович.

— Год рождения?

— Тридцать шестой.

— Национальность?

— Да, — сказал Кацман и хихикнул.

Андрей поднял голову.

— Что — да?

— Слушай, Андрей, — сказал Изя. — Я не понимаю, что это с тобой сегодня происходит, но имей в виду, ты на мне всю свою карьеру испортишь. Предупреждаю по старой дружбе...

— Отвечайте на вопросы! — произнес Андрей сдавленным голосом. — Национальность?

— Ты лучше вспомни, как у врача Тимашук орден отобрали, — сказал Изя.

Но Андрей не знал, кто такая врач Тимашук.

— Национальность!

— Еврей, — сказал Изя с отвращением.

— Гражданство?

— СССР.
— Вероисповедание?
— Без.
— Партийная принадлежность?
— Без.
— Образование?
— Высшее. Пединститут имени Герцена. Ленинград.
— Судимости имели?
— Нет.
— Земной год отбытия?
— Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.
— Место отбытия?
— Ленинград.
— Причина отбытия?
— Любопытство.
— Стаж пребывания в Городе?
— Три года.
— Нынешняя профессия?
— Статистик управления коммунального хозяйства.
— Перечислите прежние профессии.
— Разнорабочий, старший архивариус Города, конторщик городской бойни, мусорщик, кузнец. Кажется, все.
— Семейное положение?

— Прелюбодей, — ответствовал Изя, ухмыляясь.

Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Изя был осклаблен, Изя был взлохмачен, Изя был нагл, но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Изя нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки осклабленного рта подрагивали.

— Вот что, подследственный, — сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью. — Я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить своего положения.

Изя перестал улыбаться.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова.

Андрей внутренне ухмыльнулся.

— Вы задержаны по статье двенадцатой УПК о

профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания... а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений. Это постановление вы нарушали систематически... А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении трех суток с момента задержания. В соответствии с той же статьей УПК, двенадцатой... Кроме того, поясняю: вы можете заявлять протесты, вносить жалобы и подавать апелляции только после того, как удовлетворительно ответите на вопросы предварительного следствия. Все та же статья двенадцатая. Вам все понятно?

Он внимательно следил за Изиным лицом и видел, что Изе все понятно. Было совершенно ясно, что Изя будет отвечать на вопросы и ждать истечения трех суток. При упоминании об этих трех сутках Изя довольно откровенно перевел дух. Прелестно...

— Теперь, когда вы получили разъяснение, —

сказал Андрей и снова взял ручку, — продолжим. Ваше семейное положение?

— Холост, — сказал Изя.

— Домашний адрес?

— Что? — спросил Изя. Он явно думал о другом.

— Ваш домашний адрес? Где проживаете?

— Вторая Левая, девятнадцать, квартира семь.

— Что вы можете сказать по существу предъявленного обвинения?

— Пожалуйста, — сказал Изя. — Насчет враждебных элементов: сумасшедший бред. Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы, считаю это провокационной выдумкой следствия. Вещественные доказательства... Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не мог ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я — старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею допуск ко всем архивным материалам, а значит, и к тем, которые находятся за чертой города. Все.

— Что вы делали в Красном Здании?

— Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала,

что они имеют отношение к составу преступления. Статья четырнадцатая УПК.

— Вы бывали в Красном Здании неоднократно?

— Да.

— Можете назвать людей, которых там встречали?

Изя ужасно осклабился.

— Могу. Только следствию это не поможет.

— Назовите этих людей.

— Пожалуйста. Из нового времени: Петэн, Квислинг, Ван Цзинвэй, Биляк...

Андрей поднял руку.

— Попрошу в первую очередь называть людей, которые являются гражданами нашего города.

— А зачем это понадобилось следствию? — агрессивно осведомился Изя.

— Я не обязан давать вам отчет. Отвечайте на вопросы.

— Я не желаю отвечать на дурацкие вопросы. Вы ни черта не понимаете. Вы воображаете, что раз я встретил там кого-то, значит, он там и на самом деле был. А это не так.

— Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

— А я и сам не понимаю, — сказал Изя. — Это что-то вроде сна. Бред взбудораженной совести.

— Так. Вроде сна. Вы были сегодня в Красном Здании?

— Ну, был.

— Где находилось Красное Здание, когда вы в него вошли?

— Сегодня? Сегодня там, у синагоги.

— Меня вы там видели?

Изя опять осклабился.

— Вас я вижу каждый раз, когда захожу туда.

— В том числе сегодня?

— В том числе.

— Чем я занимался?

— Непотребством, — сказал Изя с удовольствием.

— Конкретно?

— Вы совокуплялись, господин Воронин. Совокуплялись сразу со многими девочками и одновременно проповедовали кастратам высокие принципы. Втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного удовольствия, а для блага всего человечества.

Андрей стиснул зубы.

— А вы чем занимались? — спросил он, помолчав.

— А вот этого я вам не скажу. Имею право.

— Вы лжете, — сказал Андрей. — Вы там не

видели меня. Вот ваши собственные слова: «Судя по твоему виду, ты побывал в Красном Здании...» Следовательно, там вы меня не видели. Зачем вы лжете?

— И не думаю, — легко сказал Изя. — Просто мне было стыдно за вас, и я решил дать вам понять, что вас там не видел. А теперь, конечно, другое дело. Теперь я обязан говорить правду.

Андрей откинулся и забросил руку за спинку стула.

— Вы же говорите, что это вроде сна. Тогда какая разница, видели вы меня во сне или не видели? Зачем что-то там давать понять?..

— Да нет, — сказал Изя. — Я просто постеснялся вам сказать, что именно думаю о вас иногда. И зря постеснялся.

Андрей с сомнением покачал головой.

— Ну ладно. А папку вы тоже вынесли из Красного Здания? Так сказать, из собственного сна?

Лицо Изи застыло.

— Какая папка? — сказал он нервно. — О какой папке вы все время спрашиваете? Не было у меня никакой папки.

— Бросьте, Кацман, — проговорил Андрей, томно прикрывая глаза. — Папку видел я, папку видел полицейский, папку видел этот старик...

пан Ступальский. На суде вам все равно придется давать объяснения... Не отягощайте!

Изя с застывшим лицом шарил глазами по стенам. Он молчал.

— Предположим, что папка не из Красного Здания, — продолжал Андрей. — Тогда, значит, вы получили ее за городской чертой? От кого? Кто вам ее дал, Кацман?

Изя молчал.

— Что было в этой папке? — Андрей встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. — У человека в руках папка. Человека задерживают. На пути в прокуратуру человек избавляется от папки. Тайно. Почему? По-видимому, в папке содержатся документы, которые этого человека компрометируют... Вы следите за ходом моих рассуждений, Кацман? Папка получена за городской чертой. Какие документы, полученные за городской чертой, могут скомпрометировать жителя нашего города? Какие, скажите, Кацман?

Изя, нещадно терзая бородавку, смотрел в потолок.

— Только не пытайтесь выкручиваться, Кацман, — предупредил Андрей. — Не пытайтесь продать мне какую-нибудь очередную басню. Я вас вижу насквозь. Что было в папке? Списки?

Адреса? Инструкции?

Изя вдруг ударил себя ладонью по колену.

— Слушай, идиот! — заорал он. — Что за чушь ты мелешь? Кто тебе все это внушил, простая твоя душа? Какие списки, какие адреса? Майор ты Пронин задрипанный! Ты же знаешь меня два с лишним года, знаешь, что я копаюсь в руинах, изучаю историю Города. Какого черта ты все время клеишь мне какой-то идиотский шпионаж? Кто здесь может шпионить, сам подумай? Зачем? Для кого?

— Что было в папке?! — гаркнул Андрей изо всех сил. — Перестаньте вилять и отвечайте прямо: что было в папке?

И тут Изя сорвался. Глаза его выкатились и налились кровью.

— Иди ты к ... матери со своими папками! — завизжал он фальцетом. — Не буду я тебе ничего говорить! Дурак ты, идиот, жандармская морда!..

Он визжал, брызгался, ругался матом, показывал дули, и тогда Андрей достал лист чистой бумаги, написал сверху: «Показания подследственного И. Кацмана относительно виденной у него и впоследствии бесследно пропавшей папки», дождался, пока Изя утихомирится, и сказал по-доброму:

— Вот что, Изя. Я тебе неофициально говорю. Дело твое дрянь. Я знаю, что ты вляпался в эту историю по легкомыслию и из-за дурацкого своего любопытства. Тебя уже полгода держат под прицелом, если хочешь знать. И я тебе советую: садись сюда вот и пиши все, как есть. Много я тебе обещать не могу, но все, что в моих силах, для тебя сделаю. Садись и пиши. Я вернусь через полчаса.

Стараясь не глядеть на притихшего от изнеможения Изю, противный сам себе из-за своего лицемерия, подбадривая себя, что в данном случае цель несомненно оправдывает средства, он запер ящики стола, поднялся и вышел.

В коридоре он поманил к себе помощника дежурного, поставил его у дверей, а сам направился в буфет. На душе у него было гадко, во рту — вязко и мерзко, будто дерьма наелся. Допрос получился какой-то кривобокий, неубедительный. Версию Красного Здания он прогадил целиком и полностью, не надо было сейчас с этим связываться. Папку — единственную реальную зацепку! — позорнейше упустил, за такие ляпы в шею надо гнать из прокуратуры... Фриц небось бы не упустил, Фриц бы сразу понял, где собака зарыта. Сентиментальность проклятая. Как же — вместе

пили, вместе трепались, свой, советский... А какой был случай — сразу всех сгрести! Шеф тоже хорош: слухи, сплетни... Тут целая сеть под носом работает, а я должен источники слухов искать...

Андрей подошел к стойке, взял рюмку водки, выпил с гадливостью. Куда же он все-таки дел эту папку? Неужели просто выбросил на мостовую? Наверное... Не съел же он ее. Послать кого-нибудь поискать? Поздно. Психи, павианы, дворники... Нет, неправильно, неправильно у нас поставлена работа! Почему такая важная информация, как наличие Антигорода, является секретом даже от работников следствия? Да об этом в газете нужно писать каждый день, плакаты по улицам развешивать, показательные процессы нужны! Я бы этого Кацмана давным-давно бы уже раскусил... Конечно, с другой стороны, и свою голову надо на плечах иметь. Раз есть такое грандиозное мероприятие, как Эксперимент, раз в него втянуты люди самых разных классов и политических убеждений, значит, неизбежно должно возникнуть расслоение... противоречия... движущие противоречия, если угодно... антагонистическая борьба... Должны рано или поздно выявиться противники Эксперимента, люди классово несогласные с ним, а значит, и те, кого они пере-

тягивают на свою сторону, — деклассированный элемент, морально неустойчивые, нравственно разложившиеся, вроде Кацмана... космополиты всякие... естественный процесс. Мог бы и сам сообразить, как все это должно развиваться...

Маленькая крепкая ладонь легла ему на плечо, и он обернулся. Это был репортер уголовной хроники «Городской газеты» Кэнси Убуката.

— О чем задумался, следователь? — спросил он. — Распутываешь запутанное дело? Поделись с общественностью. Общественность любит запутанные дела. А?

— Привет, Кэнси, — сказал Андрей устало. — Водки выпьешь?

— Да, если будет информация.

— Ничего тебе не будет, кроме водки.

— Хорошо, давай водку без информации.

Они выпили по рюмке и закусили вялым соленым огурцом.

— Я только что от вашего шефа, — сказал Кэнси, выплюнув хвостик. — Он у вас очень гибкий человек. Одна кривая идет вверх, другая кривая падает вниз, оборудование одиночных камер унитазами заканчивается — и ни одного слова по интересующему меня вопросу.

— А что тебя интересует? — спросил Андрей

рассеянно.

— Сейчас меня интересуют исчезновения. За последние пятнадцать дней в городе исчезли без следа одиннадцать человек. Может быть, ты что-нибудь знаешь об этом?

Андрей пожал плечами.

— Знаю, что исчезли. Знаю, что не найдены.

— А кто ведет дело?

— Вряд ли это одно дело, — сказал Андрей. — А лучше спроси у шефа.

Кэнси покачал головой.

— Что-то слишком часто последнее время господа следователи отсылают меня то к шефу, то к Гейгеру... Что-то слишком много тайн развелось в нашей маленькой демократической общине. Вы, случаем, не превратились тут между делом в тайную полицию? — Он заглянул в пустую рюмку и пожаловался. — Что толку иметь друзей среди следователей, если никогда ничего не можешь узнать?

— Дружба дружбой, а служба службой.

Они помолчали.

— Между прочим, знаешь, Вана арестовали, — сказал Кэнси. — Предупреждал же я его, не послушался, упрямец.

— Ничего, я уже все уладил, — сказал Андрей.

— Как так?

Андрей с удовольствием рассказал, как ловко и быстро он все уладил. Навел порядок. Восстановил справедливость. Приятно было рассказывать об этом единственном удачном деле за целый дурацкий невезучий день.

— Гм, — сказал Кэнси, дослушав до конца. — Любопытно... «Когда я приезжаю в чужую страну, — процитировал он, — я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они...»

— Что ты этим хочешь сказать? — осведомился Андрей, нахмурившись.

— Я хочу сказать, что закон о праве на разнообразный труд, насколько мне известно, не содержит никаких исключений.

— То есть ты считаешь, что Вана надо было закатать на болота?

— Если этого требует закон — да.

— Но это же глупо! — сказал Андрей, раздражаясь. — На кой черт Эксперименту плохой директор комбината вместо хорошего дворника?

— Закон о праве на разнообразный труд...

— Этот закон, — прервал его Андрей, — придуман на благо Эксперименту, а не во вред ему. Закон не может все предусмотреть. У нас, у ис-

полнителей закона, должны быть свои головы на плечах.

— Я представляю себе исполнение закона несколько иначе, — сухо сказал Кэнси. — И уж во всяком случае эти вопросы решаешь не ты, а суд.

— Суд укатал бы его на болота, — сказал Андрей. — А у него жена и ребенок.

— Dura lex, sed lex, — сказал Кэнси.

— Эту поговорку придумали бюрократы.

— Эту поговорку, — сказал Кэнси веско, — придумали люди, которые стремились сохранить единые правила общежития для пестрой человеческой вольницы.

— Вот-вот, для пестрой! — подхватил Андрей. — Единого закона для всех нет и быть не может. Нет единого закона для эксплуататора и эксплуатируемого. Вот если бы Ван отказывался перейти из директоров в дворники...

— Это не твое дело — трактовать закон, — холодно сказал Кэнси. — Для этого существует суд.

— Да ведь суд не знает и знать не может Вана, как знаю я!

Кэнси, криво улыбаясь, помотал головой.

— Господи, ну и знатоки сидят у нас в прокуратуре!

— Ладно-ладно, — проворчал Андрей. — Ты еще

статью напиши. Растяпа следователь освобождает преступного дворника.

— И написал бы. Вана жалко. Тебя, дурака, мне нисколько не жалко.

— Так ведь и мне Вана жалко! — сказал Андрей.

— Но ты же следователь, — возразил Кэнси. — А я — нет. Я законами не связан.

— Знаешь что, — сказал Андрей. — Отстань ты от меня Христа ради. У меня и без тебя голова кругом идет.

Кэнси поднял глаза и усмехнулся.

— Да, я вижу. Это у тебя на лбу написано. Облава была?

— Нет, — сказал Андрей. — Просто споткнулся. — Он поглядел на часы. — Еще по рюмке?

— Спасибо, хватит, — сказал Кэнси, поднимаясь. — Я не могу выпивать так много с каждым следователем. Я пью только с теми, кто дает информацию.

— Ну и черт с тобой, — сказал Андрей. — Вон Чачуа появился. Пойди спроси его насчет «Падающих Звезд». У него там бо-ольшие успехи, он сегодня хвастался... Только учти: он очень скромный, будет отнекиваться, но ты не отставай, накачай его как следует, матерьялец получишь

— во!

Кэнси, раздвигая стулья, двинулся к Чачуа, уныло склонившемуся над тощей котлеткой, а Андрей, мстительно ухмыльнувшись, неторопливо пошел к выходу. Хорошо бы подождать, посмотреть, как Чачуа будет орать, подумал он. Жалко, времени нет... Н-ну-с, господин Кацман, как там у вас дела? И не дай вам бог, господин Кацман, снова вола вертеть. Я этого не потерплю, господин Кацман...

В камере тридцать шесть весь мыслимый свет был включен. Господин Кацман стоял, прислонившись плечом к раскрытому сейфу, и жадно листал какое-то дело, привычно терзая бородавку и неизвестно чему осклабляясь.

— Какого черта! — проговорил Андрей, потерявшись. — Кто тебе разрешил? Что за манера, черт побери!..

Изя поднял на него бессмысленные глаза, осклабился еще больше и сказал:

— Никогда я не думал, что вы столько понаворотили вокруг Красного Здания.

Андрей вырвал у него папку, с лязгом захлопнул железную дверцу и, взяв за плечо, толкнул Изю к табурету.

— Сядьте, Кацман, — сказал он, сдерживаясь

из последних сил. В глазах у него все плыло от ярости. — Вы написали?

— Слушай, — сказал Изя. — Вы здесь все просто идиоты!.. Вас тут сидит сто пятьдесят кретинов, и вы никак не можете понять...

Но Андрей уже не смотрел на него. Он смотрел на листок с надписью «Показания подследственного И. Кацмана...». Никаких показаний там не было, там красовался рисунок пером — мужской орган в натуральную величину.

— Сволочь, — сказал Андрей и задохнулся. — Скотина.

Он сорвал телефонную трубку и трясущимся пальцем набрал номер.

— Фриц? Воронин говорит... — Свободной рукой он рванул на себе ворот. — Ты мне очень нужен. Зайди ко мне сейчас же, пожалуйста.

— В чем дело? — недовольно спросил Гейгер. — Я домой собираюсь.

— Я тебя очень прошу! — Андрей повысил голос. — Зайди ко мне!

Он повесил трубку и посмотрел на Изю. Он сейчас же обнаружил, что не может на него смотреть, и стал смотреть сквозь него. Изя булькал и хихикал на своей табуретке, потирал ладони и непрерывно говорил, разглагольствовал о чем-то

с отвратительной самодовольной развязностью, что-то о Красном Здании, о совести, о дураках-свидетелях, — Андрей не слушал и не слышал. Решение, которое он принял, переполняло его страхом и каким-то дьявольским весельем. Все в нем плясало от возбуждения, он ждал и все никак не мог дождаться, что вот сейчас откроется дверь, мрачный злой Фриц шагнет в комнату, и как изменится тогда это отвратительное самодовольное лицо, исказится ужасом, позорным страхом... Особенно если Фриц явится с Румером. Одного вида Румера будет достаточно, его зверской волосатой хари с раздавленным носом... Андрей вдруг почувствовал холодок на спине. Он весь был в испарине. В конце концов, еще можно переиграть. Еще можно сказать: «Все в порядке, Фриц, все уладилось, извини за беспокойство...»

Дверь распахнулась, и вошел хмурый и недовольный Фриц Гейгер.

— Ну, в чем дело? — осведомился он и тут же увидел Изю. — А, привет! — сказал он, заулыбавшись. — Что это вы затеяли посреди ночи? Спать пора, утро скоро...

— Слушай, Фриц! — завопил Изя радостно. — Ну объясни хоть ты этому болвану! Ты же здесь большое начальство...

— Молчать, подследственный! — заорал Андрей, грохнув кулаком по столу.

Изя замолк, а Фриц мгновенно подобрался и посмотрел на Изю уже как-то по-другому.

— Эта сволочь издевается над следствием, — сказал Андрей сквозь зубы, стараясь унять дрожь во всем теле. — Эта сволочь запирается. Возьми его, Фриц, и пусть он скажет, что у него спрашивают.

Прозрачные нордические глаза Фрица широко раскрылись.

— А что у него спрашивают? — с деловитым весельем осведомился он.

— Это неважно, — сказал Андрей. — Дашь ему бумагу, он сам напишет. И пусть он скажет, что было в папке.

— Ясно, — сказал Фриц и повернулся к Изе.

Изя все еще не понимал. Или не верил. Он медленно потирал ладони и неуверенно осклаблялся.

— Ну что ж, мой еврей, пойдем? — ласково сказал Фриц. Угрюмости и хмурости его как не бывало. — Пошевеливайся, мой славный!

Изя все медлил, и тогда Фриц взял его за воротник, повернул и подтолкнул к двери. Изя потерял равновесие и схватился за косяк. Лицо его побе-

лело. Он понял.

— Ребята, — сказал он севшим голосом. — Ребята, подождите...

— Если что, мы будем в подвале, — бархатно промурлыкал Фриц, улыбнулся Андрею и выпихнул Изю в коридор.

Все. Ощущая противный тошный холодок внутри, Андрей прошелся по кабинету, гася лишний свет. Все. Он сел за стол и некоторое время сидел, уронив голову в ладони. Он был весь в испарине, как перед обмороком. В ушах шумело, и сквозь этот шум он все время слышал беззвучный и оглушительный, тоскливый, отчаянный, севший голос Изи: «Ребята, подождите... Ребята, подождите...» И еще была торжественно ревущая музыка, топот и шарканье по паркету, звон посуды и невнятное шамканье: «...гюмку кюгасо и а-няняс!..» Он оторвал руки от лица и бессмысленно уставился в изображение мужского органа. Потом взял листок и принялся рвать его на длинные узкие полоски, бросил бумажную лапшу в мусорную корзину и снова спрятал лицо в руки. Все. Надо было ждать. Набраться терпения и ждать. Тогда все оправдается. Пропадет дурнота, и можно будет вздохнуть с облегчением.

— Да, Андрей, иногда приходится идти и на это,

— услышал он знакомый спокойный голос.

С табуретки, где несколько минут назад сидел Изя, теперь, положив ногу на ногу и сцепив тонкие белые пальцы на колене, смотрел на Андрея Наставник, грустный, с усталым лицом. Он тихонько кивал головой, уголки рта его были скорбно опущены.

— Во имя Эксперимента? — хрипло спросил Андрей.

— И во имя Эксперимента тоже, — сказал Наставник. — Но прежде всего — во имя себя самого. Дороги в обход нет. Надо было пройти и через это. Нам ведь нужны не всякие люди. Нам нужны люди особого типа.

— Какого?

— Вот этого-то мы и не знаем, — сказал Наставник с тихим сожалением. — Мы знаем только, какие люди нам не нужны.

— Такие, как Кацман?

Наставник одними глазами показал: да.

— А такие, как Румер?

Наставник усмехнулся.

— Такие, как Румер, это — не люди. Это живые орудия, Андрей. Используя таких, как Румер, во имя и на благо таких, как Ван, дядя Юра... понимаешь?

— Да. Я тоже так считаю. И ведь другого пути нет, верно?

— Верно. Пути в обход нет.

— А Красное Здание? — спросил Андрей.

— Без него тоже нельзя. Без него каждый мог бы незаметно для себя сделаться таким, как Румер. Разве ты еще не почувствовал, что Красное Здание необходимо? Разве сейчас ты такой же, какой был утром?

— Кацман сказал, что Красное Здание — это бред взбудораженной совести.

— Что ж, Кацман умен. Я надеюсь, с этим ты не будешь спорить?

— Конечно, — сказал Андрей. — Именно поэтому он и опасен.

И Наставник опять показал глазами: да.

— Господи, — проговорил Андрей с тоской. — Если бы все-таки точно знать, в чем цель Эксперимента! Так легко запутаться, так все смешалось... Я, Гейгер, Кэнси... Иногда мне кажется, я понимаю, что между нами общего, а иногда — какой-то тупик, несуразица... Ведь Гейгер — бывший фашист, он и сейчас... Он и сейчас бывает мне крайне неприятен — не как человек, а именно как тип, как... Или Кэнси. Он же что-то вроде социал-демократа, пацифист какой-то,

толстовец... Нет, не понимаю.

— Эксперимент есть Эксперимент, — сказал Наставник. — Не понимание от тебя требуется, а нечто совсем иное.

— Что?!

— Если бы знать...

— Но ведь все это во имя большинства? — спросил Андрей почти с отчаянием.

— Конечно, — сказал Наставник. — Во имя темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства...

— Которое надо поднять, — подхватил Андрей, — просветить, сделать хозяином земли! Да-да, это я понимаю. Ради этого можно на многое пойти... — Он помолчал, собирая мучительно разбегающиеся мысли. — А тут еще этот Антигород, — сказал он нерешительно. — Ведь это же опасно, верно?

— Очень, — сказал Наставник.

— А тогда, если я даже не совсем уверен насчет Кацмана, все равно я поступил правильно. Мы не имеем права рисковать.

— Безусловно! — сказал Наставник. Он улыбался. Он был доволен Андреем, Андрей это чувствовал. — Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не ошибки опасны — опасна

пассивность, ложная чистоплотность опасна, приверженность к ветхим заповедям! Куда могут вести ветхие заповеди? Только в ветхий мир.

— Да! — взволнованно сказал Андрей. — Это я очень понимаю. Это как раз то, на чем мы все должны стоять. Что такое личность? Общественная единица! Ноль без палочки. Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы должны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писаные и неписаные законы. У нас один закон: общественное благо.

Наставник поднялся.

— Ты взрослеешь, Андрей, — сказал он почти торжественно. — Медленно, но взрослеешь!

Он приветственно поднял руку, неслышно прошел по комнате и исчез за дверью.

Некоторое время Андрей бездумно сидел, откинувшись на спинку стула, курил и смотрел, как голубой дым медленно крутится вокруг голой желтой лампы под потолком. Он поймал себя на том, что улыбается. Он больше не чувствовал усталости, исчезла сонливость, мучившая его с вечера, хотелось действовать, хотелось работать, и досада брала при мысли, что вот придется все-таки сейчас пойти и несколько часов проспать,

чтобы не ходить потом вареным.

Он нетерпеливым движением придвинул телефон, снял трубку и сейчас же вспомнил, что телефона в подвале нет. Тогда он поднялся, запер сейф, проверил, заперты ли ящики стола, и вышел в коридор.

Коридор был пуст, дежурный полицейский кивал носом за своим столиком.

— Спите на посту! — укоризненно бросил ему Андрей, проходя мимо.

В здании царила гулкая тишина, как всегда в это время, за несколько минут до включения солнца. Сонная уборщица лениво возила по цементному полу сырую тряпку. Окна в коридорах были распахнуты, вонючие испарения сотен человеческих тел рассеивались и выползали в темноту, вытесняемые холодным утренним воздухом.

Грохоча каблуками по скользкой железной лестнице, Андрей спустился в подвал, небрежным взмахом руки усадил на место подскочившего было охранника и распахнул низкую железную дверь.

Фриц Гейгер, без куртки, в сорочке с закатанными рукавами, насвистывая полузнакомый маршик, стоял возле ржавого рукомойника и

обтирал волосатые мосластые руки одеколоном. Больше в комнате никого не было.

— А, это ты, — сказал Фриц. — Это хорошо. Я как раз собирался подняться к тебе... Дай сигаретку, у меня все кончились.

Андрей протянул ему пачку. Фриц извлек сигарету, размял ее, сунул в рот и с усмешкой посмотрел на Андрея.

— Ну? — не выдержал Андрей.

— Что — ну? — Фриц закурил, с наслаждением затянулся. — Пальцем в небо ты попал — ну. Никакой он не шпион — даже не пахнет.

— То есть как? — проговорил Андрей, обмирая. — А папка?

Фриц хохотнул, зажав сигарету в углу большого рта, и вылил на широкую ладонь новую порцию одеколона.

— Еврейчик наш — бабник сверхъестественный, — сказал он наставительно. — В папке у него были любовные письма. От бабы он шел — разругался и любовные письма отобрал. А он свою вдову боится до мокрых штанов и, сам понимаешь, не будь дурак, от папочки этой постарался избавиться в первый же удобный момент. Говорит, бросил ее по дороге в канализационный люк... И очень жалко! — продолжал

Фриц еще более наставительно. — Папочку эту, господин следователь Воронин, надо было сразу же отобрать — компромат получился бы первостатейный, мы бы нашего еврея вот где держали бы!.. — Фриц показал, где они держали бы нашего еврея. На костяшках пальцев виднелись свежие ссадины. — Впрочем, протокольчик он нам подписал, так что шерсти клок мы все-таки получили...

Андрей нащупал стул и сел. Ноги не держали его. Он снова огляделся.

— Ты вот что... — сказал Фриц, опуская завернутые рукава и возясь с запонками. — Я вижу, у тебя шишка на лбу. Так вот, пойди к врачу и эту шишку запротоколируй. Румеру я уже нос разбил и отправил в медкабинет. Это на всякий случай. Подследственный Кацман во время допроса напал на следователя Воронина и младшего следователя Румера и нанес им телесные повреждения. Так что, вынужденные к обороне... и так далее. Понял?

— Понял, — пробормотал Андрей, машинально ощупывая гулю. Он еще раз огляделся. — А где... он? — спросил он с трудом.

— Да Румер, горилла этакая, опять перестарался, — с досадой сказал Фриц, застегивая куртку.

— Сломал ему руку, вот здесь... Пришлось отправить в больницу.

Часть третья. Редактор

Глава первая

В городе издавна выходили четыре ежедневные газеты, но Андрей прежде всего взялся за пятую, которая начала выходить совсем недавно, недели за две до наступления «тьмы египетской». Газетка эта была маленькая, всего на двух полосах, — не газета, собственно, а листок, — и выпускала этот листок партия Радикального возрождения, выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок «Под знаменем Радикального возрождения» был ядовитый, агрессивный, злобный, но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в Городе вообще и в правительстве в частности.

Андрей просмотрел заголовки: «Фридрих Гейгер предупреждает: вы погрузили Город во тьму, но мы не дремлем!»; «Радикальное возрождение — единственная действенная мера против коррупции»; «А все-таки, мэр, куда делось зерно с городских складов?»; «Плечом к плечу — вперед! Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии»; «Мнение рабочих сталелитейного: скупщиков зерна — на фонарь!»; «Так держать,

Фриц! Мы с тобой! Митинг домашних хозяек-эрвисток»; «Снова павианы?». Карикатура: задастый мэр, восседая на куче зерна, — надо понимать, того самого, которое исчезло с городских складов, — раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись: «А ну-ка, объясните им, ребятки, куда девалось зерно!»

Андрей бросил листок на стол и почесал подбородок. Откуда у Фрица столько денег на штрафы? Господи, до чего все надоело! Он встал, подошел к окну, выглянул. В жирной сырой тьме, еле подсвеченной уличными фонарями, грохотали телеги, слышался сиплый мат, надсадный прокуренный кашель, время от времени звонко ржали лошади. Второй день в окутанный мраком город съезжались фермеры.

В дверь постучались, вошла секретарша с пачкой гранок. Андрей досадливо отмахнулся:

— Убукате, Убукате отдайте...

— Господин Убуката у цензора, — робко возразила секретарша.

— Не будет же он там ночевать, — раздраженно сказал Андрей. — Вернется, тогда и отдадите...

— Но метранпаж...

— Все! — грубо сказал Андрей. — Ступайте.

Секретарша ретировалась. Андрей зевнул,

сморщился от боли в затылке, вернулся к столу, закурил. Голова трещала, во рту было мерзко. И вообще все было мерзко, темно, слякотно. Тьма египетская... Откуда-то издалека донеслись выстрелы — слабое потрескивание, словно ломали сухие сучья. Андрей снова поморщился и взял «Эксперимент» — правительственную газету на шестнадцати полосах.

МЭР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЭРВИСТОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СПИТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИДИТ ВСЕ!

ЭКСПЕРИМЕНТ ЕСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ. Мнение нашего научного обозревателя по поводу солнечных явлений.

ТЕМНЫЕ УЛИЦЫ И ТЕМНЫЕ ЛИЧНОСТИ. Комментарий политического консультанта муниципалитета к последней речи Фридриха Гейгера.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР. Алоиз Тендер приговорен к расстрелу за ношение оружия.

«У НИХ ТАМ ЧТО-ТО ИСПОРТИЛОСЬ. НИЧЕГО, ПОЧИНЯТ», — говорит мастер-электрик Теодор У. Питерс.

БЕРЕГИТЕ ПАВИАНОВ, ОНИ — ВАШИ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ! Резолюция последнего собрания общества покровительства животным.

ФЕРМЕРЫ — НАДЕЖНЫЙ КОСТЯК НАШЕГО

ОБЩЕСТВА. Встреча мэра с вождями крестьянской партии.

ВОЛШЕБНИК ИЗ ЛАБОРАТОРИИ НАД ОБРЫВОМ. Сообщения о последних работах по бессветовому выращиванию растений.

СНОВА «ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»?

У НАС ЕСТЬ БРОНЕВИКИ. Интервью с полицей-президентом.

ХЛОРЕЛЛА НЕ ПАЛЛИАТИВ, А ПАНАЦЕЯ.

АРОН ВЕБСТЕР СМЕЕТСЯ, АРОН ВЕБСТЕР ПОЕТ! Пятнадцатый благотворительный концерт знаменитого комика...

Андрей сгреб всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма, двенадцатый день стоявшая над Городом, реальностью были очереди перед хлебными магазинами, реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами, вспыхивающие в темноте красные огоньки цигарок, глухое металлическое позвякивание под брезентом в деревенских колымагах. Реальностью была стрельба, хотя до сих пор никто толком не знал, кто стреляет и в кого... И самой скверной реальностью было тупое похмельное гудение в бедной голове и огромный шершавый язык, который не помещался во рту и который хотелось

выплюнуть. Портвейн с сырцом — с ума сошли, и больше ничего! Ей-то что, валяется себе под одеялом, отсыпается, а ты тут пропадай... Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли... Надоело небо коптить, и шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим... Тоже мне, экспериментаторы великие — солнечного света обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить Изе передачу... Сколько ему еще сидеть осталось? Четыре месяца... Нет, шесть. Сука Фриц, его бы энергию да на мирные цели! Вот ведь не унывает человек. Все ему в жилу. Из прокуратуры выперли — партию создал, планы какие-то строит, борьба с коррупцией, да здравствует возрождение, с мэром вот сцепился... А хорошо бы сейчас пойти в мэрию, взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол: «Где хлеб, зараза? Почему солнце не горит?» и под жопу — ногой, ногой, ногой...

Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кэнси, маленький, стремительный, и сразу видно, что в ярости — глаза щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом. Андрей мысленно застонал. Опять сейчас потащит с кем-

нибудь воевать, подумал он с тоской.

Кэнси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом.

— Я этого печатать не буду! — объявил он. — Это саботаж!

— Ну, что у тебя опять? — спросил Андрей уныло. — С цензором поцапался, что ли? — Он взял гранки и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин.

— Подборка писем — из одного письма! — яростно сказал Кэнси. — Передовицу нельзя — слишком острая. Комментарий к выступлению мэра нельзя — слишком вызывающ. Интервью с фермерами нельзя — больной вопрос, несвоевременно... Я так работать не могу, Андрей, воля твоя. Ты должен что-то сделать. Они убивают газету, эти сволочи!

— Ну подожди... — морщась, сказал Андрей. — Подожди, дай разобраться...

Большой ржавый болт ввинтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания черепа. Он закрыл глаза и тихонько застонал.

— Стонами тут не поможешь! — сказал Кэнси, падая в кресло для посетителей и нервно закури-

вая. — Ты стонешь, я стенаю, а стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой...

Дверь снова распахнулась. Цензор — жирный, потный, весь в красных пятнах, — загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно закричал:

— Я отказываюсь работать в таких условиях! Я, господин главный редактор, не мальчишка! Я — государственный служащий! Я здесь не для собственного удовольствия сижу! Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен! И чтобы обзывались!..

— Да вас душить надо, а не обзывать! — прошипел из своего кресла Кэнси, сверкая глазами, как змея. — Вы саботажник, а не государственный служащий!

Цензор окаменел, переводя налитые глазки с него на Андрея и обратно. Потом он вдруг сказал очень спокойно и даже торжественно:

— Господин главный редактор! Я объявляю формальный протест!

Тут Андрей сделал наконец над собой чудовищное усилие, хлопнул ладонью по столу и сказал:

— Я попрошу всех замолчать. Всех! Сядьте, пожалуйста, господин Паприкаки.

Господин Паприкаки сел напротив Кэнси и,

теперь уже ни на кого не глядя, вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и принялся вытирать потную шею, щеки, затылок, кадык.

— Значит, так... — сказал Андрей, перебирая гранки. — Мы подготовили подборку из десяти писем...

— Это тенденциозная подборка! — немедленно объявил господин Паприкаки.

Кэнси сейчас же взвился:

— У нас за вчерашний день девятьсот писем насчет хлеба! — заорал он. — И все — вот такого содержания, если не хлеще!..

— Минуточку! — сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладонью по столу. — Дайте говорить мне! А если вам неугодно, выйдите оба в коридор и препирайтесь там... Так вот, господин Паприкаки, наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав: мы располагаем корреспонденцией, гораздо более резкой и невыдержанной. Но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма. Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно

письмо, прямо поддерживающее правительство, хотя это — единственное такое из семи тысяч, которые мы...

— Против этого письма я ничего не имею, — прервал его цензор.

— Еще бы, — сказал Кэнси. — Вы же сами его и написали.

— Это ложь! — взвизгнул цензор так, что ржавый винт снова вонзился Андрею в затылок.

— Ну, не вы, так кто-нибудь другой из вашей шайки, — сказал Кэнси.

— Сами вы шантажист! — выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание.

Андрей перебрал гранки.

— До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Паприкаки, — сказал он примирительно. — Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс...

Цензор замотал щеками.

— Господин Воронин! — сказал он проникновенно. — При чем здесь я? Господин Убуката — человек невыдержанный, ему только бы сорвать злость, а на ком — ему безразлично. Но вы-то понимаете, что я действую строго в соот-

ветствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт. Фермеры в любую минуту готовы начать резню. Полиция ненадежна. Вы что же, хотите крови? Пожаров? У меня дети, я ничего этого не хочу. Да и вы этого не хотите! В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и, должен сказать, я с нею совершенно согласен. А если бы даже и был не согласен, все равно обязан, это моя обязанность... Вот вчера арестовали цензора «Экспресса» за попустительство, за пособничество подрывным элементам...

— Я вас прекрасно понимаю, господин Паприкаки, — сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью. — Но вы же видите, в конце концов, что подборка вполне умеренная. Поймите, именно потому, что времена тяжелые, мы не можем поддакивать правительству. Именно потому, что грозит выступление деклассированных элементов и фермеров, мы должны сделать все, чтобы правительство взялось за ум. Мы исполняем свой долг, господин Паприкаки!

— Подборку я не подпишу, — тихо сказал Паприкаки.

Кэнси шепотом выматерился.

— Мы будем вынуждены выпустить газету без

вашей санкции, — сказал Андрей.

— Очень хорошо, — сказал Паприкаки с тоской. — Очень мило. Просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют. И тираж арестуют. И вас тоже арестуют.

Андрей взял листок «Под знаменем Радикального возрождения» и помахал им перед носом цензора.

— А почему не арестовывают Фрица Гейгера? — спросил он. — Сколько цензоров этой газетки арестовано?

— Не знаю, — сказал Паприкаки с тихим отчаянием. — Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют, допрыгается...

— Кэнси, — сказал Андрей. — Сколько у нас в кассе? На штраф хватит?

— Соберем между сотрудниками, — деловито сказал Кэнси и поднялся. — Я даю метранпажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь...

Он пошел к двери, цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался.

— Сердца у вас нет... — бормотал он. — И ума нет. Молокососы...

На пороге Кэнси остановился.

— Андрей, — сказал он. — На твоем месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все

рычаги, какие только можно.

— Какие там рычаги... — мрачно проговорил Андрей.

Кэнси сейчас же вернулся к столу.

— Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил.

— Я ему и морду бил, — сказал Андрей угрюмо.

— Ничего, он не обидчивый, — сказал Кэнси. — И потом, я точно знаю, что он берет.

— Кто в мэрии не берет? — сказал Андрей. — Разве в этом дело? — Он вздохнул. — Ладно, схожу. Может, узнаю что-нибудь... А с Паприкаки что будем делать? Он же сейчас звонить побежит... Побежите ведь, а?

— Побегу, — согласился Паприкаки без всякого энтузиазма.

— А я его сейчас свяжу и завалю за шкаф! — сказал Кэнси, сверкнув всеми зубами от удовольствия.

— Ну, зачем... — сказал Андрей. — Зачем это сразу: свяжу, завалю... Запри его в архиве, там телефона нет.

— Это будет насилие, — заметил Паприкаки с достоинством.

— А если вас арестуют, это не будет насилие?

— Так я же не возражаю! — сказал Паприкаки. — Я просто так... отметил...

— Иди, иди, Андрей, — сказал Кэнси нетерпеливо. — Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся.

Андрей с кряхтением поднялся, волоча ноги, побрел к вешалке, взял плащ. Берет куда-то запропастился, он поискал внизу, среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена, не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочная секретарша вскинула на него испуганные серенькие глазки. Шлюшка задрипанная. Как ее звать-то?..

— Я в мэрию, — мрачно сказал он.

В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола, кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе, метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами, было накурено, намусорено, заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квазигосударства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору: «Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лабильнее...» «Ногой, ногой, ногой», — думал Андрей,

проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно, — совсем недавно! — казалось таким перспективным, нужным, важным... «Шеф, одну минутку», — крикнул ему Денни Ли, завотделом писем, и устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. «Ногой, ногой, ногой...»

Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. По улице по-прежнему грохотали телеги — и все в одну сторону, к центру города, к мэрии. Андрей засунул руки поглубже в карманы и, ссутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами, зато хорошо был виден возница на передке — даже не столько сам возница, сколько его колоссальный брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усматривалась только борода, торчащая вперед, и сквозь скрип колес и перестук копыт слышались издаваемые им непонятные звуки: то ли он лошадей своих ободрял, то ли лишние газы

выпускал по деревенскому простодушию.

И этот в город, думал Андрей. Зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они здесь не достанут, да и не нужен им хлеб, есть у них хлеб. И вообще все у них есть, не то что у нас, у горожан. Даже оружие есть. Неужели действительно хотят устроить резню, махновщину? Может быть. Только какая им от этого польза? По квартирам шарпать?.. Ничего не понятно.

Он вспомнил интервью с фермерами, и как Кэнси был этим интервью разочарован, хотя сам же его и брал — опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией. «А как народ, так и мы»; «Надоело, понимаешь, на болотах сидеть, дай, думаю, съезжу...»; «И не говорите, господин хороший, чего народ прет, куда прет, зачем? Сами удивляемся...»; «Ну, вижу я — все в город. И я — в город. Что я — рыжий, что ли?»; «...Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомата шагу ступить нельзя...»; «...Вышел это я утром коров доить, гляжу — едут. Семка Костылин едет, Жак-Француз едет, этот, как его... ах, ядрит твою, все время я его забываю, за Вшивым Бугром живет... тоже едет! Я спрашиваю, ребята, мол, куда? Да вот, говорят, солнца седьмой день нету, надо бы в город съездить...»; «А вы у начальства спросите.

Начальство — оно все знает...»; «Так говорили же, что трактора автоматические давать будут! Чтобы самому дома сидеть, поясницу чесать, а он бы за тебя чтобы работал... Третий год обещают...».

Уклончиво, смутно, неясно. Зловеще. То ли они просто хитрят, то ли сбивает их в кучу какой-то инстинкт, а может быть, и организация какая-нибудь тайная, хорошо замаскированная... Тогда что же — Жакерия? Антоновщина?.. В чем-то их понять можно: солнца нет двенадцатый день, урожай гибнет, что будет — неясно. Вот их и сорвало с насиженных мест...

Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую — в хлебный. Стояли в основном женщины, у многих на рукавах были почему-то белые повязки. Андрей, конечно, сразу вспомнил про Варфоломеевскую ночь и тут же подумал, что на самом деле сейчас не ночь, а день, час дня, а лавки до сих пор закрыты. На углу, под неоновой вывеской ночного кафе «Квисисана», кучкой стояли трое полицейских. Вид у них был какой-то странный — неуверенный, что ли? Андрей замедлил шаг, прислушиваясь.

— Что ж нам теперь, в драку лезть прикажете? Так их больше раза в два...

— А пойдем и так и доложим: не пройти туда,

и все тут.

— А он скажет: «Как это не пройти? Вы — полиция».

— Ну полиция, ну и что? Мы полиция, а они — милиция...

Милиция еще какая-то, подумал Андрей, проходя. Не знаю я никакой милиции... Он миновал еще одну очередь, свернул на Главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари Центральной площади, обширное пространство которой все было занято чем-то серым, шевелящимся, окутанным не то паром, не то дымом, но тут его остановили.

Рослый молодой человек, собственно, юнец даже, переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко:

— Вы куда, сударь?

Руки он держал под бока, на обоих рукавах у него были белые повязки, а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах.

Краем глаза Андрей заметил, что дядёк в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно.

— Я в мэрию, — сказал Андрей, вынужденный остановиться. — А в чем дело?

— В мэрию? — громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею.

— А позвольте спросить, зачем вам в мэрию? — осведомился коренастый, небритый, в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами «джи» и «эм». У него было энергичное мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза.

— Кто вы такие? — спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине неспокойного времени.

— Мы — добровольная милиция, — ответил коренастый. — Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой?

— Я — главный редактор «Городской газеты», — сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий добровольный милиционер, тоже парень, по всему видно, крепкий, сопел над ухом справа. — Иду в мэрию с протестом против действий цензуры.

— А, — сказал коренастый с неопределенным выражением. — Понятно. Только зачем вам в

мэрию? Арестовали бы цензора и выпускали бы свою газету на здоровье.

Андрей решил пока держаться нагло.

— А вы меня не учите, — сказал он. — Цензора мы и без ваших советов арестовали. И вообще, позвольте мне пройти.

— Представитель прессы... — проворчал тот, что сопел над правым ухом.

— А чего? Пусть идет, — снисходительно разрешил юнец слева.

— Пусть, — сказал коренастый. — Пусть идет. Только пусть потом на нас не пеняет... Оружие у вас есть?

— Нет, — сказал Андрей.

— Зря, — сказал коренастый, отступая в сторону. — Проходите...

Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голосом: «Жасмин — хорошенький цветочек! Он пахнет очень хорошо...», и милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг.

На Главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками. Некоторые торчали прямо посере-

дине мостовой — подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь уже не было. Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенции: «Я вам совершенно наверняка говорю, мадам. Магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалеи, мадам, я знаю, что говорю...» Старушенция визгливо отвечала в том смысле, что умрет здесь, на этих ступеньках, но очереди своей не бросит...

Старательно подавляя в себе нарастающее чувство тревоги и какой-то ирреальности окружающего — все было как в кино, — Андрей добрался до площади. Горловина Главной, выходящая на площадь, была плотно забита телегами, повозками, арбами, колымагами, возами. Здесь воняло конским потом, свежим навозом, мотали головами разномастные лошади, зычно перекликались сыны болот, вспыхивали цигарки. Несло дымом — где-то недалеко палили костер. Из-под арки вышел, застегиваясь на ходу, толстый усач в техасской шляпе — едва не налетел на Андрея, чертыхнулся благодушно и пошел пробираться между телегами, рявкающим голосом выкликая какого-то Сидора: «Сюда давай, Сидор! Во двор

давай, там можно! Под ноги только смотри, не вляпайся!..»

Андрей покусал губу и пошел дальше. У самого входа на площадь телеги стояли уже на тротуаре. Многие были распряжены, стреноженные кони вприскочку бродили кругом, уныло обнюхивая асфальт. В телегах спали, курили, ели, слышалось аппетитное бульканье и причмокивание. Андрей взобрался на какое-то крыльцо и посмотрел поверх становища. До мэрии было шагов пятьсот, но это был лабиринт. Трещали и дымились костры, сизые от ртутных фонарей дымы тянулись поверх фургонов и колымаг и, как в гигантский дымоход, втягивались в Главную улицу. Какая-то сволочь с жужжанием уселась Андрею на щеку и впилась, словно булавку вонзила. Андрей с омерзением пришлепнул что-то крупное, колючее, сочно хрустнувшее под ладонью. Понатащили с болот, сердито подумал он. Из приоткрытой парадной отчетливо тянуло аммиаком. Андрей соскочил на тротуар и решительно двинулся в лошадино-тележный лабиринт, на первых же шагах угодив в мягкое и рассыпчатое.

Тяжелое округлое здание мэрии возвышалось над площадью, как пятиэтажный бастион. Почти все окна были темны, только в некоторых

горел свет, и еще тускло и желтовато светились выведенные наружу колодцы лифтов. Лагерь фермеров окружал здание кольцом, между телегами и мэрией пролегало пустое пространство, освещенное яркими фонарями на фигурных чугунных столбах. Под фонарями толклись фермеры, почти все с оружием, а напротив них, у входа в мэрию, стояла шеренга полицейских — судя по знакам различия, преимущественно сержантов и офицеров.

Андрей уже проталкивался через вооруженную толпу, когда его окликнули. Он остановился и завертел головой.

— Да здесь я, вот он я! — гаркнул знакомый голос, и Андрей увидел наконец дядю Юру.

Дядя Юра вперевалочку приближался к нему, заранее отводя ладонь для рукопожатия — все в той же гимнастерочке, в пилотке набекрень, и известный Андрею пулемет висел у него на широком ремне через плечо.

— Здорово, Андрюха, городская твоя душа! — провозгласил он, с треском ударяя своей жесткой ладонью в ладонь Андрея. — А я тут все тебя ищу, буча идет, нет, думаю, не может быть, чтобы нашего Андрюхи тут не было! Он — парень заводной, думаю, обязательно где-нибудь тут же

крутится...

Дядя Юра был основательно на взводе. Он стащил пулемет с плеча, оперся на ствол подмышкой, как на костыль, и продолжал с той же горячностью:

— Я туда, я сюда — нет Андрюхи. Ах ты, ядрит твою, думаю, что же это такое? Фриц твой белобрысый — этот здесь. Толкается среди мужиков, речи произносит... А тебя нет как нет!

— Подожди, дядя Юра, — сказал Андрей. — Ты-то чего сюда приперся?

— Права качать! — ухмыльнулся дядя Юра. Борода его раздвинулась веником. — Исключительно для этой цели сюда прибыл, но ничего у нас тут, видно, не получится. — Он сплюнул и растер огромным сапожищем. — Народ — вша. Сами не знают, чего пришли. То ли просить пришли, то ли требовать пришли, а может, не то и не другое, а просто по городской жизни соскучились — постоим здесь, засрем ваш город, да и назад, по домам. Говно народ. Вот... — Он обернулся и помахал кому-то рукой. — Вот, к примеру, возьми Стася Ковальского, дружка моего... Стась! Стась, т-твою... Иди сюда!

Стась подошел — худой сутулый мужик с унылыми вислыми усами и редкой шевелюрой. От

него так и шибало самогоном. На ногах он держался исключительно инстинктивно, однако то и дело воинственно вскидывал голову, хватался за странный автомат-коротышку, висящий у него на шее, и, с огромным трудом приподнимая веки, угрожающе оглядывался по сторонам.

— Вот — Стась... — продолжал дядя Юра. — Ведь воевал же, Стась, воевал, ну скажи! Нет, ты скажи: воевал? — требовал дядя Юра, горячо обхватив Стася за плечи и качаясь вместе с ним.

— Хэ! Хо!.. — откликнулся Стась, всем своим видом стараясь показать, что воевал, что еще как воевал, слов нет выразить, как воевал.

— Он пьяный сейчас, — объяснил дядя Юра. — Он не может, когда солнца нет... О чем это я? Да! Ты спроси его, дурака, чего он здесь топчется? Оружие есть. Ребята боевые есть. Ну, чего еще, спрашивается?

— Подожди, — сказал Андрей. — Чего вы хотите?

— Так я же тебе и говорю! — проникновенно сказал дядя Юра, выпуская Стася, которого сразу же по длинной дуге унесло в сторону. — Я тебе втолковываю! Один раз дать на гадов — и все! У них же пулеметов нет! Сапогами затопчем, шапками закидаем... — Он вдруг замолчал, снова

вскинул на спину пулемет. — Пошли.

— Куда?

— Выпьем. Надо допивать все к чертовой матери и ехать отсюда по домам. Чего, в самом деле, время тратить? У меня там картошка гниет... Пошли.

— Нет, дядя Юра, — сказал Андрей извиняющимся голосом. — Не могу сейчас. Мне в мэрию надо.

— В мэрию? Пошли! Стась! Стась, т-твою...

— Да подожди, дядя Юра! Ты же... того... не пустят тебя.

— М-меня? — взревел дядя Юра, сверкнув глазами. — А ну, пошли! Посмотрим, кто там меня не пустит. Стась!..

Он обхватил Андрея за плечи и поволок через пустое, ярко освещенное пространство прямо на шеренгу полицейских.

— Ты пойми, — горячо бормотал он прямо в ухо упирающемуся Андрею. — Страшно, понял? Никому не говорил, тебе скажу. Жутко! А если оно теперь вовсе не загорится больше, а? Затащили нас сюда и бросили... Нет, пусть объяснят, пусть правду скажут, суки, а так жить нельзя. Я спать перестал, понял? Такого со мной и на фронте не бывало... Ты думаешь, я пьяный? Ни хрена я не

пьяный — это страх, страх во мне ходит!..

У Андрея озноб пошел по спине от этого горячечного бормотания. Он остановился шагах в пяти от шеренги (ему казалось, что на площади все стихло и все смотрят на него — и полицейские, и фермеры) и, стараясь говорить внушительно, произнес:

— Ты вот что, дядя Юра. Я сейчас схожу, улажу один вопрос насчет моей газеты, а ты меня здесь подожди. Потом пойдем ко мне и обо всем как следует поговорим.

Дядя Юра изо всех сил замотал бородой.

— Нет, я с тобой. Мне тоже надо один вопрос уладить...

— Да не пустят тебя! И меня из-за тебя не пустят!

— Пойдем, пойдем... — приговаривал дядя Юра. — Как так — не пустят? Почему? Мы — тихо, благородно...

Они были уже совсем рядом с шеренгой, дородный капитан полиции в щегольской форме, с расстегнутой кобурой слева на поясе шагнул им навстречу и холодно осведомился:

— Вам куда, господа?

— Я главный редактор «Городской газеты», — сказал Андрей, тихонько отпихивая дядю Юру,

чтобы не обнимался. — Я должен встретиться с господином политическим консультантом.

— Попрошу документы, — обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею.

Андрей достал удостоверение, отдал капитану и покосился на дядю Юру. К его удивлению, дядя Юра стоял теперь спокойно, пошмыгивал носом и то и дело поправлял ремень своего пулемета, хотя никакой надобности в этом не было. Глаза его, вроде бы и не пьяные совсем, неторопливо шарили по шеренге.

— Можете пройти, — вежливо сказал капитан, возвращая удостоверение. — Хотя должен вам сказать... — Он не окончил и обратился к дяде Юре: — А вы?

— Это со мной, — поспешно сказал Андрей. — В некотором роде представитель... э-э... части фермеров.

— Документы!

— Какие у мужика могут быть документы? — сказал дядя Юра с горечью.

— Без документов не могу.

— Почему же это нельзя без документов? — совсем огорчился дядя Юра. — Без какой-то бумажки паршивой я, значит, уже и не человек?

Кто-то жарко задышал Андрею в затылок. Это

Стась Ковальский, все еще воинственно взбрыкивая и пошатываясь, подпирал теперь тыл. По освещенному пространству вяло, словно бы нехотя, подтягивались еще какие-то люди.

— Господа, господа, не скапливаться! — нервно сказал капитан. — Да проходите же, сударь! — зло прикрикнул он на Андрея. — Господа, назад! Скапливаться запрещено!..

— То есть если у меня бумажки какой-то исчириканной нет, — сокрушался дядя Юра, — то уже мне, значит, ни проходу, ни проезду...

— Дай ему в рыло! — неожиданно ясным голосом предложил сзади Стась.

Капитан схватил Андрея за рукав плаща и резко рванул на себя, так что Андрей сразу же очутился за спинами шеренги. Шеренга быстро сомкнулась, заслоняя от него фермеров, столпившихся перед капитаном, и он, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро зашагал к сумрачному, слабо освещенному порталу. За спиной гудели:

— Хлеб им давай, мясо им давай, а как пройти куда-нибудь...

— Па-апрашу не скапливаться! Имею приказ арестовывать...

— Почему представителя не пропускаешь, а?

— Солнце! Солнце, сволочи, когда обратно зажжете?

— Господа, господа! Ну при чем тут я?

По беломраморной лестнице навстречу Андрею, звеня подковками, сыпались новые полицейские. Эти были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Сдавленный голос скомандовал: «Баллоны приготовить!» Андрей дошел до верха лестницы и оглянулся. Освещенное пространство было теперь усеяно людьми. Фермеры, кто медленно, а кто и бегом, двигались от своего стойбища к большой черной куче образовавшегося толковища.

Андрей с усилием оттянул на себя дверь — тяжелую, высокую, обитую медью — и вошел в вестибюль. Здесь тоже было полутемно, и стоял резкий явственный запах казармы. В роскошных креслах, на диванах и прямо на полу спали вповалку полицейские, укрывшись шинелями. На слабо освещенной галерее, тянувшейся под потолком вдоль трех стен вестибюля, маячили какие-то фигуры. Андрей не разобрал, было ли у них оружие.

По мягкой ковровой дорожке он взбежал на второй этаж, где располагался отдел прессы, и двинулся по широкому коридору. Его вдруг

охватило сомнение. Что-то слишком тихо было сегодня в этом огромном здании. Обычно здесь толклась масса народу, стрекотали пишущие машинки, гремели телефонные звонки, гул стоял от разговоров и начальственных окриков, а сейчас ничего этого не было. Некоторые кабинеты были распахнуты настежь, там стояла тьма, да и в самом коридоре горела только каждая четвертая лампа.

Предчувствие его не обмануло: кабинет политконсультанта оказался заперт, а в кабинете заместителя сидели два каких-то незнакомых человека в одинаковых серых пальто, застегнутых до подбородка, в одинаковых котелках, надвинутых на глаза.

— Прошу прощения, — сердито сказал Андрей. — Где я могу найти господина политконсультанта или его заместителя?

Головы в котелках неторопливо повернулись к нему.

— А зачем вам? — спросил тот, что был поменьше ростом.

Лицо этого человека показалось вдруг Андрею не таким уж незнакомым, да и голос тоже. И почему-то стало неприятно и странно от того, что этот человек находится здесь. Нечего ему здесь было

делать... Андрей насупился и, стараясь говорить отрывисто и решительно, объяснил, кто он и что ему нужно.

— Да вы заходите, — произнес полузнакомый человек. — Что это вы стоите там в дверях?

Андрей вошел и огляделся, но он ничего не видел: перед глазами все время маячило только это гладко выбритое скопческое лицо. Где же я его видел? Неприятная какая-то личность... и опасная... Зря я сюда зашел, только время теряю.

Маленький человек в котелке тоже пристально его рассматривал. Было тихо. Высокие окна затянуты были тяжелыми портьерами, и шум снаружи едва доносился сюда. Маленький человек в котелке вдруг легко вскочил и подошел к Андрею вплотную. Серые глазки его, почти без ресниц, мигали, а от верхней пуговицы пальто подскочил к самому подбородку и снова ушел вниз могучий хрящеватый кадык.

— Главный редактор?.. — проговорил маленький человек, и тут Андрей наконец узнал его и в обессиливающем томлении, теряя ощущение ног под собою, понял, что узнан сам.

Скопческое лицо ощерилось, показывая редкие дурные зубы, маленький человек присел, и Андрей ощутил жестокую боль в животе, словно

у него лопнули внутренности, и сквозь тошную муть в глазах увидел вдруг навощенный пол... Бежать, бежать... Целый фейерверк вспыхнул у него в мозгу, и над ним закачался, медленно поворачиваясь, далекий темный потолок, испещренный трещинами... из наваливающейся душной тьмы выскакивали раскаленные добела пики и втыкались в ребра... убьет... убьет же!.. Голова вдруг распухла и, обдирая уши, полезла в какую-то узкую вонючую щель, а громовой голос неторопливо говорил: «Спокойнее, Копчик, спокойнее, не все сразу...» Андрей закричал изо всех сил, теплая густая каша наполнила его рот, он захлебнулся, и его вырвало.

В комнате никого не было. Огромная портьера была отдернута, окно распахнуто, тянуло сырым холодным воздухом, и слышался какой-то отдаленный рев. Андрей с трудом поднялся на четвереньки и пополз вдоль стены. К двери. Прочь отсюда...

В коридоре его снова вырвало. Он полежал немного в блаженном изнеможении, затем попробовал подняться на ноги. Плохо мне, подумал он. Ох, как мне плохо. Он сел и ощупал лицо. Лицо было влажное и липкое, и тут он обнаружил, что смотрит только одним глазом. Болели

ребра, трудно было дышать. Болели челюсти, и ужасной, невыносимой болью сводило низ живота. Сволочь, Копчик. Изуродовал меня... Андрей заплакал. Он сидел на полу в пустом коридоре, прислонившись спиной к золоченым завитушкам, и плакал. Ничего не мог с собой сделать. Плача, он с трудом задрал полу плаща и полез рукой под брючный ремень. Болело ужасно, но не там, а выше. Весь живот болел. Трусы были мокрые.

Кто-то, тяжело бухая сапогами, прибежал из глубины коридора и остановился над ним. Какой-то полицейский — красный, распаренный, без фуражки, с растерянными глазами. Постоял несколько секунд словно бы в нерешительности и вдруг опрометью бросился бежать дальше, а из глубины коридора уже бежал второй, на ходу сдирая с себя китель.

Тут до Андрея дошло, что там, откуда они бежали, стоит ревущий многоголосый гомон. Тогда он с усилием поднялся и, придерживаясь за стену, поплелся на этот гомон, все еще всхлипывая, со страхом ощупывая лицо и то и дело останавливаясь, чтобы постоять, согнувшись и держась за живот.

Он добрался до лестницы и ухватился за скольз-

кие мраморные перила. Внизу в огромном вестибюле ворочалась густая человеческая каша. Совершенно непонятно было, что там делается. Прожекторные лампы, установленные вдоль галереи, озаряли холодным слепящим светом это месиво, в котором мелькали разномастные бороды, форменные фуражки, золотые шнуры витых полицейских аксельбантов, примкнутые штыки, растопыренные пятерни, бледные лысины, и от всего этого поднимался к потолку теплый влажный смрад.

Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и ощупью, перебирая руками по перилам, кое-как, задом, боком, стал спускаться, сам не понимая, зачем он это делает. Несколько раз он останавливался, чтобы отдышаться и постонать, открывал глаза, глядел вниз, ему снова становилось невмоготу от этого зрелища, он опять зажмуривался и опять принимался перебирать руками по перилам. Уже внизу руки его ослабели окончательно, он сорвался и прокатился по последним ступенькам до мраморной лестничной площадки, украшенной гигантскими бронзовыми плевательницами. Сквозь муть и гомон он услышал вдруг надсадный хриплый рев: «Гляди, да это же Андрюха!.. Ребята, там наших насмерть

убивают!..» Открыв глаза, он увидел совсем рядом дядю Юру, всклокоченного, в растерзанной гимнастерке, глаза дикие, выкаченные, борода растопырена, и он увидел, как дядя Юра поднял на вытянутых руках свой пулемет и, не переставая реветь быком, ударил длинной очередью по галерее, по прожекторам, по стеклам двусветного зала...

Потом были какие-то отрывочные впечатления, потому что сознание приливало и отливало вместе с приливами и отливами боли и дурноты. Сначала он обнаружил себя в центре вестибюля. Он, оказывается, упрямо полз на карачках к далекой распахнутой двери, перебираясь через неподвижные тела, оскользаясь руками в мокром и холодном. Кто-то однообразно стонал совсем рядом, приговаривая: «О господи, о господи, господи...» На ковре было полно осколков стекла, стреляных гильз, обломков штукатурки. В распахнутую дверь ворвались с ревом и бежали прямо на него какие-то страшные люди с горящими факелами в руках...

Потом он очутился снаружи, в портале. Он сидел, расставив ноги, упираясь ладонями в холодный камень, и на коленях у него лежала винтовка без затвора. Пахло свежим дымом,

где-то на краю сознания грохотал пулемет, дико визжали лошади, а он монотонно твердил вслух, втолковывая самому себе: «Тут меня растопчут, тут меня обязательно растопчут...»

Но его не растоптали. Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы. Он прижимался щекой к шершавому граниту, над ним светила ртутная лампа, винтовки не было, и тела, кажется, тоже не было, он словно бы висел в пустоте со щекой, прижатой к граниту, а на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия.

Он увидел, как вдоль цепи фонарей, окаймлявших площадь, вдоль кольца сцепившихся телег и повозок со звоном и лязгом мчится бронеавтомобиль, его пулеметная башня ходит из стороны в сторону, обильно плюясь огнем, светящиеся трассы мечутся по всей площади, а перед броневиком, задрав голову, галопом скачет лошадь, волоча оборванные постромки... И вдруг из гущи телег, наперерез броневику, выкатился фургон, крытый брезентом, лошадь бешено рванулась в сторону и разбилась о фонарный столб, а броневик резко затормозил, его занесло, и тут на открытое пространство выбежал длинный человек в черном, взмахнул рукой и плашмя упал на

асфальт. Под броневиком вспыхнуло пламя, раскатился гулкий удар, и железная махина грузно осела назад. Человек в черном уже снова бежал. Он обогнул броневик, сунул что-то в смотровую амбразуру водителя и отскочил в сторону, и тогда Андрей увидел, что это Фриц Гейгер, а амбразура озарилась изнутри, в броневике грохнуло, и из амбразуры вылетел длинный коптящий язык пламени. Фриц, пригнувшись, на полусогнутых ногах и растопырив длинные, до земли, руки, боком, как краб, двигался вокруг машины, и тут бронированная дверца распахнулась, на асфальт вывалился охваченный пламенем лохматый тюк и с пронзительным воем стал кататься, рассыпая искры...

Потом снова был обморок, словно занавес опустился, и какие-то свирепые голоса, и нечеловеческие визги, и топот множества ног. От горящего броневика несло вонью раскаленного железа и бензина. Фриц Гейгер в окружении толпы людей с белыми повязками на рукавах, возвышаясь над ними на целую голову, выкрикивал команды, резко взмахивал, показывая в разные стороны, длинными руками, лицо и белобрысые растрепанные волосы были у него покрыты копотью. Другие люди с белыми повяз-

ками облепили фонари перед входом в мэрию, лезли зачем-то наверх и спускали оттуда, сверху, длинные, мотающиеся под ветром веревки. Кого-то волокли по лестнице, отбивающегося, дрыгающего ногами, кто-то все визжал высоким бабьим голосом так, что закладывало уши, и вдруг лестница вся покрылась народом, замелькали черные бородатые лица, залязгало оружие. Визг прекратился, темное тело поползло вверх вдоль фонарного столба, судорожно дергаясь и извиваясь. Из толпы ударили выстрелы, дергающиеся ноги обмякли, вытянулись, и темное тело начало медленно крутиться в воздухе.

А потом Андрей очнулся уже от ужасной тряски. Голова его моталась на жестких пахучих узлах, он куда-то ехал, везли его куда-то, и знакомый остервенелый голос выкрикивал: «Н-но! Н-но, лярва, т-твою!.. Пошла!» А прямо перед ним на фоне черного неба горела мэрия. Жаркие языки вырывались из окон, сыпали искры в черноту, и видно было, как слегка покачиваются, свешиваясь с фонарных столбов, длинные вытянутые тела.

Глава вторая

Вымытый и переодетый, с повязкой через правый глаз, Андрей полулежал в кресле и угрюмо смотрел, как дядя Юра и Стась Ковальский, у которого голова была тоже обмотана бинтом, жадно хлебают прямо из кастрюли какое-то дымящееся варево. Заплаканная Сельма сидела рядом с ним, судорожно вздыхала и все пыталась взять его за руку. Волосы ее были растрепаны, краска с ресниц измазала щеки, лицо было опухшее и все горело красными пятнами. И дико выглядел на ней легкомысленный прозрачный халатик, спереди весь мокрый от мыльной воды.

— ...Это он забить тебя хотел, — объяснял Стась, не переставая хлебать. — Нарочно тебя так, понимаешь, аккуратно обрабатывал, чтобы надольше хватило. Я эту штуку знаю, меня голубые гусары тоже вот так же обрабатывали. Только я весь курс, понимаешь, прошел — уже меня ногами топтать стали, да тут, слава божьей матери, оказалось, что я не тот, другого им надо было...

— Нос сломали — это ерунда, — подтверждал дядя Юра. — Нос не это самое... и сломанный сойдет... А ребро... — Он махнул рукой с ложкой.

— Я их сколько себе ломал, ребер этих. Главное — кишки целы, печенки-селезенки...

Сельма судорожно вздохнула и снова попыталась взять Андрея за руку. Он посмотрел на нее и сказал:

— Хватит реветь. Поди переоденься, и вообще...

Она послушно встала и вышла в другую комнату. Андрей пошарил во рту языком, нащупал еще что-то твердое и вытолкнул на палец.

— Пломбу выбил, — проговорил он.

— Ну да? — удивился дядя Юра.

Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал:

— Редкий случай. А только я, когда отлеживался, — три месяца, знаешь ли, отлеживался, — так я все больше зубы сплевывал. Баба мне ребра парила каждый день. Умерла потом, а я вот видишь — жив. И хоть бы хрен.

— Три месяца! — сказал дядя Юра с презрением. — Мне когда задницу оторвало под Ельней, я полгода по госпиталям мотался. Это же жуткая вещь, браток, когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице, все главные сосуды сплетаются. А мне по касательной как шваркнет болванкой!.. Ребята, спрашиваю, что же это такое, где же задница-то?

А мне, веришь, штаны содрало начисто по самые голенища, как не было штанов... в голенищах еще что-то осталось, а сверху — ну ничего!.. — Он облизал ложку. — Федьке Чепареву тогда голову оторвало, — сообщил он. — Той же болванкой и оторвало...

Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру.

Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. Вырядилась, дура. Серьги свои гигантские нацепила, декольте, намазалась опять, как шлюха... Шлюха и есть... Не мог он на нее смотреть, ну ее к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в голос, стягивала с него обмоченные трусы, а он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках и опять плакал — от жалости к себе и от бессилия... И конечно же пьяна, опять пьяна, каждый божий день она пьяна, и сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка...

— Врач этот... — сказал дядя Юра задумчиво. — Ну, лысый этот, который сейчас приходил, — где это я его видел?

— Очень может быть, у нас и видели, — сказала Сельма, улыбаясь обольстительно. — Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей?

— Кровельщиком, — мрачно сказал Андрей.

Она напропалую спала с этим лысым доктором, весь дом знал. Он и не скрывался особенно. Да и никто не скрывался, впрочем.

— Как так — кровельщиком? — поразился Стась, не донеся ложку до усов.

— А вот так, — сказал Андрей. — Крыши кроет, баб кроет... — Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять двух пачек не хватало.

— Баб-то ладно... — ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей. — Крыши-то как? А ежели он сорвется? Врач ведь...

— А они вечно что-нибудь в Городе придумают, — ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище, но спохватился и положил ее на стол. — Это как у нас в Тимофеевке, сразу после войны, прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего...

Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку.

— Да, — сказала она. — Д-да... Нет, он болен, не может подойти...

— Дай сюда трубку, — сказал Андрей.

— Это из газеты, — сказала Сельма шепотом, прикрывши микрофон ладонью.

Андрей протянул руку.

— Дай трубку! — повторил он, повысив голос. — И не имей привычки за других расписываться!

Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы — тоже.

— Воронин слушает, — сказал Андрей.

— Андрей? — Это был Кэнси. — Куда ты провалился? Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот.

— Почему — фашистский? — ошеломленно спросил Андрей.

— Ты придешь в редакцию? Или ты правда болен?

— Приду, конечно, приду, — сказал Андрей. — Ты объясни...

— У нас списки, — торопливо проговорил Кэнси. — Спецкоры и все такое прочее... Архивы...

— Понял, — сказал Андрей. — Только почему ты думаешь, что фашистский?

— Я не думаю, я знаю, — нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей стиснул зубы, закряхтел.

— Подожди, — сказал он с раздражением. — Не

пори горячку... — Он лихорадочно соображал. — Ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу.

— Давай, — сказал Кэнси. — Только осторожнее на улицах.

Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам.

— Ребята, — сказал он, — ехать надо. Подвезете до редакции?

— Отчего же, подвезем... — отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола, на ходу заклеивая козью ножку. — Давай-ка, Стась, вставай, нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут.

— Да, — сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь. — Ерунда какая-то получается. Всю головку вроде бы сняли, всех поперевешали, а солнца все равно ни хрена нет... Еж твою двадцать, куда это я машинку свою сунул?..

Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец-автомат, дядя Юра, попыхивая козьей ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник, и Андрей тоже было поднялся одеваться, но натолкнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная и очень решительная.

— Я с тобой! — заявила она тем самым особен-

ным наглым высоким голосом, которым обычно затевала свару.

— Пусти, — сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой.

— Я тебя никуда не пущу, — сказала Сельма. — Или ты берешь меня с собой, или ты остаешься дома!

— Уйди с дороги! — заорал Андрей, срываясь. — Тебя только там не хватало, дура!

— Не пу-щу! — сказала Сельма с ненавистью.

Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился.

— Извини, — сказал он сквозь зубы.

— Не пущу... — повторила Сельма совсем тихо.

Дядя Юра пару раз кашлянул и сказал как бы в сторону:

— Вообще-то в такое время женщине одной в квартире... нехорошо, пожалуй...

— Это точно, — подхватил Стась. — Нехорошо сейчас одной, а с нами никто не тронет, мы — фермеры...

А Андрей все стоял перед Сельмой и смотрел на нее. Он пытался хоть сейчас и хоть что-нибудь

понять в этой женщине и, как всегда, ничего не понимал. Она была шлюха, шлюха природная, шлюха божьей милостью — это он понимал. Это он понял давно. Она любила его, полюбила с первого же дня — это он тоже знал, и знал, что это нисколько ей не мешает. И одной в квартире остаться сейчас ей было все равно что плюнуть, она вообще никогда ничего не боялась. Это тоже ему было прекрасно известно. Все в отдельности о себе и о ней он знал и понимал, а вот все вместе...

— Ладно, — сказал он. — Одевайся.

— Ребра-то болят? — осведомился дядя Юра, стремясь увести разговор куда-нибудь подальше в сторону.

— Ничего, — буркнул Андрей. — Терпеть можно. Перетопчемся.

Стараясь ни с кем не встречаться глазами, он сунул в карман сигареты, спички и остановился перед буфетом, где в самом дальнем углу под грудой салфеток и полотенец лежал у него пистолет Дональда. Брать или не брать? Он представил себе разные сцены и обстоятельства, в которых пистолет мог бы пригодиться, и решил не брать. Ну его к черту, обойдусь как-нибудь. Воевать я, во всяком случае, ни с кем не собираюсь...

— Ну, пошли, что ли? — сказал Стась.

Он уже стоял у двери и осторожно продевал перебинтованную голову в ремень автомата. Сельма стояла рядом с ним в длинном своем грубом свитере, который она натянула прямо поверх декольте. На руке у нее был плащ.

— Пошли, — скомандовал дядя Юра, громыхнув об пол прикладом пулемета.

— Серьги сними, — буркнул Андрей Сельме и вышел на лестницу.

Они стали спускаться. На лестничных площадках шушукались в темноте жильцы, испуганно замолкали и сторонились, различив вооруженных людей. Кто-то сказал: «Это Воронин...» — и сейчас же окликнул:

— Господин редактор, вы не скажете, что в городе происходит?

Андрей не успел ничего ответить, потому что на спрашивающего зашикали со всех сторон, а кто-то зловещим шепотом проговорил: «Не видишь, дурак, повели человека!..» Сельма истерически хихикнула.

Они вышли во двор, погрузились в телегу, и Сельма накинула на плечи Андрея плащ. Дядя Юра вдруг сказал: «Тихо!» — и все стали прислушиваться.

— Палят где-то, — негромко сказал Стась.

— Длинными очередями, — добавил дядя Юра. — Не жалеют боеприпаса... И где они его берут? Десяток патронов — пол-литра самогонки, а он — во как чешет... Н-но! — заорал он. — Застоялась!

Телега с грохотом вкатилась под арку. На ступенях дворницкой стоял с метлой и совком маленький Ван.

— Гляди-ка — Ваня! — воскликнул дядя Юра. — Тпр-р-р! Здорово, Ваня! Ты что здесь, а?

— Подметаю, — отозвался Ван, улыбаясь. — Здравствуйте.

— Брось, брось подметать! — сказал дядя Юра. — Что ты, в самом деле! Поехали с нами, мы тебя министром, понимаешь, сделаем, в чесуче ходить будешь, на «Победе» раскатывать!

Ван вежливо засмеялся.

— Ладно, дядя Юра, — нетерпеливо сказал Андрей. — Поехали, поехали!..

У него сильно болел бок, в телеге сидеть было неудобно, и он уже жалел, что не пошел пешком. Незаметно для себя он привалился к Сельме.

— Ну ладно, Ваня, не хочешь — не надо, — решил дядя Юра. — Но насчет министра — приготовься! Причешись, понимаешь, шею помой... — Он взмахнул вожжами. — Н-но!

С грохотом выкатились на Главную.

— А чья это телега, не знаешь? — спросил вдруг Стась.

— Хрен его знает, — отозвался дядя Юра, не оборачиваясь. — Лошадь вроде бы этого крохобора... ну, по-над самым обрывом живет, рыжий такой, конопатый... канадец, что ли...

— Ну? — сказал Стась. — Во матерится, наверное.

— Нет, — сказал дядя Юра. — Убили его.

— Ну? — сказал Стась и замолчал.

Главная улица была пуста и затянута тяжелым ночным туманом, хотя по часам было пять пополудни. Впереди туман имел красноватый оттенок и беспокойно мерцал. Время от времени там ярко вспыхивали пятна белого света — то ли прожектора, то ли мощные фары, — и оттуда, глухо сквозь туман, перекрывая иногда грохот колес и перестук копыт, доносилась пальба. Что-то там происходило.

В домах по сторонам улицы многие окна были освещены, однако большей частью только в верхних этажах, выше второго. Очередей возле запертых магазинов и лавок не было, но Андрей заметил, что в некоторых подворотнях и подъездах стоит народ — осторожно выглядывают,

снова прячутся, а самые отчаянные выходят на тротуар и смотрят туда, где мерцает и трещит в тумане. Кое-где на мостовой неподвижно лежали какие-то словно бы темные мешки. Андрей не сразу понял, что это, и только через некоторое время с удивлением убедился, что это мертвые павианы. В скверике возле темной школы паслась одинокая лошадь.

Телега грохотала и тряслась, все молчали. Сельма тихонько нащупала руку Андрея, и он, отдавшись боли и усталости, совсем привалился к ее теплому свитеру и закрыл глаза. Плохо мне, думал он. Ох и плохо... Что это Кэнси там горячку порет, какой там еще фашистский переворот?.. Просто остервенели все от страха, от злости, от безнадежности... Эксперимент есть Эксперимент...

Тут вдруг телегу дернуло, и сквозь грохот колес послышался такой дикий и пронзительный визг, что Андрей тут же очнулся, мгновенно весь покрывшись потом, выпрямился и очумело завертел головой.

Дядя Юра ожесточенно матерился, изо всех сил натягивая вожжи, чтобы удержать лошадь, рвущуюся куда-то вбок, а слева по тротуару, испуская нечеловеческие и в то же время совсем человече-

ские, полные боли и ужаса визги, неслось что-то горящее, какой-то комок пламени, оставляя за собой брызги огня, и прежде, чем Андрей успел опомниться, понять, Стась ловко соскочил с телеги и от живота, в две коротких очереди срезал из автомата этот живой факел — только стекла зазвенели в какой-то витрине. Огненный комок, кувыркаясь, прокатился по тротуару, жалобно пискнул в последний раз и замер.

— Отмучился, бедняга, — сказал Стась хрипло, и Андрей наконец понял, что это был павиан, горящий павиан. Чушь какая-то... Теперь он лежал, свесившись с тротуара, продолжая медленно гореть, и тяжелый смрад распространялся от него по улице.

Дядя Юра снова тронул лошадь, телега покатилась, и Стась пошел рядом, положив руку на дощатый борт. Андрей, вытягивая шею, смотрел вперед, в мерцающий, сделавшийся очень светлым и розовым туман. Да, что-то там происходило, что-то совершенно непонятное — какой-то вой доносился оттуда, стрельба, рокот моторов, и время от времени яркие малиновые вспышки возникали там и сейчас же гасли.

— Слышь, Стась, — сказал вдруг дядя Юра, не оборачиваясь. — Сбегай-ка, браток, вперед, глянь,

что там делается. А я за тобой потихонечку-полегонечку...

— Ладно, — сказал Стась и, взяв свой чудо-автомат под мышку, трусцой побежал вперед, держась стены дома. Очень скоро его не стало видно в мерцающем тумане, а дядя Юра все придерживал и придерживал лошадь, пока она совсем не остановилась.

— Сядь поудобнее, — шепнула Сельма.

Андрей дернул плечом.

— Да ничего такого не было, — продолжала шептать Сельма. — Это же управляющий был, он по всем квартирам ходил, спрашивал, не прячет ли кто оружие...

— Замолчи, — сказал Андрей сквозь зубы.

— Честное слово, — шептала Сельма. — Он же только на одну минутку зашел, он уже уходить собирался...

— Так без штанов и собирался? — холодно осведомился Андрей, отчаянно пытаясь отогнать отвратительное воспоминание: он, обессиленно вися на дяде Юре и Стасе, смотрит в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглазого коротышку, воровато запахивающего халат, из-под которого виднеются фланелевые кальсоны. И отвратительно невинное, пьяное лицо Сельмы

из-за плеча коротышки. И как выражение невинности сменяется на этом лице испугом, а потом — отчаянием.

— Но он же так и ходил по квартирам — в халате! — шептала Сельма.

— Слушай, заткнись, — сказал Андрей. — Заткнись, ради бога. Я тебе не муж, ты мне не жена, какое мне до всего этого дело?..

— Но я же тебя люблю, хороший мой! — шептала Сельма с отчаянием. — Только одного тебя...

Дядя Юра гулко закашлялся.

— Едет кто-то, — произнес он.

В тумане впереди возник огромный темный силуэт, надвинулся, приближаясь, вспыхнули фары — это был грузовик, мощный самосвал. Клокоча мотором, он остановился шагах в двадцати от телеги. Послышался крикливый голос, подающий команды, какие-то люди полезли через борта и понуро разбрелись по мостовой. Хлопнула дверца, еще одна темная фигура отделилась от грузовика, постояла немного, а потом неторопливо направилась прямо к телеге.

— Сюда идет, — сообщил дядя Юра. — Ты, это, Андрей... ты в разговоры не ввязывайся. Я говорить буду.

Человек подошел к телеге. Это был, видимо, так

называемый милиционер в кургузом пальтишке с белыми повязками на рукавах. На плече у него, дулом вниз, висела винтовка.

— А, фермеры, — сказал милиционер. — Здорово, ребята.

— Здорово, если не шутишь, — откликнулся дядя Юра, помолчав.

Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности, потом сказал стеснительно:

— Хлебца на продажу нету?

— Хлебца тебе, — сказал дядя Юра.

— Ну, может, мясо есть, картошечка...

— Картошки тебе, — сказал дядя Юра.

Милиционер совсем застеснялся, шмыгнул носом, вздохнул, посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг с каким-то облегчением заорал: «Да вон, вон еще валяется! Задницы слепые! Вон горелое лежит!», после чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопыми ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается, а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала.

— Картошки ему, — ворчал дядя Юра. — Мяса!..

Грузовик тронулся и проехал мимо, совсем рядом. От него ужасно понесло паленой шерстью и горелым мясом. Ковш был загружен доверху, жуткие скрюченные силуэты проплыли на фоне слабо освещенной стены дома, и вдруг Андрей почувствовал, что у него мороз пошел по коже: из этой жуткой груды, явственно белея, торчала человеческая рука с растопыренными пальцами. Понурые люди в ковше, хватаясь друг за друга и за борта, толпились возле кабины. Их было человек пять-шесть, какие-то приличного вида люди в шляпах.

— Похоронная команда, — сказал дядя Юра. — Это правильно. Сейчас их на свалку, и — вася-кот... Эге, а вон и Стась нам машет! Н-но!

В освещенном тумане впереди виднелась длинная нескладная фигура Стася. Когда телега поравнялась с ним, дядя Юра вдруг наклонился с передка, вглядываясь, и почти с испугом спросил:

— Ты что это, браток? Что это с тобой?

Стась, не отвечая, попытался вспрыгнуть на телегу боком, сорвался, громко скрипнул зубами, потом взялся обеими руками за борт и принялся что-то бормотать сдавленным голосом.

— Что он? — спросила Сельма шепотом.

Телега медленно катилась туда, где все громче рокотали моторы и хлопали выстрелы, а Стась, держась руками за телегу, шел рядом, словно не в силах взобраться, пока дядя Юра, наклонившись, не втащил его на передок.

— Да ты что? — в голос, громко спросил дядя Юра. — Ехать-то можно? Да говори ты толком, что ты болбочешь?

— Матерь божья, — сказал Стась ясным голосом. — Да зачем же они это делают? Это кто же такое приказал?

— Тпр-р-р! — сказал дядя Юра на весь город.

— Нет, ты ехай, ехай, — сказал Стась. — Ехать можно. Смотреть только не надо... Пани, — он повернулся к Сельме, — вам смотреть совсем не надо, отвернитесь, вон туда смотрите... а лучше вообще не смотрите.

У Андрея перехватило горло, он поглядел на Сельму и увидел ее расширенные, на все лицо глаза.

— Давай, Юра, давай... — бормотал Стась. — Да гони ты ее, стерву, что ты плетешься! Быстро ехай! — заорал он. — Вскачь! Вскачь!..

Лошадь помчалась вскачь, дома слева кончились, туман вдруг отступил, рассеялся, и открылся Павианий бульвар — источник шума,

несомненно, находился здесь. Шеренга грузовиков с двигателями, работающими вхолостую, охватывала бульвар полукольцом. В грузовиках и между грузовиками стояли люди с белыми повязками, а по бульвару среди горящих деревьев и кустов бегали с воплями и визгами люди в полосатых пижамах и совершенно обезумевшие павианы. Все они спотыкались, падали, карабкались на деревья, срывались с ветвей, пытались спрятаться в кустах, а люди с белыми повязками стреляли, не переставая, из винтовок и пулеметов. Множество неподвижных тел усеивало бульвар, некоторые дымились и тлели. С одного из грузовиков с длинным шипением излилась огненная струя, клубящаяся черным дымом, и еще одно дерево, облепленное черными гроздьями обезьян, вспыхнуло огромным факелом. И кто-то завопил нестерпимо высоким фальцетом, перекрывая все шумы: «Я здоровый! Это ошибка! Я нормальный! Это ошибка!..»

Все это, трясясь и подпрыгивая, отдаваясь острой болью в ребрах, опалив жаром и обдав вонью, оглушив и ударив по глазам, пронеслось мимо и через минуту осталось позади, мерцающий туман вновь сомкнулся, но дядя Юра еще долго гнал лошадь, отчаянно гикая и размахи-

вая вожжами. Это черт знает что, тупо твердил про себя Андрей, обессиленно привалившись к Сельме. Это же черт знает что такое! Они же сумасшедшие, они ополоумели от крови... Безумцы овладели Городом, кровавые безумцы овладели, теперь всему конец, они же не остановятся, они же потом возьмутся за нас...

Телега вдруг остановилась.

— Ну нет, — сказал дядя Юра, поворачиваясь всем телом. — Это дело надо того... — Он пошарил в телеге среди мешков, достал большую бутылку, зубами вытащил пробку, сплюнул и принялся глотать прямо из горлышка. Потом он передал бутылку Стасю, вытер рот и сказал: — Истребляете, значит... Эксперимент... Ладно. — Он достал из нагрудного кармана свернутую газету, аккуратно оторвал угол и полез за табаком. — Круто берете. Ох, круто! Крутенько!..

Стась протянул бутылку Андрею, Андрей помотал головой. Сельма взяла бутылку, отхлебнула два раза и вернула Стасю. Все молчали. Дядя Юра дымил и трещал цигаркой, бурчал горлом, как огромный пес, потом вдруг повернулся и разобрал вожжи.

До поворота на Стульчаковый оставался всего один квартал, когда туман впереди снова озарил-

ся светом и послышался нестройный шум многих голосов. На перекрестке, прямо посредине улицы, освещенная прожекторными лампами, кишела, гудела и колыхалась огромная толпа. Перекресток был забит, проехать было невозможно.

— Митинг какой-то, — сказал дядя Юра, обернувшись.

— Это уж как водится, — уныло согласился Стась. — Если уж взялись расстреливать, значит, тут же и митинги... Объехать никак нельзя?

— Погоди, браток, а зачем нам объезжать? — сказал дядя Юра. — Надо послушать, что люди говорят. Может, насчет солнца чего скажут... Гляди, здесь наших полно.

Гул затих, и над толпой, усиленный микрофонами, раздался надсадный яростный голос:

— ...И еще раз повторяю: беспощадно! Мы очистим Город!.. от грязи!.. от нечисти!.. от всех и всяческих тунеядцев!.. Воров — на фонарь!..

— А-а-а! — проревела толпа.

— Взяточников — на фонарь!..

— А-а-а!

— Кто выступает против народа, будет висеть на фонаре!

— А-а-а!

Теперь Андрей разглядел говорившего. В самом

центре толпы возвышался клепаный борт какой-то военной машины, а над бортом, вцепившись в него обеими руками, озаренный голубым светом прожектора, качался взад-вперед всем своим длинным, затянутым в черное туловищем и разевал в крике запекшийся рот бывший унтер-офицер вермахта, а ныне руководитель партии Радикального возрождения Фридрих Гейгер.

— И это будет только начало! Мы установим в Городе наш, истинно народный, истинно человеческий порядок! Нам нет дела до всяких там Экспериментов! Мы не морские свинки! Мы не кролики! Мы — люди! Наше оружие — разум и совесть! Мы никому не позволим! Распоряжаться нашей судьбой! Мы сами распорядимся нашей судьбой! Судьба народа — в руках народа! Судьба людей — в руках людей! Народ доверил свою судьбу мне! Свои права! Свое будущее! И я клянусь! Я оправдаю это доверие!..

— А-а-а!

— Я буду беспощаден! Во имя народа! Я буду жесток! Во имя народа! Я не допущу никакой розни! Хватит борьбы между людьми! Никаких коммунистов! Никаких социалистов! Никаких капиталистов! Никаких фашистов! Хватит бороться друг с другом! Будем бороться друг *за*

друга!..

— А-а-а!

— Никаких партий! Никаких национальностей! Никаких классов! Каждого, кто проповедует рознь, — на фонарь!

— А-а-а!

— Если бедные будут продолжать драться против богатых! Если коммунисты будут продолжать драться против капиталистов! Если черные будут продолжать драться против белых! Нас растопчут! Нас уничтожат!.. Но если мы! Встанем плечом к плечу! Сжимая в руках оружие! Или отбойный молоток! Или рукоятки плуга! Тогда не найдется такой силы, которая могла бы нас сокрушить! Наше оружие — единство! Наше оружие — правда! Какой бы тяжелой она ни была! Да, нас заманили в ловушку! Но, клянусь богом, зверь слишком велик для этой ловушки!..

— А! — рявкнула было толпа и ошеломленно смолкла. Вспыхнуло солнце.

Впервые за двенадцать дней вспыхнуло солнце, запылало золотым диском на своем обычном месте, ослепило, обожгло серые выцветшие лица, нестерпимо засверкало в стеклах окон, оживило и зажгло миллионы красок — и черные дымы над дальними крышами, и пожухлую зелень

деревьев, и красный кирпич под обвалившейся штукатуркой...

Толпа дико взревела, и Андрей завопил вместе со всеми. Творилось что-то невообразимое. Летели в воздух шапки, люди обнимались, плакали, кто-то принялся палить в воздух, кто-то в диком восторге швырял кирпичами в прожектора, а Фриц Гейгер, возвышаясь над всем этим, как Господь Бог, сказавший «да будет свет», длинной черной рукой указывал на солнце, выкатив глаза и гордо задрав подбородок. Потом голос его снова возник над толпой.

— Вы видите?! Они уже испугались! Они дрожат перед вами! Перед нами! Поздно, господа! Поздно! Вы снова хотите захлопнуть ловушку? Но люди уже вырвались из нее! Никакой пощады врагам человечества! Спекулянтам! Тунеядцам! Расхитителям народного добра! Солнце снова с нами! Мы вырвали его из черных лап! Врагов человечества! И мы больше никогда! Не отдадим его! Никогда! И никому!..

— А-а-а!

Андрей опомнился. Стася в телеге не было. Дядя Юра, широко расставив ноги, стоял на передке, потрясал пулеметом и, судя по налившемуся кровью затылку, тоже ревел нечленораздельное.

Сельма плакала, колотя Андрея кулачками по спине.

Ловко, холодно подумал Андрей. Тем хуже для нас. Чего я тут сижу? Мне бежать надо, а я сижу... Преодолевая боль в боку, он поднялся и выпрыгнул из телеги. Вокруг ревела и шевелилась толпа. Андрей полез напролом. Первое время он еще берегся, пытался защититься локтями, да разве в такой каше убережешься!.. Покрытый потом от боли и подступающей тошноты, он лез, толкался, наступал на ноги, даже бодался и наконец выбрался-таки в Стульчаковый переулок. И все это время вдогонку ему гремел голос Гейгера:

— Ненависть! Ненависть поведет нас! Хватит фальшивой любви! Хватит иудиных поцелуев! Предателей человечества! Я сам подаю пример святой ненависти! Я взорвал броневик кровавых жандармов! У вас на глазах! Я приказал повесить воров и гангстеров! У вас на глазах! Я железной метлой выметаю нечисть и нелюдей из нашего Города! У вас на глазах! Я не жалел себя! И я получил священное право не жалеть других!..

Андрей ткнулся в подъезд редакции. Дверь была заперта. Он злобно ударил в нее ногой, задребезжали стекла. Он принялся стучать изо всех сил, шепча ужасные ругательства. Дверь

отворилась. На пороге стоял Наставник.

— Входи, — сказал он, посторонившись.

Андрей вошел. Наставник запер за ним дверь на засов и повернулся. Лицо у него было мучнисто-бледное, с темными кругами под глазами, и он то и дело облизывал губы. У Андрея сжалось сердце — никогда раньше он не видел Наставника в таком подавленном состоянии.

— Неужели все так плохо? — спросил Андрей упавшим голосом.

— Да уж... — Наставник бледно улыбнулся. — Уж чего тут хорошего.

— А солнце? — сказал Андрей. — Зачем вы его выключали?

Наставник стиснул руки и прошелся взад-вперед по вестибюлю.

— Да не выключали мы его! — проговорил он с тоской. — Авария. Вне всякого плана. Никто не ожидал.

— Никто не ожидал... — повторил Андрей с горечью. Он стянул плащ и бросил его на пыльный диван. — Если б не выключилось солнце, ничего бы этого не было...

— Эксперимент вышел из-под контроля, — пробормотал Наставник, отвернувшись.

— Вышел из-под контроля... — снова повторил

Андрей. — Вот уж никогда не думал, что Эксперимент может выйти из-под контроля.

Наставник посмотрел на него исподлобья.

— Н-ну... В известном смысле ты прав... Можно смотреть на это и таким образом... Вышедший из-под контроля Эксперимент — это тоже Эксперимент. Возможно, кое-что придется несколько изменить... заново откорректировать. Так что ретроспективно — ретроспективно! — эта тьма египетская будет рассматриваться уже как неотъемлемая, запрограммированная часть Эксперимента.

— Ретроспективно... — еще раз повторил Андрей. Глухая злоба охватила его. — А что вы теперь прикажете делать нам? Спасаться?

— Да. Спасаться. И спасать.

— Кого спасать?

— Всех, кого можно спасти. Все, что еще можно спасти. Ведь не может же быть, чтобы некого и нечего было спасать!

— Мы будем спасаться, а Фриц Гейгер будет проводить Эксперимент?

— Эксперимент остался Экспериментом, — возразил Наставник.

— Ну да, — сказал Андрей. — От павианов до Фрица Гейгера.

— Да. До Фрица Гейгера, и через Фрица Гейгера, и невзирая на Фрица Гейгера. Не пускать же из-за Фрица Гейгера пулю в лоб! Эксперимент должен продолжаться... Жизнь ведь продолжается, несмотря ни на какого Фрица Гейгера. Если ты разочаровался в Эксперименте, то подумай о борьбе за жизнь...

— О борьбе за существование, — криво усмехнувшись, проговорил Андрей. — Какая уж теперь жизнь!

— Это будет зависеть от вас.

— А от вас?

— От нас мало что зависит. Вас много, вы все здесь решаете, а не мы.

— Раньше вы говорили по-другому, — сказал Андрей.

— Раньше и ты был другой! — возразил Наставник. — И тоже говорил по-другому!

— Боюсь, что я свалял дурака, — медленно проговорил Андрей. — Боюсь, что я был просто глуп.

— Боишься ты не только этого, — с каким-то лукавством заметил Наставник.

У Андрея замерло сердце, как это бывает, когда падаешь во сне. И он грубо сказал:

— Да, боюсь. Всего боюсь. Пуганая ворона. Вас когда-нибудь били сапогом в промежность?..

— Новая мысль пришла ему в голову. — Да вы ведь и сами побаиваетесь? А?

— Конечно! Я же говорю тебе, что Эксперимент вышел из-под контроля...

— Э, бросьте! Эксперимент, Эксперимент... Не в Эксперименте дело. Сначала павианов, потом — нас, а потом и вас, так ведь?..

Наставник ничего не ответил. Самое ужасное заключалось в том, что Наставник не сказал на это ни слова. Андрей все ждал, но Наставник только молча бродил по вестибюлю, бессмысленно передвигал с места на место кресла, стирал рукавом пыль со столиков и даже не глядел на Андрея.

В дверь постучали — сначала кулаком, а потом сразу стали бить ногой. Андрей отодвинул засов — перед ним стояла Сельма.

— Ты меня бросил! — сказала она возмущенно. — Я еле пробилась!

Андрей стесненно оглянулся. Наставник исчез.

— Извини, — проговорил Андрей. — Мне было не до тебя.

Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущения беззащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов.

Глава третья

Редакция была пуста. Видимо, сотрудники разбежались, когда началась пальба около мэрии. Андрей проходил по комнатам, равнодушно оглядывая разбросанные бумаги, опрокинутые стулья, неопрятную посуду с остатками бутербродов и чашки с остатками кофе. Из глубины редакции доносилась громкая бравурная музыка, это было странно. Сельма тащилась следом, держа его за рукав. Она все говорила что-то, что-то сварливое, но Андрей ее не слушал. Зачем я сюда приперся, думал он. Все же удрали, дружно, как один, и правильно сделали, сидел бы сейчас дома, лежал бы в постели, гладил бы свой несчастный бок и дремал, и наплевать на все...

Он вошел в отдел городской хроники и увидел Изю.

Сначала он не понял, что это Изя. За дальним, в углу, столом, согнувшись над раскрытой подшивкой, стоял, упираясь широко расставленными руками, неряшливо, ступеньками остриженный посторонний человек в подозрительной серой хламиде без пуговиц, и только через мгновение, когда человек этот вдруг знакомо осклабился и

принялся знакомым жестом щипать себя за бородавку на шее, Андрей понял, что перед ним Изя.

Некоторое время Андрей стоял в дверях и смотрел на него. Изя не слышал, как он вошел. Изя вообще ничего не слышал и не замечал — во-первых, он читал, а во-вторых, прямо у него над головой висел репродуктор, и оттуда неслись громовые бряцания победного марша. Потом Сельма ужасно завопила: «Да ведь это же Изя!» — и ринулась вперед, оттолкнув Андрея.

Изя быстро поднял голову и, осклабившись еще шире, распахнул руки.

— Ага! — заорал он радостно. — Явились!..

Пока он обнимался с Сельмой, пока звучно и с аппетитом чмокал ее в щеки и в губы, пока Сельма вопила что-то неразборчивое и восторженное и ерошила его уродливые волосы, Андрей приблизился к ним, стараясь побороть в себе острую мучительную неловкость. Режущее чувство вины и предательства, которое едва не свалило его с ног в то утро в подвале, за последний год притупилось и почти забылось, но сейчас снова пронзило его, и он, приблизившись, несколько секунд колебался, прежде чем рискнул протянуть руку. Он нашел бы совершенно естественным, если бы Изя не заметил этой его руки или даже

сказал бы что-нибудь презрительное и уничтожающее — сам он наверняка поступил бы именно так. Но Изя, освободившись от объятий Сельмы, с жаром схватил его руку, пожал и с огромным интересом спросил:

— Где это тебя так разукрасили?

— Побили, — кратко ответил Андрей. Изя поразил его. Хотелось очень много ему сказать, но он спросил только: — А ты откуда здесь взялся?

Вместо ответа Изя перебросил несколько страниц подшивки и, преувеличенно жестикулируя, прочел с пафосом:

— «...Никакими доводами разума невозможно объяснить ту ярость, с которой правительственная пресса нападает на партию Радикального возрождения. Но если мы вспомним, что именно эрвисты — эта крошечная молодая организация — наиболее бескомпромиссно выступают против каждого случая коррупции...»

— Брось, — сморщившись сказал Андрей, но Изя только повысил голос:

— «...беззакония, административной глупости и беспомощности; если мы вспомним, что именно эрвисты подняли «дело вдовы Баттон»; если мы вспомним, что эрвисты первыми предупредили правительство о бесперспективности болотного

налога...» Белинский! Писарев! Плеханов! Ты сам это сочинил или твои идиотики?

— Ладно, ладно... — сказал Андрей, уже раздражаясь, и попытался отнять у Изи подшивку.

— Нет, погоди! — кричал Изя, грозя пальцем и таща подшивку к себе. — Вот тут еще один перл!.. Где это? Вот. «Наш Город богат честными людьми, как и всякий город, населенный тружениками. Однако если говорить о политических группировках, то разве что лишь Фридрих Гейгер может сейчас претендовать на высокое звание...»

— Хватит! — заорал Андрей, но Изя вырвал у него подшивку, забежал за ликующую Сельму и, шипя и брызгаясь, продолжал оттуда:

— «...Не будем говорить о речах, будем говорить о делах! Фридрих Гейгер отказался от поста министра информации; Фридрих Гейгер голосовал против закона, предусматривающего крупные льготы для заслуженных деятелей прокуратуры; Фридрих Гейгер был единственным видным деятелем, возражавшим против создания регулярной армии, в которой ему предлагалась высокая должность...» — Изя зашвырнул подшивку под стол и принялся потирать руки. — Ты всегда был потрясающим ослом в политике! Но за эти последние месяцы ты поглупел просто ка-

тастрофически. Поделом тебе начистили чайник! Глаз-то хоть цел?

— Глаз цел, — медленно сказал Андрей. Он только сейчас заметил, что Изя как-то неловко двигает левой рукой и три пальца на этой руке у него не сгибаются вовсе.

— Да выключи ты его к чертовой матери! — заорал Кэнси, появляясь в дверях. — А, Андрей, ты уже здесь... Это хорошо. Здравствуй, Сельма! — Он стремительно пересек комнату и вырвал вилку репродуктора из розетки.

— Зачем? — закричал Изя. — Я хочу слышать речи моих вождей! Пусть гремят боевые марши!..

Кэнси только бешено глянул на него.

— Андрей, пойдем, я тебе расскажу, что мы сделали, — сказал он. — И нужно подумать, что делать дальше.

Лицо и руки его были покрыты копотью. Он устремился вглубь редакции, и Андрей пошел за ним. Только сейчас он почувствовал, что в помещениях основательно попахивает горелой бумагой. Изя с Сельмой шли позади.

— Всеобщая амнистия! — шипя и булькая, повествовал Изя. — Великий вождь открыл двери узилищ! Ему понадобилось место для других заключенных... — Он заухал и застонал. — Всех

уголовников выпустили до единого, а я ведь, как известно, уголовник! Даже бессрочников выпустили...

— Худой стал, — говорила Сельма с жалостью. — Все на тебе висит, облезлый ты сделался какой-то...

— Так ведь последние дни — три дня — ни жрать не давали, ни умываться...

— Так ты, наверное, есть хочешь?

— Да нет, ни черта, я тут нажрался...

Они вошли в кабинет Андрея. Здесь стояла ужасающая жара. Солнце било прямо в стекла, и жарко пылал камин. Перед камином сидела на корточках шлюшка-секретарша, тоже чумазая, как и Кэнси, и старательно ворочала кочергой в груде горящей бумаги. Все в кабинете было покрыто копотью и черными клочьями бумажного пепла.

Увидев Андрея, секретарша вскочила и улыбнулась ему испуганно и заискивающе. Вот уж не ожидал, что она останется, подумал Андрей. Он сел за свой стол и виновато, через силу, покивал ей и улыбнулся в ответ.

— ...Списки всех спецкоров, списки и адреса членов редколлегии, — деловито перечислял Кэнси. — Оригиналы всех политических статей,

оригиналы еженедельных обзоров...

— Статьи Дюпена надо сжечь, — сказал Андрей. — Он у нас был главный антиэрвист, по-моему...

— Уже сжег, — нетерпеливо сказал Кэнси. — И Дюпена, и на всякий случай Филимонова...

— Что вы суетитесь? — сказал Изя весело. — Да ведь вас на руках носить будут!

— Это как сказать, — мрачно проговорил Андрей.

— Да чего там «как сказать»? Хочешь пари? На сто щелбанов!

— Да подожди, Изя! — сказал Кэнси. — Заткнись ты, ради бога, хоть на десять минут!.. Всю переписку с мэрией я уничтожил, а переписку с Гейгером пока оставил...

— Протоколы редколлегии! — спохватился Андрей. — За прошлый месяц...

Он торопливо полез в нижний ящик стола, достал папку и протянул ее Кэнси. Тот, скривившись, перебросил несколько листков.

— Да-а-а... — сказал он, качая головой. — Это я забыл... Вот как раз выступление Дюпена... — Он шагнул к камину и швырнул папку в огонь. — Перемешивайте, перемешивайте! — раздраженно приказал он секретарше, которая слушала начальство, приоткрывши рот.

В дверях появился заведующий отделом писем, потный и очень возбужденный. На руках перед собой он тащил кипу каких-то папок, прижимая их сверху подбородком.

— Вот... — пропыхтел он, с грохотом сваливая кипу возле камина. — Тут какие-то социологические опросы, я даже разбираться не стал... Вижу — фамилии, адреса... Господи, шеф, что с вами?

— Привет, Денни, — сказал Андрей. — Спасибо, что вы остались.

— Глаз цел? — спросил Денни, вытирая со лба пот.

— Цел, цел... — успокоил его Изя. — Вы все не то уничтожаете, — объявил он. — Вас ведь никто не тронет: вы — желтоватая оппозиционная либеральная газетка. Вы просто перестанете быть оппозиционными и либеральными...

— Изя, — сказал Кэнси. — Я тебя в последний раз прошу: перестань трепаться, иначе я тебя выкину вон.

— Да не треплюсь я! — сказал Изя с досадой. — Дай кончить! Вы письма, письма уничтожайте! Вам же писали, наверное, умные люди...

Кэнси воззрился на него.

— Ч-черт! — прошипел он и выскочил из кабинета. Денни устремился следом, продолжая на

ходу вытирать лицо и шею.

— Ничего не понимаете! — сказал Изя. — Вы же тут все — кретины. А опасность грозит только умным людям.

— Что кретины — то кретины... — сказал Андрей. — Это ты прав.

— Ага! Умнеешь! — воскликнул Изя, размахивая искалеченной рукой. — Зря. Это опасно! Вот в этом-то и заключается вся трагедия. Сейчас очень много людей поумнеет, но поумнеет недостаточно. Они не успеют понять, что сейчас надо как раз притворяться дурачком...

Андрей посмотрел на Сельму. Сельма глядела на Изю с восторгом. И секретарша тоже глядела на Изю с восторгом. А Изя стоял, расставив ноги в тюремных башмаках, небритый, грязный, расхлюстанный, рубашка из штанов вылезла, на ширинке не хватало пуговиц, — стоял во всей своей красе, такой же, как всегда, нисколечко не изменившийся, — и разглагольствовал, и поучал. Андрей вылез из-за стола, подошел к камину, присел рядом с секретаршей и, отобрав у нее кочергу, принялся ворошить и перекапывать неохотно горящую бумагу.

— ...А поэтому, — поучал Изя, — уничтожать надо вовсе не просто те бумаги, где ругают на-

шего вождя. Ругать тоже можно по-разному. Уничтожать же надо бумаги, написанные умными людьми!..

В кабинет просунулся Кэнси и крикнул:

— Слушайте, помог бы кто-нибудь... Девочки, что вы здесь зря околачиваетесь, а ну идите за мной!

Секретарша сейчас же вскочила и, на ходу поправляя перекрутившуюся юбчонку, выбежала вон. Сельма постояла, словно ожидая, что ее остановят, потом вдавила окурок в пепельницу и тоже вышла.

— ...А вас никто не тронет! — продолжал разглагольствовать Изя, ничего не видя и не слыша, как глухарь на току. — Вас еще поблагодарят, подбросят вам бумаги, чтобы вы повысили тираж, повысят вам оклады и расширят штат... И только потом, если вам вздумается вдруг брыкаться, только тогда вас возьмут за штаны и уж тут несомненно припомнят вам все — и вашего Дюпена, и вашего Филимонова, и все ваши либерально-оппозиционные бредни... Но только зачем вам брыкаться? Вы и не подумаете брыкаться, наоборот!..

— Изя, — сказал Андрей, глядя в огонь. — Почему ты тогда не сказал мне, что у тебя было в

папке?

— Что?.. В какой папке?.. Ах, в той...

Изя вдруг как-то сразу притих, подошел к камину и присел рядом с Андреем на корточки. Некоторое время они молчали. Потом Андрей сказал:

— Конечно, я был тогда ослом. Полнейшим болваном. Но ведь сплетником-то и трепачом я уж никак не был. Это уж ты должен был тогда понять...

— Во-первых, ты не был болваном, — сказал Изя. — Ты был хуже. Ты был оболваненный. С тобой ведь по-человечески разговаривать было нельзя. Я знаю, я ведь и сам долгое время был таким... А потом — при чем тут сплетни? Такие вещи, согласись, простым гражданам знать ни к чему. Этак все, к чертовой матери, вразнос может пойти...

— Что? — сказал Андрей растерянно. — Из-за твоих любовных записочек?..

— Каких любовных записочек?

Некоторое время они изумленно глядели друг другу в глаза. Потом Изя осклабился:

— Господи, ну конечно же... С чего это я взял, что он тебе все это расскажет? Зачем это ему — рассказывать? Он же у нас орел, вождь! Кто

владеет информацией, тот владеет миром, — это он хорошо у меня усвоил!..

— Ничего не понимаю, — пробормотал Андрей почти с отчаянием. Он чувствовал, что сейчас узнает еще что-то мерзкое об этом и без того мерзком деле. — О чем ты говоришь? Кто — он? Гейгер?

— Гейгер, Гейгер, — покивал Изя. — Наш великий Фриц... Значит, любовные записочки были у меня в папке? Или, может быть, компрометирующие фотографии? Ревнивая вдова и бабник Кацман... Правильно, такой протокол я тоже им подписал...

Изя, кряхтя, поднялся и принялся ходить по кабинету, потирая руки и хихикая.

— Да, — сказал Андрей. — Так он мне и сказал. Ревнивая вдова. Значит, это было вранье?

— Ну конечно, а ты как думал?

— Я поверил, — сказал Андрей коротко. Он стиснул зубы и с остервенением заворочал кочергой в камине. — А что там было на самом деле? — спросил он.

Изя молчал. Андрей оглянулся. Изя стоял, медленно потирая руки, и с застывшей улыбкой глядел на него остекленевшими глазами.

— Интересно получается... — проговорил он

неуверенно. — Может, он просто забыл? То есть не то чтобы забыл... — Он вдруг сорвался с места и снова присел на корточки рядом с Андреем. — Слушай, я тебе ничего не скажу, понял? И если тебя спросят, то так и отвечай: ничего не сказал, отказался. Сказал только, что дело касается одной большой тайны Эксперимента, сказал, что опасно эту тайну знать. И еще показал несколько запечатанных конвертов и, подмигивая, объяснил, что конверты эти раздаст верным людям и что конверты эти будут вскрыты в случае его, Кацмана, ареста или, скажем, неожиданной кончины. Понимаешь? Имен верных людей не назвал. Вот так и скажешь, если спросят.

— Хорошо, — медленно сказал Андрей, глядя в огонь.

— Это будет правильно... — проговорил Изя, тоже глядя в огонь. — Только вот если тебя бить будут... Румер — это, знаешь, сволочь какая... — Его передернуло. — А может, и не спросит никто. Не знаю. Это все надо обдумать. Так, сразу, и не сообразишь.

Он замолчал. Андрей все размешивал жаркую, переливающуюся красными огоньками кучу, и через некоторое время Изя снова принялся подбрасывать в камин пачки бумаг.

— Сами папки не бросай, — сказал Андрей. — Видишь, плохо горят... А ты не боишься, что ту папку найдут?

— А чего мне бояться? — сказал Изя. — Это Гейгер пусть боится... Да и не найдут ее теперь, если сразу не нашли. Я ее в люк бросил, а потом все гадал: попал или промахнулся... А за что тебе вломили? Ты же, по-моему, с Фрицем в прекрасных отношениях...

— Это не Фриц, — сказал Андрей неохотно. — Просто не повезло.

В комнату с шумом ввалились женщины и Кэнси — они тащили на растянутом плаще целую груду писем. За ними, по-прежнему вытираясь, шел Денни.

— Ну, теперь, кажется, все, — сказал он. — Или вы еще тут что-нибудь придумали?

— Ну-ка, подвиньтесь! — потребовал Кэнси.

Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело. Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее осклабляясь, принялся жадно читать.

— Кто это сказал, что рукописи не горят? — отдуваясь, проговорил Денни. Он уселся за стол и

закурил сигарету. — Прекрасно горят, по-моему... Ну и жара. Окна открыть, что ли?

Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая: «Забыла, совсем забыла!..»

— Как ее зовут? — торопливо спросил Андрей у Кэнси.

— Амалия! — буркнул Кэнси. — Сто раз тебе говорил... Слушай, я сейчас Дюпену позвонил...

— Ну?

Вернулась секретарша с охапкой блокнотов.

— Это всё — ваши распоряжения, шеф, — пропищала она. — Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь?

— Конечно, Амалия, — сказал Андрей. — Спасибо, что вспомнили. Сжигайте, Амалия, сжигайте... Так что Дюпен?

— Я хотел его предупредить, — сказал Кэнси, — что все в порядке, все следы уничтожены. А он страшно удивился, какие следы? Разве он что-нибудь такое писал? Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии, а сейчас работает над обзором: «Фридрих Гейгер и народ».

— Сука, — сказал Андрей вяло. — Впрочем, все мы суки...

— Говори за себя, когда говоришь такие вещи! — огрызнулся Кэнси.

— Ну, извини, — вяло сказал Андрей. — Ну, не все суки. Большинство.

Изя вдруг захихикал.

— Вот пожалуйста — умный человек! — провозгласил он, потрясая листочком. — «Совершенно очевидно, — процитировал он, — что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность...» Кто это пишет? — Он посмотрел на обороте. — А, ну еще бы!.. В огонь, в огонь! — Он скомкал листок и швырнул в камин.

— Слушай, Андрей, — сказал Кэнси. — Не пора ли подумать о будущем?

— А чего о нем думать, — проворчал Андрей, орудуя кочергой. — Проживем как-нибудь, перетопчемся...

— Я не о нашем будущем говорю! — сказал Кэнси. — Я говорю о будущем газеты, о будущем Эксперимента!..

Андрей посмотрел на него с удивлением. Кэнси был такой же, как всегда. Словно ничего не произошло. Словно ничего вообще не происходило

за последние тошные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно. Хоть сейчас в драку — во имя законности и идеалов. Как взведенный курок. А может быть, с ним действительно ничего не происходило?..

— Ты говорил со своим Наставником? — спросил Андрей.

— Говорил, — ответил Кэнси с вызовом.

— Ну и что? — спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда при разговоре о Наставниках.

— Это никого не касается и не имеет никакого значения. При чем здесь Наставники? У Гейгера тоже есть Наставник. У каждого бандита в Городе есть Наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой.

Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и, щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги.

— Надоело мне все, — сказал он тихо.

— Что тебе надоело?

— Да все... По-моему, бежать нам надо отсюда, Кэнси. Ну их всех к черту.

— Как это — бежать? Ты что это?

— Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болота, к дяде Юре, подальше от всего этого

кабака. Эксперимент вышел из-под контроля, мы с тобой вернуть его под контроль не можем, а значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие, у нас будет сила...

— Ни на какие болота я не поеду! — объявила вдруг Сельма.

— А тебе никто и не предлагает, — сказал Андрей, не оборачиваясь.

— Андрей, — сказал Кэнси. — Это же дезертирство.

— По-твоему — дезертирство, а по-моему — разумный маневр. И вообще как хочешь. Ты меня спросил, что я думаю о будущем, я тебе отвечаю: здесь мне делать нечего. Редакцию все равно разгонят, а нас пошлют дохлых павианов убирать. Под конвоем. И это еще в лучшем случае...

— А вот еще один умный человек! — провозгласил Изя с восхищением. — Слушайте: «Я — старый подписчик вашей газеты, и я, в общем и целом, одобряю ее курс. Но почему вы постоянно выступаете в защиту Ф. Гейгера? Может быть, вы недостаточно информированы? Я совершенно точно знаю, что Гейгер имеет досье на всех сколько-нибудь заметных лиц в Городе. Его люди пронизывают весь муниципальный аппарат. Вероятно, они есть и в вашей газете. Уверяю вас,

эрвистов совсем не так мало, как вы думаете. Мне известно, что у них есть и оружие...» — Изя посмотрел на оборот письма. — Ах, вот это кто... «Имени моего прошу не публиковать...» В огонь, в огонь!

— Можно подумать, что ты знаешь в городе всех умных людей, — сказал Андрей.

— Между прочим, их не так уж и много, — возразил Изя, снова запуская руку в бумажную кучу. — Я уж не говорю о том, что умные люди редко пишут в газеты.

Наступило молчание. Денни, накурившись всласть, тоже подобрался к камину и принялся бросать бумагу в огонь большими охапками.

— Ворочайте, ворочайте, шеф! — сказал он. — Больше жизни! Дайте-ка мне кочергу...

— По-моему, это просто трусость — удирать сейчас из города, — сказала Сельма с вызовом.

— Сейчас каждый честный человек на счету, — подхватил Кэнси. — Если мы уйдем, кто же останется? Дюпенам прикажешь отдать газету?

— Ты останешься, — сказал Андрей устало. — Сельму вот можешь взять в газету... или Изю...

— Ты же хорошо знаком с Гейгером, — прервал его Кэнси. — Ты мог бы использовать свое влияние...

— Нет у меня на него никакого влияния, — сказал Андрей. — А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю.

И снова все замолчали, только гудело пламя в каминной трубе.

— Хоть бы они ехали скорее, что ли, — проворчал Денни, бросая в огонь последнюю кипу писем. — Выпить хочется — сил нет, а выпить нечего...

— Они так сразу не приедут, — немедленно возразил Изя. — Они сначала позвонят! — Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету. — Вы этого, Денни, не знаете и не понимаете. Это ритуал! Процедура, отработанная в трех странах, отработанная до тонкости, проверенная... Девочки, а нет ли здесь чего-нибудь пожрать? — спросил он вдруг.

Тощая Амалия немедленно вскочила и с писком: «Сейчас, сейчас!..» исчезла в приемной.

— Кстати, — ни с того ни с сего вспомнил Андрей. — А где цензор?

— Он очень хотел остаться, — сказал Денни. — Но господин Убуката выпихнул его вон. Он ужасно кричал, этот цензор. «Куда я пойду? — кричал он. — Вы меня убиваете!» Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его.

Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и ушел... Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко...

Вернулась секретарша и, застенчиво улыбаясь бледными, без косметики, губами, вручила Изе бумажный промасленный пакет с какими-то пирожками.

— М-м! — вскричал Изя и сейчас же принялся чавкать.

— Ребра болят? — тихонько спросила Сельма, наклонившись к уху Андрея.

— Нет, — сказал Андрей коротко, поднялся и, отстранив ее, подошел к столу. И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил.

— Ну, Андрей! — нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей поднял трубку.

— Да.

— Редакция «Городской газеты»? — осведомился деловой голос.

— Да, — сказал Андрей.

— Господина Воронина попрошу.

— Я.

В трубку подышали, затем раздались гудки отбоя. С сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку.

— Это они, — сказал он.

Изя прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него — напряженно улыбающийся Денни, насупленный и взъерошенный Кэнси, жалкоиспуганная Амалия и бледная подобравшаяся Сельма. И Изя смотрел на него, жуя и осклабляясь, вытирая замасленные пальцы о полы куртки.

— Ну, чего вы уставились? — раздраженно сказал Андрей. — А ну, мотайте все отсюда.

Никто не двинулся с места.

— Чего ты волнуешься? — сказал Изя, рассматривая последний пирожок. — Все будет тихо-мирно, как говорит дядя Юра. Тихо-мирно, честно-благородно... Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами...

За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя, скрип тормозов, пронзительный голос скомандовал: «Кайзер, Величенко, за мной! Мирович, оставаться здесь!..» — и сейчас же в дверь внизу ударили кулаком.

— Я пойду открою, — сказал Денни, а Кэнси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груду дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате.

— Резких движений не делайте! — крикнул Изя

вслед Денни.

Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся, заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, встал посредине комнаты. Давешнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, послышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях. Словно их там целый батальон, мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и оперся задом о стол. Колени у него отвратительно дрожали. Бить не позволю, подумал он с отчаянием. Пусть лучше убивают. Пистолет я не взял... Зря не взял... А может, правильно, что не взял?..

В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним ввалились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он как зачарованный смотрел в одутловатое бледное лицо с расплывчатыми чертами и с маленькими

закисшими глазками. Конъюнктивит у него, что ли, подумалось где-то на самом краю сознания. И выбрит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный...

Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея.

— Господин Воронин? — с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом.

— Я, — с трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола.

— Главный редактор «Городской газеты»?

— Да.

Человек в берете умело, но небрежно откозырял двумя пальцами.

— Имею честь, господин Воронин, — высокопарно произнес он, — вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера!

Очевидно, он намеревался ловким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал — все было как-то не так. Не этого он ожидал. А

может быть, пронесет, мелькнуло у него в голове, но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль.

Наконец послание было извлечено, и человек в берете протянул его Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано: «Главному редактору «Городской газеты» Андрею Воронину лично, конфиденциально. Ф. Гейгер, президент». Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом.

«Милый Андрей! Прежде всего позволь от всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которые я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новая терминология и некоторые неизбежные эксцессы не смутят тебя: слова и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки — ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе

сотрудников по собственному выбору, расширяй штат, требуй новые типографские мощности — даю тебе полный карт-бланш. Податель сего письма — младший адъютор Раймонд Цвирик — назначен в твою газету политическим представителем моего управления информации. Мужик он, как ты сам убедишься, невеликого ума, но дело свое знает хорошо и, особенно на первых порах, поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращайся, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружески, твой Фриц».

Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды, потом опустил руку с письмом и огляделся. Опять все смотрели на него — бледные, решительные, напряженные. Только Изя сиял, как начищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адъютор (что бы это могло значить, черт побери, слово какое-то знакомое... адъютор, коадъютор... что-то из истории... или из «Трех мушкетеров»), младший адъютор Раймонд Цвирик тоже смотрел на него — смотрел строго, но покровительственно. А у дверей переминались с ноги на ногу и опять же

смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на рукавах.

— Так... — проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал, с чего начать.

Тогда начал младший адъютор:

— Это ваши сотрудники, господин Воронин? — деловито осведомился он, слегка поведя рукой из стороны в сторону.

— Да, — сказал Андрей.

— Гм... — с сомнением произнес господин Раймонд Цвирик, глядя в упор на Изю, но тут Кэнси вдруг резко спросил его:

— А кто вы, собственно, такой?

Господин Раймонд Цвирик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся.

— Господа, — проговорил он. — Позвольте вам представить: господин Цвирик, младший коадъютор...

— Адъютор! — с негодованием поправил Цвирик.

— Что?.. Ах да, адъютор. Не коадъютор, а просто адъютор... (Сельма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладонью.) Младший адъютор, политический представитель в нашей

газете. Отныне.

— Представитель чего? — непримиримо спросил Кэнси.

Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил:

— Политический представитель управления информации!

— Ваши документы! — резко сказал Кэнси.

— Что?! — Закисшие глазки господина Цвирика возмущенно замигали.

— Документы, полномочия — есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры?

— Кто это?! — пронзительно вскричал господин Цвирик, снова поворачиваясь к Андрею. — Кто этот человек?!

— Это господин Кэнси Убуката, — торопливо сказал Андрей. — Заместитель главного редактора... Кэнси, не надо никаких полномочий. Он же передал мне письмо от Фрица...

— Какого еще Фрица? — сказал Кэнси брезгливо. — При чем здесь какой-то Фриц?

— Резких движений! — воззвал Изя. — Умоляю вас, не делайте резких движений!

Цвирик вертел головой между Изей и Кэнси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым.

— Я вижу, господин Воронин, — произнес он наконец, — ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня!.. Или наоборот! — Он все возвышал голос. — Представляют, но в каком-то странном, извращенном свете! Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь Город, весь наш народ...

— А это кто? — перебил его Кэнси, указывая на типов с карабинами. — Это что, новые сотрудники?

— Представьте себе — да! Господин *бывший* заместитель главного редактора! Это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они...

— Это мы еще посмотрим, — незнакомым скрипучим голосом произнес Кэнси и шагнул к Цвирику. — На каком основании...

— Кэнси! — сказал Андрей беспомощно.

— На каком основании вы здесь испаряетесь? — продолжал Кэнси, не обращая на Андрея никакого внимания. — Кто вы такой? Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления!..

— Заткнись, желтожопый! — дико завопил

вдруг Цвирик, хватаясь за кобуру.

Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед Цвириком оказалась Сельма.

— Как ты смеешь выражаться при женщинах, сволочь! — заорала она. — Зараза ты толстожопая! Бандюга!

Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и Цвирик, и Кэнси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины наизготовку, а возле них вдруг оказался Денни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным сиденьем, но страшнее и невероятнее всех была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие на осунувшемся, как у мертвой, лице, крадучись подбиралась к Цвирику, занося над своим правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу... «Я тебя, сук-киного сына, запомнил! — неистово кричал Кэнси. — Ты деньги для школ разворовывал, стервец, а теперь в коадъюторы вылез?!» — «Я вас всех с дерьмом смешаю! Дерьмо у меня будете жрать! Враги человечества!..» — «Молчи, б...ская харя! Молчи, пока цел!..» — «Резких движений! Умоляю!..» Андрей,

как зачарованный, не в силах пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал, он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, и это ужасное уже не остановить.

— На фонарь вас! — налившись кровью, дико вопил младший адъютор, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гамом и шумом он успел как-то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал, и тут Кэнси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул выстрел и сразу же другой и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга, и все замерли.

Цвирик один стоял посредине кабинета, лицо его из багрового быстро делалось серым. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях, одинаково разинув рты, стояли с опущенными карабинами.

— Я не хотел... — дребезжащим голосом произнес Цвирик.

Громко ударился об пол выпавший из руки Денни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кэнси, который как-то

странно, медленно-медленно, закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди.

— Я не хотел... — повторял Цвирик плачущим голосом. — Видит бог, я не хотел!..

Ноги у Кэнси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы и, издавши невнятный мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу.

И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся, грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные с топотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним, а потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал:

— Он мертвый... Убит...

Грянул телефонный звонок. Ничего не соображая, Андрей, как во сне, протянул руку и взял трубку.

— Андрей? Андрей! — Это был Отто Фрижа. — Ты жив-здоров? Слава богу, я так за тебя беспокоился! Ну, теперь все будет хорошо. Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст...

Он говорил еще что-то — про колбасу, про масло, — Андрей больше его не слушал.

Сельма, сидя на корточках и обхватив голову

руками, плакала навзрыд, а младший адъютор Раймонд Цвирик, размазывая по серым щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм:

— Я не хотел... Клянусь богом, я не хотел...

Часть четвертая. Господин советник

Глава первая

Вода лилась тепловатая и гнусная на вкус. Воронка душа была расположена неестественно высоко, рукой не достать, и вялые струи поливали все что угодно, только не то, что нужно. Сток, по обыкновению, забило, и под ногами поверх решетки хлюпало. И вообще было отвратительно, что приходится ждать. Андрей прислушался: в раздевалке все еще бубнили и галдели. Кажется, поминалось его имя. Андрей скривился и принялся двигать спиной, стараясь поймать струю на хребет, — поскользнулся, схватился за шершавую бетонную стенку, выругался вполголоса. Черт бы их всех драл, могли бы все-таки догадаться — устроить отдельную душевую для правительственных сотрудников. Торчи тут теперь, как корень...

На двери перед самым носом было нацарапано: «Посмотри направо», Андрей машинально посмотрел направо. Там было нацарапано: «Посмотри назад». Андрей спохватился. Знаем, знаем, в школе еще учили, сами писали... Он выключил воду. В раздевалке было тихо. Тогда он осторожно приоткрыл дверь и выглянул. Слава

богу, ушли...

Он вышел, ковыляя по грязноватому кафелю и брезгливо поджимая пальцы, и направился к своей одежде. Краем глаза он уловил какое-то движение в углу, покосился и обнаружил чьи-то заросшие черным волосом тощие ягодицы. Так и есть, обычная картина: стоит голый коленками на скамейке и глазеет в щель, где женская раздевалка. Аж закоченел весь от внимательности.

Андрей взял полотенце и стал вытираться. Полотенце было дешевенькое, казенное, пропахшее карболкой, воду оно не то чтобы впитывало, а как бы размазывало по коже.

Голый все глазел. Поза у него была неестественная, как у висельника, — дыру в стене провертел, видимо, подросток, низко и неудобно. Потом ему там смотреть стало, вероятно, не на что. Он шумно перевел дух, сел, спустив ноги, и увидел Андрея.

— Оделась, — сообщил он. — Красивая женщина.

Андрей промолчал. Он натянул брюки и принялся обуваться.

— Опять мозоль сорвал — пожалуйста... — снова сообщил голый, рассматривая свою ладонь. — Который раз уже. — Он развернул полотенце

и с сомнением оглядел его с обеих сторон. — Я вот чего не понимаю, — продолжал он, вытирая голову. — Неужели нельзя сюда экскаватор пригнать? Ведь всех нас можно одним-единственным экскаватором заменить. Ковыряемся лопатами, как эти...

Андрей пожал плечами и проворчал что-то, самому себе непонятное.

— А? — спросил голый, выставляя ухо из полотенца.

— Я говорю, экскаваторов всего два в Городе, — сказал Андрей раздраженно. На правом ботинке лопнул шнурок, и уйти от разговора было теперь невозможно.

— Вот я и говорю — пригнали бы один сюда! — возразил голый, энергично растирая свою цыплячью волосатую грудку. — А то — лопатами... Лопатой, если угодно, надо уметь работать, а откуда, спрашиваю я, нам уметь, если мы из горплана?

— Экскаваторы нужны в другом месте, — проворчал Андрей. Проклятый шнурок никак не завязывался.

— В каком же это другом? — немедленно прицепился голый из горплана. — У нас же здесь, как я понимаю, Великая Стройка. А где же тогда

экскаваторы? На Величайшей, что ли? Не слыхал про такую.

На черта ты мне сдался с тобой спорить, подумал Андрей злобно. И чего я, в самом деле, с ним спорю? Соглашаться с ним надо, а не спорить. Поддакнул бы ему пару раз, он бы и отвязался... Нет, не отвязался бы он все равно, о голых бабах бы принялся рассуждать — как ему полезно на них любоваться. Недотыкомка.

— Что вы ноете, в самом деле? — сказал он, выпрямляясь. — Всего-то час в сутки просят вас поработать, а вы уже разнылись, будто вам карандаш в задний проход завинчивают... Мозоль он, видите ли, сорвал! Травма производственная...

Голый человек из горплана ошеломленно смотрел на него, приоткрыв рот. Тощий, волосатый, с подагрическими коленками, с косым брюшком...

— Ведь для себя же! — продолжал Андрей, с ожесточением затягивая галстук. — Ведь не на дядю — на себя самого просят поработать! Нет, опять они недовольны, опять им все неладно. До Поворота, небось, дерьмо возил, а теперь в горплане служит, а все-таки ноет...

Он надел пиджак и принялся скатывать комбинезон. И тут человек из горплана подал наконец голос.

— Позвольте, сударь! — вскричал он обиженно. — Да я же совсем не в том смысле! Я только имел в виду рациональность, эффективность... Странно даже! Я, если угодно, сам мэрию брал!.. Я и говорю вам, что если это Великая Стройка, то все самое лучшее и должно быть сюда... И вы на меня не извольте кричать!..

— А-а, разговаривать тут с вами... — сказал Андрей и, на ходу заворачивая комбинезон в газету, пошел из раздевалки.

Сельма уже ждала его, сидя на скамеечке поодаль. Она задумчиво курила, глядя в сторону котлована, привычно положив ногу на ногу, — свежая и розовая после душа. Андрея неприятно кольнуло, что этот волосатый недоносок, очень может быть, пускал слюни и глазел в щель именно на нее. Он подошел, остановился рядом и положил ладонь ей на прохладную шею.

— Пойдем?

Она подняла на него глаза, улыбнулась и потерлась щекой о его руку.

— Давай докурим, — предложила она.

— Давай, — согласился он, сел и тоже закурил.

В котловане копошились сотни людей, летела земля с лопат, вспыхивало солнце на отточенном железе. Груженные грунтом подводы вереницей

тянулись по противоположному склону, у штабелей бетонных плит скапливалась очередная смена. Ветер крутил красноватую пыль, доносил обрывки маршей из репродукторов, установленных на цементных столбах, раскачивал огромные фанерные щиты с выцветшими лозунгами: «Гейгер сказал: надо! Город ответил: сделаем!», «Великая Стройка — удар по нелюдям!», «Эксперимент — над экспериментаторами!».

— Отто обещал — сегодня ковры будут, — сказала Сельма.

— Это хорошо, — обрадовался Андрей. — Бери самый большой. Положим в гостиной на полу.

— Я хотела тебе в кабинет. На стену. Помнишь, я еще в прошлом году говорила, как только мы въехали?..

— В кабинет? — задумчиво произнес Андрей. Он представил себе свой кабинет, ковер и оружие. Это выглядело. — Правильно, — сказал он. — Оч хор. Давай в кабинет.

— Только Румеру обязательно позвони, — сказала Сельма. — Пусть даст человека.

— Сама позвони, — сказал Андрей. — Мне некогда будет... А впрочем, ладно, позвоню. Куда тебе его прислать? Домой?

— Нет, прямо на базу. Ты к обеду будешь?

— Буду, наверное. Между прочим, Изя давно напрашивается зайти.

— Ну и очень хорошо! Сегодня же на вечер и зови. Сто лет мы уже не собирались. И Вана надо позвать, вместе с Мэйлинь...

— Умгу, — сказал Андрей. Насчет Вана он как-то не подумал. — А кроме Изи ты из наших кого-нибудь собираешься позвать? — спросил он осторожно.

— Из наших? Полковника можно позвать... — нерешительно проговорила Сельма. — Он славный... Вообще, если кого-нибудь и звать сегодня из наших, то в первую очередь Дольфюсов. Мы у них уже два раза были, неудобно.

— Если бы без жены... — сказал Андрей.

— Без жены невозможно.

— Знаешь что, — сказал Андрей, — ты им пока не звони, а вечером посмотрим. — Ему было совершенно ясно, что Ван и Дольфюсы никак не сочетаются. — Может, лучше Чачуа позовем?

— Гениально! — сказала Сельма. — Мы его на Дольфюсиху напустим. Всем будет хорошо. — Она бросила окурок. — Пошли?

Из котлована, направляясь к душевой, потянулась, пыля, очередная толпа Великих Строителей — потных, громогласных, регочущих работяг с

Литейного.

— Пошли, — сказал Андрей.

По заплеванной песчаной аллейке между двумя рядами жиденьких свежепосаженных липок они вышли на автобусную остановку, где еще стояли два битком набитых облупленных автобуса. Андрей поглядел на часы: до отправления автобусов оставалось семь минут. Из переднего автобуса раскрасневшиеся бабы выпихивали какого-то пьяного. Пьяный хрипло орал, и бабы тоже орали высокими истеричными голосами.

— С хамами поедем или пешком? — спросил Андрей.

— А у тебя время есть?

— Есть. Пошли, над обрывом пройдемся. Там попрохладней.

Сельма взяла его под руку, они свернули налево, в тень старого пятиэтажного дома, обстроенного лесами, и по мощенной булыжником улочке направились к обрыву.

Район был здесь глухой, заброшенный. Пустые ободранные домишки стояли вкривь и вкось, мостовые проросли травой. До Поворота и сразу после в этих местах было небезопасно появляться не только ночью, но и днем — кругом здесь были притоны, малины, хавиры, сели-

лись здесь самогонщики, скупщики краденого, профессиональные охотники за золотом, проститутки-наводчицы и прочая сволочь. Потом за них взялись: одних выловили и отправили в поселения на болотах — батрачить у фермеров, других — мелкую шпану — просто разогнали кого куда, кое-кого в суматохе поставили к стенке, а все, что нашлось здесь ценного, реквизировали в пользу города. Кварталы опустели. Попервоначалу еще ходили здесь патрули, потом их сняли за ненадобностью, а в самое последнее время было всенародно объявлено, что трущобы эти подлежат сносу, а на их месте, вдоль всего обрыва в пределах городской черты, будет разбита парковая полоса — развлекательно-прогулочный комплекс.

Сельма и Андрей обогнули последнюю развалюху и пошли вдоль обрыва по колено в высокой сочной траве. Здесь было прохладно — из пропасти накатывал волнами влажный холодный воздух. Сельма чихнула, и Андрей обнял ее за плечи. Гранитный парапет еще не дотянули до этих мест, и Андрей инстинктивно старался держаться подальше от края обрыва — шагах в пяти-шести.

Над обрывом каждый человек чувствовал себя

странно. Причем у всех, по-видимому, возникало здесь одинаковое ощущение, будто мир, если глядеть на него отсюда, явственно делится на две равные половины. К западу — неоглядная сине-зеленая пустота — не море, не небо даже — именно пустота синевато-зеленоватого цвета. Сине-зеленое Ничто. К востоку — неоглядная, вертикально вздымающаяся желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся Город. Желтая Стена. Желтая абсолютная Твердь.

Бесконечная Пустота к западу и бесконечная Твердь к востоку. Понять эти две бесконечности не представлялось никакой возможности. Можно было только привыкнуть. Те, кто привыкнуть не мог или не умел, на обрыв старались не ходить, а поэтому здесь редко кого можно было встретить. Сейчас сюда выходили разве что влюбленные парочки, да и то, главным образом, по ночам. По ночам в пропасти что-то светилось слабым зеленоватым светом, будто там, в бездне, что-то тихо гнило из века в век. На фоне этого свечения черный лохматый край обрыва виден был прекрасно, а трава здесь всюду была на удивление высокая и мягкая...

— А вот когда мы построим дирижабли, — сказала вдруг Сельма, — мы тогда как — подниматься

будем вверх или опускаться в этот обрыв?

— Какие дирижабли? — рассеянно спросил Андрей.

— Как — какие? — удивилась Сельма, и Андрей спохватился.

— А, аэростаты! — сказал он. — Вниз. Вниз, конечно. В обрыв.

Среди большинства горожан, ежедневно отрабатывающих свой час на Великой Стройке, было распространено мнение, будто строится гигантский завод дирижаблей. Гейгер полагал, что такое мнение следует пока всячески поддерживать, ничего при этом, однако, прямо не утверждая.

— А почему вниз? — спросила Сельма.

— Ну, видишь ли... Мы пробовали поднимать воздушные шары — без людей, конечно. Что-то там с ними наверху происходит — они взрываются по непонятной причине. Выше километра еще ни один не поднялся.

— А что там, внизу, может быть? Как ты думаешь?

Андрей пожал плечами.

— Представления не имею.

— Эх ты, ученый! Господин советник.

Сельма подобрала в траве обломок какой-то старой доски с кривым ржавым гвоздем и швыр-

нула в пропасть.

— По кумполу там кому-нибудь, — сказала она.

— Не хулигань, — сказал Андрей миролюбиво.

— А я такая, — сказала Сельма. — Забыл?

Андрей посмотрел на нее сверху вниз.

— Нет, не забыл, — сказал он. — Хочешь, в траву завалю сейчас?

— Хочу, — сказала Сельма.

Андрей огляделся. На крыше ближайшей развалюхи, свесив ноги, курили двое каких-то в кепках. Тут же рядом, покосившись на груде мусора, стояла грубо сколоченная тренога с чугунной бабой на корявой цепи.

— Глазеют, — сказал он. — Жаль. Я бы тебе показал, госпожа советница.

— Давай вали ее, чего время теряешь! — пронзительно крикнули с крыши. — Лопух молодой!..

Андрей притворился, что не слышит.

— Ты сейчас прямо домой? — спросил он.

Сельма посмотрела на часы.

— В парикмахерскую надо зайти, — сказала она.

У Андрея вдруг появилось незнакомое будоражащее ощущение. Он вдруг как-то очень явственно осознал, что вот он — советник, ответственный работник личной канцелярии президента, ува-

жаемый человек, что у него есть жена, красивая женщина, и дом — богатый, полная чаша, — и что вот жена его идет сейчас в парикмахерскую, потому что вечером они будут принимать гостей, не пьянствовать беспорядочно, а держать солидный прием, и гости будут не кто-нибудь, а люди все солидные, значительные, нужные, самые нужные в Городе. Это было ощущение неожиданно осознанной зрелости, собственной значимости, ответственности, что ли. Он был взрослым человеком, вполне определившимся, самостоятельным, семейным. Он был зрелый мужчина, твердо стоящий на собственных ногах. Не хватало только детей — все остальное у него было как у настоящих взрослых...

— Здравия желаю, господин советник! — произнес почтительный голос.

Оказывается, они уже вышли из заброшенного квартала. Слева потянулся гранитный парапет, под ноги легли узорные бетонные плиты, справа и впереди поднялась белесая громада Стеклянного Дома, а на пути стоял, вытянувшись и приложив два пальца к козырьку форменной фуражки, молодой опрятный негр-полицейский в голубоватой форме внешней охраны.

Андрей рассеянно кивнул ему и сказал Сельме:

— Извини, ты что-то говорила, я задумался...

— Я говорю: не забудь позвонить Румеру. Мне ведь теперь человек понадобится не только для ковра. Вина надо принести, водки... Полковник любит виски, а Дольфюс — пиво... Я возьму, пожалуй, сразу ящик...

— Да! Пусть в сортире плафон сменят! — сказал Андрей. — А ты сделай мясо по-бургундски. Амалию тебе прислать?..

Они расстались у поперечной дорожки, ведущей к Стеклянному Дому. Сельма пошла дальше, а Андрей, проводив ее (с удовольствием) глазами, свернул и направился к западному подъезду.

Обширная, выложенная бетонными плитами площадь вокруг здания была пуста, лишь кое-где виднелись голубые мундиры охраны. Под густыми деревьями, окаймлявшими площадь, торчали, как всегда, зеваки из новичков — жадно ели глазами вместилище власти, — а пенсионеры с тросточками давали им пояснения.

У подъезда стоял уже драндулет Дольфюса, капот был, как всегда, поднят, из двигателя выпячивалась затянутая в сверкающий хром нижняя часть шофера. И тут же смердел грязный, прямо с болот, грузовик фермерского вида — над бортами неопрятно торчали красно-синие конечности

какой-то ободранной говядины. Над говядиной вились мухи. Хозяин грузовика, фермер, ругался в дверях с охраной. Ругались они, видимо, довольно давно: уже дежурный начальник охраны был здесь и трое полицейских, и еще двое неторопливо приближались, поднимаясь по широким ступеням с площади.

Фермер показался Андрею знакомым — длинный, как жердь, тощий мужик с обвисшими усами. От него пахло потом, бензином и перегаром. Андрей показал свой пропуск и прошел в вестибюль, успевши уловить, однако, что мужик требовал лично президента Гейгера, а охрана внушала ему, что здесь служебный вход и что ему, мужику, надлежит обогнуть здание и попытать счастья в бюро приемной. Голоса спорящих постепенно возвышались.

Андрей поднялся в лифте на пятый этаж и вступил в дверь, на которой красовалась черно-золотая надпись: «Личная канцелярия президента по вопросам науки и техники». Сидевшие у входа курьеры встали, когда он вошел, и одинаковым движением спрятали за спины дымящиеся окурки. Больше в белом широком коридоре никого не было видно, однако из-за дверей, совсем как когда-то в редакции, доносились телефонные

звонки, деловые диктующие голоса, треск пишущих машинок. Канцелярия работала на полном ходу. Андрей распахнул дверь с табличкой «Советник А. Воронин» и вступил в свою приемную.

Здесь тоже поднялись ему навстречу: толстый, вечно потеющий начальник геодезического сектора Кехада; апатичный, скорбный видом, белоглазый заведующий отделом кадров Варейкис; вертлявая стареющая тетка из финансового управления и какой-то незнакомый мальчишка спортивного вида — надо думать, новичок, ожидающий представления. А из-за своего столика с машинкой у окна проворно поднялась, улыбаясь ему, его личный секретарь Амалия.

— Здравствуйте, здравствуйте, господа, — громко сказал Андрей, изображая самую благодушную улыбку. — Прошу прощения! Проклятые автобусы набиты битком, пришлось пешкодралить от самой стройки...

Он принялся пожимать руки: потную лапищу Кехады, вялый плавник Варейкиса, горсть сухих костей финансовой тетки (Какого черта она ко мне приперлась? Что ей тут могло понадобиться?) и чугунную лопату насупившегося новичка.

— Я думаю, даму мы пропустим вперед... — говорил он. — Мадам, прошу вас... — Это финансовой

тетке. — Что-нибудь срочное есть? — Это вполголоса Амалии. — Благодарю вас... — Он взял протянутую телефонограмму и распахнул дверь в кабинет. — Прошу, мадам, прошу...

На ходу разворачивая телефонограмму, он прошел к столу, глядя в бумагу, показал тетке рукой на кресло, потом сел сам и положил телефонограмму перед собой.

— Слушаю вас.

Тетка затарахтела. Андрей, улыбаясь уголками губ, внимательно ее слушал, постукивая карандашиком по телефонограмме. Все было ему ясно с первых же слов.

— Простите, — прервал он ее через полторы минуты. — Я вас понял. Собственно, у нас не принято принимать людей по протекции. Однако в вашем случае мы, несомненно, имеем дело с неким исключением. Если ваша дочь действительно настолько интересуется космографией, что занималась ею самостоятельно, еще в школе... Позвоните, прошу вас, моему заведующему кадрами. Я поговорю с ним. — Он встал. — Несомненно, такие амбиции у молодежи надлежит всячески приветствовать и поощрять... — Он проводил ее до двери. — Это вполне в духе нового времени... Не благодарите меня, мадам, я просто

выполнил свой долг. Всего наилучшего...

Он вернулся к столу и перечитал телефонограмму: «Президент приглашает г-на советника Воронина в свой кабинет к 14.00». Все. По какому делу? Зачем? Что с собой иметь? Странно... Скорее всего, Фриц просто соскучился и хочет потрепаться. Четырнадцать ноль-ноль — это время обеденного перерыва. Значит, обедаем у президента... Он снял трубку внутреннего телефона.

— Амалия, давайте Кехаду.

Дверь отворилась, и вошел Кехада, ведя за собой за рукав спортивного юнца.

— Хочу представить вам, господин советник, — начал он прямо с порога, — вот этого молодого человека... Дуглас Кетчер... Он — новичок, прибыл всего месяц назад, и ему скучно сидеть на одном месте.

— Ну, — сказал Андрей, засмеявшись, — нам всем скучно сидеть на одном месте. Очень рад, Кетчер. Откуда вы родом? Из какого времени?

— Даллас, штат Техас, — неожиданно глубоким басом проговорил юнец, стеснительно улыбаясь. — Шестьдесят третий год.

— Что-нибудь кончали?

— Нормальный колледж. Потом много ходил с геологами. Разведка нефти.

— Отлично, — сказал Андрей. — Это то, что нам нужно. — Он поиграл карандашом. — Вы, возможно, не знаете этого, Кетчер, но у нас здесь принято спрашивать: почему? Вы бежали? Или вы искали приключений? Или вас заинтересовал Эксперимент?..

Дуглас Кетчер насупился, взял в кулак правой руки большой палец левой, посмотрел в окно.

— Можно сказать, что я бежал, — пробубнил он.

— У них там президента застрелили, — пояснил Кехада, утирая лицо платком. — Прямо у него в городе...

— Ах, вот как! — сказал Андрей понимающе. — Вы каким-то образом попали под подозрение?

Юнец замотал головой, а Кехада сказал:

— Нет, не в этом дело. Это длинная история. Они возлагали на этого президента большие надежды, он был у них кумиром... словом — психология.

— Проклятая страна, — изрек юнец. — Ничто им не поможет.

— Так-так, — сказал Андрей, сочувственно кивая. — Но вы знаете, что Эксперимент мы больше не признаем?

Юнец пожал могучими плечами.

— Мне это все равно. Мне здесь нравится. Толь-

ко я не люблю сидеть на одном месте. В городе мне скучновато. А мистер Кехада предложил мне пойти в экспедицию...

— Я хочу послать его для начала в группу Сона, — сказал Кехада. — Парень он крепкий, кое-какой опыт у него есть, а найти людей для работы в джунглях вы знаете, как трудно.

— Ну что ж, — сказал Андрей. — Я очень рад, Кетчер. Вы мне нравитесь. Надеюсь, так будет и впредь.

Кетчер неловко кивнул и поднялся. Кехада тоже встал, отдуваясь.

— Еще одно, — сказал Андрей, поднимая палец. — Хочу предупредить вас, Кетчер, Город и Стеклянный Дом заинтересованы в том, чтобы вы учились. Нам не нужны простые исполнители, их у нас хватает. Мы нуждаемся в подготовленных кадрах. Уверен, что из вас может получиться отличный инженер-нефтяник... Как у него с индексом, Кехада?

— Восемьдесят семь, — сказал Кехада, ухмыляясь.

— Ну, вот видите... У меня есть основания быть уверенным в вас.

— Постараюсь, — буркнул Дуглас Кетчер и посмотрел на Кехаду.

— У нас все, — сказал Кехада.

— У меня тоже все, — сказал Андрей. — Всего наилучшего... И запустите ко мне Варейкиса.

Как обычно, Варейкис не вошел, а вдвинулся в кабинет по частям, то и дело оглядываясь в щель приоткрытой двери. Потом он плотно закрыл дверь, неслышно подковылял к столу и сел. Скорбь на его лице обозначилась яснее, углы губ совсем опустились.

— Чтобы не забыть, — сказал Андрей. — Тут была эта баба из финансового управления...

— Знаю, — тихо сказал Варейкис. — Дочка.

— Да. Так вот, я не возражаю.

— К Кехаде, — не то спросил, не то приговорил Варейкис.

— Нет, думаю, лучше к расчетчикам.

— Хорошо, — сказал Варейкис и вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот. — Инструкция ноль-семнадцать, — сказал он совсем тихо.

— Да?

— Закончен очередной конкурс, — так же тихо сказал Варейкис. — Выявлено восемь сотрудников с индексом интеллигентности ниже положенных семидесяти пяти.

— Почему семидесяти пяти? По инструкции

предельный индекс шестьдесят семь.

— Согласно разъяснению личной канцелярии президента по кадрам, — губы Варейкиса едва шевелились, — предельный индекс интеллигентности для сотрудников личной канцелярии президента по науке и технике составляет семьдесят пять.

— Ах, вот как... — Андрей почесал темя. — Гм... Ну что ж, это логично.

— Кроме того, — продолжал Варейкис, — пятеро из этих восьми не дотягивают и до шестидесяти семи. Вот список.

Андрей взял список, просмотрел. Полузнакомые имена и фамилии, двое мужчин и шестеро женщин...

— Позвольте, — сказал он, нахмурившись. — Амалия Торн... Это же моя Амалия! Что еще за фокусы?

— Пятьдесят восемь, — сказал Варейкис.

— А в прошлый раз?

— В прошлый раз меня здесь еще не было.

— Она же секретарь! — сказал Андрей. — Мой. Мой личный секретарь!

Варейкис уныло молчал. Андрей еще раз проглядел список. Рашидов... Это, кажется, геодезист... Кто-то его хвалил. Или ругал?.. Татьяна Постник.

Оператор. А, это такая с кудряшками, милая такая мордашка, что-то у нее с Кехадой было... хотя нет, это другая...

— Ладно, — сказал он. — С этим я разберусь, и мы еще поговорим. Хорошо, если бы вы по своей линии запросили разъяснений по поводу таких должностей, как секретарша, оператор... по поводу вспомогательного персонала. Не можем же мы предъявлять к ним такие же требования, как к научным сотрудникам. В конце концов, у нас и курьеры числятся...

— Слушаю, — сказал Варейкис.

— Что-нибудь еще? — спросил Андрей.

— Да. Инструкция ноль-ноль-три.

Андрей сморщился.

— Не помню.

— Пропаганда Эксперимента.

— А, — сказал Андрей. — Ну?

— Имеют место систематические сигналы по поводу следующих лиц.

Варейкис положил перед Андреем еще один листок бумаги. В списке было всего три фамилии. Все мужчины. Все трое — начальники секторов. Основных. Космографии, социальной психологии и геодезии. Салливен, Бутц и Кехада. Андрей побарабанил пальцами по списку. Экая напасть,

подумал он. Опять двадцать пять за рыбу деньги. Впрочем, спокойствие. Не будем зарываться. Эту дубину все равно ничем не прошибешь, а мне с ним еще работать и работать...

— Неприятно, — произнес он. — Очень неприятно. Полагаю, информация проверена? Ошибок нет?

— Перекрестная и неоднократно подтвердившаяся информация, — бесцветным голосом сказал Варейкис. — Салливен утверждает, что Эксперимент над Городом продолжается. По его словам, Стеклянный Дом, пусть даже помимо своей воли, продолжает осуществлять линию Эксперимента. Утверждает, что Поворот есть всего лишь один из этапов Эксперимента...

Святые слова, подумал Андрей. Изя то же самое говорит, и Фрицу это очень не нравится. Только Изе разрешается, а Салливену, бедняге, нельзя.

— Кехада, — продолжал Варейкис. — При подчиненных восхищается научно-технической мощью гипотетических экспериментаторов. Принижает ценность деятельности президента и президентского совета. Дважды уподоблял эту деятельность мышиной возне в картонной коробке из-под обуви...

Андрей слушал, опустив глаза. Лицо он держал

каменным.

— Наконец, Бутц. Неприязненно отзывается лично о президенте. В нетрезвом виде назвал существующее политическое руководство диктатурой посредственности над кретинами.

Андрей не удержался — крякнул. Черт их за язык тянет, с раздражением подумал он, отталкивая от себя листок. Элита называется — сами себе на голову гадят...

— И все-то вы знаете, — сказал он Варейкису. — И все-то вам известно...

Не надо было этого говорить. Глупо. Варейкис, не мигая, скорбно глядел ему в лицо.

— Прекрасно работаете, Варейкис, — сказал Андрей. — Я за вами как за каменной стеной... Полагаю, эта информация, — он постучал ногтем по листку, — уже переправлена по обычным каналам?

— Будет переправлена сегодня, — сказал Варейкис. — Я был обязан предварительно поставить в известность вас.

— Прекрасно, — бодро сказал Андрей. — Переправляйте. — Он сколол булавкой оба листочка и положил их в синий бювар с надписью «На доклад президенту». — Посмотрим, что решит по этому поводу наш Румер...

— Поскольку информация такого рода поступает не впервые, — сказал Варейкис, — я полагаю, что господин Румер будет рекомендовать снять этих людей с ведущих постов.

Андрей посмотрел на Варейкиса, стараясь сфокусировать глаза где-то подальше за его спиной.

— Вчера я был на просмотре новой картины, — сказал он. — «Голые и боссы». Мы ее одобрили, так что скоро она пойдет широким экраном. Очень, очень советую вам ее посмотреть. Там, знаете ли, так...

Он принялся неторопливо и подробно излагать Варейкису содержание этой чудовищной пошлятины, которая, впрочем, действительно очень понравилась Фрицу, да и не ему одному. Варейкис молча слушал, время от времени кивая в самых неожиданных местах — как бы спохватываясь. Лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме уныния и скорби. Видно было, что он уже давно потерял нить и ничегошеньки не понимает. В самый кульминационный момент, когда до Варейкиса явно дошло, что ему придется выслушать все до самого конца, Андрей прервал себя, откровенно зевнул и сказал благодушно:

— Ну и так далее, в том же духе. Обязательно посмотрите... Кстати, какое впечатление произ-

вел на вас молодой Кетчер?

Варейкис заметно встрепенулся.

— Кетчер? Пока у меня такое впечатление, что с ним все в порядке.

— У меня тоже, — сказал Андрей. Он взялся за телефонную трубку. — У вас есть еще что-нибудь ко мне, Варейкис?

Варейкис поднялся.

— Нет, — сказал он. — Больше ничего. Разрешите идти?

Андрей благосклонно покивал ему и сказал в трубку:

— Амалия, кто там еще?

— Эллизауэр, господин советник.

— Какой еще Эллизауэр? — спросил Андрей, наблюдая, как Варейкис осторожно, по частям выдвигается из кабинета.

— Заместитель начальника транспортного отдела. По поводу темы «Аквамарин».

— Пусть подождет. Принесите почту.

Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей, покряхтывая, растирал себе бицепсы и шевелил поясницей, все приятно ныло после часа усердной работы с лопатой в руках, и он, как всегда, рассеянно думал, какая это, в сущности, хорошая зарядка для человека, веду-

щего по преимуществу сидячий образ жизни.

Амалия плотно прикрыла за собой дверь и, простучав по паркету высокими каблуками, остановилась рядом с ним, положив на стол папку с корреспонденцией. Он привычно обнял ее узкие твердые бедра, обтянутые прохладным шелком, похлопал по ляжке, а другой рукой открыл папку.

— Ну-с, что тут у нас? — бодро сказал он.

Амалия так и таяла у него под ладонью, она даже дышать перестала. Смешная девка и верная, как пес. И дело знает. Он посмотрел на нее снизу вверх. Как всегда в минуты ласки, лицо у нее сделалось бледное и испуганное, и когда глаза их встретились, она нерешительно положила узкую горячую ладонь ему на шею под ухом. Пальцы у нее дрожали.

— Ну что, малышка? — сказал он ласково. — Есть в этом хламе что-нибудь важное? Или мы с тобой сейчас запрем дверь и переменим позу?

Это у них было такое кодовое обозначение для развлечений в кресле и на ковре. Про Амалию он никогда не мог бы рассказать, какова она в постели. В постели он с ней ни разу не был.

— Тут проект финансовой сметы... — слабым голоском произнесла Амалия. — Потом всякие

заявления... Ну, и личные письма, я их не вскрывала.

— И правильно сделала, — сказал Андрей. — Вдруг там от какой-нибудь красотки...

Он отпустил ее, и она слабо вздохнула.

— Посиди, — сказал он. — Не уходи, я быстро.

Он взял первое попавшееся письмо, разорвал конверт, пробежал, сморщился. Оператор Евсеенко сообщал про своего непосредственного шефа Кехаду, что тот «допускает высказывания в адрес руководства и лично господина советника». Андрей знал этого Евсеенко хорошо. Странный на редкость был человек и на редкость невезучий — несчастный во всех своих начинаниях. В свое время он поразил воображение Андрея, когда хвалил военное время сорок второго года под Ленинградом. «Хорошо тогда было, — говорил он с какой-то даже мечтательностью в голосе. — Живешь, ни о чем не думаешь, а если чего надо — скажешь солдатам, они достанут...» Отвоевался он капитаном и за всю войну убил одного-единственного человека — собственного политрука. Они тогда выходили из окружения, Евсеенко увидел, что политрука взяли немцы и обшаривают ему карманы. Тогда он выпалил в них из-за кустов, убил политрука и убежал. Очень он себя

за этот поступок хвалил: они бы его запытали. Ну что с ним, дураком, делать? Шестой донос уже пишет. И ведь не Румеру пишет, не Варейкису, а мне. Забавнейший психологический выверт. Если написать Варейкису или Румеру, Кехаду привлекут. А я Кехаду не трону, все про него знаю, но не трону, потому что ценю и прощаю, это всем известно. Вот и получается, что и гражданский долг вроде бы выполнен, и человека не загубили... Экий урод все-таки, прости господи!..

Андрей смял письмо, выбросил в корзину и взял следующее. Почерк на конверте показался ему знакомым, очень характерный почерк. Обратного адреса не было. Внутри конверта оказался листок бумаги, текст был напечатан на машинке — копия, и не первая, — а внизу была приписка от руки. Андрей прочитал, ничего не понял, перечитал еще раз, похолодел и взглянул на часы. Потом сорвал трубку с белого телефона и набрал номер.

— Советника Румера, срочно! — гаркнул он не своим голосом.

— Советник Румер занят.

— Говорит советник Воронин! Я сказал — срочно!

— Простите, господин советник. Советник Ру-

мер у президента...

Андрей швырнул трубку и, отпихнув оторопевшую Амалию, бросился к двери. Уже схватившись за пластмассовую ручку, он понял, что поздно, все равно уже не успеть. Если все это правда, конечно. Если это не идиотский розыгрыш...

Он медленно подошел к окну, взялся за обшитый бархатом поручень и стал смотреть на площадь. Там было пусто, как всегда. Маячили голубые мундиры, в тени под деревьями торчали зеваки, старушка проковыляла, толкая перед собой детскую коляску. Проехал автомобиль. Андрей ждал, вцепившись в поручень.

Амалия подошла к нему сзади, тихонько коснулась плеча.

— Что случилось? — спросила она шепотом.

— Отойди, — сказал он, не оборачиваясь. — Сядь в кресло.

Амалия исчезла. Андрей снова поглядел на часы. На его часах уже прошла лишняя минута. Конечно, подумал он. Не может быть. Идиотский розыгрыш. Или шантаж... И в этот момент из-под деревьев появился и неторопливо двинулся через площадь какой-то человек. Он казался совсем маленьким с этой высоты и с этого расстояния, и Андрей не узнавал его. Он помнил, что тот был

худощавый и стройный, а этот выглядел грузным, разбухшим, и только в самую последнюю минуту до Андрея дошло — почему. Он зажмурился и попятился от окна.

На площади грохнуло — гулко и коротко. Дрогнули и задребезжали рамы, и сейчас же где-то внизу с раздражающим дребезгом посыпались стекла. Задавленно вскрикнула Амалия, а на площади внизу завопили истошными голосами...

Отстраняя одной рукой рвущуюся не то к нему, не то к окну Амалию, Андрей заставил себя открыть глаза и смотреть. Там, где был человек, стоял желтоватый столб дыма, и за дымом ничего не было видно. Со всех сторон к этому месту бежали голубые мундиры, а поодаль, под деревьями, быстро росла толпа. Все было кончено.

Андрей, не чувствуя ног, вернулся к столу, сел и снова взял письмо.

«Всем сильным ублюдочного мира сего!

Я ненавижу ложь, но правда ваша еще хуже лжи. Вы превратили Город в благоустроенный хлев, а граждан Города — в сытых свиней. Я не хочу быть сытой свиньей, но я не хочу быть и свинопасом, а третьего в вашем чавкающем мире не дано. В своей правоте вы самодовольны и бездарны, хотя когда-то многие из вас были на-

стоящими людьми. Есть среди вас и мои бывшие друзья, к ним я обращаюсь в первую очередь. Слова не действуют на вас, и я подкрепляю их своей смертью. Может быть, вам станет стыдно, может быть — страшно, а может быть — просто неуютно в вашем хлеву. Это все, на что мне осталось надеяться. Господь да покарает вашу скуку! Это не мои слова, но я под ними с восторгом подписываюсь — Денни Ли».

Все это было напечатано на машинке, под копирку, третья или даже четвертая копия. А ниже шла приписка от руки:

«Милый Воронин, прощай! Я взорвусь сегодня в тринадцать ноль-ноль на площади перед Стеклянным Домом. Если письмо не опоздает, можешь посмотреть, как это произойдет, но не надо мне мешать — будут только лишние жертвы. Твой бывший друг и заведующий отделом писем твоей бывшей газеты — Денни».

Андрей поднял глаза и увидел Амалию.

— Помнишь Денни? — сказал он. — Денни Ли, завписьмами...

Амалия молча кивнула, потом лицо ее вдруг словно скомкало ужасом.

— Не может быть! — сказала она хрипло. — Неправда...

— Взорвался... — сказал Андрей, с трудом шевеля губами. — Динамитом, наверное, обвязался. Под пиджаком.

— Зачем? — сказала Амалия. Она закусила губу, глаза ее налились слезами, слезы побежали по маленькому белому лицу, повисли на подбородке.

— Не понимаю, — сказал Андрей беспомощно. — Ничего не понимаю... — Он бессмысленно уставился в письмо. — Виделись же недавно... Ну, ругались, ну, спорили... — Он снова посмотрел на Амалию. — Может, он приходил ко мне на прием? Может, я его не принял?

Амалия, закрыв лицо руками, трясла головой.

И вдруг Андрей почувствовал злость. Даже не злость, а бешеное раздражение, какое испытал сегодня в раздевалке после душа. Какого дьявола! Какого еще им рожна?! Чего им не хватает, этой швали?.. Идиот! Что он этим доказал? Свиньей он не хочет быть, свинопасом он не хочет быть... Скучно ему! Ну и катись к такой матери со своей скукой!..

— Перестань реветь! — заорал он на Амалию. — Вытри сопли и ступай к себе.

Он отшвырнул от себя бумаги, вскочил и снова подошел к окну.

На площади чернела огромная толпа. В центре

этой толпы было пустое серое пространство, оцепленное голубыми мундирами, и там копошились люди в белых халатах. Карета «скорой помощи» надрывно завывала сиреной, пытаясь расчистить себе дорогу...

...Ну и что же ты все-таки доказал? Что не хочешь с нами жить? А зачем это было доказывать и кому? Что ненавидишь нас? Зря. Мы делаем все, что нужно. Мы не виноваты, что они свиньи. Они были свиньями и до нас, и после нас они останутся свиньями. Мы можем только накормить их и одеть, и избавить от животных страданий, а духовных страданий у них сроду не было и быть не может. Что мы — мало сделали для них? Посмотри, каким стал Город. Чистота, порядок, прошлого бардака и в помине нет, жратвы — вволю, тряпок — вволю, скоро и зрелищ будет вволю, дай только срок, — а что им еще нужно?.. А ты, ты что сделал? Вот отскребут сейчас санитары кишки твои от асфальта — вот и все твои дела... А нам работать и работать, целую махину ворочать, потому что все, чего мы пока добились, это только начало, это все еще нужно сохранить, милый мой, а сохранивши — приумножить... Потому что на Земле, может быть, и нет над людьми ни Бога, ни дьявола, а здесь — есть... Демократ ты вонючий,

народник-угодник, брат моих братьев...

Но перед глазами у него все стоял Денни, каким он был в последнюю их встречу, месяц или два назад, — усохший весь какой-то, замученный, словно больной, и тайный какой-то ужас прятался в его потухших печальных глазах, — и как он сказал в самом конце беспорядочного и бестолкового спора, уже поднявшись и бросив на серебряное блюдечко смятые бумажки: «Господи, ну чего ты расхвастался передо мной? Живот он кладет на алтарь... Для чего? Людей накормить от пуза! Да разве же это задача? В задрипанной Дании это уже умеют делать много лет. Ладно, пусть я не имею права, как ты выражаешься, распинаться от имени всех. Пусть не все, но мы-то с тобой точно знаем, что людям не это надо, что по-настоящему нового мира так не построишь!..» — «А как же, мать твою туда и сюда, его строить? Как?!» — заорал тогда Андрей, но Денни только махнул рукой и не стал больше разговаривать.

Зазвонил белый телефон. Андрей нехотя вернулся к столу и взял трубку.

— Андрей? Это Гейгер говорит.

— Здравствуй, Фриц.

— Ты его знал?

— Да.

— И что ты об этом думаешь?

— Истерик, — сказал Андрей сквозь зубы. — Слякоть.

Гейгер помолчал.

— Письмо ты получил от него?

— Да.

— Странный человек, — сказал Гейгер. — Ну ладно. Жду тебя к двум.

Андрей положил трубку, и телефон зазвонил снова. На этот раз звонила Сельма. Она была очень встревожена. Слух о взрыве уже докатился до Белого Двора, по дороге, разумеется, исказился до неузнаваемости, и теперь на Белом Дворе царила тихая паника.

— Да цело, цело все, — сказал Андрей. — И я цел, и Гейгер цел, и Стеклянный Дом цел... Ты Румеру звонила?

— Какой, к черту, Румер? — возмутилась Сельма. — Я без памяти из салона прибежала — Дольфюсиха туда ворвалась, вся белая, штукатурка сыплется, и вопит, что на Гейгера было покушение и полдома снесло...

— Ну ладно, — сказал Андрей нетерпеливо. — Мне некогда.

— Ты можешь мне сказать, что произошло?

— Один маньяк... — Андрей остановился,

спохватившись. — Болван какой-то тащил взрывчатку через площадь и уронил, наверное.

— Это точно не покушение? — настойчиво спросила Сельма.

— Да не знаю я! Румер этим занимается, а я ничего не знаю!

Сельма подышала в трубку.

— Врешь ты все, наверное, господин советник, — сказала она и дала отбой.

Андрей обогнул стол и вернулся к окну. Толпа уже почти рассосалась. Санитаров не было, «скорой помощи» — тоже. Несколько полицейских поливали из брандспойтов пространство вокруг неглубокой выщерблины в бетоне. И ковыляла в обратном направлении старуха, толкая перед собой коляску с младенцем. И все.

Он подошел к двери и выглянул в приемную. Амалия была на своем месте — строгая, с поджатыми губами, совершенно неприступная — пальцы с обычной бешеной скоростью порхают по клавишам, на лице — никаких следов слез, соплей и прочих эмоций. Андрей смотрел на нее с нежностью. Молодец баба, подумал он. Хрен тебе, сказал он Варейкису с огромным злорадством. Я скорее уж тебя отсюда вышибу к чертовой матери... Амалию вдруг заслонили.

Андрей поднял глаза. На нечеловеческой высоте над ним искательно маячила сплющенная с боков физиономия Эллизауэра из транспортного.

— А, — сказал Андрей. — Эллизауэр... Извините, я вас сегодня не приму. Завтра с утра, пожалуйста.

Не говоря ни слова, Эллизауэр переломился пополам в поклоне и исчез. Амалия уже стояла с блокнотом и карандашом наготове.

— Господин советник?

— Зайдите на минутку, — сказал Андрей.

Он вернулся к столу, и сейчас же снова зазвонил белый телефон.

— Воронин? — проговорил гнусавый прокуренный голос. — Румер тебя беспокоит. Ну, как ты там?

— Прекрасно, — сказал Андрей, показывая Амалии рукой: не уходи, мол, я сейчас.

— Жена как?

— Все хорошо, привет тебе передавала. Кстати, пошли к ней сегодня двоих из отдела обслуживания, там по хозяйству надо...

— Двоих? Ладно. Куда?

— Пусть ей позвонят, она скажет. Пусть сейчас прямо и позвонят.

— Ладно, — сказал Румер. — Сделаю. Не сразу,

может быть, но сделаю... Я тут, понимаешь, совсем с этим барахлом зашился. Официальную версию знаешь?

— Откуда? — сердито сказал Андрей.

— В общем, так. Несчастный случай со взрывчаткой. При переносе взрывчатых веществ. Во время транспортировки. Подробности выясняются.

— Понял.

— Шел, значит, какой-то работяга-взрывник, ну и нес эту взрывчатку... Или, скажем, ее вез куда-то там... Пьяный.

— Да понял, понял я, — сказал Андрей. — Правильно. Молодец.

— Ага, — сказал Румер. — Ну там, споткнулся он или... В общем, подробности выясняются. Виновные будут наказаны. Информашку сейчас размножат и тебе принесут. Ты только вот что. Письмо ты ведь получил? Кто его у тебя там читал?

— Никто.

— А секретарь?

— Я тебе говорю: никто. Личные письма я всегда вскрываю сам.

— Правильно, — сказал Румер с одобрением. — Это у тебя правильно поставлено. А то у

некоторых, понимаешь, такой кабак развели с письмами... Кто попало читает... Значит, у тебя никто не читал. Это хорошо. Ты его спрячь хорошенько, это письмо, — по форме два нуля. Там к тебе сейчас зайдет один мой холуек, так ты ему отдай, ладно?

— Это зачем? — спросил Андрей.

Румер затруднился.

— Да ведь как сказать... — промямлил он. — Может, и пригодится... Ты его вроде бы знал?..

— Кого?

— Ну, этого... — Румер хихикнул. — Работягу этого... со взрывчаткой...

— Знал.

— Ну, по телефону мы с тобой не будем, а этот холуек мой, он задаст тебе пару вопросов, ты уж ему ответь.

— Некогда мне с ним, — сказал Андрей сердито. — Меня Фриц к себе вызвал.

— Да ну, пять минут, — заныл Румер, — ну чего тебе стоит, ей-богу... На два вопроса ответить уже не можешь...

— Ну ладно, ладно, — нетерпеливо сказал Андрей. — У тебя все?

— Я ведь его к тебе уже направил, через минуту у тебя будет. Цвирик его фамилия. Старший

адъютор...

— Ну хорошо, хорошо, договорились.

— Два вопроса всего. Не задержит он тебя...

— У тебя все? — снова спросил Андрей.

— Все. Мне тут еще других советников обзвонить надо.

— Ты вот людей к Сельме не забудь направить.

— Да не забуду. Я тут у себя записал. Пока.

Андрей повесил трубку и сказал Амалии:

— Имей в виду, ты ничего не видела и не слышала.

Амалия испуганно взглянула на него и молча ткнула пальцем в сторону окна.

— Вот именно, — сказал Андрей. — Не знаешь никаких имен и не знаешь, что вообще произошло...

Дверь приотворилась, и в кабинет просунулась смутно знакомая бледная физиономия с кислыми глазками.

— Подождите! — резко сказал Андрей. — Я вас вызову.

Физиономия исчезла.

— Поняла? — сказал Андрей. — За окном грохнуло, и больше ты ничего не знаешь. Официальная версия такая: шел пьяный работяга, нес взрывчатку со склада, виновные выясняются. — Он

помолчал, раздумывая. — Где я эту харю видел? И фамилия знакомая... Цвирик... Цвирик...

— Зачем же он это сделал? — тихо спросила Амалия. Глаза у нее снова подозрительно увлажнились.

Андрей нахмурился.

— Давай-ка сейчас не будем об этом. Потом. Иди позови сюда этого холуя.

Глава вторая

Когда они уселись за стол, Гейгер сказал Изе:

— Угощайся, мой еврей. Угощайся, мой славный.

— Я не твой еврей, — возразил Изя, наваливая себе на тарелку салат. — Я тебе сто раз уже говорил, что я — свой собственный еврей. Вот твой еврей. — Он ткнул вилкой в сторону Андрея.

— А томатного сока нет? — спросил брюзгливо Андрей, оглядывая стол.

— Хочешь томатного? — спросил Гейгер. — Паркер! Томатный сок господину советнику!

В дверях столовой возник рослый румяный молодец — личный адъютант президента, — малиново позванивая шпорами, приблизился к столу и с легким поклоном поставил перед Андреем запотевший графинчик с томатным соком.

— Спасибо, Паркер, — сказал Андрей. — Ничего, я сам налью.

Гейгер кивнул, и Паркера не стало.

— Дрессировочка! — прошамкал Изя набитым ртом.

— Славный парнишка, — сказал Андрей.

— А вот у Манджуро за обедом водку подают,

— сказал Изя.

— Стукач! — сказал ему Гейгер с упреком.

— Почему это? — удивился Изя.

— Если Манджуро в рабочее время жрет водку, я должен его наказать.

— Всех не перестреляешь, — сказал Изя.

— Смертная казнь отменена, — сказал Гейгер. — Впрочем, точно не помню. Надо у Чачуа спросить...

— А что случилось с предшественником Чачуа? — невинно осведомился Изя.

— Это была чистая случайность, — сказал Гейгер. — Перестрелка.

— Между прочим, отличный был работник, — заметил Андрей. — Чачуа свое дело знает, но шеф!.. Это был феноменальный человек.

— Н-да, наломали мы тогда дров... — сказал Гейгер задумчиво. — Молодо-зелено...

— Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал Андрей.

— Еще ничего не кончилось! — возразил Изя. — Откуда вы взяли, что все уже кончилось?

— Ну, пальба-то, во всяком случае, кончилась, — проворчал Андрей.

— Настоящая пальба еще и не начиналась, — объявил Изя. — Слушай, Фриц, на тебя были

покушения?

Гейгер нахмурился.

— Что за идиотская мысль? Конечно, нет.

— Будут, — пообещал Изя.

— Спасибо, — сказал Гейгер холодно.

— Будут покушения, — продолжал Изя, — будет взрыв наркомании. Будут сытые бунты. Хиппи уже появились, я о них и не говорю. Будут самоубийства протеста, самосожжения, самовзрывания... Впрочем, они уже есть.

Гейгер и Андрей переглянулись.

— Пожалуйста, — сказал Андрей с досадой. — Уже знает.

— Интересно, откуда? — проговорил Гейгер, рассматривая Изю прищуренными глазами.

— Что я знаю? — спросил Изя быстро. Он положил вилку. — Погодите-ка!.. А! Так, значит, это было самоубийство протеста? То-то я думаю — что за бред собачий? Взрывники какие-то пьяные с динамитом шляются... Вот оно что! А я, честно говоря, вообразил, что это — попытка покушения... Понятно... А кто это был на самом деле?

— Некто Денни Ли, — сказал Гейгер, помолчав. — Андрей его знал.

— Ли... — задумчиво проговорил Изя, рассеянно растирая по лацкану пиджака брызги майонеза.

— Денни Ли... Подожди, он такой тощий... Журналист?

— Ты его тоже знал, — сказал Андрей. — Помнишь, у меня в газете...

— Да-да-да! — воскликнул Изя. — Правильно! Вспомнил.

— Только ради бога, держи язык за зубами, — сказал Гейгер.

Изя с обычной своей окаменевшей улыбкой взялся за бородавку на шее.

— Вот это, значит, кто... — бормотал он. — Понятно... Понятно... Обложился, значит, взрывчаткой и вышел на площадь... Письма, наверное, разослал по всем газетам, чудак... Так-так-так... И что ты теперь намерен предпринять? — обратился он к Гейгеру.

— Я уже предпринял, — сказал Гейгер.

— Ну да, ну да! — нетерпеливо сказал Изя. — Все засекретил, дал официальное вранье, Румера спустил с цепи, — я не об этом. Что ты вообще об этом думаешь? Или ты полагаешь, что это случайность?

— Н-нет. Я не полагаю, что это случайность, — медленно сказал Гейгер.

— Слава богу! — воскликнул Изя.

— А ты что думаешь? — спросил его Андрей.

Изя быстро повернулся к нему.

— А ты?

— Я думаю, что во всяком порядочном обществе должны существовать свои маньяки. Денни был маньяк, это совершенно точно. У него был явный сдвиг на почве философии. И в Городе он, конечно, не один такой...

— А что он говорил? — жадно спросил Изя.

— Он говорил, что ему скучно. Он говорил, что мы не нашли настоящую цель. Он говорил, что вся наша работа по повышению уровня жизни — чепуха и ничего не решает. Он много чего говорил, а сам ничего путного предложить не мог. Маньяк. Истерик.

— А чего бы он все-таки хотел? — спросил Гейгер.

Андрей махнул рукой.

— Обычная народническая чушь. «Вынесет все и широкую, ясную...»

— Не понимаю, — сказал Гейгер.

— Ну, он полагал, что задача просвещенных людей — поднимать народ до своего просвещенного уровня. Но как за это взяться, он, конечно, не знал.

— И поэтому убил себя?.. — с сомнением сказал Гейгер.

— Я же тебе говорю — маньяк.

— А твое мнение? — спросил Гейгер Изю.

Изя не задумался ни на секунду.

— Если маньяком, — сказал он, — называть человека, который бьется над неразрешимой проблемой, — тогда да, он был маньяк. И ты, — Изя ткнул пальцем в Гейгера, — его не поймешь. Ты относишься к людям, которые берутся только за разрешимые проблемы.

— Положим, — сказал Андрей, — Денни был совершенно уверен, что его проблема разрешима.

Изя отмахнулся от него.

— Вы оба ни черта не понимаете, — объявил он. — Вот вы полагаете себя технократами и элитой. Демократ у вас — слово ругательное. Всяк сверчок да познает приличествующий ему шесток. Вы ужасно презираете широкую массу и ужасно гордитесь этим своим презрением. А на самом деле вы — настоящие, стопроцентные рабы этой массы! Все, что вы ни делаете, вы делаете для массы. Все, над чем вы ломаете голову, все это нужно в первую очередь именно массе. Вы живете для массы. Если бы масса исчезла, вы потеряли бы смысл жизни. Вы жалкие, убогие прикладники. И именно поэтому из вас никогда не получится маньяков. Ведь все, что нужно широкой массе,

раздобыть сравнительно нетрудно. Поэтому все ваши задачи — это задачи, заведомо разрешимые. Вы никогда не поймете людей, которые кончают с собой в знак протеста...

— Почему это мы не поймем? — с раздражением возразил Андрей. — Что тут, собственно, понимать? Конечно, мы делаем то, чего хочет подавляющее большинство. И мы этому большинству даем или стараемся дать все, кроме птичьего молока, которое, кстати, этому большинству и не требуется. Но всегда есть ничтожное меньшинство, которому нужно именно птичье молоко. Идея-фикс, понимаете ли, у них. Идея-бзик. Подавай им именно птичье молоко! Просто потому, что именно птичьего молока достать нельзя. Вот так и появляются социальные маньяки. Чего тут не понять? Или ты действительно считаешь, что все это быдло можно поднять до элитарного уровня?

— Не обо мне речь, — сказал Изя, осклабляясь. — Я-то себя рабом большинства, сиречь слугой народа, не считаю. Я никогда на него не работал и не считаю себя ему обязанным...

— Хорошо, хорошо, — сказал Гейгер. — Всем известно, что ты сам по себе. Вернемся к нашим самоубийствам. Ты полагаешь, значит,

самоубийства будут, какую бы политику мы ни проводили?

— Они будут именно потому, что вы проводите вполне определенную политику! — сказал Изя. — И чем дальше, тем больше, потому что вы отнимаете у людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и скучно. Поэтому будут самоубийства, наркомания, сексуальные революции, дурацкие бунты из-за выеденного яйца...

— Да что ты несешь! — сказал Андрей с сердцем. — Ты подумай, что ты несешь, экспериментатор ты вшивый! «Перчику ему в жизнь, перчику!» Так, что ли? Искусственные недостатки предлагаешь создавать? Ты подумай, что у тебя получается!..

— Это не у меня получается, — сказал Изя, протягивая через весь стол искалеченную руку, чтобы взять кастрюльку с соусом. — Это у тебя получается. А вот то, что вы взамен ничего не сможете дать, это факт. Великие стройки ваши — чушь. Эксперимент над экспериментаторами — бред, всем на это наплевать... И перестаньте на меня бросаться, я же не в осуждение вам говорю. Просто таково положение вещей. Такова судьба любого народника — рядится ли он в тогу технократа-благодетеля или он тщится утвер-

дить в народе некие идеалы, без которых, по его мнению, народ жить не может... Две стороны одного медяка — орел или решка. В итоге — либо голодный бунт, либо сытый бунт — выбирайте по вкусу. Вы выбрали сытый бунт — и благо вам, чего же на меня-то набрасываться?

— Соус на скатерть не лей, — сердито сказал Гейгер.

— Пардон... — Изя рассеянно растер лужу по скатерти салфеткой. — Это же арифметически ясно, — сказал он. — Пусть недовольные составляют только один процент. Если в городе миллион человек — значит, десять тысяч недовольных. Пусть даже десятая процента — тысяча недовольных. Как начнет эта тысяча шуметь под окнами!.. А потом, заметьте, вполне довольных ведь не бывает. Это только вполне недовольные бывают. А так ведь каждому чего-нибудь да не хватает. Всем он, понимаешь, доволен, а вот автомобиля у него нет. Почему? Он, понимаешь, на Земле привык к автомобилю, а здесь у него нет и, главное, не предвидится... Представляете, сколько таких в Городе?

Изя прервал себя и принялся жадно поедать макароны, обильно заливая их соусом.

— Вкусная у вас жратва, — сказал он. — При

моих достатках только в Стеклянном Доме и пожрешь по-настоящему...

Андрей посмотрел, как он жрет, фыркнул и налил себе томатного сока. Выпил, закурил сигарету. Вечно у него апокалипсис получается... Семь чаш гнева и семь последних язв...

Быдло есть быдло. Конечно, оно будет бунтовать, на то мы Румера и держим. Правда, бунт сытых — это что-то новенькое, что-то вроде парадокса. На Земле такого, пожалуй, еще не бывало. По крайней мере — при мне. И у классиков ничего об этом не говорится... А, бунт есть бунт... Эксперимент есть Эксперимент, футбол есть футбол... Тьфу!

Он посмотрел на Гейгера. Фриц, откинувшись в кресле, рассеянно и в то же время старательно ковырял пальцем в зубах, и Андрея вдруг ошеломила простая и страшная в своей простоте мысль: ведь это всего-навсего унтер-офицер вермахта, солдафон, недоучка, десяти порядочных книжек за всю свою жизнь не прочитал, а ведь ему — решать!.. Мне, между прочим, тоже решать, подумал он.

— В нашей ситуации, — сказал он Изе, — у порядочного человека просто нет выбора. Люди голодали, люди были замордованы, испытывали

страх и физические мучения — дети, старики, женщины... Это же был наш долг — создать приличные условия существования...

— Ну, правильно, правильно, — сказал Изя. — Я все понимаю. Вами двигали жалость, милосердие и тэ-дэ, и тэ-пэ. Я же не об этом. Жалеть женщин и детей, плачущих от голода, — это нетрудно, это всякий умеет. А вот сумеете вы пожалеть здоровенного сытого мужика с таким вот, — Изя показал, — половым органом? Изнывающего от скуки мужика? Денни Ли, по-видимому, умел, а вы сумеете? Или сразу его — в нагайки?..

Он замолчал, потому что в столовую вошел румяный Паркер в сопровождении двух хорошеньких девушек в белых передничках. Со стола убрали и подали кофе и сбитые сливки. Изя сейчас же этими сливками вымазался и принялся облизываться, как кот, до ушей.

— И вообще, знаете, что мне кажется? — задумчиво проговорил он. — Как только общество решит какую-нибудь свою проблему, сейчас же перед ним встает новая проблема таких же масштабов... нет, еще больших масштабов. — Он оживился. — Отсюда, между прочим, следует одна интересная штука. В конце концов перед обществом встанут проблемы такой сложности, что

разрешить их будет уже не в силах человеческих. И тогда так называемый прогресс остановится.

— Ерунда, — сказал Андрей. — Человечество не ставит перед собой проблем, которые оно не способно решить.

— А я и не говорю о проблемах, которые человечество перед собой ставит, — возразил Изя. — Я говорю о проблемах, которые перед человечеством встают. Сами встают. Проблему голода человечество перед собой не ставило. Оно просто голодало...

— Ну, поехали! — сказал Гейгер. — Хватит. Повело блудословить. Можно подумать, у нас никаких дел нет, только языком трепать.

— А какие у нас дела? — удивился Изя. — У меня, например, сейчас обеденный перерыв...

— Как хочешь, — сказал Гейгер. — Я хотел поговорить о твоей экспедиции. Но можно, конечно, и отложить.

Изя замер с кофейником в руке.

— Позволь, — сказал он строго. — Зачем же откладывать? Откладывать не надо, сколько раз уже откладывали...

— Ну, а чего вы треплетесь? — сказал Гейгер. — Уши вянут вас слушать.

— Это какая экспедиция? — спросил Андрей.

— За архивами, что ли?

— Великая экспедиция на Север! — провозгласил Изя, но Гейгер остановил его, подняв большую белую ладонь.

— Это предварительный разговор, — сказал он. — Но решение об экспедиции я уже принял, средства выделены. Транспорт будет готов месяца через три-четыре. А сейчас надо наметить самые общие цели и программу.

— То есть, экспедиция будет комплексная? — спросил Андрей.

— Да. Изя получит свои архивы, а ты получишь свои наблюдения солнца и что там еще тебе нужно...

— Слава богу! — сказал Андрей. — Наконец-то.

— Но у вас будет, по крайней мере, еще одна цель, — сказал Гейгер. — Дальняя разведка. Экспедиция должна проникнуть на север очень глубоко. Как можно глубже. Насколько хватит горючего и воды. Поэтому людей в группу надо подобрать специальным образом, с большим пристрастием. Только добровольцев и только самых лучших из добровольцев. Никто толком не знает, что там может быть — на севере. Вполне возможно, что вам придется не только искать бумажки и глядеть в ваши трубы, но и стрелять,

садиться в осаду, прорываться и так далее. Поэтому в группе будут военные. Кто и сколько — это мы еще уточним...

— Ох, как можно меньше! — сказал Андрей, морщась. — Знаю я твоих военных, работать же будет невыносимо... — Он с досадой отодвинул чашку. — И вообще я не понимаю. Не понимаю, зачем военные. Не понимаю, какая там может быть перестрелка... Там же пустыня, развалины — откуда перестрелка?

— Там, братец, все может быть, — сказал Изя весело.

— Что значит — все? Может быть, там бесы кишмя кишат, так что же нам — попов прикажешь с собой брать?

— Может быть, мне все-таки дадут высказаться до конца? — спросил Гейгер.

— Высказывайся, — проговорил Андрей расстроенно.

Всегда вот так, думал он. Как с обезьяньей лапкой. Уж если и исполнится желание, так с таким привеском, что лучше бы уж и не исполнялось совсем. Ну нет, черта с два. Я эту экспедицию господам офицерам не отдам. Глава экспедиции — Кехада. Глава научной части и всей группы. А иначе идите к чертовой матери, не будет вам ни-

какой космографии, и пусть ваши фельдфебели одним Изей командуют. Экспедиция — научная, значит, во главе — ученый... Тут он вспомнил, что Кехада неблагонадежен, и это воспоминание так его разозлило, что он пропустил часть того, что говорил Гейгер.

— Что-что? — спросил он, встрепенувшись.

— Я тебя спрашиваю: на каком расстоянии от Города может быть конец мира?

— Точнее — начало, — вставил Изя.

Андрей сердито пожал плечами.

— Ты мои докладные, вообще, читаешь? — спросил он у Гейгера.

— Читаю, — сказал Гейгер. — Там у тебя говорится, что при удалении на север солнце будет склоняться к горизонту. Очевидно, что где-то далеко на севере оно сядет на горизонт и вообще скроется из виду. Так вот я тебя и спрашиваю: как далеко до этого места, — ты можешь сказать?

— Не читаешь ты моих докладных, — сказал Андрей. — Если бы ты их читал, ты бы понял, что я всю эту экспедицию затеваю именно для того, чтобы выяснить, где это самое начало мира.

— Это я понял, — терпеливо сказал Гейгер. — Я тебя спрашиваю: приближенно. Хотя бы приближенно можешь ты мне назвать это расстояние?

Сколько это — тысяча километров? Сто тысяч? Миллион?.. Мы устанавливаем цель экспедиции, понимаешь? Если эта цель на расстоянии миллион километров, то это уже и не цель. А если...

— Ясно, ясно, — сказал Андрей. — Так бы и говорил. Значит, так... Тут вся трудность в том, что мы не знаем ни кривизны мира, ни расстояния до солнца. Если бы у нас было много наблюдений вдоль всей линии Города — понимаешь? — не нынешнего Города, а от начала до конца, — тогда мы могли бы определить эти величины. Большая дуга нужна, понимаешь? По крайней мере — несколько сотен километров. А у нас весь материал на дуге в пятьдесят километров. Поэтому и точность ничтожная.

— Дай мне самый минимум и самый максимум, — сказал Гейгер.

— Максимум — бесконечность, — сказал Андрей. — Это если мир плоский. А минимум — порядка тысячи километров.

— Дармоеды вы, — сказал Гейгер с отвращением. — Сколько я в вас денег всадил, а толку от вас...

— Ты это брось, — сказал Андрей. — Я у тебя два года добиваюсь экспедиции. Хочешь знать, в каком мире ты живешь, — деньги давай, транс-

порт давай, людей... Иначе ничего не будет. Нам и всего-то нужна дуга километров в пятьсот. Промерим гравитацию, изменение яркости, изменение по высоте...

— Хорошо, — прервал его Гейгер. — Не будем сейчас об этом говорить. Это детали. Вы только уясните себе, что одна из целей экспедиции — добраться до начала мира. Уяснили?

— Уяснили, — сказал Андрей. — Но зачем это тебе надо — непонятно.

— Я хочу знать, что там есть, — сказал Гейгер. — А там есть что-то. Что-то такое, от чего многое может зависеть.

— Например? — спросил Андрей.

— Например, Антигород.

Андрей фыркнул.

— Антигород... Ты что, до сих пор в него веришь?

Гейгер поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по столовой.

— Веришь, не веришь... — сказал он. — Я должен знать точно: существует он или не существует.

— Лично мне, — сказал Андрей, — давным-давно уже стало ясно, что Антигород — это просто выдумка старого руководства...

— Вроде Красного Здания, — тихонько сказал

Изя, хихикнув.

Андрей нахмурился.

— Красное Здание здесь ни при чем. Гейгер и сам утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру, ему нужна была угроза извне — вот вам и Антигород.

Гейгер остановился перед ним.

— А почему ты, собственно, так протестуешь против похода до самого конца? Неужели тебе самому нисколько не любопытно, что там может быть? Вот дал мне господь советничков!

— Да ничего там нет! — сказал Андрей, несколько, впрочем, потерявшись. — Холодина там, вечная ночь, ледяная пустыня... Обратная сторона Луны, понимаешь?

— Я располагаю другими сведениями, — сказал Гейгер. — Антигород существует. Никакой там ледяной пустыни нет, а если она и есть, то ее можно пройти. Там город, такой же, как у нас, но что там происходит, мы не знаем, и чего они там хотят — мы тоже не знаем. А вот рассказывают, например, что у них там все наоборот. Когда у нас хорошо — у них там плохо... — Он оборвал себя и снова заходил по столовой.

— Господи, — сказал Андрей. — Что за бред?..

Он взглянул на Изю и осекся. Изя сидел, заки-

нув руку за спинку кресла, галстук у него съехал под ухо, а сам он масляно сиял и победно глядел на Андрея.

— Понятно, — сказал Андрей. — Можно узнать, из каких источников у тебя эти сведения? — спросил он Изю.

— Все из тех же, душа моя, — сказал Изя. — История — великая наука. А в нашем Городе она умеет особенно много гитик. Ведь чем, кроме всего прочего, хорош наш Город? Архивы в нем почему-то не уничтожаются! Войн нет, нашествий нет, что написано пером, не вырубают топором...

— Архивы твои... — сказал Андрей с досадой.

— Не скажи! Вот Фриц не даст соврать — кто уголь нашел? Триста тысяч тонн угля в подземном хранилище! Геологи твои нашли? Нет-с, Кацман нашел. Не выходя из своего кабинетика, заметь...

— Короче говоря, — сказал Гейгер, снова усаживаясь в свое кресло, — наука наукой, архивы архивами, а я хочу знать следующее. Первое. Что у нас в тылу? Можно ли там жить? Что полезного можно оттуда извлечь? Второе. Кто там живет? На всем протяжении: от этого места, — он постучал ногтем в стол, — и до самого конца мира, или начала, или докуда вы там дойдете... Что это за

люди? Люди ли? Почему они там? Как туда попали? Чем живут?.. И третье. Все, что вам удастся выяснить об Антигороде. Это *политическая* цель, которую я перед вами ставлю. И это — истинная цель экспедиции, Андрей, вот что ты должен понять. Ты поведешь эту экспедицию, выяснишь все, что я сказал, и доложишь результаты мне, здесь, в этой вот комнате.

— Что-что? — сказал Андрей.

— Доложишь. Здесь. Лично.

— Ты хочешь послать туда меня?

— Естественно! А ты как думал?

— Позволь... — Андрей растерялся. — С какой это стати?.. Я вовсе никуда не собирался... У меня дел по горло, на кого я все это брошу?.. Да и не хочу я никуда идти!

— То есть как это — не хочешь? Что же ты мне голову морочил? Если не тебя, кого же я пошлю?

— Господи, — сказал Андрей. — Да кого угодно! Поставь начальником Кехаду... опытнейший разведчик... Или Бутца, например...

Под пристальным взглядом Гейгера он замолчал.

— Давай лучше не будем говорить ни о Кехаде, ни о Бутце, — негромко сказал Гейгер.

Андрей не нашелся что ответить, и наступи-

ла неловкая тишина. Потом Гейгер налил себе остывшего кофе.

— В этом городе, — сказал он по-прежнему негромко, — я доверяю буквально двум-трем человекам, не более. Из них возглавить экспедицию можешь только ты. Потому что я уверен: если я попрошу тебя дойти до конца, ты дойдешь до конца. Не повернешь с полдороги и никому не разрешишь повернуть с полдороги. И когда ты потом представишь отчет, я смогу верить этому отчету. Изиному отчету, например, я бы тоже мог поверить, но Изя — ни к черту не годный администратор и совершенно никудышный политик. Понимаешь меня? Поэтому решай. Либо ты возглавляешь эту экспедицию, либо экспедиция вообще не состоится.

Снова наступило молчание. Изя с неловкостью сказал:

— О-хо-хо-хо-хо... Может, мне выйти, администраторы?

— Сиди, — приказал Гейгер, не поворачиваясь к нему. — Вон — жри пирожные.

Андрей лихорадочно соображал. Все бросить. Сельму. Дом. Налаженную спокойную жизнь... На кой черт мне это сдалось? Амалию. Тащиться куда-то. Жара. Грязь. Дрянная жратва... Постарел

я, что ли? Пару лет назад такое предложение привело бы меня в восторг. А сейчас не хочу. Ну вот совсем не хочу... Изя каждый день — в гомерических порциях. Военные. Солдатня. И ведь пешком же, наверное, всю тысячу километров — пешком, да еще с мешком на плечах, и не с пустым, мать его, мешком... И оружие. Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придется!.. На фига мне это сдалось — под пулями торчать? На фига козе баян? На хрена волку жилетка — по кустам ее трепать?.. Надо будет дядю Юру взять обязательно — я этим военным ни хрена не верю... Жара, и мозоли, и вонь... А на самом краю — холодина, наверное, проклятущая... Хорошо хоть солнце будет все время в затылок... И Кехаду надо взять, не пойду без Кехады и все — мало ли что ты ему не доверяешь, зато с Кехадой я за научную часть буду спокоен... И столько времени без бабы — это же с ума сойти, я уже так отвык. Но ты мне за это заплатишь. Ты мне штатных единиц, во-первых, в канцелярию подбросишь — в отдел социальной психологии... и в геодезию не мешает... Во-вторых, Варейкису по рукам. И вообще все эти идеологические ограничения — чтобы духу их не было у меня в науке. В других отделах — пожалуйста, это меня не касается... Ведь там же воды нет,

елки-палки! Ведь Город почему все время на юг ползет — на севере источники иссякают. Что же, прикажете воду с собой тащить? На тысячу километров?..

— Что же — я воду на горбу с собой потащу? — раздраженно спросил он.

Гейгер изумленно задрал брови.

— Какую воду?

Андрей спохватился.

— В общем ладно, — сказал он. — Только военных я сам подберу, раз уж ты так на них настаиваешь. А то насуешь мне разных болванов... И чтобы единоначалие! — грозно сказал он, подняв палец. — Главный — я!

— Ты, ты, — успокаивающе сказал Гейгер. Он улыбался, откинувшись в кресле. — Ты вообще будешь подбирать всех. Единственного человека я тебе навязываю — Изю. Остальные — твои. О хороших механиках позаботься, врача подбери...

— Кстати, транспорт какой-нибудь будет у меня?

— Будет, — сказал Гейгер. — И транспорт будет настоящий. Такого еще у нас не было. На себе переть ничего не придется, разве что — оружие... Ты не отвлекайся, это все мелочи. Это мы все еще специально обсудим, когда ты подберешь

начальников подразделений... Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Секретность! Это вы мне, ребята, обеспечьте. Конечно, совсем скрыть такую затею невозможно, значит, придется пустить дезу — за нефтью отправились, например. На двести сороковой километр. Но политические цели экспедиции должны быть известны только вам. Договорились?

— Договорились, — отозвался Андрей озабоченно.

— Изя, это особенно к тебе относится. Слышишь?

— Угу, — сказал Изя с набитым ртом.

— А почему, собственно, такая уж секретность? — спросил Андрей. — Что мы такое собираемся делать, чтобы вокруг этого секретность разводить?

— Не понимаешь? — спросил Гейгер, скривившись.

— Не понимаю, — сказал Андрей. — Совершенно не вижу, что тут такого... угрожающего системе.

— Да не системе, балда! — сказал Гейгер. — Тебе! Тебе это угрожает! Неужели непонятно, что они так же боятся нас, как и мы их?

— Кто — они? Антигорожане твои, что ли?

— Ну естественно! Если мы сообразили послать,

наконец, разведку, почему не предположить, что они сделали это давным-давно? Что в Городе полным-полно их шпионов? Не улыбайся, не улыбайся, дурачок! Это тебе не шутки! Налетишь на засаду — вырежут вас всех, как цыплят...

— Ладно, — сказал Андрей. — Убедил. Молчу.

Некоторое время Гейгер с сомнением его рассматривал, потом сказал:

— Ну хорошо. Значит, цели вы поняли. Насчет секретности — тоже. Значит, собственно, все. Сегодня подпишу приказ о твоем назначении руководителем операции... н-ну, скажем... м-м...

— «Мрак и туман», — подсказал Изя, невинно тараща глаза.

— Что? Нет... Слишком длинно. Скажем... «Зигзаг». Операция «Зигзаг». Хорошо звучит, правда? — Гейгер вытянул из нагрудного кармана блокнотик и что-то записал. — Ты, Андрей, можешь приступать к подготовке. Я имею в виду пока чисто научную часть. Подбирай людей, уточняй свои задачи... оборудование заказывай, снаряжение... Твоим заказам я обеспечу зеленую улицу. Кто у тебя заместитель?

— По канцелярии? Бутц.

Гейгер поморщился.

— Ну ладно, — сказал он. — Пусть будет Бутц.

Взваливай на него всю канцелярию, а сам полностью переключайся на операцию «Зигзаг»... И предупреди своего Бутца, чтобы поменьше трепал языком! — гаркнул он вдруг.

— Вот что, — сказал Андрей. — Давай с тобой договоримся...

— К черту, к черту! — сказал Гейгер. — Не желаю я сейчас на эти темы разговаривать. Знаю я, что ты мне хочешь сказать! Но рыба гниет с головы, господин советник, а ты развел у себя в канцелярии... ч-черт!..

— Якобинцев, — подсказал Изя.

— А ты, еврей, молчи! — заорал Гейгер. — Черт бы вас всех подрал, болтунов!.. Сбили меня совсем... О чем я говорил?

— Что ты не желаешь на эти темы разговаривать, — сказал Изя.

Гейгер непонимающе уставился на него, и тогда Андрей сказал нарочито спокойно:

— Я очень прошу тебя, Фриц, оградить моих сотрудников от всяческих идеологических благоглупостей. Я этих людей сам подбирал, и я им верю, и если ты действительно хочешь иметь в Городе науку — оставь их в покое.

— Ну хорошо, хорошо, — проворчал Гейгер. — Не будем сегодня об этом...

— Нет, будем, — кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе. — Ты ведь меня знаешь — я целиком за тебя. Пойми, пожалуйста: эти люди не могут не брюзжать. Так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта не стоит. Пусть брюзжат! За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу. Можешь быть спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому Румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу...

— А можно без ультиматумов? — высокомерно осведомился Фриц.

— Можно, — сказал Андрей совсем уже кротко. — Все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно...

Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор.

— Я не хочу сейчас говорить на эту тему! — сказал он.

И Андрей понял, что на сегодня хватит. Тем более что и в самом деле на такие темы лучше говорить с глазу на глаз.

— Не хочешь, и не надо, — сказал он примирительно. — Просто к слову пришлось. Варейкис меня сегодня достал, понимаешь... Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза,

который я смогу с собой взять. Хотя бы ориентировочно.

Гейгер еще несколько раз с силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на Изю и снова откинулся в кресле.

— Рассчитывай тонн на пять, на шесть... может быть, и больше, — сказал он. — Свяжись с Манджуро... Только учти, он хоть и четвертое лицо в государстве, но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего. За транспорт отвечает он. Через него узнаешь все подробности.

Андрей кивнул.

— Хорошо. А из военных, ты знаешь, кого я хочу взять? Полковника.

Гейгер встрепенулся.

— Полковника? У тебя губа не дура! А с кем я здесь останусь? На полковнике весь генштаб держится...

— Вот и прекрасно, — сказал Андрей. — Значит, полковник одновременно произведет глубокую рекогносцировку. Лично изучит, так сказать, возможный театр. И отношения у меня с ним налажены... Между прочим, ребята, я сегодня устраиваю небольшую вечеринку. Мясо по-бургундски. Вы как?

На лице Гейгера немедленно появилось выра-

жение озабоченности.

— Гм... Сегодня? Не знаю, дружище, не могу сказать точно... Просто не знаю. Возможно, заскочу на минутку.

Андрей вздохнул.

— Ладно уж. Только если сам не придешь, не присылай, пожалуйста, Румера вместо себя, как в прошлый раз. Я, понимаешь, к себе не президента приглашаю, а Фрица Гейгера. В официальных заменителях не нуждаюсь.

— Ну, посмотрим, посмотрим... — сказал Гейгер. — Еще по чашечке? Время есть. Паркер!

Румяный Паркер возник на пороге, выслушал, наклонив голову с идеальным пробором, приказ о кофе и сказал деликатным голосом:

— Господина президента ждет у телефона советник Румер.

— Легок на помине... — проворчал Гейгер, поднимаясь. — Простите, ребята, я сейчас.

Он вышел, и тотчас же явились девочки в белых передничках. Они быстро и бесшумно организовали второй круг кофе и исчезли вместе с Паркером.

— Ну а ты-то придешь? — спросил Андрей Изю.

— С удовольствием, — сказал Изя, хлебая кофе с присвистом и причмокиванием. — А кто будет?

— Полковник будет. Дольфюсы будут, Чачуа, может быть... А кто тебе, собственно, нужен?

— Дольфюсиха мне, честно говоря, не особенно нужна.

— Ничего, мы на нее Чачуа напустим...

Изя покивал, а потом вдруг сказал:

— А ведь давненько мы не собирались, а?

— Да, брат, дела...

— Врешь, врешь, какие там у тебя дела... Сидишь, коллекцию свою перетираешь... Смотри, не застрелись там случайно... Да! Я тебе, между прочим, пистолетик раздобыл. Настоящий смит-и-вессон, из прерий...

— Честно?!

— Только он ржавый, заржавел весь...

— Не вздумай чистить! — закричал Андрей, подскакивая. — Неси как есть, а то испортишь все, — руки-крюки!.. И не пистолетик это тебе, а револьвер. Где нашел?

— Где надо, там и нашел, — сказал Изя. — Погоди, в экспедиции мы столько найдем — домой не дотащишь...

Андрей поставил чашечку с кофе. Этот аспект экспедиции в голову ему еще не приходил, и он моментально ощутил необычайный подъем, представив себе уникальный набор кольтов,

браунингов, маузеров, наганов, парабеллумов, зауэров, вальтеров... и дальше, в глубь времен: дуэльных лефоше и лепажей... огромных абордажных пистолетов со штыком... великолепных самоделок с Дальнего Запада... всех этих неописуемых драгоценностей, о которых он и мечтать не решался, читая и перечитывая каталог частного собрания миллионера Бруннера, каким-то чудом занесенный в Город. Футляры, ящики, склады оружия... Может быть, «чешску збройовку» повезет найти, с шалльдампфером... или «астру-девять-сот»... а может быть, черт побери, и «девятку» — «маузер ноль-восемь», редкость, мечта... Да-а...

— А противотанковые мины ты не собираешь? — спросил Изя. — Или, скажем, кулеврины?

— Нет, — сказал Андрей, радостно улыбаясь. — Я только личное стрелковое оружие...

— А то вот предлагают по случаю базуку, — сказал Изя. — Недорого просят — всего двести тугриков.

— Насчет базуки, братец, иди ты к Румеру, — сказал Андрей.

— Спасибо. У Румера я уже бывал, — сказал Изя, и улыбка его застыла.

А, ч-черт, подумал Андрей с неловкостью, но тут, к счастью, вернулся Гейгер. Он был доволен.

— А ну-ка, налейте чашечку президенту, — сказал он. — О чем вы здесь?..

— О литературе и искусстве, — сказал Изя.

— О литературе? — Гейгер отхлебнул кофе. — Ну-ка, ну-ка! Что именно мои советники говорят о литературе?

— Да треплется он, — сказал Андрей. — О моей коллекции мы говорили, а не о литературе.

— А что это вдруг тебя заинтересовала литература? — спросил Изя, с любопытством глядя на Гейгера. — Такой был всегда практичный президент...

— Потому и заинтересовала, что практичный, — сказал Гейгер. — Считайте, — предложил он и принялся загибать пальцы. — В Городе выходят: два литературных журнала, четыре литературных приложения к газетам, по крайней мере десяток серийных выпусков приключенческой белиберды... вот и все, кажется. И еще полтора десятка названий книг в год. И при этом — ничего сколько-нибудь приличного. Я говорил со сведущими людьми. Ни до Поворота, ни после в Городе не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного произведения. Одна макулатура. В чем дело?

Андрей и Изя переглянулись. Да, Гейгер всегда

умел удивить, ничего не скажешь.

— Что-то я тебя все-таки не понимаю, — сказал Изя Гейгеру. — Какое, собственно, тебе до этого дело? Ищешь писателя, чтобы поручить ему свое жизнеописание?

— А если без шуточек? — терпеливо сказал Гейгер. — В Городе миллион человек. Больше тысячи числятся литераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю...

— Бездари, бездари, — кивнул Изя. — Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев...

— А в самом деле, почему? — спросил Андрей.

— Писателей выдающихся — нет, — продолжал Гейгер. — Художников — нет. Композиторов — нет. Этих... скульпторов тоже нет.

— Архитекторов нет, — подхватил Андрей. — Киношников нет...

— Ничего такого нет, — сказал Гейгер. — Миллион человек! Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило.

— Почему? — сейчас же спросил Изя.

Гейгер в нерешительности пожевал губами.

— Трудно объяснить, — признался он. — Сам я, лично, не знаю, зачем все это нужно, но я слыхал, что в каждом порядочном обществе все это есть.

А раз у нас этого нет, значит, что-то не в порядке... Я рассуждаю так. Ну, хорошо: до Поворота жизнь в Городе была тяжелая, стоял кабак, и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь в общем налаживается...

— Нет, — перебил его Андрей задумчиво. — Это здесь ни при чем. Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим, пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например... Не знаю.

— Во всяком случае, — сказал Изя Гейгеру, — если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов...

— Да! Например! — Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами.

— Ничего из этого не выйдет, — сказал Изя с каким-то удовлетворением. — И не надейся!

— Погодите, — сказал Андрей. — А может быть, талантливые творческие люди просто не попадают в Город? Не соглашаются сюда идти?

— Или, скажем, им не предлагают, — сказал Изя.

— Бросьте, — сказал Гейгер. — Пятьдесят процентов населения Города — молодежь. На Земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет?

— А может быть, как раз и можно определить, — сказал Изя.

— Пусть так, — сказал Гейгер. — В Городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант — это обязательно наследственное?

— Вообще-то, действительно, странно, — сказал Андрей. — Инженеры в Городе есть прекрасные. Ученые — очень неплохие. Может быть, не Менделеевы, но на крепком мировом уровне. Взять того же Бутца... Талантливых людей пропасть — изобретатели, администраторы, ремесленники... вообще всякие прикладники...

— То-то и оно, — сказал Гейгер. — Это-то меня и удивляет.

— Слушай, Фриц, — сказал Изя. — Ну зачем тебе лишние хлопоты? Ну, появятся у тебя талантливые писатели, ну, начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях — и тебя, и твои порядки, и твоих советников... И пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты будешь их уговаривать, потом начнешь гро-

зить, потом придется тебе их сажать...

— Да почему это они будут меня обязательно костерить? — возмутился Гейгер. — А может быть, наоборот, — воспевать?

— Нет, — сказал Изя. — Воспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они — это больная совесть общества, о которой само общество, может быть, даже и не подозревает. А поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую очередь и накидают банок... — Изя хихикнул. — Воображаю, как они расправятся с твоим Румером!

Гейгер пожал плечом.

— Конечно, если у Румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. На то он и писатель, чтобы врачевать язвы...

— Сроду писатели не врачевали никаких язв, — возразил Изя. — Больная совесть просто болит, и все...

— В конце концов, не в этом дело, — прервал его Гейгер. — Ты мне прямо ответь: нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет?

— А что считать за норму? — спросил Изя. — Можно считать нормальным положение на

Земле?

— Понес, понес! — сказал Андрей, сморщившись. — Тебя же просто спрашивают: может существовать общество без творческих талантов? Правильно я понял, Фриц?

— Я даже спрошу точнее, — сказал Гейгер. — Нормально ли, чтобы миллион человек — все равно, здесь или на Земле — за десятки лет не дал ни одного творческого таланта?

Изя молчал, рассеянно теребя свою бородавку, а Андрей сказал:

— Если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально.

— Тогда в чем же дело? — спросил Гейгер.

— Эксперимент есть Эксперимент, — сказал Изя. — Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке.

— Что ты хочешь этим сказать? — подозрительно спросил Гейгер.

— Ничего особенного, — удивился Изя. — Просто их тоже миллион, а может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев... почти любую арабскую страну...

— Ты еще возьми цыган, — сказал Гейгер недовольно.

Андрей оживился.

— А кстати, ребята, — сказал он. — А цыгане в Городе есть?

— Провалиться вам! — сердито сказал Гейгер. — Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать...

Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный Паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы.

— Ну, все, — сказал он, поднимаясь. — Понеслась!.. — Он вздохнул и принялся застегивать френч. — По местам! По местам, советники! — сказал он.

Глава третья

Отто Фрижа не соврал: ковер был действительно роскошный. Он был черно-багровый, глубоких благородных оттенков, он занял всю левую стену в кабинете, напротив окон, и кабинет с ним приобрел совершенно особенный вид. Это было дьявольски красиво, это было элегантно, это было значительно.

В полном восторге Андрей чмокнул Сельму в щеку, и она снова ушла на кухню командовать прислугой, а Андрей походил по кабинету, рассматривая ковер со всех точек зрения, приглядываясь к нему то впрямую, то искоса, боковым зрением, потом раскрыл заветный шкаф и извлек оттуда здоровенный маузер — десятизарядное чудовище, рожденное в спецотделе Маузерверке, излюбленное, прославившееся в гражданскую войну оружие комиссаров в пыльных шлемах, а также японских императорских офицеров в шинелях с воротниками собачьего меха.

Маузер был чистый, воронено отсвечивающий, на вид совершенно готовый к бою, но, к сожалению, со сточенным бойком. Андрей подержал его двумя руками, покачивая на весу, потом взялся

за округлую рифленую рукоять, опустил, а затем поднял на уровень глаз и прицелился в ствол яблони за окном, как Гейгер на стрельбище.

Потом он повернулся к ковру и некоторое время выбирал место. Место скоро нашлось. Андрей сбросил туфли, залез с ногами на кушетку и приложил к месту маузер. Прижимая его к ковру одной рукой, он откинулся как можно дальше назад и полюбовался. Это было прекрасно. Он соскочил на пол, в одних носках опрометью побежал в прихожую, вытащил из стенного шкафа ящик с инструментом и вернулся обратно к ковру.

Он повесил маузер, потом люгер с оптическим прицелом (из этого люгера Копчик застрелил насмерть двух милиционеров в последний день Поворота) и возился с браунингом модели девятьсот шестого года — маленьким, почти квадратным, — когда знакомый голос за спиной произнес:

— Правее, Андрей, чуть правее. И на сантиметр ниже.

— Так? — спросил Андрей, не оборачиваясь.

— Так.

Андрей закрепил браунинг, задом спрыгнул с кушетки и попятился к самому столу, озирая

дело рук своих.

— Красиво, — похвалил Наставник.

— Красиво, но мало, — сказал Андрей со вздохом.

Наставник, неслышно ступая, подошел к шкафу, присел на корточки, покопался и достал армейский наган.

— А это? — спросил он.

— Деревяшек на рукоятке нет, — сказал Андрей с сожалением. — Все время собираюсь заказать и каждый раз забываю... — Он надел туфли, присел на подоконник рядом со столом и закурил. — Сверху у меня будет дуэльный арсенал. Первая половина девятнадцатого века. Красивейшие экземпляры попадаются, с серебряной насечкой, и формы самые удивительные — от таких вот маленьких до огромных, длинноствольных...

— Лепажи, — сказал Наставник.

— Нет, лепажи как раз маленькие... А внизу, над самой кушеткой, я развешу боевое оружие семнадцатого-восемнадцатого века...

Он замолчал, представляя себе, как это будет прекрасно. Наставник, сидя на корточках, копался в шкафу. За окном неподалеку стрекотала машинка для стрижки газонов. Чирикали и посвистывали птицы.

— Хорошая идея — повесить здесь ковер, верно? — сказал Андрей.

— Прекрасная, — сказал Наставник, поднимаясь. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер руки. — Только торшер я бы поставил в тот угол, рядом с телефоном. И телефон нужно белый.

— Белый мне не полагается, — сказал Андрей со вздохом.

— Ничего, — сказал Наставник. — Вернешься из экспедиции — будет у тебя и белый.

— Значит, это правильно, что я согласился идти?

— А у тебя были сомнения?

— Да, — сказал Андрей и погасил окурок в пепельнице. — Во-первых, мне не хотелось. Просто не хотелось. Дома хорошо, жизнь наладилась, много работы. Во-вторых, если говорить честно, — страшновато.

— Ну-ну-ну, — сказал Наставник.

— Нет, в самом деле. Вот вы — вы можете мне сказать, с чем я там встречусь? Вот видите! Полная неизвестность... Десяток страшных Изиных легенд и полная неизвестность... Ну и плюс все прелести походной жизни. Знаю я эти экспедиции! И в археологических я бывал, и во всяких

прочих...

И тут, как он и ожидал, Наставник спросил с интересом:

— А что в этих экспедициях... как бы это выразиться... что в них самое страшное, что ли, самое неприятное?

Андрей очень любил этот вопрос. Ответ на него он придумал очень давно и даже записал в книжечку, и впоследствии неоднократно использовал его в разговорах с разными девицами.

— Самое страшное? — повторил он для разгону. — Самое страшное — это вот что. Представьте себе: палатка, ночь, пустыня вокруг, безлюдье, волки воют, град, буря... — Он сделал паузу и посмотрел на Наставника, который весь подался вперед, слушая. — Град, понимаете? С голубиное яйцо величиной... И надо идти по нужде.

Напряженное ожидание на лице Наставника сменилось несколько растерянной улыбкой, потом он расхохотался.

— Смешно, — сказал он. — Сам придумал?

— Сам, — гордо сказал Андрей.

— Молодец, смешно... — Наставник опять засмеялся, крутя головой. Потом он сел в кресло и стал смотреть в сад. — А хорошо здесь у вас, на Белом Дворе, — сказал он.

Андрей обернулся и тоже посмотрел в сад. Залитая солнцем зелень, бабочки над цветами, неподвижные яблони, а метрах в двухстах, за кустами сирени — белые стены и красная крыша соседнего коттеджа... И Ван в длинной белой рубахе неторопливо, покойно шагает за стрекочущей машинкой, а его младшенький семенит рядом, ухватившись за его штанину...

— Да, Ван обрел покой, — сказал Наставник. — Может быть, это и есть самый счастливый человек в Городе.

— Очень может быть, — согласился Андрей. — Во всяком случае, про других своих знакомых я бы этого не сказал.

— Ну, такой уж у тебя сейчас круг знакомых, — возразил Наставник. — Ван среди них — исключение. Я бы даже просто сказал, что он вообще человек другого круга. Не твоего.

— Да-а, — задумчиво протянул Андрей. — А ведь когда-то вместе грузили мусор, за одним столом сидели, из одной кружки пили...

Наставник пожал плечами.

— Каждый получает то, чего он заслуживает.

— То, чего он добивается, — пробормотал Андрей.

— Можно и так сказать. Если угодно, это одно

и то же. Вану ведь всегда хотелось быть в самом низу. Восток есть Восток. Нам этого не понять. Вот и разошлись ваши дорожки.

— Самое забавное, — сказал Андрей, — что ведь мне с ним по-прежнему хорошо. У нас всегда есть о чем поговорить, есть что вспомнить... Когда я с ним, я никогда не испытываю неловкости.

— А он?

Андрей подумал.

— Не знаю. Но скорее да, чем нет. Иногда мне вдруг кажется, что он изо всех сил старается держаться от меня подальше.

Наставник потянулся, хрустнув пальцами.

— Да разве в этом дело? — сказал он. — Когда Ван сидит с тобой за бутылкой водки и вы вспоминаете, как оно все было, Ван отдыхает, согласись. А когда ты сидишь с полковником за бутылкой шотландского, разве кто-нибудь из вас отдыхает?

— Какой уж тут отдых, — пробормотал Андрей. — Чего там... Полковник мне просто нужен. А я — ему.

— А когда ты обедаешь с Гейгером? А когда пьешь пиво с Дольфюсом? А когда Чачуа рассказывает тебе по телефону новые анекдоты?..

— Да, — сказал Андрей. — Все это так. Да.

— У тебя разве что с одним Изей сохранились прежние отношения, да и то...

— Вот именно, — сказал Андрей. — Да и то.

— Не-ет, и речи быть не может! — сказал Наставник решительно. — Ты только представь себе: вот здесь сидит полковник, заместитель начальника штаба вашей армии, старый английский аристократ знаменитого рода. Вот здесь сидит Дольфюс, советник по строительству, знаменитый некогда в Вене инженер. И жена его — баронесса, прусская юнкерша. А напротив — Ван. Дворник.

— Н-да, — сказал Андрей. Он почесал в затылке и засмеялся. — Бестактно как-то получается...

— Нет-нет! Ты забудь про деловую бестактность, бог с ней. Ты представь себе, что Ван будет при этом чувствовать, каково будет ему?..

— Понимаю, понимаю... — сказал Андрей. — Понимаю... Да ну, все это вздор! Позову его завтра, сядем вдвоем, посидим, Мэйлинь с Сельмой чифань нам какой-нибудь смастерят, а мальчишке я «бульдог» подарю — есть у меня, без курка...

— Выпьете! — подхватил Наставник. — Расскажете друг другу что-нибудь из жизни, и ему есть тебе о чем рассказать, и ты тоже хороший рассказчик, а он ведь ничего не знает ни про Пенджикент, ни про Харбаз... Прекрасно будет! Я

даже немножко завидую.

— А вы приходите, — сказал Андрей и засмеялся.

Наставник тоже засмеялся.

— Буду мысленно с вами, — сказал он.

В это время в парадной позвонили. Андрей посмотрел на часы — было ровно восемь.

— Это наверняка полковник, — сказал он и вскочил. — Я пойду?

— Ну разумеется! — сказал Наставник. — И прошу тебя, впредь никогда не забывай, что Ванов в Городе — сотни тысяч, а советников — всего двадцать...

Это действительно был полковник. Он всегда являлся в точно назначенный срок, а следовательно — первым. Андрей встретил его в прихожей, пожал ему руку и пригласил в кабинет. Полковник был в штатском. Светло-серый костюм сидел на нем, как на манекене, седые редкие волосы были аккуратно зачесаны, туфли сияли, гладко выбритые щеки сияли тоже. Был он небольшого роста, сухой, с хорошей выправкой, но в то же время чуть расслабленный, без этой деревянности, столь характерной для немецких офицеров, которых в армии было полным-полно.

Войдя в кабинет, он остановился перед ковром

и, заложив за спину сухие белые руки, некоторое время молча обозревал багрово-черное великолепие вообще и развешенное на этом фоне оружие в частности. Потом он сказал: «О!» и посмотрел на Андрея с одобрением.

— Садитесь, полковник, — сказал Андрей. — Сигару? Виски?

— Благодарю, — сказал полковник, усаживаясь. — Капля возбуждающего не помешает. — Он извлек из кармана трубку. — Сегодня был бешеный день, — объявил он. — Что там произошло у вас на площади? Мне приказали поднять казармы по тревоге.

— Какой-то болван, — сказал Андрей, роясь в баре, — получил на складе динамит и не нашел лучшего места споткнуться, как у меня под окнами.

— А, значит, никакого покушения не было?

— Господь с вами, полковник! — сказал Андрей, наливая виски. — Здесь у нас все-таки не Палестина.

Полковник усмехнулся и принял от Андрея бокал.

— Вы правы. В Палестине инциденты такого рода никого не удивляли. Впрочем, и в Йемене тоже...

— А вас, значит, подняли по тревоге? — спросил Андрей, усаживаясь со своим бокалом напротив.

— Представьте себе. — Полковник отхлебнул из бокала, подумал, задравши брови, потом осторожно поставил бокал на телефонный столик рядом с собой и принялся набивать трубку. Руки у него были старческие, с серебристым пушком, но не дрожали.

— И какова же оказалась боевая готовность войск? — осведомился Андрей, тоже отхлебывая из бокала.

Полковник снова усмехнулся, и Андрей ощутил мгновенную зависть — ему очень хотелось бы уметь усмехаться так же.

— Это военная тайна, — сказал полковник. — Но вам я скажу. Это было ужасно! Такого я не видывал даже в Йемене. Да что там Йемен! Такого я не видывал, даже когда дрессировал этих чернозадых в Уганде!.. Половины солдат в казармах не оказалось вовсе. Половина другой половины явилась по тревоге без оружия. Те, кто явился с оружием, не имели боеприпасов, потому что начальник склада боепитания вместе с ключами отрабатывал свой час на Великой Стройке...

— Вы, я надеюсь, шутите, — сказал Андрей.

Полковник раскурил трубку и, разгоняя дым

ладонью, посмотрел на Андрея бесцветными старческими глазами. Вокруг глаз у него была масса морщинок, и казалось, что он смеется.

— Может быть, я немного и преувеличил, — сказал он, — однако посудите сами, советник. Наша армия создана без всякой определенной цели, только потому, что некое известное нам обоим лицо не мыслит государственной организации без армии. Очевидно, что никакая армия не способна нормально функционировать, если отсутствует реальный противник. Пусть даже только потенциальный... От начальника генерального штаба и до последнего кашевара вся наша армия сейчас проникнута убеждением, что эта затея есть просто игра в оловянные солдатики.

— А если предположить, что потенциальный противник все же существует?

Полковник снова окутался медвяным дымом.

— Тогда назовите его нам, господа политики!

Андрей снова отхлебнул из бокала, подумал и спросил:

— А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?

— Ну-у... я бы не назвал это собственно опе-

ративными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса?

— Что ж, — сказал Андрей. — Я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует...

— «Что-нибудь вроде» существует и у нас, — сказал полковник. — Мы не ждем вторжения ни сверху, ни снизу. Мы не допускаем возможности серьезной угрозы с юга... исключая, разумеется, возможность успешного бунта уголовников, работающих на поселениях, но к этому мы готовы... Остается север. Мы знаем, что во время Поворота и после него на север бежало довольно много сторонников прежнего режима. Мы допускаем — теоретически, — что они могут организоваться и предпринять какую-нибудь диверсию или даже попытку реставрации... — Он затянулся, сипя трубкой. — Однако при чем здесь армия? Очевидно, что на случай всех этих угроз вполне достаточно специальной полиции господина советника Румера, а в тактическом отношении — самой вульгарной кордонной тактики...

Андрей подождал немного и спросил:

— Надо ли понимать вас так, полковник, что генеральный штаб не готов к серьезному втор-

жению с севера?

— Вы имеете в виду вторжение марсиан? — сказал полковник задумчиво. — Нет, не готов. Я понимаю, что вы хотите сказать. Но у нас нет разведки. Возможность такого вторжения никто и никогда серьезно не рассматривал. У нас попросту нет для этого никаких данных. Мы не знаем, что творится уже на пятидесятом километре от Стеклянного Дома. У нас нет карт северных окрестностей... — Он засмеялся, выставив длинные желтоватые зубы. — Городской архивариус господин Кацман предоставил в распоряжение генштаба что-то вроде карты этих районов... Как я понимаю, он составил ее сам. Этот замечательный документ хранится у меня в сейфе. Он оставляет вполне определенное впечатление, что господин Кацман исполнял эту схему за едой и неоднократно ронял на нее свои бутерброды и проливал кофе...

— Однако же, полковник, — сказал Андрей с упреком, — моя канцелярия представила вам, по-моему, совсем неплохие карты!

— Несомненно, несомненно, советник. Но это, главным образом, карты обитаемого Города и южных окрестностей. Согласно основной установке, армия должна находиться в боевой готовности

на случай беспорядков, а беспорядки могут иметь место именно в упомянутых районах. Таким образом, проделанная вами работа совершенно необходима, и, благодаря вам, к беспорядкам мы готовы. Однако что касается вторжения... — Полковник покачал головой.

— Насколько я помню, — сказал Андрей значительно, — моя канцелярия не получала от генштаба никаких заявок на картографирование северных районов.

Некоторое время полковник смотрел на него, трубка его погасла.

— Надо сказать, — медленно проговорил он, — что с такими заявками мы обращались лично к президенту. Ответы были, признаться, совершенно неопределенные... — Он снова помолчал. — Так вы полагаете, советник, что для пользы дела с такими заявками надо обращаться к вам?

Андрей кивнул.

— Сегодня я обедал у президента, — сказал он. — Мы много говорили на эту тему. Вопрос о картографировании северных районов в принципе решен. Однако необходимо посильное участие военных специалистов. Опытный оперативный работник... ну, вы, несомненно, понимаете.

— Понимаю, — сказал полковник. — Кстати, где

вы раздобыли такой маузер, советник? В последний раз, если не ошибаюсь, я видел подобные чудовища в Батуми, году в восемнадцатом...

Андрей принялся рассказывать ему, где и как он достал этот маузер, но тут в передней раздался новый звонок. Андрей извинился и пошел встречать.

Он надеялся, что это будет Кацман, однако, противу всяких ожиданий, это оказался Отто Фрижа, которого Андрей, собственно, и не приглашал вовсе. Как-то из головы вылетело. Отто Фрижа постоянно вылетал у него из головы, хотя как начальник АХЧ Стеклянного Дома он был человеком в высшей степени полезным и даже незаменимым. Впрочем, Сельма этого обстоятельства не забывала никогда. Вот и сейчас она принимала от Отто аккуратную корзинку, заботливо прикрытую тончайшей батистовой салфеточкой, и маленький букетик цветов. Отто был милостиво допущен к руке. Он щелкал каблуками, краснел ушами и был, очевидно, счастлив.

— А, дружище, — сказал ему Андрей. — Вот и ты!

Отто был все такой же. Андрей вдруг почему-то подумал, что из всех старичков Отто изменился меньше всех. Собственно, совсем не изменился.

Все та же цыплячья шея, огромные оттопыренные уши, выражение постоянной неуверенности на веснушчатой физиономии. И щелкающие каблуки. Он был в голубой форме спецполиции и при квадратной медальке «За заслуги».

— Большущее тебе спасибо за ковер, — говорил Андрей, обняв его за плечи и ведя к себе в кабинет. — Сейчас я тебе покажу, как он у меня выглядит... Пальчики оближешь, от зависти помрешь...

Однако, попавши в кабинет, Отто Фрижа не стал ни облизывать себе пальцы, ни, тем более, помирать от зависти. Он увидел полковника.

Ефрейтор фольксштурма Отто Фрижа испытывал к полковнику Сент-Джеймсу чувства, граничащие с благоговением. В присутствии полковника он вовсе терял дар речи, стальными болтами закреплял на своей физиономии улыбку и готов был стучать каблуком о каблук в любой момент, непрерывно и со все возрастающей силой.

Повернувшись к знаменитому ковру спиной, он стал по стойке «смирно», выпятил грудь, прижал ладони к бедрам, растопырил локти и столь резко мотнул головой в поклоне, что у него на весь кабинет хрустнули шейные позвонки. Лениво улыбаясь, полковник поднялся ему навстречу

и протянул руку. В другой руке у него был бокал.

— Очень рад вас видеть... — произнес он. — Приветствую вас, господин... ум-м...

— Ефрейтор Отто Фрижа, господин полковник! — с восторгом взвизгнул Отто, согнулся пополам и щепотно потрогал пальцы полковника. — Честь имею явиться!..

— Отто, Отто! — укоризненно сказал Андрей. — Мы здесь без чинов!

Отто жалобно хихикнул, вынул платок и вытер было лоб, но тут же испугался и принялся запихивать платок обратно, не попадая в карман.

— Помнится, под Эль-Аламейном, — сказал полковник добродушно, — мои ребята привели ко мне немецкого фельдфебеля...

В передней снова раздался звонок, и Андрей, вновь извинившись, вышел, оставив несчастного Отто на съедение британскому льву.

Явился Изя. Пока он целовал Сельму в обе щеки, пока он чистил по ее требованию ботинки и подвергался обработке платяной щеткой, ввалились разом Чачуа и Дольфюс с Дольфюсихой. Чачуа волочил Дольфюсиху под руку, на ходу одолевая ее анекдотами, а Дольфюс с бледной улыбкой тащился сзади. На фоне темпераментного начальника юридической канцелярии он казался

особенно серым, бесцветным и незначительным. На каждой руке у него было по теплому плащу на случай ночного похолодания.

— К столу, к столу! — нежным колокольчиком зазвенела Сельма, хлопая в ладоши.

— Дорогая! — запротестовала басом Дольфюсиха. — Но мне же нужно привести себя в порядок!..

— Зачем?! — поразился Чачуа, вращая налитыми белками. — Такую красоту — и еще приводить в какой-то порядок? В соответствии со статьей двести восемнадцатой уголовно-процессуального кодекса закон имеет воспрепятствовать...

Поднялся обычный гвалт. Андрей не успевал улыбаться. Над левым его ухом клокотал и булькал Изя, излагая что-то по поводу дикого кабака в казармах во время сегодняшней боевой тревоги, а над правым — Дольфюс с места в карьер бубнил о сортирах и о главной канализационной магистрали, близкой к засорению... Потом все повалили в столовую. Андрей, приглашая, рассаживая, напропалую отпуская остроты и комплименты, увидел краем глаза, как отворилась дверь кабинета и оттуда, засовывая трубку в боковой карман, вышел улыбающийся полковник. Один. Сердце у Андрея упало, но тут появился и

ефрейтор Отто Фрижа — по-видимому, он просто выдерживал предписываемую строевым уставом дистанцию в пять метров позади старшего по званию. Началось трескучее щелканье каблуками.

— Пить будем, гулять будем!.. — гортанно ревел Чачуа.

Зазвенели ножи и вилки. Не без труда водворив Отто между Сельмой и Дольфюсихой, Андрей сел на свое место и оглядел стол. Все было хорошо.

— И представьте, дорогая, в ковре оказалась вот такая дыра! Это в ваш огород, господин Фрижа, гадкий мальчишка!..

— Говорят, вы там расстреляли кого-то перед строем, полковник?

— И запомните мои слова: канализация, именно канализация когда-нибудь загубит наш город!..

— С такой красотой и такую маленькую рюмку?!.

— Отто, миленький, да оставь ты эту кость... Вот хороший кусочек!..

— Нет, Кацман, это военная тайна. Хватит с меня тех неприятностей, которые я претерпел от евреев в Палестине...

— Водки, советник?

— Благодарю вас, советник!

И щелкали под столом каблуки.

Андрей выпил подряд две рюмки водки — для разгону, — с удовольствием закусил и стал вместе со всеми слушать бесконечно длинный и фантастически неприличный тост, провозглашаемый Чачуа. Когда, наконец, выяснилось, что советник юстиции поднимает этот маленький-маленький бокал с большим-большим чувством не для того, чтобы агитировать присутствующих за все перечисленные половые извращения, а всего лишь «за самых злых и беспощадных моих врагов, с которыми я всю жизнь сражаюсь и от которых всю жизнь терплю поражения, а именно — за прекрасных женщин!..», Андрей облегченно расхохотался вместе со всеми и хлопнул третью рюмку. Дольфюсиха в совершенном изнеможении гукала и рыдала, прикрываясь салфеткой.

Все как-то очень быстро надрались. «Да! О да!» — знакомо доносилось с дальнего конца стола. Чачуа, нависнув шевелящимся носом над ослепительным декольте Дольфюсихи, говорил, не умолкая ни на секунду. Дольфюсиха изнеможенно гукала, игриво отшатывалась от него и широченной своею спиной наваливалась на Отто. Отто уже два раза уронил вилку. Под боком у Андрея Дольфюс, оставив наконец в покое

канализацию, не к месту и не ко времени впал в служебный энтузиазм и напропалую выдавал государственные тайны. «Автономия! — угрожающе бубнил он. — Ключ к ан... авн... автономии — хлорелла!.. Великая Стройка?.. Не смешите меня. Какие, к дьяволу, дирижабли? Хлорелла!» — «Советник, советник, — урезонивал его Андрей. — Ради бога! Это совершенно необязательно знать всем. Расскажите мне лучше, как обстоят дела с лабораторным корпусом...» Прислуга уносила грязные тарелки и приносила чистые. Закуски уже смели, было подано мясо по-бургундски.

— Я поднимаю этот маленький-маленький бокал!..

— Да, о да!

— Гадкий мальчишка! Да как же можно вас не любить?

— Изя, отстань от полковника! Полковник, хотите я сяду рядом с вами?

— Четырнадцать кубометров хлореллы — это ноль... Автономия!

— Виски, советник?

— Бл'рю вас, советник!

В разгар веселья в столовой вдруг обнаружился румяный Паркер. «Господин президент просит извинить, — доложил он. — Срочное совещание.

Он передает горячий привет госпоже и господину Ворониным, а равно и всем их гостям...» Паркера заставили выпить водки — для этого понадобился всесокрушающий Чачуа. Был произнесен тост за президента и за успех всех его начинаний. Стало немного тише, уже был подан кофе с мороженым и с ликерами. Отто Фрижа слезливо жаловался на любовные неудачи. Дольфюсиха рассказывала Чачуа про милый Кенигсберг, на что Чачуа кивал носом и страстно приговаривал: «А как же! Помню... Генерал Черняховский... Пять суток пушками ломали...» Паркер исчез, за окнами было уже темно. Дольфюс жадно пил кофе и развивал перед Андреем фантасмагорические проекты реконструкции северных кварталов. Полковник рассказывал Изе: «...ему дали десять суток за хулиганство и десять лет каторжных работ за разглашение государственной и военной тайны». Изя брызгал, булькал и отвечал: «Да это же старье, Сент-Джеймс! У нас это еще про Хрущева рассказывали!..» — «Опять политика!» — обиженно кричала Сельма. Она все-таки втиснулась между Изей и полковником, и старый воин по-отечески гладил ее коленку.

Андрею вдруг стало грустно. Он извинился в пустоту, встал и на онемевших ногах прошел

в свой кабинет. Там он уселся на подоконнике, закурил и стал смотреть в сад.

В саду было черным-черно, сквозь черную листву сиреневых кустов ярко светились окна соседнего коттеджа. Ночь была теплая, в траве шевелились светлячки. А завтра что? — подумал Андрей. Ну, схожу я в эту экспедицию, ну, разведаю... оружия притащу оттуда кучу, разберу, повешу... а дальше что?

В столовой галдели. «А вы знаете, полковник? — орал Изя. — Союзное командование предлагает за голову Чапаева двадцать тысяч!..» И Андрей сразу вспомнил продолжение: «Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и больше. Ведь за ними Гурьев, а в Гурьеве — нефть. Хе-хе-хе». — «...Чапаев? — спрашивал полковник. — А, это ваш кавалерист. Но его же, кажется, расстреляли?..»

Сельма вдруг затянула высоким голосом: «А наутро Катю... будила ё ма-а-ать... Ставай, ставай, Катя. Корабли стоять...» Но ее тут же перебил бархатный рев Чачуа: «Я принес тебе цветы... Ах, какие чудные цветы!.. У меня ты те цветы не взяла... Почему не взяла?..»

Андрей закрыл глаза и вдруг с необычайно острой тоской вспомнил про дядю Юру. И Вана

нет за столом, и дяди Юры нет... Ну на кой ляд, спрашивается, мне этот Дольфюс?.. Призраки окружили его.

На кушетке сидел Дональд в своей потрепанной техасской шляпе. Он положил ногу на ногу и обхватил острое колено крепко сцепленными пальцами. Уходя не грусти, приходя не радуйся... А за стол уселся Кэнси в старой полицейской форме — упер локоть в стол и положил подбородок на кулак. Он смотрел на Андрея без осуждения, но и теплоты не было в этом взгляде. А дядя Юра похлопывал Вана по спине и приговаривал: «Ничего, Ваня, не горюй, мы тебя министром сделаем, в «Победе» ездить будешь...» И знакомо, нестерпимо щемяще запахло махоркой, здоровым потом и самогоном. Андрей с трудом перевел дух, потер онемевшие щеки и снова стал глядеть в сад.

В саду стояло Здание.

Оно стояло прочно и естественно среди деревьев, словно оно было здесь давно, всегда, и намерено простоять до скончания веков — красное, кирпичное, четырехэтажное — и, как тогда, окна нижнего этажа были забраны ставнями, а крыша была крыта оцинкованной жестью, к двери вело крыльцо из четырех каменных ступенек, а рядом с единственной трубой торчала странная

крестовидная антенна. Но теперь все окна его были темны, и ставен на нижнем этаже кое-где не хватало, а стекла были грязные, с потеками, с трещинами, кое-где заменены фанерными покоробленными щитами, а кое-где заклеены крест-накрест полосками бумаги. И не было больше торжественной и мрачной музыки — от Здания невидимым туманом ползла тяжелая ватная тишина.

Не размышляя ни секунды, Андрей перекинул ноги через подоконник и спрыгнул в сад, в мягкую густую траву. Он пошел к Зданию, распугивая светлячков, все глубже зарываясь в мертвую тишину, не спуская глаз со знакомой медной ручки на дубовой двери, только теперь эта ручка была тусклая и покрыта зеленоватыми пятнами.

Он поднялся на крыльцо и оглянулся. В ярко освещенных окнах столовой весело прыгали, ломаясь причудливо, человеческие тени, слабо доносилась плясовая музыка и почему-то опять звон ножей и вилок. Он махнул на все это рукой, отвернулся и взялся за влажную резную медь. В прихожей было теперь полутемно, сыро и затхло, разлапистая вешалка торчала в углу, голая, как мертвое высохшее дерево. На мраморной лестнице не было ковра и не было металличе-

ских прутьев — остались только прозеленевшие кольца, старые пожелтевшие окурки да какой-то неопределенный мусор на ступенях. Тяжело ступая и ничего не слыша, кроме своих шагов и своего дыхания, Андрей медленно поднялся на верхнюю площадку.

Из давно погасшего камина несло застарелой гарью и аммиаком, что-то едва слышно копошилось там, шуршало и топотало. В огромном зале было все так же холодно, дуло по ногам, черные пыльные тряпки свисали с невидимого потолка, мраморные стены темнели неопрятными подозрительными пятнами и блестели потеками сырости, золото и пурпур с них осыпались, а горделиво-скромные бюсты — гипсовые, мраморные, бронзовые, золотые — слепо и скорбно глядели из ниш сквозь клочья пыльной паутины. Паркет под ногами трещал и подавался при каждом шаге, на замусоренном полу лежали лунные квадраты, а впереди уходила вглубь и вдаль какая-то галерея, в которой Андрей никогда раньше не бывал. И вдруг целая стая крыс выскочила у него из-под ног, с писком и топотаньем пронеслась по галерее и исчезла в темноте.

Где же все они? — беспорядочно думал Андрей, бредя по галерее. Что с ними сталось? — думал

он, спускаясь в затхлые недра по гремящим железным лестницам. Как же все это произошло? — думал он, переходя из комнаты в комнату, а под ногами его хрустела осыпавшаяся штукатурка, скрипело битое стекло, чавкала заросшая пушистыми холмиками плесени грязь... и сладковато пахло разложением, и где-то тикала, падая капля за каплей, вода, и на ободранных стенах чернели огромные, в мощных рамах картины, на которых ничего нельзя было разобрать...

Теперь здесь всегда так будет, думал Андрей. Что-то я сделал такое, что-то мы все сделали такое, что теперь здесь так будет всегда. Оно больше не сдвинется с места, оно навсегда останется здесь, оно будет гнить и разрушаться, как обыкновенный дряхлый дом, и в конце концов его разобьют чугунными бабами, мусор сожгут, а горелые кирпичи вывезут на свалку... Ведь ни одного же голоса! И вообще ни одного звука, только крысы в отчаянии пищат по углам...

Он увидел огромный шведский шкаф со шторной дверью и вдруг вспомнил, что точно такой же шкаф стоит у него в маленькой комнатушке — шесть квадратных метров, единственное окно во двор-колодец, рядом — кухня. На шкафу полно старых газет, свернутых в рулоны плакатов,

которые до войны коллекционировал отец, и еще какого-то лежалого бумажного хлама... и когда огромной крысе мышеловкой раздробило морду, она как-то ухитрилась забраться на этот шкаф и долго там шуршала и копошилась, и каждую ночь Андрей боялся, что она свалится ему на голову, а однажды взял бинокль и издали, с подоконника, посмотрел, что там делается, среди бумаги. Он увидел — или ему показалось, что он увидел? — торчащие уши, серую голову и страшный, блестящий, словно лакированный, пузырь вместо морды. Это было так жутко, что он выскочил из своей комнаты и некоторое время сидел в коридоре на сундуке, чувствуя слабость и тошноту внутри. Он был один в квартире, ему некого было стесняться, но ему было стыдно за свой страх, и в конце концов он поднялся, пошел в большую комнату и там завел на патефоне «Рио-риту»... А еще через несколько дней в его комнатушке появился сладковатый тошнотный запах, такой же, как здесь...

В глубоком, как колодец, сводчатом помещении странно и неожиданно отсвечивал рядами свинцовых труб огромный орган, давно уже мертвый, остывший, немой, как заброшенное кладбище музыки. А около органа, рядом с креслом органи-

ста, лежал, скрючившись, человечек, закутанный в драный ковер, и в головах у него поблескивала пустая бутылка из-под водки. Андрей понял, что все действительно кончено, и торопливо пошел к выходу.

Спустившись с крыльца в свой сад, он увидел Изю. Изя был непривычно пьяный и весь какой-то особенно растерзанный и взлохмаченный. Он стоял, покачиваясь, держась одной рукой за ствол яблони, и смотрел на Здание. В сумраке блестели его зубы, обнаженные застывшей улыбкой.

— Все, — сказал ему Андрей. — Конец.

— Бред взбудораженной совести! — произнес Изя невнятно.

— Одни крысы бегают, — сказал Андрей. — Гниль.

— Бред взбудораженной совести... — повторил Изя и хихикнул.

Часть пятая. Разрыв непрерывности

Глава первая

Преодолев спазм, Андрей проглотил последнюю ложку размазни, с отвращением оттолкнул манерку и потянулся за кружкой. Чай был еще горячий. Андрей взял кружку в ладони и принялся отхлебывать маленькими глотками, уставясь в шипящий огонек бензиновой лампы. Чай был необычайно крепкий, перестоявшийся, от него разило веником, и был у него еще какой-то привкус — то ли от этой гнусной воды, которую они набрали на восемьсот двадцатом километре, то ли Кехада опять подсыпал всему командному составу своей дряни от поноса. А может быть, просто кружку плохо отмыли — была она сегодня какая-то особенно сальная и липкая.

За окном внизу побрякивали котелками солдаты. Остряк Тевосян отмочил что-то насчет Мымры, солдаты заржали было, но тут сержант Фогель заорал вдруг прусским голосом: «Вы на пост мне идете или к бабе под одеяло, вы, земноводное! Почему босиком? Где ваша обувь, троглодит?» Угрюмый голос отозвался в том смысле, что ноги, мол, стерты до мяса, а местами и до костей. «Закройте пасть, корова крытая!

Немедленно обуться — и на пост! Живо!..»

Андрей с наслаждением пошевелил под столом пальцами босых ног. Ноги уже слегка отдышались на прохладном паркете. Холодной бы воды полный таз... Ноги бы туда... Он заглянул в кружку. Чаю оставалось еще до половины, и Андрей, мысленно послав все к чертовой матери, неожиданно для самого себя вылакал остаток в три огромных сладострастных глотка. В животе сразу же заурчало. Некоторое время Андрей опасливо прислушивался к тому, что там происходит, потом отставил кружку, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на железный ящик с документами. Рапорты надо бы вчерашние достать. Неохота. Успею. Сейчас бы лечь, вытянуться во всю длину, курткой прикрыться и завести глаза минуток этак на шестьсот...

За окном внезапно и неистово затрещал двигатель трактора. Задребезжали остатки стекол в окнах, рядом с лампой упал с потолка кусок штукатурки. Пустая кружка, мелко подрагивая, поползла к краю стола. Андрей, весь сморщившись, поднялся, прошлепал босыми ногами к окну и выглянул.

В лицо пахнуло жаром не успевшей остыть улицы, едкой гарью выхлопов, тошнотной вонью

разогретого масла. В пыльном свете подвижной фары бородатые люди, рассевшись прямо на мостовой, лениво ковырялись ложками в манерках и котелках. Все они были босы, и почти все разделись до пояса. Потные белые тела лоснились, а лица казались черными, и кисти рук были черные, словно все они были в перчатках. Андрей вдруг обнаружил, что никого из них не узнает. Стадо незнакомых голых обезьян... В круг света вступил сержант Фогель с громадным алюминиевым чайником в руке, и обезьяны сейчас же зашевелились, заволновались, заерзали и потянули к чайнику свои кружки. Отталкивая кружки свободной рукой, сержант принялся орать, но за треском двигателя его было почти не слышно.

Андрей вернулся за стол, рывком откинул крышку ящика и извлек журнал и вчерашние рапорты. На стол с потолка упал еще один кусок штукатурки. Андрей посмотрел наверх. Комната была высоченная — метра четыре, а то и все пять. Лепной потолок местами осыпался, и видна была дранка, наводящая на сладостные воспоминания о домашних пирогах с повидлом, которые подавались к огромному количеству прекрасно заваренного, прозрачного, в прозрачных тонкостенных стаканах чая. С лимоном. Или можно

было просто взять пустой стакан и набрать на кухне сколько угодно чистой холодной воды...

Андрей мотнул головой, снова поднялся и наискосок через всю комнату прошел к огромному книжному шкафу. Стекол в дверцах не было, и книг тоже не было — были пустые пыльные полки. Андрей уже знал это, но все-таки еще раз осмотрел их и даже пошарил рукой в темных углах.

Комната, надо сказать, сохранилась неплохо. Были в ней два вполне приличных кресла и еще одно с продранным сиденьем — когда-то роскошное, обитое тисненой кожей. У стены напротив окна выстроились рядком несколько стульев, и стоял посередине комнаты столик на коротких ножках, и на столике — хрустальная вазочка с какой-то черной засохшей дрянью внутри. Обои отстали от стен, а местами и совсем отвалились, паркет рассохся и вспучился, но все-таки комната была в очень приличном состоянии — совсем недавно здесь еще жили, лет десять тому назад, не больше.

Впервые после пятисотого километра Андрей видел настолько хорошо сохранившийся дом. После многих километров выгоревших дотла кварталов, превратившихся в черную обуг-

ленную пустыню; после многих километров сплошных руин, поросших бурой колючкой, среди которых нелепо возвышались дрожащие от ветхости пустые многоэтажные коробки с давно уже обрушившимися перекрытиями; после многих и многих километров пустырей, усаженных сгнившими срубами без крыш, где весь уступ просматривался с дороги от Желтой Стены на востоке и до края обрыва на западе — после всего этого здесь снова начинались почти целые кварталы, выложенная булыжником дорога, и может быть, где-то здесь были люди — во всяком случае, полковник приказал удвоить караулы.

Интересно, как там полковник. Старик что-то сдал за последнее время. Впрочем, за последнее время все сдали. Очень кстати, что именно сейчас, впервые за двенадцать суток, ночевка будет под крышей, а не под голым небом. Воду бы здесь найти — можно было бы сделать большой привал. Только воды здесь, кажется, снова не будет. Во всяком случае, Изя говорит, что на воду здесь рассчитывать не стоит. Во всем этом стаде только от Изи да от полковника и есть толк...

В дверь постучали, еле слышно за треском двигателя. Андрей поспешно вернулся на место, накинул куртку и, раскрывая журнал, гаркнул:

— Да!

Это был всего лишь Даган — сухой, старый, под стать своему полковнику, гладко выбритый, опрятный, застегнутый на все пуговицы.

— Разрешите прибрать, сэр? — прокричал он.

Андрей кивнул. Господи, подумал он. Это же сколько сил надо потратить, чтобы так соблюдать себя в этом кабаке... А ведь он не офицер, он даже не сержант — всего-навсего денщик. Холуй.

— Как там полковник? — спросил он.

— Виноват, сэр? — Даган с грязной посудой в руках замер, повернув к Андрею длинное хрящеватое ухо.

— Как себя чувствует полковник?! — заорал Андрей, и в ту же самую секунду двигатель за окном замолчал.

— Полковник пьет чай! — заорал Даган в наступившей тишине и сейчас же сконфуженно добавил, понизив голос: — Виноват, сэр. Полковник чувствует себя удовлетворительно. Поужинал и теперь пьет чай.

Андрей рассеянно кивнул и перебросил несколько страниц журнала.

— Будут какие-нибудь приказания, сэр? — осведомился Даган.

— Нет, спасибо, — сказал Андрей.

Когда Даган вышел, Андрей взялся, наконец, за вчерашние рапорты. Вчера он так ничего и не записал. Его так несло, что он едва досидел до конца вечернего рапорта, а потом маялся полночи — торчал на корточках посреди дороги голым гузном в сторону лагеря, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в ночной мрак, с пистолетом в одной руке и с фонариком в другой.

«День 28-й», — вывел он на чистой странице и подчеркнул написанное двумя жирными линиями. Затем он взял рапорт Кехады.

«Пройдено 28 км, — записал он. — Высота солнца 63°51'13".2 (979-й км). Средняя температура: в тени +23°С, на солнце +31°С. Ветер 2,5 м/сек., влажность 0,42. Гравитация 0,998. Проводилось бурение — 979-й, 981-й, 986-й км. Воды нет. Расход топлива...» Он взял рапорт Эллизауэра, захватанный испачканными смазкой пальцами, и долго разбирал куриный почерк.

«Расход топлива 1,32 нормы. Остаток на конец 28-го дня — 3200 кг. Состояние двигателей: № 1 — удовлетворительное; № 2 — изношены пальцы и что-то с цилиндрами...»

Что именно случилось с цилиндрами, Андрей так и не разобрал, хотя подносил листок к самому огню лампы.

«Состояние личного состава: физическое состояние — почти у всех потертости ног, не прекращается поголовный понос, у Пермяка и Палотти усиливается сыпь на плечах. Раненых нет, травм нет. Особых происшествий не произошло. Дважды показывались акульи волки, отогнаны выстрелами. Расход боепитания 12 патронов. Расход воды 40 л. Остаток на конец 28-го дня 1100 кг. Расход продовольствия 20 норм. Остаток на конец 28-го дня 730 норм...»

За окном пронзительно заверещала Мымра, густо заржали прокуренные глотки. Андрей поднял голову, прислушиваясь. А черт его знает, подумал он. Может, это и неплохо, что она с нами увязалась. Все-таки какое ни есть, а для ребят развлечение... Драться вот только из-за нее что-то стали последнее время.

В дверь опять постучали.

— Войдите, — сказал Андрей недовольно.

Вошел сержант Фогель — громадный, красномордый, с широкими черными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек френча.

— Сержант Фогель просит разрешения обратиться к господину советнику! — гаркнул он, прижав ладони к бедрам и растопырив локти.

— Слушаю вас, сержант, — сказал Андрей.

Сержант покосился на окно.

— Прошу разрешения говорить конфиденциально, — сказал он, понизив голос.

Это что-то новенькое, подумал Андрей с неприятным ощущением.

— Проходите, садитесь, — сказал он.

Сержант на цыпочках приблизился к столу, присел на краешек кресла и нагнулся к Андрею.

— Люди не хотят идти дальше, — произнес он вполголоса.

Андрей откинулся на спинку стула. Так. Вот, значит, до чего дожили... Прелестно... Поздравляю, господин советник...

— Что значит — не хотят? — сказал он. — Кто их спрашивает?

— Измотаны, господин советник, — сказал Фогель доверительно. — Курево кончается, поносы замучили. А главное — боятся. Страшно, господин советник.

Андрей молча смотрел на него. Надо было что-то делать. Немедленно. Но он не знал, что именно.

— Одиннадцать дней идем по безлюдью, господин советник, — продолжал Фогель почти шепотом. — Господин советник помнит, как нас предупреждали, что будет тринадцать дней

безлюдья, а потом — всем конец. Два дня всего осталось, господин советник...

Андрей облизал губы.

— Сержант, — сказал он. — Стыдно. Старый вояка, а верите бабьим слухам. Не ожидал!

Фогель криво ухмыльнулся, двинув огромной нижней челюстью.

— Никак нет, господин советник. Меня не испугаешь. Будь у меня там, — он ткнул большим корявым пальцем за окно, — будь у меня там одни немцы или хотя бы япошки, такого разговора у нас бы не было, господин советник. Но у меня там сброд. Итальяшки, армяне какие-то...

— Отставить, сержант! — возвысив голос, сказал Андрей. — Стыдно. Устава не знаете! Почему обращаетесь не по команде? Что за распущенность, сержант? Встать!

Фогель тяжело поднялся и принял стойку «смирно».

— Сядьте, — сказал Андрей, выдержав паузу.

Фогель так же тяжело сел, и некоторое время они молчали.

— Почему обратились ко мне, а не к полковнику?

— Виноват, господин советник. Я обращался к господину полковнику. Вчера.

— Ну и что?

Фогель замялся и отвел глаза.

— Господину полковнику было не угодно принять мое донесение к сведению, господин советник.

Андрей усмехнулся.

— Вот именно! Какой же вы, к чертовой матери, сержант, если не умеете держать своих людей в порядке? Страшно им, видите ли! Дети малые... Они вас должны бояться, сержант! — заорал он. — Вас! А не тринадцатого дня!

— Если бы это были немцы... — снова начал Фогель угрюмо.

— Это что же такое? — вкрадчиво сказал Андрей. — Я, начальник экспедиции, должен учить вас, как распоследнего сопляка, что надо делать, когда подчиненные бунтуют? Стыдно, Фогель! Если не знаете, почитайте устав. Насколько мне известно, там все это предусмотрено.

Фогель опять ухмыльнулся, двинув нижней челюстью. По-видимому, в уставе такие случаи все-таки не предусматривались.

— Я был о вас лучшего мнения, Фогель, — резко сказал Андрей. — Гораздо лучшего! Зарубите себе на носу: хотят ваши люди идти или не хотят — никого здесь не интересует. Все мы хотели бы

сейчас сидеть дома, а не шляться по этому пеклу. Всем хочется пить, и все измотаны. И тем не менее, все выполняют свой долг, Фогель. Ясно?

— Слушаюсь, господин советник, — проворчал Фогель. — Разрешите идти?

— Ступайте.

Сержант удалился, беспощадно попирая сапогами рассохшийся паркет.

Андрей сбросил куртку и снова подошел к окну. Публика вроде бы угомонилась. В круге света возвышался невыносимо длинный Эллизауэр и, наклонившись, рассматривал какую-то бумагу, кажется, карту, которую держал перед ним широкий грузный Кехада. Вынырнув из темноты, мимо них прошел и скрылся в доме какой-то солдат — босой, полуголый, встрепанный, держа автомат за ремень. Там, откуда он шел, чей-то голос воззвал в темноте:

— Носатый! Эй, Тевосян!

— Чего тебе? — откликнулись с невидимой волокуши, где красными светляками разгорались и гасли огоньки сигарет.

— Фару поверни! Не видно здесь ни хрена...

— Да зачем тебе? В темноте не можешь?

— Загадили тут уже все... не знаю, куда ступить...

— Часовому не положено, — вмешался новый голос с волокуши. — Вали, где стоишь!

— Да посветите, мать вашу в душу! Задницу трудно вам поднять, что ли?

Длинный Эллизауэр распрямился, в два шага оказался около трактора и повернул прожектор вдоль улицы. Андрей увидел часового. Придерживая спущенные штаны, часовой неуверенно топтался на полусогнутых ногах возле той здоровенной железной статуи, которую какие-то чудаки умудрились возвести прямо на тротуаре у ближайшего перекрестка. Статуя изображала коренастого типа в чем-то вроде тоги, наголо обритого, с неприятной жабьей физиономией. В свете прожектора статуя казалась черной. Левая рука показывала в небеса, а правая с растопыренными пальцами простиралась над землей. Сейчас на этой руке висел автомат.

— Порядок, спасибочки вам! — обрадованно заорал часовой и прочно утвердился на корточках. — Можно гасить!

— Давай, давай, работай! — поощрили его с волокуши. — Мы тебя огнем прикроем в случае чего.

— Да свет-то уберите, ребята! — взмолился капризный часовой.

— Не убирайте, господин инженер, — посоветовали с волокуши. — Это он шутит. И по уставу не положено...

Но Эллизауэр все-таки убрал свет. Слышно было, как на волокуше возятся и похохатывают. Потом там засвистели дуэтом какой-то марш.

Все как всегда, подумал Андрей. Даже, пожалуй, они сегодня повеселее, чем обычно. Ни вчера, ни позавчера я этих шуточек не слыхал. Жилые дома, может быть?.. Да, очень может быть. Все пустыня, пустыня, а теперь все-таки дома. Можно хоть спокойно выспаться, волки не потревожат... Да только Фогель — не паникер. Не-ет, он не из таких... Андрей вдруг представил себе, как завтра он отдает приказ выступать, а они сбиваются в кучу, ощетиниваются автоматами и говорят: «Не пойдем!» Может быть, они потому и веселые сейчас — обо всем договорились между собой, порешили завтра повернуть назад («...а что он нам сделает, мозгляк, чиновник задрипанный?..»), и теперь им хоть трава не расти, сам черт им не брат, и все на свете они видели в гробу... И Кехада, сволочь, с ними. Он уже сколько дней ноет, что дальше идти бессмысленно... волком на меня смотрит на вечерних рапортах... ему же одно удовольствие будет, если я вернусь к Гейгеру ни

с чем, как мокрая курица...

Андрей зябко передернул плечами. Сам виноват, слюнтяй, распустил вожжи, демократ вшивый, народолюбец... Надо было тогда этого рыжего Хнойпека поставить к стенке, мерзавца, разом всю эту банду взять за глотку — они бы у меня сейчас по струночке ходили! Главное, случай-то какой был! Групповое изнасилование, причем зверское, причем туземки, причем несовершеннолетней туземки... И как этот Хнойпек нагло ухмылялся — нагло, сыто, отвратно, — когда я орал на них... и как они все позеленели, когда я вытащил пистолет... Ах, полковник, полковник! Либерал вы, а не боевой офицер! «Ну, зачем же сразу расстреливать, советник? Существуют же и иные методы воздействия!..» Не-ет, полковник, на этих Хнойпеков иными методами, как видно, не воздействуешь... А после этого все пошло сикось-накось. Девчонка увязалась за отрядом, я это обстоятельство позорно проморгал (от удивления, что ли?), а потом начались из-за нее драки и свары... И опять же, надо было к первой же драке привязаться, поставить кого-нибудь к стенке, а девку выпороть и вышвырнуть из лагеря вон... А только — куда ее вышвырнешь? Начались горелые кварталы, безводье, появились волки...

Внизу вдруг яростно зарычали, заматерились, что-то упало и покатилось с грохотом, и в круг света из подъезда, спиной вперед, вылетела совершенно голая обезьяна, шлепнулась на задницу, поднявши клуб пыли, и еще не успела подобрать ноги, как на нее из того же подъезда тигром сиганула вторая обезьяна, тоже голая, и они сцепились, покатились по булыжной мостовой, завывая и рыча, хрипя и плюясь, изо всех сил метеля друг друга.

Андрей, вцепившись одной рукой в подоконник, другой бестолково шарил у пояса, забыв, что кобура валяется в кресле, но тут из темноты вынырнул сержант Фогель, налетел, как черная потная туча, гонимая ураганом, навис над мерзавцами, и вот уже ухватил одного за волосы, другого за бороду, оторвал от земли, с сухим треском ударил друг о друга и отшвырнул от себя в разные стороны, как щенков.

— Очень хорошо, сержант! — раздался слабый, но твердый голос полковника. — Привязать негодяев на ночь к койкам, а завтра — на весь день в авангард вне очереди.

— Слушаюсь, господин полковник, — тяжело дыша отозвался сержант. Он глянул направо, где копошилась на булыжнике, силясь подняться, го-

лая обезьяна, и неуверенно добавил: — Осмелюсь доложить, господин полковник, один — не наш. Картограф Рулье.

Андрей замотал головой, освобождая место в глотке, и не своим голосом проревел:

— Картографа Рулье в авангард на три дня, с полной солдатской выкладкой! При повторении драки расстрелять обоих на месте! — В горле у него что-то болезненно сорвалось. — Расстреливать на месте всех мерзавцев, которые осмелятся драться! — просипел он.

Он пришел в себя уже за столом. Поздно, пожалуй, думал он, тупо разглядывая свои грязные подрагивающие пальцы. Поздно. Надо было раньше... Но вы у меня пойдете! Вы у меня будете делать, что вам приказывают! Половину я велю перестрелять... сам перестреляю... но другая половина у меня пойдет по струночке. Хватит... Хватит! А Хнойпеку — первая пуля при любых обстоятельствах. Первая!..

Он пошарил за спиной, вытянул кобуру с ремнем и достал пистолет. Ствол был забит грязью. Он потянул затвор. Затвор пошел туго, оттянулся до половины и застрял в таком положении. Ч-черт, все завязло, все в грязи... За окном было тихо, только позвякивали в отдалении подковки

часовых по булыжнику, да еще кто-то сморкался в нижнем этаже и громко шипел сквозь зубы.

Андрей подошел к двери и выглянул в коридор.

— Даган! — позвал он вполголоса.

В углу что-то шевельнулось. Вздрогнув, Андрей присмотрелся: это был Немой. Он сидел в своей обычной позе, скрестив и каким-то очень сложным образом переплетя ноги. Глаза его влажно поблескивали в полутьме.

— Даган! — позвал Андрей громче.

— Иду, сэр! — откликнулись из глубины дома. Послышались шаги.

— Чего ты здесь сидишь? — сказал Андрей Немому. — Зайди в комнату.

Немой, не шевелясь, смотрел на него, подняв широкое лицо.

Андрей вернулся к столу и, когда Даган, постучав, заглянул в комнату, сказал ему:

— Приведите в порядок мой пистолет, пожалуйста.

— Слушаюсь, сэр, — почтительно сказал Даган, взял пистолет и у дверей посторонился, пропуская в комнату Изю.

— Ага, лампа! — сказал Изя, устремляясь прямо к столу. — Слушай, Андрей, а больше у нас нет

такой лампы? Надоело мне с фонариком, глаза уже болят...

За последние дни Изя здорово похудел. Все на нем висело, и все на нем было рваное. И разило от него, как от старого козла. Впрочем, и от всех так разило. Кроме полковника.

Андрей смотрел, как Изя, ни на что не обращая внимания, подхватил стул, уселся и придвинул к себе лампу. Потом он принялся доставать из-за пазухи пачки каких-то мятых старых бумаг и раскладывать их перед собой. При этом он по обыкновению слегка подпрыгивал на стуле, шарил по бумагам глазами, словно бы пытаясь прочесть все их сразу, и время от времени пощипывал бородавку. До этой бородавки ему теперь было трудненько добираться по причине густейшей курчавой волосни, покрывавшей щеки, шею и даже, кажется, уши.

— Слушай, ты бы побрился все-таки, — сказал Андрей.

— Зачем это? — рассеянно осведомился Изя.

— Весь командный состав бреется, — сказал Андрей сердито. — Один ты ходишь как чучело.

Изя поднял голову и некоторое время смотрел на Андрея, обнажив среди волосни желтоватые, давно не чищенные зубы.

— Да? — сказал он. — А ты знаешь, я — человек непрестижный. Смотри, какая на мне курточка.

Андрей посмотрел.

— Тоже, между прочим, мог бы заштопать. Сам не умеешь — Дагану отдай.

— По-моему, у Дагана и без меня дел хватает... Кстати, в кого это ты намереваешься стрелять?

— В кого надо, — сказал Андрей мрачно.

— Ну-ну, — сказал Изя и погрузился в чтение.

Андрей глянул на часы. Было уже без десяти. Андрей со вздохом полез под стол, нашарил там башмаки, вынул из них уже затвердевшие носки, понюхал украдкой, потом задрал правую ногу к свету и осмотрел стертую пятку. Ссадина немножко подзатянулась, но было еще больно. Заранее сморщившись, он осторожно натянул задубевший носок и подвигал ступней. Совсем сморщился и потянулся за ботинком. Обувшись, он опоясался ремнем с пустой кобурой, оправил и застегнул куртку.

— На, — сказал Изя и толкнул ему через стол пачку исписанных бумаг.

— Это что? — без всякого интереса спросил Андрей.

— Бумага.

— А-а... — Андрей собрал листки и спрятал в

карман куртки. — Спасибо.

Изя уже снова читал. Быстро, как машина.

Андрей вспомнил, как ему не хотелось брать Изю в эту экспедицию — с его нелепым видом огородного чучела, с его вызывающе еврейской физиономией, с его наглым хихиканьем, с его самоочевидной непригодностью к тяжелым физическим нагрузкам. Было совершенно ясно, что Изя будет доставлять массу хлопот, а толку от архивариуса в походных условиях, приближенных к боевым, будет чуть. И все оказалось не так.

То есть, *так* тоже оказалось. Изя первый стер ноги. Сразу обе. Изя был невыносим на вечерних рапортах со своими идиотскими неуместными шуточками и непрошенной фамильярностью. На третий день пути он ухитрился провалиться в какой-то погреб, и его пришлось вытаскивать всей командой. На пятый день он потерялся и задержал выступление на несколько часов. Во время стычки на триста сороковом километре он вел себя как последний кретин и только чудом остался жив. Солдаты издевались над ним, а Кехада с ним постоянно ссорился. Эллизауэр оказался принципиальным юдофобом, и пришлось делать ему по поводу Изи специальное внушение... Было. Все было.

И при всем при том довольно скоро получилось так, что Изя сделался самой популярной в экспедиции фигурой, не считая, может быть, полковника. А в известном смысле и более популярной. Во-первых, он находил воду. Геологи много и тщетно искали источники, сверлили скалы, потели, совершали изнурительные походы во время общих привалов. Изя просто сидел в волокуше под уродливым самодельным зонтиком и копался в старых бумагах, которых у него набралось уже несколько ящиков. И он четыре раза предсказал, где искать подземные цистерны. Правда, одна цистерна оказалась пересохшей, а в другой вода порядочно протухла, но дважды экспедиция получила прекрасную воду, благодаря Изе и только Изе.

Во-вторых, он нашел склад солярки, после чего антисемитизм Эллизауэра сделался в значительной степени абстрактным. «Я ненавижу жидов, — объяснялся он своему главному мотористу. — Нет ничего на свете хуже жида. Однако я никогда ничего не имел против евреев! Возьми, скажем, Кацмана...»

Далее, Изя всех снабжал бумагой. Запасы пипифакса кончились после первого же взрыва желудочных заболеваний, и вот тут популярность

Изи — единственного обладателя и хранителя бумажных богатств в стране, где не то что лопуха, пучка травы не отыщешь, — тут уж популярность Изи достигла наивозможнейшего предела.

Не прошло и двух недель, как Андрей с некоторой даже ревностью обнаружил, что Изю любят. Все. Даже солдаты, что было совершенно уже невероятно. Во время привалов они толклись около него и, раскрывши рты, слушали его трепотню. Они по собственному почину и с удовольствием перетаскивали с места на место его железные ящики с документацией. Они жаловались ему и выпендривались перед ним, как школьники перед любимым учителем. Фогеля они ненавидели, полковника — трепетали, с научниками дрались, а с Изей — смеялись. Не над ним уже — с ним!.. «Вы знаете, Кацман, — сказал однажды полковник. — Я никогда не понимал, зачем в армии нужны комиссары. У меня никогда не было комиссара, но вас бы я, пожалуй, на такую должность взял...»

Изя кончил разбирать одну пачку бумаг и извлек из-за пазухи вторую.

— Есть что-нибудь интересное? — спросил Андрей. Спросил не потому, что ему было на самом деле любопытно, а просто захотелось как-то

выразить нежность, которую он вдруг испытал сейчас к этому неуклюжему, нелепому, даже неприятному на вид человеку.

Изя не успел ответить — успел только головой помотать. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул полковник Сент-Джеймс.

— Разрешите, советник? — произнес он.

— Прошу вас, полковник, — сказал Андрей, поднимаясь. — Добрый вечер.

Изя вскочил и пододвинул полковнику кресло.

— Вы очень любезны, комиссар, — сказал полковник и медленно, в два разделения, уселся. Выглядел он как обычно — подтянутый, свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, — только вот щеки у него последнее время малость ввалились и необычайно глубоко запали глаза. И ходил он теперь уже не со своеобычным стеком, а с длинной черной тростью, на которую заметно опирался, когда приходилось стоять.

— Эта безобразная драка под окнами... — сказал полковник. — Я приношу вам свои извинения, советник, за моего солдата.

— Будем надеяться, что это была последняя драка, — сказал Андрей угрюмо. — Я больше не намерен этого терпеть.

Полковник рассеянно покивал.

— Солдаты всегда дерутся, — заметил он небрежно. — В британской армии это, собственно, поощряется. Боевой дух, здоровая агрессивность и так далее... Но вы, разумеется, правы. В таких тяжелых походных условиях это нетерпимо. — Он откинулся в кресле, достал и принялся набивать трубку. — А ведь потенциального противника все не видно, советник! — сказал он юмористически. — Я предвижу в связи с этим большие осложнения для моего бедного генерального штаба. Да и для господ политиков — тоже, если быть откровенным...

— Наоборот! — воскликнул Изя. — Вот теперь-то для всех нас и начнутся самые горячие денечки! Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его придумать. А как показывает мировой опыт, самый страшный противник — это противник придуманный. Уверяю вас, это будет невероятно жуткое чудовище. Армию придется удвоить.

— Вот как? — сказал полковник по-прежнему юмористически. — Интересно, кто же будет его придумывать? Уж не вы ли, мой комиссар?

— Вы! — сказал Изя торжественно. — Вы в первую очередь. — Он принялся загибать пальцы. — Во-первых, вам придется создать при генераль-

ном штабе отдел политической пропаганды...

В дверь постучали, и прежде чем Андрей успел ответить, вошли Кехада и Эллизауэр. Кехада был мрачен, Эллизауэр неопределенно улыбался откуда-то из-под самого потолка.

— Прошу садиться, господа, — холодно предложил им Андрей. Он постучал по столу костяшками пальцев и сказал Изе: — Кацман, мы начинаем.

Изя оборвал себя на полуслове и с готовностью повернулся лицом к Андрею, перекинув руку через спинку кресла. Полковник снова выпрямился и сложил ладони на набалдашнике трости.

— Ваше слово, Кехада, — сказал Андрей.

Начальник научной части сидел прямо перед ним, широко расставив толстые, как у штангиста, ноги, чтобы не мокло в шагу, а Эллизауэр, как всегда, устроился у него за спиной, сильно там ссутулившись, чтобы не слишком торчать.

— По геологии ничего нового, — мрачно сказал Кехада. — По-прежнему глина, песок. Никаких следов воды. Здешний водопровод давно пересох. Может быть, именно поэтому они и ушли отсюда, не знаю... Данные по солнцу, ветру и так далее... — Он достал из нагрудного кармана листок бумаги, перебросил Андрею. — У меня пока все.

Андрею очень не понравилось это «пока», но он

только кивнул и стал смотреть на Эллизауэра.

— Транспортная часть?

Эллизауэр распрямился и заговорил поверх головы Кехады:

— Пройдено сегодня тридцать восемь километров. Двигатель трактора номер второй надо ставить на капитальный ремонт. Очень сожалею, господин советник, но — увы...

— Так, — сказал Андрей. — Что это значит — капитальный ремонт?

— Два-три дня, — сказал Эллизауэр. — Часть узлов придется заменить, а другие привести в порядок. Может быть, даже четыре дня. Или пять.

— Или десять, — сказал Андрей. — Дайте рапорт.

— Или десять, — согласился Эллизауэр, все так же неопределенно улыбаясь. Не вставая, он протянул через плечо Кехады свой рапорт.

— Вы это в шутку? — стараясь говорить спокойно, произнес Андрей.

— Что именно, господин советник? — Эллизауэр испугался. Или только сделал вид, что испугался.

— Три дня или десять дней, господин специалист?!

— Я очень сожалею, господин советник... — забормотал Эллизауэр. — Я боюсь сказать точно...

Мы не в гараже, и потом мой Пермяк... У него какая-то сыпь, и весь день его рвало... Он у меня главный моторист, господин советник...

— А вы? — сказал Андрей.

— Я сделаю все, что смогу... Другое дело, что в наших условиях... я имею в виду — в полевых условиях...

Некоторое время он еще продолжал болтать что-то насчет мотористов, насчет крана, которого не захватили, а ведь он предупреждал... насчет сверлильного станка, которого здесь нет и быть, к сожалению, не может, снова насчет моториста и еще что-то там про поршни и пальцы... С каждой минутой он говорил все тише, все невнятней и наконец замолчал совсем, а Андрей все это время, не отрываясь, смотрел ему в глаза, и было совершенно ясно, что этот длинный трусливый пройдоха совсем заврался, и сам уже понимает это, и видит, что все это понимают, и пытается как-то вывернуться, но не умеет, и все-таки намерен твердо стоять на своем вранье до победного конца.

Потом Андрей опустил глаза и уставился в его рапорт, в неряшливые строчки, нацарапанные куриным почерком, но ничего при этом не видел и не понимал. Сговорились, гады, думал он с

тихим отчаянием. Эти — тоже сговорились. Ну, как мне теперь с ними?.. Пистолета нет, жалко... Шлепнуть Эллизауэра... или запугать так, чтобы обосрался... Нет — Кехада, Кехада, вот кто у них главный. На меня все хочет свалить... Всю эту протухшую, провонявшую затею хочет свалить на меня одного... подонок, толстый боров... Ему хотелось заорать и изо всех сил ахнуть кулаком по столу.

Молчание становилось нестерпимым. Изя вдруг нервно заерзал на стуле и принялся бормотать:

— В чем, собственно, дело? В конце концов, торопиться нам особенно некуда. Сделаем остановку... В зданиях могут быть архивы... Воды здесь, правда, нет, но за водой можно послать вперед отдельную группу...

И тут его оборвал Кехада.

— Ерунда, — сказал он резко. — Хватит болтать, господа. Давайте ставить точки над «и». Экспедиция провалилась. Воды мы не нашли. Нефти — тоже. И не могли найти при такой организации георазведки. Несемся как сумасшедшие, людей измотали, транспорт измочалили. Дисциплина в отряде ни к черту — девок приблудных подкармливаем, тащим с собой каких-то распро-

странителей слухов... Перспектива давным-давно утеряна, всем на все наплевать. Люди идти дальше не хотят, они не видят, зачем нужно идти, и нам нечего им сказать. Космографические данные оказались просто ни к черту не годными: готовились к полярным холодам, а заехали в раскаленную пустыню. Личный состав экспедиции подобран плохо, с бору по сосенке. Медицинское обеспечение отвратительное. Вот в результате мы и получаем то, что должны были получить: падение морального духа, развал дисциплины, скрытое неповиновение и не сегодня-завтра — бунт. Все.

Кехада замолчал, вытащил портсигар и закурил.

— Что вы, собственно, предлагаете, господин Кехада? — проговорил Андрей спертым голосом. Ненавистное лицо с толстыми усами плавало перед ним в паутине каких-то неопределенных линий. Очень хотелось влепить. Лампой. Прямо по усам...

— По-моему, это тривиально, — произнес Кехада с пренебрежением. — Надо поворачивать оглобли. И немедленно. Пока целы.

Спокойствие, убеждал себя Андрей. Сейчас — только спокойствие. Как можно меньше слов.

Не спорить ни в коем случае. Спокойно слушать и молчать. Ах, до чего же хочется влепить!..

— Действительно, — подал голос Эллизауэр. — До каких же пор можно идти? Мои люди меня спрашивают: что же это получается, господин инженер? Договорились идти, пока солнце не сядет на горизонт. Так оно — наоборот, поднимается. Потом договорились, что пока оно не поднимется в зенит... Опять же — не поднимается, до зенита не доходит, а скачет то вверх, то вниз...

Только не спорить, твердил про себя Андрей. Пусть болтают. Это даже интересно, что они там еще придумают сказать... Полковник не выдаст. Армия все решает. Армия!.. Неужели это они Фогеля подговорили, гады?..

— Ну, а вы-то что? — спросил Изя Эллизауэра. — Вы?

— А что — я?

— Они вас спрашивают, понятно... А что вы им отвечаете?

Эллизауэр принялся пожимать плечами и двигать реденькими бровями.

— Даже странно... — бормотал он при этом. — А что я могу им ответить, спрашивается? Вот я и хотел бы узнать, что я должен им отвечать? Откуда мне это знать?..

— То есть вы им ничего не отвечаете?

— А что я могу ответить? Что?! Отвечаю, что начальству виднее...

— Ну и ответ! — сказал Изя, ужасно тараща глаза. — Да такими ответами целую армию разложить можно, не то что несчастных водителей... Я, мол, ребятушки, хоть сейчас готов назад, да вот зверь-начальник не пускает... Вы сами-то понимаете, зачем мы идем? Ведь вы же доброволец, вас никто не принуждал!

— Слушайте, Кацман... — попытался прервать его Кехада. — Давайте говорить о деле!

Изя даже не взглянул на него.

— Вы знали, что будет трудно, Эллизауэр? Знали. Знали, что не за пряниками идем? Знали... Знали, что Городу нужна эта экспедиция? Знали — вы образованный человек, инженер... Знали приказ: идти, пока хватает горючего и воды? Прекрасно знали, Эллизауэр!

— Да я ведь не возражаю! — торопливо заговорил вконец перепуганный Эллизауэр. — Я ведь только вам объясняю, что мои объяснения... то есть что мне не ясно, как им надо отвечать, потому что меня ведь спрашивают...

— Да перестаньте вы вилять, Эллизауэр! — решительно сказал Изя. — Все предельно ясно:

дальше идти боитесь, ведете моральный саботаж, разложили собственных подчиненных, а теперь прибежали сюда жаловаться... А вам, между прочим, даже пешком ходить не приходится. Все время ездите...

Давай, Изя, давай, голубчик, думал Андрей с умилением. Врежь ему, паскудине, врежь!.. Он уже обгадился, сейчас в сортир попросится...

— И вообще я не понимаю, из-за чего вся эта паника, — продолжал Изя все так же решительно. — Геология нас подвела? Да господь с ней, с геологией, обойдемся и без геологии. Без космографии тем более обойдемся... Неужели не ясно, что главное наше дело — разведка, сбор информации. Я лично утверждаю, что экспедиция уже сегодня сделала очень много, а может сделать еще больше. Трактор поломался? Не страшно. Пусть его здесь ремонтируют, два дня или десять, я не знаю — оставим здесь самых усталых и больных, а на втором тракторе двинемся потихонечку дальше. Воду найдем — остановимся, подождем оставшихся. Ведь все очень просто, ничего особенного...

— Да, конечно, все очень просто, Кацман, — желчно сказал Кехада. — А пулю в спину не хотите, Кацман? Или в лоб? Вы слишком увлеклись

своими архивами, ничего вокруг не замечаете... Солдаты дальше не пойдут. Я это знаю, я слышал, как они договаривались...

Эллизауэр вдруг воздвигся у него за спиной и, бормоча невнятные извинения, демонстративно держась за живот, кинулся вон из комнаты. Крыса, со злорадством подумал Андрей. Сволочь трусливая. Дристун...

Кехада будто ничего не заметил.

— Из своих геологов я могу положиться только на одного человека, — продолжал он. — На солдат и на водителей нельзя полагаться вообще. Конечно, вы можете расстрелять одного или двоих для острастки... может быть, это поможет. Не знаю. Сомневаюсь. И я не уверен, что вы имеете моральное право так поступать. Они не хотят идти, потому что чувствуют себя обманутыми. Потому что они ничего не получили от этого похода и теперь уже не надеются получить. Эта прекрасная легенда, которую так находчиво придумал господин Кацман, — легенда насчет Хрустального Дворца — действовать перестала. Преобладают, знаете ли, Кацман, другие легенды...

— Какого черта? — сказал Изя, заикаясь от негодования. — Я ничего не придумывал!..

Кехада отмахнулся от него почти добродушно.

— Ладно, ладно, теперь это уже не имеет никакого значения. Теперь уже ясно, что дворца не будет, так что и говорить здесь не о чем... Вы же прекрасно знаете, господа, что три четверти ваших добровольцев шли в этот поход за добычей и только за добычей. И что они получили вместо добычи? Кровавый понос да вшивую идиотку для ночных развлечений... Но дело даже не в этом. Мало того, что они разочарованы, — они еще и напуганы. Скажем спасибо господину Кацману. Скажем спасибо господину Паку, которому мы так любезно предложили стол и дом в экспедиции. Стараниями этих господ люди чрезмерно много узнали о том, чт`о нам предстоит, если мы двинемся дальше. Люди боятся тринадцатого дня. Люди боятся говорящих волков... Мало нам было акульих волков — нам пообещали говорящих!.. Люди боятся железноголовых. А в сочетании с тем, что они уже повидали — все эти немые с вырезанными языками, заброшенные концлагеря, одичавшие кретины, которые молятся источникам, и хорошо вооруженные кретины, которые ни с того ни с сего стреляют из-за угла... В сочетании с тем, что они увидели за сегодняшний день, здесь, в этих домах — эти кости в забаррикадированных квартирах... Прелестное и внушительное

получается сочетание! И если вчера солдат больше всего на свете боялся сержанта Фогеля, то сегодня ему на Фогеля уже наплевать — у него есть страхи пострашнее...

Кехада наконец замолк и, переводя дух, вытер пот, обильно выступивший на его толстом лице. И тут полковник, иронически подняв одну бровь, произнес:

— У меня создается впечатление, что вы и сами основательно напуганы, господин Кехада. Или я ошибаюсь?

Кехада скосил на него красный глаз.

— За меня не беспокойтесь, полковник, — проворчал он. — Если я чего-нибудь и боюсь, так это — пули между лопаток. Ни за что ни про что. От людей, которым я, между прочим, сочувствую.

— Вот как? — заметил полковник. — Ну что ж... Я не берусь судить о важности настоящей экспедиции и не берусь указывать начальнику экспедиции, как ему надлежит поступать. Мое дело — выполнять приказания. Считаю, однако, необходимым сказать, что все эти рассуждения насчет бунта и неповиновения представляются мне праздной болтовней. Предоставьте моих солдат мне, господин Кехада! Если угодно, можете предоставить мне и тех ваших геологов,

которым вы не доверяете. Я с удовольствием ими займусь... Должен обратить ваше внимание, советник, — все с той же убийственной вежливостью продолжал он, поворачиваясь к Андрею, — что сегодня здесь слишком много говорят о солдатах, причем почему-то как раз те лица, которые к солдатам никакого официального отношения не имеют...

— О солдатах говорят лица, — зло прервал его Кехада, — которые круглосуточно работают, едят и спят рядом с ними...

В возникшей тишине послышался легкий скрип кожаного кресла: полковник сел очень прямо. Некоторое время он молчал. Тихонько приоткрылась дверь, Эллизауэр с постной улыбкой, слегка кланяясь на ходу, прокрался к своему месту.

Ну, торопил Андрей, во все глаза глядя на полковника. Ну! Врежь ему! По усам! По роже ему, по роже!..

Полковник наконец заговорил:

— Должен также обратить ваше внимание, советник, что среди некоторой части командного состава обнаружилось сегодня явное сочувствие и, более того, потворство вполне понятным, обычным, но совершенно нежелательным на-

строениям среди нижних чинов армии. Как старший офицер я имею заявить следующее. В том случае, если упомянутые потворство и сочувствие примут какие-либо практические формы, я буду поступать с потворствующими и сочувствующими, как полагается поступать с таковыми в полевых условиях. В остальном, господин советник, имею честь заверить вас, что армия и впредь готова выполнять любые ваши распоряжения.

Андрей потихоньку перевел дух и с удовольствием посмотрел на Кехаду. Кехада, криво улыбаясь, прикуривал новую сигарету от окурка старой. Эллизауэра не было видно вовсе.

— А как, собственно, поступают с потворствующими и сочувствующими в полевых условиях? — с огромным любопытством осведомился Изя, который тоже был очень доволен.

— Их обычно вешают, — сухо ответил полковник.

Снова наступила тишина. Вот так-то, думал Андрей. Вам, надеюсь, все ясно, господин Кехада? Или, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Нет у вас никаких вопросов, куда там!.. Армия! Армия все решает, голубчики мои... И все равно я ничего не понимаю, думал он. Откуда у него такая уверенность? Или, может быть, это

только маска, полковник? Я ведь тоже выгляжу сейчас очень уверенным. Во всяком случае, должен бы выглядеть... Обязан.

Он исподлобья посмотрел на полковника. Тот по-прежнему сидел очень прямо, стиснув в зубах погасшую трубку. И он был очень бледен. Может быть, просто от злости. Будем надеяться, что всего лишь от злости... К черту, к черту, панически подумал Андрей. Большой привал! Немедленно! И пусть Кацман достанет мне воду. Много воды. Для полковника. Для одного полковника. И прямо с сегодняшней ночи полковнику — двойную порцию воды!..

Эллизауэр, весь перекошенный, высунулся из-за толстого плеча Кехады и жалобно проскрипел:

— Разрешите... Мне необходимо... Опять...

— Сядьте, — сказал ему Андрей. — Сейчас заканчиваем. — Он откинулся в кресле и взялся за подлокотники. — Приказ на завтра. Объявляется большой привал. Эллизауэр! Все силы на неисправный трактор. Даю вам три дня сроку, извольте управиться. Кехада. Завтра весь день занимайтесь больными. Послезавтра будьте готовы выступить со мной в глубокую разведку. Кацман, вы поедете с нами... Воду! — Он постучал

пальцем по столу. — Воду мне, Кацман!.. Господин полковник! Завтра приказываю вам отдыхать. Послезавтра примете командование лагерем. Все, господа. Свободны.

Глава вторая

Светя себе под ноги фонариком, Андрей торопливо поднялся на следующий этаж — кажется, уже на пятый. Ч-черт, не добегу ведь... Он приостановился и весь напрягся, пережидая острый позыв. В животе что-то с глухим ворчанием провернулось, стало чуть полегче. Дьяволы, все этажи засрали, ступить некуда. Он добрался до площадки и толкнулся в первую же дверь. Дверь со скрипом приоткрылась. Андрей протиснулся внутрь и принюхался. Вроде бы ничего... Он посветил фонариком. На рассохшемся паркете, тут же у дверей, белели кости среди заскорузлых лохмотьев, скалил зубы череп, облепленный пучками волос. Ну ясно: заглянули, но испугались... Неестественно передвигая ногами, Андрей почти побежал по коридору. Гостиная... Ч-черт, что-то вроде спальни... Где здесь у них сортир? А, вот он...

Потом, уже спокойный, хотя резь в животе так и не утихла до конца, весь покрытый холодным липким потом, он снова вышел в коридор, застегнулся во тьме и снова вытащил из кармана фонарик. Немой был тут как тут — стоял, присло-

нившись плечом к какому-то полированному, бесконечной высоты шкафу, засунув большие белые ладони под широкий ремень.

— Сторожишь? — рассеянно-добродушно сказал ему Андрей. — Сторожи, сторожи, а то вот саданут меня чем-нибудь тяжелым из-за угла — что тогда будешь делать?..

Он поймал себя на том, что взял привычку разговаривать с этим странным человеком, как с огромной собакой, и ему стало неловко. Он дружески похлопал Немого по голому прохладному плечу и теперь уже не торопясь пошел по квартире, светя фонариком направо и налево. Позади, не приближаясь и не отставая, слышались мягкие шаги Немого.

Эта квартира была еще роскошнее. Множество комнат, набитых тяжелой старинной мебелью, мощные люстры, огромные почерневшие картины — в музейных рамах. Но мебель почти вся была поломана — ручки у кресел оторваны, стулья валялись без ножек и без спинок, у шкафов были оторваны дверцы. Топили они здесь мебелью, что ли, подумал Андрей. При такой-то жаре? Странно...

Дом был вообще, прямо скажем, странноватый, — солдат вполне можно было понять. Некоторые

квартиры стояли нараспашку, там было просто пусто, совсем ничего, голые стены. Другие квартиры были заперты изнутри, иногда даже забаррикадированы мебелью, и если удавалось вломиться внутрь, оказывалось, что там валяются на полу человеческие кости. То же самое было и в домах по соседству, и можно было предполагать, что то же обнаружится и в остальных домах этого квартала.

Все это было ни с чем не сообразно, и даже Изя Кацман пока не сумел придумать никакого вразумительного объяснения, почему одни жильцы этих домов бежали, захватив с собою все, что могли унести, даже книги, а другие — забаррикадировались в своих жилищах, чтобы там умереть, по-видимому, от голода и жажды. А может быть, и от холода — в некоторых квартирах обнаружились жалкие подобия железных печурок, а в других огонь разводили, видимо, прямо на полу или на листах ржавого железа, сорванных, скорее всего, с крыши.

— Ты понимаешь, что здесь произошло? — спросил Андрей Немого.

Тот медленно покачал головой.

— Ты был здесь когда-нибудь раньше?

Немой кивнул.

— Тогда здесь жили?

«Нет», — показал Немой.

— Понятно... — пробормотал Андрей, пытаясь разобрать, что изображено на почерневшей картине. Кажется, что-то вроде портрета. Кажется, женщина какая-то...

— Это опасное место? — спросил он.

Немой глядел на него остановившимися глазами.

— Понимаешь вопрос?

Да.

— Можешь ответить?

Нет.

— И на том спасибо, — сказал Андрей задумчиво. — Значит, может, и ничего. Ладно, пошли домой.

Они вернулись на второй этаж. Немой остался в своем углу, а Андрей прошел к себе. Кореец Пак уже ждал его — беседовал о чем-то с Изей. Увидев Андрея, он замолчал и поднялся ему навстречу.

— Садитесь, господин Пак, — сказал Андрей и сел сам.

Пак, чуточку помедлив, осторожно опустился на сиденье стула и положил руки на колени. Желтоватое лицо его было спокойно, сонные глаза влажно поблескивали сквозь щелочки между

припухшими веками. Андрею он всегда нравился — чем-то неуловимо напоминал Кэнси, а может быть, просто потому, что был всегда опрятен, благожелателен, со всеми дружелюбен, но без всякой фамильярности, немногословен, но вежлив и приветлив — всегда немного сам по себе, всегда на некотором неуловимом расстоянии... А может быть, потому, что именно он, Пак, прекратил эту нелепую стычку на триста сороковом километре — в самый разгар пальбы вышел из развалин и, подняв руку с раскрытой ладонью, неторопливо двинулся навстречу выстрелам...

— Вас не разбудили, господин Пак? — спросил Андрей.

— Нет, господин советник. Я еще не ложился.

— Желудок мучает?

— Не больше, чем других.

— Но, вероятно, и не меньше... — заметил Андрей. — А как у вас с ногами?

— Лучше, чем у других.

— Это хорошо, — сказал Андрей. — А как вообще самочувствие? Очень сильно устали?

— У меня все в порядке, благодарю вас, господин советник.

— Это хорошо, — повторил Андрей. — Я вот почему побеспокоил вас, господин Пак. Завтра

объявлен большой привал. Но уже послезавтра я намерен с особой группой совершить небольшую рекогносцировку. Километров на пятьдесят-семьдесят вперед. Нам надо найти воду, господин Пак. Идти будем, вероятно, налегке, но быстро.

— Понимаю вас, господин советник, — сказал Пак. — Прошу разрешения присоединиться.

— Благодарю. Хотел просить вас об этом. Итак, выходим послезавтра, прямо в шесть утра. Сухой паек и воду получите у сержанта. Договорились? Теперь вот что... Как вы полагаете, сумеем мы найти здесь воду?

— Думаю, да, — сказал Пак. — Я слышал кое-что об этих районах. Где-то здесь должен быть источник. Когда-то, по слухам, это был очень обильный источник. Теперь он, вероятно, оскудел. Но на наш отряд, возможно, и хватит. Надо посмотреть.

— А может быть, он вообще пересох?

Пак покачал головой.

— Возможно, но весьма маловероятно. Я никогда не слыхал об источниках, которые пересыхают совсем. Выход воды может уменьшиться, даже сильно уменьшиться, но совсем источники, видимо, не пересыхают.

— В документах я пока не нашел ничего полез-

ного, — сказал Изя. — Вода в город подавалась по акведуку, а теперь этот акведук сух, как... как я не знаю что.

Пак промолчал.

— А что вы еще слыхали об этих кварталах? — спросил его Андрей.

— Разные более или менее страшные вещи, — сказал Пак. — Часть — явная выдумка. Что касается остального... — Он пожал плечами.

— Ну, например? — сказал Андрей благодушно.

— Собственно, все это я уже рассказывал вам раньше, господин советник. Например, по слухам, где-то неподалеку отсюда находится так называемый Город Железноголовых. Однако кто такие эти железноголовые, я понять так и не сумел... Кровавый водопад — но это еще, по-видимому, далеко. Вероятно, речь идет о потоке, который размывает какую-нибудь горную породу красного цвета. Воды там, во всяком случае, будет много... Существуют легенды о говорящих животных — это уже на грани вероятного. А о том, что находится за этой гранью, говорить, видимо, не имеет смысла... Впрочем, Эксперимент есть Эксперимент.

— Вам, наверное, очень надоели эти расспро-

сы, — сказал Андрей, улыбаясь. — Воображаю, как вам надоело повторять всем одно и то же в двадцатый раз. Но вы уж нас извините, господин Пак. Ведь среди нас вы — самый осведомленный.

Пак снова пожал плечами.

— К сожалению, цена моей осведомленности невелика, — сказал он сухо. — Большинство слухов не подтверждается. И наоборот — встречается много такого, о чем я никогда ничего не слыхал... А что касается расспросов, то не кажется ли вам, господин советник, что рядовые члены группы слишком осведомлены, когда речь идет о слухах? Лично я отвечаю на расспросы только тогда, когда разговариваю с кем-нибудь из командного состава. Я считаю неправильным, господин советник, что солдаты и прочие рядовые работники экспедиции в курсе всех этих слухов. Вредно для морали.

— Вполне согласен с вами, — сказал Андрей, стараясь не отводить глаз. — И во всяком случае, я бы предпочел, чтобы было побольше слухов насчет молочных рек с кисельными берегами.

— Да, — сказал Пак. — Поэтому, когда меня расспрашивают солдаты, я стараюсь уклониться от неприятных тем и муссирую, главным образом, легенду о Хрустальном Дворце... Правда, в

последнее время они больше не желают слушать об этом. Все очень боятся и хотят домой.

— И вы тоже? — спросил Андрей сочувственно.

— У меня нет дома, — сказал Пак спокойно. Лицо у него было непроницаемое, глаза сделались совсем сонные.

— Н-да... — Андрей побарабанил пальцами по столу. — Ну что же, господин Пак. Еще раз — спасибо. Прошу вас отдыхать. Спокойной ночи.

Он проводил глазами спину, обтянутую выцветшей голубой саржей, подождал, пока закроется дверь, и сказал:

— Хотел бы я все-таки понять, зачем он увязался с нами?

— То есть как это — зачем? — встрепенулся Изя. — Сами они разведку организовать не могли, вот и попросились к тебе...

— А зачем им, собственно, разведка?

— Ну, дорогой мой, не всем царство Гейгера по вкусу, как тебе! Раньше они не хотели жить под господином мэром — это тебя не удивляет? А теперь они не хотят жить под господином президентом. Они хотят жить сами по себе, понимаешь?

— Понимаю, — сказал Андрей. — Только, по-моему, никто не собирается мешать им жить самим

по себе.

— Это — по-твоему, — сказал Изя. — Ты ведь не президент.

Андрей залез в железный ящик, достал плоскую флягу со спиртом и принялся свинчивать колпачок.

— Неужели ты воображаешь, — сказал Изя, — что Гейгер потерпит у себя под боком хорошо вооруженную, крепкую колонию? Две сотни закаленных, битых-перебитых мужиков всего в трехстах километрах от Стеклянного Дома... Конечно, он им жить не даст. Значит, им надо уходить дальше на север. Куда?

Андрей побрызгал спиртом на руки и изо всех сил потер ладонь о ладонь.

— До чего же осточертела эта грязь... — пробормотал он с отвращением. — Ты представить себе не можешь...

— Да-а, грязь... — сказал Изя рассеянно. — Грязь — это тебе не сахар... Ты мне скажи, что ты все время пристаешь к Паку? Чем он тебе не потрафил? Я его знаю давно, чуть ли не с первого дня. Это честнейший, культурнейший человек. Что ты к нему пристал? Только твоей зоологической ненавистью к интеллигенции можно объяснить эти бесконечные иезуитские допросы. Если тебе

так уж позарез надо узнать, кто распространяет слухи, осведомителей своих допрашивай, а Пак здесь ни при чем...

— У меня нет осведомителей, — холодно сказал Андрей.

Они помолчали. Потом Андрей неожиданно для себя сказал:

— Хочешь — честно?

— Ну? — жадно сказал Изя.

— Так вот, мой милый. У меня в последнее время появилось ощущение, что кто-то очень хочет нашу экспедицию прекратить. Совсем прекратить, понимаешь? Не просто чтобы мы повернули оглобли и пошли домой, а прикончить нас. Уничтожить. Чтобы мы пропали без вести, понимаешь?

— Н-ну, брат!.. — сказал Изя. Пальцы его со скрипом копались в бороде, отыскивая бородавку.

— Да-да! И я все пытаюсь понять, кому это может быть выгодно. И получается, что это выгодно твоему Паку. Молчи! Дай мне договорить! Если мы пропадем без вести, Гейгер не узнает ничего — ни о колонии, ни о чем... И вторую такую экспедицию он не скоро решится организовать. И тогда не надо им будет уходить на север, покидать насиженное место. Вот так вот у меня получается,

понимаешь?

— По-моему, ты с ума сошел, — сказал Изя. — Откуда у тебя эти ощущения? Если насчет повернуть оглобли — тут никаких ощущений не надо. Все хотят повернуть... Но откуда ты взял, что нас хотят уничтожить?

— Не знаю! — сказал Андрей. — Я тебе говорю: ощущение... — Он помолчал. — Во всяком случае, я правильно решил взять Пака с собой послезавтра. Нечего ему тут без меня в лагере делать...

— Да он-то здесь при чем?! — гаркнул Изя. — Ну подумай ты головой своей дурацкой! Ну, уничтожит он нас, а потом что? Восемьсот километров пешком? По безводью?!

— Откуда я знаю? — огрызнулся Андрей. — Может, он трактор умеет водить.

— Ты еще Мымру заподозри, — сказал Изя. — Как это... Как в сказке о царе Додоне... Шамаханская царица.

— Н-да... Мымра... — задумчиво сказал Андрей. — Тоже штучка та еще... И этот Немой... Кто он? Откуда? Почему ходит везде за мной, как собака? Даже в сортир... Между прочим, ты знаешь, он уже, оказывается, в этих местах побывал.

— Открытие сделал! — сказал Изя пренебрежительно. — Это я давным-давно понял. Эти

безъязыкие пришли с севера...

— Может быть, им здесь и вырезали языки? — сказал Андрей негромко.

Изя посмотрел на него.

— Слушай, давай выпьем, — сказал он.

— Разбавлять нечем.

— Ну, тогда хочешь, я тебе Мымру приведу?

— Иди ты к дьяволу... — Андрей поднялся, морщась, подвигал стертой ногой в ботинке. — Ладно, я пойду погляжу, как и что. — Он похлопал себя по пустой кобуре. — У тебя пистолет есть?

— Есть где-то. А что?

— Ладно, так пойду, — сказал Андрей.

Вытаскивая на ходу фонарик, он вышел в коридор. Немой поднялся ему навстречу. Справа, в глубине квартиры, из-за приоткрытой двери слышались негромкие голоса. Андрей приостановился.

— ...В Каире, Даган, в Каире! — внушительно вещал полковник. — Теперь я вижу, что вы все забыли, Даган. Двадцать первый полк Йоркширских стрелков, и командовал им тогда старина Билл, пятый баронет Стрэтфорд.

— Я прошу извинения, господин полковник, — почтительно возражал Даган. — Мы можем прибегнуть к дневникам господина полковни-

ка...

— Не надо, не надо никаких дневников, Даган! Занимайтесь своим пистолетом. Вы мне еще обещали почитать на ночь...

Андрей вышел на лестничную площадку и, как на телеграфный столб, налетел на Эллизауэра. Эллизауэр курил, ссутулившись, прислонясь задом к железным перилам.

— Последняя перед сном? — спросил Андрей.

— Так точно, господин советник. Сейчас ложусь.

— Ложитесь, ложитесь, — сказал Андрей, проходя. — Знаете: больше спишь — меньше грешишь.

Эллизауэр почтительно хихикнул ему вслед. Верста коломенская, подумал Андрей. Попробуй мне только в три дня не управиться — самого в волокушу запрягу...

Нижние чины располагались на нижнем этаже (хотя гадить они наладились на верхних). Разговоров здесь слышно не было — все или почти все, видимо, уже спали. Сквозь распахнутые — для сквозняка — двери квартир, выходящих в вестибюль, доносился разноголосый храп, сонное чмоканье, бормотание, хриплый прокуренный кашель.

Андрей заглянул сначала в квартиру налево.

Здесь устроились армейцы. Из маленькой комнатушки без окон виднелся свет. Сержант Фогель в одних трусах и в фуражке, сдвинутой на затылок, сидел за столиком и прилежно заполнял какую-то ведомость. В армии был порядок: дверь комнатушки была настежь, так что никто не мог бы войти или выйти незамеченным. На звук шагов сержант быстро поднял голову и всмотрелся, прикрывая лицо от света лампы.

— Это я, Фогель, — сказал Андрей негромко и вошел.

Сержант мигом поставил ему стул. Андрей сел и огляделся. Так, в армии порядок. Все три бидона с расходной водой здесь. Ящики с консервами и галетами для завтрашнего завтрака тоже уже здесь. И ящик с сигаретами. Прекрасно вычищенный пистолет сержанта лежал на столе. Дух в комнатушке стоял тяжелый, мужской, походно-полевой. Андрей положил руку на спинку стула.

— Что на завтрак, сержант? — спросил он.

— Как обычно, господин советник, — сказал Фогель, удивившись.

— Давайте-ка придумайте что-нибудь не как обычно, — сказал Андрей. — Кашу, что ли, рисовую с сахаром... Консервированные фрукты остались?

— Можно рисовую кашу с черносливом, — предложил сержант.

— Давайте с черносливом... Воды выдайте утром двойную порцию. И по полплитки шоколаду... Шоколад остался?

— Есть еще немного, — сказал сержант неохотно.

— Вот и выдайте... Сигареты что — последний ящик?

— Точно так.

— Ну, ничего не поделаешь. Завтра — как обычно, а с послезавтрашнего дня сокращайте норму... Да, и вот еще что. Полковнику с сегодняшнего дня и впредь — двойную порцию воды.

— Осмелюсь доложить... — начал было сержант.

— Знаю, — прервал его Андрей. — Скажете, что это мой приказ.

— Слушаюсь... Угодно господину советнику... Анастасис! Куда?

Андрей обернулся. В коридоре, покачиваясь на нетвердых ногах и придерживаясь рукой за стену, стоял совершенно раскисший со сна солдат — тоже в одних трусах и в ботинках.

— Виноват, господин сержант... — промямлил он. Видно было, что он ничего не соображает. По-

том руки его опустились по швам. — Разрешите отлучиться в уборную, господин сержант!

— Бумага нужна?

Солдат почмокал губами, пошевелил лицом.

— Никак нет. Имеется... — Он показал зажатый в кулаке клочок бумаги, видимо, из Изиных архивов. — Разрешите идти?

— Ступай... Прошу прощения, господин советник. Всю ночь бегают. А случается, что и просто так... под себя... Раньше хоть марганцовка помогала, а теперь вот ничего уже не помогает... Угодно будет, господин советник, проверить караулы?

— Нет, — сказал Андрей, поднимаясь.

— Прикажете сопровождать?

— Нет. Останьтесь.

Андрей снова вышел в вестибюль. Здесь было так же жарко, но воняло все-таки поменьше. Рядом бесшумно вырос Немой. Слышно было, как на лестнице, этажом выше, оступается и шипит сквозь зубы рядовой Анастасис. Не дойдет ведь до сортира, на пол навалит, подумал Андрей с гадливым сочувствием.

— Ну что, — сказал он вполголоса Немому. — Посмотрим, как гражданские устроились?

Он пересек вестибюль и вошел в дверь квартиры напротив. Походно-полевой дух стоял и

здесь, но армейского порядка уже не было. Пригашенная лампа в коридоре тускло освещала сваленные кое-как приборы в брезентовых чехлах вперемежку с оружием, грязный рюкзак с развороченными внутренностями, брошенные у стены манерки и кружки. Взявши лампу, Андрей шагнул в ближайшую комнату, и сейчас же ему под ноги попался чей-то ботинок.

Здесь спали водители — голые, потные, распростертые на мятом брезенте. Даже простыни не постелили... Впрочем, простыни были, надо думать, грязнее всякого брезента. Один из водителей вдруг поднялся, сел, не раскрывая глаз, зверски поскреб плечи и проговорил невнятно: «На охоту идем, а не в баню... На охоту, понял? Вода желтая... под снегом желтая, понял?» Еще не договорив, он снова обмяк и повалился на бок.

Андрей убедился, что все четверо на месте, и прошел к следующей комнате. Здесь уже обитала интеллигенция. Спали на раскладушках, застелив их серыми простынями, спали тоже неспокойно, с нездоровым храпом, — постанывали, скрипели зубами. Двое картографов в одной комнате, двое геологов — в соседней. В комнате геологов Андрей уловил незнакомый сладковатый запах, и ему сразу же вспомнилось, что

ходит слух, будто геологи покуривают гашиш. Позавчера сержант Фогель отобрал сигарету с анашой у рядового Тевосяна, начистил ему зубы и пригрозил сгноить в авангарде. И хотя полковник отнесся к этому случаю скорее юмористически, Андрею все это очень не понравилось.

Остальные комнаты в огромной квартире были пусты, только на кухне, закутавшись с головой в какое-то тряпье, спала Мымра — измотали ее, видно, за этот вечер. Из-под гнусного тряпья торчали тощие голые ноги, все в ссадинах и каких-то пятнах. Вот еще беда на нашу голову, подумал Андрей. Шамаханская царица. Черт бы ее побрал, проклятую сучку. Шлюха грязная... Откуда? Кто такая? Бормочет невразумительное на непонятном языке... Почему в Городе — непонятный язык? Как это может быть? Изя услышал — обалдел... Мымра. Это ведь Изя ее так назвал. Правильно назвал. Очень похоже. Мымра.

Андрей вернулся к комнате водителей, поднял лампу над головой и показал Немому на Пермяка. Немой, бесшумно скользнув между спящими, нагнулся над Пермяком и взял его обеими ладонями за уши. Потом он выпрямился. Пермяк уже сидел, упираясь одной рукой в пол, а другой — отирая с губ набежавшую во сне слюнку.

Поймав его взгляд, Андрей мотнул головой в сторону коридора, и Пермяк сразу же поднялся на ноги — легко и беззвучно. Они прошли в пустую комнату в глубине квартиры, Немой плотно закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Андрей посмотрел, где сесть. Комната была пуста, и он сел прямо на пол. Пермяк опустился перед ним на корточки. В свете лампы конопатое лицо его казалось нечистым, спутанные волосы падали на лоб, и сквозь них чернела корявая татуировка «раб Хрущёва».

— Пить хочешь? — спросил Андрей вполголоса.

Пермяк кивнул. На лице его появилась знакомая блудливая улыбочка. Андрей извлек из заднего кармана плоскую флягу, где на донышке плескалась вода, и протянул ему. Он смотрел, как Пермяк пьет — маленькими скупыми глотками, шумно дыша через нос, двигая щетинистым кадыком. Вода сразу же испариной выступала у него на теле.

— Тепленькая... — сипло сказал Пермяк, возвращая пустую фляжку. — Холодной бы... из-под крана... Эх!

— Что там у вас с двигателем? — спросил Андрей, засовывая фляжку обратно в карман.

Пермяк растопыренной ладонью собрал пот с лица.

— Говно — двигатель, — сказал он. — Его у нас вторым делали, не поспевали к сроку... Чудо еще, что до сего дня продержался.

— Починить можно?

— Починить можно. Денька два-три потыркаемся — починим. Только это ненадолго. Еще километров двести прочапаем, снова будем загорать. Говно — двигатель.

— Понятно, — сказал Андрей. — А ты не заметил, кореец Пак около солдат не вертится?

Пермяк досадливо отмахнулся от этого вопроса. Он придвинулся к Андрею и проговорил ему в самое ухо:

— Нынче на обеденном привале солдаты сговорились дальше не идти.

— Это я уже знаю, — сказал Андрей, стискивая зубы. — Ты мне скажи, кто у них верховодит?

— Не могу никак разобрать, начальник, — свистящим шепотом ответил Пермяк. — Болтает больше всех Тевосян, но ведь он трепло, а потом он последнее время что ни утро — торчит...

— Что?

— Торчит... Ну — под балдой, накурившись... Его никто не слушает. А вот кто настоящий заводила

— не пойму.

— Хнойпек?

— А хрен его знает. Может, и он. Человек в авторитете... Водители вроде бы тоже за, то есть чтобы дальше не идти. От господина Эллизауэра толку никакого нет — он только хихикает, как падло, да всем старается угодить... боится, значит. А я что могу? Я только их подзуживаю, что на солдат полагаться нельзя, что они нашего брата-водителя ненавидят. Мы, мол, едем — они идут. Им паек солдатский, а нам — как господам ученым... За что, мол, им нас любить? Раньше действовало, а теперь что-то плохо действует. Главное что? Тринадцатый день послезавтра...

— А ученые как? — прервал его Андрей.

— А хрен их знает. Ругаются страшными словами, а вот за кого они — не могу понять. Каждый божий день у них с солдатами из-за Мымры грызня... А господин Кехада, знаете, что говорил? Что полковник, мол, долго не протянет.

— Кому говорил?

— Я так думаю, что это он всем говорит. А сам я слышал, как он это своим геологам объяснял, чтобы они с оружием не расставались. На этот случай. Сигаретки нет, Андрей Михайлович?

— Нет, — сказал Андрей. — А как сержант?

— К сержанту не подступишься. С ним — где залезешь, там и слезешь. Камешек. Убьют они его первого. Очень ненавидят.

— Ладно, — сказал Андрей. — А как все-таки насчет корейца? Агитирует он солдат или нет?

— Не видел. Он всегда особняком держится. Ежели хотите, я, конечно, за ним специально присмотрю, но, по-моему, это пустой номер...

— Ну, вот что, — сказал Андрей. — С завтрашнего дня — большой привал. Работы, в общем, никакой. Только на тракторе. А солдаты будут вообще только валяться да болтать. Ты вот что, Пермяк. Ты мне выясни, кто у них главный. Это у тебя будет дело номер один. Придумай что-нибудь, тебе там видней, как это сделать... — Он поднялся, и Пермяк тоже вскочил. — Тебя сегодня правда рвало?

— Да, скрутило чего-то... Сейчас вроде полегче.

— Надо что-нибудь?

— Да нет, лучше не стоит. Курева бы...

— Ладно. Трактор почините — премию выдам. Иди.

Пермяк выскользнул за дверь мимо посторонившегося Немого, а Андрей подошел к окну и оперся на подоконник, выжидая положенные пять минут. В отсветах подвижной фары грузно

чернели остовы волокуш и второго трактора, блестели остатки стекол в черных окнах дома напротив. Справа невидимый в темноте часовой, позвякивая подковками, бродил взад-вперед поперек улицы и тихонько насвистывал что-то унылое.

Ничего, подумал Андрей. Выкарабкаемся. Заводилу бы найти... Он представил себе снова, как по его приказу сержант выстраивает солдат без оружия в одну шеренгу и как он, Андрей, начальник экспедиции, с пистолетом в опущенной руке медленно идет вдоль этой шеренги, вглядываясь в окаменевшие заросшие лица, как он останавливается перед отвратной рыжей харей Хнойпека и стреляет ему в живот — раз и второй раз... Без суда и следствия. Так будет с каждым мерзавцем и трусом, который осмелится...

А господин Пак, по-видимому, и на самом деле ни при чем, подумал он. И на том спасибо. Ладно. Завтра еще ничего не случится. Еще дня три ничего не случится, а за три дня можно много чего придумать... Можно, например, хороший источник найти, километрах в ста впереди. К воде небось поскачут, как лошади... Ну и духотища же все-таки здесь. Всего-то один вечер здесь стоим, а уже дерьмом везде воняет... И вообще время все-

гда работает на начальство против бунтовщиков. Везде так было и всегда так было... Откуда я это взял? Изя? Да нет, пожалуй, это я сам придумал. Хорошо придумал, правильно. Молодец... Вот они сегодня сговорились, что завтра дальше не пойдут. Утром поднимутся оскаленные, а мы им — большой привал. Идти-то, ребята, оказывается, никуда и не надо, зря оскалились... А тут еще тебе и каша с черносливом, чаю вторая кружка, шоколад... Вот так-то, господин Хнойпек! А до тебя я все-таки доберусь, дай только срок... Ч-черт, спать охота. Пить охота... Ну, про питье ты, положим, забудь, господин советник, а вот спать надо. Завтра — чуть свет... Провалился бы ты, Фриц, со своей экспансией. Тоже мне — император всея говна...

— Пойдем, — сказал он Немому.

За столом Изя все еще листал свои бумажки. Теперь он взял себе новую дурную привычку — бороду кусать. Завернет волосню свою на горсть, сунет в зубы и грызет. Экое чучело, право... Андрей подошел к раскладушке и принялся застилать простыню. Простыня липла к рукам, как клеенка.

Изя вдруг сказал, повернувшись к нему всем телом:

— Так вот. Жили они здесь под управлением

Самого Доброго и Простого. Все с большой буквы, заметь. Жили хорошо, всего было вдоволь. Потом стал меняться климат, наступило резкое похолодание. А потом еще что-то произошло, и они все погибли. Я тут нашел дневник. Хозяин забаррикадировался в квартире и помер от голода. Вернее, он не помер, а повесился, но повесился от голода — сошел с ума... Началось с того, что на улице появилась какая-то рябь...

— Что появилось? — спросил Андрей, переставая стаскивать ботинок.

— Какая-то рябь появилась. Рябь! Тот, кто попадал в эту рябь, исчезал. Иногда успевал еще заорать, а иногда и того не успевал — просто растворялся в воздухе — и все.

— Бред какой-то... — проворчал Андрей. — Ну?

— Те, кто вышел из дому, все погибли в этой ряби. А те, кто испугался или сообразил, что дело дрянь, те поначалу выжили. Первое время по телефону переговаривались, потом стали понемножку вымирать. Жрать ведь нечего, на улице — мороз, дров не запасли, отопление не работает...

— А рябь куда делась?

— Ничего по этому поводу не пишет. Я тебе говорю, он к концу с ума сошел. Последняя запись

у него такая... — Изя пошелестел бумагами. — Вот, слушай: «Не могу больше. Да и зачем? Пора. Сегодня утром Добрый и Простой прошел по улице и заглянул ко мне в окно. Это улыбка. Пора». И все. Квартира у него, заметь, на пятом этаже. Он, бедняга, петельку к люстре приладил... Петелька, между прочим, так до сих пор и висит.

— Да, похоже, на самом деле с ума сошел, — сказал Андрей, забираясь в постель. — Это от голода, точно. Слушай, а насчет воды как, ничего?

— Пока ничего. Я полагаю, нам завтра надо идти до конца акведука... Ты что, уже спать?

— Да. И тебе советую, — сказал Андрей. — Прикрути лампу и выметайся.

— Слушай, — сказал Изя жалобно. — Я хотел еще немножко почитать. У тебя лампа хорошая.

— А твоя где? У тебя такая же.

— Понимаешь, она у меня разбилась. В волокуше... Я на нее ящик поставил. Нечаянно...

— Кр-ретин, — сказал Андрей. — Ладно. Забирай лампу и уходи.

Изя торопливо зашуршал бумагой, двинул стулом, потом сказал:

— Да! Тут тебе Даган пистолет твой принес. И от полковника что-то передавал, но я забыл...

— Ладно, дай сюда пистолет, — сказал Андрей.

Он сунул пистолет под подушку и повернулся на бок, спиной к Изе.

— А хочешь, я тебе одно письмо почитаю? — вкрадчиво сказал Изя. — У них тут, понимаешь, было что-то вроде полигамии...

— Пошел вон, — спокойно сказал Андрей.

Изя хихикнул. Андрей с закрытыми глазами слушал, как он возится, шуршит, скрипит рассохшимся паркетом. Потом скрипнула дверь, и когда Андрей открыл глаза, было уже темно.

Рябь какая-то... Н-да. Ну, тут уж как повезет. Сие от нас не зависит. Думать надо только о том, что от нас зависит... Вот в Ленинграде никакой ряби не было, был холод, жуткий, свирепый, и замерзающие кричали в обледенелых подъездах — все тише и тише, долго, по многу часов... Он засыпал, слушая, как кто-то кричит, просыпался все под этот же безнадежный крик, и нельзя сказать, что это было страшно, скорее тошно, и когда утром, закутанный до глаз, он спускался за водой по лестнице, залитой замерзшим дерьмом, держа за руку мать, которая волочила санки с привязанным ведром, этот, который кричал, лежал внизу возле клетки лифта, наверное, там же, где упал вчера, наверняка там же — сам он встать не мог, ползти тоже, а выйти к нему так

никто и не вышел... И никакой ряби не понадобилось. Мы выжили только потому, что мать имела обыкновение покупать дрова не летом, а ранней весной. Дрова нас спасли. И кошки. Двенадцать взрослых кошек и маленький котенок, который был так голоден, что, когда я хотел его погладить, он бросился на мою руку и жадно грыз и кусал пальцы... Вас бы туда, сволочей, подумал Андрей про солдат с неожиданной злобой. Это вам не Эксперимент... И тот город был пострашнее этого. Я бы там обязательно сошел с ума. Меня спасло, что я был маленький. Маленькие просто умирали...

А город, между прочим, так и не сдали, подумал он. Те, кто остался, понемножку вымирали. Складывали их штабелями в дровяных сараях, живых пытались вывезти — власть все равно функционировала, и жизнь шла своим чередом — странная, бредовая жизнь. Кто-то просто тихо умирал; кто-то совершал героические поступки, потом тоже умирал; кто-то до последнего вкалывал на заводе, а когда приходило время, тоже умирал... Кто-то на всем этом жирел, за кусочки хлеба скупал драгоценности, золото, жемчуг, серьги, потом тоже умирал — сводили его вниз к Неве и стреляли, а потом поднимались, ни на кого не глядя, закидывая винтовочки за плоские

спины... Кто-то охотился с топором в переулках, ел человечину, пытался даже торговать человечиной, но тоже все равно умирал... Не было в этом городе ничего более обыкновенного, чем смерть. А власть оставалась, и пока оставалась власть, город стоял.

Интересно все-таки, было им нас жалко? Или они о нас просто не думали? Просто выполняли приказ, а в приказе было про город и ничего не было про нас. То есть про нас, конечно, тоже было, но только в пункте «ж»... На Финляндском вокзале под ясным, белым от холода небом стояли эшелоны дачных вагонов. В нашем вагоне было полно детишек, таких же, как я, лет двенадцати — какой-то детский дом. Ничего почти не помню. Помню солнце в окнах и пар дыхания, и детский голос, который все повторял и повторял одну и ту же фразу, с одной и той же бессильно-злобной визгливой интонацией: «Иди на х... отседова!», и снова: «Иди на х... отседова!», и снова...

Подожди, я не об этом. Приказ и жалость — вот я о чем. Вот мне, например, солдат жалко. Я их прекрасно понимаю и даже им сочувствую. Отбирали ведь добровольцев, и вызвались, конечно, в первую голову авантюристы, сарынь-на-кичку, которым в благоустроенном нашем городе

скучно и томно, которые не прочь посмотреть совсем новые места, автоматиком поиграть при случае, пошарить по развалинам, а вернувшись — набить карманы наградными, нацепить свеженькие лычки, гоголем походить среди девок... И вот вместо всего этого — понос, кровавые мозоли, чертовщина жуткая какая-то... Тут забунтуешь!

А мне? Мне что — легче? Я что — тоже за поносом сюда шел? Мне тоже неохота дальше идти, я тоже впереди ничего хорошего уже не вижу, у меня, черт вас побери, тоже были кое-какие надежды — свой, понимаете ли, хрустальный дворец за горизонтом! Я, может быть, сейчас рад-радехонек скомандовать: все, ребята, поворачивай оглобли!.. Мне ведь тоже осточертела эта грязь, я тоже разочарован, я тоже, черт побери, боюсь — какой-нибудь там ряби паршивой или людей с железными головами. У меня, может быть, все внутри оборвалось, когда я этих безъязыких увидел: вот оно, предупреждение тебе — не ходи, дурак, возвращайся... А волки? Когда я один в арьергарде шел, потому что вы все со страху обдристались, думаете, мне сладко было? Выскочит из пыли, отхватит ползадницы, и нет его... Вот так-то, голубчики, сволочи мои дорогие, не вам одним тяжело, у меня тоже от жажды

внутри все потрескалось...

Ну хорошо, сказал он себе. А на кой ляд ты тогда идешь? Вот прямо завтра и дай команду — птичкой полетим, через месяц будем дома, бросишь Гейгеру под ноги свои высокие полномочия и скажешь: ну тебя, брат, на хер, сам иди, если тебе так приспичило экспансию разводить, если у тебя, понимаешь, в одном месте свербеж... Да нет, собственно, почему обязательно со скандалом? Как-никак, а прошли девятьсот километров, карту сделали, архивов раздобыли десять ящиков — мало, что ли? Ну нет там ничего дальше! Сколько же можно еще ноги мозолить? Это ведь не Земля, не шар... Ну нет здесь нефти, и воды нет, и крупных поселений... И Антигорода никакого, конечно, нет, это совершенно теперь ясно — никто здесь о нем и слыхом не слыхивал... В общем, оправдания найдутся. Оправдания... То-то и оно, что оправдания!

Тут ведь вопрос как стоит? Договорились идти до конца, и приказано было тебе идти до конца. Так? Так. Теперь: дальше идти можешь? Могу. Жратва есть, горючее есть, оружие в порядке... Люди, конечно, измотались, но все целы-невредимы... Да и не так уж измотались, в конце концов, коли Мымру по вечерам валяют... Нет, брат, не

сходятся у тебя концы с концами. Дерьмовый ты начальник, скажет тебе Гейгер, ошибся я в тебе! А тут еще ему Кехада — в одно ухо, Пермяк — в другое, а там уже и Эллизауэр на подхвате...

Эту последнюю мысль Андрей постарался поскорее от себя отогнать, но было уже поздно. С ужасом он обнаружил, что для него, оказывается, отнюдь не маловажную роль играет его положение господина советника и что ему крайне не нравится думать о том, что положение это может вдруг измениться.

Ну и пусть изменится, думал он, защищаясь. Что я — с голоду подохну без этого положения? Пожалуйста! Пусть господин Кехада садится на мое место, а я сяду — на его. Дело от этого пострадает, что ли?.. Господи, подумал он вдруг. Да какое, собственно, дело-то? Что ты несешь, милый? Ты ведь уже теперь не маленький — о судьбах мира заботиться... Судьбы мира, знаешь ли, и без тебя обойдутся, и без Гейгера... Каждый должен делать свое дело на своем посту? Пожалуйста, не возражаю. Готов делать свое дело на своем посту. На своем. На этом самом. На посту власть имущего. Вот так-то, господин советник!.. А какого черта? Почему бывший унтер-офицер битой армии имеет право властвовать над миллионным городом,

а я — без пяти минут кандидат наук, человек с высшим образованием, комсомолец — не имею права властвовать над отделом науки? Что же это — у меня хуже выходит, чем у него? В чем дело?..

Ерунда все это — «имею право, не имею права»... Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно, — право на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинять — имеешь право на власть. Не умеешь — извини!..

И вы у меня пойдете, мерзавцы! — сказал он спящей экспедиции. Не потому вы у меня пойдете, что я сам рвусь, как этот павиан бородатый, в неизведанные дали, а потому вы у меня пойдете, что я вам прикажу идти. А прикажу я вам идти, сукины вы дети, разгильдяи, ландскнехты дрисливые, не из чувства долга перед Городом или, упаси бог, перед Гейгером, а потому, что у меня есть власть, и эту власть я должен постоянно подтверждать — и перед вами, паскудниками, подтверждать, и перед собой. И перед Гейгером... Перед вами — потому что иначе вы меня сожрете. Перед Гейгером — потому что иначе он меня выгонит и будет прав. А перед собой... Это, знаете ли, королям и всяким там монархам была в свое время лафа. Власть у них была от Бога, лично,

без власти ни они сами себя не представляли, ни ихние подданные. Да и то, между прочим, зевать им не приходилось. А мы, маленькие люди, в Бога не верим. Нас на трон миром не мазали. Мы должны сами о себе позаботиться... У нас, знаете ли, так: кто смел, тот и съел. Самозванцев нам не надо — командовать буду я. Не ты, не он, не они и не оне. Я. Армия меня поддержит...

Во наколбасил, подумал он с некоторой даже неловкостью. Он перевернулся на другой бок, а руку для удобства засунул под подушку, где было попрохладней. Пальцы его наткнулись на пистолет.

...Это как же вы намереваетесь всю эту свою программу осуществлять, господин советник? Это же — стрелять придется! Не в воображении своем стрелять («Рядовой Хнойпек, выйти из строя!..»), не онанизмом умственным заниматься, а вот так — взять и выпалить живому человеку, может быть, безоружному, может быть, даже ничего не подозревающему, может быть, и не виноватому, в конце концов... да плевать на все это! — *живому* человеку — в живот, в мягкое, в кишки... Нет, этого я не умею. Этого я никогда не делал и, ей-богу, не представляю... На триста сороковом километре я, конечно, тоже палил, как и

все, со страху просто, ничего же не понимал... Но там я никого не видел, и там в меня, черт побери, тоже стреляли!..

Ладно, подумал он. Ну, хорошо — гуманизм там, отсутствие привычки опять же... А если они все-таки не пойдут? Я им прикажу, а они мне ответят: шел бы ты на хер, братец, сам иди, если у тебя в одном месте свербеж...

А ведь это идея! — подумал он. Выдать разгильдяям немного воды, часть жратвы выделить на обратную дорогу, поломанный трактор пусть чинят... Идите, мол, без вас обойдемся. Как бы это было роскошно — разом освободиться от дерьма!.. Впрочем, он сразу представил себе лицо полковника при таком предложении. М-да, полковник этого не поймет. Не та порода. Он как раз из этих... из монархов. Ему мысль о возможном неподчинении просто в голову не приходит. И уж во всяком случае, мучиться над всеми этими проблемами он не станет... Военно-аристократическая косточка. Ему хорошо — у него и отец был полковник, и дед был полковник, и прадед был полковник — вон какую империю отгрохали, то-то небось народу перебили... Вот он пусть и расстреливает, в случае чего. В конце концов, это его люди. Я в его дела вмешиваться не намерен...

Ч-черт, надоело мне это все! Интеллигентщина распротухлая, развел гнидник под черепушкой!.. Должны идти — и все! Я выполняю приказ, и вы извольте выполнять. Меня не приласкают, если нарушу, и вам тоже, черт вас дери, не поздоровится! И все. И к черту. Лучше о бабах думать, чем об этой ерунде. Тоже мне — философия власти...

Он снова перевернулся, скручивая под собою простыню, и с натугой представил себе Сельму. В этом ее сиреневом пеньюаре — как она наклоняется перед постелью и ставит на столик поднос с кофе... Он подробно представил себе, как все это было бы с Сельмой, а потом вдруг — уже без всякой натуги — очутился на службе в своем кабинете, где обнаружил в большом кресле Амалию с юбчонкой, закатанной до подмышек... Тогда он понял, что дело зашло слишком далеко.

Он отбросил простыню, сел нарочито неудобно, чтобы край раскладушки врезался в задницу, и некоторое время сидел, таращась в слабо освещенный рассеянным светом прямоугольник окна. Потом он посмотрел на часы. Было уже больше двенадцати. А вот встану сейчас, подумал он. Спущусь на первый этаж... Где она там дрыхнет — на кухне, что ли? Раньше эта мысль всегда вызывала у него здоровое отвращение. Сейчас

этого не получалось. Он представил себе голые грязные ноги Мымры, но не задержался на них, а пошел выше... Ему вдруг стало интересно, а какая она голая. В конце концов, баба есть баба...

— Господи! — сказал он громко.

Дверь сейчас же скрипнула, и на пороге появился Немой. Черная тень во тьме. Только белки поблескивают.

— Ну чего пришел? — сказал ему Андрей с тоскою. — Иди спи.

Немой исчез. Андрей нервно зевнул и повалился боком на койку.

Проснулся он от ужаса, весь мокрый.

— ...Стой, кто идет? — снова завопил под окном часовой. Голос у него был пронзительный, отчаянный, словно он звал на помощь.

И сейчас же Андрей услышал тяжелые хрусткие удары, как будто кто-то огромный мерно ударял огромной кувалдой по крошащемуся камню.

— Стрелять буду! — пронзительно завизжал часовой совсем уже нечеловеческим голосом и принялся стрелять.

Андрей не запомнил, как оказался у окна. В темноте справа судорожно билось оранжевое пламя выстрелов. В огненных отсветах выше по улице чернело что-то громоздкое, неподвижное,

непонятных очертаний, и из него вылетали и рассыпались снопы зеленоватых искр. Андрей ничего не успел понять. Обойма у часового кончилась, на мгновение наступила тишина, потом он там в темноте снова дико завизжал — совсем как лошадь, — забухал ботинками и вдруг оказался в круге света под самым окном — влетел, завертелся на одном месте, размахивая пустым автоматом, затем, не переставая визжать, бросился к трактору, забился в черную тень под гусеницу и все дергал, дергал из-за пояса запасную обойму, и никак не мог выдернуть... И тогда снова послышались хрусткие удары кувалды о камень: бумм-бумм-бумм...

Когда Андрей в одной куртке, без штанов, в башмаках с болтающимися шнурками выскочил с пистолетом в руке на улицу, там уже было полно народу. Сержант Фогель ревел быком:

— Тевосян, Хнойпек! Направо! Приготовиться вести огонь! Анастасис! На трактор, за кабину! Наблюдать, приготовиться вести огонь!.. Живее! Дохлые свиньи!.. Василенко! Налево! Залечь, вести... Налево, раздолбай славянский! Залечь, вести наблюдение!.. Палотти! Куда, макаронник!..

Он схватил бегущего без памяти итальянца за шиворот, со страшной силой ударил его башма-

ком в зад и швырнул к трактору.

— За кабину, животное!.. Анастасис, дайте свет вдоль улицы!..

Андрея толкали в спину, в бока. Стиснув зубы, он пытался удержаться на ногах, абсолютно ничего не соображая, борясь с нестерпимым желанием заорать что-то бессмысленное. Он прижался к стене и, выставив перед собой пистолет, затравленно озирался. Почему они все бегут туда? А вдруг те нападут сзади? Или с крыши? Или из дома напротив?..

— Водители! — ревел Фогель. — Водители, на трактора!.. Кто там стреляет, ублюдки?! Прекратить огонь!..

Понемногу в голове у Андрея прояснилось. Дело, оказывается, было совсем не так уж и плохо. Солдаты залегли, где было приказано, суета прекратилась, и наконец кто-то на тракторе повернул прожектор и осветил улицу.

— Вон он! — крикнул придушенный голос.

Коротко ударили и сейчас же смолкли автоматы. Андрей успел заметить только что-то огромное, чуть ли не выше домов, уродливое, с торчащими в разные стороны обрубками и шипами. Оно отбросило вдоль улицы бесконечную тень и сразу же свернуло за угол в двух кварталах

выше по улице. Исчезло из виду, а тяжелые удары кувалды по хрустящему камню сделались тише, потом еще тише, а вскоре затихли совсем.

— Что там произошло, сержант? — произнес спокойный голос полковника над головой Андрея.

Полковник, застегнутый на все пуговицы, упершись руками в подоконник и слегка наклонившись вперед, стоял у окна.

— Часовой поднял тревогу, господин полковник, — отозвался сержант Фогель. — Рядовой Терман.

— Рядовой Терман, ко мне, — сказал полковник.

Солдаты завертели головами.

— Рядовой Терман! — рявкнул сержант. — К полковнику!

В рассеянном свете прожектора было видно, как рядовой Терман лихорадочно выкарабкивается из-под гусеницы. Снова у него, у бедняги, что-то там зацепилось. Он рванулся изо всех сил, встал на ноги и закричал петушиным голосом:

— Рядовой Терман по приказанию господина полковника явился!

— Ну и чучело! — сказал полковник брезгливо. — Застегнитесь.

И в этот момент включилось солнце. Это было так неожиданно, что над лагерем пронеслось многоголосое сдавленное мычание. Многие закрыли глаза ладонями. Андрей зажмурился.

— Почему подняли тревогу, рядовой Терман? — осведомился полковник.

— Посторонний, господин полковник! — с отчаянием в голосе выпалил Терман. — Не отзывался. Шел прямо на меня. Земля дрожала!.. Согласно уставу окликнул два раза, потом открыл огонь...

— Ну что ж, — сказал полковник. — Хвалю.

В ярком свете все казалось совсем не таким, как пять минут назад. Лагерь теперь был как лагерь — осточертевшие волокуши, грязные железные бочки с горючим, покрытые пылью трактора... На этом обычном, уже обрыдлом фоне полураздетые вооруженные люди, лежавшие и сидевшие на корточках со своими пулеметами и автоматами, всклокоченные, с помятыми лицами и растрепанными бородами, казались нелепыми и смешными. Андрей вспомнил, что он и сам без штанов и что ботиночные шнурки у него болтаются, ему стало неловко. Он осторожно попятился к дверям, но там толпой стояли водители, картографы и геологи.

— Осмелюсь доложить, — говорил тем време-

нем приободрившийся Терман. — Это был не человек, господин полковник.

— А что же это было?

Рядовой Терман затруднился.

— Похоже скорее на слона, господин полковник, — авторитетно сказал Фогель. — Или же на допотопное чудовище.

— На стегозавра больше всего похоже, — подал голос Тевосян.

Полковник тут же обратил на него взгляд и несколько секунд с любопытством его рассматривал.

— Сержант, — сказал он наконец. — Почему ваши люди раскрывают рот без разрешения?

Кто-то злорадно хихикнул.

— Р-р-разговорчики! — страшным шепотом произнес сержант. — Разрешите наказать, господин полковник?

— Полагаю... — начал было полковник, и тут его прервали.

— В-ва-ва-ва-в-в... — тихонько, а потом все громче завыл кто-то, и Андрей заметался взглядом по лагерю, ища, кто это воет и почему.

Все испуганно зашевелились, все завертели головами, а потом Андрей увидел: Анастасис, стоя позади тракторной кабины, тычет рукой

куда-то вперед, весь белый, даже зеленый, и не может выговорить ни одного связного слова. Андрей, заранее напрягаясь, готовый ко всему, поглядел, куда он тычет, но ничего там не увидел. Улица была пуста, в дальнем конце ее уже дрожало жаркое марево. Потом сержант вдруг гулко прочистил горло и надвинул фуражку на лоб, кто-то тихо, с отчаянием, выругался, а Андрей все еще не понимал, и только когда незнакомый голос у него над ухом прохрипел: «Господи, твоя воля!..», Андрей, наконец, понял. У него волосы зашевелились на затылке, и ослабели ноги.

Статуи на углу не было. Огромный железный человек с жабьим лицом и пафосно растопыренными руками исчез. Остался на перекрестке только засохший кал, который вчера навалили вокруг статуи солдаты.

Глава третья

— Так я пошел, полковник, — сказал Андрей, поднимаясь.

Полковник тоже поднялся и тотчас же тяжело оперся на трость. Сегодня он был еще бледнее, лицо обтянуто, и он казался совершенным стариком. Даже от выправки его, можно сказать, ничего не осталось.

— Счастливого пути, господин советник, — проговорил он. Выцветшие глазки его глядели почти виновато. — Черт возьми, в сущности, командирская рекогносцировка — это ведь мое дело...

Андрей взял со стола автомат и закинул ремень на плечо.

— Не знаю, не знаю... — сказал он. — У меня, например, такое ощущение, будто я удираю, бросивши все на вас... А вы больны, полковник.

— Да, представьте себе, сегодня я... — Полковник оборвал себя. — Я полагаю, вы вернетесь до темноты?

— Я вернусь значительно раньше, — сказал Андрей. — Эту вылазку я не рассматриваю даже как рекогносцировку. Я просто хочу показать этим трусливым ублюдкам, что ничего страш-

ного впереди нет. Ходячие статуи, видите ли!.. — Он спохватился. — Я не имел в виду упрекнуть ваших солдат, полковник...

— Пустяки... — Полковник слабо отмахнулся тощей рукой. — Вы совершенно правы. Солдаты всегда трусливы. Я ни разу в жизни не видел храбрых солдат. Да и с какой стати им быть храбрыми?

— Ну, — улыбнулся Андрей, — если бы впереди нас ожидали всего-навсего танки противника...

— Танки! — сказал полковник. — Танки — другое дело. Но вот я прекрасно помню случай, когда рота парашютистов отказалась вступить в деревню, где жил известный на всю округу колдун.

Андрей засмеялся и протянул полковнику руку.

— До встречи, — сказал он.

— Минуточку, — остановил его полковник. — Даган!

В комнате возник Даган с флягой, оплетенной серебряной сеткой, в руке. На столе появился серебряный подносик, а на подносике — серебряные же стопочки.

— Прошу вас, — сказал полковник.

Они выпили и обменялись рукопожатием.

— До встречи, — повторил Андрей.

Он спустился по вонючей лестнице в вестибюль, холодно кивнул Кехаде, который прямо на полу возился с каким-то прибором вроде теодолита, и вышел на пышущую жаром улицу. Короткая тень его легла на пыльные потрескавшиеся плиты тротуара, и сейчас же рядом появилась вторая тень, и тогда Андрей вспомнил про Немого. Он оглянулся. Немой стоял в своей обычной позе, засунув ладони за широкий пояс, с которого свисал устрашающего вида тесак. Густые черные волосы его стояли дыбом, босые ноги были расставлены, а коричневая кожа лоснилась, словно смазанная жиром.

— Может, автомат возьмешь все-таки? — спросил Андрей.

«Нет».

— Ну, как хочешь...

Андрей огляделся. Изя и Пак сидели в тени волокуши и, развернув карту, рассматривали схему города. Двое солдат, вытянув шеи, заглядывали им через головы. Один из них поймал взгляд Андрея, поспешно отвел глаза и толкнул другого в бок. Оба сейчас же отошли и скрылись за волокушей.

У второго трактора копошились водители во главе с Эллизауэром. Водители были кто в чем,

а на маленьком черепе Эллизауэра красовалась гигантская широкополая шляпа. Тут же торчали еще два солдата — подавали советы, часто сплевывая в сторону.

Андрей посмотрел вверх — вдоль улицы. Пусто. Раскаленный воздух дрожит над булыжником. Марево. За сто метров уже ничего не разобрать — как в воде.

— Изя! — позвал он.

Изя и Пак оглянулись и встали. Кореец подобрал с мостовой и взял под мышку свой маленький самодельный автомат.

— Что, уже? — бодро спросил Изя.

Андрей кивнул и пошел вперед.

Все смотрели на него: прищурившийся от солнца Пермяк, придурковатый Унгерн, испуганно округливший свой вечно полураскрытый рот, угрюмый Горилла-Джексон, медленно вытиравший руки куском пакли... Эллизауэр, очень похожий на грязный, ободранный грибок с детской площадки, приложил два пальца к полям шляпы с самым торжественным и сочувствующим видом, а поплевывавшие солдаты перестали поплевывать, обменялись неслышными замечаниями сквозь зубы и дружно запылили прочь. Трусите, гниды, мстительно подумал Андрей.

Окликнуть вас сейчас для смеха — в штаны ведь навалите...

Они прошли мимо часового, который поспешно сделал «на караул», и зашагали по булыжнику — впереди Андрей с автоматом за плечом, следом по пятам — Немой с рюкзаком, в котором лежали четыре банки консервов, пачка галет и две фляги воды, сзади, отстав шагов на десять, шлепал разбитыми башмаками Изя — за спиной у него был пустой рюкзак, в одной руке он держал схему, а другой судорожно обхлопывал карманы, как бы ища, не забыл ли чего-нибудь. Последним, чуть вразвалочку, походкой человека, привыкшего к дальним переходам, легко шагал кореец Пак с короткоствольным автоматом под мышкой.

Улица была раскалена. Солнце свирепо жарило лопатки и плечи. От стен домов медленными волнами накатывал жар. Ветра сегодня не было совсем.

Позади, в лагере, завели многострадальный двигатель — Андрей не обернулся. Чувство освобождения вдруг овладело им. На несколько славных часов из его жизни исчезали вонючие солдаты с их простой до непонятности психологией; исчезал интриган Кехада, который был виден весь насквозь и от этого особенно осточертел;

исчезали все эти омерзительные заботы о чужих стертых ногах, о чужих скандалах и драках, о том, что кого-то рвет — не отравление ли? — а кого-то особенно интенсивно и с кровью несет — не дизентерия ли?.. Провалиться бы вам всем, твердил Андрей с каким-то даже упоением. Век бы я вас не видел. До чего же без вас хорошо!..

Правда, он тут же вспомнил о сомнительном корейце Паке, и на секунду ему показалось, что светлая радость освобождения замутится сейчас новыми заботами и подозрениями, но он тут же легкомысленно махнул на это рукой. Кореец как кореец. Спокойный человек, никогда ни на что не жалуется. Дальневосточный вариант Иосифа Кацмана, вот и все... Он вдруг вспомнил, как брат рассказывал ему когда-то, что на Дальнем Востоке все народы, а особенно японцы, относятся к корейцам в точности так же, как в Европе все народы, а особенно русские и немцы, относятся к евреям. Это показалось ему сейчас забавным, и почему-то вдруг вспомнился Кэнси... Да, Кэнси бы сюда, дядю Юру, Дональда... Э-хе-хе... Если бы удалось дядю Юру уговорить в эту экспедицию, сейчас бы все было по-другому...

Он вспомнил, как за неделю до выхода он специально выкроил несколько часов, взял у Гейгера

лимузин с пуленепробиваемыми стеклами и смотался к дяде Юре. Как они пили в большой двухэтажной хате, где было чисто, светло, вкусно пахло мятой, домашним дымком, свежепеченым хлебом. Пили самогон, закусывали заливным поросенком, хрустящими малосольными огурчиками, каких Андрей не едал бог знает сколько лет, обгладывали бараньи ребрышки, макали куски мяса в соус, пропитанный чесночными запахами, а потом дебелая голландка Марта, супруга дяди Юры, беременная уже по третьему разу, внесла свистящий самовар, за который дядя Юра в свое время отдал воз хлеба да воз картошки, и они долго, основательно, фундаментально пили чай, заедая каким-то невиданным вареньем, — потели, отдувались, обтирали мокрые лица свежими полотенцами с вышивкой, а дядя Юра все бубнил: «Ничего, ребята, жить теперь вполне можно... Пригоняют мне каждый день пяток тунеядцев из лагеря, воспитываю их трудом, сил, понимаешь, не жалею... ежели что — сразу по зубам, но зато жрут они у меня здесь от пуза, что сам ем, то и им даю, я тебе не эксплуататор какой-нибудь...» А при прощании, когда Андрей уже садился в машину, дядя Юра, сжимая его ладонь своими лапищами, превратившимися, казалось, в сплош-

ную мозоль, проговорил, ища глазами его взгляд: «Ты меня простишь, Андрюха, я знаю... Все бы бросил, и бабу бы свою бросил... Вот этих бросить не могу, не позволяю себе...» — и указал большим пальцем через плечо в сторону двух белоголовых мальчуганов-погодков, которые тихо, чтобы не услышали, тузили друг друга за крыльцом...

Андрей обернулся. Лагеря видно уже не было, марево закрыло его. Тарахтенье двигателя едва доносилось — как из ваты. Изя шел теперь рядом с Паком, махал у него перед носом схемой и кричал что-то про масштаб. Пак, собственно, не спорил. Он только улыбался и, когда Изя порывался остановиться, чтобы развернуть схему и показать все наглядно, деликатно брал его за локоть и увлекал вперед. Серьезный человек, несомненно. На такого при прочих равных условиях вполне можно было бы положиться. Интересно, чего они не поделили с Гейгером?.. Люди они совершенно разные, это ясно...

Пак учился в Кембридже и имел степень доктора философии. Вернувшись в Южную Корею, он принял участие в каких-то студенческих беспорядках против режима, и Ли Сын Ман засадил его в кутузку. Из кутузки его в пятидесятом году освободила северокорейская армия, о нем напи-

сали в газетах, как о настоящем сыне корейского народа, который ненавидит клику Ли Сын Мана и американских империалистов, он сделался заместителем ректора, а через месяц его снова посадили в кутузку, где без предъявления обвинения продержали до самого десанта в Чемульпо, когда кутузка попала под огонь частей Первой кавалерийской дивизии, стремительно рвавшейся на северо-восток. В Сеуле стоял ад кромешный, Пак уже не рассчитывал остаться в живых, и тут ему предложили участие в Эксперименте.

В Город он попал задолго до Андрея, переменил двадцать специальностей, сцепился, конечно, с господином мэром и вошел в подпольную организацию интеллигентов, поддерживавшую тогда движение Гейгера. Что-то у них там с Гейгером произошло. Так или иначе, большая группа подпольщиков еще за два года до Поворота тайно покинула город и ушла на север. Им повезло: на триста пятидесятом километре они нашли в развалинах «снаряд времени» — здоровенную металлическую цистерну, битком набитую самыми разнообразными предметами культуры и образцами технологии. Место было хорошее — вода, плодородная почва у самой Стены, много уцелевших зданий, — там они и осели.

Они ничего не знали о том, что произошло в городе, и когда появились обшитые броней трактора экспедиции, решили, что это — за ними. К счастью, в короткой яростной и нелепой схватке погиб всего один человек. Пак узнал Изю, своего старинного приятеля, и понял, что происходит ошибка... А потом он попросился к Андрею. Он сказал, что им движет любопытство, что он давно уже планировал поход на север, но у эмигрантов не было на это средств. Андрей не очень ему поверил, но с собой взял. Ему показалось, что Пак будет полезен своими знаниями, и Пак действительно оказался полезен. Он делал для экспедиции все, что мог, с Андреем всегда был дружелюбен и предупредителен, с Изей — тем более, но вызвать его на откровенность оказалось невозможно. Ни Андрей, ни даже Изя так и не узнали, откуда у него столько сведений мифического и реального характера относительно предстоящего пути, для чего он все-таки увязался с экспедицией и что он вообще думал — о Гейгере, о Городе, об Эксперименте... Пак никогда не поддерживал разговоров на отвлеченные темы.

Андрей приостановился и, дождавшись своего арьергарда, спросил:

— Ну, вы договорились, что именно вас инте-

ресует?

— Что именно? — Изя наконец развернул свою схему. — Смотри... — Он стал показывать траурным ногтем. — Мы сейчас вот здесь. Значит, раз, два... через шесть кварталов должна быть площадь. Вот здесь какое-то большое здание, наверное, правительственное. Сюда нам надо обязательно попасть. Ну, а если по дороге попадется что-нибудь интересное... Да! Вот сюда бы еще интересно добраться. Далековато немного, но масштаб тут ни к черту, так что неизвестно, может быть, это все рядом... Видишь, написано: «Пантеон». Я люблю пантеоны.

— Ну что ж... — Андрей поправил автомат. — Можно и так, конечно... А воду, значит, мы сегодня искать не будем?

— До воды далеко, — негромко сказал Пак.

— Да, брат... — подхватил Изя. — До воды, брат... Видишь, у них здесь указано — водонапорная башня... Это здесь? — спросил он Пака.

Пак пожал плечами.

— Я не знаю. Но если в этих кварталах вода вообще осталась, то только здесь.

— Да-а-а... — протянул Изя. — Далековато. Километров тридцать, за день не обернуться... Правда, масштаб... Слушай, а зачем тебе воду именно

сейчас? За водой пойдем завтра, как и договаривались... вернее, поедем.

— Хорошо, — сказал Андрей. — Пошли.

Теперь они шли рядом, и некоторое время все молчали. Изя непрерывно крутил головой и как бы принюхивался, но ни справа, ни слева ничего интересного не обнаруживалось. Трех- и четырехэтажные дома, иногда довольно красивые. Выбитые стекла. Некоторые окна заколочены покоробившейся фанерой. На балконах — полуразвалившиеся цветочные ящики, многие дома заплетены жестким пыльным плющом. Большой магазин — огромные, запыленные до непрозрачности витрины, почему-то уцелевшие, а двери — выломаны... Изя сорвался, трусцой сбегал, заглянул, снова вернулся.

— Пусто, — сообщил он. — Полный разгром.

Какое-то общественное здание — не то театр, не то концертный зал, не то кино. Потом опять магазин — витрина расколота, — и еще магазин на другой стороне... Изя вдруг остановился, шумно потянул носом и поднял грязноватый палец.

— О! — сказал он. — Здесь где-то!

— Что? — спросил Андрей, озираясь.

— Бумага, — коротко отозвался Изя.

Ни на кого не глядя, он уверенно устремился

к зданию на правой стороне улицы. Здание это было как здание, ничем особенным от соседних не отличалось, разве что подъезд был пороскошнее да в общем облике его чувствовался некий готический акцент. Изя исчез в подъезде, и они не успели еще пересечь улицы, как он снова высунулся и азартно позвал:

— Давайте сюда, Пак! Библиотека!..

Андрей только головой покрутил от восхищения. Ай да Изя!

— Библиотека? — сказал Пак, ускоряя шаги. — Не может быть!..

В вестибюле было прохладно и полутемно после полыхающей желтым жаром улицы. Высокие готические окна, выходившие, по-видимому, во внутренний двор, были украшены цветными витражами. Пол, выложенный узорной плиткой. Белого камня лестницы, уходящие вправо и влево... По левой уже взбегал Изя, Пак легко нагнал его, и они, шагая через три ступеньки, скрылись из виду.

— А нам-то на кой черт туда тащиться? — сказал Андрей Немому.

Тот был согласен. Андрей поискал, где присесть, и присел на прохладные белые ступени. Автомат он снял и положил рядом. Немой уже сидел на

корточках у стены, закрыв глаза и охватив колени длинными мощными руками. Было тихо, только бубнили наверху неразборчивые голоса.

Надоело, подумал Андрей с раздражением. Мертвые кварталы надоели. Раскаленное это безмолвие. Загадки эти... Людей бы найти, пожить бы с ними, порасспросить их... и чтобы угостили чем-нибудь... все равно чем, только бы не овсянкой этой обрыдлой... и холодного вина! Много, сколько хочешь... или пива. В животе у него заурчало, и он испуганно напрягся, прислушиваясь. Нет, ничего. Сегодня — тьфу-тьфу — ни разу еще не бегал, и на том спасибо. И пятка вроде бы зажила...

Наверху что-то повалилось с тяжелым рассыпчатым грохотом. Изя разборчиво проорал: «Ну куда вы лезете, ей-богу!..» Раздался смех, и голоса забубнили снова.

Копайтесь, копайтесь, подумал Андрей. Только на вас и надежда. Только от вас и можно ждать хоть какого-нибудь толку... И останется от всей этой бездарной затеи мой отчет да двадцать четыре Изиных ящика с бумагами!..

Он вытянул ноги и сам вытянулся на ступеньках, опираясь на локти. Немой вдруг чихнул, звонко откликнулось эхо. Андрей откинул голову

и стал глядеть в далекий сводчатый потолок. Хорошо строили, красиво, лучше чем у нас. И вообще жили, как видно, не худо. И все равно сгинули... Очень это все Фрицу не понравится — он бы, конечно, потенциального противника предпочел. А то что такое получается: жили-жили, строили-строили, прославляли какого-то своего Гейгера... Доброго и Простого... А в результате — пожалуйста: пустота. Как и не было никого. Одни кости, да и тех что-то маловато для такого поселения... Вот так-то, господин президент! Человек предполагает, а Господь рябь какую-нибудь напустит и — конец всему...

Он тоже чихнул и потянул носом. Прохладно здесь как-то... А Кехаду хорошо бы под суд отдать, когда вернемся... Мысли его легко свернули в привычное русло: как загнать Кехаду в угол, чтобы он и пикнуть не смел, чтобы вся документация была как на ладони и чтобы Гейгеру все сразу стало ясно... Он отмахнулся от этих мыслей — они были не к месту и не ко времени. Сейчас надо было думать только о завтрашнем дне. Да и о сегодняшнем не помешало бы. Например, куда все-таки девалась статуя? Пришел кто-то рогатый, стегозавр какой-то... взял ее под мышку и уволок. Зачем? И потом, в ней, между прочим,

тонн пятьдесят весу. Такая зверюга захочет — трактор под мышкой унесет... Уходить отсюда нам надо, вот что. Если б не полковник, сегодня же ноги бы нашей здесь не было... Он стал думать о полковнике и вдруг поймал себя на том, что прислушивается.

Какой-то отдаленный неясный звук появился — не голоса, голоса наверху бубнили по-прежнему, — нет, там, на улице, за высокими приотворенными дверями подъезда. Явственно зазвенели разноцветные стекла в витраже, и явственно завибрировали каменные ступеньки под локтями и задом, словно где-то неподалеку была железная дорога и по ней шел сейчас поезд — тяжелый грузовой состав. Немой вдруг широко раскрыл глаза и повернул голову, настороженно прислушиваясь.

Андрей осторожно подтянул под себя ноги и встал, держа автомат за ремень. Немой сейчас же тоже встал, кося на него одним глазом и все продолжая прислушиваться.

Взявши автомат наизготовку, Андрей бесшумно перебежал к дверям и осторожно выглянул. Жаркий пыльный воздух обжег ему лицо. Улица была желта, раскалена и пуста по-прежнему. Только ватной тишины больше не было. Огром-

ный далекий молот с унылой равномерностью бил в мостовую, и удары эти заметно приближались — тяжелые, хрусткие удары, дробящие в щебень булыжник мостовой.

В доме напротив со звоном осыпалась расколотая витрина. От неожиданности Андрей отпрянул, но тут же взял себя в руки и, закусив губу, оттянул затвор автомата. Черт меня сюда понес, подумал он краем сознания.

Молот все приближался, и совершенно непонятно было — откуда, но удары были все тяжелее, все звонче, и была в них какая-то несокрушимая и неотвратимая победительность. Шаги судьбы, мелькнуло в голове у Андрея. Он растерянно оглянулся на Немого.

Он испытал шок. Немой стоял, прислонившись плечом к стене, и сосредоточенно орудовал своим тесаком, обрезая ноготь на мизинце левой руки. Вид у него при этом был совершенно равнодушный и даже скучающий.

— Что?! — хрипло спросил Андрей. — Ты что это?..

Немой посмотрел на него, кивнул и снова занялся своим ногтем. Бумм, бумм, бумм — раздавалось совсем близко, земля под ногами содрогалась. И вдруг наступила тишина. Андрей сейчас же снова

выглянул. Он увидел: на ближнем перекрестке, доставая головой до третьего этажа, возвышается темная фигура. Статуя. Старинная металлическая статуя. Тот самый давешний тип с жабьей мордой — только теперь он стоял, напряженно вытянувшись, задрав объемистый подбородок, одна рука заложена за спину, другая — то ли грозя, то ли указуя в небеса — поднята, и выставлен указательный палец...

Андрей, обмирая, как в дурном сне, смотрел на это бредовое чудовище. Но он знал, что это не бред. Статуй был как статуй — дурацкое бездарное сооружение из металла, покрытое не то окалиной, не то черной окисью, нелепо и не на месте установленное... В горячем воздухе, поднимавшемся от мостовой, очертания его дрожали и колебались точно так же, как очертания домов вдоль улицы.

Андрей почувствовал руку на своем плече и оглянулся — Немой улыбался и успокаивающе кивал ему. Бумм, бумм, бумм — снова раздалось на улице. Немой все держал его за плечо — трепал, гладил, мял мускулы ласковыми пальцами. Андрей резко отстранился и снова выглянул наружу. Статуи не было больше. И снова была тишина.

Тогда Андрей оттолкнул Немого и на ватных ногах побежал по лестнице наверх, где по-прежнему, как ни в чем не бывало, бубнили голоса.

— Хватит! — рявкнул он, врываясь в библиотечный зал. — Пошли отсюда!

Голос у него совсем сел, и они его не услышали, а может быть, и услышали, но не обратили внимания — они были заняты. Помещение было огромное, уходило в глубину черт-те знает куда, стеллажи, набитые книгами, глушили звуки. Один из стеллажей был повален, книги лежали горой, и в этой горе копались Изя и Пак — оба очень довольные, разгоряченные, потные, азартные... Андрей, шагая прямо по книгам, подошел к ним, взял за воротники, поднял.

— Пошли отсюда, — сказал он. — Хватит. Пошли.

Изя глянул на него затуманенными глазами, рванулся, вырвался и сразу же пришел в себя. Глаза его быстро обшарили Андрея с головы до ног.

— Что с тобой? — спросил он. — Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, — зло сказал Андрей. — Хватит здесь копаться. Куда вам надо? В пантеон? Вот и пошли в пантеон.

Пак, которого он все еще держал за шиворот,

деликатно подвигал плечами и кашлянул. Андрей отпустил его.

— Ты знаешь, что мы здесь нашли?.. — с азартом начал Изя и сразу же оборвал себя. — Слушай, да что стряслось?

Андрей уже взял себя в руки. Все, что было там, внизу, казалось совершенно нелепым и невозможным здесь — в этом строгом душном зале, под испытующим взглядом Изи, рядом с невозмутимо корректным Паком.

— Мы не можем тратить столько времени на каждый объект, — сказал он хмурясь. — У нас всего одни сутки. Пойдемте.

— Библиотека — это не каждый объект! — немедленно возразил Изя. — Это первая библиотека за весь маршрут... Слушай, на тебе лица нет. Что случилось, в конце концов?!

Андрей все никак не мог решиться рассказать. Не знал — как.

— Пошли, — буркнул он, повернулся и зашагал по книгам к выходу.

Изя догнал его и, взявши под руку, пошел рядом. Немой в дверях посторонился, пропуская их. Андрей все не знал, как начать. Все начала и все слова были дурацкими. Потом он вспомнил про дневник.

— Ты мне вчера дневник читал... — проговорил он. Они уже спускались по лестнице. — Ну, этого... который повесился...

— Да?

— Вот тебе и да!

Изя остановился.

— Рябь?

— Неужели вы ничего не слышали? — сказал Андрей с отчаянием.

Изя замотал бородой, а Пак ответил негромко:

— Вероятно, мы увлеклись. Мы спорили.

— Маньяки... — сказал Андрей. Он судорожно перевел дух, оглянулся на Немого и выговорил наконец: — Статуя. Пришла и ушла... Шляются, понимаешь, по городу, как живые...

Он замолчал.

— Ну? — нетерпеливо сказал Изя.

— Что — ну? Все!

Напряженное лицо Изи изобразило огромное разочарование.

— Ну и что? — сказал он. — Ну, статуя... ночью тоже шлялась одна, ну и что?

Андрей открыл и снова закрыл рот.

— Железноголовые, — подал голос Пак. — По-видимому, эта легенда возникла именно здесь...

Андрей, не в силах произнести ни слова, пе-

реводил взгляд с Изи на Пака и обратно. Изя сочувственно — дошло до него, наконец-то! — тянул губы дудкой и все порывался потрепать Андрея по руке, а Пак, полагая, очевидно, что все необходимые разъяснения даны, украдкой поглядывал через плечо на дверь в библиотеку.

— Т-так... — выдавил, наконец, Андрей. — Очень мило. Значит, вы сразу в это поверили?..

— Слушай, ты успокойся, — сказал Изя, ухватив его все-таки за рукав. — Конечно, поверили, а почему не поверить? Эксперимент, он все-таки и есть Эксперимент. За всеми этими нашими поносами и склоками мы о нем забыли, но на самом-то деле... Елки-палки, да что тут такого? Ну, статуи, ну, ходят... А здесь у нас библиотека! И знаешь, какая любопытная картина выясняется: люди, которые здесь жили, — наши современники, двадцатый век...

— Понятно, — сказал Андрей. — Пусти рукав.

Ему уже было совершенно ясно, что он свалял дурака. Впрочем, эта парочка еще не видела статуй по-настоящему. Посмотрим, как они запоют, когда увидят. Правда, Немой тоже как-то странно...

— Нечего меня уговаривать, — сказал он. — Сейчас на эту библиотеку времени у нас нет.

Будем проходить мимо тракторами — навалите хоть целую волокушу. А сейчас пошли. Я обещал вернуться к отбою.

— Ну, хорошо, — успокаивающе сказал Изя. — Ну, пошли. Пошли.

Н-да, думал Андрей, торопливо сбегая по лестнице. Как же это я, с неловкостью думал он, распахивая двери подъезда и выходя на улицу первым, чтобы никто не мог видеть его лица. И ведь не солдат, не шоферюга какой-нибудь, думал он, шагая по раскаленному булыжнику. Это все Фриц, думал он со злостью. Объявил, понимаешь, что нет больше никакого Эксперимента, а я и поверил... то есть не поверил, конечно, а просто принял новую идеологию — из лояльности и по долгу службы... Нет, ребята, все эти новые идеологии — это для дураков, для массы... Но ведь и то сказать: четыре годика жили — ни о каком Эксперименте и не вспоминали, других дел было по горло... Карьерку делали, ядовито подумал он. Ковры доставали, экспонатики для личных коллекций...

На перекрестке он приостановился, искоса глянул в переулок. Статуя была там — грозила полуметровым черным пальцем, неприятно ухмылялась жабьей пастью. Я, мол, вас, сук-киных

котов!..

— Эта, что ли? — спросил Изя небрежно.

Андрей кивнул и пошел дальше.

Они шли и шли, постепенно дурея от жары и слепящего света, наступая на собственные короткие уродливые тени, пот соляной коркой застывал на лбу и на висках, и даже Изя перестал уже трепаться о крушении каких-то там своих стройных гипотез, и даже неутомимый Пак уже приволакивал ногу — подошва оторвалась, а Немой время от времени широко разевал черный рот и, высунув страшный обрубок языка, принимался часто-часто, как собака, дышать... И ничего больше не происходило, только один раз Андрей, не успев совладать с собой, вздрогнул, когда, подняв случайно глаза, увидел в распахнутом окне четвертого этажа огромное позеленевшее лицо, уставившееся на него слепыми выпученными глазами. Что ж, зрелище и в самом деле было жуткое — четвертый этаж и пятнистая зеленая харя во все окно.

Потом они вышли на площадь.

Таких площадей они еще не встречали. Она была похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни, были понатыканы на ней постаменты — круглые, кубические, шестигранные, звездо-

образные, в виде каких-то абстрактных ежей, артиллерийских башен, мифических зверей — каменные, чугунные, из песчаника, из мрамора, из нержавеющей стали, даже, кажется, из золота... И все эти постаменты были пусты, только в полусотне метров впереди голову крылатого льва попирала обломанная выше колена голая нога в человеческий рост, босая, с необычайно мускулистой икрой.

Площадь была огромная, противоположного конца ее видно не было за мутным маревом, а справа, под самой Желтой Стеной, виднелись искаженные потоками горячего воздуха очертания длинного приземистого строения с фасадом из тесно поставленных колонн.

— Ну и ну! — непроизвольно вырвалось у Андрея.

А Изя проговорил непонятно:

— То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки... — и спросил: — А куда они, собственно, все подевались?

Никто ему не ответил. Все смотрели и не могли насмотреться, даже, кажется, Немой. Потом Пак сказал:

— Нам, по-видимому, надо вон туда...

— Это и есть ваш Пантеон? — спросил Андрей,

чтобы что-нибудь сказать, а Изя произнес с каким-то возмущением:

— Я не понимаю! Что же это они — все по городу шляются? Почему же мы их тогда почти не видели? Их же здесь должны быть тысячи, тысячи!..

— Город Тысячи Статуй, — сказал Пак.

Изя живо повернулся к нему.

— Что, и такая легенда существует?

— Нет. Но я так бы его назвал.

— Трам-тарарам! — сказал Андрей, которого осенила неожиданная мысль. — Как же мы здесь пройдем с нашими тягачами? Тут же никакой взрывчатки не хватит — эти надолбы подрывать...

— Я думаю, должна быть дорога вокруг площади, — сказал Пак. — Над обрывом.

— Пошли? — сказал Изя. Ему уже не терпелось.

И они двинулись напрямик к пантеону, шагая между постаментами, по булыжнику, который был здесь разбит и искрошен в мелкий щебень, в белую пыль, ярко мерцающую на солнце. Время от времени они приостанавливались и то пригибались, то поднимались на цыпочки, чтобы прочесть надписи на постаментах, и надписи эти были странными до того, что от них брала оторопь.

НА
ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ОТ УЛЫБКИ. — БЛАГОСЛОВЕНИЕ МУСКУЛЮС ГЛЮТЕУС ТВОЕГО СПАСЛО МАЛЫХ СИХ. — ВЗВИЛОСЯ СОЛНЦЕ, И ПОГАСЛА ЗАРЯ ЛЮБВИ, НО. И даже просто: КОГДА! Изя хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь, Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко, он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то, но ощущения его были неуловимы, и он только нетерпеливо торопил: «Ну, хватит, хватит, — повторял он. — Пошли. Ну, какого черта? Опаздываем же, неудобно...»

Зло брало глядеть на этих идиотов — нашли, понимаете, место и время развлекаться. А они все задерживались и задерживались, водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади и слов разобрать нельзя.

Так оно и лучше, подумал он с удовольствием. Без этой дурацкой свиты. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их? Что-то там было сказано про них, но вот что именно? То ли просили быть в парадной форме, то ли просили, наоборот, не быть вообще... Ах, какое это теперь

имеет значение? Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда, а Изя вдруг начнет придираться к слогу, не дай бог, еще сам полезет говорить... Нет-нет, без них лучше, правда, Немой? Ты держись у меня за спиной, вот здесь, справа, да поглядывай хорошенько! Тут, брат, хлопать ушами не приходится. Не забывай: мы здесь в стане настоящих оппонентов, это тебе не Кехада и не Хнойпек, на вот, возьми автомат, мне нужна свобода движений, и вообще лезть с автоматом на кафедру — я ведь, слава богу, не Гейгер... Позволь, а где же мои тезисы? Вот тебе и на! Как же я без тезисов?..

Пантеон высился перед ним и над ним всеми своими колоннами, разбитыми выщербленными ступенями, оскалившимися ржавой арматурой, из-за колонн несло ледяным холодом, там было темно, оттуда пахло ожиданием и тленом, а гигантские золоченые створки были уже отворены, и оставалось только войти. Он зашагал со ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы — упаси бог! — не споткнуться, не растянуться здесь, на глазах у всех, он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике... нет, в новом костюме, я ведь хотел на-

деть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее...

...Черт побери, как же я буду без тезисов? — подумал он, вступая в темный вестибюль. Что же там у меня было, в моих тезисах? — думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. Кажется, во-первых, про величие, весь напрягаясь, вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку. Здесь было очень холодно, в этом вестибюле, могли бы предупредить, все-таки не лето на дворе, песком могли бы, между прочим, посыпать, руки бы не отвалились, а то того и гляди затылком здесь навернешься...

...Ну, куда у вас тут? Вправо, влево? Ах да, пардон... Значит, так. Во-первых, о величии, думал он, устремляясь в совсем уже темный коридор. Вот это другое дело — ковер. Догадались! А факельщиков, конечно, поставить не сообразили. Всегда у них здесь так: либо поставят факельщиков или даже юпитера, но тогда уже непременно не будет ковра. Либо — вот как сейчас... Таким образом: величие.

...Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо! Сиракузы, эврика, бани... в смысле, ванны. Голый.

Дальше. Аттила! Дож венецианский. То есть я прошу прощения: это Отелло — дож венецианский. Аттила — гуннов царь. Едет. Нем и мрачен, как могила... Да чего там далеко ходить за примерами? Петр! Величие. Великий. Петр Великий. Первый. Петр Второй и Петр Третий не были великими. Очень может быть потому, что не были первыми. Великий и первый чрезвычайно часто выступают как синонимы. Хотя-а-а... Екатерина Вторая, Великая. Вторая, но, тем не менее, великая. Это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правило...

Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся взад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей.

Стол был совершенно пустой, обитый серым цинком, и тянулся перед ним, как шоссе. Дальнего конца его не было видно, в желтоватом тумане мигали там колеблемые сквозняком огоньки свечей, и Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж кто-

кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там — на том конце стола. Видеть его было гораздо более важно, чем этих... Впрочем, это не моя забота...

Рассеянно и снисходительно он оглядел ряды этих. Они смирно восседали по обе стороны стола, повернув к нему внимательные лица — каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые... и какие там еще бывают у них лица. Например, серебряные. Или, скажем, нефритовые... Слепые глаза их были неприятны, да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метр, а то и на два выше поверхности стола. Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились. Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже с каким-то сладострастием прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы.

— Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность, имманентная только ему и никакому другому предикату?.. И здесь мне, боюсь, придется говорить вещи, не совсем привычные и далеко не приятные для вашего слуха... Величие! Ах, как много о нем ска-

зано, нарисовано, сплясано и спето! Что был бы человеческий род без категории величия? Банда голых обезьян, по сравнению с которыми даже рядовой Хнойпек показался бы нам венцом высокой цивилизации. Не правда ли?.. Ведь каждый отдельный Хнойпек не имеет меры вещей. От природы он научен только пищеварить и размножаться. Всякое иное действие упомянутого Хнойпека не может быть оценено им самостоятельно ни как хорошее, ни как плохое, ни как полезное, ни как напрасное или вредное, — и именно вследствие такого вот положения вещей каждый отдельный Хнойпек при прочих равных условиях рано или поздно, но с неизбежностью попадает под военно-полевой суд, каковой суд уже и решает, как с ним поступить... Таким образом, отсутствие суда внутреннего закономерно и, я бы сказал, фатально восполняется наличием суда внешнего, например, военно-полевого... Однако, господа, общество, состоящее из Хнойпеков и, без всякого сомнения, из Мымр, просто не способно уделять такого огромного внимания суду внешнему — неважно, военно ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд Линча, суд Фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и

прочих судах... Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов как Хнойпеков, так и Мымр, такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот, вот когда понадобилась и пригодилась категория величия! А дело в том, господа, что в огромной и совершенно аморфной толпе Хнойпеков, в огромной и еще более аморфной толпе Мымр время от времени появляются личности, для которых смысл жизни отнюдь не сводится к пищеварению и половым отправлениям по преимуществу. Если угодно — третья потребность! Ему, понимаете, мало чего-нибудь там переварить и попользоваться чьими-нибудь прелестями. Ему, понимаете, хочется еще сотворить что-нибудь такое-этакое, чего раньше, до него, не было. Например, инстанционную или, скажем, иерархическую структуру. Козерога какого-нибудь на стене. С яйцами. Или сочинить миф про Афродиту... На кой хрен ему это все сдалось — он и сам толком не знает. И на самом деле, ну зачем Хнойпеку Афродита Пенорожденная или тот же самый козерог на стене. С яйцами. Есть, конечно, гипотезы, есть, и не одна! Козерог ведь, как-никак, — это очень много

мяса. Об Афродите я уже и не говорю... Впрочем, если уж быть до конца честным и откровенным, происхождение этой третьей потребности для нашей материалистической науки остается пока загадкой. Но в настоящий момент это и не должно нас интересовать. В настоящий момент нам важно, друзья мои, что? Что в общей серой толпе вдруг появляется личность, которая не удовлетворяется, пакость такая, овсяной кашей или грязной Мымрой, каковая имеет все ноги в цыпках, не удовлетворяется, значит, широко доступным реализмом, а начинает идеализировать, абстрагироваться, зараза, начинает — мысленно обращает овсяную кашу в сочного козерога под чесночным соусом, а Мымру — в роскошную особу с бедрами и хорошо помытую — из океана она у него. Из воды... Да мать же моя мамочка! Да ведь такому человеку цены нет! Такого человека надо поставить на высокое место и водить к нему Хнойпеков и Мымр побатальонно, чтобы учились они, паразиты, понимать свое место. Вот вы, задрипы, умеете так, как он? Вот ты, ты, рыжий, вшивый, умеешь котлету нарисовать, да такую, чтобы сразу же жрать захотелось? Или анекдотец хотя бы сочинить? Не умеешь? Так куда же ты, говно, лезешь с ним ровняться? Пахать иди,

пахать! Рыбу удить, ракушки промышлять!..

Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. Очень здорово все получилось. Великолепно! И без никаких там тезисов. И все эти долдоны слушали, затаив дыхание. Хоть бы один пошевелился... Да уж, я — такой. Я, разумеется, не Кацман, я больше помалкиваю, но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят... Правда, на том, невидимом конце стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то. Может быть, Кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим — кто кого.

— Итак, величие — как категория — возникло из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет: куда, тварюга, лезешь, куда прешь? Кто сделается, так сказать, жрецом творца — я не боюсь этого слова? А сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет — творец-организатор, творец-выстраиватель-в-колонны, творец, дары вымогающий и оные же и распределяющий!.. И вот тут мы вплотную

подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному, к вопросу, в котором, на наш взгляд, все заврались... Ведь даже неверующему младенцу ясно, что Бог — это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлиный бред! Что мы про них на самом деле знаем? Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его, в то время как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но, с другой стороны, вся история учит нас, что человек как отдельная личность стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе. Он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. И зачем далеко за примерами ходить — возьмите все того же пресловутого Хнойпека!.. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню? Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку, эту самую хаотическую аморфную хнойпекомымренность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить — желательно в одну колонну, — нацелить в одну точку и вообще

уконтрапупить. Или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось! Хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови... Так теперь я вас спрашиваю: кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится реализовать хаос — он же свобода, равенство и братство, — или тот, кто стремится эту хнойпекомымренность (читай: социальную энтропию!) понизить до минимума? Кто? Вот то-то и оно!

Прекрасный получился период. Сухой, точный и в то же время не лишенный страстности... Ну что это он там бубнит — на том конце? Надо же, хамло какое! И работать мешает, и вообще...

С очень неприятным чувством Андрей вдруг обнаружил в ровных рядах внимательных слушателей несколько повернутых к нему затылков. Он присмотрелся. Сомнений не было — затылки. Раз, два... шесть затылков! Он изо всех сил откашлялся и строго постучал костяшками пальцев по оцинкованной поверхности. Это не помогло. Ну, погодите, подумал он с угрозой. Я вас сейчас! Как это будет по-латыни?..

— Quos ego! — рявкнул он. — Вы, кажется, вообразили себе, будто вы что-то там значите? Мы, мол, большие, а вы-де все копошитесь там внизу?

Мы, мол, каменные, а вы — плоть гниющая? Мы, дескать, во веки веков, а вы — прах, однодневки? Вот вам! — Он показал им дулю. — Да кто вас помнит-то? Понавозводили вас каким-то давно забытым охламонам... Архимед — подумаешь! Ну, был такой, знаю, голый по улицам бегал безо всякого стыда... Ну и что? При надлежащем уровне цивилизации ему бы яйца за это дело оторвали. Чтоб не бегал. Эврика ему, понимаешь... Или тот же Петр Великий. Ну ладно, царь там, император всея Руси... Видали мы таких. А вот как была его фамилия? А? Не знаете? А памятников-то понаставили! Сочинений понаписали! А студента на экзамене спроси — дай бог, если один из десяти сообразит, какая у него была фамилия. Вот тебе и великий!.. И ведь со всеми с вами так! Либо никто вас вообще не помнит, только глаза лупят, либо, скажем, имя помнят, а фамилию — нет. И наоборот: фамилию помнят — например, премия Калинги, — а имя... да что там имя! Кто он такой был-то? То ли писатель он был, то ли вообще спекулянт шерстью... Да и кому это надо, сами вы посудите? Ведь если всех вас запоминать, так забудешь, сколько водка стоит.

Теперь он видел перед собой больше десяти затылков. Это было обидно. А Кацман на том конце

стола бубнил все громче, все напористей, но все так же неразборчиво.

— Приманка! — заорал Андрей изо всех сил. — Вот что такое ваше хваленое величие! Приманка! Глядит на вас Хнойпек и думает: это надо же, какие люди бывали! Вот я теперь пить брошу, курить брошу, Мымру свою по кустам валять перестану, в библиотеку пойду запишусь и тоже всего этого достигну... То есть это предполагается, что он так должен думать! Но думает-то он, на вас глядючи, совсем не то. И ежели караула вокруг вас не выставить, в загородку вас не взять, так он понавалит вокруг, мелом слова напишет да и пойдет обратно к своей Мымре, очень довольный. Вот вам и воспитательная функция! Вот вам и память человечества!.. Да на кой хрен, в самом деле, Хнойпеку память? На кой хрен ему вас помнить, скажите вы мне на милость? То есть, конечно, были такие времена, когда помнить вас всех считалось хорошим тоном. Деваться было некуда, запоминали. Александр, мол, Македонский, родился тогда-то, помер тогда-то. Завоеватель. Буцефал. «Графиня, ваш Буцефал притомился, а кстати, не хотите ли вы со мной переспать?» Культурно, образно, по-светски... Теперь, конечно, в школах тоже приходится зубрить. Родился

тогда-то, помер тогда-то, представитель олигархической верхушки. Эксплуататор. Здесь уж совсем непонятно, кому это нужно. Экзамены, бывало, сдашь — и с плеч долой. «Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табуретки ломать?» Фильм был такой, «Чапаев». Смотрели? «Брат умирает — Митька, ухи просит...» Вот и все применения вашему Александру Македонскому...

Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему. Никто его не слушал. Перед ним были только затылки — чугунные, каменные, железные, нефритовые... бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщерблинами, а то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками... Не нравится, горько подумал он. Правда глаза колет. К песнопениям привыкли, к одам. Экзэги монументум... А что я такого вам сказал? Ну, не врал, конечно, не подличал перед вами — что думал, то и сказал. Я ведь не против величия. Пушкин, Ленин, Эйнштейн... Я идолопоклонства не люблю. Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому что каждый делает, что в его силах. Один — революцию, другой — свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает, так что же

я — говно теперь?..

А голос за желтым туманом знай бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова: «...невиданное и необычайное... из катастрофического положения... только вы... заслужило вечной благодарности и вечной славы...» Вот этого я особенно не терплю, подумал Андрей. Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются. Братья навек. Вечная дружба. Навеки вместе. Вечная слава... Откуда они все это берут? Что они видят вечного?

— Хватит врать! — крикнул он через стол. — Совесть надо иметь!

Никто не обратил на него внимания. Он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей, вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди... А ведь это не Изя там болтал, вяло подумал он. Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него... Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за тридцать, пора разбираться, что к чему. Что за дикая идея — убеждать памятники, что они никому не нужны? Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно,

может быть, так и есть, да кто в это поверит?..

Что-то со мной сделалось за последние годы, подумал он. Что-то я утратил... Цель я утратил, вот что. Каких-нибудь пять лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия. А теперь вот — не знаю. Знаю, что Хнойпека следует поставить к стенке. А зачем это — непонятно. То есть понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать, но зачем это нужно — чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно. Для себя. Сколько лет я уже живу для себя... Это, наверное, правильно: за меня для меня никто жить не станет, самому приходится позаботиться. Но ведь скучно это, тоскливо, сил нет... И выбора нет, подумал он. Вот что я понял. Ничего человек не может и не умеет. Одно он может и умеет — жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли.

Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурение... Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать.

Изя спал, уткнувшись лбом в раскрытый то-

мик, вытянувшись на каменных плитах в тени. На штанах сзади у него зияла прореха, ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты. Потом от него разило за версту. Немой был тут же — сидел на корточках с закрытыми глазами, привалившись спиной к колонне, на коленях у него лежал автомат.

— Подъем, — сказал Андрей устало.

Немой раскрыл глаза и встал. Изя приподнял голову и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки.

— Где Пак? — спросил Андрей, озираясь.

Изя сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и принялся ожесточенно чесаться.

— Ч-черт... — пробормотал он невнятно. — Слушай, жрать же хочется невыносимо... Сколько можно?

— Сейчас пойдем, — сказал ему Андрей. Он все озирался. — Где Пак?

— Поше-ауэтеку, — ответил Изя, неистово зевая. — Ф-фу, разморило совершенно к чертям...

— Куда пошел?

— В библиотеку пошел. — Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок. — Мы решили, что он пока отберет кни-

ги... Сколько это сейчас времени? У меня вроде остановились...

Андрей взглянул на часы.

— Три, — сказал он. — Пошли.

— Может, пожрем сначала? — предложил Изя нерешительно.

— На ходу, — сказал Андрей.

Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось. Что-то было не так. Он взял у Немого автомат и, заранее щурясь, шагнул на раскаленные ступеньки.

— Ну вот... — ворчал позади Изя. — Теперь — жрать на ходу... Я его как честный человек дожидался, а он толком пожрать не дает... Немой, дай-ка сюда мешок...

Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть, внутри так и сосало, но что-то толкало его идти, и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плече и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же три часа без одной минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли.

— Эй, господин советник! — позвал его Изя. — Держи.

Андрей приостановился и принял у него две галеты, проложенные жирной консервированной

свининой. Изя уже смачно хрумкал и причмокивал. Рассматривая на ходу сандвич — откуда половчее кусать, — Андрей спросил:

— Когда Пак ушел?

— Да почти сразу же и ушел, — сказал Изя с набитым ртом. — Мы с ним осмотрели этот пантеон, ничего интересного не обнаружили, вот он и отправился.

— Зря, — сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило.

— Что — зря?

Андрей не ответил.

Глава четвертая

Никакого Пака в библиотеке не оказалось. Он, конечно, сюда и не думал заходить. Книги валялись грудой, как и раньше.

— Странно, — сказал Изя, растерянно вертя головой. — Он же сказал, что отберет все по социологии...

— «Он сказал, он сказал...» — сквозь зубы проговорил Андрей. Он пнул носком башмака подвернувшийся под ноги пухлый том, повернулся и сбежал по лестнице. Обвел все-таки в конце концов. Обвел косоглазый. Еврей дальневосточный... Он сам толком не понимал, в чем заключается хитрость дальневосточного еврея, но всеми фибрами души чувствовал: обвел!

Теперь они шли, прижимаясь к стенам, — Андрей по правой стороне улицы, Немой, который тоже понял, что дело дрянь, — по левой. Изя полез было на середину, но Андрей так на него гаркнул, что архивариус опрометью вернулся к нему и пошел след в след, возмущенно сопя и презрительно фыркая. Видимость была — метров пятьдесят, а дальше улица представлялась словно бы в аквариуме — все там мутно дрожало,

отсвечивало, поблескивало, и даже вроде бы какие-то водоросли струились над мостовой.

Когда они поравнялись с кинотеатром, Немой вдруг остановился. Андрей, следивший за ним краем глаза, остановился тоже. Немой стоял неподвижно, он словно к чему-то прислушивался, держа обнаженный тесак в опущенной руке.

— Гарью несет... — тихонько проговорил сзади Изя.

И Андрей сейчас же почувствовал запах гари. Вот оно, подумал он, стискивая зубы.

Немой поднял руку с тесаком, махнул вдоль улицы и двинулся дальше. Они прошли еще метров двести со всей возможной осторожностью. Запах гари усиливался. Запах горячего металла, тлеющего тряпья, солярки и еще какие-то сладковатые, почти вкусные запахи. Что же там произошло? — думал Андрей, стискивая зубы до хруста в висках. Что он там учинил? — твердил он в тоске. Что там горит? Это же там горит, несомненно... И тут он увидел Пака.

Он сразу подумал, что это Пак, потому что на трупе была знакомая куртка из выцветшей голубой саржи. Ни у кого в лагере больше не было такой куртки. Кореец лежал на углу, разбросав ноги, уронивши голову на самодельный

короткоствольный автомат. Ствол автомата был направлен вдоль улицы в сторону лагеря. Пак был какой-то непривычно толстый, словно раздутый, и кисти рук у него были черно-синие и лоснились.

Андрей еще не успел как следует понять, что же он на самом деле видит, как Изя с каким-то карканьем оттолкнул его, бросился, отдавив ему ногу, через перекресток и упал рядом с трупом на колени. Андрей сглотнул и посмотрел в сторону Немого. Немой энергично кивал и показывал тесаком куда-то вперед, и Андрей разглядел там, на самой границе видимости, еще одно тело. Кто-то там еще лежал — посередине улицы, — тоже толстый и черный, а сквозь марево видно было теперь, как поднимается над крышами искаженный рефракцией столб серого дыма.

Опустив автомат, Андрей пересек перекресток. Изя уже поднялся с колен, и, подойдя, Андрей сразу понял — почему: от трупа в голубой сарже невыносимо тянуло сладким и тошным.

— Боже мой... — проговорил Изя, поворачивая к Андрею залитое потом помертвевшее лицо. — Они же его убили, подонки... Они же все вместе его одного не стоят...

Андрей мельком взглянул под ноги, на страш-

ную раздутую куклу с черной язвой вместо затылка. Солнце тускло отсвечивало на россыпи медных гильз. Андрей обошел Изю и, больше уже не прячась, не пригибаясь, зашагал наискосок через улицу к следующей раздутой кукле, над которой уже сидел на корточках Немой.

Этот лежал на спине, и хотя лицо у него было чудовищно вспухшее и черное, Андрей узнал его: это был один из геологов, заместитель Кехады по съемке — Тэд Камински. Особенно страшно было, что он в одних трусах и почему-то в ватнике, какие носили водители. Видимо, ему попало в спину, и очередь прошила его насквозь — на груди телогрейка была вся в дырах, и из дыр торчали клочья серой ваты. Шагах в пяти валялся автомат без рожка.

Немой тронул Андрея за плечо и указал вперед. Там, приткнувшись к стене на правой стороне улицы, скорчился еще один труп. Оказалось, это был Пермяк. Его убило, видимо, на середине улицы, там еще оставалось на булыжнике высохшее черное пятно, но он, мучаясь, пополз к стене, оставляя за собой густой черный след, и там, у стены, мучаясь, умер, подвернув голову и изо всех сил обхватив руками разорванный пулями живот.

Они здесь убивали друг друга в приступе неистовой ярости, как взбесившиеся хищники, как остервеневшие тарантулы, как обезумевшие от голода крысы. Как люди.

Поперек ближайшего к лагерю немощеного переулка на засохших нечистотах валялся Тевосян. Он гнался за трактором, который свернул в этот переулок и уходил к обрыву, коверкая спекшуюся землю торопливыми гусеницами. Тевосян гнался за ним от самого лагеря, стреляя на ходу, а с трактора стреляли по нему и здесь, на перекрестке, где в ту ночь стояла статуя с жабьей харей, в него попали, и он остался лежать, оскалив желтые зубы, в своем испачканном пылью, нечистотами и кровью солдатском мундирчике. Но перед смертью, а может быть, и после смерти, он попал тоже: на полпути к обрыву, вцепившись скрюченными пальцами в раскрошенную гусеницами землю, вздутой горой громоздился сержант Фогель, и дальше трактор шел уже без него — до самого обрыва и вниз, в пропасть.

В лагере лениво догорала волокуша. По исковерканным простреленным бочкам, иссиня-черным от жара, еще бегали чадные язычки оранжевого пламени, и медленно поднимались в тусклое небо клубы жирного дыма. Из черной спекшейся

кучи на волокуше торчали чьи-то горелые ноги, и тянуло тем самым вкусным запахом, от которого теперь тошнило.

Из окна комнаты картографов свисал голый труп Рулье — длинные волосатые руки его почти касались тротуара, а на тротуаре валялся автомат. Вокруг окна вся стена была избита и исковеркана пулями, а на противоположной стороне улицы лежали друг на друге скошенные одной очередью Василенко и Палотти. Оружия возле них не было, а на усохшем лице Василенко сохранилось выражение безмерного изумления и испуга.

Второго геолога, второго картографа и замполтеха Эллизауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью — Эллизауэр в кальсонах, остальные — голые.

А в самом центре этой смердящей гекатомбы, прямо посередине улицы, на длинном столе с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом, спокойно лежал, сложивши руки на груди, полковник Сент-Джеймс, в парадном мундире, при всех орденах, все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом, привалившись к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал

Даган — тоже в парадном мундире, — и в руке у него была зажата сломанная трость полковника.

И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хнойпек, инженер Кехада, приблудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей — исчезли. Остались трупы, осталось сваленное горой геологическое оборудование, осталось несколько автоматов в пирамиде. И смрад. И жирная копоть. И удушающая вонь жареного мяса от догорающей волокуши. Андрей ввалился в свою комнату, упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено. Навсегда. И не было спасения от боли, и не было спасения от стыда, и не было спасения от смерти.

...Я привел их сюда. Я. Я их бросил здесь одних, трус, подонок. Отдохнуть захотелось. От рыл ихних отдохнуть захотелось вонючке, чистоплюю, слизняку... Полковник, ах, полковник! Нельзя было умирать, нельзя!.. Если бы я не ушел, он бы не умер. Если бы он не умер, никто бы здесь и пикнуть не посмел. Звери, звери... Гиены! Стрелять надо было, стрелять!..

Он снова протяжно застонал и заерзал мокрой щекой по рукаву. В библиотеках прохлаждался... речи статуям произносил... раздолбай, трепло, все прогадил, все растерял... Ну и подыхай теперь,

сволочь! Никто не заплачет. На кой хрен ты такой кому нужен?.. Но страшно ведь, страшно... Гонялись друг за другом, стреляли — в лежащих стреляли, в мертвых стреляли, к стенке ставили с руганью, с мордобоем... До чего же вы дошли, ребята, а? До чего я вас довел?.. И зачем? Зачем?!

Он ударил по столешнице стиснутыми кулаками, выпрямился, обтер лицо ладонью. Было слышно, как за окном невнятно и страшно вскрикивает Изя и Немой успокаивающе курлыкает, словно голубь. Не хочу жить, подумал Андрей. Не хочу. К черту все это... Он поднялся из-за стола — туда, к Изе, к людям — и вдруг увидел перед собой раскрытый журнал экспедиции. Он с отвращением оттолкнул его от себя, но тут же заметил, что последняя страница исписана не его рукой. Он снова сел и стал читать.

Кехада писал:

«День 31-й. Вчера, утром 30-го дня экспедиции, советник Воронин с архивариусом Кацманом и эмигрантом Паком отправились на рекогносцировку с расчетом возвратиться в лагерь к отбою, но не возвратились. Сегодня в 14 часов 30 минут скоропостижно, от сердечного приступа, скончался временно исполняющий обязанности начальника экспедиции полковник Сент-

Джеймс. Поскольку советник Воронин до сих пор из рекогносцировки не возвратился, принимаю командование экспедицией на себя. Подпись: заместитель начальника экспедиции по науке Д. Кехада. 31-й день экспедиции, 15 часов 45 мин.».

Далее следовала обычная муть о расходе продовольствия и воды, о температуре, о ветре, а также приказ о назначении сержанта Фогеля начальником по военной части, выговор зампотеху Эллизауэру за медлительность и приказ ему же — максимально форсировать ремонт второго трактора. Дальше Кехада писал:

«Я намерен завтра провести торжественные похороны безвременно усопшего полковника Сент-Джеймса и сразу же после церемонии выслать хорошо вооруженный отряд на поиски рекогносцировочной группы советника Воронина. Буде исчезнувшая группа не обнаружится, я намерен отдать приказ о возвращении, поскольку считаю дальнейшее продвижение вперед еще более бессмысленным, нежели раньше».

«День 32-й. Рекогносцировочная группа не вернулась. За безобразную драку, учиненную минувшей ночью, картографа Рулье и рядовых Хнойпека и Тевосяна предупреждаю в последний раз и лишаю на день водного пайка...»

Дальше на бумаге шел чернильный зигзаг с брызгами, и записи на этом кончались. Видимо, на улице поднялась стрельба, Кехада выскочил и больше уже не возвращался.

Андрей перечитал записи дважды. Да, Кехада, ты этого хотел. Чего хотел, то и получил. А я все на Пака грешил, царство ему небесное... Он, прикусив губу, зажмурился, когда перед глазами его снова встала раздутая кукла в синей выцветшей куртке, и вдруг до него дошло: тридцать второй день. Как — тридцать второй? Тридцатый! Вчера я записывал за двадцать восьмой... Он торопливо перебросил страницу. Да. Двадцать восьмой... И трупы эти раздутые — они же лежат уже несколько суток... Господи, да что же это?.. Один, два... Какое же сегодня число? Ведь мы же сегодня утром ушли!

И он вспомнил жаркую, уставленную пустыми постаментами площадь, и ледяную тьму пантеона, и слепые статуи за бесконечно длинным столом... Это было давно. Это было очень давно. Да-а... Закрутила, значит, завертела гадская сила, заморочила, одурманила меня... Я же мог в тот же день вернуться, полковника живого бы застал, не допустил бы...

Дверь распахнулась, и в комнату шагнул не

похожий на себя Изя — весь словно высохший, с вытянутым костистым лицом, угрюмый, озлобленный, точно и не он только что, как женщина, вскрикивал под окнами. Он швырнул в угол полупустой мешок, сел в кресло напротив Андрея и сказал:

— Трупы лежат не меньше трех дней. Что происходит, ты понимаешь?

Андрей молча толкнул ему через стол журнал. Изя жадно схватил, разом проглотил записи, поднял на Андрея красные глаза.

Андрей сказал, криво усмехаясь:

— Эксперимент есть Эксперимент.

— Дрянь корявая, паршивая... — сказал Изя с ненавистью и отвращением. Он еще раз проглядел записи и бросил журнал на стол. — С-суки!

— По-моему, это нас на площади скрутило, — сказал Андрей. — Где постаменты...

Изя кивнул, откинулся в кресле и, задрав бороду, закрыл глаза.

— Ну, что будем делать, советник? — спросил он.

Андрей молчал.

— Ты мне только стреляться не вздумай! — сказал Изя. — Знаю я тебя... комсомольца... орленка.

Андрей снова криво усмехнулся и потянул себя

за воротник.

— Слушай, — проговорил он. — Пойдем отсюда куда-нибудь...

Изя открыл глаза и уставился на него.

— Смрад из окна... — сказал Андрей с трудом. — Не могу...

— Пошли ко мне, — сказал Изя.

В коридоре Немой поднялся им навстречу. Андрей взял его за голую мускулистую руку и потянул за собой. Все вместе они вошли в Изину комнату. Окна здесь глядели на другую улицу. За окнами, над низкими крышами уходила ввысь Желтая Стена. Здесь совсем не было смрада, и было почему-то даже прохладно, только вот сесть было негде — весь пол и все сплошняком было завалено бумагой и книгами.

— На пол, на пол садись, — сказал Изя, а сам повалился на свою развороченную грязную постель. — Давай думать, — сказал он. — Я подыхать не собираюсь. У меня здесь еще куча дел.

— А чего думать? — сказал Андрей угрюмо. — Все равно... Воды нет, увезли, а жратва вся сгорела. Дороги назад нет — через пустыню нам не пройти... Даже если мы этих гадов догоним... Да нет — где нам их догнать, несколько дней прошло... — Он помолчал. — Если бы воду найти...

Далеко до этой твоей водокачки?

— Километров двадцать, — сказал Изя. — Или тридцать.

— Если ночью идти, по холодку...

— Ночью идти нельзя, — сказал Изя. — Темно. И волки.

— Здесь нет волков, — возразил Андрей.

— Откуда ты знаешь?

— Ну, тогда давай стреляться к чертовой матери, — сказал Андрей.

Он уже знал, что не будет стреляться. Он хотел жить. Никогда раньше он не знал, что можно так сильно хотеть жить.

— Ну ладно, — сказал Изя. — А если серьезно?

— А если серьезно, то я хочу жить. И я выживу. Мне теперь на все наплевать. Мы теперь с тобой вдвоем, понял? Мы теперь с тобой должны выжить, и все. И провались они все к чертовой матери. Просто найдем воду и будем около нее жить.

— Правильно, — сказал Изя. Он сел на кровати, запустил руку под рубаху и принялся скрестись. — Днем будем пить воду, а по ночам я буду тебя поя...ть.

Андрей посмотрел на него, не понимая.

— Ты можешь еще что-нибудь предложить?

— спросил он.

— Пока нет. Все правильно — сначала надо найти воду. Без воды нам карачун. А что дальше — там посмотрим... Я вот что сейчас думаю. По всему видно, что они драпали отсюда опрометью, сразу после бойни. Страшно стало. Повалились на волокушу и — газу! Надо бы в доме пошарить — наверняка здесь и вода, и жратва найдутся...

Он хотел еще что-то сказать, но остановился с разинутым ртом. Глаза его выкатились.

— Гляди, гляди! — сказал он испуганным шепотом.

Андрей стремительно повернулся к окну.

Сначала он ничего особенного не заметил, он только услышал — какое-то отдаленное громыхание, словно обвал, словно где-то камни сыпались... Потом глаза его уловили некое движение на желтом вертикальном склоне над крышами.

Сверху, из голубоватой белесой мглы, куда уходил мир, быстро катилось острием вниз странное треугольное облако. Оно двигалось с неимоверной высоты и было еще очень далеко от подножия стены, но уже можно было различить, что на острие бешено крутится, налетая на невидимые выступы и подскакивая, какое-то тяжелое тело

мучительно знакомых очертаний. При каждом ударе от этого тела отлетали куски и продолжали падать рядом, веером летело каменное крошево, и вспухали клубы светлой пыли, втягиваясь в облако, образуя его, расходясь углом, как бурун за кормой быстроходного катера, а отдаленный громыхающий гул стал громче и распался на отдельные удары, дробный треск обломков о монолит, грозное шуршание гигантского оползня...

— Трактор! — перехваченным голосом произнес Изя.

Андрей понял его только в самую последнюю секунду, когда изувеченная, истерзанная машина стремительно нырнула за крыши, пол под ногами дрогнул от страшного удара, столбом взвилась кирпичная пыль, взлетели на воздух обломки, клочья жести — через мгновение все это скрылось под лавиной желтого обвала.

Они еще долго молчали, прислушиваясь, как там гремит, трещит, хрустит, перекатывается, и пол под ногами все вздрагивал, а над крышами уже ничего не было видно за неподвижным желтым облаком.

— Ничего себе! — сказал Изя. — Как их туда занесло?

— Кого? — тупо спросил Андрей.

— Это же наш трактор, балда!

— Какой наш трактор? Который удрал?

Изя помолчал, изо всех сил сандаля нос грязными пальцами.

— Не знаю, — сказал он. — Не понимаю ничего... А ты понимаешь? — спросил он вдруг, повернувшись к Немому.

Тот равнодушно кивнул. Изя с досадой ударил себя по коленям, но тут Немой сделал странный жест: протянул перед собой указательный палец, круто опустил его к полу, а затем поднял выше головы, описавши в воздухе вытянутое кольцо.

— Ну? — жадно сказал Изя. — Ну?

Немой пожал плечами и повторил тот же жест. И Андрей вдруг вспомнил — вспомнил и сразу все понял.

— «Падающие Звезды»! — сказал он. — Это ж надо же!.. — Он горько рассмеялся. — Надо же, когда я это понял!..

— Что ты понял? — заорал Изя. — Какие звезды?

Андрей, все еще смеясь, махнул рукой.

— Плевать, — сказал он. — Плевать, плевать и плевать! Какое нам теперь до этого дело? Хватит болтать, Кацман! Нам выжить надо, понимаешь ты? Выжить! В этом гнусном неправдоподобном

мире! Нам вода нужна, Кацман!..

— Подожди, подожди... — пробормотал Изя.

— Я ничего больше не хочу! — заорал Андрей, тряся сжатыми кулаками. — Я не желаю больше ничего понимать! Не желаю ничего узнавать!.. Ведь там трупы валяются, Кацман! Трупы!.. Они ведь тоже жить хотели, Кацман! А теперь просто вздулись и гниют!

Изя, выпятив бороду, слез с кровати, схватил Андрея за куртку и с силой посадил на пол.

— Тихо! — сказал он, страшно сопя. — По морде тебе дать? Сейчас дам. Баба!

Андрей скрипнул зубами и замолчал. Изя отдуваясь вернулся на койку и снова принялся скрестись.

— Трупов он не видал... — ворчал он. — Мира этого он не видал... Баба.

Андрей, уткнувшись лицом в ладони, давил и затаптывал в себе бессмысленный отвратительный вой. Но краем сознания он уже понимал, что с ним сейчас происходит, и это помогало. Очень страшно было: быть здесь, среди мертвецов, еще вроде бы живым, но на самом-то деле уже мертвым... Изя говорил что-то, но он не слышал. Потом его отпустило.

— Что ты говоришь? — спросил он, отнимая

руки от лица.

— Я говорю, что пойду пошарю у солдатни, а ты пошарь у интеллигенции. И в комнате у Кехады пошарь — у него там где-то геологический НЗ должен храниться... Не дрейфь, перезимуем...

В этот момент погасло солнце.

— М-мать! Вот некстати! — сказал Изя. — Теперь фонарь надо искать... Подожди-ка, ведь твой фонарь у меня должен быть...

— Часы, — сказал Андрей с трудом. — Часы надо поставить...

Он поднес запястье к глазам, разглядел фосфоресцирующие стрелки и поставил их на двенадцать ноль-ноль. Изя, ругаясь сквозь зубы, возился в темноте, двигал зачем-то койку, шуршал бумагой. Потом чиркнула и разгорелась спичка. Изя стоял посредине комнаты на карачках и водил спичкой из стороны в сторону.

— Ну чего вы расселись, мать вашу!.. — заорал он. — Фонарь ищите! Живее, а то у меня спичек всего три штуки!..

Андрей нехотя поднялся, но Немой уже нашел фонарь, поднял стекло и передал Изе. Стало светлее. Изя, сосредоточенно шевеля бородой, регулировал горелку. Руки у него были крюки, горелка не желала регулироваться. Немой, весь

лоснящийся от пота, вернулся в угол, сел на корточки и оттуда жалобно и преданно глядел на Андрея распахнутыми глазами ребенка. Воинство. Огрызки битой армии...

— Дай сюда фонарь, — сказал Андрей.

Он отобрал у Изи фонарь, наладил горелку и приказал:

— Пошли.

Он толкнул дверь в комнату полковника. Окна здесь были плотно закрыты, стекла целы, и поэтому смрада совсем не чувствовалось. Пахло табаком и одеколоном. Полковником.

Все было аккуратно прибрано, два упакованных чемодана отсвечивали добротной кожей, походная раскладная койка застелена была без единой морщинки, в головах на гвозде висела портупея с кобурой и фуражка с громадным козырьком. На громоздком комоде в углу стоял на войлочном кружке газовый фонарь, рядом — коробок спичек, стопка книг, футляр с биноклем...

Андрей поставил свой фонарь на стол и еще раз огляделся. Поднос с флягой и перевернутыми стаканчиками оказался на полке пустого стеллажа.

— Подай, — сказал он Немому.

Немой кинулся, схватил и поставил поднос на стол, рядом с фонарем. Андрей разлил коньяк по

стаканчикам. Стаканчиков было всего два, и для себя он наполнил колпачок фляжки.

— Берите, — сказал он. — За жизнь.

Изя одобрительно посмотрел на него, взял стаканчик, понюхал с видом знатока.

— Это вещь! — сказал он. — За жизнь, значит?.. Да разве это жизнь? — Он хихикнул, чокнулся с Немым и выпил. Глаза его увлажнились. — Хорошо-о... — слегка осипшим голосом проговорил он.

Немой тоже выпил — как воду, без всякого интереса. А Андрей все еще стоял с полным колпачком и пить не торопился. Что-то ему еще хотелось сказать, он и сам не знал толком — что. Какой-то очередной большой этап заканчивался, и начинался новый. И хотя ничего хорошего от завтрашнего дня ожидать не приходилось, завтрашний день все-таки был реальностью — особенно ощутимой потому, что это будет, может быть, один из очень и очень немногих оставшихся дней. Это было совсем незнакомое Андрею и очень острое ощущение.

Но он так и не придумал, что еще сказать, — только повторил: «За жизнь» — и выпил.

Потом он зажег газовый фонарь полковника и вручил его Изе, пообещав:

— Если и этот раскокаешь, борода безрукая, надаю по шее...

Изя, оскорбленно ворча, удалился, а Андрей все медлил уходить, рассеянно оглядывая комнату. Следовало бы, конечно, пошарить здесь — наверняка у Дагана хранилась для полковника какая-нибудь заначка, — но шарить именно здесь почему-то казалось... стыдным, что ли?

— Не стесняйтесь, Андрей, не стесняйтесь, — услыхал он вдруг знакомый голос. — Мертвым ничего не нужно.

Немой сидел на краю стола, болтая ногой, и это уже был не Немой, точнее — не совсем Немой. Он по-прежнему был в одних штанах и с тесаком на широком поясе, но кожа его стала теперь сухой и матовой, лицо округлилось, на щеках проступил здоровый персиковый румянец. Это был Наставник — собственной персоной, — и Андрей впервые при виде него не ощутил ни радости, ни надежды, ни подъема. Он ощутил досаду и неловкость.

— Опять вы... — проворчал он, поворачиваясь к Наставнику спиной. — Давненько не видались...

Он подошел к окну и, прижавшись лбом к теплому стеклу, стал смотреть во тьму, слабо озаряемую огоньками догорающей волокуши.

— А мы тут, как видите, помирать собрались...

— Зачем же помирать? — бодро произнес Наставник. — Надо жить! Умереть, знаете ли, никогда не поздно и всегда рано, не так ли?

— А если мы не найдем воды?

— Вы ее найдете. Всегда находили и теперь найдете.

— Хорошо. Найдем. Жить около нее всю жизнь? Зачем же тогда жить?

— А зачем вообще жить?

— Вот и я все думаю: а зачем жить? Глупую я прожил жизнь, Наставник. Дурацкую какую-то... Болтался все время как дерьмо в проруби — ни вверх, ни вниз. Сначала за идеи какие-то сражался, потом — за дефицитные ковры, а потом совсем уже ополоумел... людей вот погубил...

— Ну-ну-ну, это несерьезно, — сказал Наставник. — Люди всегда гибнут. При чем же тут вы?.. Вы начинаете новый этап, Андрей, и на мой взгляд — решающий этап. В известном смысле даже хорошо, что все получилось именно так. Рано или поздно все это с неизбежностью должно было произойти. Ведь экспедиция была обречена. Но вы могли бы погибнуть, так и не перейдя этого важного рубежа...

— Что же это за рубеж, интересно? — произнес

Андрей, усмехаясь. Он повернулся к Наставнику лицом. — Идеи уже были — всякая там возня вокруг общественного блага и прочая муть для молокососов... Карьеру я уже делал, хватит, спасибо, посидел в начальниках... Так что же еще может со мной случиться?

— Понимание! — сказал Наставник, чуть повысив голос.

— Что — понимание? Понимание чего?

— Понимание, — повторил Наставник. — Вот чего у вас еще никогда не было — понимания!

— Понимания этого вашего у меня теперь вот сколько! — Андрей постукал себя ребром ладони по кадыку. — Все на свете я теперь понимаю. Тридцать лет до этого понимания доходил и вот теперь дошел. Никому я не нужен, и никто никому не нужен. Есть я, нет меня, сражаюсь я, лежу на диване — никакой разницы. Ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить. Можно только устроиться — лучше или хуже. Все идет само по себе, а я здесь ни при чем. Вот оно — ваше понимание, и больше понимать мне нечего... Вы мне лучше скажите, что я с этим пониманием должен делать? На зиму его засолить или сейчас кушать?..

Наставник кивал.

— Именно, — сказал он. — Это и есть последний рубеж: что делать с пониманием? Как с ним жить? Жить-то ведь все равно надо!

— Жить надо, когда понимания нет! — с тихой яростью сказал Андрей. — А с пониманием надо умирать! И если бы я не был таким трусом... если бы не вопила так во мне проклятая протоплазма, я бы знал, что делать. Я бы веревку выбрал — покрепче...

Он замолчал.

Наставник взял флягу, осторожно наполнил один стаканчик, другой и задумчиво завинтил колпачок.

— Ну, начнем с того, что вы не трус, — сказал он. — И веревкой вы не воспользовались вовсе не потому, что вам страшно... Где-то в подсознании, и не так уж глубоко, уверяю вас, сидит в вас надежда — более того, уверенность, — что можно жить и с пониманием тоже. И неплохо жить. Интересно. — Он ногтем стал двигать к Андрею по столу один из стаканчиков. — Вспомните-ка, как отец заставлял вас прочесть «Войну миров», как вы не хотели, как вы злились, как вы засовывали проклятую книжку под диван, чтобы вернуться к иллюстрированному «Барону Мюнхгаузену»... Вам было скучно от Уэллса, вам было от него

тошно, вы не знали, на кой ляд он вам сдался, вы хотели без него... А потом вы прочли эту книжку двенадцать раз, выучили наизусть, рисовали к ней иллюстрации и пытались даже писать продолжение...

— Ну и что? — угрюмо сказал Андрей.

— И такое было с вами не однажды! — сказал Наставник. — И будет еще не раз. В вас только что вбили понимание, и вам от него тошно, вы не знаете, на кой оно вам ляд, вы хотите без него... — Он взял свой стаканчик. — За продолжение! — сказал он.

И Андрей шагнул к столу, и взял свою рюмку, и поднес ее к губам, с привычным облегчением чувствуя, как снова рассеиваются все угрюмые сомнения и уже брезжит что-то впереди, в непроницаемой, казалось бы, тьме, и сейчас надо выпить, и бодро стукнуть пустой рюмкой по столу, и сказать что-нибудь энергичное, бодрое, и взяться за дело, но в этот момент кто-то третий, кто до сих пор всегда молчал, все тридцать лет молчал — то ли спал, то ли пьяный лежал, то ли наплевать ему было, — вдруг хихикнул и произнес одно бессмысленное слово: «Ти-ли-ли, ти-ли-ли!..»

Андрей выплеснул коньяк на пол, бросил

стаканчик на поднос и сказал, засунув руки в карманы:

— А ведь я еще кое-что понял, Наставник... Пейте, пейте на здоровье, мне не хочется. — Не мог он больше смотреть на это румяное лицо. Он повернулся к нему спиной и снова отошел к окну. — Поддакиваете много, господин Наставник. Слишком уж вы беспардонно поддакиваете мне, господин Воронин-второй, совесть моя желтая, резиновая, пользованный ты презерватив... Все тебе, Воронин, ладно, все тебе, родимый, хорошо. Главное, чтобы все мы были здоровы, а они нехай все подохнут. Жратвы вот не хватит — Кацмана пристрелю, а? Милое дело!..

Дверь у него за спиной скрипнула. Он обернулся. Комната была пуста. И стаканчики были пусты, и фляга была пуста, и в груди было как-то пусто, словно вырезали оттуда что-то большое и привычное. То ли опухоль. То ли сердце...

И уже привыкая к этому новому ощущению, Андрей подошел к койке полковника и снял с гвоздя ремень с пистолетом, изо всех сил запоясался и передвинул кобуру на живот.

— На память, — громко сказал он белоснежной подушке.

Часть шестая. Исход

Солнце было в зените. Медный от пыли диск висел в центре белесого, нечистого неба, ублюдочная тень корчилась и топорщилась под самыми подошвами, то серая и размытая, то вдруг словно оживающая, обретающая резкость очертаний, наливающаяся чернотой и тогда особенно уродливая. Никакой дороги здесь и в помине не было — была бугристая серо-желтая сухая глина, растрескавшаяся, убитая, твердая, как камень, и до того голая, что совершенно непонятно было, откуда здесь берется такая масса пыли.

Ветер, слава богу, дул в спину. Где-то далеко позади он засасывал в себя неисчислимые тонны гнусной раскаленной пороши и с тупым упорством волочил ее вдоль выжженного солнцем выступа, зажатого между пропастью и Желтой Стеной, то выбрасывая ее крутящимся протуберанцем до самого неба, то скручивая туго в гибкие, почти кокетливые, лебединые шеи смерчей, то просто катил клубящимся валом, а потом, вдруг остервенев, швырял колючую муку в спины, в волосы, хлестал, зверея, по мокрому от пота затылку, стегал по рукам, по ушам, набивал

карманы, сыпал за шиворот...

Ничего здесь не было, давно уже ничего не было. А может быть, и никогда. Солнце, глина, ветер. Только иногда пронесется, крутясь и подпрыгивая кривляющимся скоморохом, колючий скелет куста, выдранного с корнем бог знает где позади. Ни капли воды, никаких признаков жизни. И только пыль, пыль, пыль, пыль...

Время от времени глина под ногами куда-то пропадала, и начиналось сплошное каменное крошево. Здесь все было раскалено, как в аду. То справа, то слева начинали выглядывать из клубов несущейся пыли гигантские обломки скал — седые, словно мукой припорошенные. Ветер и жара придавали им самые странные и неожиданные очертания, и было страшно, что они вот так — то появляются, то вновь исчезают, как призраки, словно играют в свои каменные прятки. А щебень под ногами становился все крупнее, и вдруг россыпь кончалась, и снова под ногами звенела глина.

Камни вели себя очень плохо. Они выворачивались из-под ноги, они норовили поглубже вонзиться в подошву, проткнуть ее, добраться до живого тела. Глина вела себя поприличнее. Но и она делала все, что могла. Она вдруг вспучивалась

плешивыми холмами, она устраивала ни с того ни с сего дурацкие косогоры, она расступалась в глубокие крутые овраги, где на дне невозможно было дышать от застоявшейся тысячелетней жары... Она тоже играла в свою игру, в свое глиняное «замри-отомри», учиняла метаморфозы в меру своей скудной глиняной фантазии. Все здесь играло в свои игры. И все — в одни ворота...

— Эй, Андрей! — сипло позвал Изя. — Андрюха-а!..

— Чего тебе? — через плечо спросил Андрей и остановился.

Тележка, вихляясь на разболтанных колесиках, по инерции накатила на него и ударила под коленки.

— Смотри!..

Изя стоял шагах в десяти позади и показывал что-то в протянутой руке.

— Что это? — спросил Андрей без особого интереса.

Изя налег на постромки и, не опуская руки, подкатил свою тележку к Андрею. Андрей смотрел, как он идет, — страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом, серой от пыли шевелюрой, в неимоверно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывало волосатое мокрое тело. Бахрома

его порток едва прикрывала колени, а правый башмак вопиял о каше, выставляя на свет грязные пальцы со сломанными черными ногтями... Корифей духа. Жрец и апостол вечного храма культуры...

— Расческа! — торжественно провозгласил Изя, приблизившись.

Расческа была из самых дешевых — пластмассовая, со сломанными зубьями, — не расческа даже, а обломок расчески, и у места облома можно было еще разобрать какой-то ГОСТ, но пластмасса была выбелена многими десятилетиями солнечного жара и жестоко изъедена пылевой коростой.

— Ну вот, — сказал Андрей. — А ты все галдишь: никто до нас, никто до нас.

— И совсем я не так галдю, — сказал Изя миролюбиво. — Давай посидим, а?

— Ну, посидим, — согласился Андрей без всякого энтузиазма, и Изя тут же, не снимая постромок, плюхнулся задом прямо на землю и принялся засовывать обломок расчески в нагрудный карман.

Андрей поставил свою тележку поперек ветра, сбросил постромки и уселся, прислонившись спиной и затылком к горячим канистрам. Ветра сразу же стало заметно меньше, но зато теперь

голая глина немилосердно жгла ягодицы сквозь ветхую ткань.

— Где же твой резервуар? — сказал он с презрением. — Трепло.

— Иш-шы, иш-шы! — откликнулся Изя. — Должон быть!

— Это еще что такое?

— А это такой анекдот, про купца, — объяснил Изя с охотой. — Пошел один купец в публичный дом...

— Ну, поехали! — сказал Андрей. — Все об ёй? Угомона на тебя нет, Кацман, ей-богу!..

— Я угомона себе позволить не могу, — объявил Изя. — Я должен быть готов при первой же возможности.

— Сдохнем мы тут с тобой, — сказал Андрей.

— Ни боже мой! И не думай, и не мысли!

— Да я и не думаю, — сказал Андрей.

Это была правда. Мысль о неизбежной, конечно, смерти очень редко теперь приходила ему в голову. Черт его знает, в чем тут было дело. То ли острота этого ощущения обреченности уже совсем притупилась, то ли плоть уже настолько высохла и изнемогла, что перестала орать и вопить и только еле-еле сипела где-то на пороге слышимости... А может быть, количество

перешло, наконец, в качество, и начало действовать постоянное присутствие Изи с его почти неестественным равнодушием к смерти, которая все ходила около них кругами, то приближаясь почти вплотную, то вдруг снова удаляясь, но никогда не упуская их из виду... Так или иначе, но вот уже много дней Андрей если и заговаривал о неизбежном конце, то только для того, чтобы снова и снова убедиться в своем растущем равнодушии к нему.

— Что ты говоришь? — переспросил он.

— Я говорю: ты, главное, не бойся здесь подохнуть...

— Да ты мне это уже сто раз говорил. Я уже давным-давно не боюсь, а ты все знай долдонишь свое...

— Ну и хорошо, — мирно сказал Изя. Он вытянул ноги. — Чем бы это мне подошву подвязать? — осведомился он глубокомысленно. — Отвалится ведь в ближайший же кол времени...

— А вон конец от постромок отрежь и подвяжи... Дать тебе ножик?

Некоторое время Изя молча созерцал торчащие пальцы.

— Ладно, — сказал он наконец. — Совсем отвалится — тогда... Может, хлебнем по глотку?

— Ручки зябнуть, ножки зябнуть? — сказал Андрей и сразу вспомнил дядю Юру. Дядя Юра вспоминался теперь с трудом. Он был из другой жизни.

— Не пора ли нам дерябнуть? — с живостью подхватил Изя, искательно заглядывая Андрею в глаза.

— Фигу тебе! — сказал Андрей с удовольствием. — Знаешь, какой водицы хлебни? Которую ты где-то там вычитал. Наврал ведь мне про резервуар, да?

Как он и ожидал, Изя немедленно взбеленился.

— Иди ты на хер! Что я тебе — гувернантка?

— Ну, значит, рукопись твоя наврала...

— Дурак, — сказал Изя с презрением. — Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать...

— Ну, значит, читать ты не умеешь...

Изя только посмотрел на него и сейчас же завозился, поднимаясь.

— Всякое говно здесь будет... — бормотал он. — А ну вставай! Резервуар хочешь? Тогда нечего рассиживаться... Вставай, говорю!

Ветер, ликуя, хлестнул колючками по ушам и радостно, как веселый пес, запылил кругами над плешивой глиной, а глина с натугой двинулась

навстречу и некоторое время вела себя смирно, словно собиралась с силами, а потом начала опрокидываться косогором...

Понять бы все-таки до конца, куда меня несет черт, подумал Андрей. Всю жизнь меня куда-то несет — не сидится мне на месте, дураку... Главное, ведь смысла никакого уже нет. Раньше все-таки всегда бывал какой-то смысл. Ну, пусть даже самый мизерный, пусть даже завиральный, но все-таки, когда меня били, скажем, по морде, я всегда мог сказать себе: это ничего, это — во имя, это — борьба...

...Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя. (Это было в Хрустальном Дворце, они только что поели курятины, жаренной под давлением, и теперь лежали на ярких синтетических матрасиках на краю бассейна с прозрачной подсвеченной водой.) Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. Всем этим вашим пахарям, всем этим токарям, всем вашим блюмингам, крекингам, ветвистым пшеницам, лазерам и мазерам. Все это — дерьмо, удобрения. Все это проходит. Либо просто проходит без следа и навсегда, либо проходит потому, что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным.

А большинство считает это важным потому, что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства? Я лично против него ничего не имею, я сам в известном смысле большинство. Но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают. А в конце оно всю свою жизнь занимается проблемой выбора, что бы такое выбрать пожрать этакое? Еще не жратое?.. Ну, до этого пока еще далековато, сказал Андрей. Не так далеко, как ты воображаешь, возразил Изя. А если даже и далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец... Все, что имеет начало, имеет и конец, сказал Андрей. Правильно, правильно, сказал Изя нетерпеливо. Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной... Элитарист ты паршивый, лениво сказал ему Андрей, поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба...

...Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас гло-

тал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглохтал, Изе бы не оставил — пусть резервуар ищет...

Справа, из-за серо-желтых клубов, выглянули какие-то руины — полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четвероугольной башни.

— Ну вот, пожалуйста, — сказал Андрей, останавливаясь. — А ты говоришь: никто до нас...

— Да не говорил я этого никогда, балда стоеросовая! — просипел Изя. — Я говорил...

— Слушай, а может, резервуар — здесь?

— Очень может быть, — сказал Изя.

— Пойдем посмотрим.

Они сбросили постромки и побрели к развалинам.

— Хе! — сказал Изя. — Норманнская крепость! Девятый век...

— Воду, воду ищи, — сказал Андрей.

— Иди ты со своей водой! — сказал Изя с сердцем. Глаза его округлились, выкатились, давно забытым жестом он полез под бороду искать свою бородавку. — Норманны... — бормотал он. — Надо же... Интересно, чем их сюда заманили?

Цепляясь лохмотьями за колючки, они преодолели пролом в стене и оказались в затишье. На

четырехугольной гладкой площади возвышалось низкое строение с рухнувшей крышей.

— Союз меча и гнева... — бормотал Изя, торопливо устремляясь к дверному проему. — То-то же я ни хрена не понимал, что это за союз... откуда здесь меч какой-то... Так разве сообразишь такое?..

В доме было полное запустение, полное и древнее. Вековое. Провалившиеся стропила перемешались с обломками сгнивших досок — остатков длинного, во всю длину дома, стола. Все было пыльное, трухлявое, истлевшее, а вдоль стены слева тянулись такие же пыльные трухлявые скамьи. Не переставая бормотать, Изя полез копаться в этой груде тлена, а Андрей выбрался наружу и пошел вокруг дома. Очень скоро он наткнулся на то, что было когда-то резервуаром — огромная круглая яма, выложенная каменными плитами. Сейчас камни эти были сухие, как сама пустыня, но когда-то вода здесь, без сомнения, была: глина на краю ямы, твердая, как цемент, сохранила глубокие отпечатки обутых ног и собачьих лап. Худо дело, подумал Андрей. Былой ужас взял его за сердце и сейчас же отпустил: на противоположном конце ямы звездой распластались по глине широкие лохматые ли-

стья «женьшеня». Андрей трусцой побежал к ним вокруг ямы, на бегу нашаривая в кармане нож.

Несколько минут, пыхтя, обливаясь потом, он неистово ковырял ножом и ногтями окаменелую глину, отгребал крошки и снова ковырял, а потом, ухватившись обеими руками за толстое основание корня — холодное, сырое, мощное, — потянул сильно, но осторожно, так, чтобы, упаси бог, не обломилось бы где-нибудь посередине.

Корень был из больших — сантиметров семьдесят длиной, а толщиной в кулак, — белый, чистый, лоснящийся. Прижав его к щеке обеими руками, Андрей пошел к Изе, но по дороге не удержался — вгрызся в сочную хрусткую плоть, с наслаждением принялся жевать, стараясь не торопиться, стараясь разжевывать как можно тщательнее, чтобы не потерять зря ни единой капли этой восхитительной мятной горечи, от которой во рту и во всем теле становится свежо и прохладно, как в утреннем лесу, а голова делается ясной, и больше ничего не страшно, и можно сдвинуть горы...

Потом они сидели на пороге дома и радостно вгрызались, и хрустели, и чавкали, весело подмигивая друг другу с набитыми ртами, а ветер разочарованно выл у них над головами и не мог

достать до них. Снова они его обманули — не дали поиграть костями на плешивой глине. Теперь снова можно было помериться силами.

Они выпили по два глотка из горячей канистры, впряглись в свои тележки и зашагали дальше. И идти теперь было легко, Изя не отставал больше, а вышагивал рядом, шлепая полуоторванной подметкой.

— Я там, между прочим, еще один кустик приметил, — сказал Андрей. — Маленький. На обратном пути...

— Зря, — сказал Изя. — Надо было сожрать.

— Мало тебе?

— А чего добру пропадать?

— Не пропадет, — сказал Андрей. — На обратном пути пригодится.

— Да не будет никакого обратного пути!

— Этого, брат, никто не знает, — сказал Андрей. — Ты мне лучше вот что скажи: вода еще будет?

Изя задрал голову и посмотрел на солнце.

— В зените, — сообщил он. — Или почти в зените. Ты как полагаешь, господин астроном?

— Похоже.

— Скоро начнется самое интересное, — сказал Изя.

— Да что тут такого интересного может быть?

Ну, перевалим мы через нулевую точку. Ну, пойдем к Антигороду...

— Откуда ты знаешь?

— Об Антигороде?

— Нет. Почему ты думаешь, что мы вот так просто перевалим и пойдем?

— Да ни хрена я об этом не думаю, — сказал Андрей. — Я о воде думаю.

— Господи, твоя воля! В нулевой точке — начало мира, ты понимаешь? А он — о воде!..

Андрей не ответил. Начался подъем на очередной бугор, идти стало трудно, постромки врезались в плечи. Хорошая штука «женьшень», подумал Андрей. Откуда мы о нем знаем?.. Пак рассказывал? Кажется... А, нет! Мымра как-то притащила в лагерь несколько корней и принялась поедать, а солдаты отобрали у нее и сами попробовали. Да. Все они потом ходили гоголем, а Мымру валяли всю ночь до утра... А Пак уже потом рассказывал, что этот «женьшень», как и настоящий женьшень, попадается очень редко. Он растет в тех местах, где когда-то была вода, и очень хорош при упадке сил. Только вот хранить его нельзя, есть надо немедленно, потому что через час или даже меньше корень вянет и становится чуть ли не ядовитым... Около Павильона

было много этого «женьшеня», целый огород... Вот там мы его наелись от пуза, и все язвы у Изи прошли за одну ночь. Хорошо было у Павильона. А Изя все разглагольствовал там насчет здания культуры...

...Все прочее — это только строительные леса у стен храма, говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, все главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетия своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставая, жря и совокупляясь, несет человечество, само об этом не подозревая, этот храм на мутном гребне своей волны. Случается, оно вдруг замечает на себе этот храм, спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по кирпичикам, либо судорожно поклоняться ему, либо строить другой храм, по соседству и в поношение, но никогда оно толком не понимает, с чем имеет дело, и, отчаявшись как-то применить храм тем или иным манером, очень скоро отвлекается на свои так называемые насущные нужды: начинает что-нибудь уже тридцать три раза деленное делить заново, кого-нибудь распинать, кого-нибудь превозносить — а храм знай себе все растет и растет из века в век, из тысячелетия в тыся-

челетие, и ни разрушить его, ни окончательно унизить невозможно... Самое забавное, говорил Изя, что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несет в себе спрессованный опыт этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования; что каким бы он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов этого стада самоедных свиней, он, в то же время и всегда, неотделим от этого стада и немыслим без него... И еще забавно, говорил Изя, что храм этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу, он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история... Ты, может быть, думаешь (спрашивал Изя язвительно), что сами непосредственные строители этого храма — не свиньи? Господи, да еще какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто Челлини, беспробудный пьяница Хемингуэй, педераст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон... Господи, да порядочные люди среди них скорее редкость! Но они, как коралловые полипы, не

ведают, что творят. И все человечество — так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут — ан, глядишь, — целый коралловый атолл вырос, да какой прекрасный! Да какой прочный!.. Ну ладно, сказал ему Андрей. Ну — храм. Единственная непреходящая ценность. Ладно. А мы все тогда при чем? Я-то тогда здесь при чем?..

— Стой! — Изя схватил его за постромку. — Подожди. Камни.

Действительно, камни здесь были удобные — округлые, плоские, словно затвердевшие коровьи лепешки.

— Очередной храм возводить? — проговорил Андрей, ухмыляясь.

Он отбросил постромки, шагнул в сторону и подхватил ближайший камень. Камень был именно такой, какой требовался для фундамента, — снизу бугрястый, колючий, сверху — гладкий, обточенный пылью и ветром. Андрей уложил его на сравнительно ровную россыпь мелкого щебня, втер его, двигая плечами, поглубже и попрочнее и пошел за следующим.

Выкладывая фундамент, он испытывал что-то вроде удовлетворения: как-никак, это была все-таки работа, не бессмысленные движения но-

гами, а дело, совершаемое с определенной целью. Можно было оспаривать эту цель, можно было объявить Изю психопатом и маньяком (каковым он, конечно, и был)... А можно было вот так, камень за камнем, выкладывать по возможности ровную площадку для фундамента.

Изя рядом пыхтел и кряхтел, ворочая самые большие камни, спотыкался, совсем отодрал подошву, а когда фундамент был готов, поскакал к своей тележке и извлек из-под тряпья очередной экземпляр своего «Путеводителя».

Когда в Хрустальном Дворце они окончательно поняли и почти поверили, что больше никогда и никого не встретят по пути на север, Изя засел за пишмашинку и со сверхъестественной быстротой написал «Путеводитель по бредовому миру». Потом он сам размножил этот «Путеводитель» на диковинном копировальном автомате (в Хрустальном Дворце было до черта самых разнообразных и удивительных автоматов), сам запаял все пятьдесят экземпляров в конверты из странного прозрачного и очень прочного материала под названием «полиэтиленовая пленка» и доверху загрузил свою тележку, едва оставив место для мешка с сухарями... А теперь вот этих конвертов осталось у него всего штук десять, а

может быть, и меньше.

— Сколько их у тебя еще осталось? — спросил Андрей.

Изя, пристраивая конверт в центре фундамента, рассеянно ответил:

— А хрен его знает... Мало. Давай камни.

И они снова принялись таскать камни, и скоро над конвертом выросла пирамида метра в полтора высотой. Выглядела она в этой безлюдной пустыне довольно странно, но чтобы она выглядела еще более странно, Изя полил камни ядовито-красной краской из огромного тюбика, который нашел на складе под Башней. Потом он отошел к тележке, уселся и принялся приматывать оторвавшуюся подошву обрывком веревки. При этом он то и дело поглядывал на свою пирамиду, и на лице его сомнение и неуверенность сменялись постепенно удовлетворением и все нарастающей гордостью.

— А?! — сказал он Андрею, совершенно уже раздувшись и напыжась. — Даже полный дурак мимо не пройдет — сообразит, что это не зря...

— Ага, — сказал Андрей, присаживаясь рядом на корточки. — То-то тебе будет много пользы, что дурак эту пирамиду раскопает.

— Ничего, ничего, — проворчал Изя. — Дурак

— тоже существо разумное. Сам не поймет — другим расскажет... — Он вдруг оживился. — Возьми, например, мифы! Как известно, дураков — подавляющее большинство, а это значит, что всякому интересному событию свидетелем был, как правило, именно дурак. Эрго: миф есть описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта. А?!

Андрей не ответил. Он смотрел на пирамиду. Ветер осторожно подбирался к ней, неуверенно пылил вокруг, слабо посвистывал в щелях между камнями, и Андрей вдруг очень ясно представил себе бесконечные километры, оставшиеся позади, и протянувшийся по этим километрам реденький пунктир таких вот пирамид, отданных ветру и времени... И еще он представил себе, как к этой вот пирамиде подползает на карачках иссушенный, словно мумия, путник, подыхающий от голода и жажды... как он неистово, из последних сил, обламывая ногти, ворочает и расталкивает эти камни, а воспаленное воображение уже рисует ему там, под камнями, тайник с едой и водой... У Андрея вырвался истерический смешок. Вот уж тут бы я обязательно застрелился. Невозможно такое перенести...

— Ты чего? — подозрительно спросил Изя.

— Ничего, ничего, все в порядке, — сказал Андрей и поднялся.

Изя тоже встал и некоторое время критически смотрел на пирамиду.

— Ничего смешного здесь нет! — объявил он. Он потопал ногой, обмотанной лохматой веревкой. — На первое время сойдет, — сообщил он. — Пошли?

— Пошли.

Андрей впрягся в тележку, а Изя все-таки не удержался и еще раз обошел вокруг своей пирамиды. Он явно тоже что-то представлял себе сейчас, какие-то картины, и картины эти льстили его натуре, он украдкой улыбался, потирал руки и шумно пыхтел в бороду.

— Ну и вид у тебя! — сказал Андрей, не удержавшись. — Ну прямо как у жабы. Навалил икры и теперь от гордости опомниться не можешь. Или как у кеты.

— Но-но! — сказал Изя, продевая руки в постромки. — Кета после этого дела подыхает...

— Вот именно, — сказал Андрей.

— Но-но! — грозно сказал Изя, и они двинулись дальше.

Потом Изя вдруг спросил:

— А ты кету едал?

— Навалом, — сказал Андрей. — Под водку знаешь как идет? Или бутерброды к чаю... А что?

— Так... — сказал Изя. — А вот мои дочки ее уже не пробовали.

— Дочки? — удивился Андрей. — У тебя есть дочки?

— Целых три, — сказал Изя. — И ни одна не знает, что такое кета. Я им объяснил, что кета и осетрина — это такие вымершие рыбы. Наподобие ихтиозавров. А они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку...

Он говорил еще что-то, но Андрей, пораженный, его не слушал. Вот тебе и на! Три дочки! У Изи! Шесть лет я его знаю, и мне даже в голову не приходило ничего подобного. Как же он тогда решился — сюда? Ай да Изя... Черт знает, какие люди на свете бывают... Нет, ребята, подумал он. Все правильно и все верно: никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до Хрустального Дворца дойдет, так там на всю жизнь и останется. Видел я их там — нормальных людей... Хари от задницы не отличишь... Нет, ребята, если сюда кто-то и доберется, так только какой-нибудь Изя-номер-два... И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про все и забудет — так и умрет

здесь, читаючи... Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло?.. Чего для? На Башне было хорошо. В Павильоне — и того лучше. А уж в Хрустальном Дворце... Как в Хрустальном Дворце, я никогда еще не жил и жить больше не буду... Ну хорошо — Изя. У него шило в жопе, ему на одном месте не сидится. А если бы не было со мной Изи — ушел бы я оттуда или остался? Вопрос!..

...Почему мы должны идти вперед? — спрашивал Изя на Плантации, а черномазые девчонки, гладкие, титястые, сидели рядом и смирно слушали нас. Почему мы все-таки и несмотря ни на что должны идти вперед? — разглагольствовал Изя, рассеянно поглаживая ближайшую по атласному колену. А потому, что позади у нас — либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть. Неужели тебе мало этого простого рассуждения? Ведь мы же первые, понимаешь ты это? Ведь ни один человек еще не прошел этого мира из конца в конец: от джунглей и болот — до самого нуля... А может быть, вообще вся эта затея только для того и затеяна, чтобы нашелся такой человек?.. Чтобы прошел он от и до?.. Зачем? — угрюмо спрашивал Андрей. Откуда я знаю — зачем? — возмущался Изя. А зачем строится храм? Ясно, что храм — это единственная видимая цель, а зачем — это

некорректный вопрос. У человека должна быть цель, он без цели не умеет, на то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее придумывает... Вот и ты придумал, сказал Андрей, непременно тебе нужно пройти от и до. Подумаешь — цель!.. Я ее не придумывал, сказал Изя, она у меня одна-единственная. Мне выбирать не из чего. Либо цель, либо бесцельность — вот как у нас с тобой дела обстоят... А чего же ты мне голову забиваешь своим храмом, сказал Андрей, храм-то твой здесь при чем?.. Очень даже при чем, с удовольствием, словно только того и ждал, парировал Изя, храм, дорогой ты мой Андрюшечка, это не только вечные книги, не только вечная музыка. Этак у нас получится, что храм начали строить только после Гутенберга или, как вас учили, после Ивана Федорова. Нет, голубчик, храм строится еще и из поступков. Если угодно, храм поступками цементируется, держится ими, стоит на них. С поступков все началось. Сначала поступок, потом — легенда, а уже только потом — все остальное. Натурально, имеется в виду поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то начинался — с нетривиального поступка!.. С героического, короче говоря, заметил Андрей, презрительно

усмехаясь. Ну, пусть так, пусть с героического, снисходительно согласился Изя. То есть ты у нас получаешься герой, сказал Андрей, в герои, значит, рвешься. Синдбад-Мореход и могучий Улисс... А ты дурачок, сказал Изя. Ласково сказал, без всякого намерения оскорбить. Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он просто *был* героем — натура у него была такая, не мог он иначе. Ты вот не можешь говно есть — тошнит, а ему тошно было сидеть царьком в занюханной своей Итаке. Я ведь вижу, ты меня жалеешь — маньяк, мол, психованный... Вижу, вижу. А тебе жалеть меня не надо. Тебе завидовать мне надо. Потому что я знаю совершенно точно: что храм строится, что ничего серьезного, кроме этого, в истории не происходит, что в жизни у меня только одна задача — храм этот оберегать и богатства его приумножать. Я, конечно, не Гомер и не Пушкин — кирпич в стену мне не заложить. Но я — Кацман! И храм этот — во мне, а значит, и я — часть храма, значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу. И это уже прекрасно. Пусть я даже ни крошки не вложу в стену... Хотя я, конечно, постараюсь вложить, уж будь уверен. Это будет наверняка очень маленькая крупинка, хуже того

— крупинка эта со временем, может быть, просто отвалится, не пригодится для храма, но в любом случае я знаю: храм во мне был и был крепок и мною тоже... Ничего я этого не понимаю, сказал Андрей. Путано излагаешь. Религия какая-то: храм, дух... Ну еще бы, сказал Изя, раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия. Что ты ерепенишься? Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял вот почву под ногами, что висишь в безвоздушном пространстве... Правильно, висишь. Так и должно было с тобой случиться. Со всяким мало-мальски мыслящим человеком это в конце концов случается... Так вот я и даю тебе почву. Самую твердую, какая только может быть. Хочешь — становись обеими ногами, не хочешь — иди к херам! Но уж тогда не гунди!.. Ты мне не почву подсовываешь, сказал Андрей, ты мне облако какое-то бесформенное подсовываешь! Ну ладно. Ну, пусть я все понял про твой храм. Только мне-то что от этого? В строители твоего храма я не гожусь — тоже, прямо скажем, не Гомер... Но у тебя-то храм хоть в душе есть, ты без него не можешь — я же вижу, как ты по миру бегаешь, что твой молодой щенок, ко всему жадно принюхиваешься, что ни попадется — облизываешь или пробуешь на зуб!

Я вот вижу, как ты читаешь. Ты можешь двадцать четыре часа в сутки читать... и, между прочим, все при этом запоминаешь... А я ничего этого не могу. Читать — люблю, но в меру все-таки. Музыку слушать — пожалуйста. Очень люблю слушать музыку. Но тоже не двадцать же четыре часа! И память у меня самая обыкновенная — не могу я ее обогатить всеми сокровищами, которые накопило человечество... Даже если бы я только этим и занимался — все равно не могу. В одно ухо у меня залетает, из другого выскакивает. Так что мне теперь от твоего храма?.. Ну правильно, ну верно, сказал Изя. Я же не спорю. Храм — это же не всякому дано... Я же не спорю, что это достояние меньшинства, дело натуры человеческой... Но ты послушай. Я тебе сейчас расскажу, как мне это представляется. У храма есть (Изя принялся загибать пальцы) строители. Это те, кто его возводит. Затем, скажем, м-м-м... тьфу, черт, слово не подберу, лезет все религиозная терминология... Ну ладно, пускай — жрецы. Это те, кто носит его в себе. Те, через души которых он растет и в душах которых существует... И есть потребители — те, кто, так сказать, вкушает от него... Так вот Пушкин — это строитель. Я — это жрец. А ты — потребитель... И не кривись, дурак!

Это же очень здорово! Ведь храм без потребителя был бы вообще лишен человеческого смысла. Ты, балда, подумай, как тебе повезло! Ведь это же нужны годы и годы специальной обработки, промывания мозгов, хитроумнейшие системы обмана, чтобы подвигнуть тебя, потребителя, на разрушение храма... А уж такого, каким ты стал теперь, и вообще нельзя на такое дело толкнуть, разве что под угрозой смерти!.. Ты подумай, сундук ты с клопами, ведь такие, как ты, — это же тоже малейшее меньшинство! Большинству ведь только мигни, разреши только — с гиком пойдут крушить ломами, факелами пойдут жечь... было уже такое, неоднократно было! И будет, наверное, еще не раз... А ты жалуешься! Да ведь если вообще можно ставить вопрос: для чего храм? — ответ будет один-единственный: для тебя!..

— Андрюх! — позвал Изя знакомым противным тоном. — А может, хватанем?

Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянуто сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли, а справа почему-то прояснело, и видна была Желтая Стена — не ровная и гладкая, как в пределах Города, а вся в могучих складках и морщинах, словно кора чудовищного дерева. Внизу впереди

начиналось ровное, как стол, белое каменное поле — не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит, — и тянулось это поле, на сколько хватал глаз, и покачивались над ним в полукилометре от бугра два тощих смерча — один желтый, другой черный...

— Это что-то новенькое, — сказал Андрей, прищурившись. — Смотри-ка — сплошной камень...

— А? Да, пожалуй... Слушай, давай по стаканчику — четыре часа уже...

— Давай, — согласился Андрей. — Только спустимся сначала.

Они спустились с бугра, освободились от постромок, и Андрей потащил из своей коляски раскаленную канистру. Канистра зацепилась за ремень автомата, потом за мешок с остатками сухарной крошки, но Андрей все-таки выволок ее и, зажав между колен, откупорил. Изя приплясывал рядом, держа наготове две пластмассовые кружки.

— Соль достань, — сказал Андрей.

Изя сразу перестал плясать.

— Да брось ты... — заныл он. — Зачем? Давай так дернем...

— Без соли не получишь, — сказал Андрей утомленно.

— Тогда давай так, — сказал Изя, осененный новой мыслью. Он уже поставил кружки на камень и рылся в своей коляске. — Тогда давай я свою соль просто так съем, а потом водой запью.

— Господи, — сказал пораженный Андрей. — Ну, ладно, давай так.

Он разлил по половине кружки горячей, пахнущей железом воды, принял у Изи пакетик с солью и сказал:

— Давай язык.

Он высыпал щепотку соли на толстый обложенный Изин язык и смотрел, как Изя морщится, давится, жадно протягивая руку к кружке, а потом подсолил свою воду и стал ее пить маленькими скупыми глотками, не испытывая никакого удовольствия, как лекарство.

— Хорошо! — сказал Изя, крякнув. — Только мало. А?

Андрей кивнул. Выпитая вода сразу же выступила потом, и во рту осталось все, как было, без малейшего облегчения. Он приподнял канистру, прикидывая. На пару дней, наверное, еще хватит, а потом... А потом еще что-нибудь найдется, сказал он себе со злостью. Эксперимент есть Эксперимент. Жить не дадут, но и подохнуть — тоже... Он бросил взгляд на белое, пышущее

жаром плато, расстилавшееся впереди, покусал сухую губу и принялся устанавливать канистру обратно в коляску. Изя, присев, опять перебинтовывал свою подошву.

— А ты знаешь, — пропыхтел он, — и в самом деле какое-то странное место... Что-то я такого даже не припомню... — Он поглядел на солнце, прикрывшись ладонью. — В зените, — сказал он. — Ей-богу, в зените. Что-то будет... Да выброси ты к черту эту железяку, что ты с ней возишься?!

Андрей аккуратно пристраивал автомат около канистры.

— Без этой железяки мы бы за Павильоном костей бы с тобой не собрали, — напомнил он.

— Так то — за Павильоном! — возразил Изя. — С тех пор мы с тобой уже пятую неделю идем, и даже мух не видно...

— Ладно, — сказал Андрей. — Не тебе тащить... Пошли.

Каменное плато оказалось на удивление гладким. Коляски катились по нему как по асфальту — только колесики повизгивали. Но жара стала еще страшнее. Белый камень швырял солнце обратно, и глазам теперь не было никакого спасения. Пятки жгло, будто башмаков не было вовсе, а вот пыли, как это ни странно, нисколько не

уменьшилось. Если уж мы здесь не загнемся, думал Андрей, тогда — жить нам вечно... Он шел сильно сощурившись, а потом закрыл глаза совсем. Стало немного легче. Так вот я и пойду, подумал он. А глаза буду открывать через каждые, скажем, двадцать шагов. Или через тридцать... Гляну — и дальше...

Из очень похожего белого камня был выложен подвал Башни. Только там было прохладно и полутемно, а вдоль стен стояли во множестве ящики толстого картона, набитые почему-то разным скобяным товаром. Здесь были гвозди, шурупы, болты любых размеров, банки с клеями и красками, бутылки с разноцветными лаками, столярный и слесарный инструмент, завернутые в промасленную бумагу шарикоподшипники... Съестного не нашлось ничего, но в углу из обрезка ржавой трубы, торчащего в стене, текла и уходила под землю тонкая струйка холодной и невероятно вкусной воды...

...Все в твоей системе хорошо, — сказал Андрей, в двадцатый раз подставляя кружку под струю. — Одно мне не нравится. Не люблю я, когда людей делят на важных и неважных. Неправильно это. Гнусно. Стоит храм, а вокруг него быдло бессмысленное кишит. «Человек есть душонка,

обремененная трупом!» Пусть даже оно на самом деле так и есть. Все равно это неправильно. Менять это надо к чертовой матери...

...А я разве говорю, что не надо? — вскинулся Изя. — Конечно, хорошо бы было этот порядочек переменить. Только как? До сих пор все попытки изменить это положение, сделать человеческое поле ровным, всех поставить на один уровень, чтобы было все правильно и справедливо, все эти попытки кончались уничтожением храма, чтобы не возвышался, да отрубанием торчащих над общим уровнем голов. И все. И над выровненным полем быстро-быстро, как раковая опухоль, начинала расти зловонная пирамида новой политической элиты, еще более омерзительной, чем старая... А других путей, знаешь ли, пока не придумано. Конечно, все эти эксцессы хода истории не меняли и храма полностью уничтожить не могли, но светлых голов было порублено предостаточно.

...Знаю, — сказал Андрей. — Все равно. Все равно мерзко. Всякая элита — это гнусно...

...Ну, извини! — возразил Изя. — Вот если бы ты сказал: «всякая элита, владеющая судьбами и жизнями других людей, — это гнусно», — вот тут я бы с тобой согласился. А элита в себе, элита для

себя самой — кому она мешает? Она раздражает — до бешенства, до неистовства! — это другое дело, но ведь раздражать — это одна из ее функций... А полное равенство — это же болото, застой. Спасибо надо сказать матушке-природе, что такого быть не может — полного равенства... Ты меня пойми, Андрей, я ведь не предлагаю систему переустройства мира. Я такой системы не знаю, да и не верю, что она существует. Слишком много всяких систем было испробовано, а все осталось в общем по-прежнему... Я предлагаю всего только цель существования... тьфу, да и не предлагаю даже, запутал ты меня. Я открыл в себе и для себя эту цель — цель моего существования, понимаешь? Моего и мне подобных... Я ведь и говорю-то об этом только с тобой и только теперь, потому что мне жалко стало тебя — вижу, что созрел человек, сжег все, чему поклонялся, а чему теперь поклоняться — не знает. А ты ведь без поклонения не можешь, ты это с молоком матери всосал — необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то тогда и жить не стоит вовсе. А ведь такие как ты, добравшись до окончательного понимания, на страшные вещи способны. Либо он пустит себе

пулю в лоб, либо подлецом сверхъестественным заделается — убежденным подлецом, принципиальным, бескорыстным подлецом, понимаешь?.. Либо и того хуже: начнет мстить миру за то, что мир таков, каков он есть в действительности, а не согласуется с каким-нибудь там предначертанным идеалом... А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что умирать за нее просто-таки противопоказано. За нее жить надо. Каждый день жить, изо всех сил и на всю катушку...

...Да, наверное, — сказал Андрей. — Наверное, все это так и есть. И все-таки эта идея еще не моя!..

Андрей остановился и крепко взял Изю за рукав. Изя тотчас же открыл глаза и спросил испуганно:

— Что? Что такое?

— Помолчи, — сказал Андрей сквозь зубы.

Что-то там было впереди. Что-то двигалось — не крутилось столбом, не стелилось над самым камнем, а двигалось сквозь все это. Навстречу.

— Люди, — сказал Изя с восторгом. — Слушай, Андрюха, люди!

— Тихо, скотина, — шепотом сказал Андрей.

Он и сам уже понял, что это люди. Или человек... Нет, кажется, двое. Стоят. Наверное, тоже

заметили... Опять ни черта не видно за проклятой пылью.

— Ну вот! — сказал Изя торжествующим шепотом. — А ты все стонал — подохнем...

Андрей осторожно сбросил лямки и попятился к своей коляске, не сводя глаз с неразборчивых теней впереди. Ч-черт, сколько их там все-таки? И сколько до них отсюда? Метров сто, что ли? Или меньше?.. Он ощупью нашарил в коляске автомат, оттянул затвор и сказал Изе:

— Сдвинь тележки, ложись за них. Прикроешь меня, если что...

Он сунул Изе автомат и, не оборачиваясь, медленно пошел вперед, положив руку на кобуру. Видно было отвратительно. Пристрелит он меня, подумал он об Изе. Прямо в затылок засадит...

Теперь можно было различить, что один из тех тоже идет навстречу — смутный долговязый силуэт в крутящейся пыли. Есть у него оружие или нет? Вот тебе и Антигород. Кто бы мог подумать?.. Ох, не нравится мне, как он руку свою держит!.. Андрей осторожно расстегнул кобуру и взялся за рубчатую рукоятку. Большой палец сам лег на предохранитель. Ничего, все обойдется. Должно обойтись. Главное — не делать резких движений...

Он потянул пистолет из кобуры. Пистолет зацепился. Стало страшно. Он дернул сильнее, потом еще сильнее, потом изо всех сил. Он ясно увидел резкое движение того, что шел ему навстречу (рослый, ободранный, изможденный, до глаз заросший нечистой бородой)... Глупо, подумал он, нажимая спусковой крючок. Был выстрел, была вспышка встречного выстрела, был — кажется — крик Изи... И был удар в грудь, от которого разом погасло солнце...

— Ну вот, Андрей, — произнес с некоторой торжественностью голос Наставника. — Первый круг вами пройден.

Лампа под зеленым стеклянным абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая «Ленинградская правда» с большой передовой под названием: «Любовь ленинградцев к товарищу Сталину безгранична». Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе-колодце за окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Через раскрытую форточку тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас, — гораздо более обыденным и привыч-

ным. Оно было без будущего. Вернее — отдельно от будущего...

Андрей бесцельно разгладил газету и сказал:

— Первый? А почему — первый?

— Потому что их еще много впереди, — произнес голос Наставника.

Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а где-то далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно — еще более! — невозможно было остаться среди всего этого. Теперь. После всего.

— Изя! Изя! — пронзительно прокричал женский голос в колодце. — Изя, иди уже ужинать!.. Дети, вы не видели Изю?

И детские голоса внизу закричали:

— Иська! Кацман! Иди, тебя матка зовет!..

Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленницами дров.

КОММЕНТАРИИ

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

С. 7. *Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать. Р. П. Уоррен* — «Вся королевская рать», 6. Перевод В. Голышева («<...> из чего делать»).

С. 42. *Ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его.* — мотив Откровения Иоанна (6, 8): «...и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним...».

С. 97. *Крепкую мы вырастили молодежь, выносливую и упорную в своих намерениях...* — реминисценция строки из «Од» Горация (3, 3, 1): «Justum et tenacem propositi virum» (лат.) «Человека справедливого и упорного в своих намерениях <смутить ничего не может>».

С. 115. *Такие дела, Ричард. Читали Воннегута?* — в романе «Бойня номер пять» фразой «Такие дела» отмечены все упоминания смерти. Перевод Р. Райт-Ковалевой.

С. 116. *...прорубил окно во Вселенную?* — восходит к строке А. Пушкина «...В Европу прорубить окно...» («Вступление» к поэме «Медный всадник»).

С. 116. *«Жестокие чудеса грядущего»* — выражение, обычное для Стругацких, восходящее к заключительным словам «Соляриса» С. Лема: «...не прошло время ужасных чудес». Перевод Д. Брускина.

С. 120. *...научимся изготавливать эти королевские печати и тогда уж вволю будем колоть ими орехи.* — реминисценция эпизода из главы 32 повести Марка Твена «Принц и нищий».

С. 124. *...чудовищ <...> Франкенштейна. Мадам Шелли. Супруга поэта.* — автор романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» — М. Шелли, жена поэта П. Б. Шелли.

С. 163. *Человек рожден, чтобы мыслить...* — императив Б. Паскаля, опубликован в посмертном сборнике «Мысли».

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

С. 165. *Еще одна отходная детективному жанру* — подзаголовок «Отходная детективному жанру» имела повесть Ф. Дюрренматта «Обещание» (в части редакций перевода).

С. 173. *— Кто у вас тут сейчас живет?* — <...> *Да живут здесь... — Кто именно?* — ср. параллель в пьесе Н. Гоголя «Игроки» (1): «— <...> кто у вас живет? — Да живут теперь много <...>. — Кто же именно?»

С. 205. *Мемуар Кориолиса о бильярдной игре* — имеется в виду работа Г. Кориолиса «Математическая теория явлений бильярдной игры».

С. 209. *«Когда я слышу слово «культура», я вызываю мою полицию»* — перефраз реплики из драмы Х. Йоста «Шлагетер» (1, 1): «Когда я слышу слово «культура», я спускаю предохранитель своего револьвера» (перевод дословный). В книге Л. Повеля и Ж. Бержье «Утро магов» (5, 8) авторство слов ошибочно приписано Г. Герингу.

С. 211. *Эркюль Пуаро* — персонаж романов А. Кристи.

С. 221. *...перед нами возникло чадо. Не глядя на меня, оно неуклюже шаркнуло ногой и сипло про-*

изнесло: — Пермете ву... — параллель с «Героем нашего времени» М. Лермонтова: «...он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом: — Пермете: ну да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку» («Княжна Мери», запись «22-го мая»).

С. 222. *Левожующие коровы* — термин восходит к сборнику «Физики продолжают шутить» (М.: Мир, 1968), с. 41, к выдержкам из статьи П. Иордана и Р. де Кронига «Движение нижней челюсти у крупного рогатого скота в процессе пережевывания пищи»: «Принимая направление движения пищи за положительное, мы будем называть право- и левовращающими коровами тех особей, у которых жевательное движение происходит (если смотреть спереди) по и против часовой стрелки соответственно».

С. 248. *...преступлений просто так не бывает. Правда, Андре Жид писал...* — немотивированным преступлениям посвящен роман «Подземелья Ватикана».

С. 250. *...в позе мадам Рекамье...* — см. «Портрет г-жи Рекамье» Ж.-Л. Давида.

С. 282. *Карлсон с пропеллером* — персонаж книг А. Линдгрен о Малыше и Карлсоне.

С. 301. *...потусторонний мир — это ведомство*

церкви, а не полиции... — А. Конан Дойл, «Собака Баскервилей», 4: «Вы как будто еще не решили, чьей компетенции это дело: полиции или церкви». Перевод Е. Ломиковской. Издание рассказа: СПб, тип. А. С. Суворина, 1902, с. 22.

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

С. 347 [broken link: #ref021]. <*заглавие*> — заглавие романа заимствовано от названия картины Н. Рериха.

С. 349 [broken link: #ref021]. — *Как живете, караси? / — Ничего себе, мерси. В. Катаев. Радиожираф* — «Радио-жирафф», Л.; М.: Радуга, [1926], [1927], [с. 6]: «Злая щука поскорей / Вызывает карасей: / — Как живете, караси? / — Ничего себе, мерси!». Строки также процитированы автором в книге «Трава забвенья».

С. 349. *...Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...* — Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) — глава 2, стих 2.

С. 415. *Талмудист и начетчик!* — термин «Начетчики и талмудисты» — из статьи И. Сталина «Ответ товарищу А. Холопову» («Правда», 2 августа 1950 г.), вошедшей в книгу «Марксизм и вопросы языкознания».

С. 415. — *Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет!* — приблизительная ци-

тата из драмы Х. Йоста «Шлагетер» (1, 1): «Когда я слышу слово «культура», я спускаю предохранитель своего револьвера» (перевод дословный). В книге Л. Повеля и Ж. Бержье «Утро магов» (5, 8) авторство слов ошибочно приписано Г. Герингу.

С. 418. *...мы обязательно увидим небо в звездах...* — восходит к словам из пьесы А. Чехова «Дядя Ваня» (4): «...мы увидим все небо в алмазах...».

С. 421. *Песня про дрожащие кости старого дряхлого мира* — нацистский марш «Завтра будем маршировать мы!» Автор слов и музыки Х. Бауман, авторское заглавие — «Не шумите!» Первые строки: «Es zittern die morschen Knochen / Der Welt vor dem roten Krieg».

С. 422. *«Москва — Пекин»* <...> *«Слушают нас!»* — название и цитата из песни В. Мурадели на слова М. Вершинина («Сталин и Мао слушают нас!»).

С. 423. *«Там в степи глухой замерзал ямщик...»* — строка из песни «Степь да степь кругом», основа которой — стихотворение И. Сурикова «В степи».

С. 423. *«Аве, Мария!», Упекли пророка в республику Коми, / А он и перекинься башкою в лебеду. / А следователь-хмурик получил в месткоме / Льготную путевку на месяц в Теберду...* — А. Галич, «Поэма о Сталине», 6 («Аве Мария»).

С. 434. *Именины сердца* — цитата из поэмы Н.

Гоголя «Мертвые души» (1, 2).

С. 458. *...самое ценное — это люди...* — аллюзия на высказывание И. Сталина: «Самый ценный капитал — это люди» (точная цитата: «...из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры»), речь 4 мая 1935 г. в Кремлевском дворце перед выпускниками военных академий.

С. 466. *Ничего в волнах не видно* — строка из рус. народной песни «Вниз по матушке по Волге». Авторство песни иногда приписывается Ивану Осипову (Ваньке Каину).

С. 471. *...веревка — вервие простое...* — цитата из басни И. Хемницера «Метафизический ученик»; редакция В. Капниста: «Метафизик» («Веревка! — Вервие простое!»).

С. 471. *«Оставь надежду...»* — цитата из «Божественной комедии» Данте А., «Ад», 3, 9.

С. 483. *Запад есть Запад, Восток есть Восток.* — строка из «Баллады о Востоке и Западе» Р. Киплинга.

С. 491. *«Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал папку?»* — вариация фразы А. Аверченко из «Почтового ящика “Сатирикона”» (1909, № 48, с. 8): «Рудольфу. — Вы пишете в рассказе: «Она схватила ему за руку и

неоднократно спросила: где ты девал деньги?» Иностранных произведений не печатаем». Процитировано в биографической статье О. Михайлова в издании: А. Аверченко, «Юмористические рассказы», М.: Художественная литература, 1964. С. 16.

С. 491. — *Национальность? — Да, — сказал Кацман и хихикнул.* — источник — анекдот, первое использование которого в литературе — в стихотворении Е. Аграновича «Еврей-священник»: «...писал в графе “национальность” — “да!”»

С. 496. *Майор Пронин* — персонаж произведений Л. Овалова.

С. 499. *«Когда я приезжаю в чужую страну, <...> я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они...»* — источник цитаты не найден.

С. 518. *«Жасмин — хорошенький цветочек! Он пахнет очень хорошо...»* — начало акростиха из школьного фольклора. Далее: «Понюхай, миленький дружочек, — / А я сорву тебе еще!»

С. 552. *Рукописи не горят* — цитата из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (2, 24).

С. 554. *Больше жизни!* — «Спортивный марш» из к/ф «Вратарь», слова В. Лебедева-Кумача, музыка И. Дунаевского.

С. 558–559. *...коадъютор... что-то из истории... или из «Трех мушкетеров»...* — помощник и заместитель епископа в римско-католической церкви. «Коадъютором великого магистра ордена рогоносцев» называл А. Пушкина анонимный диплом-пасквиль. Коадъютор — второстепенное действующее лицо романа А. Дюма «Двадцать лет спустя».

С. 565. *Недотыкомка* — фантастическое существо из романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» и стихотворения «Недотыкомка серая».

С. 580. *...правда ваша еще хуже лжи.* — реминисценция из комедии А. Грибоедова «Горе от ума» (3, 9): «...Я правду об тебе порасскажу такую, / Что хуже всякой лжи».

С. 581. *Господь да покарает вашу скуку!* — цитата из романа Л. Леонова «Дорога на Океан», глава «Утро» («Бог да <...>»).

С. 586. *Угощайся, мой еврей. Угощайся, мой славный.* — контаминация характерных выражений властей предержащих из нескольких произведений Л. Фейхтвангера: «Угощайся, мой славный» («Лже-Нерон» (1, 20), перевод И. Горкиной и Р. Розенталь; в части редакций перевода) и «Мой еврей» («Еврей Зюсс», трилогия об Иосифе Флавии).

С. 589. *«Вынесет все и широкую, ясную...»* — ци-

тата из поэмы Н. Некрасова «Железная дорога» (2): «Вынесет все — и широкую, ясную...».

С. 589. *Всяк сверчок да познает приличествующий ему шесток.* — приблизительная цитата из «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина, глава «Эпоха увольнения от войн»: «Всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток».

С. 590. *«Перчику ему в жизнь, перчику!»* — цитата из рассказа А. Чехова «Торжество победителя»: «Я ему в жизнь перчику... перчику!»

С. 591. *...апокалипсис получается... Семь чаш гнева и семь последних язв...* — Откровение Иоанна (15–16).

С. 592. *Человечество не ставит перед собой проблем, которые оно не способно решить.* — К. Маркс, «К критике политической экономии», предисловие: «...человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить...».

С. 594. *Как с обезьяньей лапкой. Уж если и исполнится желание, так с таким привеском, что лучше бы уж и не исполнялось совсем.* — отсылка к рассказу У. Джекобса «Обезьянья лапка».

С. 600. *«Мрак и туман»* — наименование операции по вывозу из оккупированной Европы в

Германию лиц, провинившихся перед нацистами. Выражение взято из оперной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга».

С. 607. *Комиссары в пыльных шлемах* — строка из «Сентиментального марша» Б. Окуджавы.

С. 619, 687. *«А вы знаете, полковник? <...> Союзное командование предлагает за голову Чапаева двадцать тысяч!..» <...> «Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и больше. Ведь за нами Гурьев, а в Гурьеве — нефть. Хе-хе-хе», «Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табуретки ломать?», «Чапаев» <...> «Брат умирает — Митька, ухи просит...»* — фразы из к/ф «Чапаев», реж. Г. Н. и С. Д. Васильевы; третья — перефразировка из комедии Н. Гоголя «Ревизор» (1, 1): «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»

С. 641. *Стол и дом* — слова из басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей»: «...Как под каждым ей листком / Был готов и стол, и дом».

С. 650. *Как в сказке о царе Додоне... Шамаханская царица.* — А. Пушкин, «Сказка о золотом петушке» (в тексте: «Дадон»).

С. 658. *Сие от нас не зависит.* — ср.: «“Необходимо Америку снова закрыть” — но, кажется, сие

от меня не зависит?» М. Салтыков-Щедрин, «Современная идиллия», глава 20, «Сказка о ретивом начальнике...», черновая рукопись четвертой и пятой редакции. Выражение популяризировано И. Сталиным в докладе о проекте Конституции Союза ССР на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. (раздел 4).

С. 662. *...мы, маленькие люди...* — «Мы люди маленькие» — характерная фраза А. Чехова. См., например, «Ненужная победа» (4), «Черный монах» (5).

С. 674. *Раскаленное <...> безмолвие.* — перефраз заглавия рассказа Джека Лондона «Белое Безмолвие».

С. 680. *То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки...* — цитата из «Ночного дозора» А. Галича.

С. 682. *...Отелло — дож венецианский.* — контаминация двух строк песни А. Охрименко, С. Кристи, В. Шрейберга «Отелло»: «Отелло, мавр венецианский» и «Отец был дож венецианский».

С. 682. *Аттила — гуннов царь. Едет. Нем и мрачен, как могила...* — «В сталь закован, по безлюдью, / Едет гуннов царь Атилла, / Как медведь мохнат и крепок, / Нем и мрачен, как могила!» «Атилла (из Залесского)», перевод В. И. Славян-

ского (псевдоним Вас. И. Немировича-Данченко) фрагмента из поэмы польского поэта-романтика Ю. Б. Залесского «Дух степей».

С. 686. *Quos ego!* — Вот я вас! (лат.). Вергилий, «Энеида», 1, строка 135.

С. 688. *Экзэги монументум...* — Exegi monumentum (лат.) Я воздвиг памятник. Гораций, «К Мельпомене» («Оды», 3, 30, 1).

С. 695. *...Кехада, ты этого хотел.* — ср.: «Ты этого хотел, Жорж Данден!» Мольер, «Жорж Данден», 1, 10.

С. 696. *Комсомолец, орленок.* — восходит к песне «Орленок» (слова Я. Шведова, музыка В. Белого): «На помощь спешат комсомольцы-орлята».

С. 705. *И только пыль, пыль, пыль, пыль...* — аллюзия на рефрен стихотворения Р. Киплинга «Пыль (Пехотные колонны в последнюю войну)»: «Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог». Перевод А. Оношкович-Яцыны.

С. 708. *...Всему на свете цена — дерьмо...* — приблизительная цитата из романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» (1, 1): «Всему этому цена дерьмо!» Перевод П. Богатырева.

С. 717. *Синдбад-Мореход и могучий Улисс...* — строка «Капитанов» (2) Н. Гумилева.

С. 721. *«Человек есть душонка, обремененная трупом!»* — Марк Аврелий, «Наедине с собой. Размышления», 4, 41: «Человек — это душонка, обремененная трупом», как говорит Эпиктет» (перевод С. Роговина). Источник — «Беседы Эпиктета (записанные Флавием Аррианом)», 1, 9, 34.